



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

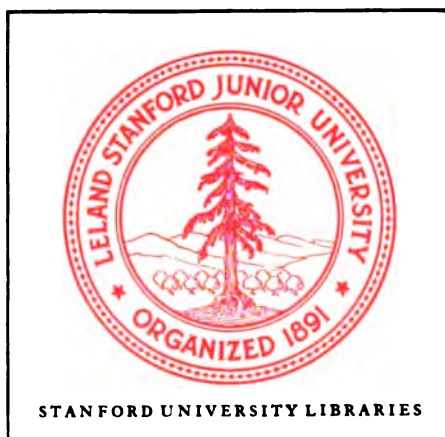
О программе Поиск книг Google

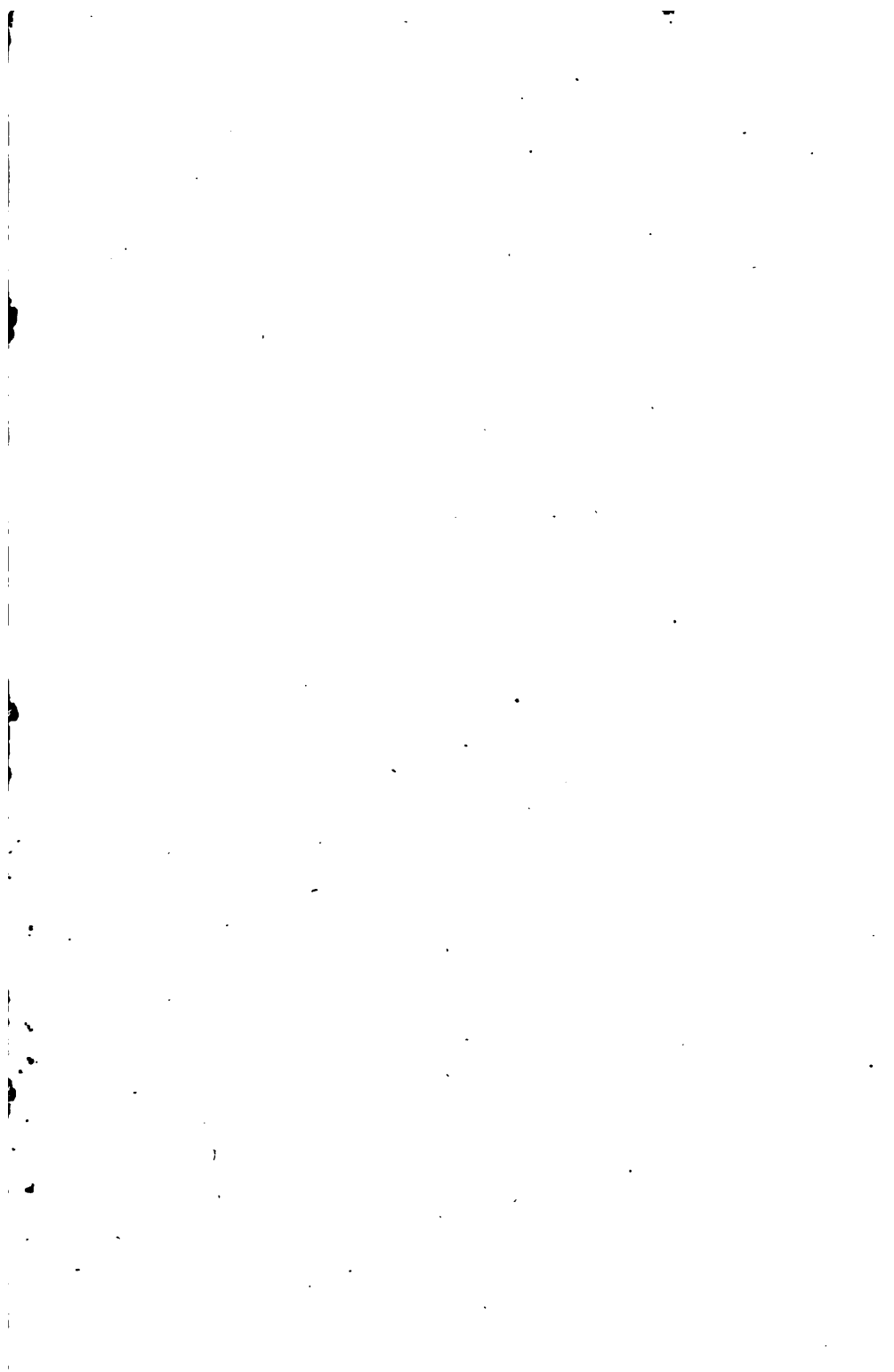
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



D. 869

367103







Davydov

ЧТЕНІЯ

О

СЛОВЕСНОСТИ.

КУРСЪ ПЕРВЫЙ.

Издание второе, исправленное.



МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1837.

8113

PN517

D32

v.1-2

Ego in his praeceptis hanc vim et hanc utilitatem esse arbitror, non ut ad reperiendum, quid dicamus, arte ducamur, sed ut ea, quae natura, quae studio, quae exercitatione consequimur, aut recta esse confidamus, aut prava intelligamus, cum quo referenda sint, didicerimus.

Cicero.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ
Москвы, Ноября 12 дня, 1837 года.

*Цензоръ, Статскій Совѣтникъ и
Кавалеръ И. Снегиревъ.*



ПРЕДИСЛОВІЕ
къ
ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Издаваемыя Чтенія о Словесности, или собственно о Философіи Словесности, содержащія теорію Слова, Краснорѣчія и Поэзіи, изложены по руководству Блера. Уроки о Риторикѣ и Изящной Словесности, надъ которыми трудился Блеръ въ продолженіе двадцати четырехлѣтняго преподаванія, давно переведены на Нѣмецкій и Французскій языки. Въ нихъ находимъ важнѣйшія изслѣдованія по предмету Философіи Словесности, повѣренныя поучительными наблюденіями сочинителя; самое же изложеніе ихъ ясно, просто и изящно: это живая рѣчь бесѣды умнаго и ученаго человека. По этимъ урокамъ составлены многіе учебники, къ числу которыхъ принадлежатъ и опыты Риторики, вскорѣ послѣ появленія подлинника изданный на Русскомъ языкѣ, въ одной книгѣ, подъ названіемъ *Опыта Риторики, сокращеннаго изъ Блера* (*).

(*) Въ С.-Петербургѣ, 1791, въ 8ю.

II

Въ преподаваніи теоріи Словесности, для развитія изящнаго вкуса и образованія дара слова, уроки Блеровы предпочищаются всѣмъ другимъ руководствамъ. Въ теоріяхъ изящнаго, какія появлялись въ разныя времена у разныхъ народовъ, разногласіе и даже противорѣчіе происходятъ отъ исключительнаго послѣдованія одному изъ началъ всякаго вѣдѣнія — или идеальному, постигаемому внутреннимъ созерцаніемъ, или чувственному, приобретаемому внѣшнимъ наблюденіемъ. Отсюда два противоположныя одностороннія ученія, встрѣчаемыя въ области изящнаго вообще и изящнаго въ словѣ — метафизическое, состоящее въ построеніи системъ безъ всякаго приложенія къ искусству, и эмпирическое, теряющееся въ разсматриваніи внѣшняго изящества. Въ древности представителями ихъ были Платонъ и Аристотель; въ наше время эти ученія раздѣляютъ мыслителей Германіи и Франціи. Но Англійскіе писатели преимущественно занимаютъ средину между двумя крайностями — идеализмомъ и эмпиризмомъ въ изящномъ. Таково въ этомъ отношеніи и сочиненіе Блера. Драгоцѣнныя его опыльныя свѣдѣнія о дарѣ слова, заимствованныя изъ древнихъ и новыхъ писателей, или переведены, или изложены въ Чтеніяхъ о Словесности, съ необходимыми измѣненіями; иные уроки замѣ-

III

ненны новымы, согласно съ современнымъ воззрѣніемъ на Словесность; объ основныхъ предметахъ показаны всѣ источники и ученые пособія, для желающихъ подробнѣйшаго изслѣдованія; общіе законы Слова, Краснорѣчія и Поэзіи выведены изъ началъ изящнаго и приложены къ слову опечесшвенному. Многіе примѣры изъ древнихъ и новыхъ образцовыхъ писателей, приводимыхъ Блеромъ, удержаны въ Чтеніяхъ, только въ Русскомъ переводѣ; по тому что образцы изящнаго въ словѣ, какъ въ живописи и ваяніи, равно изящны для всѣхъ народовъ и во всѣ времена.

Чтенія о Словесности составляютъ три книги, или три курса: теорію Слова, Краснорѣчія и Поэзіи. Изданіе въ непродолжительномъ времени втораго и третьяго курсовъ будетъ зависть опъ благосклоннаго вниманія любителей Словесности къ издаваемому первому курсу.

Весь трудъ изложенія Чтеній совершенъ доспопочтеннѣйшими слушателями моими; мнѣ оспавалось одно удовольствіе перечислявать то на бумагѣ, что сообщалъ я имъ изустно, и бытъ издапелемъ ихъ труда. Въ первомъ курсѣ Чтеній участвовали Студенты: Буслаевъ, Іоаннесъ, Конопацкій, Крошковъ, Кудрявцевъ,

IV

Новакъ, Преображенскій, Самаринъ и М. Спроевъ;
во вѣпоромъ и шрепъемъ — Андре, Васьяновъ,
Каменскій, Капковъ, Кисперъ, Ключаревъ,
Кодзаковъ, Людоговскій, Миско и Нѣмцовъ.
Ревностное усердіе издашеля о возможномъ
улучшеніи Чпеній вполнѣ вознаградишся, если
они, при изученіи и преподаваніи Словесности,
принесутъ юношесству такую же пользу,
какую при ихъ сосиавленіи, шрудившимся
принесло руководство Блера.

Профессоръ Иванъ Давыдовъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ
КО
ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Благосклонный пріемъ просвѣщенными читателями перваго и втораго курсовъ Чтеній о Словесности далъ издателю возможность приступитъ къ печатанію третьяго курса, кошорый въ непродолжительномъ времени будетъ оконченъ. Между тѣмъ, для удовлетворенія занимающихся Словесностью первымъ курсомъ, предпринято второе изданіе его, съ значительными исправленіями. Сверхъ того, согласно съ желаніемъ нѣкоторыхъ любителей Словесности, вмѣсто введенія, присоединено вступительное Чтеніе о частяхъ Словесности и вспомогательныхъ для нея наукахъ.

Прислушиваясь къ различнымъ мнѣніямъ и пожеланіямъ о Чтеніяхъ, съ желаніемъ воспользо-
ваться благонамѣренными замѣчаніями, я болѣе и болѣе убѣждаюсь въ вѣрности началъ, принятыхъ мною за основаніе при изученіи Словесности. Начала въ наукѣ составляютъ главный предметъ; приложеніе ея къ практикѣ

VI

безконечно. Такъ и въ Словесности приложене законовъ изящнаго слова къ шѣмъ или другимъ сочиненіямъ, большее или меньшее развитіе того или другаго рода сочиненій зависишь отъ преподавателя и можешь измѣняшься вмѣстѣ съ появленіемъ новыхъ пвореній Поэзіи и Краснорѣчія. Но при всемъ этомъ, начала современнаго воззрѣнія на Словесность, какъ на науку изящнаго въ словѣ, остаются неизмѣнны; потому что неизмѣнны всеобщіе законы искусства. Цѣль современнаго изученія Словесности состоишь не въ томъ, чтобы научишь *творчеству*, а въ томъ, чтобы объяснишь *возможность* пворчества и показашъ законы духа человѣческаго, по которымъ онъ пворишь изящное въ словѣ. Такова цѣль всякой науки, какъ *постиженія* *возможности* явленій въ природѣ, чловѣкѣ и искусствѣ.

Это понятіе о Словесности оправдываетъ издашеля Чшеній и въ томъ, что онъ избралъ руководителемъ Блера, котораго уроки о Философіи Словесности такъ давно явились. Было время, когда я самъ издашель почиталъ Блера между писателями о Словесности старымъ; но изучивъ писателей и предшествовавшихъ ему, и послѣдовавшихъ за нимъ, онъ снова обратился къ Блеру, болѣе всѣхъ

выполняющему пребыванія науки. Припомъ законы изящнаго, открываемые въ Омирѣ, Цицеронѣ, Шекспирѣ, не спаръютъ — они вѣчны, какъ законы безсмертнаго духа, всегда юнаго, всегда единаго въ сущности, но только въ формахъ измѣняющагося, сообразно съ мѣстомъ и временемъ. Все, что открыто изъ эпикъ законовъ древностью и въ новыя времена наблюдавшими явленія духа человѣческаго въ словѣ, мы находимъ въ Блерѣ: оставалось присоединить къ его урокамъ то, что замѣчено послѣ него, когда явились новыя художественныя творенія въ словѣ, и приложивъ всѣ эти наблюденія къ Словесности общественной.

Что касается до самаго приложенія законовъ Словесности къ писателямъ, то занимающіеся Философіею Словесности, по моему мнѣнію, должны ограничиваться писателями самобытными, представителями творческой дѣятельности въ своемъ народѣ, каковы: Байроны, Валтеръ-Скотты, Шиллеры, Гёте, Державины, Карамзины. Исчисленіе всей письменности у того или другаго народа относится къ Исторіи Словесности.

И пакъ если въ Философіи Словесности высказано все то, о чемъ говорили древніе и новыя мыслители; если общія истины изящ-

VIII

наго слова вѣрно приложены къ писателямъ опечеспвленнымъ; по условія науки выполнены. Дѣйствительно ли все это совершенно издашемъ, пусть судящъ просвѣщенные читатели. По священному долгу званія моего, любовь къ наукѣ представляю порукою не за исполненіе, а только за пламенное усердіе къ общей пользѣ. Эта же любовь обязываетъ меня принести благодарности просвѣщеннымъ соопечеспвенникамъ за оказанное вниманіе къ труду, если не совершенному, въ отношеніи къ какимъ-либо пребожаніямъ науки и искусства, по крайней мѣрѣ, добросовѣстному.

Профессоръ Иванъ Давыдовъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО КУРСА.

ВВЕДЕНІЕ.

Значеніе Словесности. — Предметъ и раздѣленіе
Философіи Словесности. — Вспомогательныя науки Сло-
весности.

ЧТЕНІЕ I.

Стран.

Необходимость дара слова для развитія ума
и его совершенствованія. — Врожденное стрем-
леніе человека къ раскрытію идеи изыщнаго въ
словѣ. — Предметъ и цѣль Философіи Словесно-
сти. — Содержаніе ея и форма. — Польза Сло-
весности въ отношеніи къ уму, воли и чувству
изыщнаго 1

А. ЯЗЫКЪ.

ЧТЕНІЕ II.

Предметъ Философіи слова, или объективной
части Словесности. — Происхожденіе слова чело-
вѣческаго, современное развитію мысли. — По-
степенное совершенствованіе его, согласное съ раз-
витіемъ душевныхъ способностей человека. — Про-
изношеніе въ древнихъ языкахъ, и начала языка
поэтическаго, или одушевленнаго 14

Х

Ч т е н і е ІІІ.

Стран.

Продолженіе о совершенствованіи и успѣхахъ слова въ словорасположеніи. — О письменахъ. — Письмена изобразительныя, символическія и буквенныя, согласныя съ развиіемъ представленій, понятій и сужденій. — Примушества слова и письма. 31

Ч т е н і е ІV.

Строеніе языка, согласное съ законами мышленія. — Значеніе стихій слова и ихъ измѣненія въ древнихъ и новыхъ языкахъ 49

Ч т е н і е V.

Сродство языковъ. — Сродство Русскаго языка съ другими языками 69

Ч т е н і е VI.

Опличительныя свойства языковъ, выражающія характеръ народа, степень образованности, климатъ и страну. — Опличительныя свойства Русскаго языка 85

В. Р ѣ ч ь.

Ч т е н і е VII.

Изящное построеніе рѣчи въ предложеніи и періодѣ. — Качества изящной рѣчи, или порядокъ словопостроенія и движеніе въ словотеченіи. — Правила, относящіяся къ ясности и силѣ, или къ первому условію изящества рѣчи 107

XI

Ч т е н і е VIII.

Стран.

Продолженіе объ изящномъ словопостроеніи рѣчи. — Правила, относящіяся къ силѣ предложенія и періода 126

Ч т е н і е IX.

Окончаніе объ изящномъ построеніи періода. — Благозвучіе, или въпоре условіе изящной рѣчи . . 147

Ч т е н і е X.

Начало и свойства украшеннаго языка. — Изящество, придаваемое рѣчи тропами и фигурами: изобразительность и одушевленіе. — Основаніе и раздѣленіе шпровъ 165

Ч т е н і е XI.

Метафора.—Подробное изслѣдованіе ея свойствъ и правильного употребленія 180

Ч т е н і е XII.

Продолженіе объ изобразительности и одушевленіи рѣчи: гипербола, олицетвореніе, обращеніе, видѣніе 197

Ч т е н і е XIII.

Окончаніе о языкѣ украшенномъ. — Сравненіе, противоположеніе, воззваніе, восклицаніе и другія фигуры, или изобразительность и одушевленіе рѣчи 212

ХІІ

С. С л о г ъ.

Ч т е н і е XIV.

Стран.

Значеніє слога и его различіе. — Внутреннія
качества извѣснаго слога, выражающія господствующую
способность и характеръ писателя: крас-
нота, сила. — Вѣнныя качества извѣснаго сло-
га, зависящія собственно отъ способа выраженія:
краснота, изысканность 233

Ч т е н і е XV.

Примѣненіе о слогахъ. — Слогъ естественный,
протективный, влиятельный. — Средства и способы
въ употребленіи слога въ слогахъ 247



ВВЕДЕНІЕ.

Значеніе Словесности. — Предметъ и раздѣленіе
Философій Словесности. — Вспомогательныя науки Словесности.

Приступая къ изученію Словесности, починаю необходимымъ посвятить первую часть обзорнѣю всѣхъ частей и вспомогательныхъ наукъ Словесности. Такое обзорнѣе покажетъ намъ, какое мѣсто занимаетъ каждая часть науки, назначеніе каждой части и способы изученія.

Если раскроемъ мы курсы Словесности нѣсколькихъ писателей; то увидимъ, что въ бѣльшей части названіе Словесности или принимается въ разныхъ значеніяхъ, или одно и то же значеніе рассматривается съ разныхъ сторонъ, или и значеніе Словесности употреблено неопредѣленное и рассмотрѣніе съ разныхъ сторонъ смѣшенное. Такъ нѣные, принимая Словесность за искусство, отвергаютъ потребность изученія Словесности, какъ науки, и представляютъ все природѣ. Другіе, слѣдуя *Батте*, *Эшенбургу*, ограничиваютъ Словесность, какъ науку, изученіемъ теоретическимъ; или, вмѣстѣ съ *Сисмонди*, *Вильменемъ*, рассматриваютъ ее исторически; или, подобно *Джонсону*, *Вольфу*, критически разбираютъ писателей. Къ

XIV

прешнему роду принадлежатъ курсы Словесности, въ которыхъ, опъ неопредѣленнаго значенія самаго предмета, изящныя шворенія смѣшаны съ полипическими, гдѣ теорія ни мало не оправдывается ея исторіею. Таковы Лицей *Лагарповъ*, Эстетика и Исторія Нѣмецкой литературы *Бутервека*. Отсюда происходитъ, что для одного и того же предмета находите вы сочиненія подъ различными названіями: Изящныхъ наукъ (*schöne Wissenschaften*), Словесныхъ изящныхъ искусствъ, Изящной словесности (*belles lettres*), Курсовъ литературы, не говоря уже о Риморикѣ, Пипикѣ, Крипикѣ, подвергавшихся въ разныя времена различнымъ измѣненіямъ. Опъ этой неопредѣленности въ значеніи Словесности находимъ въ составѣ ея предметы, къ ней не принадлежащіе, каковы Психологія, Логика, Эстетика; напротивъ, предметы, собственно составляющіе ея части, н. п. теорія языка, его исторія, исключены изъ области Словесности; многіе предметы, хотя и относящіеся къ Словесности, излагаются бѣльшею частію безъ всякой связи и послѣдовательности.

Изъ этого вы видите, что слово, начавшееся съ первымъ раскрытіемъ разумнія въ человѣкѣ, непрерывно имъ употребляемое, это могущественное орудіе ума, воли и чувства, даже въ наше время не можеть похвалиться точностью системы.

Какоежъ значеніе Словесности истинное? Какіе предметы и въ какомъ порядкѣ входятъ

въ ея сосипавъ? Какія науки служатъ ей знаніями вспомогапельными? Воипъ вопросы, опъ опредѣлевнаго рѣщенія копорыхъ ависипъ опредѣленный порядокъ нашихъ занятій. Въ полной сисшемъ ея увидимъ мѣсто, какое занимаетъ каждая частъ Словесности.

Умственная дѣятельность чловѣка проявляется въ двухъ видахъ: въ *постиженіи* Творца и Его творенія, или духа, чловѣка и природы, и въ *творчествѣ*, посредствомъ котораго невидимый міръ мыслей и чувствованій, сокрытый въ чловѣкѣ, переходипъ въ міръ явленій. Посипженіе раждаетъ *науку*; произведеніе творчествва еспъ *искусство*. Наука, или постиженіе, опкрываетъ въ природѣ идею испины, въ чловѣкѣ — идею блага. Въ искусствѣ, или въ созданіи новаго, особаго міра, является идея излцнаго.

Въ наукахъ о природѣ умъ нашъ, опкрывая законы явленій, сводипъ все дѣйствительное въ возможное. Въ Физикѣ, н. п., мы наблюдаемъ явленія элекпричествва, постигаемъ законъ, при которомъ эти явленія возможны: и опкрыпіе закона извѣстныхъ явленій еспъ уже собственность науки; зная возможность явленій, мы повелѣваемъ дѣйствительностью, всю природу превращаемъ въ понятія.

Въ наукахъ о чловѣкѣ шѣмъ же самымъ путемъ посипженіе опъ явленій приводитъ насъ къ ихъ законамъ — опъ дѣйствительнаго

къ возможному. Наблюденіе явленій, въ чловѣкѣ происходящихъ, нашихъ силъ умственныхъ, нравственныхъ, открываетъ намъ ихъ законы; постиженіе этихъ законовъ составляетъ также науку — переходъ отъ дѣйствительнаго къ возможному. Зная условія, при которыхъ возможно какое-либо дѣйствіе въ чловѣкѣ, мы въ состояніи располагать этимъ дѣйствіемъ.

Совершенно противоположнымъ путемъ идетъ творчество — отъ возможности къ дѣйствительности. Рафаэль однажды заснулъ съ мыслію о Мадоннѣ; пробужденный, воскликнулъ: *она здѣсь*, и начертилъ первый рисунокъ дивнаго своего созданія. Моцартовъ *Донъ-Жуанъ* есть также вылепленный изъ груди восторгъ въ очаровательныхъ звукахъ. Державина *Богъ и Фелица*, Жуковского *Пловецъ во станѣ Русскихъ воиновъ*, Пушкина *Борисъ Годуновъ* — это творческіе, поэтическіе помыслы, явившіеся въ изящномъ словѣ — преобразованіе идей въ явленія, возможности въ дѣйствительность.

Изъ этого очевидно, что наука, слѣдствіе постиженія, образуетъ мысли изъ явленій дѣйствительныхъ, а искусство, наоборотъ, превращаетъ мысли въ явленія дѣйствительныя. Тамъ всѣ выводы постиженія приближаютъ насъ къ идеямъ истины и блага; здѣсь всѣ творенія искусства суть приблизительныя выраженія идеи изящнаго. Поэтому всякое словесное изображеніе изящнаго есть творче-

ство, а *Словесность*, врожденный даръ чело-
вѣчества, народовъ и челоѣка — даръ претво-
ряющъ идеи въ словесные образы, есть *искусство*.

Но всякое искусство, или лучше сказать, всѣ творенія искусства, переходя въ міръ явленій, изъ идей преобразовавшись въ дѣйствительность, становящся предметомъ постиженія наравнѣ съ прочими предметами міра видимаго. Постигженіе законовъ творящаго духа, подобно постиженію законовъ другихъ явленій въ себѣ самихъ и явленій природы — также сводитъ явленія въ идеи, дѣйствительное превращаетъ въ возможное и образуетъ науку. Слѣдовательно къ наукамъ объ идеяхъ истины и блага присоединяется наука объ идеѣ изящнаго. Въ этомъ значеніи разсматриваемая *Словесность*, какъ постиженіе законовъ изящнаго въ словѣ, есть *наука*.

Явствуетъ, что Словесность можетъ быть разсматриваема только въ двоякомъ значеніи: искусства и науки. Въ первомъ смыслѣ это *творчество въ изящномъ словѣ*; во второмъ — *постигженіе изящнаго въ словѣ*. Чтожъ значить учиться Словесности? Словесность, какъ наука, можетъ показать постигнутые законы творящаго духа въ искусствѣ и всѣ формы, въ которыхъ этотъ творящій духъ является посредствомъ слова; но сила творящая не дается наукою — она даръ врожденный. Словесность, какъ и всякая наука, ограничивается постиженіемъ законовъ, при которыхъ возможно творческое произведеніе духа

XVIII

въ словѣ. Не тоже ли дѣлаетъ умъ шагъ въ наукѣ о природѣ? Постигнувъ законы электричества, мы въ состояніи оспарить громовое облако; но можемъ ли произвести въ атмосферѣ громъ и молнію?—Таковы предѣлы умственной дѣятельности нашей: цѣль науки постигать; цѣль искусства — творить. Ученые — жрецы науки, художники, въ томъ числѣ поэты и ораторы — жрецы искусства. Въмѣсто извѣстнаго изреченія: *poëtae nascuntur, oratores fiunt*, правильно говорить: *poëtae et oratores nascuntur, viri docti fiunt*. Познавъ ограниченность ума, повѣрите ли вы тому, кто обѣщалъ бы научить васъ риторическому *изобрѣтенію*? Этого сокровища, какъ и *философскаго камня*, человѣкъ не творитъ; это вѣчная тайна и даръ природы. Въ храмъ науки всякаго проведетъ прудъ постоянный и неутомимый; въ храмъ искусства входятъ только опыты рожденія посвященные.

Отсюда проясняется цѣль и нашего ученія. Многіе предубѣждены пропивъ Словесности, какъ науки риторовъ, предлагающихъ несбыточныя обѣщанія, а не дѣлѣ, вмѣсто науки изобрѣтенія, дающихъ одни пропы и фигуры: попому-то многіе начали сомнѣваться въ ея возможности. Скептицизмъ обыкновенное явленіе въ умѣ, устлавшемъ опыты тщетныхъ изысканій, и не знающемъ собственныхъ силъ. Но на попріицъ наукъ и заблужденія приводятъ къ истинѣ. Такъ Алхимія Бомбаста Парацельса предшествовала Химіи Тенара, Фарра-

дая, Берцеллія. Такъ и Рипорика Бургія и Гейнекція должна была предшесітовать наукѣ объ изящномъ словѣ Блера, Шлегелей, Бахманна.

Познавъ *генетически* истинное значеніе Словесности, мы раскроемъ все ея *содержаніе* и разовьемъ *форму*, какъ особаго предмета вѣдѣнія человѣческаго.

Словесность, въ значеніи науки разсматриваемая, имѣетъ свою *философію* и *исторію*. Тамъ, гдѣ умъ остается только зрителемъ, нѣтъ философіи; но гдѣ, желая открыть принципы явленій, онъ спрашиваетъ: почему это возможно — путь рождается философія. И въ Словесности цѣль Философіи усмотрѣтъ пворящій духъ въ его производимости, какъ бы заспигнувъ его въ пворчествѣ словесныхъ созданій. Исторія Словесности показываетъ явленія изящнаго въ пворческихъ созданіяхъ словесныхъ того или другаго народа. Одна, т. е. Исторія Словесности, представляетъ *дѣйствительное* въ мірѣ словеснаго искусства; другая, т. е. Философія Словесности, излагаетъ *возможность* пворческихъ словесныхъ произведеній, при извѣстныхъ условіяхъ изящнаго. Одна, *аналитически* объясняя пворенія писателей, доводитъ до идеи изящнаго; другая, *синтетически* начиная изслѣдованія свои съ идеи изящнаго, доходитъ до его явленій въ пвореніяхъ писателей. Онѣ взаимно одна другой помогаютъ; Философія Словесности указываетъ единство началъ въ разнообразіи явленій Исторіи Сло-

внесли. Въ Истории науки нашей господствуетъ наведение (inductio); въ Философіи — выводъ (eductio). Истинное знаніе во всякой наукѣ возможно при пособіи того и другого способа умствования; изученіе Словесности также должно быть философическое и историческое. Названіе ученій въ Словесности умозрительнаго и опытнаго неправильно; потому что умозрѣнія не бываетъ безъ опыта, и опыта безъ умозрѣнія. Неправильно также названіе и теоретическаго ученія, хотя мы сами употребляемъ это названіе; потому что оно собственно противоположается ученію практическому, а не историческому.

Изъ совокупныхъ изслѣдованій философическихъ и историческихъ образуется *Критика*, или развитіе и облагородствованіе чувства изящнаго, преобразование его въ способность наблюдать степень приближенія образцовыхъ словесныхъ твореній къ своимъ идеаламъ. Критика не есть особая наука: — это приложеніе Философіи и Истории Словесности къ изящнымъ произведеніямъ.

Лучшимъ сочиненіемъ были для своего времени — по части Философіи Словесности, съ историческо-критическими разборами — Уроки *Блера*. Образцовыя творенія, съ современными понятіями о Словесности, въ отношеніи историческомъ — Чтенія *Фр. Шлегеля*, *Розенкранца*, *Вестерманна*, и критическія Чтенія о драмѣ *Авг. Шлегеля* и о новѣйшей изящной Словесности *Вольфа*.

Таково современное воззрѣніе на ученіе Словесности, одинакое съ воззрѣніемъ писателя, за шестнадцать столѣтій размышлявшаго о словѣ, именно Квинтилиана. Онъ также говоритъ, что занимающіеся Словесностью должны изслѣдовать: *artem, artificem, opus*. Первое изслѣдованіе соопвѣтствуетъ нашей Философіи Словесности, второе — Исторіи, третье Критикѣ. Слѣдовательно шестнадцать столѣтій потребно было для того, чтобы умъ снова открылъ истинное воззрѣніе, омраченное схоластиками. Сползъ пруденъ путь къ истинѣ!

Согласно съ этимъ воззрѣніемъ на Словесность, полный курсъ ея раздѣляется на философическое изученіе Словесности и историческое. Критика словесныхъ произведеній, прилагаемая къ тому и другому ученію, вѣнчаесть лишь пературныя занятія. Кто позналъ законы творящаго духа, извѣдалъ ихъ въ творческихъ созданіяхъ словесныхъ: тогъ въ состояніи почувствовать писателямъ и открывать въ нихъ изящное; тогъ безсознательное творчество преобразуетъ въ сознательное постиженіе.

Не думайте однако, чтобы Философію и Исторію Словесности можно было образовывать изъ громады свѣдѣній теоретическихъ и историческихъ: наука не есть хаотическій сборникъ разнородныхъ знаній (*aggregatum*); напрошивъ, это стройное цѣлое, живой организмъ, развивающійся изъ одного начала (*evolutio*). Сочиненія, не выполняющія этихъ условий, въ которыхъ одна идея не проведена

черезъ всѣ умствованія, не имѣють права на названіе науки; въ нихъ видимая связь состоиптъ только въ числѣ листовъ бумаги и параграфовъ. Наука заключается въ понятіяхъ однородныхъ, основанныхъ на одномъ извѣстномъ началѣ. Послѣ этого вамъ понятно сказанное мною въ началѣ бесѣды нашей о несогласіи курсовъ Словесности даже въ ея значеніи.

Оставляя въ настоящемъ случаѣ безъ подробнаго изслѣдованія Исторію Словесности, какъ особый предметъ преподаванія, обращаюсь къ ея Философіи, предмету нашего курса.

Значеніе и цѣль Философіи Словесности, какъ *прикладной* Эстетики, или науки объ изящномъ, какъ части Теоріи изящныхъ искусствъ, опредѣляютъ содержаніе ея и форму. Искусство, становясь предметомъ постиженія, или науки, представляетъ наблюдателю двѣ стороны, какъ природа и самый человѣкъ: внѣшнюю, или матеріальную, и внутреннюю, или идеальную. Словесность, какъ наука, также представляетъ разсмотрѣнію нашему двѣ стороны; а потому въ ея Философіи явственноподѣляются двѣ части: *объективная* и *субъективная*.

При воззрѣніи на творческое словесное произведеніе со стороны внѣшней, мы изучаемъ слово, какъ вещество мысли, въ немъ талящейся; сперва мы знакомимся съ буквою, чшобъ потомъ понять ея смыслъ. Здѣсь вы видите первое торжество чшловѣка надъ природою, развитіе мысли его въ членораздѣль-

ныхъ звукахъ и запечатлѣніе силъ, явленій и произведеній природы эпіями звуками. Наименовать предметъ значить уже познать его столько, чтобы отличить отъ другихъ. Такимъ образомъ самопознаніе человѣка выразилось первобытнымъ *языкомъ*, котораго развитіе нынѣ составляетъ болѣе пяти тысячъ языковъ производныхъ и нарѣчій, при всемъ вѣншемъ разнообразіи представляющихъ дивное и поразительное единство и сродство. Какъ изъ понятій умъ образуетъ сужденія: такъ изъ реченій, составляющихъ языкъ, образуется *рѣчь*. Въ рѣчи, какъ въ первомъ выраженіи мысли, заключаюся начала всѣхъ явленій духа въ словъ. Тутъ повпорядку прежде замѣченное нами, двойственное дѣйствіе ума, анализъ и синтезъ. Далѣе полный актъ мышленія совершается въ умозаключеніи: и полное выраженіе мысли, со всеми опливами чувства и воображенія, отражается въ *слогъ*. Слѣдовательно объективная часть Философіи Словесности состоитъ изъ *теоріи языка, изящной рѣчи и слога*. Но какъ всякое явленіе въ чловѣкѣ, природѣ и искусствѣ есть повтореніе общаго въ частномъ и особомъ, или составъ эпіихъ двухъ элементовъ: то и эта часть Словесности представляетъ общую теорію и частную, или особую: общіе законы языка, рѣчи и слога повпорядку въ языкѣ, рѣчи и слогѣ опечесственномъ.

Изслѣдованіе творчества духа чловѣческаго, проникнутаго идеей изящнаго, и зако-

XXIV

новъ, по которымъ изящное проявляется въ словесныхъ твореніяхъ, составляетъ предметъ *субъективной части* Философія Словесности. Искусство въ существѣ своемъ одно, равно какъ идея изящнаго одна. Но эта вѣчная идея, исходя изъ глубины духа нашего, можетъ открыться только въ формахъ и предметахъ нашихъ возрѣній, въ пространствѣ и времени. Все, что должно быть предметомъ нашего познанія, необходимо является или въ пространствѣ, или во времени, или совокупно во времени и пространствѣ. Очевидно, что творенія искусства должны проявлять идею изящнаго преимущественно во времени, или въ пространствѣ, или совокупно въ формахъ времени и пространства. Въ пространствѣ существуютъ тѣла, ограниченные въ протяженіи своемъ — вообще все, представляющее *образомъ*. Во времени происходитъ движеніе, явленія въ насъ самихъ, все, являющееся *звукомъ*. Наконецъ совокупное проявленіе во времени и пространствѣ выражается *словомъ*. Отъ этихъ способовъ проявленія идеи изящнаго въ искусствѣ происходятъ три главныя отрасли: *искусства образовательныя, тоническія и словесныя*, или *живопись* вмѣстѣ съ *пластикой*, *музыка* и *поэзія* въ обширномъ смыслѣ. А какъ человекъ, главный предметъ Поэзіи, есть представитель двухъ міровъ — духовнаго и вещнаго: то и словесное искусство, какъ выраженіе идеальнаго и дѣйствительнаго, разлагается

на *Поэзію*, собственно называемую, и *Краснорѣчіе*. Это двѣ полярныя противоположности: одна касается міра возможности, свободная и неопредѣленная; другая касается міра дѣйствительнаго, ограниченная и опредѣленная. Тупѣ, какъ и въ объективной части Словесности, общее повторяется въ частномъ, или особенномъ: общіе законы творящаго духа въ Поэзіи и Краснорѣчій повторяются, подъ вліяніемъ народности, въ Поэзіи и Краснорѣчій отечественномъ.

Мірѣ идеальный и дѣйствительный, изображаемый въ Поэзіи и Краснорѣчій, также представляетъ преимущественное выраженіе или внѣшней стороны, или внутренней, или сліяніе той и другой въ дѣйствіи. Отсюда въ Поэзіи и Краснорѣчій происходятъ соотвѣтственные роды творческихъ словесныхъ созданий: *Эпосъ* и *Исторія*, *Лири* и *Философія*, *Драма* и *Ораторская рѣчь*, или *Витійство*. Такимъ образомъ предметъ субъективной части Философіи Словесности заключается въ теоріи Поэзіи и Краснорѣчій.

Вопрѣ область Словесности, какъ науки объ изящномъ въ словѣ, огромное цѣлое, вмѣщающее въ себя два міра — человека и природу, гдѣ творческій духъ выражается въ эфирномъ веществѣ — въ словѣ. Въ немъ проявилось и первое выраженіе самопознанія человеческого, развившееся въ тысячахъ языковъ, и полное выраженіе духа, со всеми его движеніями и опливами, въ *Иліадѣ*, *Боже-*

XXVI

спивенной комедіи, Гамлетъ, Фаустъ и Борясь Годуновъ. — Гдѣжъ, спросите вы, Грамматики, Риторика и Піипика, изъ которыхъ двѣ послѣднія до такой степени обезображены въ продолженіе столѣтій, что многіе начали сомнѣваться въ возможности ихъ существованія? Неизмѣняемые законы Грамматики, пожественные съ законами Логикѣ, и законы изящнаго, впервые замѣченны въ словесныхъ созданіяхъ Платономъ и Аристотелемъ, однимъ въ разговорахъ: Гиппій болшомъ, Федръ, Іонъ, Горгіѣ, другимъ въ его Риторикѣ и Піипикѣ, входящъ въ составъ и нашей науки: Грамматики и Риторики имѣютъ принадлежащее имъ завѣдываніе въ объективной частѣ Философіи Словесности, Піипика — въ частѣ субъективной. Сверхъ того, въ субъективной частѣ, теорія Краснорѣчія соотвѣтствуетъ древней Ораторіи, (*doctrina, s. institutio de arte oratoria*) описанная Ломоносовымъ опъ Риторики и послѣ него забытая въ курсахъ Словесности.

Изъ этого обозрѣнія всѣхъ частей Философіи Словесности, обозначающаго предѣлы ея, какъ особаго предмета вѣдѣнія человѣческаго, не трудно указать на науки вспомогательныя.

Идея изящнаго, служащая основаніемъ Поэзіи и Краснорѣчію, составляетъ часть духовнаго нашего организма: познать эту часть возможно только при полномъ изслѣдованіи гармоническаго развитія всѣхъ силъ духа и при возвышеніи идей истинны и блага. Чув-

ство, элементъ всякаго изящнаго искусства, подаєтъ намъ свѣдѣніе о внушеніи нашемъ состояніи; но какъ же не вѣдать природы, съ кою рою мы находимся въ непрестанномъ соприкосновеніи, и нравственнаго долга нашего, подѣ влияніемъ кою рою мы живемъ и чувствуемъ? А знаніе ума естъ приближеніе къ идеѣ истины; дѣйствіе воли естъ стремленіе къ идеѣ блага. Изслѣдовать всѣ истины, охватить опчетъ во всѣхъ дѣйствіяхъ естъ дѣло Философіи. Она естъ самое размышленіе, въ связи и порядкѣ возвышенное до степени метода. А языкъ и слогъ — не вѣрное ли эпо выраженіе мыслящей способности, живописное опъ радужныхъ красокъ воображенія и оживленное чувство? Ясно, что изученію Философіи Словесности должно предшествовать изученію Философіи, науки идей: законы языка, слога, изящной рѣчи суть законы *Психологии*, *Логики*, *Эстетики*. Опъ вліянія Философіи на Словесность зависить различіе началъ, на основаніи кою рыхъ въ Словесности замѣчаемъ господство преимущественное или *идеализма*, или *эмпиризма*. Изъ древнихъ предшавишелемъ перваго былъ Платонъ, втораго — Аристотель. Въ новѣйшія времена ученые Германскіе слѣдуютъ Платону, Французскіе — Аристотелю. Англичане принимаютъ ученіе среднее между двумя предѣдущими.

Обращаюсь къ Исторіи Словесности. Творенія писателей, какъ шѣла въ природѣ и событія въ исторіи человечества и народовъ, всегда

XXVIII

въ связи съ предшествовавшими и послѣдующими. Разсмотримъ рядъ причинъ и слѣдствій, отражающихся въ сочиненіяхъ: и вы объясните себѣ словесное твореніе, какъ естественное испытаніе объясняютъ существа и явленія въ природѣ. Каждая эпоха въ Исторіи Словесности соотвѣтствуетъ какой-либо идѣ человѣчества, какимъ-либо народнымъ событіямъ. Сколько повѣствованій перешло къ намъ съ Востока? Чпò, можетъ быть, въ первый разъ рассказывалъ Аравіянинецъ, подъ наметомъ своимъ, у криспальнаго ручья, то рассказывали наши паломники, подъ соломенною кровлею, у пылающаго очага своей хижины. Сколько вліяній иноплеменныхъ испытала наша отечественная Словесность? Изученіе ея въ эпосъ отношеніи требуетъ изученія *Исторіи* вообще и *Исторіи литературы* древнихъ и новыхъ образованныхъ народовъ. Съ Исторіею *Литтературъ* неразлучна *Исторія изящныхъ искусствъ*; потому что явленіе одного искусства объясняется другими искусствами. Такъ въ величественныхъ памятникахъ Архитектуры среднихъ вѣковъ на Западѣ не читаемъ ли Исторіи всѣхъ искусствъ?

Наконецъ Крипика не можетъ обойтись безъ *языковъ иностранныхъ*, особливо *древнихъ*, *Греческаго и Латинскаго*. Мы сказали, что въ каждомъ реченіи таится мысль; что связь рѣчи есть самый разумъ въ явленіи. Въ отечественномъ языкѣ и даже въ иностранныхъ новыхъ языкахъ, которымъ научаемся изъ разговора,

мы этого не замѣчаемъ: единственно въ древнихъ языкахъ, изучаемыхъ въ смыслѣ науки изъ чшенія писателей, постигаемъ мы всѣ пущи, по которымъ идемъ умъ нашъ отъ одной мысли къ другой. Приводя разнообразіе понятій въ единство, мы пересоздаемъ въ себѣ всю систему знаній, приобретенныхъ сначала безъ порядка, безъ послѣдовательности. Что дѣлаетъ художникъ, выстѣкающій изъ куска мрамора прекрасную статую? По идеѣ, въ умѣ его представляющейся, онъ отдѣляетъ отъ мрамора лишніе части — и мертвый мраморъ подъ рукой его оживаетъ. Такъ и мы совершенствуемъ себя по образцу, какой въ умѣ нашемъ носимъ: отъ совершенства образца зависитъ совершенство образованія; чѣмъ онъ идеальнѣе, тѣмъ и наше образованіе совершеннѣе. Во всей исторіи развитія духа человѣческаго мы встрѣчаемъ немногіе моменты жизни народной, развившейся въ роскошномъ дѣтствѣ: это полное развитіе совершилось въ языкѣ Греческомъ и Латинскомъ. Изучая такое слово значитъ образованъ по немъ слово отечественное.

Сверхъ того мы открываемъ *родные источники для языка своего въ языкахъ соплеменныхъ, Славянскихъ*. Обильный, могучій и звучный языкъ предковъ нашихъ — языкъ древнихъ Славянъ, вмѣстѣ съ Вѣрою, крѣпко связываетъ съ нами народы единоплеменные, хотя и подъ разными скипетрами живущіе. Открывая въ соплеменныхъ Славянскихъ языкахъ формы, обра-

XXX

зуемья какъ бы изъ одного вещества и однимъ духомъ, мы находимъ въ нихъ то, чего не высказано въ нашемъ; въ нихъ опыскиваемъ слова, намъ родныя, излетающія изъ устъ соплеменныхъ живыхъ народовъ.

Вотъ знанія вспомогательныя Словесности. Между ними встрѣчаемъ мы нѣкопорыя, пользующіяся во многихъ курсахъ Словесности правами составныхъ ея частей, каковы: Психологія, Логика, Эстетика, Исторія. Они безъ разбора внесены въ Словесность, не составляющъ элементовъ одного цѣлаго организма, а могутъ быть заимствованы для объясненія. Весь кругъ знаній, принадлежащихъ собственно Словесности и знаній вспомогательныхъ, заключаешъ въ себѣ такъ называемыя науки *Словесныя*.

Ч Т Е Н І Я

О

СЛОВЕСНОСТИ.

ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ.

Необходимость дара слова для развитія ума и его совершенствованія. — Врожденное стремленіе чловѣка къ раскрытію идеи изящнаго въ словѣ. — Предметъ и цѣль Философіи Словесности. — Содержаніе ея и форма. — Польза Словесности въ отношеніи къ уму, волѣ и чувству изящнаго.

Даръ словеснаго сообщенія другимъ своихъ мыслей есть одинъ изъ нѣхъ высокихъ даровъ, копорыми Провидѣніе наградило чловѣка. Умъ безъ этой дивной способности не проливался бы благопворнымъ свѣтомъ. Слово составляетъ важнѣйшее орудіе, посредствомъ котораго чловѣкъ содѣйствуетъ счастью ближняго. Успѣхи мышленія зависятъ отъ выраженія и сообщенія мысли въ словѣ. Усилія одного чловѣка, безъ помощи другихъ, недостаточны для совершенствованія способностей. То, что мы называемъ разумомъ чловѣческимъ, не есть достояніе, или плодъ дѣятельности и врожденныхъ дарованій чловѣка, но разумъ чловѣчества, сокровище знаній, взаимно отъ одного другому передаваемыхъ въ словѣ и письмѣ.

Поэтому слово и письмо перебувають глибокого изученія. Предположимъ ли мы цѣлю Словесности ораторское убѣжденіе, или только занимательность чтенія, пользу или одно удовольствіе: въ томъ и другомъ случаѣ изученіе искусства выражать мысли свои краснорѣчиво, производишь въ слушателей или читателей желаемое дѣйствіе — составляешь одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ образованія. Всѣ народы, выразивъ на языкъ своемъ нужнѣйшія понятія, стремятся къ совершенствованію рѣчи. Посмотришь на простолюдиновъ: и въ нихъ замѣтно спараніе выражаться сильно и прилично, когда они хотятъ убѣдить или пронести. Человѣкъ началъ еще тогда украшать рѣчь свою, придавать ей свойственнаго изяществу, по врожденной идеѣ красоты, когда не существовала наука объ изящномъ. Но у народовъ просвѣщенныхъ болѣе всѣхъ искусство изучается искусство слова. Вниманіе, какое обращаютъ на эпосъ предметъ, всегда служивъ свидѣтельствомъ успѣховъ образованности. Лишь только получаютъ благоустройство общества, — являющіяся умы, которые могущественнымъ словомъ превосходятъ другихъ, съ распространеніемъ и усиленіемъ вліянія своего; они убѣждаются въ потребности возвышать даръ слова, искусство краснорѣчія. Такъ въ наше время изученіе Словесности считается необходимымъ въ воспитаніи юношества.

Многіе предубѣждены противъ искусства краснорѣчиво говорить и писать; называютъ его суешнымъ средствомъ преклонять другихъ на свою сторону и ослѣплять; видятъ въ немъ только мелочное изученіе словъ, изысканной рѣчи, виписанныхъ оборотовъ, украшенія, вмѣсто сущно-

спи дѣла. Такія обвиненія можно слышать даже отъ людей мыслящихъ: и они возстають противъ краснорѣчій и поэзій. Дѣйствительно, риторика и пѣшника иногда вредили успѣхамъ слова и вкуса, ни мало не содѣйствуя ихъ совершенствованію. Не смотря однако на злоупотребленіе, нельзя не согласиться, что искусство словесное, какъ и всякое другое, имѣетъ основаніемъ законы разума и чувства изящнаго. — Приложимъ эти законы къ Словесности, покажемъ отличіе истиннаго краснорѣчія отъ ложныхъ украшеній, объяснимъ, что отъ сущности сочиненія зависитъ его форма, и мысль служишь основаніемъ всякому художественному произведенію, простоша составляетъ все украшеніе — вопъ предметъ и цѣль науки о Словесности.

Словесность, разсматриваемая какъ особый предметъ вѣдѣнія человѣческаго, имѣетъ свою *Философію* и *Исторію*. Цѣль Философіи Словесности — открыть непреложные законы мысли въ словѣ, усмотрѣть духъ въ его производимости, какъ бы застигнувъ его въ самомъ творчествѣ. Въ этомъ отношеніи законы Словесности пожезественны съ законами Логики и Эстетики. Исторія Словесности показываетъ явленія этихъ законовъ въ творческихъ созданіяхъ словесныхъ того или другаго народа. Эти явленія, какъ выраженіе умственной жизни, согласны съ Исторіею религій, нравовъ и всего быта общественнаго. — Философія и Исторія Словесности взаимно одна другой помогаютъ; одна указываетъ единство началъ въ разнообразіи явленій другой. Изъ совокупныхъ изслѣдованій философическихъ и историческихъ образуется *Критика*, развитіе и облагородствованіе вкуса, или чувства изящнаго, до

способности наблюдать степень приближенія образцовыхъ словесныхъ пвореній къ своимъ идеаламъ.

Предметъ и цѣль Философіи Словесности опредѣляютъ содержаніе ея и форму. Словесность въ этомъ отношеніи представляетъ двѣ стороны: внѣшнюю, или матеріальную, и внутреннюю, или идеальную. Съ одной стороны она изображаетъ міръ понятій въ словѣ, какъ вещь-спѣвъ мысли, со всеми его формами; съ другой она показываетъ пворчество духа человеческого, проникнутаго идеей изящнаго, какъ выраженіе міра дѣйствительнаго и возможнаго. Изъ этого естественно слѣдуетъ раздѣленіе Философіи Словесности на двѣ части: *матеріальную*, или *объективную*, и *идеальную*, или *субъективную*. Въ первой содержатся основные законы слова, во второй законы Краснорѣчія и Поэзіи.

Предприимая изложеніе законовъ Словесности, починаемъ нужнымъ изслѣдовать важность и необходимость ея изученія. Мы не намѣрены превозносить одного предмета на счетъ другихъ; напрошивъ, думаемъ, что изученіе Словесности предполагаетъ, даже пребууетъ познанія прочихъ наукъ и изящныхъ искусствъ; оно объемлетъ ихъ въ себѣ и всѣмъ имъ придаетъ новое достоинство. Кто желаетъ успѣвать въ искусствѣ краснорѣчиво говорить и писать, шоптъ долженъ обогатить себя разнообразными, полезными знаніями, приобрести запасъ мыслей о предметахъ, какіе могутъ встрѣпиться въ жизни. Древніе починали необходимымъ условіемъ для вптін имѣть полное понятіе о всѣхъ наукахъ, и не были чуждымъ ни одного знанія (*).

(*) Quod omnibus artibus et disciplinis debet esse instructus orator.

Не возможно и бесполезно украшать выраженіями сочиненія, скудныя мыслями, блестящія по наружности и ничтожныя по содержанію. Эпѣ самыя попытки вредили иногда крайнорѣчію и унижали его достоинство. Многіе спараясь замѣнить мысли приапностію изложенія, предпочитаютъ скоропреходящія рукописканія необразованной и невоспояннот шолпы прочному одобренію людей образованныхъ и разсудительныхъ. Такое заблужденіе не продолжителъно. Истинно изящное сочиненіе должно бытъ проникнуто ученостію и познаніями; оны сославляютъ его сущностъ; наука о краснорѣчіи придаетъ ему только изящество: но кому не извѣстно, что одни твердыя шѣла способны принимать изящныя формы?

Иные, можетъ бытъ, должны будувъ писать или произносить рѣчи; другіе пожелають только образоватъ вкусъ къ изящному въ словѣ, узнать его законы, бытъ въ состояніи судить о словесныхъ произведеніяхъ. Что касается до шѣхъ, которые обязаны произносить рѣчи, самое призваніе ихъ пребуетъ глубокаго изученія Словесности. Говорить и писать ясно и приапно, правильно и благородно, изящно и сильно — эпотъ шаланшъ нѣеетъ нужду въ образованіи; неопытный въ словѣ не въ состояніи выразить мыслей своихъ съ сохраненіемъ ихъ достоинства. Сколькобы кто ни былъ богатъ приобретенными знаніями, сколь ни ошовашельны были бы сужденія; шотъ не успеетъ въ убѣжденіи наровнѣ съ другимъ, кто, при меньшихъ преимуществахъ во всемъ эшомъ, владѣетъ даромъ слова. Не должно однако думать, что для краснорѣчія досташочно имѣть врожденныя способности. Правда, при-

рода болѣе пнымъ благопріятствуешъ; но въ развитіи этого таланта, равно какъ и въ другихъ искусствахъ, природа предоставляетъ наукѣ усовершенствованіе и возвышеніе своихъ даровъ трудомъ и упражненіемъ. Вліяніе науки на искусство краснорѣчія очевидно; многіе примѣры убѣждаютъ въ возможности вознаградитъ трудомъ недоспадки природы. Никто не сомнѣвается въ томъ, что только дарованія, развитыя и усовершенствованныя ученіемъ, раскрываются въ словѣ ораторовъ и другихъ отличныхъ писателей.

Вразсужденіи способа изученія искусства, для достиженія извѣстной степени превосходства, существуютъ различныя мнѣнія. Не станемъ утверждать, что однихъ правилъ, какъ бы они хороши ни были, достаточно для образованія оратора: врожденныя способности собственнымъ упражненіемъ болѣе успѣваютъ, нежели одни наставленія и упражненіе въ искусствѣ слова безъ дарованій. Но если одни правила и ученіе недостаточны для успѣховъ въ краснорѣчіи; то не должно заключать объ ихъ безполезности: они не могутъ замѣнить генія, но способствуютъ къ его развитію; они не въ состояніи восполнить скудости дарованій, но предупреждаютъ погрѣшности дарованій врожденныхъ, руководствуютъ въ подражаніи образцамъ, открываютъ красоты, достойныя нашего изученія, и ошибки, которыхъ должны мы избѣгать; способствуютъ очищенію вкуса, выводятъ геній на истинный путь, когда онъ уклоняется, и указываютъ должное наведеніе; наконецъ, если они не могутъ произвести блистательныхъ качествъ, по крайней мѣрѣ, предупреждаютъ насъ отъ опаснѣйшихъ погрѣшностей. Сверхъ того изученіе словесности имѣетъ вліяніе на образованіе ума, и въ этомъ-то отношеніи

заслуживаетъ особенное вниманіе. Образовать даръ слова значитъ образованъ разумъ. Логика и Риторика взаимно соприкасаются: учишься точности въ выраженіи, значитъ учишься правильно мыслить. Облекая въ слово мысли наши, мы приводимъ ихъ въ ясность. Каждый, сколько нибудь упражнявшійся въ Словесности, знаетъ, что неспочность выраженія, вялость слога — всѣ эти недоспадки происходятъ отъ сбивчивости въ мысляхъ. Столь тѣсна связь между словомъ и мыслию!

Изученіе Словесности, во всѣ вѣка столь уважаемое, въ наше время представляется еще болѣе важности и необходимости. — Мы живемъ въ такомъ вѣкѣ, когда съ необыкновеннымъ усиленіемъ обрабатываются всѣ науки; когда вполне предаются изученію изящныхъ искусствъ, въ особенностяхъ изученію изящнаго слова во всѣхъ родахъ сочиненій. Самый слухъ преобладаетъ изящества въ рѣчи, и не терпитъ неправильности и небрежности въ сочиненіи. Писатель, не соединяющій изящества въ выраженіи съ достоинствомъ мысли, не можетъ ожидать долговѣчности своимъ сочиненіямъ. Можетъ быть, мы стали слишкомъ разборчивы въ этомъ отношеніи; можетъ быть, мы преувеличиваемъ требованія касательно изящества и украшеній слога; даже иные впадаютъ въ крайность, занимаясь болѣе словомъ, нежели мыслию: но это самое заставляетъ насъ тѣмъ болѣе заниматься искусствомъ писать. Если необходимо умѣть выражаться изящно, и это умѣнье въ наше время столько уважаемо; то еще болѣе необходимо образованъ вкусъ, для опличенія ложныхъ прикрасть отъ красоты истинныхъ. Это одно средство остановить распростран-

неніе вреднаго вкуса, которѣй, во время господства своего, увлекаетъ за собою незнающихъ и неопытныхъ. Тотъ, кто не изучалъ правилъ краснорѣчія, кто не наблюдалъ гениальныхъ писателей, не вкушалъ возвышенныхъ и чистыхъ красотъ ихъ, ослѣпляется ложнымъ блескомъ однодневныхъ сочиненій, и, предпринимая самъ писать или говорить, принужденъ бываешь слѣдовать за полпою.

Но въ числѣ занимающихся находятся и такіе, которые не готовятся ни писать, ни произносить рѣчей: почищаютъ необходимымъ показать пользу, какую и они могутъ получить отъ изученія Словесности. Для нихъ наука о словѣ болѣе наука умозрительная, нежели сколько практическая. — Правила, полезныя другимъ для упражненія въ сочиненіяхъ, могутъ служить имъ для уразумѣнія красотъ въ словесныхъ произведеніяхъ. Наука, руководствующая геній въ пворчествѣ, образуетъ вкусъ и приводитъ его въ состояніе судить о гениальныхъ созданіяхъ. Крипика, умѣнье судить о писателяхъ, равно какъ и Рипорика, имѣетъ многихъ противниковъ. Какъ Рипорику нѣкоторые называютъ однимъ схоластическимъ изученіемъ словъ, оборотовъ и фигуръ: такъ иные и Крипику принимаютъ за искусство находить въ сочиненіяхъ одни недоспадки, прилагають къ изящнымъ произведеніямъ извѣстные правила и методически унижаютъ какое-либо сочиненіе. — Но истинная Крипика есть плодъ науки, самый вкусъ облагородствованный, основанный на законахъ разума. Цѣль ея — показать достоинства писателей; она способствуетъ живѣйшему чувствованію ихъ красотъ, ошклоняетъ отъ слѣпаго уваже-

нія сочиненій, по которому мы смѣшиваемъ красоты и недоспашки; она научаетъ насъ удивляться или порицать опчешливо, а не по прихотямъ другихъ. — Въ наше время, когда творенія гения и всѣ произведенія Словесности составляютъ обыкновенный предметъ бесѣды въ обществѣ, когда каждый хочетъ судить, и не лѣзя не участвовавши въ подобныхъ сужденіяхъ — наука о словѣ становится необходимою: помощію ея можно довершить образованіе и явиться истинно просвѣщеннымъ.

Впрочемъ для науки недоспашочно имѣть цѣлно блескъ общества, безъ прочаго основанія. Упражненіе вкуса и образованіе его здороваго критикомъ служатъ также средствомъ къ усовершенствованію мышленія. Прилагая къ дару слова и къ словеснымъ произведеніямъ законы ума, открывая въ твореніяхъ излщное, и изслѣдуя причины излщества, щщательно оплщляя основательное опъ поверхностнаго, истинныя красоты онъ изысканности — мы вмѣстѣ съ нѣмъ успѣваемъ въ важнѣйшей части Философіи, въ наукѣ о чловѣкѣ. Эти изслѣдованія щсно соединены съ изученіемъ насъ самихъ: они заставляють насъ вникать въ шворчество воображенія и въ движенія сердца, возбуждають въ насъ нѣжныя чувствованія и научають въ каждомъ ихъ понимать. Изслѣдованія собщвенно философическія имѣють предметомъ содѣйствіе уму въ опкрытіи истинны и направленіе воли къ добру; они показываютъ чловѣку, въ опношеніи къ познаніямъ, способы къ усовершенствованію умщвенному, или начерпывають обязанности сму, какъ существу нравщвенному. Излщныя искусства и Словесность размщривають его какъ существо, одаренное вку-

сомъ, или чувствомъ къ изящному — способностью украшать всю духовную природу и доставлять ей удовольствія благородныя и возвышенныя. Все, что относится къ прекрасному и высокому, все, что убеждаетъ разумъ, плавитъ воображеніе и пробогаетъ сердце — все это составляетъ область изящества и изящной Словесности. Это ученіе представляетъ природу человѣческую съ особой точки зрѣнія; оно открываетъ глубокія тайны и законы духа нашего, и, при всей утонченности своей, производитъ сильное и могущественное вліяніе на нашъ духовный организмъ. Занятіе изящною Словесностью упражняетъ умъ, не обременя его; входитъ въ изслѣдованія подробныя, но незатруднительныя, глубокія и вмѣстѣ очевидныя; оно разсыпаетъ цвѣты на пути къ знанію. Возбуждая въ умѣ дѣятельность, оно успокоиваетъ его отъ пруда тягостнаго, впрочемъ необходимаго для успѣховъ въ приобрѣтеніи знаній прочныхъ и надежныхъ. — Образованіе вкуса имѣетъ еще другія выгоды: оно производитъ самое благошворное вліяніе на всю жизнь человѣческую. Часто, упомянутыя занятіями общественной жизни, мы чувствуемъ потребность въ другихъ занятіяхъ, которыя питали бы духъ нашъ и вмѣстѣ его улаждали. Самыя удовольствія житейскія, все земное счастье исщипывается въ средствахъ, доставляющихъ намъ разнообразныя наслажденія. Отъ того не рѣдко иные засыпаютъ отъ праздности, среди всѣхъ благъ возможныхъ, равно какъ слабѣютъ другіе отъ однообразныхъ занятій. Чѣмъ же восполнить эти промежутки отдохновенія, болѣе или менѣе встрѣчающіеся въ жизни? Какое употребленіе изъ нихъ можетъ быть лучшее, при-

яшнѣйшее и достойнѣйшее нашей природы, какъ не посвященіе ихъ предметамъ вкуса и упражненію Словесностію? — Кто полюбитъ эти занятія, шопъ въ минушы опдохновенія всегда найдетъ наслажденія чистыя и добросовѣстные, удаляющія насъ опъ всѣхъ разрушительныхъ и опасныхъ спрасей; шопъ не будетъ въ шягоспъ себѣ самому; для разсвѣнія скуки, споль часто омрачающей нашу жизнь, не прибгнетъ къ наслажденіямъ грубымъ, въ шуму общественномъ, часто среди людей недостойныхъ. Само Провидѣніе указало намъ на удовольствія вкуса, поставивъ чувство изящнаго въ средошочіи между умомъ и волею. Какъ нравственныя существа, мы не должны ни пресмыкаться долу, ни парить въ спранахъ воздушныхъ: удовольствія вкуса помогаютъ занятіямъ опвлеченнымъ, и удаляютъ опъ вредныхъ наслажденій; они ведутъ насъ къ радостямъ добродѣтели.

Эти замѣчанія споль часто подшверждаются опытомъ, что мудроспъ признала закономъ въ воснипаніи, заранте внушашъ юности любовь къ удовольствіямъ вкуса. Съ образованнымъ даромъ слова юноша способенъ ко всякому высшему назначенію и къ исполненію всѣхъ обязанностей, на него возлагаемыхъ. Тѣ всегда подаютъ лучшія надежды, копорые имѣютъ вкусъ къ изящному, даръ слова и знанія Словесности: это самое вѣрное ручательство въ добрыхъ свойствахъ. Напрощивъ, нечувствительный къ красотамъ поэзіи, краснорѣчія и искуссва вообще не много общается, и подаетъ поводъ предполагать въ немъ шакія наклонности, копорыя спсавляютъ человека въ послѣдніе ряды общества. Образование вкуса имѣетъ вліяніе на счастливѣйшее и лучшее расположеніе духа: оно


возбуждаетъ чувствительность, упражняя въ насъ тихія и благородныя спраспи; оно вмѣстѣ съ тѣмъ умѣряетъ спраспи сильныя и разрушительныя. «Изящныя искусства» сказалъ одинъ древній поэтъ, «смягчаютъ нравы и предохраняютъ ихъ отъ суровости (*).» Возвышенныя чувствованія, великіе примѣры, представляемые намъ поэзіею и краснорѣчіемъ, не могутъ не воспламенить въ насъ любви къ славѣ, пренебреженія дарами славнаго счастья, и удивленія всему высокому и прекрасному (**).

Говорить ли еще о томъ, что вкусъ и добродѣтель образуются одними средствами, и что они всегда въ тѣсной связи между собою? Для исправленія порочныхъ склонностей, безъ сомнѣнія, пошребны средства болѣе дѣйствительныя; предметы вкуса часто скользятъ только по поверхности души, тогда какъ въ самой глубинѣ сердца сѣдается спраспами: однако и эстетическое образованіе сердца растворяетъ его къ принятію сѣменъ добродѣтели. Кто изъ насъ не испыталъ, что, послѣ чтенія великихъ образцовъ Краснорѣчія и Поэзіи, мы чувствуемъ себя возвышеннѣе? Пусть это чувство непродолжительно; но и оно ведетъ къ добродѣтели. Кому также не извѣстно, что человѣкъ безъ высокихъ добродѣтелей не можетъ успѣвать въ краснорѣчіи? Надобно самому чувствовать, какъ чувствуетъ добродѣтельный, чтобъ прогать и убѣждать дру-

(*) ————— *Ingenuas didicisse fideliter artes*
Emollit mores, nec sinit esse ferros.

(**) Объ этомъ полезно прочесть *Шиллера*, въ его
 »Ueber die æsthetische Erziehung des Menschen.«

гихъ. Пламенное чувство истины, блага и изящества — вотъ пошъ огонь, опъ котораго возгараются духъ оратора; вотъ источникъ, изъ котораго онъ почерпаетъ великіе помыслы, предметъ удивленія во всѣ времена и во всѣхъ странахъ! Если добродѣтели нужны для произведенія и одушевленія сильныхъ движеній краснорѣчія; то онъ же необходимъ и для того, чтобы вкушать красоты изящнаго и чувсвовать всю ихъ сладость.



ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ.

Предметъ Философіи слова, или объективной части Словесности. — Происхожденіе слова человѣческаго, современное развитію мысли. — Постепенное совершенствованіе его, согласное съ развитіемъ душевныхъ способностей человѣка. — Произношеніе въ древнихъ языкахъ, и начала языка поэтическаго, или одушевленнаго.

Первымъ предметомъ изслѣдованій нашихъ будетъ слово, какъ основная стихія Краснорѣчія. Мы войдемъ въ нѣкоторыя подробности этой основной стихіи: въ области Словесности мало предметовъ, заслуживающихъ болѣе внимательнаго изслѣдованія.

Сознаніе бытія нашего собственнаго и существованія предметовъ постороннихъ, насъ окружающихъ, заключаетъ въ себя всю систему выраженія мысли, или слова. Поэтому, при возвращеніи на слово, какъ на вещество мысли, представляющіяся разсмотрѣнію нашему два предмета: возможность образованія и развитія *словесной стихіи*, и проявленіе ея въ различныхъ *формахъ*. Съ одной стороны мы должны показать: *стихіи слова и законы ихъ соединенія*. Сверхъ того представленіе мыслей письменами есть особая способность, — память человѣчества: а потому изслѣдовать должно различныя системы *знаковъ*, соотвѣствующихъ, равно какъ и слово, развитію разума. Съ другой стороны разсматриваемое слово, со стороны формъ, какія принимаетъ оно при проявленіи въ немъ мысли, какъ совокупность образовъ и звуковъ, представляетъ *изобразительность рѣчи* и ея *благозвучность*. Въ этихъ общихъ условіяхъ совершенной рѣчи открываются

особенныя свойства творящей мысли — *словъ*, или различные способы выраженія. Всѣ эти изслѣдованія составляютъ предметъ собственно *Философіи слова*, или *объективной части Словесности*.

Слово вообще есть выраженіе мыслей нашихъ посредствомъ членораздѣльныхъ звуковъ. Подъ членораздѣльными звуками мы разумѣемъ измѣненія голоса, или простой изъ груди исходящій звукъ, ограничиваемый различными органами, каковы: зубы, языкъ, губы, поднебье, носъ, горшанъ. Въ наше время это есть способъ сообщенія мыслей находящійся на высочайшей степени совершенства. Посредствомъ слова мы быстро объясняемъ другъ другу тончайшіе опытки мысли и нѣжныя ощущенія сердца. Не только окружающіе насъ чувственные предметы имѣютъ свои названія, указывающія намъ на самые предметы, но всѣ ихъ взаимныя отношенія и малѣйшія отличія обозначены въ словѣ со всею точностью; внутреннія чувствованія также выражены особыми знаками; понятія отвлеченныя, всѣ идеи, составляющія богатство наукъ, и всѣ созданія воображенія, облекаясь въ слово, переходятъ въ явленія, для насъ осязательныя. Слово, раздѣлившееся на разныя языки, образовало разные языки, собственность того или другаго народа. Это есть способъ выраженія мысли нашей, по удовлетвореніи первыхъ потребностей общественной жизни, обращается въ орудіе художественной роскоши. Недовольные простою ясностію выраженій, мы пребудемъ опы нихъ извѣстнаго убранства. Для насъ недостаточно, чтобы другіе просто сообщали намъ мысли свои; мы хотимъ, чтобы это сообщеніе было изящно. Въ этомъ состояніи, за нѣсколько тысячелѣтій, уже находимъ мы слово у многихъ народовъ. Привычка до того сроднилась намъ съ

эпикъ явленіемъ, что мы взирѣмъ на него безъ удивленія, равно какъ взираемъ на швердь небесную и на другіе величественные предметы природы, къ коимъ привыкло наше зрѣніе. Мы любуемся различными произведеніями искусства, гордимся новѣйшими открытіями въ наукахъ, способствующими удобству и принашности жизни; поспѣваемъ въ нихъ славу человѣчества: но что болѣе слова имѣетъ право на наше удивленіе?

Наблюдая дивное строеніе слова, умъ человѣческій спарается объяснить возможность его происхожденія. Иные предполагали первобытное состояніе человѣка дикимъ, чуждымъ связей жизни общественной и взаимнаго сообщенія чувствованій: и въ этомъ состояніи приписывали человѣку изобрѣтеніе слова. Другіе, замѣчая во всѣхъ языкахъ, при всемъ разнообразіи отдѣльныхъ выраженій, сходство и единство въ составѣ и строеніи, почиваютъ слово даромъ небеснымъ. Первое мнѣніе принадлежало въ древности Схоламъ, второе — Академикамъ (*).

(*) Объ этомъ можно читать разговоръ Платона: *Kratylos*. Сюда относится мѣсто въ сочиненіи Авла Геллія кн. X, гл. 4: »Nomina verbaque non posita fortuito, sed quadam vi et naturae ratione facta esse, Nigidius in grammaticis commentariis docet; rem sane in philosophiae dissertationibus celebrem. In eam rem multa argumenta dicit, cur videri possint verba esse naturalia magis quam arbitraria. Vos, inquit, cum dicimus, motu quodam oris conveniente cum ipsius verbi demonstratione utimur, et labias sensim primores emovemus, ac spiritum atque animum porro versum, et ad eos, quibuscum sermocinamur, intendimus. At contra cum dicimus nos, neque profuso intentoque flatu vocis, neque projectis labiis pronunciamus; sed et spiritum et labias quasi intra nosmet ipsos coercemus. Hoc fit idem et in eo quod dicimus tu et ego, mihi et tibi. . . In his vocibus, quasi gestus quidam oris et spiritus naturalis est.»

Если перенесемъ мысленно, говорящъ послѣдователи перваго мнѣнія, въ эпоху, предшествовавшую изобрѣтенію словъ и ихъ употребленію, то увидимъ, что людямъ представлялся одинъ только способъ взаимнаго сообщенія своихъ чувствованій — голосъ спраспей, сопровождаемый шлодвиженіями. — Такимъ знакамъ научаетъ насъ природа; они понятны всѣмъ людямъ. Видѣлъ ли кто либо, что другой идетъ шуда, гдѣ самъ пораженъ былъ спрахомъ и подвергся опасности: желая опвратить себя подобнаго опъ этого намѣренія, не сшалъ ли бы одинъ взывать къ другому голосомъ, свойственнымъ спраху, показывая шлодвиженіями предстоящую опасность? Такъ и въ наше время спали бы изъясняться два человека, говорящіе на разныхъ языкахъ, оставленные на необитаемомъ оспровѣ. Изъ этого заключающъ, что восклицанія, или междометія, выражающія движенія спраспей, были первыми стихіями слова. Но когда нужды общественныя поспребовали дальнѣйшихъ сношеній, и предметы спали замѣняющъ знаками, какимъ образомъ люди приступили къ приложенію этихъ знаковъ къ предметамъ, какъ дошли они до изобрѣтенія словъ? Безъ сомнѣнія, думаютъ, они давали предметамъ наименованія, которыхъ звукъ выражалъ по возможности внутреннія ихъ свойства. Какъ живописецъ, для изображенія правы, избираетъ зеленую краску: такъ, при первоначальномъ образованіи слова, для означенія предмета пвердаго и сильнаго, естественнo избирали звукъ жесткій и грубый (*).

(*) *Harris's Hermes or a philosophical inquiry concerning universal grammar*; Lond. 1777. — *Jak. Beattie The theory of language in 2 parts*; Lond. 1788. — *S. G. Herder's*
Чт. о Сл. Ч. I. 2

Предполагають, что изображеніе словъ и наименованій предметовъ совершилось произвольно, безъ всякаго выбора, безъ достаточнаго основанія, значило бы предполагать слѣдствіе безъ причины. Къ избранію одного наименованія, предпочтительно предъ другимъ, всегда былъ особенный поводъ; при первыхъ же попыткахъ своихъ въ образованіи слова, люди старались изображать предметъ болѣе или менѣе совершенно, по возможности подражая впечатлѣніямъ предметовъ посредствомъ голоса.

Обращаемся ко второму мнѣнію, согласному съ развитіемъ душевныхъ способностей. Здѣсь мы увидимъ, что слово современно разуму, и всѣ законы спроектія языковъ пожезшвенны съ законами мышленія.

Съ пробужденіемъ самопознанія начинается свободная дѣятельность духа: она показываетъ освобожденіе его отъ вещественной необходимости, возвышеніе надъ нею. Образование формъ, въ какихъ мыслы исходятъ изъ насъ, есть дѣло воображенія: оно или повторяетъ прежде приобретенное, или творитъ совершенно новое; въ первомъ состояніи оно называется *силою воспроизводительною*, во второмъ *творческою*. Воображеніе воспроизводящее предполагаетъ въ духѣ безсознательное присутствіе приобретенныхъ ощущеній, и воссозданіе ихъ есть только возобновленіе сознанія. Безсознательное присутствіе готовыхъ представленій и возможность снова по произволу приводить ихъ въ сознаніе принадлежатъ къ особымъ качествамъ

Ueber den Ursprung der Sprache; Berlin, 1772. 8. — Des
Brosses Traité de la formation mécanique de langues; Par.
1765, 2. voll.

духа, хотя несомненнымъ, но необъяснимымъ для человеческого разума. Оно служитъ непосредственнымъ свидѣтельствомъ того, что духъ человѣскій безконеченъ въ самомъ себѣ, или что въ немъ содержится полнота безконечно многихъ существъ. Онъ вообще неспособенъ ни къ какому образу, или представленію, если возможность этого образа, или представленія въ немъ уже не заключается; дѣйствительные предметы и всѣ впечатлѣнія на него служатъ ему только поводомъ къ сознанію. Всякое возрѣніе есть развитіе чего-то первоначально неразвитаго: опъ того согласіе между предметомъ и его образомъ. Когда однажды чувственнымъ возрѣніемъ, переходящимъ потомъ въ духовное изображеніе предмета, возбуждена свободная дѣятельность духа; тогда онъ покоряетъ себѣ всѣ образы и представленія, обращаетъ ихъ въ свою собственность, и приобретаетъ способность употреблять ихъ по своей волѣ. Эта дѣятельность духа есть основная его сущность, преобладающая возбужденія.

Такъ какъ воображеніе есть чувство, возведенное на высшую степень развитія, то оно занимаетъ у чувства свои образы, или элементы для ихъ созданія. Въ воссозданіи многообразныхъ образовъ воображеніе слѣдуетъ законамъ, основаннымъ на связи и послѣдовательности самыхъ предметовъ, къ которымъ образы относятся, и законамъ самаго духа, каковы законы соединенія или согласованія идей. Эта творческая способность служитъ образованіемъ слова, какъ совокупности безчисленнаго множества образовъ въ членораздѣльныхъ звукахъ человеческого голоса. Слово рождается непосредственно изъ духа, приведеннаго въ дѣятельность, который прежде всего осуществляетъ въ себѣ

каждую мысль, представляя ея со всею очевидностію, и потомъ уже изводитъ ея изъ себя въ членораздѣльныхъ звукахъ. Поэтому слово соотносится къ мыслямъ, а не къ самымъ предметамъ; и какъ изображаются предметы въ умѣ, такъ и выражаются въ словѣ. По необходимому закону духа, всѣ мысли посредствомъ слова преобразуются въ образы; тогда онѣ являются духу, какъ предметы, и становятся для него понятными. Мысль, по этой причинѣ, можно назвать внутреннею рѣчью, разговоромъ духа съ самимъ собою.

Съ выраженіемъ мысли въ образахъ необходимо согласуется голосъ съ членораздѣльными звуками, новое осуществленіе мысли, которое непосредственно изъ насъ исходитъ. Звукъ и голосъ въ физической природѣ, онъ металла до человѣка, выражаютъ внутреннее состояніе предметовъ. Какъ звукъ въ тѣлахъ неорганическихъ рождается при каждомъ ихъ сотрясеніи: такъ въ человѣкѣ онъ обнаруживаетъ движеніе души; онъ тѣло, или какъ бы вещество мысли. Тѣло сполнѣе многообразно можетъ опредѣляться извнѣ, какъ многообразны внѣшніе предметы: такъ и тѣло или вещество духа, звукъ, способенъ къ образовательности, различнымъ измѣненіямъ; въ немъ отражаются всѣ состоянія духа. Онъ того слово измѣняется по тѣмъ же самымъ законамъ, по которымъ рождаются мысли; онъ того языкъ и мышленіе взаимно соотносѣваются другъ другу и создаютъ два различныя явленія одного и того же существа. Чѣмъ ближе всѣ языки къ первоначальному источнику, тѣмъ чувствительнѣе и живописнѣе; но подвергаясь обработкѣ ума, теряютъ свою живописность. Очевидно такъ-

же, что въ первоначальномъ состояніи они звучали сходно, и только въ продолженіе времени отдѣлились одинъ отъ другаго. Пришомъ одни и тѣ же предметы на разныхъ людей производящъ различныя впечатлѣнія; одинъ и тотъ же предметъ представляетъ различныя стороны, служащія поводомъ къ различнымъ представленіямъ. Въ различіи споронъ предметовъ и въ особенныхъ свойствахъ духа заключается развитіе различныхъ языковъ.

Такъ образуется слово въ духъ нашемъ. Оно означаетъ состояніе души бодрствующей — видимый образъ и внутреннее дѣйствіе души. Отъ эшого въ словѣ образъ и звукъ представляются одною жизнію. Слово изображаетъ вѣщность и произведенное на насъ впечатлѣніе; а потому оно состоитъ изъ двухъ частей: гласныхъ и согласныхъ. Первые выражаютъ изліяніе душевныхъ движеній, вторыя — вѣщное впечатлѣніе. Безъ гласныхъ не возможно произношеніе; безъ согласныхъ не было бы ограниченности звука и определенности. Гласныя составляютъ часть языка музыкальную, въ согласныхъ содержится часть языка пластическая. Первые способны къ выраженію чувствованій, вторыя къ изображенію вѣщней природы. Гласныя и согласныя во всѣхъ языкахъ взаимно противоположаются какъ внутреннее и вѣщное, какъ духовное и тѣлесное. Вѣщное совершенство языка зависитъ отъ гармоническаго ихъ сочетанія. Эшо взаимное ихъ ограниченіе и сочетаніе составляетъ вещество слова. Изъ сравненія всѣхъ извѣстныхъ намъ языковъ усматриваемъ, что число основныхъ гласныхъ равняется числу основныхъ звуковъ музыкальных: и, ѣ, е, а, о, ю, у. Онѣ выражаютъ

различныя движенія духа. Число согласныхъ также равняется числу органовъ, которыми онъ произвождается; припомъ одинъ изъ нихъ мягкія, другія швердыя. Таковы губныя: *б* и *п*, *в* и *ф*, *м*; горшанныя: *г*, *к* и *х*; зубныя: *д* и *т*; поднебныя *ж* и *з*; лзычныя: *л* и *р*; носовая: *н*; смъшенныя — шепелеватыя: *ч* и *щ*; свистящія: *с* и *ц*. — Различіе и умноженіе гласныхъ и согласныхъ произошло отъ сліянія основныхъ соотвѣстственно сильнѣйшему или слабѣйшему движенію органовъ человеческого голоса. Не смотря на это, въ измѣняемости гласныхъ и согласныхъ въ каждомъ языкѣ, или въ переходѣ слова изъ одного языка въ другой, находимъ непреложный законъ: звуки измѣняющіеся только въ однородные звуки, мягкіе переходящъ въ соотвѣстственные швердые, или швердые въ мягкіе.

Музыкальное подраженіе сначала касалось предметовъ тоническихкихъ; потому что естественна подражать звукамъ посредствомъ звуковъ. Когда нужно было дать названіе предмету, сопровождаемому звукомъ, шумомъ, движеніемъ, подражаніе представлялось само собою: естественно было подражать звуками голоса звуку или шуму. Отсюда во всѣхъ языкахъ мы находимъ множество словъ звукоподражательныхъ. Такъ названіе *кукушки* дано по подражанію крику этой птицы. Слова: *свистъ*, *шипѣніе*, *скрежетаніе*, *трескъ*, *громъ*, *грохотъ*, изображаютъ самыя дѣйствія и явленія (*). Но

(*) Вотъ примѣры, приводимые Блеромъ: »A certain bird is termed cuckoo, from the sound which it emits. When one sort of wind is said to whistle, and another to roar; when a serpent is said to hiss; a fly to buzz, and falling timber to crash; when a stream is said to flow, and hail to rattle; the analogy between the word and the thing signified is plainly discernible.«

когда нужно было выразить предметъ, въ кошорыхъ не примѣчали ни шума, ни движенія, или понятія нравственныя и умственныя; тогда подобное отношеніе между названіемъ и вещію по видимому не могло служить основаніемъ словосоставленія. Но тоже самое подражаніе перенесено далѣе; воображеніе открыло отношенія между медленностію и быстроію, тяжестію и легкостію, движеніемъ и покоемъ; оно простерлось даже на краски, въ слѣдствіе понятій, сопряженныхъ съ ихъ дѣйствіями. Такъ въ красномъ цвѣтѣ умъ усмотрѣлъ живость, въ синемъ шикость, въ зеленомъ веселіе: согласно съ этими понятіями цвѣты выражены звуками. Что же касается до понятій умственныхъ и нравственныхъ, то во всѣхъ языкахъ эти реченія занимающіяся описаніемъ предметовъ чувственныхъ, съ кошорыми предполагается сходство въ движеніяхъ внутреннихъ и силахъ нашего духа. Для предметовъ, подлежащихъ чувству зрѣнія, осязанія и другихъ, въ языкахъ осуществляютъ звуки, соответствующіе отличительнымъ ихъ свойствамъ. Такъ напр. твердость и текучесть, выпуклость и гладкость, нѣжность и сила и т. д. изображались звуками, болѣе или менѣе твердыми и мягкими, согласно съ качествами видимыхъ предметовъ. Это простое дѣйствіе, основанное на подражаніи природѣ, встрѣчается въ развитіи и образованіи всѣхъ языковъ, и въ особенности корней всѣхъ основныхъ словъ. Впрочемъ это начало, предполагающее самую природою указанное отношеніе между предметами и словами, прилагается къ языкамъ только въ ихъ первоначальной простотѣ. Нѣкоторыя слѣды звукоподражанія можно найти во всѣхъ языкахъ; но напрасно стали бы искать его въ каждомъ словѣ

какого либо языка. Съ распространеніемъ нарѣчій образуется множество словъ производныхъ и составныхъ, которыя мало по малу удаляются отъ первоначальныхъ корней своихъ, и въ отдаленнѣйшихъ производныхъ исчезаетъ совершенное сходство или отношеніе между звуками и выражаемыми предметами. Отъ того слова въ обыкновенномъ ихъ употребленіи разсматриваются большею частію какъ символы, а не какъ подражанія. Чѣмъ ближе стали бы мы восходить къ происхожденію слова, тѣмъ болѣе слѣдовъ подражанія природы звуками открыли бы въ языкахъ. Основанное на этомъ подражаніи слово, въ первобытномъ состояніи своемъ, какъ уже мы замѣтили, несомнѣнно было живописное, при всей ограниченности. Эту выразительность можно считать отличительнымъ свойствомъ перваго возраста и начала языковъ.

Такимъ образомъ посредствомъ *ониматопеи*, *аналогіи* и *тропозъ* цѣлый міръ воззрѣній и понятій развился въ звукахъ. Въ словъ, какъ въ откровеніи ума, раскрывается духъ человѣческій со всѣми многоразличными его проявленіями. Наблюдая поспешенное развитіе душевныхъ способностей, также находимъ, что слово современно полному развитію разума. Въ числѣ совершенствъ чловѣка заключается и слово, вдохновеніе свыше, даръ Божій. Разумъ, явившійся въ даръ слова, какъ свѣтъ съ начала вселенной отражающійся одними и тѣми же цвѣтами, выражается одними и тѣми же стихіями слова по непреложнымъ законамъ устройства нашего духовно-вещнаго организма (*).

(*) См. I. P. *Süssmilch* Versuch eines Beweises, dass die erste Sprache ihren Ursprung nicht von Menschen, sondern vom

Какое жъ долженствовало быть произношеніе въ языкѣ юномъ, на кошоромъ впервые человекъ вырази.тъ себя и представилъ природу? Произношеніе въ первыхъ языкахъ, безъ сомнѣнія, сопровождалось многими шѣлодвиженіями, рѣзкими измѣненіями голоса. Въ рѣчи было болѣе дѣйствія, чаще слышны были звуки пѣвучіе. Этимъ способъ произношенія былъ сначала слѣдствіемъ необходимости, какъ языкъ юности человѣчества; имъ выражается человекъ въ спрасхи: живая и пламенная фантазія любитъ одушевлять рѣчь шѣлодвиженіями, ошлнвая голосъ разнообразными и выразительными. Отъ шого одушевленная рѣчь въ наше время служитъ украшеніемъ. Различныя измѣненія голоса споль сродны намъ, что нѣкоторыя народы для выраженія мыслей иногда употребляютъ одно и то же слово, произнося только его различными тонами. Извѣстно, что въ Кипайскомъ языкѣ количество словъ обыкновеннаго разговора не значителъно; но въ выговорѣ каждаго слова Кипайцы измѣняютъ удареніе, часто повышаютъ и понижаютъ голосъ: этимъ замѣняется у нихъ недоспашокъ словъ. Такой языкъ долженъ болѣе другихъ языковъ походить на пѣніе и на музыку. Языки Греческій и Латинскій болъшею частію сохранили произношеніе пѣвучее и оживленое. Этимъ только можно объяснитъ многія мѣста

Schöpfer erhalten habe; Berlin, 1766. 8. — I. Chr. *Adelung* über den Ursprung der Sprache und den Bau der Wörter; Leipz. 1781. 8. — I. G. *Fichte* Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprunge der Sprachen, въ Нипгаммеровомъ философскомъ журналѣ 1795, т. 3. 4. и 10. — *Court de Gebelin* Histoire naturelle de la parole, Par. 1776, 8. — *Балланша* — De l'origine de la parole. — Fr. *Grafe* Ueber Sprachbildung und Sprachvergleichung, въ собр. актовъ С.-Петербург. Ак. Наукъ, 1837.

въ классическихъ писателяхъ, въ ихъ народныхъ рѣчахъ и драматическихъ произведеніяхъ, Просодія Грековъ и Римлянъ была совершеннѣе нашей: въ ней болѣе разительныхъ переливовъ голоса. Мѣра, или протяженность ихъ слоговъ была опредѣлена несравненно точнѣе, нежели въ языкахъ новыхъ, и сидѣнѣе поражала слухъ. Кромѣ протяженія слоговъ, или различенія долготы ихъ и краткости, надъ каждымъ изъ нихъ ставилось удареніе, копорымъ слогъ или понижается, или возвышается. Древнимъ наше произношеніе показалось бы слишкомъ однообразнымъ, безжизненнымъ. Произношеніе ораторовъ и декламація актеровъ подходили у нихъ къ речитативу въ музыкѣ. Можно было перевести рѣчь на ноты и вписать ей на инструментахъ. Древніе внимательно наблюдали за выговоромъ въ народныхъ представленіяхъ, Аристотель въ своей Поэтикѣ принимаетъ музыку въ трагедіи за одну изъ существенныхъ частей.

То же самое замѣтивъ должно и о шлодвиженіяхъ: съ произношеніемъ сильнымъ обыкновенно соединяется живость шлодвиженій. Это и древними почишалось за главное достоинство оратора. На театрахъ древнихъ мимика и декламація были столь необходимы, что иногда отдѣлялись шлодвиженія отъ произношенія: одинъ произносилъ слова, со всѣми перемѣнами голоса, другой выражалъ тѣ же чувствованія соответственными шлодвиженіями. Цицеронъ упоминаетъ, что онъ самъ спорилъ съ Росціемъ о томъ, кто придумаетъ больше различныхъ выраженій для одной и той же мысли — первый словами, второй — шлодвиженіями. Въ царствованіе Августа и Тиберія, любимымъ зрелищемъ народа была пантомима, представленіе нѣмое, но столь же, какъ и тра-

редія , впрогавшая зритель , вырывавшая слезы , Страсть Римлянъ къ этому искусству усилилась до того , что потребны были законы , кошорые воспретили Сепаторамъ его изученіе ,

Народы , завоевавшіе Римскую Имперію , болѣе холодныя по характеру , спали пренебрегать удареніями , перемѣнами голоса и шлодвиженіями , оживляющими языкъ Греческій и Латинскій . Съ раздѣленіемъ Латинскаго языка на западныя нарѣчія , выговоръ и произношеніе происшедшихъ изъ него языковъ совершенно измѣнились : переспали обращать исключительное вниманіе на музыкальную стпхію языка , на великолѣпіе декламаціи и мимики . Разговоръ и рѣчи орашорскія спали проспѣе , начали умереніе употреблять выразишельныя шлодвиженія и сильныя перемѣны голоса . По возрожденіи наукъ , основный духъ языковъ до того измѣнился , въ обычаяхъ и образѣ жизни народовъ произошелъ такой переворотъ , что важность , какую древніе придавали декламаціи и мимикѣ , намъ кажется невѣроятною . Способъ выраженія , принятый вообще всѣми народами сѣверными , достаточно выражаетъ чувствованія и удовлетворяетъ насъ , непривыкшихъ къ болѣеи живости . Вообще въ языкахъ новыхъ просодія подходитъ болѣе или менѣе къ музыкѣ , смотря по болѣеи или менѣеи живости и чувствительности народовъ . Французъ въ разговорѣ разнообразитъ ударенія голоса и шлодвиженія болѣе , нежели Англичанинъ , а Италіанецъ превосходитъ въ этомъ и Француза : музыкальный выговоръ и выразишельныя шлодвиженія составляющъ опидицишельное свойство Италіанцевъ .

Къ первоначальному выразишельному языку принадлежатъ и шло обороты рѣчи , кошорые

почитающагося украшеніями слова. При недостаткѣ особыхъ названій для понятій, многимъ различнымъ предметамъ придавали одно названіе, по сравненію одного предмета съ другимъ съ какой-либо спороны. Когда человекъ перенесъ въ слово всю видимую природу, для выраженія внутреннихъ своихъ движеній у той же природы заимствовалъ названія, по сочувствію духа нашего съ міромъ видимымъ, по врожденному стремленію одушевлять все неодушевленное по своему образу и подобию. Для выраженія чувствованій, желаній, спрасшей, или какого либо дѣйствія мышленія, не находя въ языкѣ словъ опредѣлительныхъ, человекъ намекалъ на предметы чувственные, съ которыми движенія души по видимому имѣли сходство. Присоединимъ къ этому пламенное воображеніе и сильное чувство первобытнаго человека, и мы объяснимъ себѣ его языкъ живописный, одушевленный. Таково свойство всѣхъ языковъ у народовъ, сползшихъ на первой степени гражданственности (*). Таковъ языкъ

(*) Разительный примѣръ представляютъ языки Американскіе, которые, по свидѣтельствамъ самымъ достойнымъ, исполнены выраженій украшеннаго языка. Вошъ какъ старшины пяти племенъ Канадскихъ выражались, при заключеніи договора съ Англичанами. «Мы привѣтствуемъ другъ друга съ зарытіемъ въ землю обогрѣнной свѣкры, омытой въ крови нашихъ братьевъ. Нынѣ въ этой землѣ мы зароемъ свѣкры, и посадимъ древо мира. Посадимъ древо, и вершина его возвысится до солнца, а развѣсистыя вѣтви издали будутъ видны. Да не останоится ничто и не заглушитъ его произрастанія! Да осыплетъ оно своею тѣнью и вашу землю и нашу! Утвердимъ его корни, и распрянемъ ихъ до вашихъ поселеній. Если враги вздумаютъ сорвать это древо, насъ извѣстятъ о томъ движеніе въ его корняхъ, касающихся нашей земли. Да даруетъ намъ

представителей избраннаго Богомъ народа, завѣщавшаго намъ Вѣщій Завѣщъ. Тамъ нечестіе и преступленіе называется одеждою, покрытою пилп-нами; бѣдность означаешся пипіемъ изъ чаши забвенія; суетное преслѣдованіе мечпаній уподобляется пипанію пепломъ; жизнь порочная изображена излучиспой дорогою; благоденствіе представлено свѣтомъ Божіимъ, сіяющимъ надъ нашею главою (*). Мы привыкли называть этошъ способъ выраженія воспочнымъ, какъ будто онъ свойственъ только народамъ Востока; но собственно онъ не принадлежишъ ни одной какой-либо споронъ, ни одному климату исключительно, но всѣмъ народамъ, въ извѣстную эпоху общественнаго ихъ бытша и развишя слова. Всѣ языки, въ первобытномъ состояніи, бывающъ болѣе поэшическіе, проникнушые вдохновеніемъ, кошорое все живописуешъ и одушевляетъ. Въмѣстѣ съ возрастами человечества измѣняешся и языкъ: совлекая съ себя излишніи украшенія, придаваемыя воображеніемъ, онъ спановится болѣе шоченъ и опредѣлителенъ, образуемый разумомъ. Сильное выраженіе чувства по-

великій духъ покой на ложахъ нашихъ, и да не вырывается изъ земли съкира на посѣченіе древа мвра! Да будетъ неприкосновенною земля, гдѣ она зарыта! Ключъ бышп-рый и живой да протекаетъ подъ нею, и да омоешъ онъ зло, и унесетъ его далеко отъ нашихъ взоровъ и памяти! Огнь, долго горѣвшій, теперь потушенъ; омыто кровавое ложе, и слезы съ глазъ опершты: нынѣ возобновляемъ договоръ и узы дружбы. Да сохранятса они блестящими и чистыми, какъ серебро; да не покроютса они ржавчиной, и ни одинъ изъ насъ да не испоргнишъ руки своей изъ цѣпи дружбы!

(*) Ісаи LXIV, 6; Ис. LI, 17. Пс. С. 11, 10; Пр. II, 15; Іов. XXIX, 3.

средствомъ голоса и пѣлодвиженій, внушаемыхъ слухомъ, мало по малу умѣряется. Нынѣ взаимныя сношенія людей распроспранились, и въ разговорахъ требуется обращать вниманіе на ясность, преимущественно передъ прочими достоинствами слова. Философы, слѣдовавшіе за поэтами, говорили просто, безъ излишнихъ украшеній. Такъ началъ выражаться у Грековъ Ферекидъ Скіросскій, учитель Пифагора.

Посмотримъ на первобытный языкъ съ другой точки зрѣнія, въ отношеніи къ порядку и расположенію словъ. Мы увидимъ, что и это совершенствованіе постепенно слѣдовало за развитіемъ душевныхъ способностей человека.



ЧТЕНІЕ ТРЕТІЕ.

Продолженіе о совершенствованіи и успѣхахъ слова въ словорасположеніи. — О письменахъ. — Письмена избразительныя, символическія и буквенныя, согласныя съ развиіемъ представленій, понятій и сужденій. — Примуущества слова и письма.

Обращая вниманіе на порядокъ, въ которомъ слѣдуютъ одно за другимъ слова, выражающія какую либо мысль или предложеніе, мы находимъ въ этомъ отношеніи ощушительное различіе между языками древними и новыми. Изслѣдованіе такого различія покажетъ намъ лучше духъ языка и будетъ руководить насъ въ раскрытіи причинъ нѣхъ измѣненій, которыми онъ подвергался, переходя поспешенно періоды образованія.

Дабы вѣрнѣе объяснить сущность этихъ измѣненій, мы должны и въ настоящемъ случаѣ обратиться къ первымъ опытамъ языка. Представимъ себѣ человека, который въ первый разъ видитъ предметъ, напр. какой либо плодъ, желаетъ имѣть его и проситъ доставить этотъ плодъ. Если онъ не знаетъ названія предмета, котораго желаетъ; то вѣрно выразитъ желаніе живымъ показаніемъ на предметъ. Если же онъ имѣетъ навыкъ объясняющагося словами, то первымъ его словомъ будетъ безъ сомнѣнія названіе названнаго предмета. Онъ не скажетъ, по спроенію новыхъ языковъ: дай мнѣ этотъ плодъ, но по порядку древнихъ: плодъ дай мнѣ, *fructum da mihi*; потому что все его вниманіе обращено на этотъ плодъ, предметъ его желаній. Одинъ только плодъ этотъ дѣйствуетъ на мысль его; онъ одинъ за-

ставляешь его говоришь, и его-то по преимуществу прежде всего онъ долженъ называть. Такое расположение словъ одинаково съ движеніями, данными намъ опъ природы; но мы, свыкшіеся съ совершенно различнымъ порядкомъ словъ, называемъ естественное словорасположеніе *извращеннымъ*, *принужденнымъ*, между тѣмъ какъ его внушаютъ намъ воображеніе и чувство; этъ способности заставляющъ насъ прежде всего произносить названіе предмета, который ихъ занимаетъ. Изъ этого можно заключить, что таковъ былъ порядокъ словъ и въ первобытныхъ языкахъ. Дѣйствительно, такое словорасположеніе встрѣчаемъ мы въ большей части древнихъ языковъ, въ Греческомъ, Латинскомъ и въ нашемъ отечественномъ.

Употребительнѣйшій порядокъ словъ въ Латинскомъ языкѣ пребуетъ на первомъ мѣстѣ слова, выражающаго главный предметъ рѣчи со всеми его принадлежностями, а потомъ словъ лица или вещи, имѣющей вліяніе на этотъ предметъ. Въ рѣчи Саллюстія, гдѣ онъ сравниваетъ духъ съ тѣломъ: *animi imperio, corporis servitio, magis utimur*, этотъ порядокъ изображаетъ мысль сильно и выразительно. Мы въ своемъ языкѣ можемъ сохранить эту силу и выразительность: «духъ нами болѣе повелѣваетъ, тѣло намъ только служитъ.» Порядокъ Латинскій болѣе согласуется съ быстрой воображенія, которое естественнo сперва обращается къ главному предмету, а потомъ, указавъ на него, поддерживаетъ уже вниманіе на немъ во все продолженіе рѣчи. Такъ и у Горация:

»Iustum et tenacem propositi virum,
Non civium ardor prava jubentium,
Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida.«

Всякой, кто только одаренъ вкусомъ, чувствуетъ, что этошъ порядокъ словъ соотвѣтствуетъ дѣйствию, производимому предметами на воображеніе: прежде всего на картинѣ мы видимъ честнаго и швердаго мужа, пошомъ несправедливыхъ судей.

Мы замѣтили, что въ Греческомъ и Латинскомъ языкахъ обыкновенно въ рѣчи ставится на первомъ мѣстѣ названіе предмета, которымъ поражено воображеніе говорящаго. Впрочемъ это правило не безъ исключенія; благозвучіе періода требуетъ иногда другаго словорасположенія; пошому что въ языкахъ музыкальныхъ, произношеніе которыхъ пребывало различныхъ тоновъ и разнообразныхъ измѣненій голоса, благозвучіе было подробно изучаемо. Часто и сила и ясность слога, даже необходимость искуснаго удержанія мысли, измѣняютъ этошъ порядокъ и производятъ въ словорасположеніи извѣстныя перемѣны, которыя трудно подвесити подъ общее правило. Духъ и характеръ почти всѣхъ древнихъ языковъ допускали большую свободу въ порядкѣ словъ, следуя преимущественно порядку воображенія. Должно однако исключить изъ древнихъ языковъ Еврейскій, въ которомъ извращенныя выраженія весьма рѣдки; строеніе его болѣе подходитъ къ строенію новыхъ языковъ, а не Греческаго и Латинскаго.

Всѣ западные Европейскіе языки приняли словосочиненіе, совершенно отличное отъ словосочиненія языковъ древнихъ. Въ нихъ рѣчь не допускаетъ большаго разнообразія въ расположеніи словъ; оно почти всегда одинаково, и, можно сказать, болѣе соотвѣтствуетъ порядку мышленія, нежели представленіямъ воображенія. Въ предложеніи

сперва ставится имя лица или вещи дѣйствующей, потомъ дѣйствіе, наконецъ предметъ, подверженный этому дѣйствію; мысли располагаются не по степени важности, а какую возводитъ каждый предметъ воображеніе, но по порядку, указываемому законами мышленія. Новый писатель, желая восхвалить великаго человѣка, выражается такъ: «Я не могу преіти молчаніемъ твою кротость, неслыханную доброту и рѣдкую умѣренность въ дѣйствіяхъ твоихъ». Здѣсь лице говорящее представляется на первомъ мѣстѣ: я не могу; потомъ слѣдуетъ его дѣйствіе: *преіти молчаніемъ*; наконецъ уже побудительная причина: *кротость, доброта и умѣренность* восхваляемаго человѣка. Цицеронъ, выражая эту же мысль, употребляетъ порядокъ совершенно противоположный: онъ ставитъ сперва побудительную причину, а потомъ дѣйствующее лице и дѣйствіе: *«Tantum mansuetudinem, tam inusitatam inauditamque clementiam, tantumque in summa potestate rerum omnium modum tacitus nullo modo praeterire possum (*)»*.

Порядокъ словъ въ древнихъ языкахъ живѣе, въ новыхъ яснѣе и опчепливѣе. Римляне вообще ставили слова по мѣсту, какое занимали предметы въ воображеніи говорящаго; въ новыхъ языкахъ располагаютъ ихъ по порядку логическому. Если назначеніе слова состоитъ въ ясномъ сообщеніи мыслей, то словорасположеніе новыхъ языковъ представляетъ усовершенствованное искусство выражаться. Но языки, имѣющіе въ этомъ отношеніи свойство древнихъ, каковъ нашъ опечественный, могутъ пользоваться свободнымъ

(*) *Orat. pro Marcello.*

словорасположеніемъ, когда выражается сильное чувство или изображается картина воображенія. Таковъ языкъ поэзіи, гдѣ выраженіе необходимо возвышается надъ обыкновенною рѣчью, языкъ воображенія и спрасей. Новые языки нѣсколько различествуютъ въ этомъ; языкъ Французскій всѣхъ болѣе подчиненъ постоянному порядку; ни въ краснорѣчіи, ни въ поэзіи почти совсѣмъ не допускаетъ измѣненій въ словопослроеніи. Англійскій позволяетъ болѣе свободы въ порядкѣ словъ; Италіанскій особенно сохранилъ свойство древнихъ языковъ.

Здѣсь должно замѣтить, что въ характерѣ всѣхъ новыхъ языковъ есть основаніе, по которому сѣановишся необходимымъ опредѣленный порядокъ словъ, правильное ихъ расположеніе. Эпи языки не сохранили въ словахъ ихъ разнообразныхъ окончаній, которыя въ Греческомъ и Латинскомъ различаютъ падежи именъ и времена глаголовъ, и указываютъ на взаимное отношеніе всѣхъ словъ предложенія, какое бы ни было мѣсто, занимаемое ими въ рѣчи. Напрощивъ, въ новыхъ западныхъ языкахъ, для показанія ихъ спаго отношенія словъ между собою въ предложеніи, надобно поспавлять ихъ непосредственно одно за другимъ. Римлянинъ, напр., могъ сказать:

Extinctum nymphæ crudeli funere Daphnim
Flebant (*). . . .

потому что окончанія словъ: extinctum и Daphnim, показываютъ, къ какому имени принадлежатъ причастіе, хотя каждое изъ нихъ находится на концахъ стиха; изъ окончаній ясно видно, что они оба зависятъ отъ глагола flebant, которому nymphæ

(*) Virg. Bucol.

служить подлежащимъ. Различныя окончанія словъ по падежамъ приводятъ разбросанныя слова къ единству, безъ нарушенія ясности смысла. Мы столь же близко можемъ перевести: «Пораженнаго жестокою смертію Дафниса нимфы оплакивали.»

Это словорасположеніе, которымъ пользовались всѣ почти древніе языки, и возможность указывать на соотношеніе словъ посредствомъ окончанія именъ и глаголовъ, давали имъ большую свободу въ порядкѣ словъ, который наиболѣе правился воображенію или казался благозвучнымъ. Но когда языкъ Римлянъ распался на разныя нарѣчія; тогда потеряно было это преимущество. Падежи именъ и окончанія различныхъ временъ глаголовъ упростились; народы, говорившіе новыми нарѣчіями, не знали и выгоды этихъ свойствъ. Они въ выраженіяхъ искали только точности и ясности; благозвучіе языка для нихъ не существовало; они вовсе не заботились о томъ, чтобы угодить воображенію особеннымъ словорасположеніемъ, ни въ виду только развитіе мыслей точное и ясное. Если новые языки уступаютъ въ изобразительности и силѣ словорасположенія Греческому и Латинскому; то выигрываютъ своимъ порядкомъ словъ въ ясности и точности.

Таковы постепенные успѣхи слова человеческого въ различныхъ отношеніяхъ. Знаніе духа и успѣха языковъ служатъ основаніемъ дальнѣйшаго изученія слова. Изъ предъидущаго можно заключить, что первоначальный языкъ, будный словами, былъ подражателенъ въ звукахъ словъ, выразителенъ въ образѣ ихъ произношенія и удареніяхъ, показывающихъ движенія духа. Въ рѣчи были изобразительность живописи и благозвучіе музыки; словорасположеніе оживляло паспроенности

чувства и воображенія. Въ послѣдствіи времени, съ успѣхами гражданственности и совершенствованіемъ языковъ, разумокъ занялъ мѣсто воображенія. Постепенный ходъ языка одинаковъ съ ходомъ человеческой жизни. Въ юности воображеніе оказываетъ всю свою силу; но оно охлаждается вмѣстѣ съ лѣтами, когда разумокъ приходитъ въ зрѣлость. Такъ и языкъ, переходя отъ недосыпатки къ обилію, вмѣстѣ живости, получаетъ точность; теплошю и одушевленіе въ немъ замѣняютъ выразительность и умѣренность. Вся звукоподражанія, живые тоны и движенія, изобразительность рѣчи и вся ея обороты, весь характеръ первобытнаго языка, мало по малу замѣняюща спокойнымъ произношеніемъ, простою рѣчью и логическимъ определеннымъ словорасположеніемъ. Въ наше время языкъ сталъ правильнѣе и починѣе, но потерялъ прежнюю силу и живость. Слово въ первобытномъ состояніи было болѣе способно къ поэзіи и краснорѣчію; у насъ оно болѣе послушно разуму и философіи.

Разсмотрѣвъ начало и успѣхи слова, займемся успѣхами письменъ, равно заслуживающихъ наше вниманіе: это необходимое условіе совершенствованія слова.

Послѣ дара слова, полезнѣйшая для человѣка способность есть способность выражаться письменно. Безъ сомнѣнія, письмо есть слѣдствіе дара слова, и успѣхи его относятся къ временамъ гораздо позднѣйшимъ. Сначала люди умѣли дѣлиться мыслями своими только въ присутствіи одинъ другаго, посредствомъ словъ; въ послѣдствіи, желая и въ отсутствіи сообщать другъ другу мысли свои, они изобрѣли извѣстные знаки, говорящіе

зрѣнію, какъ звуки говорятъ слуху: эти знаки называемъ мы *писменами*.

Въ постепенномъ совершенствованіи прехъ системъ письменъ: *изобразительной, символической и буквенной*, мы усматриваемъ соотношенности постепенному развиію познавательной способности — воззрѣніямъ, понятіямъ и сужденіямъ. Два первые рода письменъ называютъ письменами мыслей, третій письменами словъ. Къ первому роду принадлежишь письмо живописное, гіероглифы и символы древнихъ народовъ; къ послѣднимъ азбучное письмо, которое нынѣ въ употребленіи у всѣхъ народовъ Европы.

Живописное или изобразительное письмо было первымъ опытомъ въ искусствѣ сообщать свои мысли лицамъ, отсутствующимъ. Подражаніе такъ свойственно человѣку, что во все времена и у всѣхъ народовъ были изобрѣтены различные способы для изображенія чувственныхъ предметовъ. Вѣроятно, эти грубые способы скоро стали употреблять для извѣщенія отсутствующихъ о происшествіяхъ, или для воспоминанія о событіяхъ, которыя хотѣли сохранить въ памяти. Такъ для изображенія смерти опъ руки другаго, рисовали лежащаго на землѣ человека, и возлѣ него другаго человека съ обагренымъ кровію оружіемъ. Этошъ способъ письменъ найденъ у Мексиканцевъ, по открытіи Америки. Утверждаютъ, что посредствомъ такихъ историческихъ картинъ они сохраняли память о примѣчательнѣйшихъ происшествіяхъ своей страны. Безъ сомнѣнія, такіа лѣтописи были весьма непочны, и народы, незнавшіе другихъ письменъ, должны были оспаваться въ невѣжествѣ. Подобныа каршіны могли изображать только видимыа происшествія, безъ

указанія послѣдовательности происшествій, или особенныхъ обстоятельствъ, не подверженныхъ зрѣнію, каковы рѣчи и характеры людей.

Для восполненія такого недоспашка, слѣдователь другой родъ письма, гіероглифы; это новая степень успѣховъ письменности. Гіероглифы составляютъ родъ символовъ, для изображенія предметовъ невидимыхъ посредствомъ сходства, предполагавшагося между ними и предметами: глазъ, напр. былъ гіероглифическимъ символомъ вѣдѣнія; кругъ — вѣчности, безначальной и безконечной. Гіероглифы слѣдовательно были родъ картинъ въ обширнѣйшемъ объемѣ: изобразительныя письма напоминали только сходства съ видимыми предметами; гіероглифы, или письма символическія, представляли уму предметы невидимые, по сходству ихъ съ видимыми и вѣчными. У Мексиканцевъ найдены были также слѣды гіероглифовъ, употреблявшихся у нихъ вмѣстѣ съ историческими изображеніями; но въ Египтѣ этотъ родъ письменъ былъ болѣе усовершенствованъ; изъ него образовалось даже искусство, имѣвшее постоянныя правила. Прославленная мудрость Египетскихъ жрецовъ передавалась въ гіероглифахъ. Для выраженія помощи эмблемъ, или гіероглифовъ, предметовъ нравственныхъ, они употребляли изображенія животныхъ и другихъ естественныхъ произведеній, имѣвшихъ рѣзкія опличительныя качества. Такъ неблагодарность выражали они эхиной, опрометчивость мухой, мудрость муравьемъ, побѣду ястребомъ, послушнаго своему долгу журавлемъ, человека, всѣмъ извѣгаемаго — угремъ; они думали, что угорь никогда не водился вмѣстѣ съ другими рыбами. Иногда соединили два или нѣсколько такихъ гіероглифи-

ческих изображений, напр. змѣя съ лѣсребинной головой выражала природу и божество, какъ Промысль природы. Но какъ болышею часію и качества предметовъ, служившихъ основаніемъ этимъ гіероглифамъ, бывали воображаемыя, и примѣненіе ихъ къ нравственнымъ понятіямъ было натянутое и двусмысленное; сверхъ того опъ соединенія нѣсколькихъ начертаній происходила сбивчивость, неясно выражались связь и соотношеніе предметовъ между собой: то эопъ родъ письма, какъ загадочный и запутанный, не могъ служить къ скорому распространенію знаній. Полагаютъ, что гіероглифы были изобрѣтены Египетскими жрецами, которые въ нихъ скрывали опъ черни свою мудрость. Но вѣроятно, гіероглифы употребляемы были по необходимости; это слѣдствіе совершенствованія письменнаго искусства, постепеннаго развитія мыслящей способности. Самое изобрѣтеніе гіероглифовъ доказываетъ, что оно было только продолженіемъ попытки въ письменахъ, когда умъ человѣческій чувствовалъ потребность распространить и усовершенствовать эопъ способъ изображенія мыслей. Въ позднѣйшія времена, когда азбука была принесена въ Египетъ и гіероглифы оставлены, жрецы продолжали употреблять ихъ какъ священное письмо; тогда эти гіероглифы стали ихъ принадлежностью исключительно, и жрецы посредствомъ ихъ придавали таинственный видъ своей мудрости и религіознымъ обрядамъ. Въ это время Греки начали сношенія свои съ Египтомъ, и отъ писателей Греческихъ, которые застали употребленіе ихъ въ храмахъ, приписали жрецамъ и самое изобрѣтеніе.

Въ переходъ письменъ отъ изображенія предметовъ видимыхъ къ гіероглифическимъ символамъ вещей невидимыхъ уже видны постепенные успѣхи совершенствованія. Но это искусство получило еще новые успѣхи, когда нѣкоторые народы стали изображать предметы произвольными знаками, не имѣвшими никакого сходства, никакой аналогіи съ самими предметами. Къ этому роду принадлежатъ письмена Перувианцевъ. Они брали разноцвѣтные сурки, навязывали на нихъ узлы разной величины, различно расположенные, и такими условными знаками сообщали другъ другу свои мысли. Такой родъ письменъ употребляется понынѣ и въ Китай. Китайцы не составляютъ словъ своихъ посредствомъ буквъ или простыхъ звуковъ; каждый знакъ ихъ есть выраженіе отдѣльной мысли; каждый выражаетъ вещь или предметъ; и потому число ихъ необъятно: оно равняется числу предметовъ и мыслей, которыя должны они выражать, числу словъ всего языка. Эти письменные знаки простираются до семидесяти тысячъ. Для того, чтобы научиться правильно говорить и писать, недостаточно цѣлой жизни. Ученые съ большимъ усиліемъ должны преодолевать подобныя затрудненія наукамъ. Касательно происхожденія Китайскихъ письменъ, мнѣніа раздѣлены, даже противорѣчатъ одно другому; вѣроятно, этотъ родъ письменъ, какъ и Египетскій, есть слѣдствіе письменъ изобразительныхъ. Съ теченіемъ времени изображенія вѣтшились; для большей удобности, число ихъ увеличивалось: отсюда знаки, употребляемые Китаичами и другими народами восточной Азіи. Извѣстно, что Японцы и Тункинцы говорятъ различными нарѣчіями, отличными отъ Китайскаго, а употреб-

ляютъ тѣ же самыя знаки. Всѣ эти народы ясно понимаютъ одинъ другаго на письмѣ, не разумѣя другъ друга изустно. Очевидно, что письма Китайскія, какъ гіероглифы, суть знаки предметовъ, а не знаки словъ.

У насъ въ Европѣ есть такой же родъ письменъ — такъ называемыя цифры, или арифметическія знаки, заимствованныя нами у Арабовъ; они совершенно одинаковы съ письмами Китайскими: не имѣютъ никакого отношенія къ словамъ, и каждый знакъ изображаетъ извѣстное число. Цифры говорятъ только одному зрѣнію; а потому ихъ равно понимаемъ и мы, понимающіе и Нѣмцы, и Французы, и Испанцы, и Англичане, хотя языки наши различны, и въ каждомъ языкѣ цифры различно называются.

Всѣ роды письменъ, о которыхъ мы доселѣ упоминали, ни мало не сходствуютъ съ нашими буквами, составляющими наше письмо. До сихъ поръ мы видѣли только знаки предметовъ, безъ помощи звуковъ или словъ; эти знаки говорили глазамъ, или своимъ сходствомъ, какъ картины Мексиканскія, или аналогіями, какъ гіероглифы Египетскіе, или произвольнымъ значеніемъ, какъ узлы Перувианскіе, письма Китайскія и Арабскія цифры. Въ послѣдствіи нѣкоторые народы почувствовали, какъ несовершенны, темны и утомительны были эти способы сообщенія; они видѣли преимущество такихъ знаковъ, которые, вмѣсто выраженія прямо предметовъ, представляли бы названія этихъ предметовъ; соображеніе довело до мысли сократить число письменныхъ знаковъ. Какъ бы ни было огромно число словъ въ каждомъ языкѣ, количество звуковъ, изъ которыхъ всѣ слова образуются, ограничено. Одни и тѣ же простые

звуки, безпрестанно возвращающіеся и повшоряемые, сочешавающія между собой различными образами, и соспавляющіе все разнообразіе словъ, въ которыхъ развивается міръ понятій. Эта мысль осуществилась изобрѣшеніемъ знаковъ, не для каждаго слова, но для каждаго простаго звука, входящаго въ соспавъ словъ, и какъ изъ нѣсколькихъ простыхъ звуковъ образующія всѣ реченія, такъ посредствомъ нѣсколькихъ буквъ, соотвѣствующихъ простымъ звукамъ, различно между собою соединяемыхъ, выражающія всѣ слова.

Первою степеню къ этому новому усовершенствованію было изобрѣшеніе азбуки *силлабической*, которая, вѣроятно, у нѣкоторыхъ народовъ, предшествовала изобрѣшенію азбуки буквенной, и употребляема еще и теперь въ Египтѣ и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Индіи. Число знаковъ, соотвѣствующихъ каждому складу, безъ сомнѣнія, было меньшее въ сравненіи съ числомъ знаковъ символическихъ для каждаго слова. Но и число знаковъ, равное числу складовъ, еще довольно велико; а потому силлабическая азбука требовала измѣненій. Наконецъ умъ человеческій, разложивъ всѣ звуки голоса на простѣйшія спичин, нашелъ, что они состоятъ изъ немногихъ гласныхъ и нѣсколькихъ согласныхъ. Этимъ звукамъ приданы знаки, называемые *буквами*; и такимъ образомъ, сочешавъ эти знаки, равно какъ сочешаваются звуки голоса въ образованіи словъ, человекъ выразилъ буквами просто и удобно всѣ свои мысли. Это упрощенное письмо быстро достигло высочайшей степени совершенства и содѣйствовало умственному развитію и распространенію знаній.

Неизвѣстно, кому принадлежитъ мысль о драгоценномъ и высокомъ изобрѣшеніи алфавита. Тво-

рецъ его, сокрытый во мракъ отдаленнѣйшей древности, лишенъ почести, которую охотно воздали бы его памяти всѣ занимающіеся Словесностью и науками. Изъ книгъ Моисея видно, что у Евреевъ, и вѣроятно также у Египтянъ, изобрѣтеніе письменъ предшествовало вѣку его Пятикнижія. У древнихъ было общепринятое преданіе, что въ Грецію первый принесъ ихъ изъ Финикіи Кадмъ, жившій, по обыкновеннымъ системамъ лѣтосчисленія, во времена Иусуса Навина, а по Пютопу, во времена Давида. Но какъ Финикійне сами не изобрѣли никакого искусства, не успѣвали ни въ какой наукѣ, а только посредствомъ обширной торговли распространяли чужія открытія; что можно заключать, что буквенное письмо родилось въ Египтѣ, странѣ съ древнѣйшихъ временъ образованнѣйшей, о которой дошли до насъ достовѣрныя извѣстія, и которая у древнихъ почиталась колыбелью искусства и гражданственности. Важное изученіе гіероглифовъ обратило на искусство письменъ вниманіе этой страны. Извѣстно, что въ числѣ ихъ гіероглифовъ были сокращенные символы, произвольные знаки: это могло навести ихъ на изобрѣтеніе новыхъ знаковъ, не только для предметовъ, но и для звуковъ. Платонъ, въ *Федръ* своемъ, приписываетъ изобрѣтеніе письменъ Тевту, Египтянину, котораго принимаютъ за Гермеса, или Меркурія. Самый Кадмъ, пришедшій изъ Финикіи въ Грецію, былъ уроженецъ Египетскаго города Фивъ. Можно полагать, что и Моисей перенесъ письма Египетскія въ землю Ханаанскую, гдѣ они были приняты Финикійянами, которые передали ихъ Грекамъ (*).

(*) См. *Van Helmont Alphabeti veri naturalis Hebraici delineatio*; Sulzbaci, 1667, in 12. — *Wachter Naturæ et*

Азбука, принесенная въ Грецію Кадмомъ, была весьма несовершенна, и, какъ утверждаютъ, состояла только изъ шестнадцати буквъ. Впоследствии были изобрѣтены другія для пополненія остальныхъ звуковъ. Замѣчательно, что слѣды буквъ, нынѣ употребляемыхъ, можно найти во всѣхъ измѣненіяхъ ихъ до первоначальной азбуки Кадма. Римская азбука, принятая въ языкахъ Латинскаго племени, одинакова съ Греческой; она измѣнена, сколько требовало изящество письма. Ученые замѣчаютъ, что Греческія письма, какія видимъ мы на древнѣйшихъ надписяхъ, имѣютъ разительное сходство въ формѣ съ письмами Еврейскими или Самаританскими, которыя, какъ извѣстно, были употребляемы и Финикійцами, и составляли азбуку Кадмову. Переверните Греческія письма слѣва направо, по способу письма Еврейскаго и Финикійскаго, и вы увидите буквы Еврейскія. Сверхъ того названіе буквъ: альфа, бѣта, гамма и пр., порядокъ ихъ въ азбукахъ Финикійской, Еврейской, Греческой и Римской, все это указываетъ на общее ихъ происхожденіе. Изобрѣтеніе столь полезное и вмѣстѣ столь простое было принято всѣми, и быстро распространилось у всѣхъ народовъ.

Русская наша азбука, называемая *Кирилловскою*, составлена Кирилломъ и Меѳодіемъ изъ буквъ Греческихъ. Для изображенія звуковъ, свойственныхъ Славянскимъ нарѣчіямъ, и которыхъ не имѣетъ Греческій языкъ, заимствованы ими буквы изъ Еврейскаго языка, каковы: ш, б и ъ; сверхъ того изобрѣшено нѣсколько буквъ новыхъ, именно: ж, ц,

scripturae concordia; Lips. 1752. in 4^a. — R. Jones Hieroglyphic; Lond. 1768. 8.

щ, ъ, ы, ѣ, ю, я. Эта азбука, съ нѣкоторыми перемѣнами, употребляется также въ Валахіи, Молдавіи, Болгаріи, Сербіи. Другія нарѣчія Славянскія употребляютъ буквы Лаппинскія и Нѣмецкія. Славяне же Далматскіе имѣютъ особенную азбуку, извѣстную подъ именемъ глаголической, буквицы и Иеронимовской (*).

Сначала буквы писались отъ правой руки къ лѣвой, ш. е. въ обратномъ нашему порядкѣ. Этого способъ писанія, употреблявшійся у Ассирійянъ, Финикійянъ, Аравіянъ, Евреевъ, былъ, судя по весьма древнимъ надписямъ, въ употребленіи и у Грековъ, которые потомъ спали писать попеременно отъ правой руки къ лѣвой и отъ лѣвой къ правой: это письмо называлось вуспрофидонъ, или письмо браздообразное. Нѣсколько образцовъ такого письма сохранилось до нашего времени: такова надпись на извѣстномъ Сигейскомъ памятникѣ. Оно употреблялось до временъ Солона, законодателя Аѳинскаго. Наконецъ нашли, что движеніе отъ лѣвой руки къ правой удобнѣе, и этого способъ письма приняты всеми Европейскими народами.

Письмена долго были нѣкотораго рода гравированьемъ. Сперва употреблялись столбцы или каменные таблицы, потомъ листы изъ самыхъ мягкихъ металловъ, каковъ свинецъ; потомъ, по мѣрѣ того, какъ искусство это распространялось между людьми, начали употреблять болѣе легкія и удобопереносимыя вещества. Въ иныхъ странахъ брали для этого листы и кору древесную, въ другихъ деревянныя дощечки навощенные, и на

(*) См. *Добровскаго* — Грамматика языка Славянскаго по древнему нарѣчію, пер. Прр. Погодина и Шевырева.

нихъ начерпывались письмена посредствомъ спицы, или желѣзной иглы. Въ позднѣйшія времена стали приготавливать пергаментъ изъ кожъ живошпыхъ. Изображеніе бумаги писчей не принадлежитъ глубокой древности; оно не восходитъ дѣлье XIV столѣтія.

Таково постепенное развитіе дара слова и письменъ, которымъ мы обязаны возможностью сообщать мысли свои; слово и письмо должно почтять стихіями всѣхъ познаній и нашего совершенствованія. Заклучимъ изслѣдованія наши сравненіемъ языка съ письмомъ, или словъ, поражающихъ нашъ слухъ, съ изображеніями, понятными для глазъ: мы найдемъ, что и тотъ и другой способъ выраженія мыслей нашихъ имѣетъ свои преимущества.

Преимущество письма предъ языкомъ состоитъ въ томъ, что письмо есть способъ сообщенія болѣе долговѣчный и имѣющій болѣе широкій кругъ дѣйствія. Дѣйствія его обширнѣе, потому что они не ограничиваются вліяніемъ на слушателей, подающъ намъ возможность распространять наши мысли и высказывать ихъ цѣлому свѣту; голосъ нашъ посредствомъ его достигаетъ до отдаленнѣйшихъ предѣловъ. Письмо долговѣчнѣе, потому что посредствомъ его голосъ нашъ не умолкаетъ до позднѣйшихъ вѣковъ, передаетъ наши мысли потомству и увѣковѣчиваетъ воспоминаніе о дѣлахъ, служащихъ поученіемъ человѣчеству. Письмо имѣетъ еще то преимущество предъ словомъ, что читатель, имѣющій предъ глазами книгу, можетъ остановиться и размышлять о мысляхъ писателя, можетъ возвращаться къ прежнимъ мыслямъ и сравнивать одно мѣсто съ другимъ; между тѣмъ какъ скоропреходящій голосъ съ каждымъ звукомъ

они насъ улепашаетъ: должно ловить выраженія въ минути ихъ появленія; иначе они навсегда исчезаютъ.

Столь необходимо письмо; безъ него слово для человечества было бы еще несовершеннымъ способомъ распространенія познаній; но, въ замѣнъ этого, силою и выразительностью слово превосходитъ письма. Голосъ говорящаго производитъ на умъ гораздо сильнѣйшее впечатлѣніе, нежели чтеніе какого либо сочиненія. Измѣненія голоса, взоры, движенія, сопровождающія обыкновенно рѣчь, и невыразимыя на письмѣ, если употребляются ксташи, придають ей ясность, выразительность и точность. Дѣйствительно, измѣненія голоса, взоры и движенія суть естественныя изображенія душевныхъ чувствованій. Въ нихъ не можетъ быть двусмысленности; они оживляютъ выраженія и дѣйствуютъ на насъ какимъ-то сочувствіемъ, самымъ могущественнымъ убѣжденіемъ. Чувство гораздо сильнѣе пробуждается въ насъ, когда мы слышимъ самого оратора, нежели когда читаемъ его книгу. И такъ письмо содѣйствуетъ распространенію знаній; а слову обязано человечество всемъ тѣмъ, что только краснорѣчіе представляетъ высокаго и прекраснаго.

ЧТЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Спроеіе языка, согласное съ законами мышленія. —
Значеніе стихій слова и ихъ измѣненія въ древнихъ и новыхъ языкахъ.

Изложивъ происхожденіе и развитіе слова, перейдемъ къ его спроеію. Это поспроеіе, согласное съ законами мышленія, требуетъ подробнаго изслѣдованія; поверхностныя мыслители не заботятся объ этомъ предметѣ: онъ имъ кажется занятіемъ дѣшества, принадлежностью первыхъ пачатковъ ученія. Но та наука, которую мы начинаемъ, когда слабый умъ еще не можетъ проникать ошвлеченныхъ основаній, въ зрѣломъ возрастѣ должна быть предметомъ глубокаго изученія, полезнаго намъ при дальнѣйшихъ занятіяхъ Словесностью. Большая часть ошибокъ, обезображивающихъ сочиненія, происходитъ ошъ незнанія языка. Немногіе съ ошчешливостію, истинно философическою, разсуждали объ общихъ основаніяхъ слова; къ сожалѣнію, еще менѣе занимавшихся приложеніемъ общихъ началъ слова къ языку ошчешпвенному. Нѣмецкій и Французскій языки давно разсмотрѣны съ этой точки зрѣнія, и отличные ученые обращали на этотъ предметъ вниманіе, наблюдали обороты языка и его характеръ. Мы должны признаться, что духъ нашего языка еще не изученъ достапно, свойства его не опредѣлены съ точностью. Есть нѣсколько опытовъ, сдѣланы нѣкоторыя счастливыя

признанія, но большая часть изслѣдованій представляется будущему (*).

Здѣсь мы не намѣрены излагать полной системы слова человеческого и общественнаго языка: подробное разсмотрѣніе всѣхъ тонкостей этого предмета отвлекло бы насъ отъ нашей цѣли. Но мы взглянемъ на основныя начала слова и его стихій съ указаніемъ того, что въ каждой стихіи собственно принадлежитъ нашему общественному слову.

Прежде всего представляется изслѣдованію нашему раздѣленіе стихій слова, или частей рѣчи. Отъ во всѣхъ языкахъ однѣ и тѣ же; пошому что въ каждомъ языкѣ должны быть слова, означающія названіе лицъ и вещей, или предметъ рѣчи; слова, означающія качества предметовъ и выражающія то, что мы утверждаемъ о предметѣ рѣчи, и наконецъ слова, составляющія связь или взаимное отношеніе мыслей. Поэтому во всѣхъ языкахъ должны быть имена, слова опредѣлительныя и соединительныя. Имена, или названія предметовъ, выражаютъ подлежащее рѣчи; опредѣлительныя слова показываютъ свойство, дѣйствіе предметовъ, ихъ сказуемое; соединительныя слова означаютъ связь предметовъ, отношенія и взаимную ихъ зависимость (**). Какимъ же образомъ вывести всѣ стихіи слова? Если безъ этихъ стихій слова не лзя выразить сужденія; то ихъ долж-

(*) См. *Шишкова* въ извѣстіяхъ Россійской Академіи; Грамматики *Греча* и *Востокова*, и Труды Общества любителей Россійской Словесности.

(**) Квинтиліанъ (кн. I, гл. 6) говоритъ, что это раздѣленіе древнѣйшее: »Tum videlicet quot et quae sunt partes orationis; quanquam de numero parum convenit. Veteres enim, quorum fuerunt Aristoteles atque Theodectes, verba modo et nomina et coniunctiones tradiderunt».

но бытъ столько, сколько необходимо составныхъ частей для этого дѣйствія разума, которому слово служитъ развитіемъ. Для сужденій же необходимо: во первыхъ, названіе вещи или лица, во вторыхъ, означеніе ихъ бытія и дѣйствія; слѣдовательно основныя части рѣчи, или стихіи: *имя* и *глаголь*. Подъ первымъ мы разумѣемъ названіе предметовъ, или понатій о нихъ, подъ вторымъ выраженіе бытія и дѣйствія. Но какъ вещи и лица, такъ бытіе и дѣйствіе различаются по качеству, количеству и отношеніямъ; по нужны особыя части рѣчи для выраженія этихъ условій: опредѣленіе качества, количества и отношеній именъ показываютъ *прилагательныя*; качество, количество и отношенія бытія и дѣйствія показываютъ *нарѣчія*. Очевидно, что числительныя не составляютъ особой стихіи языка; они не иное что, какъ количественныя прилагательныя. Необходимость прилагательныхъ и нарѣчій обуславливается именемъ и глаголомъ.

Имена назвали мы изображеніями предметовъ; но эти изображенія обыкновенно бываютъ или общія, или частныя; единичныхъ изображеній языкъ не имѣетъ: они потребовали бы безчисленнаго множества словъ. Во всѣхъ языкахъ есть названіе, напр. пера; но особыхъ названій для тѣхъ

Videlicet, quod in verbis vim sermonis, in nominibus materiam (quia alterum est quod loquimur, alterum de quo loquimur), in convinctionibus autem complexum eorum esse judicarunt, quas conjunctiones a plerisque dici scio; sed haec videtur ex *συνδέσμος*, magis propria translatio. Paulatim a philosophis, ac maxime a stoicis, auctus est numerus, ac primum convinctionibus articuli adjecti; post praepositiones; nominibus appellatio, deinde pronomen; deinde mixtum verbo participium; ipsis verbis adverbialia.

перевъ, которыми мы писали вчера, которыми пишемъ сегодня — такихъ названій языкъ не имѣетъ. Въмѣсто этого мы употребляемъ нѣсколько реченій, замѣняющихъ безчисленное множество словъ: *сей, этотъ* и проч. Точно такая же потребность въ ограниченіи бытія и дѣйствія относительно къ различенію лицъ посредствомъ реченій: *я, ты, онъ*. Отсюда особая часть рѣчи: *мѣстоименіе*. Слѣдуетъ, что мѣстоименія служатъ опредѣленіемъ одного пѣвѣщаго предмета изъ многихъ однородныхъ, или одного лица дѣйствующаго изъ многихъ, посредствомъ указанія, или ограниченія, или исключенія. Личное мѣстоименіе *я* есть первое имя, или имя по-преимуществу. Въ нѣкоторыхъ языкахъ находитъ мѣсто: это видъ опредѣлительныхъ словъ, или мѣстоименій.

Сверхъ этихъ стихій слова, во всѣхъ языкахъ встрѣчается *предлоги* и *союзы*, первые, для означенія взаимныхъ отношеній предметовъ въ пространствѣ, вторые — для означенія отношенія дѣйствій во времени. Безъ предлоговъ не лзя представить себѣ предметовъ въ совокупности, въ различномъ отношеніи ихъ между собою; напрошивъ, посредствомъ предлоговъ изображаются взаимныя отношенія, принадлежность одного предмета къ другому. Точно также безъ союзовъ мы не могли бы изобразить связи и послѣдовательности дѣйствій и бытія предметовъ; посредствомъ союзовъ одно дѣйствіе представляемъ предъидущимъ, другое послѣдующимъ; въ самыхъ предметахъ ими означается послѣдовательность, въ какой изображаются эти предметы въ нашемъ умѣ.

Причастія обыкновенно принимаются за особенную часть слова; но собственно они принадлежатъ къ замѣненіямъ глагола. Въмѣсто причастій,

особою частию рѣчи должно почитать прилагательныя. То же должно сказать и о другихъ измѣненіяхъ глагола, сходныхъ съ причастіями, каковы такъ называемая *дѣепричастіа*.

Междометія не принадлежатъ къ сличіямъ слова, представляющимъ мысли наши: это особый родъ членораздѣльныхъ звуковъ, которыми выражаемъ мы чувствованія, или внутреннее состояніе духа (*).

Таково значеніе сличій слова. Обращаемся къ ихъ измѣненіямъ. Недѣлимые предметы, насъ окружающіе, безчисленны. Человѣкъ, видя со всѣхъ сторонъ деревья, лѣса и проч., не могъ дать каждому дереву отдѣльнаго наименованія. Безъ сомнѣнія, первою заботою его было дать названіе тому дереву, плодомъ котораго онъ питался, или подъ шивью котораго укрывался во время солнечнаго зноя. Но замѣтивши, что и другія деревья, хотя различныя между собою въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, на пр. по величинѣ, виду, были сходны въ остальныхъ отношеніяхъ, какъ что: всѣ имѣли корни, вѣтви и листья, на основаніи логическаго овлеченія, онъ подвелъ ихъ подъ одинъ родъ, и далъ имъ общее названіе дерева. Опытъ научилъ его подраздѣлять родъ на виды, каковы: дубъ, ель, ясень и проч., по мѣрѣ распространенія наблюденій, открывавшихъ въ деревьяхъ качества, которыми они сходствовали между собою или различались.

При такомъ развитіи понятій постоянно употребляемы были слова родовыя; пошому что дубъ, сосна, ясень выражали классы предметовъ, изъ ко-

(*) I. S. Vater's Versuch einer allgemeinen Sprachlehre; Halle, 1801. — A. F. Bernhardt Anfangsgründe der Sprachwissenschaft; Berlin, 1805. — Silvester de Sacy Grundsätze der allgemeinen Sprachlehre; Halle und Leipzig, 1804.

порыхъ каждый классъ заключалъ въ себѣ множество предметовъ особыхъ. Повидимому образованіе понятій отвлеченныхъ принадлежитъ къ труднымъ дѣйствіямъ ума; однако оно современно первому развитію языковъ. Исключая собственныхъ именъ, свойственныхъ недѣлимымъ, н. п. Цезарь, Пётръ, Александръ, прочія имена, употребляемыя нами въ рѣчи, означаютъ не особые предметы, но родовыя понятія, какъ-то: человекъ, левъ, домъ, рѣка и другія. Впрочемъ не должно думать, что образованіе эпихъ общихъ названій требуетъ необыкновенныхъ усилій ума: какъ скоро мы открываемъ сходство между извѣстными предметами, то и сопоставляемъ изъ нихъ особый классъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ придаемъ этому классу особое названіе.

Назначеніе мѣстоименій и члена, сказали мы, состоитъ въ указаніи недѣлимаго, о которомъ идетъ рѣчь, и въ отличеніи этого недѣлимаго отъ другихъ подобныхъ. Новые языки не всѣ имѣютъ членъ. Въ Греческомъ языкѣ *ὁ*, *ἡ*, *τό*, соответствуетъ опредѣленному члену новыхъ языковъ и нашимъ мѣстоименіямъ: сей, эпонъ. Въ немъ нѣтъ другаго члена, выражающаго неопредѣленное значеніе: это замѣняютъ опущеніемъ члена опредѣленнаго. Такъ *βασιλεὺς* значитъ царь неопредѣленно, но *ὁ βασιλεὺς*—эпонъ именно царь. Латинскій языкъ не имѣетъ члена, а употребляетъ мѣстоименія: *hic*, *ille*, *iste*, показывающія тою предметъ, которой хотѣтъ отличить отъ прочихъ. *Noster sermo*, говоритъ Квинтилианъ: *articulos non desiderat, adeoque in alias partes orationis sparguntur*. Отсутствіе членовъ въ языкѣ есть недостатокъ, потому что посредствомъ его рѣчь бываетъ яснѣе и опредѣлительнѣе. Для доказательства возьмемъ нѣсколько выраженій, которыхъ смыслъ на Англійскомъ языкѣ зависитъ единственно отъ члена:

the sun of a king и the sun of the king. Каждое изъ этихъ выраженій имѣетъ различный смыслъ; но въ Латинскомъ языкѣ *filius regis*, выраженіе совершенно неопредѣленное; чтобы показать, въ какомъ значеніи должно принимать это выраженіе, опредѣленномъ или неопредѣленномъ, необходимо объясненіе въ нѣсколькихъ словахъ. Въ Русскомъ мы выражаемъ неопредѣленный членъ притяжательнымъ, прилагательнымъ: сынъ царскій, а членъ опредѣленный родителнымъ имени: сынъ царя, или указательнымъ мѣстоположеніемъ.

Имена измѣняющіяся по числамъ, родамъ и падежамъ. Число различаетъ имена, для означенія одного или многихъ предметовъ одного и того же вида. Оно бываетъ единственное и множественное. Это раздѣленіе, которое мы находимъ во всѣхъ языкахъ, принадлежитъ къ первому образованію слова и соотносится различенію понятій по количеству, качеству и отношеніямъ. Различіе между однимъ и многими предметами представлялось въ самомъ началѣ перенесенія природы въ міръ словъ; оно во всѣхъ языкахъ означаетъ измѣненіемъ окончаній въ именахъ. Еврейскій, Греческій, Славяно-Церковный языки имѣютъ, кромѣ множественнаго, двойственное число, для выраженія двухъ предметовъ. Думаютъ, когда еще не было всѣхъ числительныхъ именъ, тогда одинъ, два и много были начальными отличіями количества. Но въ двойственномъ числѣ мы видимъ особый опшѣнокъ выраженій. Человѣкъ, наблюдавшій себя и природу, невольно поражаетъ былъ двойствомъ, каково двойство пола, частей цѣла и всего живого организма: встрѣчая такое двойство, онъ долженъ былъ его выразить.

Родъ есть другое измѣненіе именъ, пребывающее большаго разсмотрѣнія, нежели число. Родъ, осно-

вываясь на различіи пола, собственно можетъ только приличествовать существамъ одушевленнымъ, которыя по природѣ своей принадлежатъ къ мужескому или женскому роду. Вся прочія имена должны бы относиться къ такъ называемому среднему роду, означающему отсутствіе пола. Но строеніе языка въ этомъ отношеніи представляетъ нѣкоторую особенность. По свойству чловѣка одушевлять всю природу, любоваться изображеніемъ себя самого во всемъ, его окружающемъ, большая часть языковъ множество неодушевленныхъ предметовъ относитъ къ мужескому или женскому роду. Въ Латинскомъ и Русскомъ языкахъ *gladius*, *мечъ*, мужескаго рода, *agilla*, *стрѣла*, женскаго. Этотъ способъ опредѣленія пола предметовъ неодушевленныхъ, раздѣленіе, сдѣланное между мужескимъ и женскимъ родомъ, во многихъ именахъ представляется совершенно произвольнымъ и случайнымъ: нѣкоторыя окончанія означаютъ мужескій родъ, другія женскій. Однако въ Греческомъ и Латинскомъ языкахъ, многіе изъ неодушевленныхъ предметовъ, въ которыхъ полъ не различается, отнесены къ роду среднему, напр. *templum*, *sedile*. Въ этомъ духѣ языка Французскаго и Италіянскаго отличается отъ духа языковъ Греческаго и Латинскаго. Въ этихъ двухъ языкахъ совсѣмъ нѣтъ средняго рода, и всѣ предметъ неодушевленные, одинаково съ предметами одушевленными, относятся или къ мужескому, или женскому роду. Въ Англійскомъ языкѣ, напротивъ, имена предметовъ неодушевленныхъ всѣ безъ исключенія средняго рода: *the*, *she*, *it*, означаютъ три рода. Всегда употребляютъ *it*, говоря о предметѣ, который не имѣетъ пола. Въ одномъ только этомъ языкѣ, и, какъ извѣстно, въ Китайскомъ, раздѣленіе родовъ философическое

и согласно съ различіемъ пола. Отсюда происходишь въ Англійскомъ языкѣ преимущество, на которое должно обратить вниманіе. Хотя въ обыкновенной рѣчи родъ употребляется только для означенія пола, однако духъ языка въ переносномъ смыслѣ позволяетъ давать мужескій или женскій родъ предметамъ неодушевленнымъ, если только это можетъ служить украшеніемъ рѣчи. Слово напр. «добродѣтель» въ обыкновенномъ разговорѣ употребляется въ среднемъ родѣ; но въ рѣчи одушевленной добродѣтель принимается въ женскомъ родѣ. Это свойство языка даетъ возможность измѣнять слогъ по произволу; однимъ олицетвореніемъ предмета рѣчь получаетъ новое достоинство. Этимъ преимуществомъ пользуются не только поэты, но ораторы и всѣ лучшіе писатели; оно принадлежитъ только Англійскому языку. Во всѣхъ прочихъ языкахъ каждое слово постоянно принимается въ одномъ извѣстномъ родѣ, мужескомъ, женскомъ или среднемъ: такъ Греческое *ἀρετή*, Латинское *virtus*, Русское *добродѣтель* — постоянно женскаго рода. Мысленіе она соотношествуетъ этому слову и въ поэмѣ, и въ разсужденіи, и въ простомъ разговорѣ. Въ Англійскомъ языкѣ средній родъ предметовъ неодушевленныхъ ни мало не мѣшаетъ силѣ и точности; нѣ же самыя предметы, олицетворяясь въ краснорѣчіи и поэзіи, даютъ рѣчи жизнь и блескъ. Такое олицетвореніе имѣетъ свое основаніе на той мысли, которая составляетъ сущность предмета. Мужескій родъ въ переносномъ значеніи приписывается тѣмъ предметамъ, которыхъ сущность состоитъ въ силѣ и могуществѣ; а женскій родъ дается предметамъ прекраснымъ и нѣжнымъ, неоплечающимся твердостью и крѣпостью. Поэтому *солнце*

въ Англійскомъ языкѣ мужескаго рода, *луна* — женскаго; *земля* всегда женскаго рода; *корабль*, *страна*, *городъ* также женскаго рода; *время* мужескаго рода, по причинѣ непреодолимой его силы; *добродѣтель* женскаго, какъ прекрасный предметъ; *любовь*, *счастіе* также женскаго рода. Множество и другихъ общоименныхъ, которыхъ начала не изслѣдованы, имѣли вліяніе на это сходство въ языкахъ. Раздѣленіе словъ по родамъ представляется болѣе всего неопредѣленности въ языкахъ, особенно въ швахъ, которые имѣютъ только два рода: мужескій и женскій.

По изслѣдованіи родовъ, перейдемъ къ другому замѣчательному видоизмѣненію именъ — къ склоненію по падежамъ. Падежи служатъ къ выраженію взаимныхъ отношеній предметовъ. Недостаточно указать на предметы, означить число, родъ; нужно еще изобразить ихъ положеніе одного къ другому. Предметы въ природѣ, одни въ отношеніи къ другому, находясь или вдали, или близко, вверху или внизу, за нами или впереди насъ; все это надлежало выразить и въ словѣ. Отсюда такъ называемые падежи: именительный, родительный, дательный и проч.; следовательно падежи означаютъ отношенія предметовъ перемѣною окончанія въ именахъ этихъ предметовъ.

Въ нѣкоторыхъ языкахъ эти отношенія означаются другимъ способомъ. Греческій, Латинскій, Русскій языки и многіе другіе имѣютъ склоненія; но Англійскій, Французскій и Испанскій языки, вмѣсто перемѣны именъ по падежамъ, выражаютъ отношеніе предметовъ посредствомъ предлоговъ, поставляя ихъ предъ именемъ того предмета, котораго отношеніе они показываютъ. Который изъ этихъ способовъ выраженія отношеній древ-

иѣ, и который имѣетъ преимущество? Очевидно, назначеніе того и другаго способа одинаково; различіе состоитъ въ формѣ. Что касается до древности этихъ способовъ, то первый изъ нихъ, повидимому многосложнѣйшій и преобладающій болѣе искусственности, встрѣчается во всѣхъ коренныхъ языкахъ, каковы: Греческій, Латинскій, всѣ Славянскіе языки. Отношенія, разсматриваемыя сами по себѣ отдѣльно отъ предметовъ, находящихся во взаимности между собою, принадлежащъ къ понятіямъ отвлеченнымъ. Не лѣзя отчетливо объяснить значеніе словъ *of* и *to*, взятыхъ отдѣльно отъ другихъ словъ, исчислить всѣ случаи, въ которыхъ они могутъ быть употребляемы; а потому, вѣроятно, въ древнихъ языкахъ, вмѣсто отношеній отвлеченныхъ, легче казалось выразить каждое отношеніе, какъ принадлежность самого предмета; для этого нужно только было измѣнить имя предмета по падежамъ, напр.: *hominis*, *hominī*, *hominem* и пр. Но падежи не выражаютъ всѣхъ отношеній предметовъ; потому-то, съ распространеніемъ потребности выражать ихъ, въ нѣкоторыхъ языкахъ, вмѣсто падежей, приняты предлоги. Такимъ образомъ въ языкахъ, происшедшихъ отъ Латинскаго, во время переселенія народовъ, приняты предлоги въ замѣнъ склоненій; новымъ завоевателямъ Рима казалось простѣе придавать предлоги всегда одинъ и тѣ же, безъ всякой перемѣны въ окончаніи имени: *di Roma*, *al Roma*.

Вразсужденіи преимущества, тотъ и другой способъ имѣетъ свои выгоды и невыгоды. Безъ сомнѣнія, употребленіе предлоговъ вмѣсто падежей опростило строеніе языковъ: чрезъ это устранены трудности различенія всѣхъ формъ

склоненій съ ихъ исключеніями. Отъ того новыя языки легче изучать; въ нихъ менѣе правилъ. Но при легкости и простотѣ въ языкъ, который составляютъ важныя преимущества, употребленіе предлоговъ имѣетъ свои невыгоды. Частое повтореніе ихъ, для выраженія отношенія предметовъ, обременяетъ рѣчь и тѣмъ самымъ ее ослабляетъ. Языки, вмѣстѣ съ эпимъ, лишились прилжности и разнообразія, происходящихъ отъ долгой словъ и различныхъ окончаній по падежамъ. Главный же недостатокъ этого способа состоитъ въ томъ, что, съ уничтоженіемъ падежей, языки лишились свободнаго словорасположенія. У древнихъ различныя окончанія въ склоненіяхъ именъ и въ спряженіяхъ глаголовъ ясно показывали различныя отношенія словъ одного и того же предложенія, и не требовали ближайшаго соединенія; безъ всякаго опасенія двусмысленности, они ставили слова въ томъ порядкѣ, какой почитали сильнѣйшимъ и благозвучнѣйшимъ. Въ языкахъ же, безъ этихъ преимуществъ, остается одно средство для ясности — ставить слова управляемые при управляющихъ. Здѣсь уже смыслъ періода выражается отдѣльными частями, и, такъ сказать, разрознивается, между тѣмъ какъ у Грековъ и Римлянъ строеніе длинныхъ предложеній, связанныхъ склоняемыми именами, не смотря на ихъ разстановку, представляло цѣлое. Послѣднія слова періода опредѣляли отношенія его различныхъ членовъ, и все, что должно быть соединено въ нашей мысли, казалось соединеннымъ и въ выраженіи. Отсюда краткость, живость и сила рѣчи. Въ новыхъ языкахъ, напрошивъ, кромѣ нашего, частицы, безпрестанно повторяющіяся, обременяютъ слогъ и ослабляютъ мысль.

Мѣстоименія составляютъ особый классъ словъ, непосредственно относящихся къ именамъ и глаголамъ, коихъ они, какъ самое слово показываютъ, занимаютъ мѣсто. *Я, ты, онъ, она, оно* — представляютъ краткій способъ выраженія при наименованіи лицъ или вещей, съ которыми мы находимся въ частномъ соприкосновеніи, или о которыхъ намъ должно часто упоминать. Поэтому они имѣютъ одинакія съ именами измѣненія въ числѣ, родѣ и падежахъ. Только должно замѣнить, что ни въ какомъ языкѣ мѣстоименія перваго и втораго лица: *я, ты*, не имѣютъ родовъ; потому что эти мѣстоименія всегда относятся къ личному разговору, при чемъ полъ предполагается извѣстнымъ, и опредѣленіе его было бы излишнимъ. Но третье лицо всегда относится къ отсутствующимъ лицамъ; а потому опредѣленіе рода необходимо. Что касается до падежей, то даже и въ тѣхъ языкахъ, которые не имѣютъ склоненій, мѣстоименія удерживаютъ измѣненія, для удобнѣйшаго выраженія отношеній; эта часть рѣчи слишкомъ часто встрѣчается. Сверхъ того мѣстоименія представляютъ собою выраженія и общія, и частныя: такъ мѣстоименіе оно предлагается къ безчисленному множеству предметовъ, и вмѣстѣ къ одному извѣстному предмету, о которомъ въ рѣчи говорится. — Мѣстоименія во всѣхъ языкахъ составляютъ часть рѣчи самую неправильную и трудную; потому что они, будучи столь часто употребляемы, болѣе другихъ частей рѣчи подвержены различнымъ измѣненіямъ.

Прилагательныя, или означенія качества, какъ: *великій, малый, черный, бѣлый* и пр., относятся къ всѣмъ словамъ. Въ Греческомъ, Латинскомъ и въ нашемъ языкѣ прилагательныя измѣняются одинаково съ именами: они склоняются, имѣютъ различные роды, перемѣняются по числамъ. Ошъ

шого въ Греческомъ и Латинскомъ языкахъ прилагательныя составляли одну часть рѣчи съ именами, не смотря на различное ихъ значеніе. Но прилагательныя, какъ выраженія качества, не имѣютъ никакого сходства съ именами; потому что они никогда не выражаютъ предмета, ошдѣльно существующаго; а это составляетъ сущность имени. Они болѣе сходны съ глаголами, которые, равно какъ и прилагательныя, выражаютъ принадлежность или свойство бытія. Съ перваго взгляда странно, что въ древнихъ языкахъ и въ нашемъ прилагательныя подвергаются всѣмъ измѣненіямъ именъ, между тѣмъ какъ число, родъ, падежи собственно не имѣютъ ничего общаго съ качествами: добрый, великій, прищипный, твердый и пр. Это можно объяснить тѣмъ, что уму легче представлять качества и свойства нераздѣльно съ предметами, въ совокупности съ ними, какъ часть ихъ бытія; а для показанія тѣснаго соединенія качества съ предметомъ, необходимо согласовать обѣ части рѣчи въ числѣ, родѣ, падежахъ. При этомъ свободное словорасположеніе требовало этого согласованія; въ противномъ случаѣ, при перестановкѣ словъ, не видно зависимости прилагательныхъ и именъ.

Изъ всѣхъ словъ, извѣстныхъ подъ именемъ качественныхъ, глаголъ самый многосложный. Въ немъ болѣе, нежели въ другихъ частяхъ рѣчи, выражается вся внутренняя, духовная сторона слова; почему изслѣдованіе сущности глагола и различныхъ его измѣненій можетъ быть предметомъ подробнаго разсмотрѣнія.

Глаголъ имѣетъ нѣкоторое сродство съ прилагательнымъ: та и другая часть рѣчи означаетъ качество лица или свойство вещи. Впрочемъ въ прилагательномъ мы видимъ только свойство, тѣсно

соединенное съ предметомъ; въ глаголѣ — дѣйствующее свойство этого предмета. Первое представляеть предметъ, какъ вещество; второй — жизнь предмета. Одно нераздѣльно соединено съ предметомъ, находящимся въ пространствѣ; другое выражаетъ бытіе или дѣйствіе, продолжающееся во времени. Глаголы всѣхъ языковъ показываютъ качество имени, утверженіе этого качества и время. Такимъ образомъ, когда я говорю: *солнце свѣтитъ*, то здѣсь глаголъ означаетъ свойство имени *солнце*; настоящее время также имъ опредѣляется, и кромѣ этого есть утверженіе, что свойство *свѣтитъ* принадлежитъ въ это мгновеніе солнцу. Причастіе *свѣтящій* также выражаетъ свойство и время, безъ всякаго утверженія лица. Неокончательное *свѣтитъ* можно назвать именемъ опглагольнымъ, которое не заключаетъ въ себѣ ни времени, ни утверженія; оно только показываетъ качество, дѣйствіе или состояніе предмета, служащее предметомъ другихъ наклопеній и другихъ временъ. Поэтому неокончательное склоненіе часто употребляется вмѣсто имени; такъ напримѣръ въ Латинскомъ: *scire tuum nihil est; dulce et decorum est pro patriamori.* — Но во всѣхъ временахъ другихъ наклопеній заключается утверженіе: *солнце свѣтитъ, свѣтило, будетъ свѣтитъ*. Изъ этого видно, что глаголъ отличается отъ прочихъ частей рѣчи преимущественно утверженіемъ, которое даетъ ему особый, самостоятельный характеръ. Безъ явнаго, или подразумеваемаго глагола, рѣчь не можетъ имѣть полноты; поному что, когда мы говоримъ, всегда утверждаемъ дѣйствительное существованіе, возможность или необходимость какого-нибудь предмета; а слово, выражающее это, есть глаголъ, получившій свое названіе отъ

важнаго назначенія своего въ рѣчи. Латинское *verbum* значить слово; и пошому глаголъ есть слово по преимуществу.

Первоначальная форма глагола, какъ думаетъ Смирнъ, глаголъ безличный. *It rains*, дождь идетъ; *it thunders*, громъ гремитъ; *it is lig*t, свѣщаетъ, и другіе. Дѣйствительно, это самая простая форма глагола; она только утверждаетъ какое-нибудь происшествіе, или состояніе какого-либо предмета. Совершенное развитіе его оказывается въ лицахъ, временахъ и наклоненіяхъ. Но только эта простая форма есть сокращеніе полнаго предложенія: въ Латинскихъ выраженіяхъ — *pluit, pingit*, подразумеваютъ слово *coelum*.

Время въ глаголахъ означаетъ различіа, находящіяся въ его послѣдовательности. Обыкновенно обращаютъ вниманіе только на три главные момента времени: на прошедшее, настоящее и будущее, и полагаютъ, что довольно было бы глаголамъ выражать только эти три степени послѣдовательности. Но языкъ не довольствуется этимъ: онъ разлагаетъ время на многіе моменты, и выражаетъ его вѣчное движеніе, непрерывную постепенность въ теченіи; пошому обозначаются прошедшія происшествія съ большею или меньшею окончанностью, а будущія — по мѣрѣ ихъ отдаленности. Отсюда все разнообразіе временъ почти во всѣхъ языкахъ.

Настоящее время никогда не подвергается подраздѣленію и не допускаетъ никакихъ измѣненій: *scribo* — пишу; прошедшее въ самомъ бѣдномъ языкѣ выражается двумя или тремя временами. Въ Русскомъ языкѣ недостатокъ временъ замѣняется различными видами глагола.

Кромѣ временъ, означающихъ различныя моменты дѣйствія, глаголы имѣютъ еще такъ на-

зываемые залогі: дѣйствительный, спрдадательный и средній; потому что въ предметъ разсматривается или дѣйствіе на другой предметъ, или дѣйствіе опъ другаго, или просто бытіе. Въ Русскомъ языкѣ сверхъ того эши залогі имѣють подраздѣленія, различающіеся опъ главныхъ залоговъ оконча-ніями: дѣйствительному соопъспивуеетъ взаимный залогъ, спрдадательному — возвратный, среднему — общій. Глаголы имѣють различныя наклоненія, какъ въ дѣйствительномъ, такъ въ спрдадательномъ, среднемъ и другихъ залогахъ, выражающія ушверженіе дѣйствія, возможность или необходимость. Такъ напр. изъявительное наклоненіе выражаетъ собою предложеніе простое: *scribo*, пишу, *scripsi*, писалъ; повелительное означаетъ необходимость исполненія: *scribe*, пиши; сослагательное даетъ предложенію форму условную и зависящую опъ предмета, къ которому оно относится: *scriberet*, писалъ бы. Эшопъ-по способъ выражать ушверженія со всѣми разнообразными формами и различіемъ мѣстоименій: я, ты, онъ, называется спряженіемъ, которое составляетъ важнѣйшую часть въ построенія языка.

Изъ эшого ясно видно, что глаголъ естъ самая сложная часть рѣчи. Какъ много выражаетъ одно простое Латинское слово *amavissem*: во первыхъ, лице говорящее — я; во вторыхъ, качество или дѣйствіе его — любить; въ третьихъ, ушверженіе эшого дѣйствія, въ четвертыхъ, дѣйствіе прошедшее, имъ означаемое, и въ пятыхъ, возможность, или условіе, опъ котораго зависить дѣйствіе. — Совершенными почитаются шъ спряженія, которыя легкимъ измѣненіемъ послѣдняго или начальнаго слога, безъ помощи вспомогательныхъ глаголовъ, показываютъ всѣ нужныя переменны. Глаголы въ

Восточныхъ языкахъ, при немногихъ временахъ, посредствомъ наклоненій выражаютъ все разнообразіе обстоятельствъ и отношеній. Такъ напримѣръ въ Еврейскомъ языкѣ одно слово, безъ помощи вспомогательнаго глагола, выражаетъ не только: *я училъ*, но и значенія — *я вѣрно училъ*. *мнѣ приказали учить*, *я учился самъ*. Въ Греческомъ языкѣ, какъ образованнѣйшемъ изъ извѣстныхъ языковъ, времена и наклоненія представляются во всей правильности и полнотѣ. Латинскій языкъ, составленный по образцу Греческаго, уступаетъ ему въ совершенствѣ; и это преимущественно въ спрадашельномъ залогѣ, въ которомъ времена состоятъ съ помощію вспомогательнаго глагола *sint*.

Въ новыхъ Европейскихъ языкахъ спряженія весьма неполны. Они почти не допускаютъ никакихъ измѣненій въ окончаніяхъ глагола, и, какъ въ дѣйствительномъ, такъ и въ спрадашельномъ залогахъ, употребляютъ глаголы вспомогательные. Въ спряженіяхъ этихъ языковъ произошла такая же перемѣна, какой подверглись склоненія. Какъ предлоги, поставляемые предъ именами, замѣнили надежи, такъ и вспомогательные глаголы, употребляемые съ причастіями, замѣнили въ наклоненіяхъ и временахъ различныя окончанія, составлявшія отличительное свойство древнихъ спряженій.

Вспомогательные глаголы и предлоги суть слова общія, отвлеченныя, которыя выражаютъ видоизмѣненія простаго бытія, разсматриваемаго отдѣльно, безъ отношенія къ чему-либо въ особенноти. Вѣроятно, съ постепеннымъ развитіемъ языка, вошли въ употребленіе вспомогательные глаголы; они замѣнили собою большую часть временъ и наклоненій; пошому что, показывая вообще значеніе

утвердительно — необходимый признак глагола — они соединяются съ причастіемъ, которое придаетъ каждому глаголу особенное значеніе. Этимъ способъ измѣненій глагола принятъ въ новыхъ языкахъ; опъ того они спали простѣе и удобнѣе для изученія, однако лишились приятности и почности.

Нарѣчія во всѣхъ языкахъ соспавляютъ многочисленный отдѣлъ словъ, которыя можно причислить къ роду качественныхъ; потому что они означаютъ состояніе какого-нибудь дѣйствія или качества относительно мѣста, времени, порядка, степени и другихъ обстоятельствъ. Нарѣчія вообще суть сокращенныя выраженія того, что можно сказать двумя или тремя словами посредствомъ другихъ частей рѣчи. Такъ напр. *чрезвычайно* то же, что *въ высочайшей степени*; *храбро* — *съ храбростію*; *здѣсь* — *въ этомъ мѣстѣ*; *часто* — *много разъ*; *редко* — *малое число разъ*, и такъ далѣе. Изъ этого слѣдуетъ, что нарѣчія не такъ необходимы въ языкъ, какъ другія части рѣчи; почти всѣ они происходятъ опъ какихъ нибудь словъ, важнѣйшихъ по своему значенію.

Предлоги и союзы придаютъ рѣчи ясность. Они необходимы въ языкъ, потому что, какъ уже выше мы замѣтили, выражаютъ отношенія предметовъ и послѣдовательность дѣйствія. На нихъ основывается сужденіе, которое есть не что иное, какъ соединеніе понятій. Число этихъ частей рѣчи возрастало по мѣрѣ того, какъ чело-вѣкъ успѣвалъ въ сужденіи и умозаключеніи. Богатство соединительныхъ частицъ, выражающихъ отношенія предметовъ и связь мыслей, показываетъ совершенство языка и образованность народа. Въ этомъ отношеніи преимуществуетъ передъ всѣми

языками Греческій языкъ, на которомъ говорилъ народъ древняго міра, достигшій высшей степени гражданственности. Сила и красота всякаго языка состоятъ въ точномъ употребленіи союзовъ, предлоговъ и относительныхъ изъяснительныхъ, также служащихъ къ соединенію частей предложенья; отъ искусства ихъ употребленія зависитъ ясность, плавность и правильность рѣчи.

Вотъ основные законы стихій слова! Когда представимъ себѣ, что въ словѣ содержится совокупность воззрѣній и понятій нашихъ, изображеніе умствениаго богатства мыслей, нравственныхъ движеній и чувствованій, наукъ и искусствъ; тогда согласимся, что составъ и строеніе языка требуютъ подробнаго изслѣдованія. «Не должно, говорить Кавилианъ (*), пренебрегать законами языка и почитать ихъ маловажными. Конечно, не трудно различать согласныя отъ гласныхъ, или гласныя раздѣлять на полугласныя и безгласныя; но кто проникнетъ въ глубину этого ученія, тотъ издѣлитъ предметы достойные вниманія, которые не только могутъ изощрить умъ чинный, но и занять людей просвѣщенныхъ и ученыхъ.»

(*) *luc. l. 4. ut quis, tanquam parva, fastidiat grammaticae elementa. Non quia magna sit operae consonantes a vocalibus discernere, easque in semivocalium numerum multatimque putare; sed quia interiora velut sacri hujus admodum comprehendit multa rerum subtilitas, quae non modo animi exercitia parant, sed exercere altissimam quoque penetrationem ac acutissimam possunt.*

ЧТЕНІЕ ПЯТОЕ.

Сродство языковъ. — Сродство Русскаго языка съ другими языками.

Разсмащривая развишіе слова, согласное съ развишіемъ душевныхъ способностей, и спроеніе его, мы убѣждаемся въ томъ, что съ первымъ человѣкомъ произошла вся полная система слова. Священное Писаніе разрѣшаетъ всѣ недоумѣнія касательно языка: изъ него научаемся мы тому, что слово современно разуму, и что система языка начинается съ развишіемъ мыслящей способности. Слово, являвшееся въ каждомъ обществѣ человѣческомъ съ полнымъ развитіемъ разума, необходимо для нашего существованія духовнаго. Безъ слова человѣкъ не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ созданъ и къ чему предназначенъ; слово ему необходимо не только для выраженія, но и для воспроизведенія мысли; она въ немъ рождается. Отъ единого происхожденія всѣхъ языковъ находимъ мы въ нихъ единство и сходство въ составѣ, при всемъ разнообразіи реченій. Всѣ народы, разсѣянные по разнымъ странамъ земнаго шара, узнаютъ въ языкахъ первородное родство свое; потому что было время, когда *бы вся земля устѣ едины и гласъ едины всѣми*, говоритъ Боговдохновенный дѣписатель (*). Этошъ міровый языкъ былъ первообразомъ слова; право первобытнаго языка не принадлежитъ ни одному изъ нынѣшнихъ языковъ: онъ

(*) Бытія XI, 1.

разниѣ въ всѣхъ языкахъ, потому что начала его заключающіяся въ небесномъ дарѣ слова.

Изъ этого очевидно, что необходимость слова одинакова съ необходимостью другихъ органовъ. Человѣкъ, согласно съ условіями состава своего, возникаетъ какъ существо умственное, нравственное и общественное, или словесное. Онъ ни одного мгновенія не сиротствовалъ, какъ свидѣтельствоуетъ исторія; а для этого необходимо совершенное развитіе слова, соотвѣтственно полному развитію разумнія. Еще новое подтвержденіе историческое, что языки всегда имѣли тѣ же формы, какія нынѣ имѣютъ; что все можетъ быть постепеннымъ образованіемъ общества, кромѣ языка въ основныхъ его стихіяхъ; что языки совершенствуются размноженіемъ количества словъ и оборотовъ, а не размноженіемъ своихъ стихій. Они не измѣняющіяся въ коренныхъ началахъ — въ томъ, что имѣютъ между собою сходнаго; но измѣняющіяся въ томъ, что составляютъ особый духъ каждаго народа.

Гдѣжь первый языкъ, дабы съ нимъ повѣрить наши изслѣдованія? Смѣшное языковъ есть событіе историческое: первый языкъ раздѣленъ на нѣсколько языковъ, какъ дѣлился одинъ и тотъ же свѣтъ, достигающій до насъ въ безчисленныхъ лучахъ. Сходство, даже единство всѣхъ языковъ въ основаніяхъ, при всемъ ихъ разнообразіи, служило этому доказательствомъ. Въ составъ каждаго реченія, сказали мы, участвуютъ: предметы, производящіе на сознаніе наше впечатлѣнія; сознаніе, воспринимающее впечатлѣнія, и самые звуки, въ которыхъ развивается цѣлый міръ. Въ природѣ, насъ окружающей, есть предметы и явленія всемірныя, общія всѣмъ странамъ свѣта, и частныя, при-

надлежація той или другой справѣ въ особенности. Отсюда съ одной стороны въ языкахъ выраженія сходныя, даже одинакія, звукоподражательныя, и другія различныя, особенныя; одни зависятъ отъ явленій общихъ, другія отъ особенностей, свойственныхъ каждой землѣ. Отъ единства законовъ сознанія, сопряженія понятій и всѣхъ дѣйствій душевныхъ, зависятъ единство въ производствѣ словъ во всѣхъ языкахъ, въ повѣствованіяхъ, сопоставленіи словъ, въ спихіяхъ слова, въ спроеніи рѣчи. Но какъ степени силы и превосходства способностей, равно и воззрѣнія на предметы, различаются; то и въ отношеніи къ сознанію, при всемъ единствѣ языковъ и рѣчи человеческой, есть нѣкоторыя отличія того или другого языка, той или другой рѣчи. Наконецъ членораздѣльные звуки, которыми выражаетъ человекъ внутреннія движенія духа своего—способъ перенесенія въ нихъ предметовъ окружающихъ—эти звуки во всѣхъ языкахъ большею частію одинакіе — гласныя и согласныя; различествуютъ они только взаимнымъ сочетаніемъ. Подобныя одинакія свойства всѣхъ языковъ, при всемъ ихъ различіи, принадлежатъ тому *первоначальному* языку, которымъ, по раздѣленіи на многія отрасли, остался неизмѣннымъ въ выраженіяхъ, показывающихъ движенія духа, всемъ и каждому общія. Этого первоначальный языкъ по всеобщности своей можетъ назваться *міровымъ*; на немъ, повторимъ мысль, съ которой начали мы разсужденіе, основываются и законы сродства языковъ. Отдѣлите отъ каждаго языка особенности: останутся для всѣхъ общія выраженія, принадлежащія *языку первобытному*. На этомъ основывается *сродство языковъ* (*).

(*) Гротій въ замѣчаніяхъ къ Ветхому Завету, Быт. XI, 1, говоритъ: *Primævam linguam nullibi puram exstare, sed*

Сродство, какое находимъ мы во всѣхъ языкахъ, бываешъ двоякое: одно содержишся въ самыхъ реченіяхъ — *аналитическое*, или *лексикологическое*; другое въ спроеніи реченій — *синтетическое*, или *грамматическое*. Опъ смѣшенія эсихъ двухъ родовъ сродства въ языкахъ филологи впадали въ спранныя погрѣшности: неправильно толковали слова по чуждому имъ производству; уродовали реченія для того, чшобъ подвести ихъ подъ свое мнимое начало; припимали подложныя сочиненія за драгоценныя памятники старинной письменности народовъ.

Болѣе упошребляли во зло сродство реченій, между тѣмъ какъ оно менѣе другаго рода сродства доказываешъ прямое происхожденіе одного языка опъ другаго. Дѣйствительно, сочетанія звуковъ, образуемыхъ голосомъ человѣческимъ, не безконечны, но ограниченны; пошому что въ числѣ всѣхъ возможныхъ сочетаній находишся нѣсколькоapakихъ, копорыя опшвергаются нашимъ слухомъ. Не удивительна, если между остальными встрѣчается сходство, при сравненіи множества словъ и многихъ языковъ. Когда въ какомъ-либо языкѣ находишся извѣстное реченіе, то еще не слѣдуетъ заключашъ, чшобъ подобнаго реченія не было ни въ какомъ другомъ языкѣ. Каковыжъ заключенія о сродствѣ языковъ, основанныя на случайномъ сближеніи нѣсколькихъ реченій двухъ языковъ?

Сходство реченій лексикологическое основывается на членораздѣльныхъ звукахъ, или гласныхъ и согласныхъ, служащихъ къ соединенію впечатлѣній и ощущеній въ одно цѣлое выраженіе мысли. Между

reliquias ejus esse in linguis omnibus. — Leibnitii observ. variae de linguis et origine vocabulorum в Felleri monumentis ineditis; len. 1718.

гласными и согласными существуетъ извѣстное сродство, какъ мы уже замѣчали; а потому и переходъ одной изъ нихъ въ какую-либо другую имѣетъ также определенное основаніе: по-видимому несходныя между собою реченія принадлежатъ къ одному корню, на основаніи постоянного измѣненія гласныхъ и согласныхъ. Сходство же самихъ буквъ естественнo зависить отъ образованія органовъ, служащихъ къ ихъ произношенію. Оно существуетъ и въ реченіяхъ одного какого-либо языка, и въ словахъ различныхъ, но однородныхъ языковъ. Причинны этого рода сходства *физическія*, основанныя на спичіяхъ, всѣмъ языкамъ общихъ. Такъ звуки, произносимые одними и тѣми же орудіями, переходятъ одинъ въ другой: *βιβλια* и *biblia*, *frater* и *bruder*, око и *Augē*. Въ Русскомъ языкѣ особенно замѣчательны музыкальные переходы одного звука въ другой сродный: понемѣ согласнымъ — *б, в, г, д, ж, з, ц*, соотвѣтствуютъ шверды: *п, ф, х, т, ш, с, ч*. Въ произношеніи мы часто одну изъ мягкихъ замѣняемъ соотвѣтственною швердою. Такъ въ пѣкошорыхъ обласіяхъ у насъ вмѣсто *ц* употребляютъ *ч*, и *ц* вмѣсто *ч*. Даже, по образованію органа голоса, *г* переходитъ въ производныхъ реченіяхъ въ *ж*, или *з* въ *ж*; соотвѣтственные понемѣ шверды измѣняются въ томъ же самомъ порядкѣ. Реченія — Богъ, гроза, переходятъ въ другія: Божій, грожу; равно: махатъ, носить — въ машу, ношу. Здѣсь мягкимъ звукамъ: *г* и *ж*, или *з* и *ж*, соотвѣтствуютъ швердые: *х* и *ш*, или *с* и *ш*.

Сродство, основанное на спроеіи реченій, можетъ служить болѣе вѣрнымъ доказательствомъ близкаго сродства языковъ; но и тутъ потребна величайшая осторожность. Этимъ родомъ сравненія также нельзя со всею точностью опредѣлить спе-

пени сходства двухъ языковъ; можно только показать, что они не совсѣмъ одинъ другому чужды. Предыдущія изслѣдованія стихій и спроектия слова удостовѣрили насъ въ единствѣ основныхъ законовъ во всѣхъ языкахъ; но для заключенія о прямомъ происхожденіи одного языка отъ другаго потребны свидѣтельства историческія.

Сходство грамматическихъ формъ служитъ весьма важнымъ свидѣтельствомъ сродства языковъ. Если мы видимъ тождество во внутреннемъ устройствѣ двухъ языковъ; если склоненія и спряженія одинаковы въ составѣ своемъ и имѣютъ сходныя окончанія; если къ этому присоединятся вышеупомянутый законъ отношенія звуковъ: то рѣшительно можемъ заключать о прямомъ сродствѣ языковъ. Чѣмъ болѣе открываемъ одинаковыхъ звуковъ, какъ въ главныхъ слогахъ реченій, такъ и въ формахъ грамматическихъ, тѣмъ большее сходство можетъ быть выведено между сравниваемыми языками.

При такой невѣрности изслѣдованій словопроизводства, Джонсонъ утверждаетъ, будто нѣтъ никакихъ правилъ въ производствѣ словъ. Это значитъ то же, что утверждать отсутствіе правилъ мышленія: а языкъ представляетъ высшую сторону мышленія. Напротивъ, въ наше время ученые Фр. Шлегель, Раске, Линде, глубокими изслѣдованіями своими открыли истинныя основанія словопроизводства.

Кромѣ показанныхъ условій сходства, замѣчаемаго въ языкахъ, есть еще особенныя, зависящія отъ сношеній одного народа съ другимъ. Исторія указываетъ намъ на шумныя переселенія народовъ и переходы ихъ изъ одной страны въ другую, до утвержденія осядлости; вмѣстѣ съ ними странствованія и слова. Сверхъ того промышленность и пор-

говля, съ мѣною издѣлій и поваровъ, мѣняли слова и выраженія одного нарѣчія на слова и выраженія другого. Много словъ встрѣчаемъ, одинаково описывающихся почти во всѣхъ языкахъ, по-видимому переходившихъ изъ успѣ въ успа, изъ одного края въ другой, какъ вещи необходимыя и вѣснѣ съ тѣмъ ручныя. Такъ Вѣра, науки, искусства приносятъ съ собою слова, которыя служатъ историческими указателями, кому обязанъ какой-либо народъ свѣтомъ Христіанства и распространеніемъ полезныхъ знаній. Но есть коренныя слова, которыхъ народы не заимствуютъ другъ у друга; не смотря на это, коренныя слова во всѣхъ языкахъ очень сходны. Такъ ни одинъ народъ не принимаетъ у другого словъ для названія себя самого, того лица, которому мы говоримъ, или того, о которомъ говоримъ; не заимствуетъ также главнаго слова въ рѣчи, связи всякаго предложенія: однако и глаголъ *есмы*, и личныя мѣстоименія во всѣхъ языкахъ представляющъ разительное сходство. Сюда причислить должно и тѣ реченія, которыми выражаешь человѣкъ внутреннія движенія духа своего — способъ, которымъ онъ объемлетъ окружающіе предметы. Этого рода реченія болѣею частию сходны во всѣхъ языкахъ; потому что они происходятъ изъ одного источника — духа человеческого, въ которомъ отражается окружающая человѣка природа.

Такимъ образомъ коренныя слова и реченія первой необходимости составляютъ собственно основаніе языка; между ними по преимуществу искать должно реченій сходныхъ, при сравненіи одного языка съ другимъ. Но и въ этихъ реченіяхъ сравненія должно дѣлать со всею осмотрительностію: не рѣдко принимали кажущееся съ

перваго взгляда сходство за настоящее и подлинное. — Сюда принадлежатъ самопроизвольные шолки этимологій, которая, не смотря на доказательства историческія, ей противорѣчащія, смѣло разрѣшаетъ всѣ недоумѣнія въ языкахъ, переспанавливаетъ буквы, обрѣзываетъ слоги, кромсаетъ цѣлыя реченія, лишь бы только по-своему объяснить какое-либо слово. Съ другой стороны, есть слова, которыя съ перваго взгляда кажутся совершенно различными, между тѣмъ какъ имѣютъ существенное взаимное отношеніе.

При изслѣдованіяхъ сродства языковъ должно обращать вниманіе на различные ихъ періоды. Языкъ принимаешь можно за органическое существо, одаренное жизнью: онъ также превращаетъ въ свое собственное бытіе элементы, для него необходимыя, придавая имъ опредѣленные образы. Какъ органическія существа, языкъ растетъ, созрѣваетъ, разлагается и послѣ себя оставляетъ другія нарѣчія. Это послѣдовательное развитіе, похожее на развитіе жизни въ тѣлахъ органическихъ, происходитъ равно по опредѣленнымъ законамъ. Восходя къ древнѣйшимъ языкамъ, и разсматривая ихъ строеніе, мы находимъ одинъ изъ главнѣйшихъ законовъ слѣдующій: *существенное богатство языковъ, вмѣсто возрастанія, съ теченіемъ времени уменьшается*. Это основное свойство языковъ оказывается общимъ и въ отношеніи лексикологическомъ, и въ отношеніи грамматическомъ. Чѣмъ глубже проникаемъ мы въ древность языка или цѣлаго семейства языковъ, тѣмъ болѣе находимъ словъ гармоническихъ, звучныхъ гласными. Напротивъ, чѣмъ ближе къ себѣ разсматриваемъ исторію тѣхъ же языковъ, тѣмъ болѣе встрѣчаемъ ихъ бѣдными въ этомъ отно-

шеніи; звучныя гласныя смѣняющіяся полугласными; мягкія согласныя переходящія въ швердыя; двогласныя сокращающіяся. Отъ того и слова съ шеченіемъ времени шеряють полношу, благозвучность. Такимъ образомъ цѣлые языки болѣе и болѣе лишаются могущества прельщашъ слухъ, потрясашъ душу; они начинаютъ служить только возобновленіемъ въ умъ представленій и понятій — не образами, а знаками. Такъ н. п. изъ Греческаго слова *ἐλεημοσύνη* составлено Латышское *eleemosuna*; отсюда Французское реченіе — сперва *almozne*, потомъ *aumône*, и Англійское *alms*. Гдѣжь прежняя полноша и звучность этого слова? Тоже усматриваемъ и въ отношеніи грамматическомъ. Языкъ и въ формахъ въ послѣдствіи времени бѣдѣешь, лишаясь богатства или въ окончаніяхъ, или въ составѣ. Исторія языковъ всегда представляетъ извѣстную эпоху, когда они бывають изобильны, сильны; когда всѣ измѣненія мысли могуць выразиться измѣненіями корня; когда самыя корни различными сочетаніями образуютъ сложныя реченія для выраженія сложныхъ каршинъ. Но эта пора проходитъ — и языкъ мало по малу шеряетъ свои преимущества: въ немъ исчезаютъ всѣ ошѣтки надежей, временъ, наклоненій, лицъ; тогда входящъ въ употребленіе члены, вспомогательныя глаголы, предлоги: тогда становится нужно выражать лишнимъ словомъ то, для чего прежде бывало достаточно простой перемѣны въ окончанія. Таковы перемѣны въ языкахъ, происшедшихъ отъ Латышскаго. Римлянинъ говорилъ: атавог; адъсь *b* служилъ признакомъ будущности, *o* — перваго лица, а *r* показывающъ залогъ страдательный. Въ языкахъ Романскихъ три буквы замѣняющіяся тремя словами. Подобныя

измѣненія мы замѣчаемъ въ древнемъ Эллинскомъ языкѣ и нынѣшнемъ Греческомъ, въ языкѣ Зороастра и нынѣшнемъ Персидскомъ, въ Санскритскомъ и Индѣйскомъ нашего времени, въ древнемъ Тевтонскомъ и Нѣмецкомъ, въ Скандинавскомъ, сохранившемся въ Исландіи, и нынѣ употребительномъ Шведскомъ, Датскомъ и Норвежскомъ, въ Славянскомъ и нашемъ Русскомъ. Всѣ новыя нарѣчія должны уступить древнимъ родственнымъ нарѣчіямъ въ полнотѣ словъ, силѣ и благозвучіи (*).

Эпо заключение съ перваго взгляда можетъ показаться несогласнымъ съ мыслию объ усовершенствованіи чловѣческомъ. Нѣтъ сомнѣнія, что умъ нашъ непрерывно совершенствуется въ знаніяхъ; но съ распространеніемъ знаній и съ зрѣлостью размышленія, чловѣкъ перяетъ прелесть перваго возраста, когда мы живемъ вдохновеніемъ; мужество, знакомясь съ философіею, оставляетъ поэзію. Тоже самое происходитъ съ словомъ: оно, при распространеніи знаній, въ вѣкъ народнаго мужества, лишается полноты и прилпности юношеской; но съ потерей вещественной красоты, приобретаетъ большую точность и опредѣленность; становясь не столь способнымъ къ изображенію картинъ поэтическихъ, оно лучше выражаетъ глубокія отвлеченія и многосложныя соображенія; богатство грамматическихъ формъ и благозвучіе реченій замѣняются изящными оборотами рѣчи. Короче, каждый языкъ, выигрывая въ обиліи, согласно съ обиліемъ знаній, перяетъ многое въ силѣ и благозвучіи.

(*) См. *Ampère — Litterature et voyages. Paris. 1855.*

И такъ сродство языковъ имѣетъ основныя законы въ самомъ разумнѣи, которое, по одинакому устройству органовъ человѣческаго голоса, облекается въ слово, состоящее изъ опредѣленныхъ звуковъ, но различающееся по мѣсту и времени. Отъ того происходятъ всѣ различія языка первоначальнаго; отъ того же встрѣчаемъ измѣненія и каждого языка, порознь разсматриваемаго, въ различныхъ періодахъ жизни его народа.

Чтожь скажемъ о сродствѣ нашего языка съ другими языками, Азіатскими и Европейскими? — Богемицъ Геленій (*), жившій въ половинѣ XVI вѣка, прежде всѣхъ сравнивалъ Славянскій языкъ съ Греческимъ, Латинскимъ и Нѣмецкимъ. Послѣ него Френцель (**) писалъ о началѣ языка Сербскаго, упоминая о немъ въ Лузаціи, сравнивая его съ Еврейскимъ, Греческимъ и Латинскимъ. Фришъ, въ Исторіи Славянскаго языка, и Ире, въ предисловіи къ Шведско-Готтскому глоссарию, также замѣчали сходство Славянскаго языка съ Греческимъ. Тоже сходство можно видѣть въ Палласовомъ сравнительномъ Словарѣ, сопоставленномъ по начертанію Екаперини II (***). Левекъ, въ предисловіи къ Россійской Исторіи, почитаетъ Славянскій языкъ родственнымъ Латинскому, а въ примѣчаніяхъ къ переводу своему Фукидида находить сходство Славянскаго языка съ Греческимъ. Указанія Карамзина, въ его Исторіи, всѣмъ извѣстны.

(*) *Λεξικὸν βυρμανον*, Basileæ, 1544. (**) *De originibus linguæ Sorabicae*, 1693 — 95. (***) *Сравнительные Словари всѣхъ языковъ и нарѣчій, собранные десницею Всевысочайшей Особы. С.-Петербургъ, 1787, 2 т., въ 4. — J. C. Adelung Mithridates, oder allgemeine Sprachkunde; Berlin, 1816 — 1817.*

Въ концѣ испекшаго столѣтія и въ началѣ нынѣшняго, многіе ученые обращали вниманіе на сродство Европейскихъ языковъ съ Славянскимъ: Денина (*), Грефъ (**), Аделунгъ, въ своемъ Мипридаштъ, Клапроштъ (***), Мальшебрюнъ, Шлецеръ (****), Фатеръ (*****), Линде, Юнгманнъ. Сходство Русскаго языка съ Санскрипскимъ и древне-Индѣйскимъ указываютъ Левада, Михановичъ (*****), Маевскій, Боппъ.

Замѣчательны для насъ изслѣдованія Экономида (*). Они приводятъ къ заключенію, что Славянскій языкъ попомокъ языка Фрако-Пеласгійскаго, родственнаго тому языку, которому удивляемся мы въ твореніяхъ Омира и Платона. Эйхгофъ (**) доказываетъ, что эпи Фракійцы, или Пеласги, самые поздніе выходцы изъ Азій, первоначальнаго, общаго всѣмъ народамъ ошечества, болѣе другихъ сохранившіе его искусства; они-то перенесли въ Грецію и Италію образованность свою, измѣненную отъ сношеній съ Финикіею и Египтомъ.

Вообще изслѣдованія корней Греческаго и Латинскаго языка, сдѣланныя въ наше время открытія касательно нарѣчій и древностей Азій, наконецъ знакомство съ литературой Санскрипской —

(*) La clef des langues de l'Europe, 1820. (**) Commentatio, qua lingua Græca et Latina cum Slavicis dialectis in re Grammatica comparantur. Petropoli, 1827. (***) Asia polyglotta. (****) Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771. (*****) Ueber die Thracische Sprachklasse. (*****) Archiv für Geschichte, Statistik, Litteratur und Kunst. Wien, 1823.

(*) Опытъ ближайшаго сродства Славяно-Россійскаго языка съ Греческимъ.

(**) Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde. — Fr. Bopp Vergleichende Grammatik des Sanscrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Littauischen, Slavischen, Russischen, Gothischen und Deutschen. Berlin, 1837. 3 Bde.

все это ведетъ насъ къ заключенію, что партія, распространившіяся изъ Месопотаміи, суть различныя отрасли одного и того же *языка первобытнаго*. Успокоиваешь умъ единствомъ и постоянствомъ законовъ, какъ вокругъ себя, такъ и въ себѣ самомъ, когда убѣждаемся въ томъ, что всѣ народы, разсѣянные въ разныхъ частяхъ свѣта, узнають первородное родство свое по языкамъ, выражающимъ ихъ мысли.

На основаніи законовъ сродства языковъ, въ исторіи отечественнаго языка мы различаемъ сродство *аналитическое* и *синтетическое*, отъ вліянія народовъ, съ которыми мы имѣли сношенія. Такъ Норманны, вмѣстѣ съ своими обычаями, учрежденіями, принесли къ намъ и слова. Реченія: *рядъ, костеръ, котелъ, стѣна, градъ, торгъ, молоко* и другія, находимъ въ языкахъ Исландскомъ, Датскомъ, Шведскомъ и Фризскомъ, или Сѣверо-Германскомъ. Здѣсь одно только сродство лексикологическое. Несравненно большая перемѣна произведена была въ языкъ предковъ нашихъ переводомъ Библии, при введеніи въ отечественнѣ нашъ Христіанской Вѣры. Переводчики предлагали Священныя книги съ сохраненіемъ оборотовъ Греческаго языка и иныхъ словъ подлинника. Этотъ церковный языкъ долгое время почитался образцомъ книжнаго языка. Отъ того съ Греческимъ языкомъ нашъ имѣетъ сродство и аналитическое, и синтетическое.

Вліяніе языка Монголовъ было слабое: нѣкоторые слова ихъ вошли въ нашъ языкъ, но не замѣнили Русскихъ. Они большею частію относятся къ одеждѣ, оружію, домашней утвари, п. п. *кушакъ, колчанъ, стаканъ*; а названія нѣкоторыхъ драгоценныхъ камней заимствованы изъ воспочныхъ языковъ вмѣстѣ съ самыми драгоценностями,

п. п. Арабскія алмазъ, лхонтъ, моназъ; Персидскія: бюрюза, изумрудъ.

Послѣ паденія Греческой Имперіи, воскормившей насъ Вѣрою, науками и искусствами, мы стали искать пособій на Западѣ. Безпрестанныя сношенія съ Польшею, владычество Поляковъ въ Юго-западной Россіи, старанія Римскихъ Капюлковъ обратишь народъ, имъ подвластный, къ Уніи, и привлекательная сила образованности — все это содѣйствовало вліянію Польскаго языка на языкъ Русскій, продолжавшемуся съ XVI вѣка до начала XVIII. Въ это время въ училищахъ нашихъ введенъ былъ образъ ученія, господствовавшій въ Польшѣ: науки большею частію преподавались на Латинскомъ языкѣ. Отсюда въ нашемъ отечественномъ языкѣ семнадцатаго и первой половины восемнадцатаго столѣтія находимъ синтетическое сродство съ Латинскимъ.

Въ царствованіе Петра Великаго, со введеніемъ къ намъ новыхъ познаній и обычаевъ, съ преобразованиемъ сухопутной и созданія морской военной силы, съ устроеніемъ новой системы Государственнаго управленія, вошли въ нашъ языкъ многія слова Голландскія, Англійскія, Шведскія, Нѣмецкія и Французскія: отъ того Словарь нашъ испещренъ иностранными реченіями. Тутъ сродство аналитическое.

Ломоносовъ ознаменовалъ начало Русской Поэзіи и Русскаго Краснорѣчія, отдѣливши и Русскій языкъ отъ Церковнаго. Очищеніе этого языка, образованіе новой народной рѣчи принадлежитъ Карамзину (*).

Синтаксисъ въ особенностяхъ представляеиъ исторію мысли народной; это развитіе народнаго

(*) О степени сходства нашего отечественнаго языка съ соплеменными Славянскими нарѣчіями можно читать Добровскаго, Копитара, Шафарика, также Каченовскаго

характера подѣ влияніемъ религіознымъ, гражданскимъ и умственнымъ, высказаннаго самимъ народомъ и краснорѣчивѣйшими его представителями. Наблюдайте рѣчь нашу отъ XII вѣка до XVI: это искусственная рѣчь Греческая. Лѣтописи *Несторова*, Посланія Митрополиша *Никифора* къ Владиміру Мономаху, Житіе Св. Петра, написанное *Кипріяномъ*, представляютъ тѣ самыя обороты, которые читаемъ въ переводѣ Библии: безпрестанное повтораеніе словъ *есть* и *суть*, безпрестанныя причастія, безпрестанные союзы *а, и*. Собственно Русская рѣчь, въ продолженіе этого времени, вылетала только изъ груди Русской пѣсни или пословицы; она также видна въ *грамматахъ*. Какая разность въ рѣчи *Курбскаго*! Въ немъ видимъ спрое соблюденіе оборотовъ Латинскихъ. То же встрѣчаемъ и у *Кантемира*. Просподушно и оспроумно онъ умѣетъ сочетать воображеніе и разумъ, поэтическія вдохновенія съ мыслями философическими, молніею сверкающими; но все еще боится говорить, какъ говорили Русскіе безграмотные, сохранившіе родную рѣчь: онъ вездѣ слышится наблюдающаго правила Латинскаго языка (*).

и *Востокова* въ Трудахъ Общества Любителей Россійской Словесности; *Кеплена* — въ Матеріалахъ для исторіи просвѣщенія въ Россіи. С. П. 1325 — 26; *Блумбергера* — въ Вѣнскомъ Журналѣ: *Jahrbücher der Litteratur*; *Круга* — въ сочиненіи: *Versuch zur Aufklärung der Byzantinischen Chronologie*. Petr. 1820, in 8°.

(*) См. Русскіе въ пословицахъ — *Снегирева*, и о народныхъ пѣсняхъ — *Глаголева*. О старинныхъ памятникахъ письменности нашей можно справиться съ изслѣдованіями *Погодина*: О происхожденіи Руси, 1825, и въ переводѣ Добровскаго Критическаго опыта о Кириллѣ и Меѳодіи, 1825; К. *Калайдовича*: Тр. Общ. Л. Р. С. 1822; Н. *Полеваго*: въ Исторіи Русскаго народа; П. *Строева*: въ Журналѣ М. Н. Пр.

Эпощъ Греко-Латинскій, или Славяно-Церковный Синтаксисъ преобразуется въ устахъ Ломоносова. Онъ уже отдѣляетъ самородныя свойства языка нашего отъ чужеземной примѣси; но, подражая орашорамъ и поэтамъ Римскимъ, невольпо облекается въ Римскую погу; и его строеніе рѣчи опшывается строеніемъ рѣчи Цицероновской.

Наконецъ Карамзинъ прислушивается къ рѣчи народной; живописную, многосложную рѣчь, назначенную для Римскаго вѣча, раздробляетъ онъ въ отрывистую рѣчь Русскихъ пословиць и поговорокъ: и мы отъ него въ первый разъ услышали рѣчь родную; въ первый разъ рѣчь, снявши Римскія латны и щипъ, облеклась въ просторное, безыскусственпое народное одѣяніе. Умъ, начавшій думать посвоему, началъ и выражаться по-Русски. Отъ того рѣчь стала проста, свѣтла, прозрачна. Правда, она иногда увлекается формами шѣхъ иностранныхъ языковъ, изъ которыхъ черпаетъ новыя мысли; но скоро исправляется, скоро попадаетъ на ладъ отечественный.

Эти главные моменты исторіи нашего языка указываютъ намъ на сродство его аналитическое и синтетическое съ другими языками, подъ вліяніемъ шѣхъ или другихъ народовъ. При всѣхъ измѣненіяхъ, онъ болѣе прочихъ собратій своихъ сохранилъ Славянскую самостоятельность, и менѣе принялъ чуждой примѣси.

Такъ языкъ и въ отношеніи къ строенію представляетъ существо органическое, одаренное жизнію: онъ, подобно всѣмъ органическимъ существамъ, превращаетъ въ свое собственное бытіе элементы, для него необходимыя, растешъ, созрѣваетъ, разлагается на другія парчія.

ЧТЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Опличительныя свойства языковъ, выражающія характеръ народа, степень образованности, климатъ и страну. — Опличительныя свойства Русскаго языка.

Не смотря на единство стихій слова, въ каждомъ языкѣ отражается окружающая человѣка природа, виднѣ внутренній человѣкъ. Наоборотъ, имѣя историческія данныя свидѣтельства о спирантѣ, оглашасмой шѣмъ или другимъ языкомъ, вмѣстѣ съ народами сосѣдственными, при данныхъ свидѣтельствахъ о времени существованія языка, можемъ съ достоверностью говорить о степени его превосходства. Взгляните на Воспокъ, колыбель рода человѣческаго: тамъ выраженія свѣжихъ чувствованій младенчествуящаго человѣчества, восшорга и благоговѣнія запечатлѣны райскою спраною кедровъ Ливанскихъ. Человѣкъ въ умилительномъ благодареніи Создателью и Промыслителю вселенной, привѣтствуя окружающую его природу, сливался съ шѣми предметами, копорые особенно поражали его чувства и влекли къ себѣ его вниманіе. Опъ шого въ языкахъ первыхъ обитателей земли господствуетъ одушевленіе видимой природы; тогда все представлялось отраженіемъ одной общей жизни; обиліе въ словахъ міра физическаго, простота въ строеніи, преимущество звуковъ горпанныхъ — звуковъ радости и удивленія. Человѣкъ въ первомъ развитіи мыслящей способности, обращенной къ видимой природѣ, болѣе созерцалъ, нежели предавался размышленію о себѣ самомъ — болѣе чув-

ствовали, нежели отдавать себя отчетъ въ своихъ чувствованіяхъ.

Не шакъ языкъ Греціи, изъ всѣхъ благозвучнѣйшій, совершеннѣйшій. Освобожденное отъ гіероглифовъ Египетскихъ слово, подъ свѣтлымъ небомъ Аркадіи, на высотахъ Олимпа, на цвѣтущихъ берегахъ Алфея, въ періодъ пробужденія народности, измѣлось изъ устъ Грека, какъ цѣлое швореніе міра, какъ живопись видимой природы, какъ игра внутренней жизни. Тщешно станемъ искашь въ восточныхъ языкахъ обилія, равняющагося природѣ, и гибкой сочешаемости, силы и выразительности, живописности и благозвучности Греческаго языка, на копоромъ въ Академіи и Поршикѣ объяснились науки и искусства. Если на Востокѣ начинается исторія рода человѣческаго: то въ Греціи начинается исторія любомудрія, развившагося въ системахъ наукъ. Высокою степенью образованности своей обязанъ Греческій языкъ также счастливому спеченію обстоятельствъ, способствовавшихъ развитію умственной жизни народа. Совершивъ назначеніе свое, Греки далеко опередили современниковъ, оставивъ и намъ богатое наследство мыслей.

Обратимся къ Римлянамъ, занимающимъ первое мѣсто во всемірной древней Исторіи, къ этому могучему и мудрому завоевателю тогдашняго міра. Языкъ Римлянъ, чадо Греческаго, запечатлѣнъ силою и властію народа-повелителя. На немъ самый разумъ писалъ законы, пережившіе и славу побѣдителей народовъ, и развалины Капшолія. Столь могущественно слово разума! Въ этомъ языкѣ нѣтъ богатства и роскоши Греческаго; нѣтъ той разнообразной гармоніи, которая сливалась изъ различныхъ нартчій Эллиновъ; но, въ замѣну этого,

онъ кропоть и слепъ, какъ важенъ и могущественъ народъ, на немъ говорившій, искушенный и счастьемъ, и бѣдствіями.

Что сказать о языкахъ новыхъ образованныхъ народовъ? Британцы, богатые сокровищами Индіи, должны сознаться въ скудости разноплеменнаго языка своего, при сравненіи съ Греческимъ и Латинскимъ. Языкъ Французскій, бѣдный, но выработанный писателями, уступаетъ въ обиліи Италіанскому, въ силѣ Испанскому и Португальскому. Но всѣ они, нѣжные и прекрасные, какъ страны, въ которыхъ росли и созрѣвали, не обнимаютъ природы во всемъ ея разнообразіи. Въ этомъ отношеніи высшую степень занимаетъ Нѣмецкій языкъ, особливо съ того времени, какъ Нѣмецкіе ученые, освободивъ рѣчь свою отъ чужеземнаго вліянія, начали въ собственной сокровищницѣ искать своеземныхъ богатствъ. Языки Шведскій и Датскій не могутъ равняться въ обиліи и силѣ съ Нѣмецкимъ; они только справедливо похваляются предъ нимъ бѣльшею мягкостью и благозвучностью.

Какой же языкъ въ новомъ мірѣ можетъ соперизаться съ языками Демосфена и Цицерона? На рубежѣ двухъ частей свѣта, или лучше, двухъ различныхъ міровъ, живетъ поколѣніе многочисленное, считающее себя, сколько запомнить можетъ, болѣе тысячъ лѣтъ жизни, состоящее изъ многихъ родственныхъ племенъ, изъ которыхъ нѣкоторые смѣшались съ чужеземцами и переняли ихъ образъ выраженія, сохранило обильный, могучій и звучный языкъ предковъ — языкъ древнихъ Славянъ, который, въ совокупности съ Вѣрою, служитъ единственною связью народовъ единоплеменныхъ, хотя подъ разными скипетрами живущихъ. Одна отрасль его отъ Венеціанскихъ и Тирольскихъ

предѣловъ простирается по Восточному берегу Адриатическаго моря къ Албаніи; другая идетъ на Сѣверъ къ Балтійскому морю, за Вислою соединяясь съ обширною Восточною, которая продолжается до Ледовитаго Океана; опшолъ расширяется къ Алеутскимъ островамъ и Сѣверной Америкѣ, на Востокъ касаясь Китая, а на Югъ Чернаго моря. Въ Восточной обшири этого языка — исполна первенствуетъ языкъ *Русскій*. Этошъ языкъ, разнообразный, какъ страны, имъ оглашаемыя — сильный, какъ народъ, на немъ говорящій, представляетъ богатства и наследственные опъ предковъ, и приобретенныя опъ чуждыхъ народовъ, и друзей нашихъ, и враговъ. Въ немъ Греція въ залогъ православной Вѣры, озарившей насъ благошворнымъ свѣтомъ своимъ, оставила выраженія религіозныя, ученныя, даже самое словопостроеніе. Въ немъ мимоходомъ заброшено нѣсколько реченій разгульными Монголами, положившими головы свои на нашихъ обширныхъ поляхъ и степяхъ. Въ немъ звучашъ художественныя реченія новыхъ Европейскихъ языковъ съ ихъ поръ, какъ Геній Россіи, подобно Прометею, возжегъ въ ней пламя наукъ и искусствъ.

Этошъ бѣглый взглядъ на языки просвѣщенныхъ народовъ древняго и новаго міра исторически убѣждаетъ насъ въ той истинѣ, умозрительно выведенной изъ значенія слова, что языки, не смотря на *единство начала своего и построенія*, представляютъ *различіе*: во первыхъ, опъ *предметовъ* внѣшней и внутренней жизни народовъ; во вторыхъ, опъ *представленія предметовъ* въ нашемъ сознаніи, и въ ихъ звукахъ, опъ *стихій звуковъ*, служащихъ проявленіемъ отражаемыхъ въ сознаніи предметовъ. Мѣсто, занимаемое народомъ, время

его существованія, сосѣдство и сношенія съ другими народами, степень развитія умственной жизни — все это дѣйствуетъ на преимущественное развитіе одного изъ дѣятелей нашего духа. Различныя степени этого развитія опредѣляютъ степень превосходства одного языка предъ другимъ въ отношеніи къ *обилію, силѣ и изяществу* въ благозвучіи. Первое свойство принадлежитъ къ объему языка, другое — къ его внутреннему содержанию; въ первомъ выражается сознаніе, объемлющее собою всю природу.

Войдемъ въ нѣкоторыя подробности этихъ свойствъ, общихъ всемъ языкамъ, и приложимъ ихъ къ языку отечественному. Такое изслѣдованіе покажетъ намъ сокровища наши — состояніе, въ какомъ эти сокровища находятся, и какой обработки они ожидаютъ. Не станемъ ослѣпляясь мнимымъ совершенствомъ языка нашего во всѣхъ отношеніяхъ; напротивъ, совершенство достигается познаніемъ и исправленіемъ недостатковъ.

Начнемъ съ обилія языка. Мысль наша складывается изъ возрѣвій и понятій, равно какъ жизнь рождается изъ взаимнаго прониканія духовнаго съ вещественнымъ. Слово представляетъ не простое изображеніе чувствованій, не одно означеніе видимыхъ предметовъ, но совокупность ихъ и другихъ; въ каждомъ реченіи заключается и видный образъ, и произведенное въ насъ этимъ образомъ впечатлѣніе. Слово, ясно изображая вѣншую и внутреннюю жизнь нашу, можетъ служить народною космогоніею. Съ раскрытіемъ разумнаго представляются намъ два міра: вещественный, или физическій, и духовный, или идеальный. Въ міръ словъ, вмѣщающемъ въ себя оба міра, и физическій

и идеальный, должно различать также двухъ родовъ реченій: одни, относящіяся къ чувственнымъ предметамъ, или къ міру видимому, другія, заключающія въ себѣ выраженіе дѣйствій духа, произведеніе собственной его дѣятельности. Первое обиліе называютъ *внѣшнимъ*, второй — *внутреннимъ*.

Что касается до внѣшняго обилія, то языкъ, на которомъ издавна говорятъ миллионы — языкъ народа, находящагося въ сношеніяхъ съ другими народами, обильнѣе языковъ, неимѣющихъ этихъ преимуществъ. И древность, и многочисленность народа составляютъ одно изъ отличительныхъ свойствъ прародителя языка нашего — Славянскаго, котораго отголосокъ слышимъ мы въ языкѣ нашемъ Церковномъ: изъ него мы переносимъ богатства въ нашъ новый языкъ, какъ свою собственность. По причинѣ необъятнаго пространства, оглашаемаго Русскимъ языкомъ, и многихъ племенъ, говорящихъ различными нарѣчіями одного кореннаго языка, Славянскаго, мы можемъ похвалиться обиліемъ реченій видимаго міра. Многія иностранныя слова укоренились въ языкъ нашъ; въ нихъ можно различить историческія эпохи сношеній народныхъ. Слова, относящіяся къ изображенію климата, одежды, образа жизни, живописныхъ, расписныхъ, окружающихъ человека — вообще слова видимой природы, при множествѣ областныхъ реченій, составляютъ обиліе, какого въ другихъ языкахъ не находимъ. Но мы должны уступить другимъ народамъ въ богатствѣ словъ относительно торговли, искусствъ, ремеселъ, различныхъ изобрѣтеній, удобствъ и приятностей жизни: этого рода слова мы сами заимствовали у другихъ народовъ, съ которыми имѣли торговыя сношенія, или которые упредили насъ въ изобрѣшеніяхъ.

Другой родъ словъ, относящихся къ міру духовному, или къ явленіямъ, въ насъ самихъ исходящимъ, къ наблюденіямъ надъ самимъ собою — этошъ языкъ мышленія у насъ скуднѣе языка чувствсннаго, созерцательнаго. Слова собственно Психологическія доселѣ не имѣютъ опредѣленныхъ значеній. *Умъ, разумъ, разумніе, смыслъ, разсудокъ, мысль* и подобныя реченія разными писателями различно принимаются. Въ этомъ родѣ словъ мы еще нуждаемся, и только со временемъ можемъ сравниться съ народами, упредившими насъ въ просвѣщеніи. Языкъ, не имѣющій любомудрія со всѣми частями его — на которомъ еще не выразились вполне всѣ науки — такой языкъ не можешь хвалиться ни точностью, ни опредѣлительностью, ни ясностью. Столь сильно дѣйствуютъ мысли на языкъ! Одно занятіе науками и изложеніе ихъ на опечистившемъ языкѣ можешь пополнить этошъ ошущившій недостатокъ.

Бѣдность языка философскаго вознаграждается обиліемъ иносказаній: и нашъ языкъ иносказательный представляетъ сокровища для живописи поэзіи. Рѣчь наша ошъ богатства иносказательнаго языка болѣе оживлена, нежели рѣчь другихъ языковъ: у насъ *вѣтеръ воетъ, дорога лежитъ, лугъ стелется, дубрава шумитъ, морозъ трещитъ, дождь идетъ, снѣгъ валитъ, колоколъ гудитъ*. Въ этомъ-то родѣ реченій и выраженій встрѣчаемъ мы болѣе своихъ идиомизмовъ, каковы: *голубчикъ, или свѣтъ мой дорогой, приголубить, размыкать горе, разбить скуку, затянуть пѣсню, сыграть свадьбу, сглазить, бить челомъ* и п. п. Въ такихъ выраженіяхъ отражающія или окружающая природа, или нравы и обычаи, или повѣрья и господствовавшія понятія предковъ.

Обратимся къ отличительнымъ свойствамъ измѣненій нашихъ частей рѣчи въ *произведеніи* и *составленіи* словъ. Въ нашемъ языкѣ, какъ во всѣхъ коренныхъ языкахъ, производство именъ существительныхъ свободное. Мы производимъ и составляемъ ихъ изъ другихъ именъ существительныхъ, прилагательныхъ и числительныхъ, равно изъ глаголовъ, придавая извѣстныя окончанія, соотвѣстственныя значенію, по свойству языка. Изъ этого свойства наши слова: *голубоокій*, *громовержець*. Сверхъ того мы имѣемъ въ языкѣ своемъ особенное отличительное свойство Славянскихъ нарѣчій, выражающъ составныя слова посредствомъ прилагательныхъ — мы говоримъ: *ястребиные глаза*, вмѣсто Греческаго реченія — *ястребоокій*. Въ сложныхъ и производныхъ реченіяхъ особенно обнаруживается гений Русскаго языка. Часто отъ одного слова раскладывается ихъ цѣлое племя, и всѣ они какъ бы знакомыя и родныя. Корни всѣхъ производствъ сохраняются въ собственныхъ ндрахъ языка — въ языкѣ Церковномъ, между тѣмъ какъ корни языковъ, происшедшихъ отъ Латинскаго, поперяны въ этомъ мерпвомъ ихъ прародителѣ. Такъ называемыя *отечественныя* имена наши воспрѣчаются только въ древнихъ языкахъ. *Увеличительныя* и *уменьшительныя* разнаго вида, какъ-то: *привѣтственныя*, *уничжигительныя*, также составляющъ одно изъ особенныхъ свойствъ нашего языка. Отъ этого именно происходитъ въ языкѣ гибкость, по которой онъ бываетъ способенъ къ важности и игривости, къ величію и нѣжности. Склоненія, одинакія съ Греческими и Латинскими, придающъ языку гладкость и связность, такія достоинства, которыя не могутъ быть тамъ, гдѣ члены и предлоги, употребляемые въ замѣну падежей, разрыва-

юпъ рѣчь и вредяпъ шекутеспи слова. Припомъ въ склоненіяхъ у насъ еспъ преимущество даже предъ древними: лишніе падежи способствуютъ иногда опредѣлительности и благозвучію.

Прилагательныя имѣютъ степени для сравненія предметовъ, не только для отличенія ихъ отъ другихъ, но и для показанія различныхъ состояній качества въ одномъ и томъ же предметѣ. Мы говоримъ: *бѣлый, бѣловатый, бѣлехонекъ, бѣлѣйшій, самый бѣлый*. Эти степени имѣютъ одинаковую съ древними языками полную въ отношеніи къ родамъ. Между числительными именами мы имѣемъ особыя, поставляемыя вмѣсто имени и числительнаго количественнаго: *пятокъ, десятокъ*. Для указанія на два лица другіе языки имѣютъ два различныхъ мѣстоименія; но мы можемъ въ одно время различить три и четыре лица мѣстоименіями: *онъ, сей, этотъ, тотъ*.

Система глаголовъ нашихъ, основанная на кратности дѣйствія, представляетъ гораздо болѣе оппѣтковъ, нежели системы другихъ языковъ, кромѣ Греческаго. Помощію прехъ временъ выражаемъ мы столько различныхъ дѣйствій, что ни въ одномъ языкѣ нельзя найти соотвѣствующихъ выраженій. Этому способствуютъ различные виды одного и того же дѣйствія и ихъ различные сочетанія. Составленіе глаголовъ съ предлогами еспъ одно изъ важныхъ отличительныхъ свойствъ языка нашего, отъ котораго зависяпъ сила и краткость, достоинства языка Греческаго. Сюда принадлежатъ глаголы начинательные и совершенные. Въ прошедшихъ временахъ мы оппичаемъ роды лицъ, чего не находимъ и въ древнихъ языкахъ. Производство глаголовъ отъ именъ существительныхъ, прилагательныхъ и числительныхъ совершенно свободно. Наконецъ причастія и дѣеприча-

НАМ ПУЖЕНЫ КЪ ВАШИМЪ РАБОТЪ, ОСОБЕННО ПЕРИО-
ДИЧЕСКИМЪ. КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ.

[illegible]

... совершенства
... необходимо,
... собственное
... чтобы
... словъ.
... объясъ
... сравненіи съ
... во внутр-
... и объему
... выразительность
... Сила языка бы-
... словособирашная,
... значеній словъ и въ опре-
... значенія; *синтети-*

ческая, или словоустроительная, состоящая въ построении языка.

Значение словъ, сохранившееся въ Церковномъ языкѣ, поддерживаетъ аналитическую силу нашего языка. Что касается до *силы*, зависящей отъ построения, предъидущія изслѣдованія показали намъ и эту сторону языка нашего. Мы не имѣемъ надобности въ членахъ при именахъ, иногда въ мѣстоименіяхъ при глаголахъ, въ *предлогахъ* въ замѣну падежей, въ глаголахъ *вспомогательныхъ*, между прочимъ какъ новые Европейскіе языки слабы, вялы, распянуты отъ того, что исполнены длинными вспомогательными реченіями, членами, подвержены необходимости употребленія мѣстоименій при глаголахъ. Сверхъ того языкъ нашъ любитъ *причастія*, подобно Греческому, и пользуется свободнымъ *словорасположеніемъ*. Исчислимъ главнѣйшія преимущества наши въ *силѣ*.

Связь предложений, въ другихъ языкахъ изъ глагола *есть* состоящая, у насъ по бѣльшей части пропускается, равно и мѣстоименія личные не всегда спавляются при глаголахъ. Прилагательныя, поставляемыя въ видѣ сказуемаго, получаютъ особое окончаніе, усвѣченное: свойство языка богатого, не встрѣчаемое даже и въ древнихъ. Послѣ нѣкоторыхъ числительныхъ употребленіе падежей, по родительнаго единственнаго числа, по родительнаго множественнаго, принадлежитъ къ особенной гибкости языка. Неопредѣленное наклоненіе, поставляемое вмѣсто подлежащаго, есть также одно изъ достоинствъ; впрочемъ эти подлежащія не склоняются, какъ въ Греческомъ, гдѣ есть членъ. Отъ сходства въ этомъ свойствѣ, въ Церковномъ языкѣ находимъ выраженія, совершенно Греческія, персведенныя безъ всякаго измѣненія.

Къ замѣчательнымъ свойствамъ управленія принадлежитъ та особенность языка нашего, что одни и тѣ же слова имѣютъ различнаго значенія получая различное управленіе. Построеніе, зависящее отъ предлоговъ, придающее рѣчи опредѣленность, есть преимущество, общее съ Греческимъ языкомъ, равно какъ и родительный, поставляемый послѣ дѣйствительныхъ глаголовъ, при означеніи части предмета или времени. Сюда относится и управленіе неопредѣленнымъ наклоненіемъ, зависящее отъ различнаго значенія предшествующихъ глаголовъ: показывающіе нравственное дѣйствіе, н. п. желаніе, или другое какое-либо, пребываютъ послѣ себя неопредѣленнаго наклоненія; но означающіе дѣйствія физическія не имѣютъ этого свойства. Гладкости способствуетъ свойство языка превращающіе имена существительныя въ прилагательныя прикличательныя. Въмѣсто существительнаго отглагольнаго полагаемое неопредѣленное наклоненіе, равно причастія, какъ и въ Греческомъ, придающъ слогу плавность и важность. Дѣпричастія, или причастія усѣченныя, составляютъ одинъ изъ употребительнѣйшихъ оборотовъ.

Обладая столькими преимуществами въ согласованіи и управленіи, Русскій языкъ способенъ ко всемъ возможнымъ сочетаніямъ словъ, зависящимъ отъ основныхъ его законовъ. Онъ можетъ хвалиться прочною соотвѣтственностью во всѣхъ частяхъ, постоянною аналогіею въ согласованіи, находя въ себѣ самомъ всѣ нужныя вспомошествованія.

При исчисленіи главныхъ отличительныхъ свойствъ языка нашего, обратимъ вниманіе на особенное его преимущество — на возможность различныхъ сочетаній въ словахъ, или на *слово-расположеніе*, признакъ полноты словопроизведенія

и словосочиненія. Одно и то же реченіе, постав-
ляемое на разныхъ мѣстахъ въ предложеніи, по-
лучаетъ различное значеніе и силу, производитъ
различный смыслъ. Словорасположеніе есть одна
изъ великихъ тайнъ слога: невѣдающій эпой тай-
ны несовершенно умѣетъ писать. Красивыя вы-
раженія и ошборныя реченія, поставленные не
на своемъ мѣстѣ, не только не придають со-
чиненію красоты и прелести, но производятъ
сбѣивчивость и шемпоу.

У насъ писатели, почерпая мысли изъ Латин-
ской, Нѣмецкой и Французской Словесности, вме-
стѣ съ мыслями непримѣнно переносили въ рѣчь
и свойства этихъ языковъ. Иностранный поряд-
докъ прозы и неопредѣленный порядокъ словъ въ
стихахъ подали поводъ къ заключенію, что мы
не имѣемъ правилъ о расположеніи словъ; всякой
пишетъ по-своему. Откуда же извлечь правила?
Безъ сомнѣнія, никто не можетъ имѣть въ этомъ
права законодателя; употребленіе народа — вопъ
источникъ, изъ котораго почерпаемъ всѣ правила
языка кромѣ законовъ, общихъ всѣмъ языкамъ.

Исчислимъ главнѣйшія правила нашего слово-
расположенія, относящіяся къ изящной рѣчи. Мы
спавимъ лице прежде дѣйствія и предмета; слова
не столько опредѣлительныя впереди словъ опредѣ-
лительныхъ; въ сложныхъ предложеніяхъ и періо-
дахъ слова и члены управляемые возлѣ управляю-
щихъ. Такъ говоримъ: »Мелодоръ представляетъ
себѣ здѣшній свѣтъ великолѣпнымъ храмомъ.« Тушъ
напереди лице, потомъ дѣйствіе и послѣ предметъ
его; внимательный надежъ, какъ болѣе опредѣленный,
послѣ дательнаго. »Если разумѣемъ подъ счастъ-
емъ такое состояніе души, въ которомъ бы она
могла безпрестанно наслаждаться живыми удоволь-

співали: то оно невозможно по образованію души нашей.» Въ этомъ примѣрѣ переставишь слова, значить нарушишь ясный порядокъ; зависящій членъ слѣдуетъ за тѣмъ, отъ котораго зависить; каждое слово управляемое послѣ управляющаго.

Напримѣръ, посмотришь, хорошъ ли слѣдующій періодъ? »Уже мы, Римляне, Катилину, столь дерзновенно неистовствовавшего, на злодѣяннѣ покушавшагося, погибелю отечеству угрожавшаго, изъ града нашего изгнали.« Или: »Благополучна Россія, что единымъ языкомъ одну Вѣру исповѣдуетъ, и единою Благочестивѣйшею Самодержицею управляема, великій въ ней примѣръ къ утвржденію въ православіи видишь.« Оба періода не Русскіе: одинъ Латинскій, другой Нѣмецкій. У Нѣмцевъ слова: *что* и *который*, управляютъ глаголомъ, а въ Латинскомъ языкѣ очень часто ставится сказуемое прежде подлежащаго, причастіе и прилагательное послѣ имени. Можетъ быть, скажутъ, что иносстранные обороты придають рѣчи нашей величіе и благозвучіе. Сомнѣваюсь: скорѣе можно согласишься, что они запутываютъ предложенія. Если же въ иносстранныхъ красотахъ состоитъ богатство языка; то оно походитъ на золото въ рудахъ, которое нужно химически отдѣлять. Иные могутъ указать на однообразіе рѣчи. Но логика приноситъ краснорѣчію жертву, когда разсудокъ покоряется сильному чувству. Въ этомъ случаѣ расположеніе не имѣетъ никакихъ другихъ правилъ, кромѣ сердечныхъ движеній; каждая часть рѣчи можетъ занимать первое мѣсто, если она выражаетъ главное чувство — и что болѣе поражаетъ насъ, то мы и прежде произносимъ. — »Нѣтъ Агафона! нѣтъ моего друга!« восклицаетъ съпущенное сердце; смерть друга сильно потрясаетъ

его — и вмѣстѣ со вздохомъ исходишь изъ груди роковое слово: умеръ, или нѣтъ его.

Припомню совѣтъ Цицероновъ (*): и стихи должны быть плавными, какъ проза. Правила кажутся неспособными только умамъ слабымъ; дарованія не знаютъ въ этомъ никакихъ оковъ. Діонисій Галикарнассскій (**) справедливо называетъ жалкими тѣхъ писателей, у которыхъ нѣтъ хорошаго расположенія словъ. Мысли зависятъ и рождаются одна отъ другой; также и слова должны находиться въ связи одно съ другимъ.

Въ вопросахъ и въ повелительномъ наклоненіи именительный или звательный падежъ слѣдуетъ за глаголомъ; то же и въ предложеніяхъ, которыя начинаются словами: когда, если. При глаголъ, управляющемъ двумя падежами, позади спавится шюшъ, который показываетъ предметъ дѣйствія глагола, будетъ ли предъ нимъ дательный, или другой какой-либо: »Я полюбилъ въ Мелодорѣ мудраго юношу.« Предметъ лица или сказуемое тогда только спавится прежде, когда за подлежащимъ слѣдуетъ вспабочное предложеніе.

Если прилагательное, служащее опредѣленіемъ подлежащему или сказуемому, имѣетъ свои дополненія; то оно слѣдуетъ за именемъ: »Филалетъ былъ человекъ благородный по душѣ своей.« Сюда принадлежатъ прозванія: Іоаннъ *Грозный*, Петръ *Великій*; прилагательныя, замѣняющія родительный падежъ: »*Вѣкъ Екатерины* и *вѣкъ Александровъ*.«

Труднѣе всего спавишь нарѣчія. Но они при глаголъ то же, что прилагательныя при имени, и пошому слѣдуютъ одинакимъ съ ними правиламъ.

(*) Orat. гл. 20.

(**) Гл. 3.

Слова, употребляемая вмѣсто нарѣчій, занимають ихъ мѣсто. «Природа щедрою рукою разсыпаетъ благіе дары.» Здѣсь щедрою рукою — вмѣсто «щедро», и потому передъ глаголомъ. Но если, кромѣ прилагательнаго, встрѣялся при имени мѣстоименіе и числительное; тогда должно говорить въ томъ порядкѣ, въ какомъ получаемъ понятіи. Мы, вдали увидѣвъ нѣсколько предметовъ, сперва указываемъ, потомъ считаемъ и послѣ узнаемъ свойства ихъ; пошому и говоримъ: «эши три великіе мужа.» Когда многія нарѣчія будутъ вмѣстѣ; то всѣ, опредѣляющія сказуемое, ставятся послѣ глагола, а прочія прежде его. Причислятельныя мѣстоименія большею частію находятся послѣ имени, если нѣтъ за ними родительнаго падежа.

Для избѣжанія сбивчивости, надобно ставить падежи управляемые воимъ управляющихъ частей рѣчи. Пошому родительный всегда находится при имени управляющемъ, или предлогъ, или глаголъ, кромѣ относительнаго мѣстоименія и личнаго въ прѣшемъ лицѣ: они бывають передъ именемъ. Дательный употребляется послѣ винительнаго и повелительнаго, когда нужно придашь этому падежу болѣе силы, или когда слѣдуетъ за нимъ относительное мѣстоименіе. Творительный падежъ при среднихъ и возвратныхъ глаголахъ, равно при глаголъ *есть*, то же, что винительный при дѣйствительныхъ: онъ и ставится на мѣстѣ его. «Время дружества нашего всегда будетъ лучшимъ временемъ жизни моей.»

Предлоги съ падежами своими, или дополненія сказуемаго, ставятся послѣ глагола; всѣ прочія слова передъ глаголомъ. «Сократъ бесѣдовалъ о вѣчности. — Здѣсь подлежащее и сказуемое на своемъ мѣстѣ; другія слова на вопросъ когда, гдѣ, должно поставить передъ глаголомъ. Полное предложеніе

будетъ: «Сократъ уже въ послѣдній день, на прагъ смерти, бесѣдовалъ о вѣчности.»

Вопръ основныя правила о порядкѣ словъ изящной рѣчи нашей, выведенныя изъ употребленія (*). При обзорѣ главныхъ отличительныхъ свойствъ языка нашего, рождается вопросъ: какія выраженія изъ иностранныхъ языковъ могутъ быть допущены, и гдѣ предѣлы возможности нововведеній въ языкъ? Держаться ли только книгъ, писанныхъ на Церковномъ языкѣ, или допустить всякое заимствованіе изъ языковъ новыхъ? Употребленіе должно соглашаться такія крайности. Знающіе Греческій и Латинскій языки встрѣчаютъ въ старинныхъ книгахъ нашихъ обороты, намъ не-свойственныя. Прже переводчики буквально перелагали слова Греческія и Латинскія на Русскія, сохраняя управленіе, согласованіе и словорасположеніе иностранное; они даже удерживали надстрочныя знаки, которые у насъ никакого значенія въ выговорѣ не имѣютъ, каковы: дыхательныя тонкое и густое. Подобныя нововведенія появились и въ переводахъ съ современныхъ иностранныхъ языковъ. Вообще языкъ нашъ до Петра Великаго носилъ на себѣ знаменіе Греческаго языка; послѣ Преобразителя Россіи онъ запечатлѣнъ языками Западными. Понятія народа, который идетъ впередъ на поприщѣ наукъ, расширяются; мысли его требуютъ другихъ формъ: и языкъ непременно измѣняется силою времени и самыхъ понятій. Но откуда новая мысль можетъ заимствовать для себя реченіе или цѣлое выраженіе? Слова имѣютъ отношеніе къ сущности предметовъ: ясно, что между старыми словами не-

(*) См. Труды О. Л. Р. С. Части V, VII, IX, XIV.

льзя искасть новыхъ реченій; иначе значило бы искасть чего-либо тамъ, гдѣ ничего прежде не было. Обратишься ли къ языкамъ иностраннымъ? Иногда они дѣйствительно подаютъ помощь; но они безсильны выразишь то, къ чему не были приготовлены. Чѣмъ же оспается дѣлать въ такомъ случаѣ? Кѣмъ хочешь видѣть, какъ производился распространеніе языка вмѣстѣ съ новыми понятіями, пошъ пусть раскроетъ нашъ отечественный Словарь: въ немъ реченія Греческія, Латинскія, Нѣмецкія, Французскія, Голландскія, Шведскія, Татарскія, Арабскія, Персидскія. Всѣ эти выраженія иностранныя опъ употребленія такъ обрусели, что мы и не подозреваемъ въ нихъ ничего чужеземнаго. Раскройше Кантемира и Жуковского: едва прошло между ними 60 лѣтъ, и уже для перваго необходимы толкованія. Такая же разность между Теофаномъ и Карамзинымъ. Кѣмъ произвелъ всѣ эти перемѣны? Сила необходимости и духъ времени искусно изворачивающъ слова, измѣняющъ выраженія и даже смыслъ словъ, приводя ихъ въ согласіе съ мыслями текущаго времени; опъ нихъ зависящъ возможность нововведеній языка. У народовъ, оказывающихъ успѣхи въ наукахъ и Словесности, языкъ непримѣнно спановишся глубже и разнообразнѣе для предметовъ мышленія; общее употребленіе показывается, съ чѣмъ должно разсѣяться изъ наслѣдія прежнихъ временъ, и чѣмъ можно воспользоваться. Сверхъ того, открывая въ соплеменныхъ Славянскихъ языкахъ формы, образованныя какъ бы изъ одного вещества и однимъ духомъ, мы найдемъ въ нихъ то, чего не высказано въ нашемъ: въ нихъ опыщемъ слова, намъ родныя, излествшія изъ успъ соплеменныхъ живыхъ народовъ.

Наконецъ взглянемъ на языкъ нашъ въ отношеніи къ *изяществу въ благозвучіи*. Въ каждомъ искусствѣ овеществленіе мысли условливается стихіею духа. Такъ живопись есть искусство созерцанія; ея способы, принадлежащіе къ пространству, состоятъ въ образахъ. Музыка, или настроенность чувства, живетъ во времени; а потому средства ея выраженія заключаются въ звукахъ. Мысль, какъ произведеніе разума, слагается изъ созерцаній и чувствованій; способъ ея проявленія долженъ состоять изъ звуковъ и образовъ: таково именно слово. Оно изображаетъ вѣншній предметъ звукоподражаніемъ, и выражаетъ внутреннюю дѣятельность духа отъ впечатлѣнія вѣншнихъ предметовъ. Для этого голосу нашему, какъ органу слова, даны двѣ стихіи: согласныя и гласныя. Первые звуки — подражаніемъ представляющъ вѣншнее; вторые выражаютъ движенія духа. Чѣмъ болѣе въ языкѣ гласныхъ, чѣмъ удобнѣе согласныя переливаются, тѣмъ нѣжнѣе звуки, тѣмъ легче и плавнѣе выговоръ и пріятнѣе для слуха. Напротивъ, чѣмъ языкъ обильнѣе въ согласныхъ, и чѣмъ затруднительнѣе переходъ гласныхъ, тѣмъ шверже звуки и тѣмъ грубѣе выговоръ. Очевидно, что идеалъ языка въ отношеніи къ стихіямъ членораздѣльныхъ звуковъ осуществляется гармоническимъ сочетаніемъ гласныхъ съ согласными; потому что единственно такимъ сочетаніемъ живописности и благозвучности образуется совершенное слово.

Если реченія суть звуки голоса, во времени развивающіеся; то, для составленія цѣлаго, они должны слѣдовать одинъ за другимъ по извѣстному закону. Какъ въ жизни мы видимъ безпрерывное послѣдованіе покоя и дѣятельности: такъ въ словѣ,

изображающемъ жизнь духа, непрерывное волненіе гласныхъ съ согласными выражаетъ переходъ отъ покоя къ дѣятельности. При томъ предметы, которыми слово подражаетъ посредствомъ согласныхъ, въ природѣ вѣтшей неподвижны; напрошивъ духъ, выражающійся въ гласныхъ, пребудетъ изображеніа различныхъ состояній: отсюда необходимость удареній. Ударенія въ началѣ реченій, какъ большею частію они встрѣчаются въ Англійскомъ, и въ концѣ, какъ во Французскомъ языкѣ, увлекаютъ вниманіе то на начало, то на окончаніе, заставляютъ оспальную часть словъ: разнообразіе — лучшее свойство удареній; они, изъ разнообразія составляя единство, даютъ душу реченіямъ. Самая полноша произношенія, или выговоръ всѣхъ буквъ, находящихся въ словѣ, безъ опущенія многихъ, какъ это бываешь въ Англійскомъ и Французскомъ языкахъ, способствуетъ благозвучности. Нашъ языкъ и въ томъ и въ другомъ отношеніи имѣетъ преимущество.

Нѣкоторые изъ нашихъ реченій, порознь взятые, могутъ казаться грубыми, каковы: усѣченныя прилагательныя, причастія, дѣепричастія; но тѣ же самыя слова отъ искуснаго размѣщенія получаютъ новое достоинство. Обратите вниманіе на окончанія нашихъ склоненій и спряженій: они большею частію состоятъ изъ гласныхъ. То же можно сказать и о глаголахъ: прошедшія времена, кромѣ муж. р. ед., оканчиваются на гласныя. — Реченія, относящіяся къ міру видимому, ошличающіяся вѣрнымъ изображеніемъ вѣтшей природы.

Не оставимъ безъ вниманія соразмѣрнаго сочетанія гласныхъ и согласныхъ въ нашемъ языкѣ: онѣ пакъ между собою перемежаны, чпо послѣдовательно смѣняющъ швердоссть мягкоспью.

Сравнивая отечественный языкъ нашъ съ сѣверными и южными языками, видимъ, что онъ занимаетъ средину между ними — не имѣетъ жесткости однихъ и единообразной звучности другихъ; въ немъ, кромѣ *обилія* и *силы*, находятся условія и *благозвучія* (*).

Какіяжъ слѣдствія вывести можемъ изъ этого разсмотрѣнія общихъ свойствъ языковъ, каковы обиліе, сила, благозвучіе, и особенностей языка отечественнаго? Въ Словесности, какъ и въ мірѣ историческомъ, каждый народъ выполняетъ особенное назначеніе и стремится къ осуществленію предначертанія, намъ неизвѣстнаго, но несомнѣнно существующаго. Справедлива мысль, что каждому народу предназначено открыть извѣстную сторону истины: отъ того различны эпохи Словесности народовъ суть болѣе или менѣе выразительныя формы тѣхъ идей, къ развитію которыхъ народы призваны. Исполненіе этого назначенія обнаруживается гениемъ, или характеромъ языка. Всѣ народы въ первомъ возрастѣ своемъ существуютъ болѣе жизнью внѣшнею: ихъ духъ еще не въ состояніи бывать углубляясь въ самосозерцаніе: здѣсь внутренняя самобытность чловѣческая покоряется внѣшнему вліянію. Поэтому внутренняя жизнь младенствующихъ народовъ выражается восторгомъ, непрерывнымъ сравненіемъ двухъ міровъ — вещественнаго и духовнаго, языкомъ фигурнымъ. Народы, вступающіе въ возрастъ юности, обогащаются наблюденіями,

(*) Подробнѣйшія изслѣдованія представляютъ полезныя и весьма важныя труды *Шишкова*, *Греча*, *Востокова* и *Ив. Калайдовича*. Любопытно также разсужденіе о Русскомъ языкѣ, въ Вѣстникѣ Европы 1813 г., NN. 15 и 16.

опытами: внутренняя деятельность ихъ возбуждаетъ жизнь вѣшнюю; духъ опъ вѣшней природы обращается къ созерцанію собственныхъ движеній, начиная чувствовать самобытность свою; восторгъ переходитъ въ размышленіе и фигурный языкъ въ философическій. Совершенства достигнешъ тогда языкъ, когда развитіе ума и обогащеніе его снадвѣніями спланились общимъ достояніемъ народа; когда науки переходятъ въ жизнь общественную. Въспѣтъ съ этимъ языкъ народный, божіе поэтическій, сливается съ языкомъ наукъ — философическимъ. Тогда только краснорѣчіе облачается въ приличныя украшенія поэтическія, а поэзія заимствуетъ у краснорѣчія свободный и разнообразный речень.

На какой же степени развитія и совершенствованія находится языкъ нашъ, исполняющій нѣкоторыя общія требованія слова и имѣющій свои весьма выгодныя свойства? Отражается ли въ немъ характеръ народа? Почерпаются ли красоты его изъ собственной сокровищницы? Не видимъ ли въ языкъ нашемъ быстрыхъ, разительныхъ измѣненій, въ глазахъ нашихъ совершающихся, согласно съ развитіемъ народнаго образованія? Чего мы ожидать можемъ опъ своей Словесности, при условіяхъ нашего времени, опличающагося особенно направленіемъ умовъ къ изслѣдованіямъ отечественнымъ? — Мысль о народности и самобытности Словесности, объ опкрытіи народныхъ элементовъ, стала общемою мыслию нашею въспѣтъ съ другими просвѣщенными народами; а будущая судьба Словесности заключается въ судьбѣ всего народа.

ЧТЕНИЕ СЕДЬМОЕ.

Изящное построение рѣчи въ предложениіи и періодѣ. — Качества изящной рѣчи, или порядокъ словопостроенія и движеніе въ словопеченіи. — Правила, относящіеся къ ясности и силѣ, или къ первому условію изящнаго изыщества рѣчи.

По изслѣдованіи стихій слова и законовъ соединенія ихъ, равно всѣхъ системъ письма, соотвѣствующихъ постепенному развитію разумнія, обращаемся къ другой сторонѣ слова — къ его формамъ, къ изобразительности, благозвучности и слогу.

Каждое дѣйствіе ума имѣетъ соотвѣстственное выраженіе въ словѣ: понятія выражаются реченіями, сужденія предложениями, умозаключенія періодами. Аристотель (*) опредѣляетъ періодъ такъ: *λέξις ἔχουσα ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ αὐτὴν καὶ μέγεθος εὐδύνοπτον*, т. е. выраженіе, въ себѣ самомъ содержащее начало и конецъ, легко умомъ обнимаемое. Одна часть этого опредѣленія указываетъ на величину періода, или на члены, какъ составныя его части, которыя могутъ различествовать и числомъ, и объемомъ; другая же часть требуетъ отъ періода полноты мысли, начала и конца. Мысль во всей полнотѣ развивается единственно сравненіемъ общаго понятія съ частнымъ посредствомъ претяго; а это дѣйствіе въ духовномъ организмѣ нашемъ называется умозаклученіемъ. Сколько бы ни распространено было предложеніе, безъ претяго посредствующаго члена между двумя его членами, никогда не

(*) Рич. III.

можетъ быть періодомъ: для періода въ основаніи должно быть умозаключеніе. Изъ нѣсколькихъ предложеній и періодовъ образуется *рѣчь*.

Отъ способа выраженія нашего предложеніями или періодами происходитъ различіе въ *рѣчи*: она состоитъ или изъ краткихъ предложеній, или изъ длинныхъ періодовъ. Объемъ періода не можетъ быть въ точности означенъ; есть однако предѣлы ббльшей и меньшей величины, между которыми полная мысль развивается. *Рѣчи*, назначаемой для произношенія, не свойственны длинные періоды; потому что трудно обнимать умомъ *рѣчь*, слишкомъ распространенную. Въ сочиненіяхъ, назначаемыхъ для чтенія, также частое употребленіе длинныхъ періодовъ упоминаетъ вниманіе; потому что для нихъ требуется ббльшее напряженіе умственныхъ силъ, нежели для краткихъ предложеній, дабы видѣть связь всѣхъ членовъ и единство цѣлаго. Съ другой стороны излишнее употребленіе краткихъ предложеній имѣетъ свою невыгоду: въ такой *рѣчи* мысль слишкомъ подраздѣляется, слабѣетъ связь понятій и память обременяется множествомъ отдѣльныхъ предложеній.

На основаніи двухъ различныхъ дѣйствій ума, сужденія и умозаключенія, *рѣчь* раздѣляется на *отрывистую* и *періодическую*. Періодическая *рѣчь* состоитъ изъ нѣсколькихъ членовъ, между собою связанныхъ и зависящихъ одинъ отъ другаго. Эта *рѣчь*, особенно свойственная вишійству, благороднѣйшая и благозвучнѣйшая. Таковъ періодъ Ломоносова: »Если бы въ сей пресвѣтлый праздникъ, слушатели, въ который подѣ благословенною Державою Всемилоштивѣйшей Государыни нашей покоящіеся многочисленныя народы торже-

спвуютъ и веселятсѣ о преславномъ Ея на Всероссійскій Престолъ восшествіи, возможно было намъ, радостію восхищеннымъ, вознесись до высооты полякой, съ кошорой бы могли обозрѣть обширностъ простираннаго Ея владычества, и слышатъ опъ восходящаго до заходящаго солнца безпрерывно простирающіся восклицанія и воздухъ наполняющіа именованіемъ Ея саветы: колъ красное, колъ великолѣпное, колъ радостное позорище намъ бы открылось!»

Рѣчь отрывистая состоитъ изъ крашкихъ предложеній, одно опъ другаго независѣщихъ. Такого мѣсто изъ того же писателя. «Я въ полъ межъ огнемъ; я въ судныхъ засяданіяхъ межъ трудными разсужденіями; я въ разныхъ художествахъ между многоразличными махинами; я при строеніи городовъ, пристаней, каналовъ, между безчисленнымъ народа множествомъ; я межъ стenanіемъ валовъ Бѣлаго, Чернаго, Балтійскаго, Каспійскаго моря и самаго Океана духомъ обращаюсь: вездъ Петра Великаго вижу, въ пошъ, въ пыли, въ дыму, въ пламени, и не могу самъ себя увѣрить, что одинъ вездъ Петръ, но многіе, и не крашкая жизнь, но лѣтъ тысячъ.» Если періодическая рѣчь поражаетъ бѣльшою важностію и достоинствомъ; то рѣчь отрывистая гораздо живѣе и сильнѣе.

Въ употребленіи той и другой нужна разборчивостъ, смотря по предмету и характеру сочиненія. Во всѣхъ родахъ сочиненій можно пользоваться и той и другою рѣчью по приличію: упомянешельно встрѣчатъ однообразныя и одной мѣры предложенія; напротивъ, намъ болѣе правивша счастливое сочетаніе періодовъ и предложеній, придающихъ рѣчи и силу и великолѣпіе. Цицеронъ, показавъ со всею подробностію различіе

эпихъ двухъ родовъ рѣчи, говоришь: »Не всегда должно упошреблять непрерывную рѣчь и извращенный порядокъ словъ; но часто бываетъ нужно раздѣлять рѣчь крапкими членами (*).« Эпо разнообразіе необходимо не только во взаимной послѣдовательности періодовъ и предложений, но и въ построеніи каждаго періода порознь. Будешь ли періодъ длинный, или крапкій, должно избѣгать послѣдовательности періодовъ, одинакимъ образомъ построенныхъ и сосланныхъ изъ одного числа членовъ. Какъ бы ни былъ благозвученъ каждый періодъ, разсматриваемый порознь; но постоянное однообразіе упомляетъ: иногда нужно періодическую рѣчь разнообразить опривисною. Карамзинъ въ этомъ отношеніи показываетъ высочайшее искусство. Въ немъ иногда точность приносится въ жертву красивости рѣчи, встрѣчающія обороты изъ новыхъ иностраныхъ языковъ; но при всемъ этомъ ему обязаны преобразованіемъ рѣчи, до него подражавшей Лапкинскому словосочиненію: онъ впервые показалъ умѣнье разнообразить періодическую рѣчь опривисною: со стороны этого изящества онъ долженъ быть всегда изучаемъ.

Отъ общихъ замѣчаній касательно рѣчи періодической и опривисной перейдемъ къ подробному изслѣдованію построенія рѣчи изящной. Большею частію на эпосъ предметъ не обращаютъ надлежащаго вниманія; между тѣмъ какъ, при всей занимательности содержанія, сочиненіе, изложенное тяжело, вяло, сбивчиво, не можешь

(*) »Non semper utendum est perpetuitate et quasi conversione verborum; sed saepe carpenda membris minutioribus oratio est.«

ни нравиться, ни произвести желаемого дѣйствія; напрошивъ, правильное построеніе предложеній и періодовъ сообщаетъ рѣчи ясность и изящество (*).

Чтожь служить основаніемъ изящной рѣчи? Достаточно ли, чтобъ она построена была по правиламъ языка? Вошъ вопросы, рѣшеніе которыхъ покажетъ намъ начала всѣхъ правилъ, относящихся ко внѣшней сторонѣ слова, или къ его различнымъ формамъ.

Мы уже замѣтили, что человекъ не довольствуется простымъ выраженіемъ мыслей своихъ и чувствованій; но, по врожденной идее красоты, онъ старается выразить мысли и чувствованія свои изящно. Въспъ съ этимъ стремленіемъ къ изящной рѣчи слово становится предметомъ искусства. Очевидно, что построеніе рѣчи изящной основывается на началахъ изящнаго, общихъ всѣмъ искусствамъ. Дѣйствительно, въ творенія поэтическія и ораторскія, отъ Омира и Перикла до Ломоносова и Державина, не представляюгъ ли изящнаго, развивающагося въ словъ?

Какія же спихи красоты? — Если мы спанемъ изслѣдовать характеръ предметовъ, признаваемыхъ всѣми за прекрасные, будетъ ли это спашуя, картина, симфонія, поэма, зданіе; найдемъ, что въ эти предметы тогда только

(*) Древніе эту часть слова особенно изучали, поставляя великую важность въ правильномъ и изящномъ строеніи рѣчи. Въ сочиненіи *Димитрія Фалерійскаго: περὶ ἐμπνεύσεως, о выраженіи*, находимъ множество подробнѣйшихъ замѣчаній о выборѣ словъ и расположеніи. Сочиненіе *Діонисія Галикарнасскаго: περὶ συνθέσεως ὁνομάτων, о словопостроеніи*, гораздо выше перваго. Въ немъ особенно изслѣдована благозвучность періодической рѣчи.

изящны, или прекрасны, когда представляют въ совокупности *порядокъ и движеніе*. Тѣ же самыя стихіи находимъ и въ швореніяхъ природы, признаваемыхъ за прекрасныя. Смотря по преимуществу той или другой стихіи, творенія природы и искусства представляютъ намъ различныя степени изящнаго. Въ искусствахъ пластическихъ господствуетъ порядокъ, въ искусствахъ же тоническихъ преимуществуетъ движеніе; потому что въ первыхъ изящное развивается въ пространствѣ, во вторыхъ во времени. Все, занимающее извѣстное пространство, пребываетъ преимущественно порядка; все, продолжающееся во времени, живетъ движеніемъ.

И такъ выражать изящное въ образахъ, звукахъ и словѣ, значить *изображать порядокъ въ движеніи*. Дѣйствительность для каждаго художника должна служить точкою отбытія; но швореніе искусства таинственно происходитъ въ умъ художника. Воображать не значить видѣть, вспоминать: воображеніе созерцаетъ и то, чего нѣтъ, чего не было, но что могло бы быть; воображенію представляется, какъ небесное видѣніе, идея, которую оно облекаетъ въ видимые образы. Въ этомъ состоитъ художественное соединеніе идеи съ формою, единство въ разнообразіи, совокупность истины и блага.

Въ словѣ изобразительность пластички соединяется съ благозвучностью музыки: отъ того въ словѣ изящное развивается и *порядкомъ словопостроенія, и движеніемъ словотеченія*. Все, что правится намъ въ писателяхъ съ вѣншей ихъ стороны, зависитъ отъ наблюденія этихъ условій. Поэтому и правила объ изящной рѣчи относятся или къ порядку въ словопостроеніи, или къ движеніямъ

духа, выражающимся въ словопеченіи. Отъ излишняго словопоспроенія зависишь ясность и сила рѣчи; отъ изыщнаго словопеченія — ея благозвучіе:

«Первымъ достоинствомъ,» говоритъ Квинтилианъ, «да будетъ ясность — точность въ словахъ, правильный порядокъ, не слишкомъ распянутое заключеніе; ничего не должно быть ни недоспащнаго, ни излишняго (*).» Ясность составляетъ существенное достоинство всѣхъ родовъ сочиненій; недоспащокъ ея не можешь быть вознагражденъ другими качествами. Роскошныя украшенія лишь слабо освѣщаютъ рѣчь темную, упомыаютъ слушателя или чипателя, не доспазвляя никакого удовольствія. Если легко и ясно насъ понимаютъ, мы уже исполнили главное требованіе отъ рѣчи изустной и письменной. По мнѣнію Квинтилиана, «рѣчь должна быть понятна даже и невнимательнымъ слушателямъ, и шакъ дѣйствовать на умъ слушателя, какъ свѣтъ солнечный дѣйствуетъ на зрѣніе, безъ всякаго напряженія съ нашей стороны; должно спараться не только о томъ, чшобъ всякій могъ понимать, но чшобъ не лзя было не понимать (**).» Мы не увлекаемся шѣмъ писателемъ, при чпеніи котораго принуждены часпо останавливаться, перечипывать каждое предложеніе. Проникнувъ смыслъ, шемно изложенный,

(*) *Quintil. LVIII.* «Nobis prima sit virtus, perspicuitas, propria verba, rectus ordo, non in longum dilata conclusio nihil neque desit, neque superfluat.»

(**) «Oratio debet negligenter quoque audientibus esse aperta, ut in animum audientis, sicut sol in oculos, etiamsi in eum non intendatur, occurrat; quare non solum ut intelligere possit, sed ne omnino possit non intelligere, curandum.»

мы удивляемся глубокомыслию писателя, но едва ли бываемъ въ состояніи снова за него приняться. Иные приписываютъ темному изложенію трудности предмета; но такое извиненіе рѣдко, едва ли когда-либо можетъ быть допущено. Все, что мы сами ясно понимаемъ, можемъ также ясно передать другимъ, если только внимемъ въ изложеніе. Напротивъ, не должно писать о томъ предметѣ, котораго мы совершенно ясно не понимаемъ. Можно не имѣть объ иныхъ предметахъ полныхъ и подробныхъ понятій; но тѣ предметы, о которыхъ мы намѣрены говорить или писать, должны быть для насъ ясны; а при ясности понятій, опъ насъ зависитъ ясное изложеніе. Темнота во многихъ метафизическихъ сочиненіяхъ большею частію происходитъ опъ сбивчивости понятій самихъ сочинителей: пельзя ясно изображать предмета, котораго не видишь раздѣльно. Благозвучность можно принимать за отрицательное достоинство рѣчи, или за отсутствіе недостатка; но ясность есть достоинство положительное, существенное. Мы любуемся рѣчью, когда не принуждены бываемъ угадывать ея смысла; когда въ ней предметъ развивается легко и послѣдовательно; когда она течетъ, какъ прозрачный ручей, котораго видишь самое дно.

Какимъ же образомъ рѣчь можетъ представлять ясную, поразительную картину? Должно смотрѣть на выборъ словъ, и притомъ со стороны *правильности, чистоты и точности*. Правильность пребуешь словъ и оборотовъ, свойственныхъ тому языку, на которомъ говоримъ или пишемъ, и напротивъ, не допускаетъ словъ и оборотовъ иностранныхъ, обвешшальныхъ и вышедшихъ изъ употребленія, равно нововведеній, не получив-

шихъ въ языкъ права гражданства. Чистота состоитъ въ выборъ словъ, принятыхъ лучшими писателями и употребляемыхъ людьми образованными. Она избираетъ тѣ слова, которыя лучше выражаютъ соотвѣтствующія имъ понятія, и отвергаетъ выраженія простонародныя, не изображающія вполне мыслей, которыя хотимъ другимъ передать. Рѣчь можетъ быть правильною, и не имѣть надлежащей чистоты. Наоборотъ когда слова принимаются не въ настоящемъ значеніи, не примѣняются къ предмету, не совершенно выражаютъ мысль писателя: тогда рѣчь неправильна; а неправильности не поможетъ и чистота. Но рѣчь получаетъ ясность, когда правильность соединяется съ чистотою. Для приобретенія правильности и чистоты, должно изучать образцовыхъ отечественныхъ писателей.

Мы сказали, что къ погрѣшностямъ противъ правильности принадлежатъ слова обветшавшія и вышедшія изъ употребленія: здѣсь бываюгъ выключенія, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ такіа слова допускаются. Въ Поэзіи именно позволяется ихъ употребленіе, равно допускаются и новыя слова; однако этою свободой должно пользоваться весьма осторожно. Въ произведеніяхъ Краснорѣчія, называемыхъ для произношенія, такіа нововведенія опаснѣе, и часто производятъ непріятное впечатлѣніе. Нововведенія вообще могутъ казаться изысканными; на нихъ право имѣютъ писатели самобытные, которые, обогащая насъ новыми мыслями, образуютъ и обогащаютъ языкъ.

Говоря объ отличительныхъ свойствахъ отечественнаго языка, мы замѣтили въ немъ недостатки въ словахъ ученыхъ, въ выраженіяхъ для міра

духовнаго. Въ такомъ случаѣ употребленіе иностранныхъ словъ становится необходимою. Иные указываютъ намъ на языкъ, на который персведены Церковныя книги; но этотъ языкъ только въ англишескомъ отношеніи служилъ намъ сокровищницею; со стороны же сивилеической онъ представляется искусственнымъ. При томъ еще не всѣ науки изложены на нашемъ языкѣ; о многихъ ученыхъ предметахъ мы впервые начинаемъ говорить по-Русски. Отъ того принуждены бываемъ, кромѣ Греческихъ и Латинскихъ словъ, употреблять слова, составленныя по образцу Нѣмецкихъ. Но какое преимущество имѣетъ рѣчь, совершенно Русская, въ которой для новыхъ понятій вводятся новыя слова, произведенныя изъ Русскихъ корней? Мы ожидаемъ новаго обогащенія для языка своего отъ заимствованія словъ изъ соплеменныхъ Славянскихъ нарѣчій.

Обращаемся къ точности словъ, которою довершается ясность рѣчи. Точность, чуждая всякаго излишества, требуетъ, чтобы выраженіе наше совершенно представляло мысль, въ немъ заключающуюся. Это достоинство рѣчи тѣсно соединено съ понятіемъ; здѣсь трудно отдѣлить слово отъ мысли. Для точности потребно имѣть понятія о предметахъ опредѣленныя и полныя.

Прошивъ точности встрѣчаются погрѣшности трехъ родовъ: или слова не ту выражаютъ мысль, которую писатель хотѣлъ выразить, но другую сходную, или выражаютъ мысль не вполне, или, выражая вполне, придаютъ ей еще какой-либо новый оттенокъ, котораго писатель не имѣлъ въ виду. Чистота иногда не допускаетъ первыхъ двухъ погрѣшностей; избѣгая словъ, несвойственныхъ

образцовымъ писателямъ, можемъ употреблять по крайней мѣрѣ слова, соотвѣтствующія нашимъ мыслямъ. Но какъ быть столько точнымъ, чѣмъ не выразить ничего лишняго? Для этого въ рѣчи не должно помѣщать ни одной посторонней мысли, никакого придаточного или излишняго слова, затемняющаго главную мысль и препящствующаго намъ явственно ее видѣть. Писатель точный живо представляетъ себѣ пошгъ предметъ, которьй намѣренъ изобразить; онъ совершенно обнимаетъ его; съ какой-бы стороны ни разсматривалъ его, видить опредѣленно. Рѣдкое качество въ писателяхъ: оно принадлежитъ тѣмъ только изъ нихъ, которые глубоко изучали описываемый ими предметъ.

Важность точности указывается самимъ разумомъ. Мы можемъ ясно и опредѣлительно видѣть только одинъ предметъ, при каждомъ вниманіи. Вникая вдругъ въ два или три предмета, хотя сходные и родственные между собою, мы запрудняемся, понятія наши сплывающія сбивчивы; пошому что тогда не ясно отличаемъ сходство предметовъ и разность. Вы хотите показать мнѣ новый предметъ, положимъ какое-нибудь животное, которое я желалъ бы узнать: покажите его открыто, опредѣльно ошъ другихъ предметовъ, такъ, чѣмъ ничто не могло развлечь моего вниманія. Точно тоже со словами. Вы, выражая мысль вашу, говорите мнѣ болѣе, нежели сколько нужно; вы примышиваете къ главному предмету постороннія обстоятельство; разнообразите выраженія безъ всякой надобности; вы перемѣняете точку зрѣнія на предметъ: тогда вы заставляете меня смѣряться вдругъ какъ бы на нѣсколько новыхъ предметовъ, а главный ускользаетъ ошъ моего внима-

нія. Это тоже бы значило, если бы вы, не показавъ мнѣ просто живописнаго, спали бы показывать его въ разныхъ украшеніяхъ: мнѣ представлялся бы многія живописныя, отчасти сходныя, а отчасти различныя; но я ни одного не узналъ бы определенно и точно.

Такова и рѣчь валаа, противоположная рѣчи точной: она происходитъ отъ употребленія словъ лишннихъ. Слабые писатели сыплютъ слова, думаютъ, что отъ этого ихъ яснѣе поймутъ; между тѣмъ они только отдаляютъ насъ отъ главной мысли. Чувствуя сами неясность выраженія мысли, и не замечая, что самая мысль въ ихъ разумѣніи не совсемъ определена, они, приводя въупрежденія помысленія свои въ явленіе, стараются восполнить недостигающее ихъ точное слово двумя или тремя другими, и только приближаются къ выражаемой мысли. Чегожъ изъ этого происходитъ? Они образующиеся вокругъ некоей цѣли, никогда ея не достигаютъ. Предметъ, ими выражаемый, представляется двойственнымъ, а потому и рѣчь ихъ неяснѣйшая и неясна.

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что иные писатели правдивы, наблюдаютъ чистоту въ рѣчи, и при этомъ знаютъ не точны. Они и употребляютъ слова въ настоящемъ значеніи, тѣ самыя, которыми выражаются писатели образцовые; но, не представляя мыслей своихъ со всею точностью ихъ умъ своимъ, не могутъ быть точны и въ выраженіяхъ. Впрочемъ, не все предметы требуютъ точности въ одинаковой степени; бываютъ случаи, гдѣ достаточно представлять мысль въ общемъ видѣ. Таковыя выраженія, относящіяся къ предметамъ слишкомъ и слишкомъ извѣстнымъ, при изображеніи которыхъ нельзя ожидать сбивчивости.

Между нашими писателями многіе въ рѣчи своей правильны, чисты, но не всѣ почны; вы у многихъ найдете наборъ словъ, не прибавляющихъ никакой новой мысли; многіе не выбираютъ одного слова, которое бы выражало мысль совершенно, безъ недосытка и излишества, а наряжаютъ одну мысль въ нѣсколько фигурныхъ выраженій. Точность составляетъ главное достоинство сочиненій философскихъ. Рѣчь чистая, правильная, иногда бываетъ непочною, не отъ сбивчивости понятій, а отъ излишней изысканности; иные увлекаются украшеніями, великолѣпемъ. Не удовлетворяясь выраженіемъ мысли простымъ, непременно ищутъ выраженія величественнаго, великолѣпнаго; часто вводятъ ненужныя описанія; нѣсколько словъ употребляютъ для мысли, которую лучше бы выразить однимъ словомъ. Вотъ н. п. описаніе Исторіи. »Исторія въ нѣкоторомъ смыслѣ есть священная книга народовъ: главная, необходимая; зеркало ихъ бытія и дѣятельности; скрижаль опроверженій и правилъ; завѣтъ предковъ къ попомощву; дополненіе, изъясненіе настоящаго и примѣръ будущаго.« Не пошемляется ли мысль, или по крайней мѣрѣ не ослабляется ли она отъ того, что, вмѣсто одного простаго предложенія, представляется рядъ ненужныхъ словъ и предложеній? Объ этой-то непочности говорятъ Квинтилианъ: »У иныхъ писателей встрѣчаемъ толпу ненужныхъ словъ; многіе, избѣгая обыкновеннаго способа выраженія и увлекаясь красотой слова, все объясняютъ съ обильною говорливостью (*).«

(*) Lib. VII. »Est in quibusdam turba inanum verborum, qui dum communem loquendi morem reformidant, ducti

Обыкновенный источник этого рода погрешностей — неутвержденное знание синонимов. Так называют слова, различно выражающие одну главную мысль. Какъ одна и та же мысль представляется въ разномъ состояніи, въ разныхъ обстоятельствахъ, въ различной зависимости отъ мысли посторонней: то и синонимы, или подобнозначущія слова, означаютъ различные оттенки одной и той же мысли. Одни указываютъ на внутреннее свойство предмета, другие на внешнее; одни относятся къ собственному значенію предмета, другие къ переносному; многія слова выражаютъ одно состояніе духа, но различающееся по предметамъ, которые его производятъ. Отъ того ни въ одномъ языкѣ нѣтъ двухъ словъ, имѣющихъ совершенно одинаковое значеніе, кромѣ названій вещей. Кто придаетъ словамъ настоящее значеніе, тотъ всегда находитъ въ нихъ нѣкоторыя отличительныя черты, и, наблюдая эти отличія, не смѣшиваетъ одного слова съ другимъ. Тончайшія отличія въ словахъ pochodятъ на оттенки одного и того же предмета; писателю должно быть художникомъ, чтобы умѣть пользоваться такими оттенками, для совершенной отделки картинъ. Одно слово у него дополняетъ то, чего недостаетъ другому, или въ силѣ, или въ ясности. Чтобы достигнуть до столь упорочнаго знанія всѣхъ красокъ слова, должно глубоко изучать всѣ оттенки одной мысли. Многіе смѣшиваютъ синонимы, употребляя ихъ безъ всякаго различія, или для округленія періода, или для избѣжанія повторовъ: отъ того столь часто встрѣчаемая темнота и сбивчивость. Сходны по-

specie nitoris, circumeunt omnia copiosa loquacitate quæ dicere volunt.»

видимому Латинскія слова: *amare* и *diligere*; но Цицеронъ показываетъ въ нихъ величайшее различіе (*): «*Quid ergo tibi commendem eum, quem tu ipse diligis? Sed tamen ut scires eum non a me diligere solum, verum etiam amari, ob eam rem tibi hoc scribo.*» Такъ и Сенека различаетъ слова *tutus* и *securus* (**): «*tuta scelera esse possunt, secuta non possunt.*» Не часто ли смѣшиваютъ и у насъ слова: *положеніе* и *состояніе*, *способности* и *дарованія*, *счастіе* и *благополучіе*, *признательность* и *благодарность*, *путь* и *дорога*, *свойство* и *качество*, *польза* и *выгода*, и другія? При надлежащемъ вниманіи на ихъ различіе, усматриваемъ, что они имѣютъ не одинакое, а подобное значеніе. Чѣмъ кпо болѣе наблюдаешь такіе оппѣнки мысли, выражаемые различными словами, тѣмъ пошъ шочнѣе въ рѣчи своей, съ болѣею ясностью выражается (***). Разсмотримъ нѣкошорыя синонимы: по примѣру ихъ можно объяснять и другія.

Положеніе, состояніе. *Положеніе* показываетъ дѣйствіе скоропреходящее и случайное въ проспранствѣ, а *состояніе* — продолжительное и обыкновенное во времени. Мы говоримъ: *состояніе* здоровья, младенчества, а не *положеніе*; напрошивъ того, говоримъ: несчастное *положеніе* семейства при кончинѣ отца или матери. — Нищій, который сего дня находится въ жалкомъ *положеніи*, завтра можешь придти въ завидное *состояніе*.

(*) Ad fam. L. XIII, ep. 47.

(**) Epist. 97.

(***) См. въ Трудахъ О. Л. Р. С. синонимы Саларева и П. Калайдовича. Последний издалъ въ особой книжкѣ собраніе нѣсколькихъ синонимъ. Образцами могутъ служить синонимы Латинскія Эрнестіевы и Рамсгорновы, Англійскія Блеровы, Нѣмецкія Эбергардовы, Французскія Жирардовы.

Способность, дарованіе. *Способность* простирается на цѣлое, *дарованіе* относится къ частн. *Всѣ* люди имѣютъ *способности*, хотя неравныя; *дарованія* падаются только въ нѣкоторыхъ. Люди имѣютъ *способность* говорить, но не *дарованіе*; потому что языкъ бываетъ принадлежностію всѣхъ людей, а не исключительнымъ даромъ нѣкоторыхъ. Когда я говорю о какомъ нибудь человѣкѣ, что онъ имѣетъ *дарованія* къ поэзіи, то показываю, что онъ, имѣя всѣмъ людямъ общія *способности*, получилъ въ *даръ* особенныя. Ни *способности* не могутъ быть одинаковы, ни *дарованія*; послѣдніе могутъ получить одинъ болѣе, другой меньше; *первыя* бываютъ у одного лучше, у другаго хуже. *Способность* къ чему-либо приобретається ученіемъ; *дарованіе* бываетъ врожденное.

Счастіе, благополучіе. *Благополучіе* зависитъ отъ нашего поведенія, нравовъ: мы можемъ достигнуть его собственнымъ стараніемъ; *счастіе* само насъ посѣщаетъ. *Первое* приобретається нами постепенно, *второе* приходитъ къ намъ вдругъ. *Благополучіе* относится болѣе къ тихой, безмятежной жизни; оно прочнѣе и продолжительнѣе, нежели *счастіе*. *Счастіе* относится болѣе къ почестямъ, къ богатству и къ такимъ удовольствіямъ, которыя чѣмъ бываютъ сильнѣе, тѣмъ скорѣе прекращающіяся. *Благополучіе* есть внутреннее счастіе, а *счастіе* — вышнее благополучіе. Отъ того мы говоримъ: счастливъ тотъ, кто благополученъ и въ посредственности.

Признательность, благодарность. *Признательность* есть просто воспоминаніе объ оказанномъ благодѣяніи; *благодарность* — внутреннее чувствованіе, которое заставляеть насъ любить своего благодѣтеля. Когда мы за какую нибудь услугу стараемся воздать

равную услугу, тогда дѣйствуетъ въ насъ *признательность*; но почтивъ всегда себя должниками, хотя бы и заплатили за оказанное благодареніе, мы руководствуемся *благодарностію*. *Признательнымъ* можетъ быть даже *неблагодарный*, если только спарается за полученное одолженіе расплатиться такимъ же одолженіемъ; но *благодарный* никогда не перестаетъ почтивъ себя обязаннымъ, хотя бы гораздо болѣе оказалъ благодареній тому, къмъ прежде самъ былъ одолженъ. *Признательность* возвращаетъ, что получила; *благодарность*, возвращая полученное съ излишествомъ, всегда думаетъ, что еще не возвратила надлежащаго. Всякій можетъ быть *признательнымъ*; но *благодарнымъ* — одно только доброе, чувствительное сердце.

Путь, дорога. *Путь* означаетъ самое движеніе, или переѣздъ въ то мѣсто, въ которое намерены мы прибыть; *дорога* показываетъ пропу, которая проложена по землѣ. Мы говоримъ: *морской путь*, а не *дорога морская*; потому что на морѣ нѣтъ проложенныхъ пропунктъ. По этой же причинѣ говорятъ: заблудиться на *пути*, а не на *дорогѣ*, во время проѣзда къ какому нибудь мѣсту; на *дорогѣ* же заблудиться не лзя, развѣ только можно сбиться съ дороги. Говорится: *путный* вѣтеръ, который имѣетъ такое же направленіе, какъ и наше путешествіе; *дорожное* платье, *дорожный* экипажъ. Въ переносномъ смыслѣ говорятъ: въ этомъ человекѣ будетъ *путь*, то есть, онъ достигнетъ цѣли, которую мы предполагаемъ; также *путь* добродѣтели, порока. *Путь* бываетъ удобенъ, когда проѣзжающій можетъ сыскать всѣ потребности; а *удобная дорога* должна быть равна, широка.

Средство, способъ. Первое есть главная причина дѣйствія, а второе вспомогательное сред-

ству орудіе. На пр. общее *средство* говорить есть языкъ; *способы* хорошо говорить заключаются въ правилахъ языка. Прежде нужно было показать *средство* дѣлать порохъ, а послѣ узнали *способъ* употреблять его въ дѣло.

Свойство, качество. То и другое слово означаетъ собственную принадлежность какой нибудь вещи. *Свойство* служить къ изображенію внутренней или наружной принадлежности вещи, кошорая существуетъ съ нею неразлучно; *качество* есть принадлежность приобретенная, кошорую вещь получаемъ опъ нашего о ней разсужденія, когда мы желаемъ знать, *какова* она. Опъ того говорится: физическія *свойства* шѣлъ; *свойства* Русскаго языка; *качества* благовоспитаннаго человѣка.

Изъ предъидущаго слѣдуетъ, что, для точности въ рѣчи изустной и письменной, должно имѣть полное и ясное понятіе объ излагаемыхъ предметахъ, и знать настоящее значеніе словъ. Нѣтъ сомнѣнія, что писателю нужны дарованія; но достоинства рѣчи, о кошорыхъ мы говоримъ, приобретаются трудомъ и упражненіемъ. Жуковский, между нашими писателями, можетъ служить образцемъ точности. У него рѣдко встрѣишь можно выраженіе ненужное, никогда не найдемъ набора синонимъ: опъ того онъ шакъ ясенъ и выразишеленъ.

Мы уже замѣтили, что не всѣ роды сочиненій шребуютъ точности въ одинакой степени. Она вездѣ составляетъ достоинство писателя, если чуждается словъ, не придающихъ ни ясности, ни занимательности; однако, стараясь объ этомъ отличительномъ качествѣ рѣчи, должны мы остерегаться другой крайности — сухости. Желая упростить рѣчь, лишаемъ иногда ее изъ-

щества. Иные, помышляя только о точности въ выраженіяхъ, вполне соотвѣшшвующихъ мыслямъ, опмешаютъ всякое украшеніе: опъ того кажущся сухими, жесткими. Соединеніе обилія и точности, легкости и изящества, правильности и чистоты — вопъ высокое достоинство рѣчи, столь рѣдко встрѣчаемое. Есть сочиненія, которыми нужно болѣе обилія и украшеній; другимъ болѣе прилична точность; даже различныя части одного и того же сочиненія пребываютъ преимущественно того или другаго качества. Не должно только жертвовать однимъ качествомъ другому: совершенство пребуешь соглашенія всѣхъ качествъ; а это предполагаетъ ясность мысли и глубокое знаніе языка.

Кромъ непочности въ употребленіи словъ, бываетъ другая непочность опъ ихъ расположенія. Нашъ языкъ въ словорасположеніи имѣетъ одинакое преимущество съ языками Греческимъ и Латинскимъ: это преимущество зависитъ опъ измѣненій въ окончаніяхъ словъ. Основные законы Русскаго словорасположенія изложены въ одномъ изъ предъидущихъ чшеній.

И шакъ ясность рѣчи зависитъ опъ правильности, чистоты и точности словъ. Всѣ правила объ изящномъ построеніи рѣчи, здѣсь исчисленные, относятся къ *порядку словопостроенія*, къ этому первому условію внѣшняго изящества слова.

ЧТЕНИЕ ОСЬМОЕ.

Продолженіе объ изыщномъ словопостроеніи рѣчи. —
Правила, относящіяся къ силѣ предложенія и періода.

Разсмотримъ качества рѣчи, относящіяся къ ясности, приступимъ къ изслѣдованію *единства рѣчи*, связи въ ея членахъ и *полноты*, отъ чего зависить *сила* предложенія и періода. Первыя качества принадлежатъ болѣе къ объему рѣчи, вторыя — къ ея содержанію.

Въ каждомъ родѣ сочиненія необходимо единство — начало связывающее части; нужно, чтобъ одинъ какой-либо предметъ былъ главнымъ. Единство требуется въ исторіи, въ ораторской рѣчи, въ эпосѣ, въ драмѣ; оно еще необходимо въ каждомъ періодѣ и предложеніи: ихъ назначеніе — выразить одну мысль. Періодъ можетъ состоять изъ нѣсколькихъ членовъ; но эти члены должны быть такъ связаны между собою, чтобъ всѣ вмѣстѣ могли изображать одинъ предметъ. Отъ чегожъ зависить такое единство?

Въ продолженіе развитія періода, замѣчали мы, должно по возможности рѣже перемѣнять точку зрѣнія, съ которой вы показываете предметъ, не опираясь безъ надлежащей послѣдовательности вниманія нашего отъ одного лица къ другому, отъ одной стороны предмета къ другой. Обыкновенно въ періодѣ находится лице или вещь, которыхъ имя управляетъ всѣми прочими словами: надобно стараться, чтобъ отъ начала до конца оставалось

одно управляющее. Если бы мы сказали: »Утвердивъ значеніе словъ, избавивъ писателей отъ многотрудныхъ изысканій, недоумѣній, ошибокъ, Академія предложила и систему правилъ для составленія рѣчи: швореніе не первое въ семь родъ; ибо Ломоносовъ, давъ намъ образцы вдохновенной поэзіи и сильнаго краснорѣчія, далъ и Грамматику; но Академическая рѣшишь болѣе вопросовъ, содержишь въ себѣ болѣе основательныхъ замѣчаній, копорыя служатъ руководствомъ для писателей.« Въ этомъ періодѣ соблюдена грамматическая связь; но способъ соединенія предложений, изъ копорыхъ одно относится къ Академіи, другое къ Ломоносову, третье къ Грамматику, четвертое къ замѣчаніямъ — развлекаетъ вниманіе; и потому въ этомъ періодѣ нѣтъ единства. Для лучшей связи и послѣдовательности, можно труды Академіи отдѣлить отъ трудовъ Ломоносова, и составишь изъ этихъ мыслей два особые періода.

Не должно вмѣщать въ одинъ періодъ предметовъ, имѣющихъ столь мало единства между собою, что могутъ быть раздѣлены на два или на три особенныя предложенія. Нарушеніе этого правила останавливаетъ вниманіе и его затемняетъ. Гораздо лучше выражаться отрывисто, нежели предложеніями запутанными и нанизанными одно на другое. Примѣровъ для этого рода погрѣшностей множество. »Изданіемъ Словаря и Грамматики, заслуживъ нашу благодарность, Академія заслуживъ конечно и благодарность потомства ревностнымъ, неутомимымъ исправленіемъ сихъ двухъ главныхъ для языка книгъ, всегда богатыхъ, такъ сказать, бѣлыми листами для дополненія, для перемѣнъ необходимыхъ по естественному, непре-

спасиному движенію живаго слова къ дальнѣйшему совершенству; движенію, которое пресѣкается только въ языкѣ мертвомъ.» Можно ли въ этомъ періодѣ по началу ожидать такого конца? Это предложеніе въ предложеніи. Главная мысль — Словарь и Грамматика Академіи; за этимъ ожидается доказательствъ важности труда: вмѣсто этого, вниманіе останавливается на движеніи живаго слова. И это казалось недоспѣлымъ: безпрестанное движеніе еще объясняется — оно называется движеніемъ, которое пресѣкается только въ языкѣ мертвомъ. Или слѣдующее мѣсто: »Въ этомъ затруднительномъ положеніи, какъ въ отношеніи къ жизни общественной, такъ и въ отношеніи къ жизни частной, Цицеронъ испытывалъ новую горестъ, изнурительную для сердца — смерть Тулліи, возлюбленной дочери своей, недолго жившей послѣ развода съ Долабеллою, котораго нравъ и обращеніе казались ей всегда несносными.« Главный предметъ въ этомъ предложеніи — смерть Тулліи, поразившая Цицерона. Къ этому предложенію относится показаніе времени развода ея съ Долабеллою; но прибавленіе о характерѣ Долабеллы совсѣмъ не принадлежитъ къ главному предмету; нарушаетъ единство, вводя въ рѣчь новую каршину. Вотъ еще одинъ примѣръ изъ перевода Плутарха: »Греки подъ предводительствомъ Александра проходили чрезъ страну безплодную, которой дикіе обитатели владели бѣдственную жизнь, вмѣсто всѣхъ богатствъ, съ нѣсколькими стадами пощихъ овецъ, коихъ невкусное мясо издавало непріятный запахъ; потому что ихъ обыкновенный кормъ — морская рыба.« Здѣсь нѣсколько разъ измѣняется точка зрѣнія читателя или слушателя: походъ Грековъ, описанія дикихъ

бвець, причина ихъ дурнаго вкуса — все это производитъ смѣшеніе въ понятіяхъ, и прудно соединивъ въ одну шочку зрѣнія предметы, столь между собою несогласные.

Такова бываетъ сбивчивость въ періодахъ, еще не слишкомъ длинныхъ, отъ недостатка *единства*. Этимъ погрѣшностямъ подпадають нѣ писатели, которые привыкли выражаться длинною періодическою рѣчью. У насъ до Карамзина эта рѣчь была господствующею; но и у него, и у современныхъ писателей встрѣчаемъ періоды, обремененные предложеніями вставочными, вводными, опредѣленіями, дополненіями. »Извѣстіе о первобытномъ жилищѣ нашихъ предковъ взято, кажется, изъ Византійскихъ лѣтописцевъ, которые въ VI вѣкѣ узнали ихъ на берегахъ Дуная; однакожъ Неспоръ въ другомъ мѣстѣ говоритъ, что Св. Апостолъ Андрей, проповѣдуя въ Скиѣи имя Спасителя, поставилъ крестъ на горахъ Кіевскихъ, еще ненаселенныхъ, и, предсказавъ будущую славу нашей древней столицы, доходилъ до Ильмена, и нашелъ тамъ Славянъ; слѣдственно они, по собственному Неспорову сказанію, жили въ Россіи уже въ первомъ столѣтіи, и гораздо прежде, нежели Болгаре утвердились въ Мизіи. Приходя къ концу этой запутанной рѣчи, удивляешься разстоянію, пройденному отъ начала. Но вотъ другой періодъ изъ Карамзина, при всей долготѣ своей, ясный. »Тамъ несчастные младенцы, жертвы бѣдности или спыда, не радость, но ужасъ родителей въ первую минуту бытія своего; отвергаемые міромъ при самомъ ихъ вступленіи въ міръ; невинные, но жестоко наказываемые судьбою, принимаются во священище добродѣтели, спасаются отъ бури, которая сокрушила бы ихъ на первомъ

дыханія жизни; спасаются — и, что еще болѣе, спасаютъ, можетъ быть, родителѣй отъ адскаго злодѣянія, къ несчастію не безпримѣрнаго, находятъ человѣколюбивое призрѣніе — не только кровь и пищу, но и всѣ лучшіе, мудрою благостію вымышленные способы укрѣпляютъ ихъ здравіе, образуютъ душу, предупреждаютъ физическое и нравственное зло.» Сколько здѣсь предметовъ, мыслей, замѣчаній, вдругъ представляющихся! Но всѣ обстоятельства связаны, всѣ составляютъ части одного цѣлаго: отъ того эта обширная картина легко обнимается вниманіемъ. Иные надѣются на знаки препинанія, думая ими опростить запутанную или двусмысленную рѣчь. Раздѣленіе мыслей зависить не отъ знаковъ препинанія: знаки только указываютъ на развитіе мысли. Поэтому правильное поставленіе знаковъ соответствуетъ правильному, естественному раздѣленію мысли.

Не должно вѣщать въ періодъ нѣсколькихъ предложеній вводныхъ и объяснительныхъ, нарушающихъ связь періода. Есть случаи, въ которыхъ такія предложенія даже оживляютъ рѣчь; но болѣею частію они бесполезны: это какъ бы колесо въ колесѣ, искусственный способъ разставлятъ мысли, которымъ писатель не умѣетъ дать надлежащаго мѣста — обыкновенная погрѣшность писателей непочтучихъ. Приведемъ одинъ періодъ. »Того ради, если кто изъ завистниковъ благополучія нашего дерзнетъ неистовымъ, или коварнымъ озабоченіемъ миролюбивое Монархини нашея сердце на гнѣвъ подвигнуть, то познаетъ о всемъ премудрый Ея промыслъ, и хотя онъ пространными морями, великими рѣками, или превысокими горами отъ насъ покрытъ и огражденъ будетъ; однако, по-

чувствовавъ свое наказаніе, помыслилъ, что изсякло море, прекратили теченіе рѣки, и горы, опустившись, въ равныя поля претворились; помыслилъ, что не Флотъ Россійскій, но цѣлая Россія къ берегамъ его пристала.» Періодъ неприятный отъ того, что писатель хотѣлъ посредствомъ вставочныхъ предложеній ввести нѣсколько разныхъ предметовъ, и принужденъ былъ, для соединенія несвязныхъ частей, повторить: *помыслилъ*. Это повтореніе, равно какъ и другія подобныя оговорки, всегда показываютъ неправильное строеніе рѣчи; оно извинительно въ рѣчи изустной, отъ которой не лзя требовать совершенной точности; на письмѣ этого позволять себѣ не должно.

Полюта періода требуетъ заключенія смысломъ, совершенно оконченнымъ. Цѣлое должно имѣть начало, средину и конецъ. Собственно предложеній неоконченныхъ быть не можетъ; но часто встрѣчаются выраженія болѣе, нежели полныя и оконченныя. Таковы тѣ предложенія, въ заключеніи которыхъ, вмѣсто ожидаемаго отдохновенія вниманію, встрѣчаешь обсто-ятельство, которое надлежало или совсѣмъ опустить, или поставить въ другомъ мѣстѣ. Эти ненужныя прибавленія, обременяющія рѣчь, затрудняютъ ее; отъ нихъ она, какъ александрійскій спихъ, по словамъ Попе: «влачитъ полуживой змѣей, которая медленно тянетъ отбѣшый свой хвостъ.» Подобныя вставки безобразятъ полную и оконченную рѣчь; отъ нихъ она теряетъ единство, стройность и текучесть. Одинъ писатель, говоря о Цицеронѣ, выражается такъ: «Сочиненія его болѣе приличны молодымъ ораторамъ, нежели сочиненія Демосфена, хотя сей и былъ

выше его, по крайней мѣрѣ, какъ випія.» Этого періодъ лучше окончить словами: «выше его.» После этихъ словъ мы ничего болѣе не ожидаемъ; прибавочная оговорка: «по крайней мѣрѣ какъ випія, не влжеться съ предъидущимъ, ничего новаго не прибавляетъ, а только вредитъ полнотѣ. Переставьте эту оговорку, и періодъ выйдетъ полный: его сочиненія и проч. — который, по крайней мѣрѣ какъ випія, выше его.» Еще одинъ примѣръ: «Академія, облегчая для таланта способы приобретать нужныя ему свѣдѣнія, можетъ еще содѣйствовать успѣхамъ его и другими средствами: наградами, определенными въ Уставѣ, и еще болѣе справедливымъ оцѣненіемъ всякаго новаго труда, имѣющаго признаки истиннаго дарованія, хотя еще и незрѣлаго, хотя еще и слабаго, неукрашеннаго искусствомъ; ибо слабый лучъ бываетъ иногда предпечено яркаго свѣта, и кедръ выходитъ изъ земли наравнѣ съ низкимъ злакомъ.» Періодъ собственно оканчивается словами: «неукрашеннаго искусствомъ; но предложеніе: «слабый лучъ — злакомъ», совершенно новыя, прибавленныя безъ всякой надобности, и безъ которыхъ періодъ былъ уже полонъ и оконченъ.

По изслѣдованіи единства, связи и полноты въ періодѣ, разсмотримъ зависящее отъ нихъ качество — *силу*. Подъ силою разумѣютъ такое расположеніе членовъ періода, отъ котораго мысль получаетъ выгоднѣйшее изображеніе. Отъ силы впечатлѣніе производится полнѣйшее и разнѣмнѣйшее; отъ нея каждое слово и каждый членъ періода получаютъ надлежащее значеніе. Для произведенія этого дѣйствія, требуется соблюденіе изложенныхъ условій. Періодъ можетъ быть, при единствѣ, связанъ во всѣхъ частяхъ своихъ,

и не образоватъ полного цѣлаго; при недостаточномъ построеніи, не произведетъ живаго впечатлѣнія, которое зависитъ отъ совокупнаго дѣйствія всѣхъ условій силы.

Первое правило, необходимое для силы періода, состоитъ въ томъ, чтобъ опускать всѣ ненужныя слова. Иногда эти слова существенно не вредятъ ни ясности, ни единству; но они всегда ослабляютъ мысль; отъ нихъ въ періодѣ идетъ движеніе и легкости. Поэтъ говоритъ:

»Est brevitae opus, ut currat sententia, neu se
Impediat verbis, lassas onerantibus aures.«

Вообще слова, не прибавляющія ни одной мысли, вредятъ рѣчи; если они излишни, то уже непременно вредны: *obstat quidquid, non adjuvat*, правило Квинтилиана. Все, что умъ можетъ легко дополнить, должно быть исключено изъ рѣчи, какъ ненужное. Поэтому для образованія себя въ этой части слова, полезно пересматривать написанное, обрѣзывать лишніе обороты и слова, которыхъ не возможно замѣнить при первомъ приѣмѣ работы. Перечитывайте себя со всею строгостью: чѣмъ болѣе будете обдѣлывать періодъ, тѣмъ болѣе станете его усливать. Безъ сомнѣнія, тутъ также есть крайность: можно до того обрѣзать рѣчь, что она превратится въ сухой и жесткій остовъ мысли. Поэтому и въ рѣчи, какъ во всемъ, нужна благоразумная середина. Иногда надобно обращать вниманіе на благозвучность, хотя это принадлежитъ къ качествамъ отрицательнымъ: оставляя нѣсколько мыслейъ около распускающихся цвѣтшвъ.

Не только отъ бесполезныхъ словъ должно освобождать періодъ, но и отъ членовъ, бесполезно его обременяющихъ. Какъ въ каждомъ словѣ содержится новое понятіе; такъ каждый членъ долженъ представлять особое сужденіе. Это правило нарушается въ тѣхъ періодахъ, которыхъ послѣдній членъ не отвѣтствуетъ первому. Аддисонъ, говоря о красотѣ, прибавляетъ: «первый взглядъ на все исполняетъ душу чувствомъ радости и разливаетъ удовольствіе по всемъ ея силамъ.» Въ другомъ мѣстѣ: «не возможно взирать на твореніе Божіе хладнокровно и равнодушно, или наблюдать красоты его, не чувствуя удовольствія и радости.» Въ томъ и другомъ отрывкѣ вторые члены ничего не прибавляютъ къ мыслямъ первыхъ, и хотя благозвучный и текучій слогъ Аддисона прикрываетъ такіа небрежности, однако и эпошъ слогъ очистиште отъ бесполезнаго излишества — вы придадите ему силы и изящества. Когда слова умножаются безъ прибавленія мыслей; тогда вниманіе утомляется и умъ впадаетъ въ бездѣйствіе.

Освободивъ періодъ отъ всѣхъ бесполезныхъ излишествъ, если хотите дать ему силу, обратите особенное вниманіе на употребленіе словъ соединительныхъ, относительныхъ и всѣхъ частицъ, которыми означаются связь и переходы. Эти небольшія слова: *но, и, который, или, и* подобныя, иногда бывающъ важнѣйшими: около нихъ обращается рѣчь; отъ нихъ же зависитъ способъ ея развитія. Правда, употребленіе этихъ словъ столь разнообразно, что трудно преподавать на это опредѣленные правила. Лучшее средство для этого, наблюдать писателей, отличающихся правильностью, упражняться самимъ въ сочиненіяхъ: такъ

можно узнать дѣйствія, производимыя эпѣми частицами въ рѣчи. Разсмотримъ эпѣи предметъ съ изъяснительными подробностями.

Иные писатели безъ всякой надобности ставятъ множество словъ указательныхъ и относительныхъ. Когда нужно ввести новый предметъ или представить такое предложеніе, на которое хотимъ обратить вниманіе, эпѣи способъ выраженія приличенъ; но въ обыкновенной рѣчи должно предпочитать краткость подобнымъ вставкамъ. Частица *и*, столь часто встрѣчающаяся во всѣхъ родахъ сочиненій, требуетъ также величайшей разборчивости. Очевидно, повтореніе ея, когда нѣтъ никакой причины, ослабляетъ рѣчь. Неумѣстное употребленіе частицы и есть характеристика старинной нашей рѣчи. Раскройте сказанія Князя Курбскаго: каждый періодъ ею изобиленъ. *«И абіе, за помощію Божією, сопрошивъ сопосланныхъ возмогша воинство Христіанское. И противъ лкихъ сопосланныхъ? Такъ великаго и грознаго Измаильскаго языка, отъ негожъ нѣкогда и вселенная шрепещала, и не щѣмъ шрепещала, но и опустошена была; и не противъ единого Царя ополчашеся, но абіе противъ шрехъ великихъ и сильныхъ. И за благодатию и помощію Христа Бога нашего, и проч.»* Здѣсь частица и повторена шесть разъ въ одномъ періодѣ; отъ того онъ медленъ, вялъ.

Не смотря на то, что назначеніе частицы и состоитъ собственно въ томъ, чтобы показывать послѣдовательность одного дѣйствія за другимъ и связывать многіе предметы, есть случаи, гдѣ отъ опущенія ея послѣдовательность дѣйствій выражается быстрѣе, восстанавливается большая связь въ отношеніяхъ предметовъ. По замѣчанію Лонгина,

слова: *veni, vidi, vici*, выражающъ сильнѣе быстроту завоеваній, нежели тѣ же самыя слова съ частицею *и*. Тоже должно сказать о слѣдующемъ описаніи одной битвы у Цезаря (*): *«Nostri, emissis pilis, gladiis rem gerunt; repente post tergum equitatus cernitur, cohortes aliæ appropinquant. Hostes terga vertunt; fugientibus equites occurrunt; fit magna caedes.»*

Изъ этого на оборотъ слѣдуетъ: когда мы хотимъ остановить слишкомъ быстрый переходъ мысли отъ одного предмета къ другому; когда, при исчисленіи предметовъ, хотимъ, чтобы каждый былъ отличенъ отъ другихъ, чтобы на каждомъ останавливалось вниманіе; иногда полезно связывать всѣ предметы частицею *и*; въ этомъ случаѣ она придаетъ красу. Тотъ же Цезарь въ другомъ мѣстѣ говоритъ: . . *«His equitibus facile pulsus ac proturbatis, incredibili celeritate ad flumen decurrerunt; ut pœne uno tempore, et ad sylvas, et in flumine, et iam in manibus nostris, hostes viderentur.»* Хотя описываемыя событія быстро слѣдуютъ одно за другимъ; но, желая представить, въ сколь различныхъ мѣстахъ явился вдругъ непріятель, онъ повторяетъ частицу *и*, которая дѣйствительно сильнѣе указываетъ на всѣ эти мѣста. Таковы также слѣдующіе изящные періоды: «И Онъ благихъ нашихъ не пребудетъ; а и сей самый въпецъ, и скипетръ, и державу, и Россію, и всѣхъ насъ, сердца и упробы приносимъ Ему, и вручаемъ Ему.» Или: «Да преполнешь мечъ Твой по бедръ Твоей, о Герой, и наляцы, и успѣвай, и царствуй, и наставь Ты дивно десница Вышняго.» — «Видя такимъ образомъ отовсюду огражденна и укрѣпленна

(*) Bel. Gal. I. VII.

Тебе, Великій Государь, и радуемся, и торжествуемъ, и привѣтствуемъ; и благодаримъ Господа, и вопіемъ: Благословенъ Господь, и проч.»

Правильное употребленіе этой частицы, умънѣе опускашь ее кспаша и ставишь, для желающихъ красно говорить или писашь, составляешь особый предметъ изученія. Повидимому странно, что опущеніе частицы, назначенной для соединенія, послѣдствіемъ предметовъ въ тѣснѣйшей связи; мы опускаемъ ее для изображенія быспрошты, и повторяемъ, чтобъ замедлить дѣйствіе. Въ первомъ случаѣ умъ, увлекаемый быспрою послѣдовательностію понятій, какъ бы не имѣетъ времени означитъ всѣ нужныя соединенія; онъ опускаетъ ихъ въ стремленіи своемъ, собираетъ предметы въ одну группу; во второмъ случаѣ, желая исчисленіемъ усилитъ дѣйствіе, умъ нашъ наблюдаетъ медленно, означаетъ отношеніе каждаго предмета къ предъидущему и послѣдующему, самымъ означеніемъ ихъ связи показываетъ, что это предметы отдѣльные, а не одинъ предметъ въ различныхъ видахъ. Тоже должно сказать и о другихъ частицахъ соединительныхъ. Посмотриши, какая сила придается каждой мысли, какъ каждая мысль отдѣляется отъ другихъ въ слѣдующемъ исчисленіи подвиговъ Царскихъ: »Вселюбезнѣйшій Государь! сей вѣнецъ на главѣ Твоей есть слава наша: *но* Твой подвигъ. Сей скипетръ есть нашъ покой: *но* Твое бдѣніе. Сія держава есть наша безопасность: *но* Твое попеченіе. Сія порфира есть наше огражденіе: *но* Твое ополченіе. Вся сія унгарь Царская есть намъ утѣшеніе: *но* Тебѣ бремя.»

Перейдемъ къ другому правилу силы въ періодъ. Главныя слова предложенія должно спа-

внпшъ памѣ, гдѣ нхъ дѣйствіе полнѣе и оконча-
шельнѣе; въ каждомъ предложеніи должно наблю-
дать главныя слова, ошъ которыхъ смыслъ болѣе
зависитъ, нежели ошъ всякаго другаго слова: они-
то должны стоять на виду. Впрочемъ не лѣзя
въ точности опредѣлитъ, гдѣ выгоднѣе ставить
такія слова, въ началѣ, или въ срединѣ, или въ
концѣ предложенія: это зависитъ ошъ свойства
самаго предложенія. Нашъ языкъ допускаетъ всѣ
возможныя перестановки, безъ нарушенія ясности.
Мы уже упоминали, что обыкновенно главныя
слова занимаютъ первыя мѣста въ рѣчи.

»И Екашерина на пропѣ! Уже на безсмерт-
номъ мраморѣ Исторіи изображенъ сей незабвен-
ный день для Россіи: удерживаю порывъ моего
сердца описать его величіе.« Дѣйствительно, про-
стой, естественный порядокъ требуетъ, чтобъ
главный предметъ былъ на первомъ планѣ кар-
тины. Иногда, для усиленія періода, окончательная
мысль развивается въ заключеніи, а до того внп-
маніе оспается въ неизвѣстности. Такъ главною
мыслію заключается слѣдующее мѣсто: «Но мы-
слямъ человѣческимъ предѣлъ предписанъ: Божес-
тва постигнути не могутъ; обыкновенно пред-
ставляютъ Его въ человѣческомъ видѣ. И такъ
ежели человека, Богу подобнаго, по нашему поня-
тію, найти надобно; кромѣ Петра Великаго не
обрѣпаю.» Мы въ своемъ языкѣ можемъ пользо-
ваться точно такою же свободою въ словорасполо-
женіи, какою пользовались Греческіе и Римскіе пи-
сатели; этошъ родъ силы періодической принад-
лежитъ къ отличительнымъ его свойствамъ. Ошъ
него зависитъ разнообразіе рѣчи нашей, ея вол-
нующаяся текучесть.

Какое мѣсто впрочемъ ни занимали бы главные слова, ихъ не должно смѣшивать съ прочими, которыя могутъ мѣшать ихъ дѣйствию. Такъ если предметъ рѣчи требуетъ обстоятельствъ мѣста или времени, или другихъ подобныхъ ограниченій, которыя необходимо ввести въ періодъ; тогда должно такъ помѣщать ихъ, чтобы не затемнить главнаго предмета, не смѣшать его съ прибавочными обстоятельствами. »Но Богомъ предводимая Герония наша, съ малымъ числомъ вѣрныхъ сыновъ опечесства, презираетъ всѣ препятства, безъ пролитія крови торжествуетъ, и, къ общей нашей радости, пріемлетъ свое наследство.« Этотъ періодъ изящно построенъ: для выраженія нѣсколькихъ обстоятельствъ, введенныя слова такъ поставлены, что нисколько не затемняютъ и не ослабляютъ основной мысли; главные реченія стоятъ въ концѣ отдѣльно, и воображеніе легко за ними слѣдуетъ. Переставьте слова, и вы увидите совсѣмъ другую картину въ періодѣ: »Но Богомъ предводимая Герония наша презираетъ всѣ препятства, съ малымъ числомъ вѣрныхъ сыновъ опечесства, безъ пролитія крови торжествуетъ, и пріемлетъ свое наследство, къ общей нашей радости.« Здѣсь слова »съ малымъ числомъ вѣрныхъ сыновъ опечесства« какъ бы относясь къ препятствамъ и даютъ другой смыслъ періоду. Слова »къ общей нашей радости« не имѣютъ силы, поставленныя послѣ наследства. Тѣ же слова и тотъ же смыслъ; но постороннія обстоятельства обременяютъ главные слова, производятъ въ періодѣ сбивчивость, оптимаятъ у него силу.

Сила періода требуетъ, чтобы члены возрастали одинъ передъ другимъ, возвышались бы важ-

ностью, по мѣрѣ развитія мысли. Эта постепенность составляетъ одну изъ величайшихъ красотъ рѣчи. Естественнo, такая постепенность намъ нравится: во всемъ мы любимъ восходить отъ одной красоты къ другой. Напрoтивъ, обратный порядокъ испрiяженъ: любовавшись важнѣйшимъ предметомъ, мы не равнодушно оставляемъ его, когда переходимъ къ какому-нибудь постороннему обстоятельству. »Должно стараться«, говоритъ Квинтилианъ, »чтобъ рѣчь не слабѣла, чтобъ за сильнымъ не слѣдовало что либо безсильное: мысли должны размножаться и возрастать (*).« Рѣчи Цицероновы представляютъ примѣры красотъ этого рода; онъ прилаоуетъ его періодамъ важность и величiе. Совершенная постепенность пребуеетъ, чтобъ мысль возвышалась вмѣстѣ съ голосомъ до конца періода, который долженъ заключаться словами благозвучнѣйшими. Прекрасныя восхожденiя находимъ и у Ломоносова: »Ободришь начинающiяся науки, не щадя своихъ пждивенiй; утвердишь ихъ благосостоянiе, предписавъ полезныя законы; оградишь своею милостiю, принявъ въ собсшвенное свое покровительство; отворишь имъ къ себѣ свободный доступъ, поручивъ ихъ доброхошному Предстателю изъ своихъ ближайшихъ, естъ толь великое благодѣянiе, которое въ мысляхъ и сердцахъ нашихъ во вѣки неизгладимо пребудетъ, и за которое мы, по всей возможности и силъ нашей, сипараясь о приращенiи наукъ, и превозносимъ Великую Благодарстельницу похвалами, дѣломъ и словомъ благодар-

(*) »Cavendum est, ne decrescat oratio, et fortiori subjungatur aliquid iufirmius; augeri enim debent sententiae et insurgere.«

ніе приносить должны.» Или это превосходное заключеніе у Карамзина въ Похвальномъ словѣ Екашеринѣ II . . . »И когда всѣ народы земли будутъ завидовать вашей долѣ; когда имя Россіянина будетъ именемъ счастливѣйшаго гражданина въ мірѣ: тогда исполнятся тайныя обѣты моего сердца; тогда вы узнаете, чего я хотѣла, но чего не могла сдѣлать; и признательность ваша почтитъ равно и дѣла мои, и мою волю: единая награда, къ которой добрые Монархи могутъ быть чувствительны и по смерти своей!»

Впрочемъ не должно слишкомъ заботиться о такомъ построеніи періода: оно прилично только нѣкоторымъ родамъ сочиненій, требующимъ великолѣпія рѣчи; но говорить о простыхъ предметахъ восхожденіями — было бы странно и неприлично. Есть порядокъ членовъ въ періодѣ, похожій на восхожденіе, и о соблюденіи котораго должно всегда стараться: »чтобы рѣчь не ослабѣвала«, какъ уже мы выше сказали. Предложеніе, служащее только подтвержденіемъ, не надобно ставить послѣ сильнѣйшаго предложенія; въ періодѣ двучленномъ длиннѣйшій членъ долженъ занимать второе мѣсто. Такое расположеніе членовъ облегчаетъ произношеніе; переходя ко второму отъ перваго крашчайшаго, память удобнѣе удерживаетъ эпитетъ крашчайшій, а отъ этого легче обнять и взаимную связь обоихъ членовъ. Періодъ: »Между тѣмъ, какъ спраши оставляюшъ насъ, мы думаемъ, что мы ихъ оставляемъ«, не столько ясенъ и приятенъ, какъ послѣ же самый періодъ извращенный: »Мы думаемъ, что оставляемъ спраши, между тѣмъ какъ онъ насъ оставляетъ.« Вообще намъ нравится, когда рѣчь возрастаетъ по важности мыслей до послѣдняго слова

періода, если только такое расположеніе возможно, безъ нарушенія простоты и приличія. »Когда мы возвышаемся«, говоритъ>Addисонъ, «и созерцаемъ звѣзды, какъ обширныя моря пламени, вокругъ которыхъ обращаются купы планетъ; когда мы непрестанно, открываемъ новыя тверди и новыя источники свѣта, проникая въ глубину пространства: воображеніе наше теряется во множествѣ міровъ и солнцевъ, и мы цѣпнемъ опъ изумленія, при видѣ величія и безпредѣльности природы.»

Изъ предыдущаго слѣдуетъ правило, не оканчивашъ періода мѣстоименіемъ, нарѣчіемъ, предложомъ или другимъ какимъ-либо словомъ, по смыслу рѣчи незначительнымъ: такое заключеніе ослабляетъ періодъ. Опъ окончанія неприяпенъ слѣдующій періодъ: »Весь пышный нарядъ ея представлялъ разительную прошивоположность съ видомъ глубокаго унынія, которое изображалось во всѣхъ чертахъ лица ея.« Или: »Такъ чувствовала Россія, такъ чувствовали всѣ мы, провождая мужественнаго, крѣпкаго, неустрашимаго Героя нашего въ безмѣрномъ его поприщѣ, слѣдуя каждое мгновеніе за нимъ нашими мыслями, желаніями, молитвами, восхищенными и умиленными сердцами нашими.« Можесть случиться, что на эпихъ словахъ смыслъ оканчивается: тогда они уже не принадлежатъ къ описанію обстоятельствъ, а, какъ главные, занимаютъ первое мѣсто. Во всѣхъ другихъ случаяхъ, когда они опредѣляютъ обстоятельства дѣйствія и степени качествъ, не должны заслонять главнѣйшихъ словъ, а находиться при нихъ, которыми служатъ опредѣленіемъ.

Тоже должно сказать и о членахъ періодовъ, выражающихъ какое нибудь постороннее обстоя-

шество, или вспавочное, но нужное поясненіе: ими невыгодно оканчивать періодъ. Вотъ примѣръ изъ краснорѣчиваго Мерзлякова: »Несравненный Государь! въ семъ могущественномъ сліянніи милліоновъ, въ сей животворной взаимной любви — заключается вмѣстѣ съ ихъ счастіемъ и Твоя слова, и Тебѣ благодарность; ибо на землѣ никакой другой награды Тебѣ не обрѣтается.« Послѣдній, совсѣмъ ненужный членъ неудачно заключаетъ періодъ, впрочемъ красивый, волноподобный, который, казалось, поддержитъ силу свою до конца.

Искусное разищеніе членовъ представляеть часто трудности, пребудющія большаго вниманія. Всѣ изображенія обстоятельствъ принадлежатъ къ одному цѣлому; эпо дикіе камни, которые искусною рукою зодчаго размѣщаются въ построеніи зданія такимъ образомъ, что служатъ и укрѣпленіемъ, и краскою. По словамъ Квинтилиана, должно соединять ихъ съ шѣми членами, которыми они болѣе приличны: такъ въ зодчествѣ огромные камни удобно помѣщаются и утврждаются (*).

Если подобныя слова затрудняютъ, лучше оставивъ ихъ, чпобъ главныя не встрѣчали никакой сбивчивости. Не должно также громоздить слишкомъ многихъ обстоятельствъ, но располагать ихъ въ разныхъ мѣстахъ періода, относить къ главнымъ словамъ по принадлежности, и не подавлять важнѣйшихъ словъ второстепенными. Въ этомъ отношеніи ошибоченъ слѣдующій періодъ: »Составляя собою далекую, сѣверную оконечность Европейскаго материка, заслоненный дикою Германіею и отдѣленный морями, Скандинав-

(*) *Jungantur, quo congruunt maxime; sicut in structura saxorum rudium etiam ipsa enormitas invenit cui applicari, et in quo possit insistere.*

скій полуостровъ не испытывалъ власпи Римлягъ, и, по естественному состоянію своему и положенію, не могъ обольстить и привлечь варваровъ, въ первые вѣки Христіанства ринувшихся въ Европу изъ степей Азіи, устремившихся на обольстительный Югъ, смѣшавшихся съ обитателями Европы и разбившихъ исполинское созданіе древняго міра, Римскую Имперію.» Здѣсь изображеніе Скандинавскаго полуострова закрывается описаніемъ варваровъ.

Наконецъ послѣднее замѣчаніе о силѣ періода относится къ сравненію или противоположенію двухъ предметовъ: въ томъ и другомъ случаѣ члены, заключающіе сравненіе или противоположеніе, требуютъ сходства въ числѣ и послѣдовательности словъ. Естественнo, когда предметы другъ другу соотвѣствуютъ, выраженія ихъ также должны имѣть соотвѣстственность. Если не наблюдается это соотвѣстствіе, то сравненіе или противоположеніе кажется неконченнымъ, и выраженіе не имѣетъ ожидаемой ясности и силы. Вотъ примѣры изящныхъ сравненій: »Ломоносовъ преобразовалъ языкъ нашъ, созидая образцы во всѣхъ родахъ. Онъ тоже учинилъ на трудномъ поприщѣ Словесности, что Пётръ Великій на поприщѣ гражданскомъ. Пётръ Великій пробудилъ народъ, усыпленный въ оковахъ невѣжества; онъ создалъ для него законы, силу военную и славу: Ломоносовъ пробудилъ языкъ возстающаго народа; онъ создалъ ему краснорѣчіе и стихотворство, испыталъ его силу во всѣхъ родахъ, и приготавилъ для грядущихъ талантовъ вѣрные орудія къ успѣхамъ.« Или: »Ломоносовъ всегда рабъ своего предмета; Державинъ управляетъ имъ по своей волѣ. Первый всегда равенъ въ своемъ пареніи; другой,

подобно молніи, поражаетъ вдругъ, и часто скрывается опъ своего чинашеля. Одного можно уподобить величественнѣйшей рѣкѣ, текущей постоянно въ берегахъ своихъ; другой уподобляется водопаду, имъ самимъ описанному, между камнями спрежнему лрыя волны своя, всегда свободному, придающему нѣкопоруую дикость природѣ. Ломоносовъ въ слогъ болѣе числѣ, болѣе точенъ, бережливѣе, связнѣе; Державинъ цвѣтнѣе, разнообразнѣе, роскошнѣе.»

Такіе періоды производятъ пріятнѣйшее впечатлѣніе; но только не должно употреблять во зло этого рода силы рѣчи. Они необходимы, когда самый смыслъ этого пребуеетъ. Напрошивъ, тошъ бы скоро наскучилъ однообразіемъ, кто бы захопѣлъ безпрестанно строить сравненія и противоположенія; однообразное возвращеніе звуковъ утомляетъ слухъ и обнаруживаетъ изысканность. Между древними у Исократъ это любимый оборотъ, въ чемъ справедливо упрекаетъ его Діонисій Галикарнасскій.

Вотъ правила, относяціяся къ изящнымъ качествамъ рѣчи, въ отношеніи къ ея объему и содержанію: ясности и силѣ. Мы изслѣдовали ихъ съ возможною подробностію; пошому что опъ нихъ дѣйствительно зависитъ внѣшнее изящество мысли. Форма естъ выраженіе самой сущности: такъ и формы слова служатъ внѣшнимъ покровомъ различныхъ опытковъ мысли. Нѣкоторыя изъ предъидущихъ замѣчаній могутъ казаться неопытнымъ излишними; но кто самъ испыталъ трудности изящной рѣчи, тошъ согласится въ необходимости подробнаго разложенія всѣхъ нпшей, изъ которыхъ составляется шканъ періода. Мысль, выраженная періодомъ

яснымъ и пекучимъ, производить иное дѣйствіе въ сравненіи съ выраженіемъ той же мысли вялымъ, сбивчивымъ. Если же это различіе ошутительно въ каждомъ предложеніи и періодѣ; то какое же дѣйствіе должно произвести цѣлое сочиненіе, состоящее изъ картинъ изящныхъ, вполне изображающихъ мысли писателя?

Изъ всѣхъ изложенныхъ правилъ касательно востроенія періода главнѣйшія, въ которыхъ прочія содержатся, состоятъ въ умѣнны излагать мысли въ естественномъ *порядкѣ*, опъ котораго записанъ изобразительность рѣчи. Выраженіе, вполне изображающее мысль, и такимъ образомъ, что мы совершенно обнимаемъ ее въ умѣ нашемъ, поражаетъ насъ, какъ предметъ изящный. Это основаніе всѣхъ правилъ: онъ былъ бы излишни, еслибъ мысли наши всегда были ясны, и если бы всѣ равно владѣли языкомъ, на которомъ выражаютъ свои мысли. Тогда въ каждомъ предложеніи, въ каждомъ періодѣ были бы ясность, и точность, и единство, и сила. Кто выражается не ясно, тотъ, кромѣ незнанія языка, обнаруживаетъ недоспашокъ въ мысляхъ. Періоды сбивчивые, темные, вялые, показываютъ такіе же недоспажки въ мысляхъ, періодами выражаемыхъ. Мысль и слово взаимно дѣйствуютъ одна на другое. Опъ того законы риторическіе поже-сственны съ законами мышленія и изящества: учась наблюдать порядокъ въ построеніи рѣчи и выразительность движеній духа, научаемся мыслить въ такомъ же порядкѣ и съ такою же точностью.



ЧТЕНИЕ ДЕВЯТОЕ.

Окончаніе объ изящномъ построеніи періода. —
Благозвучіе, или второе условіе изящной рѣчи.

По изслѣдованіи качествъ изящной рѣчи въ отношеніи къ порядку словопостроенія, обращаемся къ *благозвучію*, или движенію словотеченія.

Благозвучіемъ довершается изящество рѣчи; а потому и это качество требуетъ особеннаго разсмотрѣнія. Въ звукахъ осуществляется мысль наша: опъ того между мыслью и звуками голоса, какъ между духомъ и тѣломъ, столь тѣсная связь. Жесткіе и грубые звуки не могутъ выражать чувствованій вѣжныхъ и сладостныхъ; воображеніе, творящее образы въ словахъ для каждой мысли, пропавшиша такому несогласію. »То не можетъ пронести чувствъ, замѣчаютъ Квинтилианъ, »что оскорбляетъ ухо, какъ нѣкое преддверіе (*).« Музыка могущественно возбуждаетъ извѣстныя движенія; различнымъ состояніямъ души соотвѣтствуютъ различные звуки; эти-то звуки сопрягаютъ однородныя имъ струны нашего сердца. Языкъ также имѣетъ часть музыкальнаго могущества; писатель долженъ уметь воспользоваться этимъ преимуществомъ. Тотъ придаетъ новую прелесть мыслямъ своимъ, кто благозвучность слова соединяетъ съ изобразительностью мысли.

Въ рѣчи различать должно два рода благозвучности: во первыхъ, приятность звуковъ и пере-

(*) »Nihil potest intrare in affectum, quod in aures, vel quodam vestibulo, statim offendit.«

мѣнѣ голоса; во вторыхъ, выразительность звуковъ, или отношеніе ихъ къ мысли. Первое достоинство обыкновенное; второе служить слову величайшимъ украшеніемъ.

Прежде всего разсмотримъ благозвучность первого рода. Основанія ея одни и тѣ же въ періодѣ и стихѣ; но какъ стихъ всегда бываетъ изліяніемъ сильнѣйшаго чувства и воображенія, то и благозвучіе его имѣетъ нѣкоторыя особенности. Въ настоящемъ случаѣ мы разберемъ общіе законы благозвучія, и преимущественно періодическаго. Благозвучность вообще зависитъ какъ отъ самыхъ звуковъ, отдѣльно взятыхъ, и отъ ихъ послѣдованія одного за другимъ, такъ отъ удареній и отъ расположенія словъ и членовъ въ предложеніи и періодѣ. Первое благозвучіе называютъ *эвфоническимъ*, второе *эвриэтическимъ*.

Что касается до эвфоническаго благозвучія, то тѣ слоги пріятнѣйшіе, въ которыхъ найдется счастливѣйшее сочетаніе гласныхъ съ согласными; гдѣ не сочешаваются многія жесткія согласныя, или гдѣ не тѣнутся многія гласныя, особенно одинакія, трудныя для произношенія. Основнымъ правиломъ можно положить, что всѣ звуки, затрудняющіе произношеніе, непріятны для слуха и неблагозвучны. Отъ гласныхъ слова получаютъ мягкость, отъ согласныхъ силу. Благозвучность языка состоитъ въ ихъ соразмѣрномъ сочетаніи. Отъ преимущества гласныхъ и согласныхъ языкъ бываетъ или мягокъ, или жестокъ. Припомъ слова сложныя вообще благозвучнѣе односложныхъ; они нравятся разнообразіемъ волнующихся звуковъ одного за другимъ. Такими словами богаты языки, отличающіеся благозвучностью. Изъ словъ же сложныхъ особенно тѣ нравятся

слуху, въ которыхъ слоги краткіе перемѣнены съ долгими.

Другое основаніе благозвучности — ударенія и расположеніе словъ и членовъ въ предложеніи и періодѣ. Сколь бы благозвучны ни были слова сами по себѣ, и съ какимъ бы вниманіемъ мы ни избирали ихъ, если они расположены не изящно въ отношеніи къ удареніямъ, ни періодъ, ни стихъ не можетъ быть благозвученъ. Въ этомъ Цицеронъ превосходитъ всѣхъ древнихъ и новыхъ писателей. Видно, что онъ глубоко изучалъ и эту часть слова; кажется, онъ даже слишкомъ заботился объ этой рѣчи, которую называетъ *«plena ac numerosa oratio»*. Самый грубый слухъ услаждается его благозвучіемъ. Можно ли поспроить періодъ согласнаго, благозвучнаго, совершеннаго этого періода (*): *«Cogitate quantis laboribus fundatum imperium, quanta virtute stabilitam libertatem, quanta deorum benignitate auctas exaggeratasque fortunas, una vox pene deleat.»* «Помыслите, сколькими трудами основанную державу, какою доблестію утвержденную самобытность, какимъ небеснымъ милосердіемъ возвеличенное и возвышенное благоденствіе одна ночь почти разрушила.»

Если поспроеніе періодовъ можетъ заключать въ себѣ такую благозвучность, то должно изслѣдовать, какъ достигается это совершенство, на какихъ началахъ оно основывается, и отъ какихъ законовъ зависитъ. Эти законы изслѣдованы древними, которые благозвучіе слова проникали до мельчайшихъ подробностей. Древніе въ періодической рѣчи, какъ и въ стихѣ, наблюдали извѣстный размеръ, хотя не столь строгій, но стѣмъ не менѣе

(*) Contra Catil. IV.

подверженный правиламъ. Въ ихъ періодъ различаются стопы, число и послѣдовательность долгихъ и краткихъ, изъ которыхъ долженъ состоять каждый членъ періода, опредѣляемя дѣйствіе, какое каждый членъ можетъ произвести. Въ правилахъ о построении періода они преимущественно имѣли въ виду его благозвучіе. Такъ учили Цицеронъ и Квинтилианъ. Они менѣе занимались внутренними качествами рѣчи, ясностью, точностью, единствомъ и силою, которыя мы почитаемъ важнѣйшими; любимый предметъ ихъ: *iunctura* и *pithus*. Въ сочиненіи Діоннісія Галикарнасскаго: *о слонопостроеніи въ періодъ*, также предпочтительно изслѣдуется дѣйствіе словъ музыкальное. Онъ поставляетъ совершенство періода въ соединеніи четырехъ условій: приятности звуковъ эвфонической, приятности ихъ эвриемической, состоящей въ размѣрѣ, или количествѣ и качествахъ звуковъ, разнообразіи и отношеніи звуковъ къ выражаемой мысли. О всехъ этихъ предметахъ рассуждаетъ онъ со вкусомъ и глубокомысліемъ.

Въ наше время эта часть слова не изучается съ такою подробностью. Древніе языки, Греческій и Римскій, способны были къ большому благозвучію, нежели всѣ новѣйшіе. Долгота и краткость слоговъ ихъ были съ точностью опредѣлены; самыя слова ихъ сложнѣе и благозвучнѣе словъ новыхъ языковъ, кромѣ языковъ Славянскихъ. Измѣненія окончаній въ ихъ именахъ и глаголахъ производили въ звукахъ приятное разнообразіе и освобождали рѣчь отъ множества вспомогательныхъ словъ, безъ которыхъ Западныя языки не могутъ обойтись; отъ этого свойства ихъ языковъ зависящее словорасположеніе угождало слуху.

Самый вкусъ Грековъ и Римлянъ вообще къ пластической сторонѣ искусства располагалъ ихъ къ музыкальности и въ словѣ. Музыка у древнихъ имѣла обширнѣйшее значеніе; она болѣе была изучаема; ее прилагали къ большому числу предметовъ. Всѣ драматическія сочиненія ихъ сопровождались музыкою; ошъ того и говорили они: *modos fecit, tibiis dextris et sinistris*. Произношеніе рѣчей народныхъ шребовало возвышеннаго голоса и особаго напѣва. У Латинянъ былъ такъ называемый ладъ законодательный, которымъ читались законы въ народѣ; они опасались, чшобъ простое чтение не ослабило впечатлѣнія, какое должна производить эша народная святыня. У Римлянъ Кай Гракхъ, когда говорилъ къ народу, всегда имѣлъ при себѣ музыканта, показывавшаго ему на флейтѣ тонъ голоса. Тогда думали, что музыкальность языка содѣйствовала успѣхамъ краснорѣчивыхъ словъ его, произнесенныхъ имъ въ качествѣ Трибуна, и вооружавшихъ однихъ Римлянъ противъ другихъ. Квинтилианъ, осуждающій излишнюю заботливость объ этомъ, соглашается, что произношеніе напѣвомъ (*cantus obscurior*) составляетъ красоту народныхъ рѣчей. Отсюда въ языкахъ древнихъ, особливо въ Греческомъ, такое упорченное разнообразіе удареній острыхъ, тяжелыхъ, облеченныхъ, означавшихъ различное повышение и пониженіе голоса, которыя у насъ вышли изъ употребленія. Римляне не означали этихъ удареній, однако соблюдали ихъ при произношеніи. Это видно изъ словъ Квинтилиана: *Quantum, quale, comparantes gravi, interrogantes acuto tenore concludunt.* Въ языкахъ, на которыхъ болѣе произносились рѣчи, а не читались, музыка имѣла большое приложеніе: ошъ того во всѣхъ родахъ народныхъ

рѣчей древнихъ какое разнообразіе въ переливахъ голоса, въ возвышеніи и пониженіи тоновъ! Вотъ почему они были разборчивы до утонченности въ спросніи періодовъ, назначаемыхъ для произношенія. По особому свойству языковъ Греческаго и Римскаго, и произношенію, музыкальное строеніе ихъ періодовъ производило такое дѣйствіе въ народныхъ рѣчахъ, какого нельзя ожидать ни отъ одного изъ новыхъ языковъ. Это одна изъ причинъ, побуждавшихъ ихъ изучать періодическую рѣчь. Цицеронъ въ *Ораторѣ* говоритъ: «Я часто бывалъ свидѣтелемъ, какъ собранія восклицали, когда слова текли изъ устъ вѣтхи благозвучно: этого ожидаетъ слухъ (*).» При этомъ онъ упоминаетъ о замѣчательномъ примѣрѣ дѣйствія, какое гармоническій періодъ можетъ произвести на собраніе, именно о выраженіи изъ рѣчи Карбона, которую слышалъ самъ Цицеронъ: «*Patris dictum sapiens temeritas filii comprobavit* — отцовское мудрое слово дерзость сына подтвердила.» Онъ прибавляетъ, что даже звукъ словъ возбудилъ громкія рукоплесканія: «такой шумъ произведенъ въ собраніи, что нельзя было не удивляться (**);» разбираетъ стопы, изъ которыхъ составлено это выраженіе, и которыми онъ приписываетъ прелесть и могущество благозвучности; показываетъ, что, съ измѣненіемъ словорасположенія, измѣняется дѣйствіе выраженія: «*Patris dictum sapiens comprobavit temeritas filii.*» Трудно повторить, чтобъ подобное выраженіе на какомъ-либо новомъ языкѣ, равно благозвучное, могло произвести на наши собранія такое же

(*) «*Conciones saepe exclamare vidi, cum verba apte cecidissent: id enim expectant aures.*»

(**) «*Tantus clamor concionis excitatus est, ut prorsus admirabile esset.*»

дѣйствіе и возбудишь въ слушателей удивленіе и рукоплесканія. У насъ, сѣверныхъ жителей, слухъ не столько изъженъ, благозвучіе слова не производится на насъ слишкомъ сильнаго дѣйствія; самое произношеніе, болѣе простое и однообразное, не способно къ благозвучію, одинакому съ Греческимъ и Римскимъ (*).

Изъ этого слѣдуетъ, что мы не можемъ этою частію слова столько же заниматься, сколько занимались ею древніе: ихъ лзыки и назначеніе краснорѣчія преобладали совершенства съ пластической стороны періода. Въ нашихъ лзыкахъ потеряна количественность слоговъ, или долгопа ихъ и краткость. Если бъ даже періодъ нашъ измѣрялся, какъ періодъ древнихъ; то благозвучіе его потерялось бы для слуха нашего опъ произношенія. Припомъ періода не лзя заключишь въ размѣръ наровнъ со стихомъ: разнообразіе его должно соопвѣтствовать разнообразію предметовъ краснорѣчія и свободной простотѣ оратора. Исчислишь только основныя правила благозвучія, свойственнаго и новымъ лзыкамъ. Впрочемъ вкусъ и слухъ, образованные чтеніемъ писателей и собственнымъ упражненіемъ, въ этой частіи слова служатъ лучшими наставниками.

Благозвучіе періода зависишь опъ двухъ условій: опъ искуснаго расположенія членовъ и паденія въ заключеніи. Все, что легко и приятно для

(*) Cic. Or. 51. «In versu quidem theatra tota exclamant, si fuit una syllaba aut brevior, aut longior. Nec vero multitudo pedes novit, nec ullos numeros tenet; nec illud quod offendit, aut cur, aut in quo offendat, intelligit; et tamen omnium longitudinum et brevitatum in sonis, sicut acutarum graviumque vocum, judicium ipsa natura in auribus nostris collocavit.»

органа слова, приятно и для слуха. Окончаніе
каждаго члена въ періодъ составляетъ опдыхъ;
эти опдохновенія надобно такъ располагать,
чтобы они не останавливали дыханія, и чтобы ихъ
разстояніе было соразмѣрно. Возьмемъ примѣръ
изъ Похвального слова Мерзлякова Александру І:
»Какъ древле Моисей, вождь Израіля, искушаемый
полюбокрапно корыстолюбивою, завистливою по-
любною Египта, перешелъ невредимъ посре-
ды моря въ землю, проощамъ его обывающую, те-
кущую млеко и медомъ: тако Александръ, съ
самаго начала царствованія, искушаемый непре-
рывно новымъ Фараономъ, провелъ наконецъ своего
Росса ко благу и славу, паче доблественна, седме-
рицею очищеннаго, совершеннѣйшаго сквозь кро-
вавое и бурное море войны и соблазновъ.« Здѣсь
нѣтъ благозвучія; періодъ даже шероховатъ, и
единственно опъ того, что въ немъ одно опдох-
новеніе въ срединѣ, между членами, которые, по
долготѣ своей, шрудны для произношенія.

Напротивъ, какъ легокъ слѣдующій періодъ,
въ которомъ опдохновенія разставлены сораз-
мѣрно съ легкостью для произношенія. »Я раз-
биралъ намѣренія, пуши всѣхъ величайшихъ ге-
роевъ — и повсюду видѣлъ одно честолюбіе,
спрашъ преобладанія; здѣсь вижу пожертвованіе
своимъ покоемъ, своими выгодами для покоя
и выгодъ человѣчества; повсюду встрѣчалъ сред-
ствами — сребролюбіе и коварство; здѣсь правота
и откровенность постоянная; вездѣ цѣль — соб-
ственные свои пріумфы; здѣсь — опданіе каждому
принадлежащаго. Каждая мысль — благо, каждый
шагъ — чудо. Въ сихъ священныхъ мечтаніяхъ,
кажешся, былъ я превыше сего міра; кажешся,
нѣкою таинственною силой переселился въ шопъ

Божественный чертогъ, небесаи небесъ опъ насъ отдѣленный, гдѣ непоспѣжимая Премудрость, непоспѣжимое Всемоущество и непоспѣжимая Благоспѣ совершають великіе виды, токмо высокоспѣю измѣряемые; гдѣ начало — конецъ, гдѣ нажвреніе — исполненіе; кажется, видѣлъ я Ангела горняго въ лучезарномъ сіяніи, или паче, самого Всевышняго, нисходящаго на искупленіе Европы, на второе обновленіе человѣчества. Прости, Великій Государь, мечтамъ моимъ: онъ плодъ благодарнаго, воспорженнаго сердца.» Здѣсь текучеспѣ рѣчи, правильное дѣленіе періода на члены производятъ благозвучіе. Должно также замѣтить, что періодъ съ слишкомъ многими разстановками, припомъ съ разстановками равномерными, приводишь къ другой крайности — изысканности.

Мы сказали, что еще должно смотрѣть въ періодъ на паденіе въ заключеніи: оно-то особенно поражаетъ слухъ. Квинтилианъ совѣтуетъ: «чтобы не было жестко и опрѣвисто заключеніе, на которомъ духъ ошдыхаетъ и оживляется. Это успокоеніе рѣчи; его ожидаетъ слушатель; здѣсь раздаются рукоплесканія (*).» Звуки въ періодъ должны возрастать къ заключенію: для этого преимущественно оканчивается періодъ членами длиннѣйшими, и словами полными и благозвучнѣйшими. Звуки, падающіе въ концѣ, производятъ слабое дѣйствіе: опъ того мѣспомненія, парѣчія и частицы, ослабляющія выраженіе въ концѣ періода, разрушаютъ и благозвучіе. Повторяемъ, что мысль и звукъ, какъ шло мысли, дѣйствуютъ одна на другой взаимно, и тѣсно между собою соединены.

(*) «Non igitur durum sit, neque abruptum, quo animi, velut respirant ac reficiuntur. Hæc est sedes orationis; hoc auditor expectat; hic laus omnis declamat.»

То, что оскорбляетъ слухъ, ослабляетъ и мысль; на оборотъ, то, что унижаетъ мысль, и звучитъ непрятно. Въ Русскомъ языкѣ благозвучнѣйшее окончаніе періода пребуетъ словъ съ предпоследнимъ слогомъ долгимъ. Односложными словами у насъ тогда можно оканчивать періоды, когда имъ предшествуютъ слова съ предпоследними долгими слогами. Надобно замѣнить, что періоды, постоянно оканчивающіеся долгими или съ предшествующими долгими слогами, не производятъ пріятнаго впечатлѣнія: слухъ скоро къ этому привыкаетъ и этимъ пресыщается. Для подержанія вниманія слушаателя или читателя — для того, чтобъ впечатлѣнія сохранили свѣжестъ и силу, должно измѣнять въ періодахъ словотеченіе и окончаніе. Это относится и къ самому паденію періодовъ, и къ расположенію членовъ. Поэтому никогда не ставятся два періода сразу однообразные и съ одинакомъ раздѣленіемъ отдохновеній голоса. Напротивъ, крапкія предложенія, перемѣненные съ длинными и благозвучными періодами, оживляютъ рѣчь и придаютъ ей разнообразіе и великолѣпіе. Иногда звуки жесткіе, паденія неправильныя и отрывистыя производятъ пріятное дѣйствіе. Писатели, слишкомъ заботящіеся о благозвучныхъ построеніяхъ, впадаютъ въ другую крайность — однообразіе. Пѣсни на одинъ голосъ не покажутся ли нарушеніемъ всякаго пѣнія? Слухъ самый простой можетъ открыть нѣсколько благозвучныхъ формъ рѣчи; но прілично ли всегда употреблять эти формы? Одинъ только вѣрный и утонченный слухъ въ состояніи разнообразить благозвучіе рѣчи; отъ того и мало писателей, владѣющихъ этимъ даромъ въ высокой степени.

Впрочемъ изученіе вышней стороны рѣчи и стараніе о благозвучіи должно быть заключено въ извѣстныхъ предѣлахъ. Тотъ производитъ впечатлѣніе тягостное, кто обнаруживаетъ излишнюю заботливостъ о благозвучіи, жертвуя въ вышнему качеству рѣчи внутренними, существенными. Всякое слово, не прибавляющее значенія, но введенное въ періодъ только для округленія — слово, принадлежащее къ числу тѣхъ, которыя Цицеронъ называетъ *complementa numerorum*, есть погрѣшность. Въ украшенія обнаруживаютъ дѣйствіе, которыя болѣе лишаютъ рѣчь выразительности, нежели сколько прибавляютъ ей красоты со стороны благозвучности. Мысль всегда имѣетъ соотвѣтственную ей гармонию: выражайте ее ясно, сильно — ваши выраженія непременно будутъ благозвучны. Достаточно соблюсти приличное словопеченіе въ періодъ; излишняя выработка иногда ослабляетъ рѣчь. Квинтилианъ, послѣ продолжительныхъ изслѣдованій о благозвучности рѣчи, прибавляетъ: »Вообще пусть лучше будетъ рѣчь жесткая и шероховатая, нежели изнѣженная и вялая, какую встрѣчаемъ у многихъ. Опять того иногда съ намѣреніемъ надобно періодическую рѣчь раздѣлять, чтобы не видно было выработки; никогда не должно настоящимъ словомъ жертвовать приличности (*).« Цицеронъ, какъ уже замѣтили мы, въ благозвучномъ спроеніи періодической рѣчи можетъ служить образцомъ;

(*) »In universum, si sit necesse, duram potius atque asperam compositionem malim esse, quam effeminatam ac enervem, qualis apud multos. Ideoque, vincita quaedam de industria sunt solvenda, ne laborata videantur; neque ullum idoneum aut aptum verbum prætermittamus, gratia lenitatis.«

въ немъ даже замѣтна излишняя заботливость объ украшеніяхъ, лишающихъ иногда рѣчь силы и выразишельности. Любимое заключеніе его *«esse videatur»* въ рѣчи: *pro lege Manilia*, встрѣчается одиннадцать разъ. Но въ этомъ великомъ ораторѣ немногія погрѣшности искупаются безчисленными красотоми; если и примѣтно, что благозвучіе его изучено, по крайней мѣрѣ, видно, что это не стоило ему большаго труда.

Между опечесшвенными писателями, кромѣ Крамзина, рѣчь Батюшкова и Жуковскаго особенно отличается благозвучностью. Но въ испекшемъ сполнѣтій Фонъ-Визинъ въ переводѣ Томасова Похвального слова Марку Аврелію показалъ примѣръ излишней изысканности: рѣчь его, опъзывающаяся Лаптинскимъ ладомъ, однообразна и неприятна. Рѣчи Мерзлякова большею частію представляютъ гармоническіе періоды, выливавшіеся по формамъ древнихъ. Этимъ писатель умѣлъ избѣжать опасности, какой подпадаютъ другіе — однообразія.

Отъ изящныхъ измѣненій періодическаго расположенія перейдемъ къ изяществу звуковъ, соотвѣстствующихъ мысли. Художественное расположеніе словъ и членовъ въ періодъ доставляетъ величайшую приятность, производитъ сладостнѣйшія впечатлѣнія; въ самыхъ же звукахъ содержится выразишельность. Въ этой выразишельности можно различить двѣ степени: одна состоитъ въ послѣдовательности звуковъ, движеніемъ своимъ согласныхъ со смысломъ рѣчи; вторая показываетъ сходство звуковъ съ предметами, которые ими изображаются.

Въ звукахъ дѣйствительно заключается соотвѣстственность съ нашими понятіями; это свойство естественнo обнаруживается въ нашей рѣчи,

и еще болѣе развивается искусствомъ. Иногда повтораіе одного и того же періодическаго строенія нравится, если согласно съ настроенностію чувства. Полные и звучные Цицероновскіе періоды представляютъ уму всегда что-либо важное, великолѣпное и спокойное; это естественный способъ выраженія чувствъ спокойныхъ и возвышенныхъ. Но эти же періоды не свойственны ни сильной страсти, ни живому разсужденію, ни обыкновенному разговору: тутъ нужно словотеченіе легкое, простое. Искусство соглашаетъ настроенность періодической рѣчи съ предметомъ. Обороты, постоянно однообразные, если бы я не упоминали слуха, не соотвѣтствуютъ ни намѣреніямъ различныхъ родовъ сочиненій, ни различнымъ частямъ одного и того же сочиненія. Спранно на одинъ ладъ пишешь похвальное слово и грозное обвиненіе, равно какъ не прилично чувствительную пѣсню написать на ладъ военнаго дидирамба. Смотри-те, съ какимъ искусствомъ Цицеронъ изображаетъ въ слѣдующемъ періодѣ тишину и спокойствіе счастливой жизни: »Хотя человѣку ничего нельзя желать болѣе благополучной, ровной и постоянной судьбы, при теченіи жизни счастливомъ, безмятежномъ; однако если бъ мои обстоятельства были спокойны и мирны, я былъ бы лишенъ невѣроятнаго и божественнаго наслажденія радостью, которую, по вашей благости, пью вкушаю (*).«
Можно ли совершенно выразить эту мысль? Она въ этомъ періодѣ осязательно изображена для слу-

(*) »Etsi homini nihil est magis optandum quam prospera, æquabilis perpetuaque fortuna, secundo vitæ, siue ulla offensione, cursu; tamen, si mihi tranquilla et pacata omnia fuissent, incredibili quadam et paene divina, qua nunc vestro beneficio fruor, lætitiæ voluptate carnissem.«

ха. Но не странно ли было бы, если бы Цицеронъ въ такой же правильной, размѣрной рѣчи поражалъ Антонія или Капилину? Поэтому, обдумывая чертежъ сочиненія, мы должны вполне обнять и понять со всеми подраздѣленіями, или шу настроенностью духа, въ какой естественно изливаются наши чувствованія: свойственны ли имъ округленные періоды, важные, торжественные, или краткія, живыя, опрысканія выраженія. Опять главнаго тона сочиненія должны зависѣть всѣ измѣненія періодовъ; это то же, что главные ноты въ сочиненіяхъ музыкальныхъ. Въ одномъ и томъ же сочиненіи по главному тону измѣняются всѣ части сочиненія, согласно съ выражаемыми мыслями и чувствованіями.

Кромѣ благозвучія, состоящаго въ послѣдовательности звуковъ, согласныхъ съ мыслями и чувствованіями, которыя ими выражаются, слово звуками своими можетъ выражать извѣстные предметы. Впрочемъ въ рѣчи періодической это звукоподражаніе бываетъ несовершенное; мѣсто его въ стихѣ, гдѣ допускается большая свобода всѣхъ возможныхъ словозмѣненій; самое способное способствовать выразительности. — Звуками словъ можно представлять предметы трехъ родовъ: предметы звучащіе, движеніе и спроси. Подражаніе звуками предметамъ перваго рода самое простое: тамъ легко органомъ голоса выразить шумъ волнъ морскихъ, завываніе въпровъ, журчанье ручья. Это изображеніе звуковъ звуками. Здѣсь для выраженія звуковъ тихихъ избираются слова, составленные изъ гласныхъ и плавныхъ согласныхъ; для выраженія звуковъ грубыхъ, впечатлѣніе наше облекается въ слоги жесткіе. Такія звукоподражанія составляютъ основную часть

всѣхъ коренныхъ языковъ: въ нихъ слово представляеть сродство съ самимъ предметомъ; такъ близко звукоподражаніе. Свистъ, шумъ, жужжаніе, шипѣніе, прескъ, краканіе, щебетаніе и другія подобныя слова совершенно выражаютъ предметы; ими свойства предметовъ представляются въ явленіи. Въ этомъ изъ нашихъ отечественныхъ писателей Державинъ, Дмитріевъ, Жуковский, Крыловъ и Пушкинъ неподражаемы.

Другой родъ звукоподражанія состоитъ въ выраженіи различныхъ степеней движенія — медленнаго или быстраго, непрерывнаго или порывистаго, легкаго или затруднительнаго. Между звукомъ и движеніемъ нѣтъ непосредственнаго сходства; но большое сходство между ними представляеть воображеніе. Такова связь музыки и пляски: одна выражаетъ чувствованія въ звукахъ, другая въ движеніяхъ. Поэтъ также въ словъ можетъ предсавить движеніе посредствомъ звуковъ, которые въ воображеніи нашемъ соопвѣтствуютъ этому движенію. Естественнo, долгіе слоги представляють движеніе медленное, какъ стихи Виргилія:

»*Illi inter sese magna vi brachia tollunt.*«

Рядъ крапкихъ слоговъ изображаетъ движеніе быстрое:

»*Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum.*«

У Омира и Виргилія находимъ множесство подобныхъ звукоподражаній.

Накопецъ въ звукахъ слова изображаются спрасити. Съ перваго взгляда представляется мало сходства между столь разнородными предметами; но можно ли сомнѣваться въ этомъ, когда вспомнимъ могущество музыки, возбуждающей въ насъ раз-

личныя страсти, и силу поновъ, согласныхъ съ тѣмъ или другимъ чувствованіемъ. Здѣсь пѣшь непосредственной связи; по извѣстное расположе- ніе звуковъ и слоговъ напоминаетъ намъ извѣст- ный рядъ мыслей и чувствованій, и такимъ обра- зомъ возбуждаетъ въ душѣ мысли и чувствованія, передаваемые поэтомъ. Въ этомъ состоятъ срод- ство звуковъ и чувствованій. Кромѣ таинствен- ной связи между звуками и настроенностью духа нашего, воображеніе дополняетъ это сходство: опъ того одни и тѣ же звуки дѣйствуютъ на насъ различно, смотря по различному расположенію духа. Звуки голоса нашего подражаютъ не самымъ предметамъ, а впечатлѣнію, какое производятъ они въ нашей душѣ; мы сами это впечатлѣніе облекаемъ въ извѣстные звуки въ воображеніи на- шемъ и прилагаемъ ихъ къ словамъ писателя; музы- кальность стиха часто бываетъ та самая, ко- торую создало наше собственное воображеніе. Удовольствіе, радость, рядъ приятныхъ предме- товъ естественнo выражаются въ звукахъ сладост- ныхъ. Стихотвореніе Державина: *Цѣленіе Саула*, можетъ служить образцомъ музыкальных движе- ній, выражающихъ различныя состоянія души. Разсказъ душевныхъ спраданій Саула изложенъ размѣромъ медленнымъ, свойственнымъ болѣе пе- чали и унынію.

»Отверзлись ржавыя со скрипомъ ада двери,
Изъ коихъ зависти и злобы блѣдны дщери:
Боязнъ, и грусть, и скорбь, и скука, и тоска,
Змѣистыхъ ключья власъ вкругъ ней, какъ облака,
Пуснивъ на вѣтръ, летятъ въ призракахъ чернымъ
роемъ:
Тѣ съ крежешомъ зубовъ, тѣ съ хохомомъ, всѣ съ
воемъ,
Какъ враны, волки какъ на ипруть съ лѣсовъ, спешей
Спадами гладными на казнъ бѣгутъ. . . .»

Но вопль пѣснь Давида, пришедшаго *блнцаньемъ*
струнь цѣлнть Саула:

»О Боже! посѣтн
 Сердечный внятъ мой гласъ!
 Скорбь Царску утнши,
 Отри пошюки съ глазъ,
 И просвѣтн Твое лице
 На блещущемъ его вѣнцѣ.«

Изображенію хаоса соотвѣтствуетъ анапестъ:

»Огнь, земля и вода, и весь воздухъ въ борьбѣ
 Межъ собой, внупрь и внѣ, безпрестанно сражались,
 И лишь жизнь пѣтъ они всѣмъ являли въ себѣ,
 Что шамъ спукъ, а шамъ шрескъ, а шамъ блескъ
 прорывались.
 Громъ на громъ въ вышнѣ, гулъ на гулъ въ глубнѣ,
 Какъ кашась, какъ врапась, даль и близъ оглушали;
 Бездны безднѣ, хляби хлябъ, колебавъ въ шннѣ,
 Безъ устройствъ естество, ужась, мракъ предспав-
 лали.«

Раскаяніе Саула раждаетъ въ душѣ его спо-
 койствіе; печаль небесная застываетъ мѣсто адской
 грусти. Живыя чувствованія шребуютъ и споно-
 сложенія болѣе быстраго:

»О, какъ милость есть любезна!
 Всѣхъ она славнѣй доброть!
 Плачетъ Царь — и струйка слезы
 По ланнѣ его льетъ.
 Ее Ангелъ прннмаетъ,
 Не пуща упастъ во тьму,
 Милосердью посвящаетъ:
 Жертвѣ прнпнѣй всѣхъ ему.«

Мысль выразнть музыкальность поэзіи по-
 средствомъ споносложенія, согласно съ сущностью
 предмета и свойствомъ лица, осуществлена въ
 слѣдующихъ стихахъ Жуковскаго. Въ Орланской

Дѣвъ, Іоанна, размышляя сама съ собой, говоритъ
пелшамешрами ямбическими рифмованными:

»Молчитъ гроза военной непогоды!
Спокойствіе на полѣ боевомъ!
Вездѣ шумятъ по стогнамъ хороводы;
Алтарь и храмъ блистаютъ торжествомъ;
И зыждутся изъ вѣпвей пышны входы;
И гордый сполбъ обвинитъ живымъ вѣнцомъ;
И гости ждуть вѣнчательнаго пира;
Готовы пронзъ, корона и порфира.»

Но Іоанна вслушивается въ музыку, и, какъ
бы ею настроенная, перемѣняетъ ямбъ на хорей:

»Ахъ! почпо за мечъ воинственный
»Я мой посохъ отдала,
»И шобою, друзъ шайнственный,
»Очарована была!
»Зрѣла я небесъ сіянье,
»Зрѣла Ангеловъ въ лучахъ;
»Но души моей желанье
»Не живетъ на небесахъ! . . .»

Обыкновенный разговоръ продолжается сши-
хами бѣлыми:

»О еслибъ ты узнала сладость чувства!
»Войны ужъ нѣтъ: сложи твой бранный панцырь,
»И грудь открой чувствительности женской.»

Вообще музыкальное подражаніе сперва касалось
предметовъ поническихъ; потомъ выраженіе от-
крыло отношенія между медленностью и быстро-
пою, покоемъ и движеніемъ. Отсюда звукоподра-
жаніе просперлось даже на краски, въ слѣдствіе
понятій, сопряженныхъ съ красками: въ красномъ
цвѣтѣ мысль усмотрѣла живость, въ синемъ ти-
хость, въ бѣломъ чистоту, и, согласно съ этими
понятіями, утвердила здѣсь права свои на подра-
жаніе звуками. Такимъ образомъ слово стало раз-
витіемъ цѣлаго міра воззрѣній и понятій посред-
ствомъ звуковъ.

ЧТЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Начало и свойства украшеннаго языка. — Изящество, придаваемое рѣчи тропами и фигурами: изобразительность и одушевленіе. — Основаніе и раздѣленіе троповъ.

По объясненіи строенія предложеній и періодовъ, приступимъ къ другимъ правиламъ слога. Кромѣ ясности и силы, украшенія составляютъ новое его достоинство. Мы разсматривали ясность и силу въ словахъ отдѣльно, и въ цѣлыхъ предложеніяхъ и періодахъ; изслѣдовали дѣйствія ихъ, проявляющіяся въ порядкѣ словопостроенія и въ движеніи словошеченія, или въ одушевленіи. Языкъ украшенный представляетъ новый родъ изобразительности и одушевленія, новый источникъ украшеній, требующій также подробнаго изслѣдованія (*).

Чтожь должно разумѣть подъ словами: *украшенный языкъ, тропы и фигуры*? Вообще украшенный языкъ всегда предполагаетъ нѣкоторое измѣненіе въ обыкновенномъ выраженіи. Искусство спарается окружить насъ существами, намъ подобными, придавая всему, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя признаки чувствъ, какія мы сами имѣемъ; отъ этого дѣйствіе бываетъ сильнѣе и живѣе. Одушевленный писатель, намѣревался сообщить намъ что либо, не просто выражаетъ мысли свои и чувствованія; но выраженія его получаютъ особенный видъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и особенное дѣй-

(*) Многие писатели занимались этимъ предметомъ. Лучшія сочиненія *Дюмарсе*: *Traité des tropes pour servir d'introduction à la rhétorique et à la logique*, и *Гоме*: *Elements of criticism*.

ствіе. Такъ, вмѣсто выраженія: «добродѣтельный въ самомъ несчастіи находить утѣшеніе», говорятъ: «добродѣтельному и во мракъ свѣтъ.» Последнее выраженіе называютъ *фигурнымъ*; оно принадлежитъ къ языку украшенному. Здѣсь *свѣтъ* употребленъ вмѣсто *утѣшенія*, *мракъ* выражаетъ *несчастіе*. Вмѣсто обыкновеннаго выраженія: «Умъ человѣческій не въ состояніи постигнуть величія Всемогушаго», Боговдохновенный Пророкъ вѣщаетъ: «Или слѣдъ Господень обрѣцешь? Или въ послѣдняя достиглъ еси, яже сотвори Вседержитель? Высоко небо, и что сотвориши? Глубокае же сущихъ во адъ что вѣси?» Здѣсь представлена предъидущая мысль, но представлена съ чувствомъ удивленія.

Не смотря на то, что украшенный языкъ отдѣляется отъ простоты языка разговорнаго, въ сущности своей онъ относится къ первоначальному и естественному способу выраженія нашихъ чувствованій; нѣтъ ни одного сочиненія, въ которомъ бы не встрѣчались фигуры, рѣдкое даже выраженіе не принадлежитъ къ языку украшенному. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что фигуры составляютъ необходимую часть языка, и что мы естественно сами научаемся ихъ употребленію. Оно состоитъ въ несповѣдной для насъ гармоніи между природою духовною и вещественною. Люди необразованные употребляютъ такъ же фигуры, какъ и просвѣщенные. Когда одно какое-либо чувство сосредоточиваетъ въ прочія способности душевныя, воображеніе воспламеняется: тогда слово льется попокомъ — простолудитъ, выражается языкомъ украшеннымъ.

Чтожь обращаетъ вниманіе наше на этотъ языкъ украшенный? Отъ него большею частію

зависитъ измѣненіе слова; въ немъ видно вліяніе
нѣхъ душевныхъ способностей, которыя мыслямъ
придаютъ чувственный образъ — вліяніе вообра-
женія и чувства. Какъ наружный видъ предмета
служитъ оплечіемъ его опъ другихъ подоб-
ныхъ; такъ и фигуры облачаютъ мысль въ осо-
бенную форму рѣчи, оплечаютъ ее опъ другихъ
и опъ простаго выраженія. Обыкновенное вы-
раженіе просто предсавляетъ мысль нашу; фи-
гуры облачаютъ ту же мысль въ особый покровъ,
какъ въ нѣкоторое убранство.

Поэтому фигуры можно назвать языкомъ во-
ображенія и чувства; однѣ содѣйствуютъ *изо-
бразительности*, другія усиливаютъ *одушевленіе*.
Подробнѣйшій ихъ разборъ покажетъ вѣрность
этого опредѣленія. Ихъ раздѣляютъ на фигу-
ры словъ и фигуры мыслей. Въ первыхъ слова
опдѣляются опъ первоначальнаго своего зна-
ченія и принимаютъ новое: онѣ называются про-
пами; съ перемѣною слова измѣняется пропъ. Въ
вышеприведенныхъ примѣрахъ пропъ состоитъ
въ словахъ: «свѣтъ и мракъ», которыя употре-
блены не въ буквальномъ смыслѣ, но въ зна-
ченіи «упѣшенія и несчастія», на основаніи сход-
ства между понятіями: свѣтъ и упѣшеніе, мракъ
и несчастіе. Въ другомъ родѣ фигуръ всѣ слова
употребляются въ собственномъ значеніи, по-
скольку дается имъ особенный оборотъ мысли,
каковы: вопрошеніе, прехожденіе, анафора. Въ
нихъ можно перемѣнять слова, переводить ихъ съ
одного языка на другой, и фигура неизмѣнится. Впро-
чемъ это различіе въ приложеніи не приноситъ
пользы, и въ сущности не совсемъ точно. Какое бы
ни дали мы названіе извѣстному способу выраже-
нія мыслей, названіе пропа или фигуры, должны

помнимъ, что языкъ украшенный всегда показываетъ *движеніе* чувства и *картину* воображенія, выражаемая въ словъ. Отъ того правильнѣе можно раздѣлять украшенный языкъ на *фигуры воображенія* и *чувства*; воображеніе дѣйствуетъ на изящество формъ, а чувство эсть формы одушевляетъ. Изслѣдуемъ ихъ начало и свойства.

Прежде всего рассмотримъ, какая польза отъ правилъ объ украшенномъ языкѣ. Сколько людей, которые говорятъ и пишутъ, не зная названія ни одной фигуры, ни правилъ объ ихъ употребленіи. Сама природа, какъ мы уже замѣтили, учитъ насъ этому способу выраженія мыслей; многіе употребляютъ ксатати метафоры, сами не зная, что они говорятъ метафорами. Это однакожъ не доказываетъ, что правила для насъ не нужны. Всѣ умозрительныя знанія имѣютъ основаніемъ опытъ; наблюденія предшествуютъ правиламъ и системамъ, которыя въ свою очередь совершенствуютъ опытность. Мы часто слышимъ пѣніе людей, незнающихъ вовсе пѣвческой гаммы; однакожъ мы признаемъ необходимость правилъ музыки, для образованія врожденныхъ дарованій къ этому искусству. Такъ же развивается красота языка, какъ слухъ и голосъ; знаніе правилъ, отъ которыхъ зависитъ лучшій способъ выраженія, составляетъ одинъ изъ предметовъ науки о словъ. Съ другой стороны не должно думать, чтобы все изящество сочиненій зависѣло отъ изученія фигуръ, впрочемъ необходимыхъ и требующихъ подробнаго разсмотрѣнія. Спараніе, съ какимъ обыкновенно излагается въ риторикахъ ученіе о тропахъ и фигурахъ, раздѣленіе ихъ на классы и различныя названія подали поводъ инымъ думать, что въ роскошномъ употребленіи энихъ украшеній заклю-

чаеяся все изящество краспорвчїя и поэзїи: оптьшого у многихъ писателей замѣчаемъ принужденность, вялость, напыщенность. Достоинство украшеннаго языка состоитъ преимущественно въ одушевленїи чувства и картинахъ воображенїа; это изящное проявленїе мысли. Никакая фигура не придастъ души сочиненїю, скудному въ мысляхъ; напрошивъ, свѣплая мысль, истинное чувство произведутъ дѣйствїе сами собою, безъ помощи посторонняго украшенїа. Такъ у писателей, возбуждающихъ удивленїе въковъ, самыя прогательныя мѣста и особенно поразительныя выражены языкомъ проспыжъ. Прощанїе Гектора у Омира; Эвандръ, прощающїйся съ сыномъ своимъ Палланпомъ, у Виргилїа — эти мѣста оспавляютъ глубокое впечатлѣнїе въ сердца, при всей простотѣ выраженїа. Часто одна рѣзкая черта подобныхъ изображенїй, заимствованныхъ изъ глубины сердца человѣческаго, гораздо сильнѣе множества фигуръ. Таковы описанїа Боговдохновенныхъ Пророковъ. »Яко той рече и быша, той повелѣ и создашася.« Истинно высокое состоитъ въ мысли, въ чувствѣ: пушъ не нужны украшенїа придуманныя; ихъ мѣсто въ изображенїяхъ болѣе умеренныхъ. Но и здѣсь потребны основательность мыслей и полнота чувствованїй; онѣ должны естественнo слѣдовать за своимъ предметомъ.

Обратимся къ разсмотрѣнїю такъ называемыхъ проповѣй, или фигуръ реченїй. Человѣкъ, въ умиленномъ благоговѣнїи къ Создателю и Зиждителю вселенной, привѣтствуя окружающую его природу и одаренный словомъ, которое не разлучно съ мыслию, занимался прежде предметами, особенно поражавшими вниманїе его и чувства. Съ распространенїемъ знанїй о предме-

нахъ увеличивалось число словъ, и языкъ возрасталъ. Но ни одинъ языкъ недоспапочепъ для выраженія безчисленнаго множества предметовъ и понятій; нѣтъ ни одного языка, въ которомъ бы каждому предмету и понятію соотвѣтствовало особое слово. Здѣсь рождается потребность сократить число названій, которое должно бы возрасти до безконечности. Чтожь дѣлаетъ умъ человѣческій? Для облегченія памяти, въ случаѣ выраженія какого-либо новаго понятія, онъ употребляетъ слово, принадлежащее къ другому предмету, но съ новымъ имѣющему нѣкоторое сходство, или, по крайней мѣрѣ, имѣющему къ нему какое-либо отношеніе. Съ одной стороны челоуѣкъ, открывая въ себѣ различныя способности, описывалъ ихъ качествами предметовъ видимыхъ; съ другой стороны, наблюдая природу, придавалъ ей свои собственныя свойства. Отсюда, по первому сравненію, произошли реченія: *глубокомыслие, остроуміе, пламенное воображеніе*; по второму сравненію стали говорить: *подошва горы, дождь идетъ, солнце восходитъ*. Такими тропами изобилуютъ всѣ языки; потому что во всѣхъ языкахъ встрѣчалась надобность подобными *иносказаніями* дополнять недоспапокъ словъ собственныхъ. Всѣ дѣйствія ума и чувствованія сердца, во всѣхъ языкахъ, выражены словами, взятыми отъ предметовъ чувственныхъ; потому что первыя слова состояли въ названіи предметовъ видимыхъ. Эти названія видимыхъ предметовъ перенесены къ предметамъ умственнымъ, для которыхъ люди затруднялись пріискивать особыя реченія. Въ этомъ случаѣ воображеніе помогало названіямъ: оно открывало сходство въ качествахъ между предметами видимыми и не-

видимыми, и слово отъ собственнаго значенія переносилось къ несобственному. Такъ стали говорить: *свѣтлая голова, мягкое сердце, проникательный умъ, пламенное воображеніе.*

Хотя скудость языка и недоспашокъ словъ собственныхъ для каждаго предмета первоначально были причиною происхожденія шроповъ; однако эта причина не единственная и не главная. Происхожденіе языка украшеннаго — въ воображеніи и чувствъ, нѣющихъ на способъ выраженія нашего большое вліяніе. Предметъ, производящій на насъ впечатлѣніе, бываетъ окруженъ различными обстоятельствами и находится въ различныхъ отношеніяхъ, которыя поражаютъ насъ равно, какъ и самый предметъ. Припомъ мы всегда рассматриваемъ каждый предметъ не отдѣльно, но въ зависимости и въ связи съ другими предметами: рассматриваемый предметъ или предшествуетъ другимъ, или слѣдуетъ за ними; бываетъ или ихъ слѣдствиемъ, или причиною; сходенъ съ ними, или отъ нихъ различествуетъ; имѣетъ извѣстныя качества и сопровождается извѣстными условіями. Такимъ образомъ каждая мысль, каждый предметъ ведетъ за собою другія мысли или другіе предметы, какъ слѣдствія. Часто эти принадлежности дѣйствуютъ на насъ сильнѣе, нежели главныя мысли, или по тому, что понятія о нихъ пріятнѣе для насъ, или по тому, что онѣ намъ болѣе знакомы и производятъ въ насъ сладостныя воспоминанія. Воображеніе, останавливаясь на какомъ либо постороннемъ понятіи, заимствуетъ названіе отъ него; потому что это понятіе особенно его занимаетъ. Вотъ источникъ шроповъ и фигуръ, сокрытый въ духѣ нашемъ!

Такъ для означенія времени, въ которое какое-либо государство находилось на высшей степени славы, мы упошребляемъ выраженіе: *процвѣтаніе*; потому что мысль объ этой высшей степени соединяется съ мыслию о цвѣтущемъ деревѣ; на этой посторонней мысли мы останавливаемся и говоримъ: «самая цвѣтущая эпоха Россіи начинается съ царствованія Петра Великаго.» Начальника называютъ *главою*; потому что голова управляетъ тѣломъ. Слово *голосъ* сначала употреблено было для означенія звуковъ, образуемыхъ органами слова. Но какъ посредствомъ этого звука люди выражаютъ мысли свои и желанія: по слову *голосъ* принимается въ различныхъ значеніяхъ. Подать *голосъ*, значитъ изъяснить мнѣніе, желаніе, хотя это изъясненіе происходитъ безъ всякаго звука. Подобно этому, мы говоримъ: *гласъ* Божій, *гласъ* совѣсти. Изъ этихъ выраженій нельзя заключить, чтобы скудость языка была причиною ихъ употребленія; здѣсь видно желаніе облечь мысль въ одежду посторонняго предмета, придающаго новый образъ и жизнь. Выслушаемъ мнѣнія о пропахъ Цицерона: «Способъ перенесенія словъ» говоритъ онъ «простирается весьма далеко; онъ «произошелъ отъ нужды — именно отъ скудости и ограниченности языка; но въ послѣдствіи удовольствіе и приятность утвердили его «употребленіе. Какъ одежда сначала изобрѣтена была для предохраненія отъ холода, потомъ «стала служить украшеніемъ; такъ перенесеніе «словъ сначала происходило по необходимости, «послѣ вкусъ утвердилъ его пошребность (*).»

(*) «Modus transferendi verba late patet; quem necessitas genuit, inopia coacta et angustiis; post autem delectatio jucunditasque celebravit. Nam ut vestis, frigoris depel-

Изъ этого очевидно, по чему во всѣхъ языкахъ, въ началѣ ихъ образованія, встрѣчаешь болѣе фигуръ: тогда языки бывають ограничены въ числѣ словъ, а воображеніе имѣетъ большую силу надъ мыслями и надъ способомъ ихъ выраженія. Въ началѣ существованія обществъ языкъ изобилуетъ тропами; потому что каждый новый предметъ производить сильное впечатлѣніе на людей въ дѣтскомъ ихъ возрастѣ; они руководствуются болѣе воображеніемъ и чувствомъ, нежели разумомъ: и языкъ долженъ носить оппечашокъ ихъ душевныхъ способностей. Туземцы, Америкы подтверждаютъ наши заключенія. Языки ихъ смѣлы, живописны, исполнены метафоръ; въ нихъ отражаются качества предметовъ, окружающихъ человека и поражающихъ его въ теченіе жизни дикой и уединенной. Въ рѣчи тамошняго Кацика болѣе сильныхъ метафоръ, нежели въ поэмѣ Европейца.

Когда языкъ становится совершеннѣе съ образованіемъ общества; тогда всѣ предметы получаютъ собственныя свои названія; правильность и точность заступаютъ мѣсто силы и живости. При всемъ этомъ употребленіе троповъ ослабѣетъ незамѣляемымъ. Всѣ языки содержатъ множество словъ, копорыя, при первомъ перенесеніи ихъ къ другимъ предметамъ, представлялись фигурами; въ послѣдствіи же времени отъ частаго употребленія теряли все то, что составляло фигуру — смыслъ переносный переходилъ въ собственный, обыкновенный. Таковы выраженія, о копорыхъ мы выше упомянули, перенесенныя отъ чувственныхъ качествъ къ способностямъ душевнымъ.

lendi causa reperta primo, post adhiberi coepta est ad ornatum etiam corporis et dignitatem; sic verbi translatio instituta est inopiae causa, frequentata delectationis.»

Въ употребленіи всѣхъ переносныхъ выраженій отличные писатели обращаютъ вниманіе на сравненіе и отношеніе между предметами, служація основаніемъ: должно стараться о единствѣ и согласіи сравниваемыхъ предметовъ съ собственнымъ значеніемъ слова. Можно напримѣръ употребить о предметѣ, хорошо описанномъ, выраженіе: *одежда мыслей*; но нельзя сказать: *одежда обстоятельство*; пошому что съ понятіемъ «обстоятельство» соединяется нечто окружающее предметъ, а не облекающее.

Въ чемъ же состоитъ достоинство языка украшеннаго, въ особенности проповѣ? Они обогащаютъ языкъ; облекаютъ мысли наши и чувствованія въ выраженія, изображающія всѣ оттенки, которыхъ простые реченія отличить не могутъ; придаютъ рѣчи достоинство; напрошивъ, отъ вседневнаго употребленія, слова обыкновенныя, къ которымъ самый слухъ привыкаетъ, не имѣютъ этихъ качествъ. Въ предметахъ благородныхъ и возвышенныхъ также встрѣчается потребность языка украшеннаго. Краснорѣчіе часто заимствуетъ изъ этого языка свои выраженія; а поэзія безъ нихъ существовать не можетъ; тропы и фигуры составляютъ существенную часть вышней ея стороны. Мысль, что всѣ мы смертны, въ простомъ выраженіи не поражаетъ насъ; но какъ живописна та же мысль у Державина:

»И блѣдна смерть на всѣхъ глядитъ. . .
Глядитъ на всѣхъ — и на Царей,
Кому въ державу пѣсны міры;
Глядитъ на пышныхъ богачей,
Что въ златѣ и сребрѣ кумиры;
Глядитъ на прелестъ и красы,
Глядитъ на разумъ возвышенный,

Гладишь на силы дерзновенны,
И шочишь лезвее косы.»

Всѣ мы говоримъ о неизвѣстности человѣческой жизни, которой свойственны ошибки и заблужденія; но Дмидріевъ говоритъ объ этомъ поэтически въ слѣдующей картинѣ:

»Что человекъ? Паритъ ли къ солнцу,
Смиренно ль идетъ по земли:
Увы! память умъ его блуждаетъ,
А здѣсь стопы его скользятъ.
Подъ мракомъ, въ океанъ жизни,
Пловецъ на утлой ладѣ,
Отдавши руль слѣпому року,
Онъ спитъ — и мчится на скалу.»

Кромѣ изложенныхъ выгодъ, фигуры доставляютъ намъ удовольствіе созерцать въ одно время два предмета: мысль главную, какъ предметъ рѣчи, и мысль постороннюю, отъ которой переносится выраженіе. Мы видимъ вещь въ другой вещи, по словамъ Аристотеля; это всегда намъ нравится. Сравненіе и сходства между различными предметами воображенію нашему доставляютъ удовольствіе. Говоря, вмѣсто *молодости*, *утра жизни*, мы представляемъ себѣ всѣ свойства, общія этимъ двумъ предметамъ: извѣстный періодъ человѣческой жизни и извѣстную часть дня; эти оба понятія соединяются общими свойствами; мы отъ одного переходимъ къ другому, безъ всякой сбивчивости и безъ всякаго смѣшенія. Фигуры представляютъ предметъ разительнѣе, онъ какъ бы освѣщаютъ его, и мыслямъ придаютъ выраженія живописныя, отвлеченныя понятія сводя въ предметы чувственные. Иногда счастливыя выраженія языка украшеннаго способствуютъ убѣжденію, вѣрнѣе и рѣшительнѣе дѣйствуютъ на

самый разумъ. Посредствомъ фигуръ сильнѣе возбуждаются чувства; когда воображеніе переходитъ рядъ нѣсколькихъ сходныхъ изображеній. Хотимъ ли мы украсить предметъ или представить его великолѣпнымъ: мы заимствуемъ отъ природы все, что имѣетъ она богатѣйшаго и блистательнѣйшаго. Предметъ, отъ котораго заимствуется сравненіе, сообщаетъ главному свой блескъ; воображеніе, наслаждающееся согласіемъ невидимой природы съ видимою, располагаетъ душу къ прилпнѣйшимъ впечатлѣніямъ. Оно, говоритъ Акенсайдъ, переносится въ поля Елисейскія; въ мечтаніяхъ своихъ слышитъ журчаніе ручьевъ, видитъ тѣнистыя рощи, очаровательныя равнины, гдѣ обитаетъ счастье. Самый умъ съ высоты своей внимаетъ гласу его и улыбается (*).

Столь могущественно слово, столь удивительно свойство его, выражающее всѣ утонченности разума, всѣ краски воображенія, всѣ отголоски чувства! Съ какою легкостью и гибкостью представляетъ оно всѣ оппѣнки изображеній! Каждое слово не только передаетъ извѣстную мысль, но рисуетъ; понятіямъ отвлеченнымъ сообщаетъ чувственный образъ и жизнь.

Говоря о началѣ, свойствахъ и значеніи проповѣ, мы должны обратитъ вниманіе на различныя ихъ роды и виды. Еще Квинтилианъ упоминаетъ, что о раздѣленіи проповѣ и фигуръ продолжался споръ у писателей. Что касается до проповѣ, то большею частію въ риторикахъ слѣдуютъ раздѣленію Воссія, принимавшаго четыре ихъ вида: метафору, метонимію, синекдоху и иронию. Но вотъ источники, изъ которыхъ истекаютъ различ-

(*) Pleasures of imagination. 1, 124.

ныя переносныя выраженія. Тропы, какъ мы уже замѣтили, основаны на отношеніи, какое открываемъ мы между предметами, и по которому одно реченіе можно замѣнять другимъ. Такая перемѣна обыкновенно придаетъ болѣе изобразительности выражаемой мысли. Такъ мы поспавляемъ отношеніе причины къ дѣйствию, или обратно, дѣйствія къ причинѣ, содержащее вмѣсто содержимаго. Читаемъ *Ломоносова*, *Державина*, говоримся вмѣсто чтенія сочиненій того и другаго; или употребляемъ слово *спѣдины*, вмѣсто спароси; выпить *чашку*, вмѣсто напиться въ чашкѣ. Подобнымъ образомъ страна замѣняетъ жителей, или вообще мѣсто замѣняетъ того, кого въ немъ себя представляемъ. Молимъ *небо*, говоримся, вмѣсто помощи Божіей. Также признакъ замѣняетъ самый предметъ: *двуглавый орелъ* спавился вмѣсто Россіи; *скипетръ* и *держава*, вмѣсто силы и могущества Царскаго. Вся эти перенесенія извѣстны подъ названіемъ *метониміи*. Что же замѣчаемъ во всѣхъ этихъ перенесеніяхъ? Самый простой и естественный переходъ мысли отъ общаго къ частному, отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному, отъ неограниченнаго къ ограниченному. Метонимія какъ бы сосредоточиваетъ вниманіе наше въ предметахъ болѣе для насъ понятныхъ. Къ метониміи отнести можно *металепсисъ*, или перенесеніе слова чрезъ одно, два и при знаменованіи, одно изъ другаго слѣдующія. Такъ говорятъ: *десять жатвъ*; здѣсь жатва употреблена вмѣсто лѣта, лѣто вмѣсто года. *Автономазисъ*, или перемѣна именъ собственныхъ и нарицательныхъ: *Цицеронъ*, вмѣсто краснорѣчія; *Славяне*, какъ предки наши, вмѣсто Русскихъ, потомковъ.

Взглянемъ на другія перенесенія. Цѣлое упо-
 требляется вмѣсто части, родъ вмѣсто вида, един-
 ственное вмѣсто множественнаго, принадлежность
 вмѣсто самой вещи, и обратно: вообще мы иногда
 замѣняемъ извѣстный какой-либо предметъ, или
 чѣмъ-либо бѣльшимъ, или чѣмъ-либо мѣньшимъ.
 »Тамъ тысличи валялся вдругъ«, вмѣсто множе-
 ства; или, на оборотъ: »О Россѣ, о родъ великодуш-
 ный« вмѣсто Россіане. Этого рода перенесенія
 называютъ *сinekдохою*. На чѣмъ же основывается
 это? Основаніе его сходно съ предъиду-
 щимъ: въ немъ мысль отъ единства переходитъ
 къ множеству, отъ части къ цѣлому и обратно.
 Метонимія сравниваетъ преимущественно по ка-
 честву, *сinekдоха* — по количеству. Упомянемъ
 также о *катахризисѣ*, который состоитъ въ пе-
 ремѣнѣ речей на другія, имѣющія съ ними одно-
 родное значеніе: *блжаты* вмѣсто идши.

Совершенно иное основаніе замѣчаемъ въ упо-
 требительнѣйшемъ троѣ — *метафорѣ*. Выраже-
 нія: *свѣтлый умъ, острая память, мягкое сердце* —
 суть сокращенныя уподобленія по качеству и коли-
 честву вмѣстѣ: отъ того и дѣйствіе метафоры
 сильнѣйшее въ сравненіи съ другими тропами; она
 особенно занимаетъ воображеніе. Метафора вся
 видимая природа открываетъ свои сокровища; она
 явленія, происходящія въ душѣ нашей, облекаетъ въ
 чувственные образы, общіе этимъ явленіямъ и пред-
 метамъ. Главное свойство ея содержится въ един-
 ствѣ, пребывающемъ, чтобы не были смѣшаны между
 собою образы разнородные. Последовательность мно-
 гихъ метафоръ, сродныхъ между собою и имѣющихъ
 взаимную принадлежность, составляетъ *аллегорію*.

Не останавливаясь на подробностяхъ тро-
 повъ, ни на подраздѣленіяхъ ихъ, вѣмъ извѣ-

стныхъ, каковы *гипербола*, *иронія* съ видами своими — *сарказмомъ*, *харієнтизмомъ*, въ заключеніе обратимъ вниманіе наше на эту часть украшеній въ опечесшвенномъ языкѣ. Хотя всѣ языки, по общему началу своему, сходны между собою; но по различнымъ отношеніямъ чловѣка къ природѣ, его окружающей, они между собою различны. Въ отношеніи къ составу реченій, всѣ они представляють разишельное; всѣмъ имъ общее свойство; въ отношеніи къ соединенію реченій также они имѣють основныя, общіе законы. Но самый способъ выраженія представляеть многочисленныя разности: отъ того всѣ языки имѣють формы, кромѣ *общихъ*, *особенныя*, извѣстныя подъ названіемъ *идіотизмовъ*. При изслѣдованіи проповѣй, мы замѣтили, что чловѣкъ, усиливаясь выразить словомъ двѣ различныя природы, внутреннюю и вѣшнюю, или явленія, въ самомъ себѣ происходяція, ошлчалъ качества предметовъ видимыхъ, или вѣшной, видимой природѣ придавалъ собственныя свои свойства, одушевлялъ предметы неодушевленные. Въ эписхъ-то идиотизмахъ сохраняются особенности каждаго языка, даже каждаго первокласнаго писателя; здѣсь обнаруживается народность языковъ. Опечесшвенный нашъ языкъ представляеть неисчислимое богатство *иносказаний* — сокровище для поэзіи. Рѣчь наша имѣеть болѣе жизни и одушевленій, нежели рѣчь другихъ языковъ: въ ней отражаются или окружающая насъ природа, или старинныя повѣрья и обычаи. Это памятники народнаго быта, служащіе дополненіемъ опечесшвленнымъ описаніямъ.

ЧТЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Метафора. — Подробное изслѣдованіе ея свойствъ и правильнаго употребленія.

Послѣ общихъ первоначальныхъ замѣчаній о языкѣ украшенномъ, рассмотримъ отдѣльно тѣ фигуры, которыя чаще встрѣчаются намъ, и по-тому пребудутъ большаго вниманія. Начнемъ съ метафоры. Основываясь совершенно на сходствѣ двухъ предметовъ, метафора по преимуществу состоитъ изъ подобія — она именно сокращенное уподобленіе. Если о славномъ министрѣ мы скажемъ: онъ поддерживаетъ Государство, подобно колоннѣ, поддерживающей зданіе — это уподобленіе; по назовемъ его *опорою Государства* — мы превратимъ уподобленіе въ метафору. Сравненіе министра съ опорой представляется только въ умѣ нашемъ, но мы не высказываемъ этого сравненія словами; оно подразумѣвается, а не выражается вполне. Между сравниваемыми предметами предполагается такое сходство, что названіе одного изъ нихъ легко можетъ замѣнить названіе другаго безъ явного уподобленія: «министръ есть опора Государства.» Такой способъ выраженія сходства, открываемаго воображеніемъ, живѣе и одушевленнѣе. Сравненіе предметовъ, указаніе ихъ взаимныхъ отношеній и описаніе — вотъ что особенно занимаетъ воображеніе. Этого легкій трудъ служитъ уму упражненіемъ, безъ малѣйшаго обремененія; даетъ ему возможность наслаждаться чувствованіемъ сво-

его разумія. Поэтому не должно удивляться, что все языки исполнены метафорами. Она воспрѣчается въ обыкновенномъ разговорѣ; представляется какъ-бы незванная, рождающаяся въ умѣ нашемъ. Слова, употребляемые нами для описанія ея, служатъ доказательствомъ: она *острѣчается, представляется, рождается* — все эти выраженія метафорическія, основывающіяся на сходствѣ, какое воображеніе находишь въ предметахъ чувственихъ и внутреннихъ дѣйствіяхъ нашего ума. Эти выраженія такъ же ясны, какъ и выраженія собственныя — они еще выразительнѣе.

Хотя каждая метафора предполагаетъ въ себѣ уподобленіе, и потому принадлежитъ къ фигурамъ мыслей; но какъ въ метафорѣ слова переходятъ отъ собственнаго значенія къ несобственному, то обыкновенно относятъ ее къ шропамъ, или фигурамъ словъ. Впрочемъ нужно только знать свойства ея, назовемъ ли ее шропомъ, или фигурою. Мы сказали, что метафора состоитъ въ одномъ только выраженіи сходства двухъ предметовъ; однако тогда слово — метафора, берется въ обширѣйшемъ смыслѣ. Метафорою называютъ всякой способъ употребленія словъ въ фигурномъ значеніи, будетъ ли служить основаніемъ сходство, или другое какое-либо отношеніе. Такъ вмѣсто старосл. употребляемъ слово «сѣдины», говоря: «съ горестію песни сѣдины въ могилу»; это выраженіе нѣкоторыя называютъ метафорою, хотя оно вовсе не метафора, но метонимія; потому что здѣсь дѣйствіе ставится вмѣсто причины. Сѣдины происходятъ отъ старости, но не имѣютъ съ нею никакого сходства. Аристотель метифору принимаетъ въ значеніи всякаго фигурнаго выраженія,

напр. когда цѣлое берется за часть, или часть за цѣлое; родъ вмѣсто вида, или видъ за родъ. Въ эпическомъ случаѣ было бы несправедливо упрекать въ непочтительности этого писателя, опличающагося спротивоположною опредѣлительностью. Въ его время еще не знали многочисленныхъ подраздѣленій и различныхъ названій проповъ: это принадлежитъ позднѣйшимъ писателямъ. Но въ настоящее время, когда эти подраздѣленія проповъ существуютъ, не должно называть всѣхъ проповъ однимъ общимъ именемъ метафоръ.

Изъ всѣхъ проповъ ни одинъ не приближается столько къ живописной изобразительности, какъ метафора. Опличительное ея свойство состоитъ въ томъ, чтобы описаніямъ придавать силу и ясность, идеи опвлеченныя представлять предъ глазами, придавать имъ краски, жизнь и чувственные качества. Для эпической живописи потребна искусная кисть: малѣйшій недоспашокъ въ почтительности можетъ заземлить мысль, вмѣсто того, чтобы придать ей болѣе свѣта; а потому должно изслѣдовать правила о употребленіи метафоръ. Прежде разсмотримъ одинъ примѣръ, который покажетъ достоинство этого пропа. Вотъ мѣсто изъ замѣчаній Болингброка на Исторію Англіи. Въ концѣ сочиненія своего онъ говоритъ о Карлѣ I: »Король распустилъ Парламентъ, за мѣсяць только предъ тѣмъ созданный, и лишь только распустилъ, какъ сожалѣлъ объ этомъ. Но онъ поздно раскаялся въ этомъ поспѣшномъ поступкѣ; и дѣйствительно, онъ долженъ былъ раскаяться, потому что сосудъ уже былъ полонъ, а эта послѣдняя капля переполнила чашу горестей.« Здѣсь метафора выдержана при всемъ разнообразіи выраженій. Сосудъ представляетъ недо-

вольтство народа; эпипентъ *полный* показываентъ, что прежниа бѣдствія исполняли эпопнъ сосудъ; *последняя капля* естъ повое бѣдствіе, происшедшее опъ внезапнаго закрышія палапъ; *переполнила* прекрасно изображаетъ чувство неудовольствія, которому предама оскорбленный и раздраженный народъ. «Здѣсь», прибавляетъ сочинитель, «я опускаю завѣсу и оканчиваю свои размышленія.» Приличіе заключишь не возможно. Мпмоходомъ можно замѣпишь, что подобное заключеніе придаешъ описанію красопу и доспоннство, если только переносное выраженіе выдержано. Сочинитель, оканчивающій сочиненіе свое просто и естесственно, оспавляетъ въ душѣ читателя глубокое впечатлѣніе. Сверхъ того метафора имѣетъ превосходство надъ развитымъ уподобленіемъ. Какъ ослабѣла бы мысль, еслибъ она выражена была въ видѣ полного уподобленія: «Онъ дѣйствительно долженъ былъ сожалѣть о своемъ поступкѣ, потому что неудовольствіе бѣдствующаго народа подобно было полному сосуду, и это новое несчастье подобно последней каплѣ, упавшей въ сосудъ, разлило бѣдствіе народа, какъ разливается вода изъ переполненной чаши.» Метафора: «сосудъ былъ уже полонъ, и эта последняя капля переполнила чашу бѣдствій» гораздо живѣе и одушевленіе.

Правила о употребленіи метафоръ согласны съ правилами всѣхъ другихъ шроповъ. Одно изъ главныхъ состояншъ въ шомъ, чтобъ умѣть примѣнишь нносказанія къ качествамъ описываемаго предмета; ихъ не можетъ быть слишкомъ много; они должны блескомъ и возвышенностію соответствовать предмету; не надобно употреблять ихъ для того, чтобъ придавать слогу надупоспъ, или лишать паспоящаго доспоннства. Вотъ

важное правило, принадлежащее всѣмъ видамъ украшеннаго языка. Иныя метафоры прекрасны въ поэзіи, но въ краснорѣчіи не приличны и не естественны; другія приличествуютъ слогу ораторскому, и не употребительны въ историческихъ и философскихъ сочиненіяхъ. Всегда должно помнить, что фигура есть внѣшняя оболочка мысли. Какъ въ одѣяніи всегда должно соблюдать приличіе въ отношеніи къ званію нашему, и отдаляться отъ этого, значитъ дѣйствовать вопреки вкусу; точно такъ же мысль и выраженіе должны быть въ совершенномъ согласіи. Роскошь въ фигурахъ безъ надобности показываетъ тщетное желаніе казаться блестящимъ; отъ этого сочиненіе получаетъ видъ дѣтской вольности, и не только не возвышается, но даже лишается своего достоинства. Истинное величіе человека зависитъ отъ его внутреннихъ качествъ, а не отъ одежды; равно достоинство сочиненій заключается въ мысли, а не въ украшеніи слога. Изысканность и излишество въ украшеніяхъ сколько же вредятъ сочинителю, сколько и всякому человеку. Вообще фигуры и метафоры не прилично употреблять безъ разбора: онѣ всегда должны быть сообразны съ мыслями и чувствованіями. Такъ напр. совсѣмъ не нужно писать разсужденія языкомъ украшеннымъ, который хорошъ въ поэтическомъ разсказѣ. Отъ этого, кто разсуждаетъ, требуется только ясность; кто описываетъ, тотъ можетъ и украшать; кто учитъ, тотъ долженъ заботиться о простотѣ. Въ искусствѣ писать простота есть свойство великаго таланта; это вѣрный способъ находить приличные украшения. Отъ правильнаго расположенія пѣней видѣе бывающъ краски и цвѣта.

«Тотъ истинно краснорѣчивъ», говоритъ Цицеронъ, «кто самые обыкновенные предметы выражаешь просто, высокіе описываешь возвышенно, а средніе съ умеренностію. Кто не можетъ ни о чемъ говорить спокойно, тихо, правильно, опредѣлительно; кто, говоря съ хладнокровными слушателями, покажется бѣснующимся между мудрыми, или непрезвѣтымъ среди людей воздержныхъ (*).» Это замѣчаніе важно преимущественно для юныхъ писателей, которые иногда ослабляются блестящимъ и цвѣтущимъ слогомъ, не заботясь о томъ, приличенъ ли онъ сочиненію, или неприличенъ. Кроме этого требуется выборъ предметовъ, отъ которыхъ заимствуются метафоры и другія фигуры. Для украшеннаго языка открыты два міра — духовный и вещественный: изъ всей природы мы можемъ избирать фигуры; она предлагаетъ намъ богатства свои, и во всѣхъ чувственныхъ предметахъ предоставляетъ брать то, что можетъ пояснять наши умственные и нравственные понятія. Не одни богатые и прекрасные предметы представляются выбору нашему, но и предметы ужасные, или мрачные, могутъ также доставлять намъ приличныя фигуры. Должно только остерегаться, чтобы не возбудить въ душѣ нашей идей непріятныхъ, низкихъ и непристойныхъ. Избирая даже метафоры, съ намѣреніемъ унизить предметъ, мы должны остерегаться, чтобы не

(*) *Is enim est eloquens, qui et humilia subtiliter, et magna graviter, et mediocria temperate potest dicere. — Nam qui nihil potest tranquille, nihil leniter, nihil definite, distincte dicere, is, cum non praeparatis auribus inflammare rem coepit, furere apud sanos, et quasi inter sobrios bacchari temulentus videtur.*

произвестъ непріятныхъ впечатлѣній на чувство. Цицеронъ порицаетъ одного оратора своего времени за то, что онъ называлъ прошивинка *«steg-sus curiae»* — «Хотя сходство вѣрно», замѣчаетъ онъ, но мысль о такомъ сходствѣ безобразна (*). Употребить низкую метафору при возвышенныхъ предметахъ — величайшая погрѣшность. Такъ въ одномъ описаніи Кавказа встрѣчаемъ: «Теперь ужъ около меня одиѣ купы кустарниковъ *выльзи* изъ развѣтій, будто кочующія семьи Цыганъ, и гремятъ на солнышкѣ; а вонъ эти два терна *выцѣпились* другъ другу въ волосы; а чихлый верескъ качается головою, словно не вѣрится, доживъ ли ему до завтра, и потихоньку *кашляетъ отъ вѣтра*». Какое умышленное изображеніе картинъ непріятныхъ! Въ Шекспирѣ, котораго воображеніе было богатое и смѣлое, но не всегда изящное, встрѣчаются подобныя погрѣшности. Въ его трагедіи «Генрихъ» между прочимъ находимъ слово «назема»; при этомъ словѣ Шекспиръ заимствуетъ метафору отъ испареній, выходящихъ изъ назема, хотя предметъ представлялъ ему картину благороднѣйшую.

При соблюденіи достоинства предметовъ, отъ которыхъ заимствуются метафоры, надобно особенное вниманіе обращать на то, чтобы сходство, какъ основаніе метафоры, было ясно и поразительно; чтобы оно не казалось изысканнымъ, или отдаленнымъ и труднымъ для соображенія. Нарушеніе этого правила производитъ такъ называемыя вычурныя метафоры, которыя никогда не нравятся, потому что, вмѣсто просвѣтленія

(*) *Quamvis sit simile, tamen est deformis cogitatio similitudinis.*

мысли, онъ ее запомнимъ. Такія погрѣшности часто встрѣчаются у современныхъ писателей. Иные почищаютъ за особенное достоинство находить въ двухъ предметахъ съ трудомъ различаемое сходство и продолжаютъ метафоры шакъ, что нужна особенная способность слѣдовать за ними и ихъ понимать. Отъ этого метафора перемѣняется въ загадку. Таково слѣдующее мѣсто: »Бѣдный человѣкъ! ты осужденъ собирать раковинки на берегахъ океана, и напрасно распечатъ свою премудрость, разгадывая кусочки морской смолы, или зѣрна жемчуга. *Неизмѣримый отъчужденный сфинксъ пожираетъ тебя*, какъ скоро ты дерзнешь показаться на его хребтѣ и не сумѣешь понять его языка, разгадашь его загадокъ.« Такое понятіе о метафорѣ совершенно противоположно правилу Цицерона: »Метафора должна казаться умѣренной, чтобы повидимому сама собою переходила на чуждое мѣсто, не вторгалась бы насильственно (*).«

Должно избѣгать метафоръ обыкновенныхъ, и не повторять однихъ и тѣхъ же: новостъ всегда нравится; прилично иногда избѣгать обвѣщалаго. Но если фигура основана на слишкомъ ошдавленномъ сходствѣ и выходитъ изъ обыкновенныхъ предѣловъ мысли; тогда, кромѣ того, что она темна, покажется еще изысканною. Известно, что метафора, равно какъ и всѣ другія украшенія, теряютъ свое достоинство, какъ скоро перестаютъ быть естественными. Иные, чтобы поправить недостатокъ напичнутой метафоры, прибав-

(*) *Verecunda debet esse translatio, ut deducta esse in alienum locum, non irruisse, atque ut voluntarie, non vi, venisse videatur.*

ляютъ оговорку: »шакъ сказаць,» но это противно изяществу. Сверхъ того метафоры, взятыя изъ наукъ, не всѣмъ общимъ, но извѣстнымъ тѣмъ, которые преимущественно занимаются ими по своему званію, почти всегда темны и никогда не нравятся. Не надобно смѣшивать языка простаго съ украшеннымъ, не усложнять періодовъ, въ которыхъ одна часть была бы выражена метафорически, а другая просто: опъ этого всегда происходитъ сбивчивость. Это правило легко объяснить можно многими примѣрами, которые убѣдительно покажутъ его важность. — Въ переводѣ Одиссеи Попе, Пенелопа оплакиваетъ опъездъ сына своего Телемака такъ: »Я давно лишилась супруга своего, который былъ щинкомъ и славою Греціи; теперь опправляется сынъ мой, надежнѣйшая опора Государства; онъ презираетъ бури и удаляется, не просясь со мною, и не испросивъ моего согласія (*).« Въ началѣ Телемакъ представляется опорой, потомъ мы видимъ въ немъ человѣка, который долженъ проститься съ матерью своей и испросить ея позволеніе на свой путь. Эти выраженія между собою не согласны. Должно было или держаться мысли человѣка въ буквальномъ смыслѣ, или, назвавъ его опорой, опътъ долженъ бы приписать ей то, что прилично, только не дѣйствія

(*) Въ подлинникѣ сказано просто: »Я лишилась своего великодушнаго супруга, который сражался какъ левъ и доблестями своими прославился среди героевъ: его болѣе не стало; громъ его славы раздается въ Аргосъ и въ цѣлой Греціи. Послѣ этого Пенелопа говоритъ о сынѣ:

»Νῦν δ' αὖ καὶ δ' ἀγαπητὸν ἀνδρείφαντο Δυέλλαϊ
'Αχλὴά ἐκ μεγάρων, οὐδ' ὑμῆθεντος ἄκουσα.»

Odyss. IV, 724.

и не качества челоуѣка. Несообразность съ природоу производить темноту въ изображеніи, и мысль какъ бы блуждаетъ между значеніемъ простымъ и переноснымъ. Правило, которое Гораций подаетъ для изображенія характеровъ:

«*Servetur ad imum*

Qualis ab incepto processerit, et sibi constet ()»*,

должно быть соблюдаемо и при употребленіи пно-сказаній. Сочиненія Оссіана исполнены прекрасными и вѣрными метафорами. Такъ онъ говоритъ одному герою: «Среди мира ты зефиръ весенній; въ войнѣ ты буря нагорная.» Описывая одну женщину, выражается: «Лице ея сіяло свѣтомъ красоты, а въ сердцѣ обитала гордость.» Есть однакожъ и погрѣшности, о которыхъ мы упоминали. «Тропаль приближается съ попокомъ своихъ воиновъ; но они встрѣчаютъ скалу: Фнигалъ неподвиженъ. Они ударяются въ него, и повергаются, каплясь далеко; но и пущь не безопасны: копье преслѣдуетъ ихъ въ бѣгствѣ.» Въ началѣ метафора прекрасна: попокъ, неподвижная скала, волны ударяющіяся и всплывъ каплящіяся, совершенно согласны съ картинною; но въ концѣ, гдѣ волны каплящяся не въ безопасности, потому что копье преслѣдуетъ ихъ въ бѣгствѣ, буквальный смыслъ совсѣмъ не кспати смѣшанъ съ метафорическимъ: вонны въ одно время представлены и волнами, которыя каплящяся, и людьми, которыхъ преслѣдуетъ и поражаетъ копье.

Нельзя смѣшивать простаго языка съ метафорическимъ; тѣмъ менѣе позволено спавить

(*) Характеръ долженъ казаться въ концѣ такимъ, какимъ былъ въ началѣ, и быть согласнымъ съ самимъ собою.

двѣ разнородныя метафоры, при описаніи одного предмета. Такія метафоры называются смѣшанными, и это злоупотребленіе перенесеній нестерпимо. Вотъ примѣръ подобнаго выраженія изъ Шекспира: »Взяшь оружіе противъ моря несчастій.« Ошъ этого происходитъ несообразность съ природою, и воображеніе совершенно теряется. Квинтилианъ предостерегаетъ насъ отъ такихъ погрѣшностей: должно стараться оканчивать пѣмъ родомъ метафоры, какимъ начинаемъ (*). Многіе начинаютъ бурей, а оканчиваютъ пожаромъ, или развалинами: это несообразность. Къ этому роду погрѣшности относится слѣдующая метафора: »Другая причина, почему неохотно занимались Исторіей среднихъ вѣковъ — это мнимая сухость, которую привыкли сливать съ понятіемъ о ней.«

У писателей, отличающихся точностію, иногда встрѣчаются подобныя ошибки. Аппенсонъ въ одномъ мѣстѣ Зрителя говоритъ: »Съ какой споропы ни разсматриваешь человѣческую природу, одного взгляда ея достаточно для погашенія свѣменъ гордости.« — Разсмотрите несообразность предметовъ, копорые здѣсь соединены: взглядъ погашаетъ — и при томъ погашаетъ свѣмена. Гораций также не шоченъ въ слѣдующихъ стихахъ:

»Urit enim fulgore suo, qui prægravat artes
Infra se positas.«

Urit qui prægravat — сожигаетъ то, кто по-мрачаетъ: это видимое смѣшеніе несообразныхъ картинъ. — Нельзя оправдать и этого выраже-

(*) Jd imprimis est custodiendum, ut quo genere coeperis translationes, hoc finias. Multi autem cum initium a tempestate sumpserunt, incendio aut ruina finiunt; quæ est inconsequentia rerum foedissima.

нiя: »Несчастный юноша! въ какую пучину ввергнутъ ты, тогда какъ ты доспоешь лучшаго пламени.« Пламя справедливо принимается почти въ буквальномъ смыслѣ за страсть; но какъ это значенiе согласишь съ пучиною, и смѣшивашь два разнородныя понятiя въ одной метафорѣ?

Для повѣрки точности метафоры, когда мы въ ней нѣсколько сомнѣваемся, опасаясь смѣшать выраженiя несообразныя, должно всегда представлять себѣ каршину въ воображенiи и смотрѣшь, согласны ли между собою различныя ея части, составляющiя ли онѣ одно цѣлое, если мы перенесемъ ихъ на холстъ. Тогда откроется, содержатъ ли въ себѣ всѣ части метафоры какую-либо несообразность, нѣтъ ли въ ней уродливаго смѣшенiя, какое видѣли мы въ предъидущихъ примѣрахъ, и представляется ли постоянно воображенiю одинъ и тотъ же предметъ въ своемъ видѣ и съ естественными красками.

Не довольно избѣгать метафоръ смѣшанныхъ, но, сверхъ этого, не должно ихъ громоздить на одинъ и тотъ же предметъ. Не достаточно, чтобъ каждая метафора была правильна, отдѣльно взята; если ихъ слишкомъ много, то онѣ произведутъ сбивчивость. Возьмемъ одно мѣсто изъ Горация: »Ты описываешь волненiе народа, причины войны, пороки, средства, перемѣнчивое счастье, гибельные союзы вождей и оружiя, обогранныя кровью, еще неочищенною, дѣло опасное и сомнительное: ты спускаешь по пеплу, подъ копорымъ таится огонь (*).« Этого опривокъ

(*) *Motum ex Metello consule civicum,
Bellique causas, et vitia, et modos,
Ludumque fortunæ, gravesque
Principum amicitias, et arma*

хотя изображенъ поэтически, но шемъ отъ того, что поэтъ соединилъ три различныя метафоры, для показанія трудности описанія народныхъ войнъ, описанія, которое предпринялъ Полионъ. Во-первыхъ: *tractas arma uncta cruoribus pondum expiatis* (ты описываешь оружія, обогранныя кровію, еще неочищенною); потомъ: *opus plenum periculosae aleae* (дѣло опасное и сомнительное), и наконецъ: *incedis per ignes suppositos cineri doloso* (ты спускаешь по пеплу, подъ которыми таится огонь). Мы съ трудомъ оплываемъ эти различныя картины, быстро измѣняющіяся предъ нами и представляющія одинъ и тотъ же предметъ въ различныхъ формахъ.

Последнее правило о употребленіи метафоръ состоитъ въ томъ, чтобы ихъ не растягивать. Если долго останавливаешься на сходствѣ, которое служишь основаніемъ метафоры, и слѣдуешь за нимъ до мельчайшихъ подробностей, тогда метафора превращается въ аллегорію, читатель устаетъ, и эта игра воображенія наводитъ на него скуку, выраженіе застываетъ. У современныхъ писателей много такихъ метафоръ, что составляетъ одну изъ важнѣйшихъ причинъ запутанности и темноты украшеннаго языка. Иные, увлекаясь страстію украшать слогъ, когда фигура имъ нравится, не скоро съ нею расстаются. Вотъ наборъ метафоръ излишній и вычурный: «Люблю бури и грозы въ часъ ночи, когда блѣдный мѣсяцъ подымается

*Nondum expiatis uncta cruoribus,
Periculosae aleae
Tractas et
Supposito*

изъ-за шучь черепъ свой какъ мершвецъ изъ-могилы, и не слышно идешъ по небу, влача за собой черезъ море бѣлый саванъ. Тогда валы возникають, какъ пѣни Оссіановскихъ героевъ, въ вороненой бронѣ съ бѣлыми кудрями по плечамъ, со звѣздами брызгъ надъ шлемомъ. Яростно бѣгутъ они въ бой, гонятъ, достигають другъ друга; сшибаючися, сверкають сталью и падаютъ въ ночь, раздавленные другими ратниками, ихъ наспигшими. А пѣнь, вдали, грозно гуляютъ исполины смерти, надѣвъ шучу вмѣсто шлема, и пѣня въ молоко бездну моря стопами: еще шагъ, и онъ задавитъ корабль; по перунъ грянулъ — исполни пѣль, заспѣвленный молнією. Такія же погрѣшности находимъ у Юнга, который впрочемъ замѣчательнъ украшеннымъ языкомъ. Изъ древнихъ и новыхъ писателей нѣтъ ни одного, который бы въ этомъ превосходилъ его силою и богатствомъ. Метафоры его часто новы, прекрасны и естественны; воображеніе его сильно, роскошно, но не такъ нѣжно и правильно. Слогъ въ его *Ночахъ* шемъ и жѣстокъ: онъ употребляетъ метафоры слишкомъ смѣлыя и часто растягиваетъ ихъ: отъ того, вмѣсто объясненія предметовъ, онъ ихъ затемняетъ; чтобы понимать такія метафоры, надобно постоянно напрягать вниманіе. Вотъ примѣръ его растянутой метафоры: «Мысли твои блуждаютъ; всѣ онѣ устремлены въ далекія страны, переходятъ чрезъ степи, скалы, презирають бури, чтобы найти отраду, которая дорого покупается, если только находятъ ее, и самая находка которой есть несчастье. Чувство и воображеніе возвращаются отъ морскаго берега, зараженнаго твоимъ грузомъ — и зараза вмѣсто приобрьщеній! Но жажда, эта ненасыщаемая жажда, возрастаетъ вмѣстѣ съ страстію

удовлетворить ей. Воображеніе усиливается, когда и самыя чувства не жогуть за нимъ слѣдовать.» Описывая старость, говоритъ, что она должна задумчиво ходить по тихимъ и величественнымъ берегамъ того обширнаго океана, надъ которымъ она распускаетъ паруса; ей должно нагрузить корабль свой добрыми дѣлами и ждать попутнаго вѣтра, который понесетъ ее въ неизвѣстный міръ. Изображеніе до словъ: «надъ которымъ она распускаетъ паруса» — изліцно; но представленіе груза съ добрыми дѣлами и корабля, ожидающаго вѣтра — напѣнушо, и метафора шеряетъ свое достоинство. — Изъ Англійскихъ писателей удачнѣе всѣхъ употребляетъ метафоры Адамсонъ. Воображеніе его не столь богато и сильно, какъ воображеніе Юнга, но оно правильнѣе и починѣе. У Жуковскаго фигуры всегда ясны, прелестны и легки; въ нихъ ничего нѣтъ принужденнаго и изысканнаго; онѣ рождаются сами собою изъ сущности предмета, и потому служатъ ему украшеніемъ.

По изслѣдованіи подробномъ метафоры, одного изъ важнѣйшихъ украшеній въ сочиненіяхъ, скажемъ нѣсколько словъ объ аллегоріи. Аллегорію можно называть продолженною метафорою; она состоитъ въ представленіи предмета посредствомъ другаго, ему подобнаго, который и занимаетъ мѣсто перваго. Псаломъ LXXIX представляетъ прекрасный примѣръ аллегоріи. Народъ Израильскій изображенъ въ видѣ виноградной лозы, и фигура выдержана отъ начала до конца превосходно. «Ты перенесъ виноградъ свой изъ Египта и насадилъ его тамъ, откуда изгналъ народы; Ты изготавилъ для него мѣсто, прежде посадки его, и, насадивши корни его, исполнилъ ими всю землю. Сѣнь его покрыла горы, а

вѣтвями его увѣнчались высочайшіе кедрѣ. Ты распрости въ вѣтви его до моря, а опрасли его даже до рѣкъ. Напрасно изложилъ Ты оплодъ его: всѣ мимоходящіе испребляютъ его; въ прѣлѣсной и дикіе звѣри его пожираютъ. Боже силъ! обрати къ нему, и призири съ небесе и виждь и посѣпи виноградъ сей, и соверши и, его же насади десница Твоя.» Нѣтъ ни одного общоошательства, которое не относилось бы къ виноградной лозѣ; все согласно и съ состояніемъ Израильскаго народа, здѣсь представленнаго.

Первое и главное условіе аллегоріи есть то, чтобы фигурное и буквальное значенія не были перемѣшаны и не выражали бы какой-либо несообразности. Если бы напр. вмѣсто того, чтобы изобразить виноградникъ опустошеннымъ въ прѣмѣи и дикими звѣрями, сказано было буквально: «на виноградъ напали языческіе народы и враги попрали его»: тогда бы аллегорія исчезла, и, вмѣсто картинны, представилась бы громада изображеній, подобныхъ тѣмъ мешафорамъ, въ которыхъ мы видѣли смѣшеніе фигурныхъ и буквальныхъ значеній.

Вообще правила аллегоріи можно приложитъ къ правиламъ мешафоры, по сходству тѣхъ фигуръ. Существенное между ними различіе, кромѣ обширности аллегоріи, состоитъ въ томъ, что мешафора объясняется прямо тѣми словами, которыхъ въ ней берутся въ собственномъ смыслѣ и соединены съ другими переносными, или съ вносказаніями. Если напр. говоримъ: Ахиллесъ въ битвѣ левъ; великій министръ опора Государства; слова: «Ахиллесъ и министръ», соединенныя съ словами: «левъ и опора», совершенно опредѣляютъ мысль. Но въ аллегоріи слова болѣе удаляются отъ буквальнаго значенія; въ ней зна-

ченіе фигурнаго выраженія не прямо объясняется, но многое оставляется проницательности читателя. Аллегорія служила у древнихъ любимымъ способомъ правоученій; басни и параболы были то же, что аллегоріи, въ которыхъ они изображали склонности людей, заставляя звѣрей и неодушевленные предметы говорить и дѣйствовать подобно людямъ. Такъ называемое правоученіе въ баснѣ — есть буквальное изъясненіе аллегоріи, съ которой снято фигурное украшеніе.

Загадка также видъ аллегоріи — предметъ, представленный подъ видомъ другаго предмета, который съ намѣреніемъ облекаютъ въ иносказанія, представляя читателю удовольствіе проныкать ихъ, и шутъ угадывать смыслъ загадки. Полусвѣтъ въ загадкѣ допускается; но недостатокъ ясности въ аллегоріи — величайшая погрѣшность. Надобно стараться, чтобы въ ней смыслъ просвѣчивался сквозь фигурное выраженіе. Впрочемъ не легко постигнуть искусное смѣшеніе шутки и сѣты, вѣрное соединеніе перепоснаго значенія съ обыкновеннымъ, такимъ образомъ, чтобы читатель безъ труда открывалъ настоящій смыслъ, слегка облеченный въ аллегорію. Нѣтъ почти ни одного оборота рѣчи труднѣйшаго аллегоріи, по соединенію двухъ требованій — нравиться и возбуждать вниманіе.

ЧТЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ.

Продолженіе объ изобразительности и одушевленіи
рѣчи. — Гипербола, олицетвореніе, обращеніе, видѣніе.

Въ нынѣшнюю бесѣду займемся разсмотрѣніемъ фигуръ, содѣйствующихъ произведенію изобразительности рѣчи и одушевленія — изслѣдуемъ *гиперболу*, *олицетвореніе*, *видѣніе*, *обращеніе*. Въ гиперболическомъ выраженіи предметъ выходитъ изъ обыкновенныхъ своихъ предѣловъ. Этого оборота рѣчи основаніе свое имѣетъ въ самой природѣ. Во всѣхъ языкахъ, даже въ самомъ простомъ разговорѣ, часто встрѣчаются гиперболическія выраженія, каковы: *много* какъ *вѣтеръ*; *мало* какъ *снѣгъ*.» Всѣ наши свѣтскія привѣтствія, по большей части, смѣлыя гиперболы. Явился предъ нами что нибудь примѣчательное, или по добротѣ, или по величію: у насъ уже готовъ преувеличенный эпитетъ; мы готовы сказать, что ничего прекраснѣе и выше никогда не видали. — Воображеніе любитъ увеличивать предметы, придавать имъ высшія свойства. Языки болѣе или менѣе изобилуютъ гиперболическими выраженіями, смотря по большей или меньшей живости воображенія народовъ. Вотъ почему гиперболы правятся юности. Восточные языки изобилуютъ ими болѣе языковъ Европейцевъ, которыхъ воображеніе умѣреннѣе и покорнѣе разсудку. Отъ того встрѣчаемъ болѣе гиперболъ въ древнѣйшихъ писателяхъ, и въ первомъ возрастѣ всѣхъ языковъ. Опытность и

образование умѣряють пылкость воображенія, и слову придають большую правильность и точность.

Въ преувеличенныхъ выраженіяхъ, какія обыкновенно слышимъ въ языкѣ разговорномъ, мы не замѣчаемъ гиперболъ, мы легко разумѣемъ въ нихъ настоящее значеніе. Но когда гиперболическое выраженіе содержишь въ себѣ что-либо поразительное и необыкновенное; тогда оно привлекаешь наше вниманіе. Припомъ когда воображеніе наше не расположено къ преувеличенію, тогда гиперболы намъ не нравятся: мы чувствуемъ принужденное напряженіе ума для представленія гиперболы. Поэтому приличное употребленіе ея весьма трудно: не должно распускать ее и долго на ней останавливаться. Безъ сомнѣнія, есть случаи, въ которыхъ гипербола можетъ быть употребляема; потому что это обыкновенный языкъ, сказали мы, воображенія живаго и пылкаго; но слишкомъ частое и неумѣстное употребленіе ея охлаждаетъ слогъ и лишаетъ сочиненіе занимательности. Гиперболою любятъ пользоваться писатели съ воображеніемъ слабымъ и неумѣющимъ придашь предмету своему истиннаго достоинства, представляя его въ обыкновенномъ, естественномъ видѣ: такіе писатели прибѣгаютъ къ выраженіямъ преувеличеннымъ и напыщеннымъ.

Въ гиперболѣ различаются два рода: одинъ употребляется въ описаніи; другой есть выраженіе страсти. Последний родъ предпочитается первому. Если воображеніе воспламенено, то ему свойственно увеличивать предметы; тогда и чувство — оно наиспроивается къ преувеличенію, и гиперболическія выраженія представляются естественными и вѣрными. Въ страсти безъ исключенія, любовь, страхъ, удивленіе, ненависть,

гнѣвъ, печаль, волнуютъ душу, увеличивающъ предметы, опъ копорыхъ возгарающся страсти, и выливаются въ выраженіяхъ гиперболическихъ. Таково изображеніе Суворова, представленное поэмой, изумляющимъ геройскимъ подвигомъ война

«Черная туча, мрачныя крыла
Съ цѣпи сорвавъ, воздухъ покрыва;
Вихрь полунощный — лешингъ богатырь;
Тьма опъ чела, съ посвѣща пыль,
Молны опъ взоровъ бьгуць впереди,
Дубы градою лежатъ позади.
Ступишь на горы — горы прещашъ;
Ляжетъ на море — бездны кипяшъ;
Граду коснешся — градъ упадаешъ,
Башни рукою за облакъ бросаешъ.»

Гиперболы встрѣчаются и въ описаніяхъ; но пользоваться ими надобно съ большою осторожностію: для нихъ нужно нѣкоторое пригововленіе чинашеля. Описываемый предметъ долженъ по сущности своей поражать воображеніе, возвышашъ его надъ обыкновенными предметами изображеніемъ чего-либо великаго, изумительнаго, новаго. Искусство писателя состоитъ въ постепенномъ пригововленіи къ понятію о предметѣ, копорый намѣренъ онъ представить увеличеннымъ. Поэтъ, описывая бурю, землетрясеніе, или перенося насъ на поле битвы, можетъ свободно употреблять гиперболы. Но ежели предметъ его описанія, н. п. горестъ женщины; то не возможно, чтобы такое ужасное преувеличеніе, какое заключаетъ слѣдующее мѣсто одного трагическаго поэта, не произвело въ насъ отвращенія. «При входѣ моемъ, она лежала на полу; буря горести свирѣпствовала въ ея сердцѣ; но несчастная и тогда была прекрасна; слезы лились изъ очей ея; и ежели бы весь свѣтъ объяшъ былъ

пламенемъ, пошокъ этихъ слезъ упиоснивалъ бы гнѣвъ неба и пошушилъ бы пожаръ вселенной. Спрадалецъ, снѣдаемый гореспью, могъ бы еще позволить себѣ сильныя гиперболы; но зришель, описывающій гореспъ другого, не имѣетъ права на такое же снисхожденіе. Первый выражаетъ спраспъ, его волнующую, между птѣмъ какъ вшорой только описываетъ чужія впечатлѣнія, и потому не долженъ говорить съ шюю же слою. При всей очевидности этого различія, многіе писатели его не замѣчаютъ. До какой же спешени можетъ быть допущена гипербола, если она прилична, какую мѣру можно положить ей, и гдѣ ея предѣлы? Здравый смыслъ и изящный вкусъ — опредѣляющъ ея границы; выходя изъ нихъ, писатель впадаетъ въ погрѣшность. Поэты Римскіе, въ своихъ привѣшпвіяхъ, обыкновенно вопрошали прославляемыхъ героевъ, какую часть неба избе-рушъ они мѣстопребываніемъ своимъ, когда, покинувъ землю, вознесутся къ богамъ. Такъ Виргилій въ обращеніи къ Августу говоритъ:

*Tibi braccia contrahit ingens
Scorpius, et cœli justa plus parte relinquit.*

Georg. lib. 1.

Но Луканъ превзошелъ всѣхъ въ преувеличеніяхъ: онъ умоляетъ Нерона утвердить престолъ свой среди неба, а не у полюсовъ, дабы его величіемъ не рушилось равновѣсіе земнаго шара:

*Sed neque in arctuo sedem tibi legeris orbe,
Nec polus adversi calidus quâ mergitur auri;
Aetheris immensi partem si presseris unam,
Sentiet axis onus. Librati pondera cœli
Orbe tene medio: pars aetheris illa sereni
Tota vacet, nullaque obstant a Cesare nubes.*

Phars. lib 1, ver. 53. —

Подобныя фигуры — слѣдствіе ложнаго вкуса и невѣрнаго направленія генія. Онѣ часто встрѣчаются у писателей Испанскихъ. Эпишопія, написанная однимъ Испанскимъ поэтомъ Карлу V, принадлежитъ къ этому роду:

Гробъ его небо; могилы — вселенная;
Звѣзды — свѣщичи, а слезы моря (*).

Блескъ и своеправіе такихъ фигуръ ослабляютъ и изумляютъ; но шакъ не можетъ быть изящества, гдѣ разсудокъ и здравый смыслъ явно страдаютъ. Сочинители надписей часто впадаютъ въ эту погрѣшность; все ихъ достоинство иногда состоитъ въ сильной гиперболѣ. Такова слѣдующая надпись:

Боги создали землю, Бельгійцы свои берега;
Труды равно необъятныя (**).

Перейдемъ къ шакъ называемымъ фигурамъ мыслей, въ которыхъ слова принимаются въ собственномъ своемъ значеніи. — Первое мѣсто занимаетъ здѣсь *олицетвореніе*. Свойство его одушевлять, заставлять дѣйствовать предметы неодушевленные. Обыкновенно называютъ этошъ оборотъ прозопопеей. Употребленіе этой фигуры весьма обширно; источникъ ея въ самомъ духѣ человѣческомъ. Съ перваго взгляда, олицетвореніе можетъ показаться необычайнымъ и даже страннымъ порывомъ чувства: въ немъ поэтъ разговариваетъ съ неодушевленными предметами — деревьями, полями,

(*) »Pro tumulo ponas orbem, pro tegmine coelum,
Sidera pro facibus, pro lacrymis maria.«

(**) Tellurem fecere dii, sua littora Belgæ;
Immensaeque molis opus utrumque fuit.

рѣками, какъ съ существами живыми, сообщаетъ имъ чувства свои и желанія, и мысли, и даръ слова, и образъ дѣйствія. Мы охотно слушаемъ поэта — намъ правится одушевленіе всего, намъ окружающаго, по гармоніи и какъ бы симпатіи между нами и вѣшною природою. Отъ того мы любимъ переносить качества одушевленныхъ существъ къ предметамъ неодушевленнымъ и къ отвлеченнымъ понятіямъ. Одушевлять всю природу есть свойство духа человѣческаго: онъ любитъ изображеніемъ въ ней себя самого. Привыкнувъ видѣть вокругъ себя одни и тѣ же предметы, сильно поражающіе воображеніе — домъ, гдѣ приятно проведены многіе годы жизни — поля, рощи, горы — мы неравнодушно ихъ оставляемъ — мы расстаемся съ этими неодушевленными предметами, какъ съ друзьями — они для насъ существа живыя.

Такова сила очарованія, заставляющая насъ вдыхать жизнь всему, насъ окружающему, особливо предметамъ, наиболее прекраснымъ и поразительнымъ. Изъ этой склонности духа, въ дѣтскомъ возрастѣ человѣчества, произошли всѣ мифологическія сказанія. Древніе населили горы Ореадами, лѣса Дріадами, воды Наядами. Воображеніе этими представленіями успокоиваетъ умъ, обыкновенно теряющійся въ разнообразіи, измѣщеніи и величинѣ видимой природы. Это доспашочно удословѣляетъ насъ въ необходимости олицетворенія во всѣхъ родахъ сочиненій, когда воображеніе и страсти возбуждаются.

Въ олицетвореніи различаютъ три степени: первая состоитъ въ присвоеніи предметамъ неодушевленнымъ свойствъ предметовъ живыхъ; на второй степени они представляются дѣйствующими, какъ одаренные жизнью; на третьей

они какъ бы слушающъ насъ и съ нами разговаривающъ. Первая степень, низшая другихъ, состоишь въ присвоеніи предметамъ неодушевленнымъ нѣкоторыхъ качествъ существъ живыхъ. Этого рода олицетвореніе требуетъ одного или двухъ словъ, или просто одного эпитета: *яростная буря*, *лютая болѣзнь* и т. п. Эта степень прозопопеи сливается съ метафорою. Выраженья и оны этой степени прозопопеи оживляются, получаютъ высшее благородство. Часто одно выраженіе, одинъ поразительный эпитетъ, черта, быстро и рѣзко проведенная, высказываютъ болѣе, нежели обширное описаніе. Впечатленіе, производимое такими эпитетами, можно сравнить съ дѣйствіемъ, происходящимъ въ насъ въ то время, когда намъ открываютъ какую-либо великую мысль: кажется, открытой мысли предшествовало множество другихъ, и послѣдняя относится къ глубокимъ размышленіямъ — одно слово устремляетъ взоры наши въ безпредѣльное пространство, пройденное гениемъ-писателемъ. И ораторы, и поэты равно пользуются этого рода одушевленіемъ. Изъ древнихъ Тацитъ обилуетъ такими украшеніями. Въ Державинѣ, Жуковскомъ и Пушкинѣ эпитеты также поразительны.

Въ прозопопеѣ второй степени неодушевленные предметы представляются живыми существами: *спятъ пригорки* опдаленны, *говоришь* поэтъ, *боръ молчитъ*, *долина спитъ*, *вѣтеръ стихнулъ*, *дождь сребрился*. Оборотъ предложенія болѣе или менѣе одушевляется, смотря по свойству дѣйствія, придаваемого неодушевленнымъ предметамъ, и по другимъ обстоятельствомъ, которыми обставляются предметы. Продолженная прозопопея

приличествуешь высокому красноречію; но въ кратчайшемъ видѣ, въ нѣсколькихъ словахъ, часто уношребляешься и въ стихотвореніяхъ, и въ прозѣ. Мы говоримъ: «Законы простираютъ руку помощи и богатому и бѣдному, и вельможѣ и простолюдину.» Этого рода одушевленія непрестанно встрѣчаются въ поэзіи: они составляютъ ея душу и жизнь. У Омира и война, и миръ, и копья, и города, и рѣки — все живетъ. Такая же жизнь у нашего поэта въ одушевленіи Каспіа:

«Ты видѣлъ Каспій, протягался,
Какъ въ камышахъ, въ пескахъ лежишь,
Лицемъ веселымъ осклабясь,
Пловцевъ ко плаванью манишь;
И вдругъ, какъ бурей разсердясь,
Встаешь въ упоръ ея крыламъ,
То скачешь въ твердь, то въ адъ стремишься,
Трезубцемъ бьешь по кораблямъ:
Столбомъ власы свѣдье выюща,
И гласъ его гремитъ въ горахъ.»

Одно изъ величайшихъ наслажденій, доставляемыхъ намъ одушевленіемъ, состоитъ въ томъ, что оно окружаетъ насъ подобными намъ существами: они, какъ и мы, чувствуютъ и дѣйствуютъ. Главная красота вообще иносказаній заключается въ сближеніи нашемъ съ предметами окружающими, въ сообщеніи имъ жизни. Всѣ обстоятельства наши — бѣдность, богатство, старость, мечты, любовь, печаль, радость, могутъ быть предметами одушевленія. Этой фигурѣ въ поэзіи не возможно назначить предѣловъ. Поэзія, заставляя неодушевленные предметы мыслить, чувствовать и дѣйствовать, перемоситъ насъ въ кругъ существъ намъ подоб-

ныхъ, и это составляетъ одну изъ тѣхъ прелестей, которыми она чаруетъ; посредствомъ украшеннаго языка мы соприкасаемся существамъ безжизненнымъ, которыхъ предъ нами оживаютъ. Не изумляемся ли мы всемогуществу Творца, когда слушаемъ поэта, въ восторгѣ вѣщающаго:

»Тамъ огненны валы стремятся
И не находятъ береговъ;
Тамъ вихри пламенны кружатся,
Борючись множество вѣковъ;
Тамъ камни, какъ вода, кипятъ,
Горящи шамъ дожди шумятъ.»

Намъ остается говорить о шретней, высшей степени олицетворенія, когда неодушевленные предметы не только чувствуютъ и дѣйствуютъ, но слушаютъ насъ и съ нами разговариваютъ. Во многихъ случаяхъ такая прозопопея кажется естественною; но исполненіе ея гораздо труднѣе первыхъ двухъ родовъ. Это самый смѣлый оборотъ въ языкѣ украшенномъ, и допускается при сильномъ потрясеніи души. Первые два рода одушевленія могутъ имѣть мѣсто въ спокойныхъ описаніяхъ, когда духъ нашъ слѣдуетъ обыкновенному теченію понятій и чувствованій; но представивъ предметъ слушающимъ насъ и говорящимъ можно только въ состояніи восторга, когда нарушается обыкновенный порядокъ мыслей. Всѣ сильныя движенія души, каковы: любовь и ненависть, радость и печаль, исторгаясь изъ глубины ея, ищутъ предметовъ неодушевленныхъ, чтобы подняться съ ними — и, не находя ихъ, они обращаются къ лѣсамъ, рѣкамъ, скаламъ, ко всему окружающему, особливо когда эти неодушевлен-

ные предметы соединены какимъ-либо отношеніемъ съ причиною душевныхъ движеній. Ничто не можешь изгладить изъ памяти сердца нашего первыхъ, приятныхъ впечатлѣній юности; время украшаетъ ихъ и даетъ имъ восхищительную прелесть. Поэтъ, рожденный на берегахъ Волги, обращаясь къ ней, какъ свидѣтельница его дѣйства, говоритъ:

»О Волга, рѣкъ, озеръ краса,
Глава, царица, честь и слава!
О Волга пышна, величава!
Прости! Но прежде удостой
Склонить свое вниманье къ лирѣ
Пѣвца, незнаемаго въ мірѣ,
Но воспоенаго тобой!«

Или:

»Я слышалъ Каспія сѣдаго
Пророческій громовый гласъ:
Спрашиться, Персы, рока злаго!
Идесть, идесть Царь силъ на васъ!
Его и Югъ, и Нордъ трепещетъ;
Онъ тысячами перуны мечетъ!
Запмялъ луну и льва сразилъ,
Внемлите шумъ: и Волжски волны
Несутъ его, гордыни полны:
. . . . Идесть Царь силъ!«

Сравниваютъ душу поэта вдохновеннаго съ расплавленнымъ въ горнилѣ металломъ: при сильномъ пламени, онъ долго оспаеся въ первобытномъ состояніи, долго недвижимъ; но раскаленный — рдѣется, закипаетъ и клокочетъ. Такъ жизнь поэта иногда готовитъ только нѣсколько минутъ, въ копорыя вдохновеніемъ генія онъ тревожится — и душа его раскалется. Въ эту-по минушъ поэтического очарованія всѣ помышле-

пія и всь мечтанія его передаются всему окружающему.

Изъ наблюденія сердца человѣческаго слѣдуютъ правила касательно употребленія прозопопеи. Съ одной стороны, она есть вдохновеніе чувства, пламень воображенія; а пошому шамъ не можешъ бытъ одушевленія, гдѣ нѣтъ пейлоты сердечной; съ другой стороны, предметы, одушевляемые воображеніемъ поэта, должны бытъ достойны сближенія ихъ съ нами, благородны. Очевидно, что обращеніе къ частямъ тѣла, къ одѣянію, не соотвѣтствуетъ назначенію этой фигуры. Такое обращеніе было бы не одушевленіе, а припворная чувствительность. Къ подобнымъ блескамъ поэтическимъ принадлежатъ стихотворенія, которымъ жертвовали иногда собою и оплинчые паланпы, и. п. стихи на карася или собачку, вспрѣчаемые у Петрова. Сочиненія, не просвѣщающія ума ни познаніемъ истинныхъ красотъ природы, ни познаніемъ свойствъ человѣческаго сердца, въ скоромъ времени наводять скуку и забываются.

Прозопопея въ краснорѣчіи пребуешь бѣльшей разборчивости, нежели въ поэзіи: шупъ не позволяется воображенію столько играть, сколько въ поэзіи, гдѣ мы любимъ смотрѣть на его игры. Но и здѣсь сообщается жизнь предметамъ неодушевленнымъ: часто вишіи одушевляютъ вѣру, добродѣтель, опечесство. При употребленіи прозопопеи въ краснорѣчіи, должно помнитъ, что это одно изъ главныхъ усилій искусства, и что для исполненія его пошребны дарованія необыкновенныя. Говоряшъ, крайности сходятся: и неудачная прозопопея возбуждаешъ улыбку. Горе писателю, копорый думаешъ подражаешъ языку

сильныхъ движеній душевныхъ, не чувствуя въ себѣ самомъ одушевленія.

»Строенье вымысловъ какъ призракъ исчезаетъ,
 Колю сила истины его не проникаетъ;
 Не втришь умный чтець нескладнымъ чудесамъ.»

Такъ говоритъ Гораций. Онъ же въ другомъ мѣстѣ совѣтуетъ:

»Умъй свои бѣды бѣдами намъ представить;
 Умъй заплакать самъ, чтобы плакать насъ заставилъ.»

Мы видимъ несчастные опыты писателей, старающихся выражаться языкомъ страсти; но не одушевленные сами страстью могутъ ли передать ее читателямъ? Въспомо того, чтобы воспламениться такимъ языкомъ, читатель замѣчаетъ только усиленіе пользоваться неумѣстнымъ одушевленіемъ. Многіе изъ нашихъ писателей, особенно Теофанъ Прокоповичъ, Плещинъ, Ломоносовъ, въ рѣчахъ и надгробныхъ словахъ, употребляли олицетворенія сильныя и изящныя. Творенія древнихъ еще болѣе представляютъ образцовъ украшеннаго языка: живой, пылкій геній южный болѣе склоненъ, кажется, поражать воображеніе внезапными картинами, нежели геній сѣверный.

Къ прозопопеѣ принадлежитъ *апострофа*, или обращеніе говорящаго лица къ отсутствующимъ и умершимъ, какъ бы насъ слушающимъ и участвующимъ въ нашихъ словахъ. Обращеніе гораздо слабѣе олицетворенія, пребуетъ менте пылкости воображенія; потому что представить присутствующимъ лица отсутствующія или умершихъ гораздо легче, нежели воодушевить, заставить говорить предметы неодушевленные. Обѣ фигуры требуютъ истиннаго и непритвор-

наго чувства; онъ должны быть естественнымъ его выраженіемъ. Такова апострофа Плафона, при гробъ Петра Великаго: «Возстанъ пеперь, Великій Монархъ, Опечесства нашего Опець! возстанъ и воззри на любезное изобрѣшеніе Твое; оно не исплѣло опъ времени, и слава его не по-мрачилась. Возстанъ и насладись плодами прудовъ Твоихъ! О, какъ бы Твое, Великій Петръ, сердце возрадовалось, если бы Но слыши! мы Тебѣ, какъ живому, вѣщаемъ, слыши: флотъ Твой въ Аргіпелагъ, близъ береговъ Азійскихъ, Опшмоанскій флотъ до конца испребилъ. Россійскіе высокопарные орлы, поржесивуя, именемъ Твоимъ весь Воспокъ наполняютъ и спремятся предстать предъ спъны Визаншійскія.» Въ поэмѣхъ Оссіана много прекрасныхъ обращеній: «О дщерь Инистора! плачь вмѣстѣ съ разбишыми вѣпромъ скалами; склони къ волнамъ швою голову, пы, прекраснѣйшая самаго генія долинъ и холмовъ, когда онъ въ полдень, при пишии Морвена, несется на лучъ солнечномъ. Опъ палъ, швоа юноспъ увала, исчезла и красота швоа.» Игривое воображеніе Востока любило смѣлыя фигуры одушевленія и обращенія. Священное писаніе также исполнено ими. «О мечу Божій», восклицаетъ Іеремія, «доколѣ не упокоишися; види въ ножны швоа, почій и вознесися. Како упокоишся; понеже Господь заповѣда ему на Аскалона, и на сушца при мори, на прочія возсташа (*).» Нельзя не упомянуть объ одномъ мѣстѣ пророчества Ісаіи (**), крошкомъ и исполненномъ высокими мыслями и прекрасными фигурами; нѣтъ ничего подобнаго у другихъ писателей. «И примѣши плачь сей

(*) Іерем. гл. XLVII, ст. 6 — 7.

(**) Ісаія гл. XIV, ст. 4 — 20.

на Царя Вавилонска, и речеши, како преста испязуй, и преста понуждай. Сокруши Богъ яремъ грѣшниковъ, яремъ Князей, поразивъ языкъ яростію, язвою нензцѣльною, поражая языкъ язвою яростіи, ею же не пощадъ, почн уповаючи. Вся земля вопіешъ съ веселіемъ, и древа Ливанова возвеселишася о тебѣ, и кедръ Ливанскій: опилъ же ты усмулъ еси, не възде посыкай насъ. Адъ долъ огорчился, срѣпъ ты, воспана съ тобою вси исполнии обладавшіи землею, подвизавшіи отъ престоловъ своихъ всѣхъ Царей языческихъ. Всѣ опилъщающъ, и рекутъ тебѣ: и ты плачешъ еси, яко же и мы, и въ насъ вѣнненъ еси. Санде слава твоя во адъ, многое веселіе твое: подъ тобою поспелюгъ гнилость, и покровъ твой червь. Какъ спаде съ небесе денница восходящая заутра? Сокруши на земли посылая ко всѣмъ языкомъ. Ты же рекъ еси во умъ твоемъ: на небо възду выше звѣздъ небесныхъ поспѣваю престолъ мой, сяду на горѣ высоцѣ, на горахъ высокихъ, яже къ сѣверу: възду выше облакъ, буду подобенъ Вышнему. Нынѣ же во адъ спидеши, и во основаніи земли. Видѣвшии ты, удивятся о тебѣ, и рекутъ: сей человекъ раздражалъ землю, потрясалъ цари, положивый вселенную всю пусту, и грады ея разсыпа, плѣнныхъ же разрѣши. Всѣ царіе языковъ упоша въ чрепи, кійждо въ дому своемъ: ты же поверженъ будеши въ горахъ, яко мертвецъ мерзкій со многими мертвецы изъсѣченными мечемъ, сходящими во адъ. Какъ все возвышенію, сколько одушевленныхъ преджеговъ! Мы слышимъ Евреевъ, говорящихъ кедръ Ливанскій, тѣни Царей, нѣкогда властителей Вавилона — и всѣ говорящихъ послаждовательно, въ хорядѣ; каждый исполняетъ свое назначеніе.

Сюда относится *видѣніе*, когда писатель употребляетъ настоящее вмѣсто прошедшаго, описываетъ прежде совершившееся, какъ бы все происходило предъ нашими глазами въ то время, когда о томъ повѣсцуютъ. Видѣніе свидѣльствуетъ о восторгѣ; опъ того эша фигура, благо-разумно употребленная, производитъ сильное впечатлѣніе. Для этого потребна живость воображенія и счастливый выборъ обстоятельствъ, которые могли бы заставить насъ повѣрить, что описываемыя происшествія предъ нами происходятъ. Надобно предоставить природѣ выраженія чувства. Помощію этой способности мы всегда выражаемся сильно и убѣдительно; но чувство не замѣняея никакими оборотами языка украшеннаго. Жуковскаго *Пѣвецъ оо станѣ Русскихъ воиновъ* исполненъ прекрасными *видѣніями*.

«Смотрите! въ грозной красотѣ,
Воздушными полками,
Ихъ пѣни мчатся въ высоту
Надъ нашими шапками!
О Святославъ, бичъ древнихъ лѣтъ,
Се твой полетъ орлиной!
Погибнемъ! мертвымъ срама вѣтъ!
Гремишь передъ дружиной.
И ты, невѣрныхъ страхъ, Донской,
Съ четой двухъ соиленныхъ,
Летишь погубельной грозой
На рапъ иноплеманныхъ»

Также Ломоносовъ въ похвальномъ словѣ Петру, въ доказательство благочестія Монарха, изображая сръшеніе Св. Князя Александра Невскаго, когда весь градъ подвинутъ былъ исполненіемъ благоговѣйнаго дѣйствія, говоритъ: «Чудное видѣніе! гребутъ Кавалеры, самъ Монархъ управляетъ

на кормъ, и къ простымъ людей труду предъ
 всѣмъ народомъ помазанныя руки проспирася.»
 У него же въ похвальномъ словѣ Елисаветъ:
 «Чудное и прекрасное видѣніе въ умѣ моемъ изоб-
 ражается, когда себѣ представляю, что прихо-
 дитъ со крестомъ Дэвида, послѣдующъ воору-
 женные воины. Она опеческимъ духомъ и вѣрою
 къ Богу воспалется, они ревностію къ ней пы-
 лаютъ; Она исполнитъ желаніе всѣхъ Россіянъ,
 они изволеніе Тоя совершивъ поспѣшаютъ; Она,
 приближаясь къ побѣдѣ, кровопролитной побѣды
 не желаетъ, они всему свѣту спастъ пропиву за
 Оную усердствуютъ.» Карамзинъ въ похвальномъ
 словѣ Екатѣринъ: «И Екатѣрина на пронъ!
 Красота въ образѣ воинственной Паллады! Вокругъ
 блестящія ряды героевъ! Пламя усердія въ груди
 ихъ! Предъ Нею священный ужасъ и Геній Россіи!
 Опираясь на мужество, богиня шествуетъ —
 и слава, гремя въ облакахъ трубою, опускаетъ
 на главу Ея вѣнокъ лавровый.»

ЧТЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Окончаніе о языкѣ украшенномъ.—Сравненіе, пропиво-положеніе, вопрошеніе, восклицаніе и другія фигуры, или изобразительность и одушевленіе рѣчи.

Продолжимъ изложеніе украшеннаго языка. Фигуры придаютъ красоту рѣчи, когда прилично поставляются; но какъ иногда ихъ употребляютъ неумѣренно, то мы считаемъ необходимымъ подробное ихъ изслѣдованіе. Не нужно разсматривать всѣ роды фигуръ: исчисленіе ихъ находится въ большей части риторикъ; полезнѣе заняться главными, болѣе употребительными, и представить о каждой изъ нихъ основныя правила, которыя могутъ служить руководствомъ въ употребленіи и другихъ фигуръ въ стихахъ и въ прозѣ. Мы со всѣми подробностями изслѣдовали метафору; въ предыдущемъ чтеніи говорили о гиперболѣ, олицетвореніи и апострофѣ; теперь окончимъ разсмотрѣніе наше фигуръ.

Прежде всего займемся *сравненіемъ*: оно весьма употребительно во всѣхъ родахъ сочиненій изящныхъ. Мы уже имѣли случай объяснить различіе между сравненіемъ и метафорой. Последняя есть сравненіе неполное и неразвитое; напримеръ, когда я говорю: «Ахиллесъ есть левъ», то эпитимъ хочу выразить, что Ахиллесъ имѣетъ силу и мужество льва. Сравненіе имѣетъ мѣсто, когда сходство, замѣчаемое между двумя предметами,

выражено совершенно явно, опредѣленнѣе и полнѣе, нежели въ метафорѣ, напримѣръ: «Дѣйствія повелителей подобны шѣмъ великимъ рѣкамъ, коихъ печеніе видяшъ всѣ, но коихъ истокъ открытъ только для немногихъ.» Эпошъ простой примѣръ можетъ показатъ, что удачное сравненіе есть такое украшеніе, которое придаетъ много блеска и красоты рѣчи. По этой причинѣ Цицеронъ и называетъ фигуры этого рода *«orationis lumina»*.

Удовольствіе, ощущаемое нами отъ сравненій основывается на свойствахъ нашей души. Главная причина этого удовольствія, получаемого отъ сравненія двухъ предметовъ, состоитъ въ открытіи сходства между различными предметами и несходства между подобными. Сравненіемъ возбуждается въ насъ наблюдательность духа, и шѣмъ облегчается распространеніе полезныхъ свѣдѣній. Это стремленіе ума есть врожденное свойство человека. Посмотрите на дѣтей: и они любятъ сравнивать окружающіе ихъ предметы. Далѣе, въ сравненіи нравятся намъ ясность, озаряющая главный предметъ, эпошъ свѣтлый образъ, въ который онъ облекается, усиленіе впечатлѣнія, производимаго предметомъ на душу человека. Наконецъ мы чувствуемъ удовольствіе и отъ того, что уму нашему представляется новый предметъ, обыкновенно блестящій, который какъ бы сливается съ главнымъ предметомъ; новые образы плѣняютъ наше воображеніе и расширяютъ кругъ его дѣйствія.

Всѣ сравненія можно раздѣлитъ на *объяснительныя* и на *служащія просто украшеніемъ*. Дѣйствительно, въ каждомъ сравненіи можно видѣть намѣреніе писателя, или посредствомъ этого объ-

яснить главный предметъ, или представить его въ приподнятомъ видѣ.

Всякой предметъ, каковъ бы онъ ни былъ по своему содержанію, допускаетъ сравненія объяснительныя. Въ самыхъ спрогихъ разсужденіяхъ, въ ошлеченныхъ умозрѣніяхъ, можно употреблять сравненія для лучшаго объясненія предмета и для облегченія разсудка. Такъ напримѣръ, Гаррисъ, въ своемъ Гермествъ, желалъ объяснить предметъ опвлеченный, именно различіе воображенія и чувствительности, употребляетъ слѣдующее сравненіе: «Воскъ», говоритъ онъ; «не могъ бы оппечашлвать предметы, еслибъ не имѣлъ свойства принимать и удерживать оппечашки. Душа наша подобна воску въ отношеніи къ чувствамъ и воображенію: чувства воспринимаютъ, воображеніе удерживаетъ. Еслибъ умъ нашъ одаренъ былъ одною чувствительностію безъ воображенія, то не былъ бы подобенъ воску, но походилъ бы на воду, которая легко принимаетъ впечатлѣнія, но только ихъ не удерживаетъ.» Сравненія такого рода родятся болѣе опъ размышленія, нежели опъ воображенія, и потому они должны быть ясны, помѣщаясь только тамъ, гдѣ необходимы — сильно оппѣняясь главный предметъ, не опкло-няль вниманія опъ этого предмета, освѣщая его, а не заземляя.

Сравненія, которые служатъ просто украшеніемъ рѣчи и не объясняютъ предмета, но только придаютъ ему новыя красоты, должны быть разсмотрѣны съ болѣею подробностію. Такого рода сравненія весьма употребительны. Сходство служитъ основаніемъ сравненію, и не столько сходство действительное, сколько воображаемое. Два пред-

мена можуть иногда сравниватися, хотя въ сущности своей не имѣють между собою никакого сходства; такое сходство заключается въ ихъ дѣйствіи на нашъ умъ. Сравненія возбуждаютъ въ насъ цѣлый рядъ сходныхъ и согласныхъ понятій; отъ того представленіе одного предмета усиливаетъ впечатлѣніе, производимое другимъ. Оссіанъ, желая изобразить дѣйствіе сладостныхъ и заунывныхъ пѣсней Каррила, говоритъ: «Онѣ походятъ на воспоминанія о минувшихъ радостяхъ — сладостны и вмѣстѣ грустны.» Это сравненіе удачно и тонко, не смотря на то, что пѣсни не имѣють ни малѣйшаго сходства съ чувствами нашей души, ни съ воспоминаніями о прежнихъ удовольствіяхъ. Оссіанъ могъ бы сравнить пѣсни Каррила съ пѣніемъ соловья, или съ журчаніемъ ручья, какъ обыкновенно сравниваютъ поэмы посредственные; тогда сходство было бы точнѣе; но уподобленіе Оссіана основывается на одинаковости дѣйствія, производимаго пѣснями Каррила и воспоминаніями о минувшемъ. Представляя намъ приятную и грустную картину, поэзія вмѣстѣ съ этимъ сильнѣе впечатлѣваетъ въ умъ нашъ характеръ музыки, которая, по его словамъ: «какъ воспоминаніе о былыхъ радостяхъ, и сладостна, и вмѣстѣ грустна.»

Вообще всякое сравненіе, имѣетъ ли оно въ основаніи своемъ сходство двухъ сравниваемыхъ предметовъ, или одинаковость ихъ дѣйствій, должно имѣть цѣлью объясненіе главнаго предмета. Воображеніе можетъ себѣ позволить нѣкоторую вольность въ выборѣ подобій; но они никогда не должны удаляться отъ главнаго понятія. Если главный предметъ величественъ и благороденъ; то и всѣ части сравненія должны содѣйствовать

къ поддержанію его величія. Если отличительный его характеръ красота, то все въ немъ должно стремиться къ украшенію; если главный предметъ приводитъ въ ужасъ, то и части его должны усиливать это чувство.

Для подробнѣйшаго изслѣдованія сравненія, правила, касающіяся до его употребленія, разсмотримъ въ отношеніи къ мѣсту, гдѣ сравненіе приводится, и въ отношеніи къ свойству сравниваемыхъ предметовъ. Прежде изслѣдуемъ, когда можетъ быть употребляемо сравненіе. Изъ предъидущаго можно заключить, что страсти его не допускаютъ. Оно можетъ родиться отъ воображенія живаго, но не возмущеннаго сильнымъ движеніемъ души. Сильная страсть не согласна съ этой игрою воображенія; не естественна въ этомъ состояніи духа останавливаться на сходствѣ предметовъ. Тогда душа наша бываетъ занята однимъ предметомъ главнымъ, вся въ него погружена, объята имъ, и не ищетъ сравненій. Тотъ поступитъ противъ законовъ духа, кто допуститъ сравненіе, когда страсти должны быть сильно потрясены. Въ такомъ состояніи души достаточно одного выраженія иносказательнаго; но полное и раскрытое сравненіе не можетъ согласоваться съ языкомъ страстей: оно измѣнитъ ему и ослабитъ его; оно прилично спокойному расположенію души. Эта ошибка встрѣчается часто у Англійскихъ трагиковъ. Аддисонъ, въ Капонъ, когда Люція прощается съ Порціемъ, вбѣгаетъ въ уста послѣднему, вѣстю выраженія своей горести, слѣдующее ученое сравненіе: »Такъ на погасающемъ свѣчѣльникѣ зыблущееся пламя, трепеща, останавливается въ одной точкѣ, то внезапно возгарается, то потухаетъ, и, кажется, ни ко-

чепъ разстаться съ своею пищей. И ты не покинешь меня; моя душа выпадетъ надъ жобой, и не можетъ опспать опъ тебя.» Ясно, что это не есть языкъ разстроганнаго сердца и того состоянія духа, въ какомъ предполагать должно Порція, въ минуту прощанія его съ Люцією.

Но хотя сравненіе и не можетъ быть выраженіемъ спльной страсти; однако оно и не совсемъ чуждо нѣкоторой игры воображенія. Этотъ оборотъ содержитъ въ самомъ себѣ возвышенность и предполагаетъ ее такъ же въ предметъ. Когда сердце и не взволновано, воображеніе можетъ быть обьясно предметомъ. Мѣсто, какое обыкновенно занимаетъ сравненіе, находится въ срединѣ между родомъ страшнымъ, самымъ возвышеннымъ, и самымъ простымъ, спокойнымъ созерцаемъ. Употребленіе его самое обширное; при всемъ этомъ надобно пользоваться имъ умѣренно. Сравненіе, какъ украшеніе рѣчи, придаетъ много блеску; но все, что блестящъ, ослѣпляетъ насъ и упомляетъ зрѣніе, когда мы часто смопримъ на блестящій предметъ. Въ самой поэзіи надобно умѣренно употреблять сравненія: цвѣтиспытый слогъ ослѣпляетъ, и наспо украшенія, въ немъ разсыпанныя, не производятъ никакого дѣйствія.

Перейдемъ къ правиламъ, касающимся предметовъ, опъ которыхъ должны быть заимствованы сравненія. Сравненія не надобно заимствовать опъ предметовъ, имѣющихъ слишкомъ явное сходство. Намъ приятны бываютъ тогда сравненія, когда мы открываемъ отношенія между разнородными вещами, которыя съ перваго взгляда кажутся намъ совершенно различными. Слишкомъ обыкновенно по

сравненіе, которое показываетъ намъ сходство двухъ предметовъ близкихъ, однородныхъ. Не стоишь труда и представлять его, потому что всякой можешь его примѣнить. Когда Мильпонъ сравниваетъ образъ сатаны, послѣ его паденія, съ зашмившимся солнцемъ, блѣдный свѣтъ котораго наводитъ ужасъ на всѣхъ — величіе этой картины насъ поражаетъ. Но когда онъ сравниваетъ колыбель Еввы въ раю съ колыбелью Помоны, или самую Евву съ Дріадою — мы не ощущаемъ того же удовольствія: всякой знаетъ, что одна какая-нибудь колыбель во многихъ отношеніяхъ должна походить на другую колыбель.

Къ ошибочнымъ сравненіямъ, по причинѣ слишкомъ явнаго сходства сравниваемыхъ предметовъ, должно отнести и тѣ, которыя берутся изъ предметовъ обыкновенныхъ въ поэтическомъ языкѣ. Таковы, напримѣръ, сравненія героя со львомъ, человека въ горести съ цвѣткомъ, склонившимся къ землѣ, сильной спраски съ бурею, чистоты со снѣгомъ, добродѣтели съ солнцемъ и звѣздами. Писатели посредственные передаютъ другъ другу подобныя выраженія, какъ бы по наслѣдству. Эти сравненія были прекрасны, когда гений въ первый разъ заимствовалъ ихъ у самой природы; но повтореніе однихъ и тѣхъ же сравненій не доставляетъ никакого удовольствія, потому что они уже не занимаютъ нашего воображенія. Сравненія служатъ самымъ лучшимъ признакомъ для отличія поэта, одареннаго истиннымъ гениемъ, отъ поэта, скуднаго воображеніемъ. Воображеніе живое всегда найдетъ въ природѣ черты, другими незамѣченныя; посредственность не видя въ ней никакого новаго образа. Для гения

сама природа открываетъ свои сокровища; воображеніе однимъ взоромъ обнимаетъ небо и землю, показываетъ въ нихъ новые образы и сходства; эти образы поражаютъ сравненія выразительныя, огненные.

Если сравненія не должны быть основаны на слишкомъ явномъ сходствѣ; то, съ другой стороны, должно избѣгать сравненій и слишкомъ отдаленныхъ: вмѣсто облегченія, такія сравненія утомляютъ воображеніе и не объясняютъ предмета. Надобно замѣтить, что иногда сравненіе, котораго главные части представляютъ ошутительное сходство, становится темнымъ и неестественнымъ отъ излишнихъ подробностей. Не согласно съ цѣлью сравненія — распространять сходство по всемъ отношеніямъ предметовъ: тогда представляется уму не облегченіе, а новое упражненіе въ изслѣдованіи свойствъ предметовъ. Къ изложеннымъ правиламъ объ употребленіи сравненій можно присоединить, что предметъ, отъ котораго они заимствуются, не долженъ быть неизвѣстный, или темный. «Для того, чтобы объяснить предметъ», говоритъ Квинтилианъ, «употребляются сравненія. Следовательно, всего болѣе должно стараться, чтобы предметъ, взятый для сравненія, не былъ темнымъ, или неизвѣстнымъ. Все, что берется для объясненія чего нибудь, должно быть яснѣе объясняемаго предмета (*).» Поэтому сравненія,

(*) «Ad inferendam rebus lucem, repertae sunt similitudines. Praecipue igitur custodiendum, ne id, quod similitudinis gratia adscivimus, aut obscurum sit, aut ignotum. Debet enim id, quod illustrandae alterius rei gratia assumitur, ipsum esse clarius eo, quod illuminatur.»

основанный на такихъ нибудь философскихъ истинахъ, или на предметахъ, знакомыхъ одному какому-нибудь классу людей, не соотношѣствующихъ своему назначенію. Должно брать сравненія отъ предметовъ извѣстныхъ и понятныхъ большей части читателей. Въ этомъ ошибаются часто многіе писатели. Древніе всегда брали свои сравненія изъ числа предметовъ, равно всемъ извѣстныхъ. Львы, змѣи доставляли имъ множество сравненій удачныхъ. Эти сравненія были нѣкоторымъ образомъ освящены мѣстнымъ употребленіемъ, и, какъ произведенія классическія, приняты въ этой же формѣ поэтами новыхъ временъ, но приняты безъ всякой отчужденности, и отъ того потеряли прежнее приличіе и достоинство. Большая часть ихъ намъ извѣстна по преданіямъ или описаніямъ; между тѣмъ каждая страна имѣетъ свой отличительный характеръ; ея отпечатокъ всегда виденъ въ сравненіяхъ. Незнакомые намъ предметы, чуждые нравы и обычаи показываютъ поэта, который списываетъ не съ природы, а съ писателей, уже ее изобразившихъ.

Въ сочиненіяхъ важныхъ и возвышенныхъ не надобно для сравненій употреблять предметовъ низкихъ: они ослабляютъ главный предметъ, вмѣсто возвышенія его и украшенія. Исключая шуточныя сочиненія, нигдѣ не должно употреблять такихъ сравненій. Степень возвышенности предметовъ зависить, по большей части, отъ идей и нравовъ вѣка. Многія сравненія, заимствованныя отъ занятій и обычаевъ сельской жизни, нынѣ кажутся намъ низкими и неблагородными; но среди простыхъ нравовъ древности, они были возвышенны и благородны.

У Омира сравненія согласны со спраною и обычаями спраны; но они не могутъ быть повторены нашими поэтами. Таково слѣдующее, гдѣ говорится о Діомидѣ:

«Словно ко берегу гремячему быстрыя волны морскія
Идутъ, града за градою, клубимыя зѣвромъ въ-
прохъ;
Прежде средь моря, онъ воздымаются; послѣ на-
хлынувъ,
Съ громомъ объ берегъ дробятся ужаснымъ, и выше
утесовъ
Волны понуря скачутъ, и пѣну соленую брызжутъ:
Такъ непрестанно, толпа за толпою, Данаевъ са-
ланги
Въ бой устремляются. . . .»

Ил. IV, стр. 422 — 428.

Или:

«Сколько черна и угрюма онъ облаковъ кажется
мрачность,
Если неистово дышавшій, знойный подвижется въ-
перъ:
Взору Тидида таковъ показался кровью покрытый
Мѣдный Арей, съ облаками идущій къ проспанному
небу.»

Ил. V, стр. 364 — 367.

Не таковы сравненія въ спранахъ снѣговъ, гдѣ природа дика и безплодна, гдѣ спихии непостоляны. Вокругъ насъ иней падаетъ въ видѣ густаго облака; деревья, при первомъ упреніи морозъ, блистаютъ радугою, отражая солнечные лучи въ прелестныхъ цвѣсахъ. Солнце едва явилось — и уже погружено въ багровый шуманъ, предвѣстникъ сильной стужи. Мѣсяцъ, въ печеніе всей ночи, изливаетъ серебряное сіяніе свое,

и не редко образуетъ огненные вѣнды на чистой лазури небесной. Деревья, облевленные инеемъ, кажутся очарованными. Подобная картина величественныхъ и прекрасныхъ явленій Сѣвера изображена кистью Ломоносова:

»Закрылись крайне съ пучиною лѣса,
Лишь съ моремъ видны вокругъ сліяны небеса.
. Сквозь воздухъ чистый
Открылись два холма и берега лѣсисты.
Межъ ними корабль въ заливъ отверзся входъ,
Убѣжище пловцамъ отъ беспокойныхъ водъ,
Гдѣ въ влажныхъ берегахъ, крупись печальная Уна,
Медлительно печетъ въ объятіи Непіуна.
Достигло дневное до полноты свѣтло,
Но въ глубинѣ лица горящаго не скрыло;
Какъ пламенная гора, казалось средѣ валовъ
И простирало блескъ багровый изъ-за льдовъ.
Среди пречудныхъ при ясномъ солнцѣ ночи,
Верхи злыхъ зыбей пловцамъ сверкають въ очи»

Богородовновенные Пророки исполнены превосходными и правильными сравненіями. Такъ Исаіа въцаешъ: »Яко же снидешъ дождь или снѣгъ съ небесе и не возвратишя, дондеже напоишъ землю и родишъ, и прозябнешъ, и дашъ сѣмя сѣющему, и хлѣбъ въ снѣдъ: тако будетъ глаголъ мой, иже аще изыдетъ изъ устъ моихъ, не возвратишя ко мнѣ помѣть, дондеже совершишъ вси, елика восхощѣхъ.«

Не должно указывать на Омира, у котораго встрѣчаемъ сравненія героевъ съ мухами, ослами или очей красавицы съ глазами телицы: это относително къ нравамъ и обычаямъ вѣка. Занятія, нынѣ для насъ слишкомъ обыкновенныя, въ антиархической востановляють нравовъ почитались

достойными каждого. Единоборство Патрокла и Сарпедона у Омвра въ Иліадѣ такъ описывается:

»Словно два коршуна, съ клево́мъ покланымъ, съ
кривыми когтями,
Въ бой на утесѣ высоко́мъ, слетаются съ крикомъ
ужаснымъ:
Съ крикомъ подобнымъ они устремились другъ про-
тивъ друга.»

Ил. XVI, стр. 428 — 430.

Или тамъ же:

»Быстро вѣчала въ отвѣтъ волоокая Гера богиня»

О Менепидѣ Омиръ говоритъ:

»Онъ сквозь ряды передніе бросился прямо, какъ
ястребъ
Быстрый, который преслѣдуетъ робкихъ скворцовъ,
или галокъ.»

Ломоносовъ представляетъ примѣры велико-
лѣпныхъ сравненій:

»Когда премудростью Своею
Всевышній солнце сотворилъ,
Пути различны надъ землею
Въ печеніи опредѣлилъ:
Согрѣвъ полночную часть Европы
И паки къ намъ приходитъ вспасть;
Полсвѣта дневной теплою,
Полсвѣта тучной въ ночь росю,
Премѣнно пищися оживлять.»

»Такъ ты, Монархія, сіаешь
Въ концы Державы Твоея;
Когда по онымъ протекаешь,
Отраду, радость, жизнь дая.
Отъ славныхъ водъ Балтійскихъ края
Къ востоку путь свой простирая,
Являешь полдень надъ Москвой.
Ты многимъ какъ заря восходишь;
Инымъ прохладну тѣнь наводишь,
И обще всѣмъ даешь покой.»

Обращаемся къ другимъ фигурамъ, копорыхъ употребленіе уже легко опредѣлишь по изложеннымъ правиламъ. Сравненіе основано на сходствѣ; *противоположеніе* заключается въ показаніи различія предметовъ. Цѣль этого оборота — разительнѣе выказать два противоположаемые предмета. Бѣлый цвѣтъ, напримѣръ, явственнѣе, когда при немъ находишься черный. Съ пользою можно употреблять противоположенія, когда хотимъ усилить впечатлѣніе, производимое предметомъ. Въ полномъ противоположеніи слова и части періода, выражающія противоположаемые предметы, должны быть построены и расположены симметрично и имѣть взаимное отношеніе. — Поставляя предъ глазами противоположаемые предметы, мы болѣе ихъ ошлечаемъ. Такъ, для лучшаго показанія различія между чернымъ и бѣлымъ цвѣтомъ, мы беремъ черный и бѣлый предметы одинаковой величины, и представляемъ ихъ въ одномъ свѣтѣ. Сличеніе ихъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ покажетъ то различіе, которое мы намѣрены выразить.

Нельзя оставить безъ замѣчанія и того, что частыя противоположенія, особенно когда противоположность въ словахъ натянута и выисканна, причиняютъ въ слогъ непріятность, упомаяютъ и не производятъ желаемого дѣйствія. Слѣдующее выраженіе Сенеки прекрасно, когда оно стоитъ одно: «*Si quem volueris esse divitem, non est quod augeas divitias, sed minuas cupiditates* (*)». Или другое: «*Si ad naturam vixeris, nunquam eris pauper; si*

(*) «Если ты хочешь обогатить кого нибудь, то не умножай его богатствъ, но уменьши его желанія.»

ad opinionem, nunquam dives (*).» Въ видѣ противоположенія можетъ быти представлена всякая мысль, плодъ размышленія, для сильнѣйшаго дѣйствія. Но когда сочиненіе открываетъ цѣлый рядъ подобныхъ выраженій; когда писатель выискиваетъ ихъ, и эпитетъ способъ выраженія переходитъ въ привычку: тогда рѣчь теряетъ изящество. Справедливо въ этомъ отношеніи укоряютъ Сенеку. Такая рѣчь предполагаетъ слишкомъ большую обработку; она показываетъ писателя, занятаго болѣе словами, нежели мыслями. При этомъ эта фигура тогда только имѣетъ естественную красоту, когда противоположныя мысли почерпнуты изъ самаго предмета, для чего необходимо разсматривать объемъ и содержаніе понятий. Въ этомъ случаѣ противоположеніе сообщаетъ описываемому предмету большую ясность и опредѣлительность. Вотъ примѣры противоположеній, останавливающихъ вниманіе на изображаемыхъ предметахъ. Въ *Карамзинѣ*: «Русскіе гибнутъ; Новгородцы богачеютъ. Русскіе считаютъ язы свои; Новгородцы считаютъ златыя монеты.» Въ *Платоновой* рѣчи на коронованіе Императора Александра I встрѣчаемъ поразительное противоположеніе: «Сей вѣнецъ на главѣ Твоей есть слава наша — но Твой подвигъ. Сей скипетръ есть нашъ покой — но Твое бдѣніе. Сія держава есть наша безопасность — но Твое попеченіе. Сія порфира есть наше огражденіе — но Твое ополченіе. Вся сія утварь Царская есть нашъ утѣшеніе — но Тебѣ бремя.»

(*) «Если ты будешь жить, слѣдуя природѣ, то никогда не будешь бѣденъ; если же ты будешь слѣдовать прихотямъ, то никогда не будешь богатъ.»

Въ *Державинъ*:

»Я Царь — я рабъ — я червь — я богъ.«

»Сегодня богъ — а завтра прахъ.«

»Гдѣ столъ былъ лстѣвъ — тамъ гробъ спонилъ.«

Есть еще другой родъ противоположенія, котораго достоинство состоитъ въ томъ, чтобы поразить насъ внезапнымъ контрастомъ предметовъ: такое противоположеніе прилично только сочиненіямъ шуточнымъ, и не можетъ имѣть мѣста въ сочиненіи важномъ. Въ эпиграммахъ оспрошеною обыкновенно называется такого рода антитеза, которая поражаетъ живымъ и внезапнымъ оборотомъ, придаваемымъ уму; она имѣетъ удачу, чѣмъ короче.

Сравненіе и противоположеніе, какъ обороты рѣчи умѣренные, способствуютъ изобразительности. Они суть произведенія воображенія, а не страсти. Но *вопрошеніе* и *воскликаніе*, о которыхъ слѣдуетъ говорить, относясь къ выраженіямъ страсти; они служатъ одушевленіемъ и простаго разговора, и ораторской рѣчи. Назначеніе вопрошенія — представить повѣствованіе въ дѣйствіи, и имѣть его одушевить. Когда мы взволнованы спрашью, то представляемъ въ видъ вопроса все, что намѣрены утверждать или отрицать. Такъ Платонъ въ прислупъ рѣчи, произнесенной при священномъ коронованіи Императора Александра I, употребилъ слѣдующее вопрошеніе: »Что же теперь возглаголемъ мы, что сошворимъ, о Россійскіи сынове? Возблагодаримъ ли Вышнему Царю Царей за такое о любезномъ Государѣ нашемъ и о насъ благоволеніе? И мы благодаримъ всеусердѣйше. Возслемъ ли къ Нему моленіи, да добротъ сей подасъ силу? И мы мо-

лимъ Его всею вѣрою нашею. Приведемъ ли что-либо въ даръ Господу? И Опъ благихъ нашихъ не пребудетъ; а и сей самый вѣнецъ, и скипетръ, и державу, и Россію, и всѣхъ насъ, и сердца, и утробы приносимъ Ему, и вручаемъ Ему. Привѣтствовать ли Ваше Императорское Величество съ симъ облеченіемъ славы? И мы привѣтствуемъ всеподданнѣйше. Изъявлять ли намъ Вашему Величеству свое усердіе и вѣрность? И мы то свидѣтельствуемъ предъ лицомъ неба и земли, предъ лицомъ сего алшаря, и предъ лицомъ Бога и Ангеловъ Его. Пожелаемъ ли Вашему Императорскому Величеству счастливаго и долготѣшняго царствованія? О! забвенна буди десница наша, аще не всегда будемъ оную воздѣвать къ небесамъ въ жару моленій нашихъ. Молишься ли, да Богъ Самъ управляетъ Тобою, просвѣщая мысль и удобряя сердце? О! прильпни языкъ нашъ къ гортани нашей, аще на что другое онъ будетъ обращенъ, а не на шакковыя токмо моленія. Паси ли намъ предъ престоломъ величества Божія, да находя въ Монархѣ чадолюбиваго Отца, будемъ мы къ нему привержены любовію, яко чада? И мы падаемъ и громко предъ Нимъ вопіемъ: Премудрый художникъ, мы предъ Тобою брѣніе; сотвори изъ сего брѣнія сосуды не въ безчестіе, но сосуды въ честь.»

Вопрошеніе часто встрѣчается и въ разсужденіяхъ, не возбуждающихъ сильныхъ ощущеній; но восклицаніе можетъ только приличествовать душѣ, сильно потрясенной удивленіемъ, внезапностью, гнѣвомъ, радостью, горестію и другими страстями. Державинъ въ одѣ на возвращеніе Зубова, размышляя о томъ, что никогда не поздно учиться и исправлять поступки юныхъ лѣтъ,

и чѣмъ истинное благородство соспѣишь въ признаціи надъ собою превосходяща, вдругъ неожиданно возмашаешь:

»Смотри какъ въ ясный день, какъ въ бурѣ
Суворовъ твердъ, великъ всегда.
Сступай за нимъ — небесъ въ лазурѣ
Еще горитъ его звезда!«

Или Карамзинъ въ мысляхъ, избранныхъ изъ Экклесіаста, рассуждая о бренности всего земнаго и суепахъ здѣшняго міра, восклицаетъ:

»Какъ жизнь для смертнаго мѣтежна!
И мы еще желаемъ жить!
Какъ слава наша не надежна!
И мы хотимъ мечтамъ служить;
Любимъ, чего любимъ не должно —
Ищемъ, чего найти не можно!
Несчастный, слабый человекъ!«

Сюда же принадлежитъ *моленіе*, или фигура, въ кошорой говорящій прибѣгаетъ къ молившимся и слезамъ. Таковы всѣ умилопсихительныя и очистишельныя псалмы Боговдохновеннаго Пророка, составляющіе наше питаніе духовное, умилишельное успокоеніе духа, въ сей жизни нерѣдко возмущаемаго. Проповѣдники также молящъ Бога о ниспосланіи благодати въ услышаніе проповѣдуемыхъ истинъ. Поэтъ, въ размышленіи по случаю грома, съ чувствомъ благоговѣнія восклицаетъ:

»Всесильный! съ шрепетомъ младенца
Цѣлую я священный край
Твоей молніецѣпной ризы
И — исчезаю предъ Тобой!«

Вопрошеніе, восклицаніе и вообще всѣ фигуры, выражающія спрасхи, дѣйствуютъ на насъ по сочувствію. Сочувствіе, могущественное свой-

ство духа нашего, заставляетъ насъ раздѣлять чувства и спраши другихъ людей. Не испытываемъ ли мы этого сочувствія и въ обыкновенной нашей жизни? Смотришь пристально на человека, являющагося въ общество съ лицомъ, обнаруживающимъ живую радость или сильную горестъ: это самое чувство разливается во всѣхъ присутствующихъ. Та же самая причина воспламеняетъ спраши въ толпѣ собравшагося народа — иногда однимъ взглядомъ, шлодвиженіями. Вопросеніе и восклицаніе суть естественныя выраженія души взволнованной; а потому они должны всегда, если употреблены прилично, располагать насъ къ сочувствію съ тѣми, которые ихъ произносятъ: мы непременно раздѣляемъ съ ними ихъ чувствованія.

Изъ этого слѣдуешь, что главное правило касательно употребленія этихъ фигуръ состоитъ въ изученіи сердца человѣческаго — въ знаніи того, какимъ образомъ выражаемъ свои ощущенія и спраши, когда хотимъ говорить однимъ языкомъ съ природой; но всего болѣе надобно остерегаться не говорить языкомъ спраши, которой мы не чувствуемъ. Съ болѣею свободою, повторимъ еще это замѣчаніе, можно употреблять вопросенія: они имѣютъ мѣсто и въ обыкновенномъ разговорѣ, и въ разсужденіи, даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нельзя предполагать душевнаго волненія. Но гораздо болѣе осторожности требуетъ при употребленіи восклицаній: нѣтъ ничего страшнѣе частыхъ и неумѣстныхъ восклицаній. Молодые, неопытные писатели воображаютъ, что, повторяя ихъ часто, они придаютъ сочиненіямъ своимъ болѣе силы; но не рѣдко производятъ совсѣмъ противоположное дѣйствіе: они только охлаждають читателей. Если писатель безпрестанно хочетъ дѣйствовать на наши спра-

спн, ничего не представляя намъ прогашельнаго, то онъ возбуждаетъ одно только негодованіе; не возбуждаетъ въ насъ сочувствія. Покажи намъ спраспъ свою, и мы примемъ въ ней участіе. Вообще эти обороты рѣчи предполагаютъ сильное движеніе духа; чтобъ выполнить ихъ, нужна живость воображенія и свѣжестъ чувства: тогда только мы повѣримъ, что описываемое происшествіе происходитъ передъ нами. Въ противномъ случаѣ, они раздѣляютъ участъ всѣхъ бесплодныхъ усилій для выраженія спраспи: даютъ писателю спранный видъ ложнаго воспора, а читателя оставляютъ хладнокровнымъ и равнодушнымъ. Тѣ же замѣчанія должно сдѣлать и о повтореніи, умолчаніи, поправленіи и другихъ фигурахъ: онѣ придаютъ рѣчи изыщество, когда представляютъ естественныя выраженія чувства или спраспи. Пусть природа сама выражается; фигуры являясь незваныя. Но кто прищворно думаешь произвести ощущение, котораго самъ не имѣешь, тогда какими фигурами не въ состояніи замѣнить чувства.

Часто употребляется, особенно въ красно-рѣчи, такъ называемое *распространеніе*. Эта фигура состоитъ въ искусномъ преувеличеніи всѣхъ обстоятельствъ, относящихся къ предмету или къ дѣйствию, которыми мы хотимъ произвести впечатлѣніе. Это удачное употребленіе нѣсколькихъ фигуръ, обращенныхъ къ одной цѣли. Здѣсь нуженъ выборъ выраженій, которыя бы увеличивали или уменьшали значеніе правильнымъ исчисленіемъ обстоятельствъ, или представленіемъ ихъ въ одной группѣ.

Но лучший способъ для произведенія этого дѣйствія есть *восхожденіе* — когда вся изображе-

пія восходять поспепенно, пока писатель не достигнешъ высшей степени одушевленія. Восхождение выражаешъ или поспепенность въ ходъ ума, происходящую отъ размъщенія мыслей, изъ которыхъ послъдующая болъе и болъе развиваешъ предъидушую; или поспепенность выражений, производящую сильнѣйшее впечатлѣніе. Такого слъдующее восхождение у Ломоносова въ Вечернемъ размышленіи о Божіемъ величіи:

«Сомнѣній половъ вашъ отвѣтъ
О томъ, что окрестъ ближнихъ мѣстъ:
Скажишежъ, коль пространенъ свѣтъ?
И что малѣйшихъ далъ звѣздъ?
Несвѣдомъ шварей вамъ конецъ:
Скажишежъ, коль великъ Творецъ?»

Въ заключеніе замъшимъ, что правильныя восхожденія, не смотря на все свое достоинство, кажутся иногда искусственными: въ употребленіи ихъ нужна умѣренность. Простое изложеніе обстоятельствъ можетъ произвести сильнѣйшее убъжденіе, нежели восхожденія; потому что искусство, обнаруженное въ писателѣ, заставляетъ насъ не довѣрять оболъщительности краснорѣчія. Ораторъ долженъ прежде обдумать предметъ свой, и силою доказательствъ показати истину главнаго предложенія или умозаключенія. Приобрѣтши довѣренность слушателей или читателей, можетъ онъ употребити искусственныя обороты рѣчи, для усиленія убъжденія и возбужденія живѣйшихъ чувствованій.

ЧТЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Значеніе слога и его различіе. — Внутреннія качества изычнаго слога, выражающія господствующую способность и характеръ писателя: краткость, обиліе. — Внѣшнія качества изычнаго слога, зависящія собственно отъ способа выраженія: красивость, цвѣтнность.

До сихъ поръ мы говорили объ изычномъ построеніи рѣчи, согласномъ съ общими законами изычнаго, и проявляющемся въ изобразительности и одушевленіи. Но какъ изычное въ опилвахъ своихъ представляетъ разнообразіе отъ дѣйствія душевныхъ способностей: отъ того каждый человекъ имѣетъ свой особенный способъ выраженія и въ словѣ. Этоотъ особенный способъ выраженія въ изычномъ словѣ называется *слогомъ*. Рѣчь сама по себѣ иногда бываетъ совершенно правильная; но слогъ, которымъ изображается характеръ писателя, можетъ быть неизыченъ. Сухость и напыщенность, влосность и принужденность, обиліе и краткость — все это зависитъ непосредственно отъ способностей писателя. Въ слогъ видны мысли его, самое рожденіе ихъ и развитіе. При разборѣ писателей, вы читаете въ слогъ всю внутреннюю жизнь ихъ: это ихъ формы, въ которыхъ опилваются мысли, приходя въ явленіе посредствомъ слова. Въ слогъ обнаруживается даже характеръ народовъ, страны, климата, правовъ, образа жизни. Восточные жители любятъ украшенія: ихъ слогъ исполненъ метафорами и гиперболами. Слогъ Аѳинявъ, просвѣщеннѣйшаго

народа въ древности, простъ, щочень, ясень. Въ слогъ различныхъ народовъ Европы видны также различные опшѣнки образованія и красоты. Сполъ цѣсная связь между словами и мыслями, которыя выражающся въ словахъ! — Опличительное свойство писателя въ мышленіи и выраженіи напечатлѣвается на слогъ. Опъ того названія слога: сильный, слабый, сухой, простой, украшенный и другія, означающъ дарованія писателей, изображающіяся въ ихъ способъ выраженія.

Какъ же согласить различный способъ выраженія писателей, зависящій опъ ихъ дарованій, съ различіемъ предметовъ, которое также пребуешь особенностей? Философское сочиненіе не можетъ бытъ излагаемо слогомъ ораторской рѣчи; даже различные частіи одного и того же сочиненія пребующъ различія въ слогъ. Такъ въ ораторской рѣчи заключеніе допускаетъ болѣе украшеній и воспора, нежели частъ доводовъ. Не смотря на это разнообразіе, зависящее опъ предметовъ и содержанія сочиненія, всегда находимъ у самобытныхъ писателей единство слога, единство характера, изображающагося въ слогъ. Опличительныя свойства каждаго обнаруживающся въ слогъ сполъ же рѣзко, какъ выражающся они въ глазахъ, во всѣхъ движеніяхъ. Рѣчи Тита Ливія представляющъ слогъ, опличный опъ прочихъ часпей его Исторіи, равно какъ и рѣчи Тацитовы; однако въ обонхъ писателяхъ открываемъ особенныя свойства: въ одномъ обиліе и великолѣпіе, въ другомъ — краткосость и силу. Въ рѣчахъ Цицерона за законъ Маниліевъ и прошивъ Капилины, не смотря на различіе предметовъ, не смотря на различный ихъ тонъ, видны и одинъ

художникъ, и одна опѣлка. Истинный талаптъ запечатлѣваетъ всѣ творенія своимъ характеромъ, ему только свойственнымъ. Напротивъ, когда сочиненіе не выражаетъ особаго характера, заключающаго, что писатель не самобытенъ, что онъ подражаетъ. Знаменитыхъ живописцевъ узнать можно по кисти: такъ по слогу узнають оплечныхъ писателей,

Древніе различали въ слогъ нѣсколько родовъ. Діонисій Галикарнаскій принимаетъ три рода: *сильный, цвѣтушій и средний*. Подъ слогомъ сильный онъ разумѣетъ способъ выраженія спремительный, но небрежный въ отношеніи къ украшеніямъ и изяществу. Такой слогъ находятъ онъ въ Эсхилѣ, Пиндарѣ и Ѳукидидѣ. Слогомъ цвѣтушщимъ называетъ онъ способъ выраженія текущій, украшенный, въ которомъ сила замѣняется благозвучіемъ и изящствомъ. Таковъ слогъ Гезіода, Сафы, Анакреона, Эврипида, въ особенности Исократъ. Третій родъ слога занимаетъ средину между эпѣми крайностями, занимая красоты того и другаго рода. Къ этому роду слога причисляютъ онъ творенія Омира, Софокла, Геродота, Димосгена, Платона и Аристотеля. Последний родъ у Діонисія Галикарнаскаго неопредѣленный, слишкомъ обширный; потому что Платонъ и Аристотель по слогу чрезвычайно между собою различны (*). Цицеронъ и Квинтилианъ также принимаютъ три рода слога; но ихъ раздѣленіе имѣетъ совершенно другое основаніе. Большая часть новыхъ писателей слѣдуетъ ихъ раздѣленію, различая слогъ простой (*simplex, tenue*), высокій (*grave, vehemens*) и умеренный (*medium, temperatum genus*)

(*) *Περὶ συνθέσεως ὀνομάτων*, гл. 25.

dicendi). При всей неопредѣленности эпитъ раздѣленій, очевидно, что Греческіе и Римскіе писатели различали слогъ по характеру поэтовъ и ораторовъ, видѣли въ слогъ выраженіе господствующей способности, или силы судишельной, или воображенія, или чувства.

Если подѣ слогомъ разумѣть должно выраженіе господствующей способности писателя; то слѣдуетъ оплнчать въ слогъ качества *внутреннія* и *внѣшнія*. Первые относятся къ самому мышленію, вторые къ выраженію. Въ первомъ отношеніи представляются два рода слога: *краткій* и *обильный*. Писатель краткій выражаетъ мысли свои по возможности немногими словами; избираетъ слова выразительнѣйшія, опмешаетъ всякое выраженіе, не прибавляющее къ мысли ничего существеннаго. Здѣсь умъ какъ бы сосредоточиваетъ разнообразіе въ единство. Что касается до украшеній, то здѣсь они также употребляются: эпосъ слогъ допускаетъ теплому чувства и картины воображенія; но всѣ украшенія его болѣе содѣйствуютъ силѣ, нежели изяществу рѣчи. Писатель сжатый никогда не представляетъ одной мысли въ двухъ выраженіяхъ. Онъ даетъ мысли своей краску разительнѣйшую; но если вы не обнимаете мысли въ одномъ выраженіи, вы болѣе не воспримите ея въ другомъ. Всѣ предложенія и періоды кратки; расположеніе ихъ не столько красивое и благозвучное, сколько сильное. Въ краткомъ слогъ выразительность — главный предметъ; здѣсь читатель или слушатель должны сами многое дополнять. Этому слогу преимущественно соотвѣтствуетъ рѣчь отрывистая.

Напротивъ, слогъ обильный представляетъ каждую мысль въ полномъ развншн, показываетъ

ее съ разныхъ споронъ, въ различныхъ выраженіяхъ, не предоставляя ничего собственному размышленію читателя или слушателя. Эпосъ слогъ показываетъ умъ, стремящійся единственно мысли разложить на возможное разнообразіе ея явленій. Обильный писатель не заботится о возможной силѣ выраженія; впечатлѣніе, имъ производимое, вознаграждается повтораемъ одной мысли — здѣсь обиліе замѣняетъ силу. Эпосъ слогъ обыкновенно отличается великолѣпіемъ, распространеніемъ каждаго выраженія. Отсюда происходитъ, что въ писателяхъ этого рода находимъ чаще рѣчь періодическую, роскошь во всѣхъ украшеніяхъ.

Каждый изъ эпическихъ двухъ родовъ слога имѣетъ свои выгоды; но крайности того и другого равно погрѣшительны. Излишняя краткость производитъ шемному и жесткость; иногда выраженія этого рода слога кажутся изысканными, трудными для разумѣнія. Съ другой стороны, слогъ слишкомъ обильный становится вялымъ и слабымъ. Вообще эпосъ и другой родъ выраженія зависятъ отъ душевныхъ способностей писателя; но и въ краткомъ слогѣ, и въ обильномъ можно быть изящнымъ. Здѣсь не лѣзя уже указывать на опривки изъ сочиненій; слогъ изучается изъ чтенія полныхъ сочиненій самобытныхъ писателей. Разительными образцами краткаго слога представляются изъ древнихъ Аристоель и Тацитъ. Никого не найдемъ бережливѣе ихъ на слова; но эта краткость иногда затемняетъ мысли. Совершенно противоположны имъ Платонъ и Цицеронъ. Слогъ Римскаго вишіи можно принять за образецъ слога блистательнаго и великолѣпнаго.

Изъ двухъ родовъ слога которому же отдадимъ преимущество? Здѣсь должно обращать вниманіе на самый предметъ сочиненія. Рѣчи, которыя обыкновенно произносятся, требуютъ слога болѣе обильнаго, нежели сочиненія, назначаемыя для чтенія. Тамъ не прилична излишняя краткость, гдѣ слушатель долженъ ловить каждое выраженіе оратора, и не можетъ возвратиться въ другой разъ къ той мысли, которая показалась не совсѣмъ ясною. Ораторъ не въ правѣ ожидать отъ слушателей такой же быстроты въ соображеніи его мыслей, съ какою самъ онъ можетъ представлять ихъ, по долгому размышленіи; должно такъ излагать мысли свои, чтобы и самыя медленные умы были въ состояніи за нами слѣдовать. Потому-то всѣ, назначающіе себя для рѣчей ораторскихъ, должны предпочитать слогъ обильный, избѣгая только плодовитости утомительной. Такъ всегда бываетъ съ тѣми, которые одну и ту же мысль повтораюць нѣсколько разъ, представляя ее съ различныхъ сторонъ.

Въ сочиненіяхъ, назначаемыхъ для чтенія, краткость въ извѣстной степени представляетъ большія выгоды. Отъ нея слогъ бываетъ живѣе; вниманіе постоянно поддерживается; впечатлѣніе производится быстрое и глубокое; эта напряженность духовная доставляетъ величайшее наслажденіе. Чашо мы соглашаемся съ мыслью, растянутою на нѣсколько выраженій, но она не поражаетъ насъ; выразишь ее кратко, и тою же мыслью мы любуемся, той же мысли удивляемся. Хотите вы, чтобы описаніе ваше казалось живымъ и одушевленнымъ: будьте кратки. Многіе думаютъ, что въ описаніяхъ можно распространяться, и что отъ обильнаго слога они получаютъ богат-

ство и выразительность. Напротивъ, слишкомъ обильныя описанія всегда слабы. Слова и предложенія непужныя запрудняютъ воображеніе, представляющъ излагаемый предметъ сбивчиво и неразвѣльно. Смотриште на художественныя описанія Омира, Тацита: они кратки, быстры. Одно рѣзкое воззрѣніе ихъ открываетъ въ предметъ болѣе мыслей, нежели вялое указаніе на всѣ стороны этого предмета. Сила и живость описанія зависятъ не столько отъ множества открываемыхъ сторонъ въ предметъ, сколько отъ выбора одной или двухъ изъ нихъ, болѣе поразительныхъ.

Говорите ли вы спростимъ: поже должны предпочитать слогу сжатый обильному. Здѣсь плодovitость слога опасна; потому что трудно выдержать извѣстную степень теплоты чувства въ продолженіе нѣкотораго времени. Кто любитъ слишкомъ распространяться въ рѣчахъ своихъ, тотъ скоро можетъ охладить читателя или слушателя. Дѣйствіе чувства и воображенія быстро: однажды приведенныя въ движеніе, они представляютъ уму множество подробностей, которыя не произведутъ сильнаго дѣйствія, если будутъ высказаны самимъ писателемъ. Но не такъ говорятъ, когда обращаются къ разсудку, когда хотѣтъ объяснять, поучать. Здѣсь должно предпочитать способъ выраженія обширнѣйшій и болѣе развитый. Хотите вы пронуть сердце, поразить воображеніе: будьте кратки. Но когда вы должны разлить свѣтъ въ понятія, требующихъ постепенности въ изслѣдованіяхъ: старайтесь выразиться обильно. Повѣствованія могутъ равно допускать способъ выраженія краткій и обильный, смотря по гению писателя. Такъ слогъ Геродота и Тита Ливія обильный; слогъ Фукидида

и Саллюстія крашкій — по всѣхъ ихъ мы читаемъ съ восхищеніемъ.

Мы замѣтили, что обильный слогъ вообще допускаетъ болѣе длинные періоды, а слогъ крашкій предпочитаетъ предложенія отрывистыя. Изъ этого однако не слѣдуетъ, что длинные періоды и отрывистыя предложенія служатъ отличительными признаками слога обильнаго и крашкаго. Можно выражаться крашкими предложеніями, и вмѣстѣ съ этимъ быть чрезвычайно растянутымъ; потому что немногія мысли можно распространить на множество краткихъ предложеній. Въ примѣръ можно привести Сенеку: съ перваго взгляда крашкія предложенія его могутъ показаться свойствомъ сжатого слога; но разсмотрѣте его внимательнѣе: вы найдете, что онъ одну и ту же мысль представляетъ въ разныхъ видахъ — одну и ту же мысль повторяетъ, какъ мысль новую, облекая ее только въ новое выраженіе. Отъ краткихъ предложеній слогъ бываетъ живъ и легокъ, но не всегда сжатъ. Производя на умъ нѣсколько быстрыхъ впечатлѣній, они оживляютъ его; отъ этого и слогъ становится одушевленнымъ. Напротивъ, длинные періоды придаютъ слогу важность и величіе; но отъ нихъ умъ скоро устаетъ. Должно перемѣшивать длинные періоды съ крашкими предложеніями, чтобъ соединить величіе съ живостью; и другіе должны въ свою очередь встрѣчаться, смотря по тому, пребудетъ ли предметъ болѣе важности, или живости.

Съ слогомъ обильнымъ и краткимъ часто смѣшивается слогъ *слабый и сильный*. Дѣйствительно эти роды слога иногда сливаются. Писатели, слишкомъ расплывающіе мысли свои, обнаруживаютъ въ слогѣ вялость; наоборотъ, писатели,

которые любятъ преимущественно краткость, бывають вмѣстѣ и сильны. Но это не законъ неизмѣняемый: можно указать такихъ писателей, которые съ обильнымъ слогомъ соединяють и силу. Типъ Ливій служитъ въ эпосѣ примѣромъ. Очевидно, что сила и вѣлость слога зависятъ отъ мышленія писателя: поэтому, кромѣ краткости и обилія, къ внутреннимъ качествамъ слога принадлежатъ вѣлость и сила. Сильно обнимаетъ писатель предметъ свой, сильно будетъ и его выраженіе. Но если представленія предмета въ самомъ писателѣ сбивчивы; если его собственныя идеи слабы и не точны; если, по свойству дарованій своихъ, самъ писатель неразительно представляетъ то, что намѣренъ передать другимъ: слогъ его запечатлѣется всѣми этими качествами. Въ немъ найдемъ слова и эпитеты лишніе, неприбавляющіе никакой мысли; всѣ выраженія его будутъ невѣрны и неопредѣленны; строеніе рѣчи выйдетъ слабое и сбивчивое; мы будемъ угадывать его мысли, но останемся съ понятіями темными и неполными. Напротивъ, писатель сильный, будетъ ли слогъ его сжатый, или плодovitый, всегда произведетъ впечатлѣніе, одинакое съ живою его мыслию; онъ обыкновенно весь занятъ предметомъ своимъ, всѣ слова его выразительны; каждое его предложеніе и каждый оборотъ придають картинѣ новую живость и окончанность.

Говоря о слогѣ краткомъ и обильномъ, мы замѣтили, что писатель, не лишая сочиненія своего красоты естественныхъ, можетъ преимущественно пользоваться тѣмъ или другимъ родомъ. Нельзя того же сказать о силѣ и вѣлости слога. Какой бы ни былъ родъ сочиненія, должно всегда стараться о силѣ выраженія; гдѣ вѣдость слога,

тамъ посредственности дарованій. Правда, что не вся роды сочиненій шребуютъ силы въ одинакой степени: чѣмъ они важнѣе и возвышеннѣе, тѣмъ болѣе приличенъ имъ эпическій характеръ. Мѣсто эпическаго слога преимущественно въ исторіи, философіи, въ рѣчахъ орапорскихъ. Совершеннѣйшій образецъ сильнаго слога представляютъ рѣчи Демосфена.

Но самыя лучшія качества обращаются въ погрѣшность, если доходимъ до крайности. Кто единственно заботился о силѣ, не соединяя ее съ другими достоинствами, шогъ иногда становился жесткимъ. Жесткость происходила болѣею частію отъ словъ неуношребительныхъ, оборотовъ принужденныхъ и отъ совершеннаго пренебреженія легкостию и пріятностию рѣчи. Эпическій недостатокъ мы встрѣчаемъ въ писателяхъ нашихъ истекшаго столѣтія: въ нихъ много силы; но языкъ ихъ оплываетъ отъ нашего языка; часто рѣчь ихъ построена по словорасположенію Лашинскому. Можетъ быть, языкъ нашего времени жертвуетъ силою легкости и ясности; но уношребленіе милліоновъ должно быть въ языкъ законъ.

До сихъ поръ мы говорили о слогѣ только въ отношеніи къ внутреннимъ качествамъ писателя; рассмотримъ внѣшнія качества слога, или различныя степени украшеній выраженія. Въ эпическомъ отношеніи слогъ представляетъ различныя степени, зависящія отъ различныхъ степеней воображенія: онъ бываетъ *сухой, чистый, пріятный, красивый, цѣлестный*. Разберемъ каждый изъ этихъ родовъ.

Слогъ *сухой* не допускаетъ никакихъ украшеній: писатель, выражающійся эпическимъ слогомъ, спазрается только о ясности, не заботясь ни о

картиннахъ воображенія, ни о благозвучіи. Эпоть слогъ можешъ имѣшь мѣсто въ сочиненіяхъ дидактическихъ; но онъ тогда только сносенъ, когда въ сущности мысли основательны и выраженія совершенно ясны. Аристошель представляетъ примѣръ эпюго рода слога. Ни въ одномъ писателѣ не выдержана столь строга дидактическая точность, сколько въ Аристошелѣ; никто болѣе его не содѣйствовалъ распространенію наукъ, воздерживаясь отъ всякаго рода украшеній. Одаренный умомъ глубокимъ, съ обширнѣйшими свѣдѣніями для своего времени, Аристошель пишетъ какъ чистый умъ, безъ всякаго участія воображенія, и обращается только къ уму. Впрочемъ эпюму слогу не должно подражать: безъ сомнѣнія, существенныя достоинства вознаграждаютъ сухость и жесткость; однако эпю недостатокъ, упоминательный для вниманія, представляющій мысли наши съ невыгодной стороны.

Слогъ чистый одною степеню выше слога сухаго. Въ немъ также сила — главное свойство; украшеній очень мало. Впрочемъ, если чистый слогъ не заботится объ украшеніяхъ, о благозвучіи; по крайней мѣрѣ онъ избѣгаетъ сухости и жесткости. Въ эпюмъ слогъ правильность и точность языка всегда соблюдены; эпю уже весьма важный родъ красоты. Чистому слогу свойственны сила и живость. Въ слогъ сухомъ никогда вы не встрѣшите украшеній; писатель по видимому не знаетъ объ ихъ возможности: напропивъ, слогъ чистый употребляетъ умеренно украшенія, не стараясь ихъ изыскивать. Здѣсь мысль передается ясно, опредѣлительно; украшенія въ эпюмъ слогъ не всегда употребляются, или потому что почитаются ненужными для излагаемаго предмета, или

потому что они не согласуются съ дарованіями писателя. Образцомъ слога чистаго можетъ служить Юлій Цезарь. Въ немъ вы не найдете много украшеній: они казались ему ниже его достоинства. Онъ выражается ясно, всегда съ такою твердостью, съ какою говоритъ человекъ, увѣренный въ истиннѣ словъ своихъ, и не думающій о томъ, нравится ли онъ, или не нравится. Предложенія его и періоды располагаются небрежно въ отношеніи къ благозвучію, но правильно въ отношеніи къ ясности. Метафоры и другія украшенія встрѣчаются у него какъ бы незваные; но онъ у Цезаря, кромѣ приятности, придаютъ слогу особенную живость. Вообще чистый слогъ увлекателенъ у нного писателя, въ которомъ важность предмета и сила мыслей поддерживаютъ вниманіе.

Обращаемся къ слогу *приятному*. Это еще не возвышенный и блестящій слогъ, не выраженіе пламеннаго воображенія, но слогъ, ошлщающійся выборомъ словъ и расположеніемъ. Въ предложеніяхъ этого слога чистота — ни одного слова лишняго; предложенія перемѣшаны съ періодами, окончанія вѣрныя. Благозвучіе рѣчи нензисканное, однако разнообразное. Обороты, украшеннаго языка краткіе и правильные, но не блестящіе и не смѣлые. Для этого слога не требуется цвѣтущее воображеніе; достаточно внимательности къ соблюденію правилъ искусства. Этотъ слогъ нравится тѣмъ, что придаетъ сочиненіямъ характеръ возвышенности и рассыпаетъ умѣренно цвѣтныя украшенія, приличные всѣмъ родамъ предметовъ. Онъ имѣетъ мѣсто въ письмѣ и въ разсужденіи; предметы сухіе покрываетъ свѣжими красками.

Красивый слогъ допускаетъ еще болѣе украшеній. Такъ обыкновенно называется слогъ, въ

концеромъ находимъ всѣ роды украшеній, только безъ излишества и изысканности. Изъ предъидущаго очевидно, что совершенное изящество предполагаетъ ясность, правильность и чистоту въ выборѣ словъ, благозвучное ихъ расположеніе; здѣсь воображеніе столько придаетъ красотъ, сколько позволяетъ самый предметъ. Таково вообще дѣйствіе языка украшеннаго, если мы умѣемъ имъ пользоваться. Писатель красивый нравился воображенію и слуху, а вмѣстѣ съ этимъ просвѣщаетъ умъ; съ достоинствомъ мысли соединяетъ онъ красоту выраженія. Цицеронъ въ письмахъ своихъ, въ Тускуланскихъ бесѣдахъ, можетъ служить образцомъ.

Украшенія излишнія, не соответствующія предмету, поражающія ложнымъ блескомъ — вопшъ опличительные признаки слога *цветистаго*. Это слогъ юности. «Пусть въ юности будетъ обиліе», говоритъ Квинтилианъ; «много отъ этого обилія убавится лѣтами, многое убавитъ разсудокъ, самое упражненіе обрѣжетъ излишки; былобъ только, изъ чего вырѣзывать и выработывать. Смѣлостъ свойственна этому возрасту: пусть юноша изобрѣтаетъ и упѣшается своими изобрѣтеніями, хотя не совсѣмъ зрѣлыми и правильными. Легко помочь обилію; но безплодія никакимъ трудомъ нельзя вознаградить (*)». Если цвѣтистый слогъ допускается въ первыхъ опытахъ юности; то

(*) «Volo se efferat in adolescente foecunditas; multum inde dequoquent anni, multum ratio limabit, aliquid velut usu ipso deteretur; sit modo unde excidi possit quid et exculpi. — Audeat haec aetas plura et inveniatur, et inventis gaudeat; sint licet illa non satis interim sicca et severa. Facile remedium est ubertatis; sterilia nullo labore vincuntur.

онъ не позволителенъ въ лѣтахъ зрѣлыхъ. Съ развитіемъ разсудка, воображеніе становится умѣреннѣе, опшметаетъ безполезныя украшенія, непримѣчныя предмету и не придающія ему ясности. Лишнія прикрасы въ иныхъ писателяхъ несносны, если состоятъ только въ наборѣ словъ, а не въ картинныхъ воображеніяхъ. До сихъ поръ многіе думаютъ, что можно безъ дарованій украсить сочиненіе поэтическими выраженіями, восклицаніями и другими фигурами. Но въ украшеніяхъ слога, равно какъ и въ украшеніяхъ всякаго рода, попребна умѣренность; умъ съ соединитъ ихъ съ сущностью дѣла — есть тайна великихъ писателей. Ложный вкусъ ослѣпляется блескомъ скоропреходящимъ; но вкусъ истинный восхищается сущностью предмета. — Не рѣдко читаемъ мы роскошныя описанія, напыщенныя выраженія, непрерывныя метафоры: все это признакъ скудости мыслей и ложнаго направленія вкуса. »Надобно«, по словамъ Понсе, »опъ звуковъ обращать вниманіе на вещи, опъ воображенія переходишь къ сердцу.« Этимъ совѣтъ опытнаго писателя предостерегаетъ насъ опъ вычурныхъ украшеній слога, съ нѣкошораго времени у насъ часто въспрѣчаемыхъ; напрошивъ, онъ убѣждаетъ насъ въ той непреложной истинѣ, что основательность мыслей и простота выраженія составляютъ высочайшее достоинство слога.

ЧТЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

Продолженіе о слогахъ. — Слогъ естественный, принужденный, сильный. — Средства къ совершенствованію слога.

По изслѣдованіи общихъ свойствъ слога и видовъ его, рассмотримъ эпохъ предметъ съ другой точки зрѣнія. Прежде всего остановимся на простомъ, которой противопоставляется принужденность. Часто говорятъ о простомъ, какъ объ особенномъ свойствѣ сочиненій; но это слово, вмѣстѣ со многими другими, употребляется въ Словесности неопредѣленно. Это происходитъ отъ того, что проста принимается въ различныхъ значеніяхъ. Объяснимъ здѣсь слово «проста» въ значеніи характера слога.

Проста иногда приписывается сочиненіямъ, въ противоположность многосложности частей. Къ этой-то простотѣ относился совѣтъ Горациевъ:

«Denique sit quodvis simplex duntaxat et unum.»

Такъ въ трагедіи проста плана противопоставляется двойной завязкѣ, или излишеству постороннихъ обстоятельствъ. Такова проста Иліады и Энеиды, противопоставляемая отступленіямъ Лукановой Фарсалиды и отдѣльнымъ повѣствованіямъ Аріоста; или проста Греческой Архитектуры противопоставляется многосложности

Готической. Въ этомъ значеніи простота по-
жественна съ единствомъ.

Простою называется мысль, въ противополо-
жность изысканности. Мысль въ первомъ слу-
чаѣ рождается естественно изъ сущности пред-
мета; такую мысль сподѣть только выразить —
и всякой легко ее пойметъ. Изысканность въ
сочиненіи показываетъ мысли, неестественно исте-
кающія изъ началъ; это особенный рядъ идей,
прекрасныхъ въ извѣстныхъ предѣлахъ, но отзы-
вающихся шажкомъ прудомъ, смѣшанныхъ, вычур-
ныхъ. Цицероновы мысли о нравственныхъ предме-
тахъ естественны, просты; мысли Сенекины
изысканны. Это значеніе простоты, равно какъ
и предыдущее, не имѣетъ никакого отношенія
къ слогу.

Наконецъ называется слогъ простымъ, въ
противоположность излишнимъ украшеніямъ. Въ
этомъ значеніи Цицеронъ и Квинтилианъ называютъ
одинъ изъ родовъ краснорѣчія простымъ (*simplex,*
tenue, aut subtile genus dicendi). Здѣсь значеніе
простоты пожественно съ простою слога.

Но есть еще свойство слога, относящееся
не столько къ степени украшенія, сколько къ
естественному способу выраженія мысли. Это
свойство допускаетъ всю роскошь украшеній.
Омиръ служилъ образцомъ такой простоты, пред-
ставляющей вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ возможныя укра-
шенія. Слѣдуетъ, что простота слога противо-
полагается не украшеніямъ, а изысканности укра-
шеній, обнаруживающей трудъ, искусственность.
Такая простота слога есть одно изъ достоинствъ
во всякомъ родѣ сочиненій. Писатель, выражаю-
щійся просто, обыкновенно пишетъ столь легко,

что каждый писатель надѣется самъ точно также писать. Объ этомъ-то свойствѣ Гораций говоритъ:

. . . . Ut sibi quivis
Speret idem; sudet multum, frustra que laboret
Ausus idem.

Въ выраженіяхъ такого писателя не примѣтно искусственности: это языкъ природы; въ этомъ слогъ не видѣнъ трудъ писателя, но въ немъ видѣнъ человѣкъ съ врожденнымъ дарованіемъ. Онъ можетъ быть роскошенъ въ украшеніяхъ, или въ изображеніяхъ фантазіи; но все это богатство выраженій рождается безъ малѣйшаго усиленія; по вѣчному, онъ пишетъ такимъ образомъ по естественному способу выраженія, а не по правиламъ науки. Этому слогу свойственна даже нѣкоторая небрежность; и на оборотъ, онъ чуждается мелочной взыскательности въ словахъ. «Пусть въ писателѣ», замѣчаетъ Цицеронъ, «выказывается нѣжность и небрежность приятная, заботливость больше о мысли, нежели о словѣ (*).» Красота простаго слога, равно какъ красота естественности въ обращеніи, состоятъ въ томъ, что въ слогъ видѣнъ характеръ писателя. Напротивъ, изученный способъ выраженія, какими бы красотою онъ ни блисталъ, имѣетъ ту невыгоду, что не выражаетъ въ писателѣ всѣхъ качествъ, отличающихъ его отъ другихъ. Когда читаешь изыскаго писателя, думаешь, что бесѣдуешь у себя дома съ умнымъ человѣкомъ, который свободно раскрываетъ характеръ свой, всю свою душу.

(*) „Habeat ille molle quiddam, et quod indicet non ingratam negligentiam hominis, de re magis quam de verbo laborantis.“

Высшую степень простоты слога называютъ *естественностью*. Трудно съ надлежащею точностью опредѣлить это названіе: оно именно показываетъ характеръ искренній, чистосердечный. Это любезная простота, естественная откровенность какъ бы ставящая насъ выше того, въ комъ мы ее находимъ; это простота дѣльская, которая намъ нравится, обнаруживаетъ такія черты характера, которыя мы не охотно бы открыли. Опъ того чистосердечность невольно заставляетъ насъ улыбаться. Такую естественность находимъ мы особенно въ образцовыхъ древнихъ писателяхъ. Они въ сочиненіяхъ своихъ слѣдовали собственному вдохновенію, не принимали на себя формъ другихъ и не были подражателями. Уже между Римскими писателями, подражавшими Грекамъ, меньше писателей, въ этомъ отношеніи образцовыхъ. Напримѣръ, изъ Греческихъ писателей, въ особенностн Омиръ, Гезіодъ, Анакреонъ, Θεокρίτης, Геродотъ, Ксенофонтъ дышатъ этою простотою, или естественностью. Изъ Римскихъ писателей одни только древнѣйшіе отличаются этимъ свойствомъ, особенно Теренцій, Цезарь. Здѣсь всѣ слова выбраны чрезвычайно удачно; въ нихъ высочайшее изящество, потому что они представляютъ одушевленную картину; и при всемъ этомъ въ слогъ не примѣшны ни искусство, ни трудъ.

Естественность составляетъ главную красоту слога Карамзина. Этотъ писатель научилъ насъ новому языку; онъ первый открылъ намъ красоты роднаго языка, которыя до него загромождены были чуждыми прикрасами. Слогъ его не принадлежитъ къ слогу ораторскому, опъ котораго пребудущая сила, движенія, живопись, блестящіе обороты, правильность въ строеніи предложе-

ній и періодовъ; даже слогъ его иногда непоченъ, слабъ: но это образецъ слога естественнаго, благороднаго. Языкъ нашего времени гораздо богаче, выразительнѣе въ сравненіи съ языкомъ Карамзина; не смотря на это, мы никогда не перестанемъ читать Карамзина, котораго прекрасный по естественности слогъ выражаетъ прекрасную его душу. Непочность и неправильность, какую встрѣчаемъ у него, мы охотно извиняемъ: немногія погрѣшности его искупаются безчисленными красотою. Батюшковъ также отличаетъ естественностью слога. Въ немъ та же легкость, какая въ Карамзинѣ, текучесть и особенное благозвучіе. Періодъ его, какъ и стихъ, сладостенъ. Онъ занимаетъ средину между двумя крайностями — между небрежностью, которая допускается въ слогъ естественномъ, и блестящими украшениями, въ которыхъ естественность облекается. Жуковский безспорно представляетъ совершенный образецъ естественности, въ которой строгѣйшая правильность соединена съ роскошью украшеній. Вотъ писатель, котораго можно избрать за образецъ для подражанія. Рѣчь его чистая и ясная, легкая и благозвучная, приятная и сильная. Слогъ его богатъ языкомъ украшеннымъ; онъ живописенъ и силенъ сравненіями и одушевленіями. Въ немъ однако не примѣтно ни изысканности, ни труда, ни принужденности: вездѣ простота съ изяществомъ. Эти качества слога дышатъ благороднѣйшими чувствованіями, благоговѣйнымъ уваженіемъ къ чистотѣ нравственной.

Всѣхъ эпическихъ писателей охотно читаешь, и не можешь довольно начинаться. Слогъ ихъ никогда не упоминешь мысли; красоты ихъ сочиненій

блещущъ свѣтомъ, который ослѣпляетъ насъ, но не ослѣпляетъ. Такова прелесть естественности въ писателяхъ съ истинными дарованіями: она заставляешь забывать недоспажки слога и извинять погрѣшности. Въ самобытныхъ писателяхъ, кромѣ оплечивительныхъ свойствъ каждого, всегда находимъ естественность; они пишутъ, какъ бы говорили съ нами въ обыкновенной бесѣдѣ. Такъ Омиръ естественъ при всемъ величій эпическомъ; естественъ и Димосѣенъ при всей своей силѣ. Это оплечивительное свойство вдохновенія и въ краснорѣчій, и въ поэзіи внушаетъ каждому чувство уваженія къ писателю.

Но сколько писателей, исказившихъ слогъ свой, едппственнo уклоненіемъ отъ простоты! Нѣкоторые изъ юныхъ писателей поставляютъ достоинство свое въ украшенномъ языкѣ; думаютъ, что имъ не прилично употреблять выраженія, общія всемъ другимъ: потому-то наряжаютъ рѣчь во всѣ возможные убранства и прикрасы. Но всѣ украшенія нравятся тогда только, когда служатъ для сильнѣйшаго впечатлѣнія, для оживленія мысли. Напротивъ, излишнія прикрасы обнаруживаютъ скудость мыслей, которой ни великолѣпное строеніе періодовъ, ни фигуры замѣнить не могутъ.

Съ другой стороны надобно замѣнить, что бываютъ сочиненія безъ всякой изысканности, и при всемъ этомъ неприятны. Истинная простота есть признакъ дарованій; она предполагаетъ основательность мыслей, живое воображеніе, совершенное знаніе языка: тогда естественность вѣщаетъ слогъ, возвышаетъ всѣ прочія достоинства писателя; тогда это лучшее украшеніе, предъ которымъ дру-

гія не цвѣтуть никакой цѣпы. Если бы красота слога состояла только въ ошущствіи изысканности; то писатели слабые и поверхностные могли бы правиться. Естественность и простота, служащая признакомъ таланта, отличать должно отъ той простоты, которая состоитъ въ одномъ стараніи избѣгать излишнихъ украшеній: одна, озаряя душу свѣтомъ мыслей, согрѣваетъ сердце теплою чувствъ; другая, состоящая болѣе въ опрятности вышней отдѣлки рѣчи, не сообщаетъ ни мыслей, ни чувствъ.

Перейдемъ къ другому роду слога, отличному отъ всѣхъ прочихъ, который можно назвать *сильнымъ*. Онъ предполагаетъ силу мыслей; отличается отъ слога естественнаго движеніемъ духа, пламеннымъ воображеніемъ, глубокимъ чувствомъ. Писатель, выражающійся такимъ слогомъ, бываетъ весь объятъ предметомъ своимъ, мало заботится о приятной отдѣлкѣ, рѣчь его изливается потокомъ. Это слогъ высшаго краснорѣчія; онъ приличествуетъ болѣе сочиненіямъ, назначаемымъ для произношенія, нежели сочиненіямъ, которыя пишутся для чтенія. Совершеннымъ образцомъ этого слога служатъ рѣчи Демосфена. Рѣчь его не столь изящно построена, какъ рѣчь Цицерона; но это дѣйствительно быстрый потокъ, который все съ собою уноситъ. Въ Демосенѣ видишь народнаго вишію, въ Цицеронѣ — писателя.

Этими общими замѣчаніями ограничимся мы въ изслѣдованіяхъ слога; подробности собственно принадлежатъ къ сущности сочиненія — ко внутренней сторонѣ слова: это предметъ идеальной, или субъективной части Словесности. Какой же изъ всѣхъ родовъ слога лучший? Каждый изъ нихъ

имѣетъ свои красоты; каждый выражаетъ онзіогномію писателя: поэтому мы должны выражаться тѣмъ способомъ, какой получили отъ природы. Мы говорили о требованіяхъ разума, и вывели изъ началъ его общія правила для языка, рѣчи и слога, пожелавъ, чтобы стѣ законами мысли и стѣ идеей изящества. Такъ вялость, жесткость, темнота, напыщенность — никогда не могутъ правиться. Напротивъ, сила, изящество, ясность, простота всегда служатъ лучшимъ украшеніемъ. Но каждый писатель, по преимуществу воображенія или чувства, обнаруживаетъ нѣкоторыя особенности: онъ-то, при соблюденіи общихъ условій изящнаго слога, придаютъ сочиненіямъ характеръ самобытности. Первымъ предметомъ и для оратора, и для каждого писателя должна быть ясность идей о томъ, что должно быть излагаемо. Ясность мыслей проливаетъ свѣтъ и на слогъ. Во всѣхъ родахъ сочиненій основаніемъ слога служатъ мысли, оживляемыя воображеніемъ и чувствомъ. Мысль и слово, какъ говорили мы, такъ тѣсно между собою соединены, что трудно ихъ отдѣлить. Слабыя и неопредѣленныя впечатлѣнія души, смѣшанныя и сбивчивыя, отражаются въ слогъ вялостью и темнотою; напротивъ все, что мы ясно понимаемъ и сильно чувствуемъ, выражаемъ также ясно и сильно. Поэтому прежде, нежели начнемъ писать, усвоимъ себѣ предметъ совершенно, отдадимъ отчетъ во всѣхъ его подробностяхъ; пусть воображеніе облечетъ понятія наши въ образы осязательные; тогда выраженія сами собою родятся; лучшія тѣ, которыя истекаютъ изъ сущности предмета, и которыхъ мы не отыскиваемъ съ особеннымъ трудомъ. «Большую частію», говоритъ Квинтилианъ, «лучшія слова содержатся въ самыхъ

предмешахъ, и блестяхъ собственнымъ своимъ свѣтомъ. Но мы ищемъ ихъ, какъ будто они скрываются отъ насъ и таятся. Мы не полагаемъ, чтобъ слова находились возлѣ того, о чемъ должно говорить; заимствуемъ ихъ изъ другихъ мѣстъ, и словамъ чуждымъ придаемъ насильственно смыслъ (*).

За приобретениемъ запаса мыслей слѣдуетъ совершенствованіе слога; для этого необходимо упражненіе въ переводахъ, подражаніяхъ и сочиненіяхъ. Изложенныя правила о построеніи рѣчи и качествахъ слога полезны единственно при собственномъ упражненіи. Какой же способъ въ приложеніи Философіи слова къ искусству писать вѣрный? Иные пишутъ поспѣшно и небрежно. Это не только не приноситъ никакой пользы, но можетъ приучить къ погрѣшностямъ, отъ которыхъ трудно отвыкнуть. Полезно писать не скоро, но тщательнѣе; тогда скоростъ и легкостъ будутъ плодомъ долговременнаго навыка. Вотъ слова Квинтилиановы: »Совѣтую начинать писать медленно и старательнѣе. Прежде надобно выучиться писать изящно; скоростъ приобретается навыкомъ. Мало по малу мысли легче рождаются, слова сами представляются для выраженія, сочиненіе успѣшнѣе развивается. Такииъ образомъ все, какъ въ благоустроенномъ семействѣ, будетъ располагаться въ порядкѣ. Главное дѣло въ томъ, что поспѣшностъ не ведетъ

(*) »Plerumque optima verba rebus coherent, et cernuntur suo lumine. At nos quaerimus illa, tanquam latent seque subducant. Ita nunquam putamus verba esse circa id, de quo dicendum est; sed ex aliis locis petimus, et inventis vim adferimus.»

къ изяществу слова; по вырабатывая сочиненіе до изящества, мы приобретаемъ навыкъ писати скоро (*).

Тутъ можно впадать въ крайности: не должно останавливаться на каждомъ словѣ въ выраженіи; отъ этого иногда теряется послѣдовательность мыслей и охлаждается воображеніе. Кто пишетъ, тотъ знаетъ по опыту, какъ должно дорожить счастливымъ расположеніемъ духа. Пусть въ первоначальномъ изложеніи останутся какіа-либо погрѣшности: онѣ исправятся строгою работою. Сколь необходимо упражненіе въ переводахъ, подражаніяхъ и сочиненіяхъ; столько же необходимо исправленіе написаннаго. При этомъ только условіи упражненіе принесетъ какіе-либо плоды. Оставьте на вѣскольکو времени упражненіе ваше; пусть охладится привязанность ваша къ собственному созданію: и послѣ перечитывайте работу свою, какъ чужую, спокойно, съ строгою опечетливостію. Такимъ образомъ перечитывая, мы откроемъ въ работѣ своей недоспадки, копорыхъ прежде не замѣчали. Тутъ-то отбрасывайте слова и выраженія лишніа; займитесь правильнымъ строеніемъ рѣчи; обратите вниманіе на связь членовъ, періодовъ и на слова, ихъ соединяющія; придайте слогу вашему форму правильную, почную, изящную. Хотите представлять мысли свои въ надлежащемъ свѣтѣ: эиотѣ

(*) *Moran et sollicitudinem initiis impero. Nam primum hoc constituendum ac obtinendum est, ut quam optime scribamus: celeritatem dabit consuetudo. Paulatim res facilius se ostendent, verba respondebunt, compositio prosequetur. Cuncta denique, ut in familia bene instituta, in officio erunt. Summa hæc rei: cito scribendo non fit ut bene scribatur; bene scribendo fit ut cito.*

трудъ *ultima labora* не изъбаженъ. Частное упражненіе и навыкъ облегчаютъ эшотъ трудъ, научаютъ умъ вникать въ главныя и существенныя частныя предмета; эшимъ приобретаешся и легкость.

Лучшіе писатели помогутъ вамъ въ эшотъ *дать*: вы должны ознакомиться съ ихъ слогомъ. Эшо нужно и для обогащенія себя словами на всъ предметы, и для образованія вкуса. При чтеніи писателей, изучайте различные способы выраженія. Испытывайте собственныя силы, подражая имъ, обрабатывая предметъ, изложенный образцовымъ писателемъ. Такъ, прочитавъ въ Карамзинѣ какое-либо повѣствованіе, сообразите его со всѣхъ сторонъ, и попытайтесь выразить сами шотъ же самый предметъ. Сравненіе и сличеніе собственного изложенія съ художественнымъ изложеніемъ писателя, покажетъ недостатки и степень приближенія къ образцу. Тогда мы убѣдимся, что каждая мысль имѣетъ только одно совершенно изыщное выраженіе.

Впрочемъ эшотъ родъ упражненій не долженъ вести къ слѣпому подражанію писателямъ: оно убиваетъ дарованія. Кто рабски подражаетъ кому бы шо ни было, шотъ перенимаетъ и красоты, и недостатки; неуверенный въ собственныхъ силахъ своихъ, никогда не усовершенствуется въ высокомъ искусствѣ слова. Не должно въ особенноти перенимать чьи-либо привычныя обороты, заимствовавъ мѣста изъ писателей: эшо опаснѣйшій навыкъ. Гораздо лучше представлять собственныя красоты въ сочиненіи, каковы бы онѣ ни были, нежели наряжаться въ чужія украшенія. О необходимости *упражненія въ сочиненіяхъ, въ исправленіи написаннаго, въ подражаніи, будемъ слушать*

совѣты Квинтиліана; замѣчанія этого опышнаго писателя въ десятой книгѣ его наставленій драгоцѣнны.

Пужно ли еще говорить о томъ, что слогъ долженъ согласоваться и съ предметомъ, и съ слушателями, когда сочиненіе назначается для произношенія? Слово не можетъ быть ни краснорѣчиво, ни изящно, если не согласно ни съ обстоятельствами, ни съ лицами, для которыхъ произносится. Неприличенъ дѣвствующій и одушевленный слогъ въ предметахъ, требующихъ глубокаго размысленія; спранны выраженія блестящія и громкія предъ людьми, которые не въ состояніи ихъ понимать. Такія погрѣшности противъ слога суть вмѣстѣ погрѣшности противъ здраваго смысла. Намѣреваясь говорить или писать, мы должны всегда предположить себѣ цѣль, къ которой спремемся, постоянно держась этой цѣли, и къ ней примѣнять наши выраженія. Этому главному предмету надобно жертвовать неуцѣпными украшеніями, какія иногда представляетъ воображеніе. Стараясь о слогѣ, мы не должны оставлять заботы о мысляхъ: во словахъ стараться, а о мысляхъ должно заботиться, совѣтуетъ великій наставникъ слова (*). Этомъ совѣтъ особенно необходимъ въ наше время, когда нѣмны всступаютъ на поприще Словесности безъ достаточнаго запаса мыслей. Не трудно излагать мысли общія и извѣстныя; трудно произвести что-либо новое, полезное. Одно совершается талантомъ; другое производится геніемъ. Опять чего видимъ мы часто въ сочиненіяхъ роскошь въ украшеніяхъ слога? Это признакъ скудости въ

(*) «Curam verborum, rerum eolo esse sollicitudinem.»

мысляхъ и недостатка въ чувствованіяхъ. Изученіе правильнаго и изящнаго слога необходимо; но уже ли эпимъ должно ограничиваться, полагаться на виѣшнюю сторону слова безъ внушренней? »Занимающіеся краснорѣчіемъ должны одушевляться возвышенными мыслями«, говоритъ Квинтилианъ; »да budouтъ всѣ украшенія мужественны, сильны, благородны; да не изыскиваюцца прикрасы ложныя, но украшаюцца творческія произведенія природною крѣпостью и силою мысли,«

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО КУРСА.

ЧТЕНІЯ
О
СЛОВЕСНОСТИ.

КУРСЪ ВТОРЫЙ.

Издание второе, исправленное.

МОСКВА.
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.
1858.

ЧТЕНІЯ
О
СЛОВЕСНОСТИ.

КУРСЪ ВТОРЫЙ.

Издание второе, исправленное.

МОСКВА.
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.
1858.

Ego in his praeceptis hanc vim et hanc utilitatem esse
arbitror, non ut ad reperiendum, quid dicamus, arte ducamur,
sed ut ea, quae natura, quae studio, quae exercitatione con-
sequimur, aut recta esse confidamus, aut prava intelligamus,
cum, quo referenda sint, didicerimus.

Cicero.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ штемъ, чтобы по оппечатаиіи представлено было въ
Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ.
Москва, Мая 7 дня, 1838 года.

*Цензоръ, Статскій Совѣтникъ и
Кавалеръ И. Снегиревъ.*



СОДЕРЖАНІЕ

ВТОРАГО КУРСА.

Основанія Науки объ изящномъ.

Ч Т Е Н І Е XVI.

Стран.

Предметъ субъективной части Словесности. —
Идея изящнаго искусства. — Силы душевныя,
проявляющія изящное. — Различныя проявленія
изящнаго. — Различіе искусства. — Различіе
Краснорѣчія и Поэзіи. — Предметъ Философін,
или Теоріи Краснорѣчія 1

А. ОРАТОРСКАЯ РѢЧЬ,

ИЛИ

ВИТІЙСТВО.

Ч Т Е Н І Е XVII.

Успѣхи Краснорѣчія. — Краснорѣчіе въ Греціи. —
Перикль. — Исократъ. — Изей и Лизій. —
Демосоевъ 17

Ч Т Е Н І Е XVIII.

Успѣхи Краснорѣчія въ Римѣ. — Цицеронъ. —
Краснорѣчіе духовное. — Краснорѣчіе новѣйшихъ
временъ 30

II

Ч Т Е Н І Е XIX,

Страж,

Составныя части Ораторской рѣчи. — При-
ступъ. — Предложеніе. — Раздѣленіе. — Повъ-
ствованіе..... 47

Ч Т Е Н І Е XX,

Продолженіе о составныхъ частяхъ Ораторской
рѣчи. — Доводы. — Часть папешическая. — За-
ключеніе..... 67

Ч Т Е Н І Е XXI.

Рѣчи совѣщательныя. — Изящное въ рѣчахъ со-
вѣщательныхъ. — Расположеніе рѣчи и выраже-
ніе. — Особенныя отличительныя свойства рѣчей
совѣщательныхъ. — Примѣры изъ рѣчей Демосее-
новыхъ 86

Ч Т Е Н І Е XXII,

Судебное Краснорѣчіе. — Изящное въ этомъ
родѣ рѣчей. — Особенности рѣчей судебныхъ. —
Повѣствованіе и доводы. — Разборъ рѣчи Цице-
ровой за Клуэція..... 109

Ч Т Е Н І Е XXIII.

Духовное Краснорѣчіе. — Отличительныя свой-
ства этого рода внутреннія и внѣшнія. — Изящ-
ное въ проповѣди. — Виды духовнаго Краснорѣчія. —
Части проповѣди. — Образцы 130

III

Ч Т Е Н І Е XXIV.

Стран.

Притры духовнаго Краснорѣчія изъ Св. Василія
Григорія Назіанзинскаго и Іоанна Златоустаго..... 155

Ч Т Е Н І Е XXV.

О Краснорѣчїи отечественномъ. — Развїтіе эле-
мента религіознаго и ученаго въ Краснорѣчїи. —
Примѣры изъ отечественныхъ вишій..... 176

Ч Т Е Н І Е XXVI.

Объ ораторскомъ произношенїи. — Полнота
и легкость въ произношенїи. — Приаппосѣ и
сила. — Тѣлодвиженїя при произношенїи..... 217

В. Филозофическія сочиненія.

Ч Т Е Н І Е XXVII.

Преимуществовое проявленїе въ изящномъ идеи
истины, или сочиненїя философскія. — Суще-
ственное отличїе этого рода Краснорѣчія. — Формы
Философскихъ сочиненїй: монологическая, діалогиче-
ская и эпистолярная. — Изыщество этого рода
сочиненїй и образцы..... 233

С. Историческія сочиненія.

Ч Т Е Н І Е XXVIII.

Развїтіе изящнаго въ Исторїи. — Опычитель-
ное свойство Историческихъ сочиненїй изящныхъ. —

IV

Стран.

Содержаніе и форма Исторіи монологическая,
диалогическая и эпистолярная. — Изложене Істо-
ріи. — Образцы..... 261

Ч Т Е Н І Е XXIX.

Продолженіе изслѣдованій Исторіи. — Исторія
отечественная. — Элементы историческіе въ
видѣ особыхъ сочиненій: Характеры и Биографіи.... 286

Ч Т Е Н І Е XXX.

Средства и способы къ образованію и совершен-
ствованію Оратора 288



Ч Т Е Н І Я

О СЛОВЕСНОСТИ.

ЧТЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.

Предметъ субъективной части Словесности. — Идея изящнаго искусства. — Силы душевныя, проявляющія изящное. — Различныя проявленія изящнаго. — Различіе искусства. — Различіе Краснорѣчія и Поэзіи. — Предметъ Философіи, или Теоріи Краснорѣчія.

Разсмотрѣвъ вышнюю спорону Словесности, или матеріальную, приступаемъ къ изученію спороны ея ввупренней, или идеальной. *Изслѣдованіе творчества духа челоѣческаго, проникнушаго идеей изящнаго, и законовъ, по которымъ изящное проявляется въ словесныхъ твореніяхъ*, составляетъ предметъ Философіи, или Теоріи Краснорѣчія и Поэзіи, субъективной части Философіи Словесности.

Міръ умствѣнный, подобно вещественному, представляетъ безчисленное множество явленій. Всѣ силы и способности души суть шолько выраженія различной ея дѣятельности и измѣненій, или указанія на различныя спороны духовной жизни. Размышлять, дѣйствовать, чувствовать и выражаться въ словъ — это различныя проявленія единой души. Благороднѣйшее назначеніе челоѣка, въ отношеніи къ міру, состоитъ въ уподобленіи природы себѣ самому, въ ея преобразованіи, или въ запечатлѣніи ея умомъ и волею. Помощію ума, посшепенно развивающагося и въ почности направляемаго, мы познаемъ видимый міръ и самихъ себя — становимся властелинами земли;

Чт. о Сл. Ч. II. 1

помощію воли, выражающейсѣ въ дѣйствіяхъ и нравственныхъ поступкахъ, человекъ стремится къ небу, уподобляется свѣту свѣтовъ. Этимъ двумя направленіями духа мы отыскиваемъ родныя намъ идеи, разлншыя въ твореніи Божіемъ — идеи истины и доброты. При всемъ этомъ, въ изслѣдованіяхъ природы и въ дѣйствіяхъ воли духъ нашъ спѣсняется предѣлами мѣста и времени; просвѣтлѣнный испытаніями ума и упомленный дѣлательностью воли, онъ успокоивается, сосредоточиваясь въ себѣ самомъ. Состояніе духа, среднее между знаніемъ и дѣйствованіемъ, выражается чувствомъ, которое пробуждается отъ соприкосновенія съ *идеями изящнаго*. Эта идея влечетъ къ себѣ все наше бытіе; безпрестанное приближеніе къ ней составляетъ духовное наше наслажденіе. Здѣсь-то гармонія жизни нашей, состоящей въ бытіи и дѣйствованіи, отглашается изящнымъ *искусствомъ*.

Искусство, какъ проявленіе идеи изящнаго, стремится возсоздать новый міръ; это самый духъ въ видимости, чувственное представленіе, олицетвореніе идей. Оно, имѣя основаніе во внутреннемъ существѣ человека, выражаетъ всю его духовную природу, соединяетъ всѣ силы его бытія въ одно спрѣльное цѣлѣ. Съ проявленіемъ идеи изящнаго не должно смѣшивать искусство, имѣющихъ предметомъ удовлетвореніе нуждъ нашихъ и требующихъ болѣе силъ тѣлесныхъ, нежели духовныхъ, или искусство механическихъ. Напротивъ, искусство по преимуществу, или изящное открываетъ внутреннюю природу нашу, всѣ тайны бытія въ чувственныхъ формахъ. Это опредѣляетъ и высшую цѣль его — стремленіе къ идеальному совершенству. Занятіе силъ душев-

ныхъ изящнымъ искусствомъ составляетъ необходимую потребность души человеческой (*).

Умъ, воля и чувство развиваются постепенно, начиная проявленіями грубыми и оканчивая чистѣйшими. Въ гармоническомъ развитіи всѣхъ силъ духа состоитъ совершенствованіе духовнаго организма. Идея истины не есть одно какое-либо понятіе, или одно изъ началъ: она содержитъ въ себѣ всѣ понятія и начала. Если бы человеку дарована была способность обнять однимъ взглядомъ всѣ законы и возможныя отношенія вещей; то онъ созерцалъ бы идею истины во всей ясности. Но, по ограниченности ума нашего, выводящаго заключенія свои послѣдовательно, именно чрезъ понятія, сужденія и умствованія, идея истины остается непостижимой въ цѣлости; мы достигаемъ ея по частямъ и постепенно. Оттого всякое знаніе есть приближеніе къ идеѣ истины. Какъ умъ живетъ въ идеѣ истины: такъ воля стремится приблизиться къ идеѣ блага и добродѣтели, проходя чрезъ побужденія, желанія, до закона нравственнаго долга. Наконецъ чувство подаетъ намъ свѣдѣніе не о качествѣнности внѣшняго міра, но о внутреннемъ нашемъ состояніи, въ отношеніи къ удовольствію и неудовольствію. Въ немъ заключается совершенное единство и равновѣсіе духовнаго организма. Все, проникающее чувство, сотрясаетъ струны этого организма: въ ихъ согласіи или несогласіи выражается удовольствіе или неудовольствіе. Истина постигается умомъ; доброта шворится волею;

(*) *Bachmann's Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen Umriss.* — *Asi's System der Kunstlehre.* — *Ican Paul's Vorschule der Aesthetik*, 3 Bde. — *Solger's Erwin*, 2 Theile. — *Ejusdem* и *Hegel's Vorlesungen über Aesthetik.*

а излишнее должно быть восчувствовано. Все, переходящее въ чувство, получаешь шеплошу жизни; въ этой способности происходитъ гармоническая дѣятельность всѣхъ силъ душевныхъ. Къ области чувства принадлежатъ воображеніе и фантазія: произведенія воображенія суть представленія чувственныхъ предметовъ; произведенія фантазіи суть идеалы, представленія понятій ума, или идей. Одни произведенія относятся къ другимъ, какъ частное къ общему, или какъ конечное къ безконечному. Каждое представленіе воображенія есть только отраженіе идеала. *Совершенствованіе эстетическое состоитъ въ приближеніи къ идеаламъ фантазіи.*

Непосредственное выраженіе чувства есть слово: отсюда происходитъ могущественное дѣйствіе фантазіи на произведенія слова. Искусство — также твореніе чувства, а потому органъ всякаго искусства — фантазія. Въ чувствѣ внутреннемъ, какъ въ стѣнѣ, заперты всѣ силы человеческого организма. Начало жизни нашей — младенчество и отрочество, представляетъ полношу чувства, то состояніе, когда вся духовная жизнь наша состоитъ изъ непрерывнаго чувствованія. Съ возрастомъ чувство разрозняется на отдѣльныя направленія духа; съ одной стороны оно является способностью познавательною, съ другой — желательною. И обратно, всѣ приобритенія истины и всѣ дѣйствія блага, сосредоточиваясь въ чувствѣ изящнаго, составляютъ возвышенное нравственное наслажденіе, гармонію силъ умственныхъ и нравственныхъ.

Поэтому мысль и дѣйствіе — двѣ полярныя противоположности, произникающія изъ чувства, равно какъ истина и благо, суть двѣ полярныя крайности, объемлемыя изяществомъ. Наоборотъ, чувство

изящнаго слагается изъ двухъ элементовъ — идеи истины и блага. Ни истина сама по себѣ, ни благо не исполняютъ чувства нашего изящныхъ: для этого необходима совокупность той и другой идеи.

Чувство, занимая средину душевныхъ способностей, съ одной стороны сливается съ познавательною способностью, съ другой — съ нравственною. Отсюда происходятъ два особые проявленія души, двѣ новыя силы: *вкусъ* и *геній*. Созерцаніе изящнаго умственное, или представленіе его въ понятіяхъ принадлежитъ вкусу; творческая дѣятельность, проявляющаяся въ изящныхъ произведеніяхъ, составляетъ геній. Полное развитіе художественной дѣятельности и полное эстетическое совершенствованіе требуютъ изоцренія вкуса и воспитанія генія.

Совершенствованіе эстетическое начинается съ изученія природы въ ея изящныхъ явленіяхъ. Духовный организмъ нашъ развивается соприкосновеніемъ съ вѣщими предметами. Но изученіе природы лишь только развиваетъ въ насъ чувство изящнаго, усматриваетъ въ творчеству; для направленія же чувства къ художественной дѣятельности необходимо изученіе искусства. Мы наслаждаемся въ природѣ разнообразіемъ цвѣтовъ, не различая въ нихъ гармоническаго сліянія цвѣтовъ радуги; разложеніе безконечнаго разнообразія красокъ на семь элементовъ доступно только въ призмѣ. Такъ и изящное, съ безконечными своими проявленіями, уловляется только въ творческомъ произведеніи искусства.

Изъ понятія о *вкусе* видно, что эта способность ощущать или созерцательно познавать изящное и чувствовать отъ того удовольствіе, какъ въ естественныхъ, такъ и въ искус-

свенныхъ произведенійхъ, есть способность сложная: чувство служитъ основаніемъ; въ составъ же ея вливается способность или познавательная, или желательная. Въ отношеніи къ произведеніямъ Словесности, та разборчивость, посредствомъ которой открываются красоты и недоспашки въ мысляхъ и выраженіяхъ, есть та же самая способность духа — *вкусъ* (*).

По тремъ главнымъ силамъ души нашей, *вкусъ*, отъ преимущественнаго вліянія одной изъ силъ, представляется въ трехъ видахъ: чувствъ *умственномъ*, *нравственномъ* и собственно *эстетическомъ*. Открывъ достоинства произведеній искусства со стороны правильнаго соединенія частей, составляющихъ цѣлое, надлежащаго употребленія средствъ искусства — это дѣло чувства *умственнаго*. Этого видъ вкуса обвиняетъ все твореніе, соображаетъ его части, разсматриваетъ удобность и приличіе, силу и красоту доводовъ, наблюдаетъ вышнее украшеніе психики. *Нравственнымъ* чувствомъ называется способность ощущать впечатлѣнія добра и зла. Посредствомъ этого чувства изящныя творенія обогащаются высокими и благородными мыслями, и напротивъ, все низкое и непристойное не имѣетъ въ нихъ мѣста. Поэтому нравственное чувство содержитъ ко вкусу, какъ видъ къ роду. Ощущеніе безкорыстнаго удовольствія отъ изящныхъ предметовъ называется *эстетическимъ*. Когда человѣкъ стремится къ предмету, имѣя въ виду собственную пользу; тогда въ немъ нѣтъ свободнаго расположенія. Нѣтъ также этого расположенія и тамъ, гдѣ стремленіе ограничивается удовлетвореніемъ только внѣш-

(*) См. Опытъ теоріи словесныхъ наукъ. С.-Петербургъ, 1832.

нимъ чувствамъ. Напротивъ, свободное расположеніе духа владычествуетъ надъ собою и природою. Такъ мы спремимся къ истинному и доброму, когда любимъ истинное по тому, что оно истинно, и доброе по тому, что оно добро. Таково стремленіе къ Божеству, которое есть одна истина и одно добро. Состояніе духа, въ которомъ чувство умственное и чувство нравственное сливаются — сознаніе всеобъемлющаго дѣйствія духа *живаго и высренняго*, неизяснимаго, однако ощущаемаго, такое состояніе духа называемъ мы чувствомъ *эстетическимъ*.

Вкусъ предполагаетъ внутреннія свойства: удобопріемлемость, шожкость и правильность. *Удобопріемлемость* есть способность живо и скоро ощущать впечатлѣнія отъ изящныхъ предметовъ. Это даръ врожденный, развиваемый и управляемый умомъ и опытомъ. Усмащривашъ красоты и недосмашки въ произведеніяхъ, даже самыя сокровенныя, принадлежатъ *тонкости* вкуса. Это плодъ долговременнаго упражненія въ сочиненіяхъ и сравнительныхъ разборахъ писателей. Следствіе отличенія истинныхъ красотъ отъ ложныхъ и опредѣленіе степени достоинства сочиненій составляетъ *правильность* вкуса. Высшая степень правильности вкуса тогда являющя, когда по одному ошрывку, по одному выраженію, узнаемъ писателя и составъ сочиненія.

Внѣшнія качества вкуса — *всеобщность* и *одинаковость*. Изящное состоитъ изъ соединенія истины и добра; душа, по природѣ своей, познаетъ истину, любитъ добро; также естественно познаемъ мы и изящное: эта способность общая всѣмъ и каждому. Не смотря на безчисленное различіе вкуса, зависящее отъ различныхъ почекъ зрѣнія на изящное

предметы, опъ различныхъ странъ и образованія народнаго, опъ различныхъ свойствъ чловѣка и воснншанія, вкусъ хорошій одинъ, господствующій у всѣхъ народовъ и во всѣ времена; естъ также одна почка, въ которой соединяется вкусъ всѣхъ странъ, временъ и народовъ; по мѣрѣ отдаленія опъ нея, вкусъ бываетъ болѣе или менѣе вѣренъ. Опъ того образцовые писатели нривающа во всѣ времена и во всѣхъ странахъ.

Сила духа, познающая и изобрѣщающая съ особенною легкостью и живостью, дѣйствующая съ рѣшительной волею и постоянствомъ, творящая изячно — такая сила духа называется *геніемъ*. Это не особая способность души, но внутреннее чувство, обратившееся въ творческую дѣятельность духа; геній представляетъ соединеніе всѣхъ способностей въ высшей степени. Отличительныя свойства генія: со стороны познавательныхъ способностей, всеобъемлемость ума; со стороны воли, неодолимое стремленіе къ предмету; со стороны фантазіи, творчество — полнота, гармонія всѣхъ силъ и способностей. Геній объемлетъ всего чловѣка, всю жизнь, всю природу.

Способъ, которымъ дѣйствуетъ геній, можешь быть разсматриваемъ двояко: или въ *отношеніи къ предмету*, или въ *отношеніи къ себѣ самому*. Въ отношеніи къ предмету, произведеніе генія, называемое по превосходству творческимъ, имѣетъ основаніе свое въ природѣ; генію принадлежитъ раскрытіе или изображеніе существующаго. Исторически изображаешь то, что естъ; творчески, что можешь и должно быть. Поэтому изображаемый геніемъ предметъ природы съ возможнымъ совершенствомъ представляешь въ новомъ видѣ, возсоздаешь, опъ міра идеальнаго

и непремѣняемаго переносишся въ кругъ видимой, претѣляемой дѣйствительности, въ міръ явленій. Но и произведеніе генія касательно совершенства своего есть только относительное; это совершенство можетъ простирашся до безконечности; предѣлы его — мысли и желанія нашего духа. При всемъ томъ произведеніе генія, показывая въ себѣ соединеніе дѣйствительно существующаго съ возможнымъ, вещественнаго съ идеальнымъ, временнаго съ вѣчнымъ, справедливо называется творческимъ.

Въ отношеніи къ творящему духу, геній долженъ быть въ особенномъ состояніи; такое состояніе чувствъ нашего мы называемъ *восторгомъ*. Въ восторгѣ всѣ силы духа направляются къ одной мысли, къ одному предмету, съ свободою къ нему любовью. Чувство, съ какимъ геній проявляетъ внутреннюю глубину свою, сообщаетъ предмету новую жизнь. Одаренные способностью воодушевляться, приходя въ восторгъ, какъ бы превращаются во всѣ лица, участвуютъ во всѣхъ положеніяхъ. Отсюда происходятъ живость изображенія, быстрые переходы, одушевленіе природы неодушевленной, возвышенность мыслей надъ жизнью людей обыкновенныхъ. Въ этомъ состояніи духъ нашъ чувствуетъ въ себѣ призваніе къ высшему, назначеніе не для одной земной жизни, влеченіе къ небу: отъ того произведеніе генія носитъ на себѣ знаменіе новосты, или самобытности.

Отъ преимущественнаго дѣйствія трехъ главныхъ способностей души: ума, воли и чувствъ, геній проявляется или въ открытіи истины, или въ нравственной дѣятельности, или въ искусствѣ. Но какъ искусство рождается въ чувствѣ, котораго степени проявленія суть воображеніе,

пазія: то и геній въ искусствѣ различаются по преобладанію въ нихъ чувства, воображенія, фантазіи. То же самое различеніе повторяется въ каждомъ искусствѣ.

Вкусъ и геній возникаютъ сами собою изъ полноты чувства; но ихъ дѣйствія, будучи противоположны, имѣютъ нужду во взаимности. — Геній постигаетъ всѣ отношенія между вещами, прикосновенными къ его предмету, опредѣляетъ имъ видъ и образъ; но, упоенный чувствомъ могущества, иногда увлекается въ одушевленіи своемъ до своеволія. Вкусъ, полагая предѣлы своевольному воображенію, приспосабливается къ правильности и порядку, иногда простираетъ власть свою до излишней строгости. Геній, при всей обширности своей, иногда бываетъ неисправенъ: здѣсь требуется помощь вкуса. Равно и геній помогаетъ вкусу, приводя его въ состояніе постигать мысли и чувствованія образцовыхъ писателей. Поэтому вкусъ долженъ наблюдать за геніемъ внимательно, но крошко; а геній, уважая опытность вкуса, долженъ слѣдовать его внушеніямъ. На этомъ примиреніи генія и вкуса зиждется совершенство творческой дѣятельности нашего духа (*).

Предметъ генія и вкуса, или источникъ эстетическаго удовольствія, есть *изящное*. Изящное не одно съ истиннымъ и добрымъ; предметъ, существующій по закону порядка, мы называемъ истиннымъ; предметъ, существующій сообразно съ цѣлію бытія своего, называемъ добрымъ; но изящно то, что нравится — это явленіе истиннаго и добраго въ совокупности.

(*) *Kant's Kritik der Urtheilskraft. — Herder's Kalligone, Th. II. — Hegel's Werke, Th. X. — Knight's analytical Inquiry into the principles of Taste.*

Въ природѣ каждая идея выражается особымъ *порядкомъ* міра: идея истины обнаруживается въ мірѣ физическомъ; идея доброты — въ жизни; идея изящнаго — въ искусствѣ. Разсматривая только изящное въ идеѣ, мы можемъ достигнуть до понятія о его развитіи и сущности; но идея, представляемая искусствомъ, въ природѣ изображается *цѣлымъ* порядкомъ бытія существъ: поэтому изящное принадлежитъ собственно искусству; все прочее мы называемъ изящнымъ переносно.

Въ отношеніи къ духу нашему изящное стремится соединенія въ чловѣкѣ возвышеннаго ума съ нравственнымъ чувствомъ. Отъ того законъ изящнаго одинаковъ для всѣхъ вѣковъ и народовъ, и столько же постояннъ, сколько постоянно истинное и доброе.

Творчество въ изящномъ искусствѣ состоитъ въ раскрытіи сущности вещей. Для мыслящаго наблюдателя природы существуютъ два міра: внутренній, или духовный, и внѣшній, или вещественный; въ первомъ видитъ онъ *возможность* существъ, въ другомъ ихъ *явленіе*; въ первомъ видитъ безпредѣльно, въ другомъ ограничено. Изъ этого открывается, что для совершеннаго изображенія предмета не нужно прибѣгать къ міру внѣшнему, который составленъ по образцу міра внутреннего; но должно заимствовать изображеніе изъ міра внутреннего, изъ міра возможностей, сущностей. Такія-то изображенія собственно суть идеалы. Поэтому изображеніемъ *идеала* въ очерпаніяхъ, звукахъ и словъ называется *раскрытіе идеи во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ*. Такой идеалъ представляетъ совокупность внутренней сущности предмета и его внѣшняго образа. Идеальныя произведенія искусства и еше-

снвенныя находящся въ такомъ же отношеніи, въ какомъ мы принимаемъ роды и виды: что изображеніе искусство въ произведеніи своемъ, по принадлежнть цѣлому порядку однородныхъ предметовъ въ природѣ. Изящное въ искусствѣ столько же превосходитъ изящное въ вещественной природѣ, сколько духъ самопознающій превышаетъ природу безсознательную. Въ изящномъ искусствѣ открываемъ соединеніе безконечнаго духа съ конечными проявленіями природы. Въ самой природѣ мы любуемся изящнымъ, по мнрѣ открывшія въ предметахъ идеи. Поэтому въ изящномъ произведеніи должно отличать два элемента: изображаемое и изображеніе — *идею и форму*; одна проявляется въ *движеніяхъ* духа, другая — въ *порядкѣ*, или *гармоніи* изображеній. Необходимо также заключить, что въ изящномъ произведеніи идея или превышаетъ форму, или подчиняется ей, или равна своей формѣ. Отсюда различныя проявленія изящнаго: *высокое, прекрасное, прелестное* (*).

Мы сказали, что изящное есть олицетворенная идея, выраженіе безпредѣльнаго духа въ конечной формѣ. Если перевѣсъ на сторонѣ безконечнаго; если идея не можетъ быть совершенно выражена въ произведеніи: тогда произведеніе рождаетъ въ насъ чувство *высокаго*, которое дѣйствіемъ своимъ пробуждаетъ въ насъ стремленіе къ безконечному. Это чувство объемлетъ весь нашъ духъ. Оно обнаруживается или въ природѣ, или въ духѣ человѣче-

(*) *Schelling's Ueber das Verhältniss der bildenden Künste zur Natur.* — *Schlegel's A. W. Ueber das Verhältniss der schönen Kunst zur Natur, in Kritischen Schriften, Bd. II.* — *Schiller* — *Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen.* — *Goethe* — *in den Propyläen.* — *Chr. Her. Weisse System der Aesthetik, 2 Bde; Leipzig, 1830.*

скомъ. Въ природѣ являеиъ оно или какъ нѣчто *внѣшнее*, и. п. неисчерпаемая полнота, огромность, пространство; или какъ нѣчто *внутреннее*, и. п. непостижимая сила, быспроша, могущество. Также и въ духѣ оно выражается или внутреннимъ дѣйствіемъ, какъ сила мысли: такова мысль Колумба о существованіи открытой имъ части свѣта, мысль Ньютона о всемірномъ тяготѣніи; или внѣшнимъ дѣйствіемъ, какъ поступокъ: вся жизнь Петра Великаго естъ нравственно-высокое.

Когда въ излцномъ мы видимъ совершенное сліяніе безконечнаго духа съ конечною формою природы, равенство идеи съ формою: тогда мы называемъ его *прекраснымъ*. Все прекрасное представляеиъ намъ совокупность духовнаго и умственнаго, но совокупность органическую, чувственно созерцаемую. Въ прекрасномъ, которое собственно принадлежитъ чувству, также различается *прекрасное умственное, нравственное и эстетическое*. Первое состоитъ въ простой и естественной выраженной мысли; второе — въ поступкѣ, соотношенномъ съ нравственнымъ закономъ, приномъ свободномъ и чистосердечномъ; третье — въ живомъ изображеніи истины и блага.

Наконецъ въ *прелестномъ* перевѣсъ бываетъ формы надъ идеєю.

Психологическое изслѣдованіе изящнаго оправдывается исторією искусства. Въ древнемъ искусствѣ, соотносившемъ юности человечества, господствуетъ по преимуществу форма или возможное соединеніе идеи съ формою; въ новомъ, въ искусствѣ возмужалости человечества, преимуществуетъ идея. Отсюда характеръ древняго искусства — прекрасное; характеръ новаго — высокое.

Искусство въ существѣ своемъ одно, равно какъ идея изящнаго одна. Но вѣчная идея изящества, исходя изъ глубины духа нашего, можетъ открыться только въ формахъ и предѣлахъ нашихъ воззрѣній. Эти формы и предѣлы воззрѣній нашихъ пространство и время; все, что должно быть предметомъ нашего познанія, необходимо являясь или въ пространствѣ, или во времени, или во времени и въ пространствѣ вмѣстѣ. Изъ этого очевидно слѣдуетъ, что изящное искусство также должно проявлять высшую идею изящества или преимущественно въ пространствѣ, или во времени, или въ формѣ пространства и времени. Въ пространствѣ существуютъ зрѣла, въ протяженіи своемъ ограниченныя, предметы осязанія и зрѣнія; вообще являющееся въ пространствѣ представляется какъ образъ. Во времени происходящее движеніе, предметы слуха или внутренняго нашего ощущенія; все, являющееся въ послѣдовательности времени, представляется какъ звукъ. Но когда предметъ зрѣнія и осязанія сливается съ предметомъ слуха и внутренняго ощущенія; или когда внѣшнее сливается съ внутреннимъ; тогда образъ становится слышимымъ, и звукъ напоминаетъ намъ образы. Такой созерцаемый звукъ или слышимый образъ есть слово. Отсюда въ искусствѣ происходятъ три главныя отрасли, зависящія отъ способовъ выраженія идеи изящнаго: одни представляютъ изящное въ образахъ, дѣйствуя на зрѣніе, *пластическія*, или образовательныя; другія представляютъ изящное во времени, посредствомъ звуковъ дѣйствуя на слухъ, *тоническія*; наконецъ, представляющія изящное въ формѣ пространства и времени совокупно посредствомъ слова, *словесныя*. Этимъ отраслямъ искус-

ства соотвѣствуютъ: *Пластика, Музыка и Поэзія въ обширномъ смыслѣ.*

Но Поэзія въ обширномъ смыслѣ, выражающая соединеніе живописи и музыки, изображеніе безконечныхъ идей въ чувственныхъ формахъ, какъ искусство вообще, разлагается также на двѣ отрасли — на Поэзію, собственно называемую, и *Краснорѣчіе*. Въ одной отрасли развивается преимущественно характеръ музыки, въ другой — характеръ живописи. Иден, изъ міра внутренняго, духовнаго, переходя въ міръ явленій и выражаясь въ словѣ, представляютъ двѣ полныя противоположности: одна касается міра возможностей, свободная и неопредѣленная, другая касается міра дѣйствительнаго, ограниченная и опредѣленная (*). Отсюда изящныя произведенія въ словѣ изображаютъ два особые міра — идеальный и дѣйствительный. Всѣ творенія Поэзіи, идеально возможные, представляютъ преимущественно свободную игру фантазіи метрически; всѣ произведенія Краснорѣчія оглашаютъ движенія чувства ритмически. Поэзія по высшей формѣ переходитъ въ пѣніе; Краснорѣчіе сливается съ обыкновенною рѣчью: отъ этого живопись Поэзіи, соединяясь съ музыкальностью размѣра, становится одушевленной, говорящей; а чувство Краснорѣчія, заимствуя картины поэтическія, живописуетъ съ свободнымъ благозвучіемъ. Поэзія и Краснорѣчіе одушевляются восторгомъ; восторга не бываетъ безъ образцовъ изящныхъ, для восчувствованія которыхъ необходимо благоговѣніе ко всему тому, что человекъ признаетъ за свѣтлыню, что возноситъ душу надъ

(*) Der Begriff der Poesie ist kein anderer, als der Menschheit ihren möglichst vollständigen Ausdruck zu geben. — Schiller's Werke, Th. 18.

всѣмъ временнымъ и ничточнымъ (*). Въ Поэзіи чувство возгарается опъ воображенія; въ Красноріи чувство приводитъ въ игру силу вообразительную, оживляетъ ее, одушевляетъ. Изыщество выраженія въ Поэзіи составляетъ красоту произведенія; въ Краснорѣчіи красота выраженія уступаетъ преимуществу мысли. При всемъ этомъ утонченнѣйшій разумъ безъ пламеннаго воображенія и сильнаго чувства не можетъ быть краснорѣчивымъ. Разумъ свѣшивъ, но не согрѣваетъ; сердце безъ руководства разума согрѣваетъ чувства наши, но не просвѣпляетъ понятій. Опъ того истинному Краснорѣчію пошребны и свѣтъ разума, и теплоша чувства, и живопись воображенія; шолько ихъ совокупнымъ дѣйствіемъ изыщное слово убѣждаетъ насъ и прогаетъ.

Въ Краснорѣчіи, по законамъ провленія жизни внѣшней и внутренней, находимъ роды, соопвѣстственные родамъ Поэзіи и искусства вообще: *Историю, Философію и Ораторскую рѣчь*, или собственно *витійство*. Изыщное изображеніе временной, конечной жизни составляетъ предметъ Исторіи. Озареніе ума истиною, открываемою въ назначеніи человека и природы, предметъ Философіи. Возвышеніе чувствованій и направленіе воли къ совершенству — цѣль Вишійства (**). *Изслѣдованіе изыщнаго слова во вѣхъ изображеніяхъ міра дѣйствительнаго есть предметъ Философіи, или Теоріи Краснорѣчія.*

(*) *Ancillon Melanges. — Campbell Philosophy of Rhetoric; Lond. 1776, 2 voll. in 82. — Schott's Theorie der Beredsamkeit; 3 Th., Leipz. 1828, in 82.*

(**) См. всѣ риторическія сочиненія *Цицерона* и наставленія *Квинтилиановы*. — *Платонъ*, въ *Горгіи*, называетъ Краснорѣчіе *δημοκρατικός πειθούς*; *Цицеронъ* — *facultas dicendo persuadendi*.

ЧТЕНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ.

Успѣхи Краснорѣчія. — Краснорѣчіе въ Греціи. —
Периклъ. — Исократъ. — Изей и Лизій. — Демосенъ.

Гдѣжъ впервые услышанъ былъ могучій голосъ Краснорѣчія? Тамъ ли, гдѣ Поэзія воспѣла первый гимнъ свой, еще въ младенчествѣ рода человѣческаго, или оно развивалось вмѣстѣ съ совершенствованіемъ общественной жизни? Развипіе душевныхъ силъ челоуѣка не одинаково ли съ развипіемъ умспвеннымъ въ челоуѣчествѣ? Гдѣ сила тѣлесная почиается единспвеннымъ могуществомъ, бо-жеспвенный даръ слова не раскрывается во всемъ блескѣ и величіи. Въ тѣхъ странахъ древняго міра не вспрѣчаемъ ни орашоровъ, ни историковъ, ни философовъ, гдѣ общеспво не было проникнуто любовью къ изящнымъ искуспствамъ, гдѣ духъ челоуѣка не былъ воспнпанъ и при-готовленъ къ воспріятію ученія мудрости. По-слѣдуемъ за успѣхами Краснорѣчія въ различныхъ времена и у разныхъ народовъ.

Краснорѣчіе процвѣтало только у народовъ образованныхъ. Просвѣщеніе воспнпываетъ, ле-лѣетъ геній; оно внушаетъ мужество, одушев-ляетъ надежду; возбуждаетъ въ людяхъ благо-родное соревнованіе и желаніе превзойти другъ друга во всемъ прекрасномъ и великомъ. У всѣхъ народовъ могутъ развиваться всѣ таланты;

краснорѣчіе принадлежило народамъ благоустроеннымъ. Напрасно спали бы мы искать памятникъ его въ первыхъ вѣкахъ міра, у народовъ Востока и въ Египтѣ. Безъ сомнѣнія, были и въ эти отдаленныя времена люди краснорѣчивые; но это болѣе поэзія, нежели могучее и сильное вѣщанство, убѣждающее насъ, увлекающее нашу волю. Языкъ первыхъ вѣковъ былъ языкъ восторженный. Таковъ и характеръ народовъ, оставившихъ въ языкахъ знаменіе своего бытія. Не обузданные въ пылкахъ спрашяхъ своихъ, живо поражаемые видомъ предметовъ изумительныхъ и чудесныхъ, они невольно приходили въ состояніе восторга, сильнаго чувства поэтическаго. Въ то время, когда люди не имѣли еще частныхъ взаимныхъ сношеній, когда сила была единственныимъ закономъ; тогда не могло явиться краснорѣчіе, даръ представлять истину осязательно, поразительно, даръ — возбуждать и уполять страсти.

До образованія въ Греціи отдѣльныхъ владѣній, полюбившихъ науки и искусства, мы не находимъ никакихъ слѣдовъ краснорѣчія, какъ искусства убѣждать словомъ. Учрежденные по одной мысли и одушевленные любовью къ отчизнѣ, они соперничали о гражданскомъ благоденствіи. Цвѣтущее состояніе ихъ продолжалось полпораста лѣтъ, отъ битвы Марафонской до Александра Великаго, покорившаго Грецію подъ свою власть. Въ это время были и историки, и философы, прославившіе отечество свое; въ это же время явились почти всѣ вѣщанія, которыми Греція гордится. После исторія и философія еще находили приютъ въ портикахъ; но вѣщанство умолкло, когда опустило вѣче Аѳинское.

Въ краснорѣчїи, равно какъ и во всѣхъ искусствахъ прославились особенно Аѳиняне, пламенные, трудолюбивые, искушенные бѣдствїями и переворопами опчиized. Правленїе въ Аѳинахъ было народное; не смолря на существованїе севата, всѣ дѣла окончательно рѣшались въ народныхъ собранїяхъ. Здѣсь надлежало убѣждать словомъ; здѣсь нужно было просвѣщать умъ, увлекать волю и дѣйствовать на спрасхи. Государственныя должности доступны были для всѣхъ; всякому гражданину открытъ былъ путь къ высшимъ почестямъ. Отсюда спрасъ къ совершенствованїю дара слова, награждавшаго могуществомъ и славою. И какое это краснорѣчїе? То ли, которое звучитъ наоборотъ словъ? Греческое краснорѣчїе рождено нуждою; оно сильно убѣждало и дѣйствовало на волю слушателей. Не суешныхъ рукоплесканїй ожидали виши, но искали народной довѣренности.

Народъ просвѣщенный, обладавшїй прекрасными способностями, спраспно любившїй изящныя искусства, имѣлъ и вкусъ изящный. Аѳиняне въ этомъ отношенїи столько всѣхъ превосходили, что аттическій вкусъ, аттическій образъ жизни обратился въ идеалъ изящества. Правда, честлюбивые ораторы не однократно ослѣпляли ложнымъ вишїиствомъ Аѳинянъ, легкомысленныхъ, непостоянныхъ, приспраспныхъ къ нововведенїямъ; одно только благо общее и угрожавшїя опасности приводили ихъ къ почнымъ изслѣдованїямъ и заспавляли оплнчашъ ложное краснорѣчїе опъ истиннаго. Димосеень всегда поржеспвовалъ надъ своими противниками; пошому что, не уклоняясь опъ своего предмета и пренебрегая блескомъ выражений, онъ спарался только о томъ, чтобы истина предспавлена была народу ошущишельно. Опышизшїе

ораторы трепетали за слова свои къ народу: на нихъ возлагалась отвѣтственность за слѣдствія даннаго ими совѣта. Не въ тишинѣ уединенія и созерцательной жизни, но въ жаркихъ преніяхъ о благѣ общему, въ волненіи бурныхъ страстей, образовалось и облеклось въ споль могучую силу Аѳинское краснорѣчіе (*).

Пизистратъ, современникъ Солона, неспровергнувшій правленіе этого законодателя, является первымъ вытѣіею между Аѳинянами. Ему краснорѣчіе доставило верховную власть, которою онъ пользовался умѣренно. Исторія не упоминаетъ объ ораторахъ, жившихъ со времени Пизистрата до войны Пелопонезской. Периклъ, умершій при началѣ этой войны, первый вознесъ краснорѣчіе на высокую степень совершенства, даже и послѣ никто его не превзошелъ. Это не простой ораторъ, но полководецъ и правитель опытный, глубоко изучившій нравы своего народа, съ умомъ гибкимъ. Въ продолженіе сорока лѣтъ, онъ неограниченно управлялъ Аѳинами. Историки приписываютъ могущество его и силѣ краснорѣчія, и мудрости гражданственной. Впѣіство его было поразительное; оно неспровергало всѣ претяпствія и торжествовало надъ спрасями и склонпсями народа. Потому и прозвали его *Олимпійскимъ*: онъ, подобно Зевесу, гремѣлъ своимъ словомъ. Порница его честолобіе, мы не мо-

(*) См. *Плутарха* — въ жизнеописаніяхъ десяти Греческихъ ораторовъ. — *Ciceronis Brutus. s. de claris oratoribus.* — *Dav. Ruhnkenii Historia critica Orat. Græcor.* въ *Oratorum Græcorum monumentis*, т. VIII. — *A. Westermann — Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und Rom. Leipz. 1833—35, 2 Bde, in 8°.*

жемъ однакожъ не признавъ въ немъ великихъ доблестей: удивленіемъ этимъ доблестямъ и народною довѣренностью сильно было его краснорѣчіе. Щедрый, великодушный, онъ забывалъ собственныя выгоды для общаго блага. Говоряшъ, умирая, онъ радовался, что, во все свое продолжительное управленіе, не омрачилъ горестью ни одно семейство въ Аѳинахъ. Свидѣ замѣчаешь, что Периклъ первый изъ Аѳинянъ написалъ рѣчь для произношенія.

Послѣ Перикла, во время Пелопонезской войны, краснорѣчіемъ прославились Клеонъ, Алкibiадъ, Критій и Терамень. Они не занимались этимъ искусствомъ у риторовъ, и не въ школахъ образовали даръ свой, а среди государственныхъ дѣлъ и преній, гдѣ учились у своихъ противниковъ, гдѣ всѣ дѣла рѣшались рѣчами, гдѣ всѣ душевныя способности ихъ получили полное развитіе. О слогъ и способъ произношенія ораторовъ того времени можно судить по рѣчамъ, сохранившимся въ исторіи Фукидида. Въ нихъ находимъ слогъ мужественный, сильный, сжатый, иногда нѣсколько темный; они были величественны въ своихъ выраженіяхъ, обильны мыслями, и такъ сжаты и кратки, что иногда казались неясными (*). Самый тонъ этихъ рѣчей отличенъ отъ рѣчей новѣйшихъ временъ; изъ этого можно судить о степени образованности народа, къ которому вѣнціи обращали свое слово.

Краснорѣчіе послѣ Перикла приобрѣло еще большую важность. Тогда явился неизвѣстный

(*) »Grandes erant verba«, говоритъ Цицеронъ, »crebri
sententiis, compressione rerum breves, et, ob eam causam,
interdum subobscuri.«

дополъ классъ людей, которыхъ называли *риторами*, а иногда *софистами*, и которыхъ число умножилось въ Пелопонезскую войну. Изъ нихъ знаменитѣйшіе были Пропагоръ, Продикъ, Трагмъ и Горгій Леонсійскій, превзошедшій всѣхъ соперниковъ. Эти софисты съ риторическимъ искусствомъ соединяли утонченность логическую. Горгій выдавалъ себя за наставника краснорѣчія и прославился въ этомъ искусствѣ; онъ былъ въ величайшемъ уваженіи у Леонсійцевъ, у которыхъ даже вычеканена была монета съ его именемъ. Гермогенъ (*) сохранилъ одинъ отрывокъ, дающій понятіе о его слоgъ и способъ выпіиства. Въ этомъ отрывкѣ много искусственности и изысканности, непрерывная игра словъ и антитезы. Изъ него мы можемъ видѣть, до какой степени совершенства Греки доходили въ изученіи языка. Эти ораторы не ограничивались однимъ преподаваніемъ общихъ правилъ краснорѣчія и образованіемъ вкуса учениковъ своихъ; они предлагали общія формы для всѣхъ возможныхъ случаевъ, учили защищать и вмѣстѣ опровергать всякое дѣло. Здѣсь начало такъ называемыхъ *общихъ мьстъ* и способовъ изобрѣтенія доводовъ для различныхъ предметовъ. Отъ того высокое искусство краснорѣчія должно было прійти въ упадокъ — мужесквенному выпіиству первыхъ временъ наследовало ничтожное искусство софистовъ, употреблявшихъ во зло даръ слова. Сократъ объявилъ себя ихъ противникомъ. Способомъ простымъ, но глубокимъ, онъ разрушалъ ихъ софизмы, старался обратить всѣхъ къ здравому смыслу, къ приобретенію знаній полезныхъ и къ естественному выраженію мысли.

(*) De ideis, lib. II cap. 9.

Въ то же время, по смерти Сократа, явился *Исократъ*, котораго сочиненія дошли до насъ. Преподаваніемъ правилъ краснорѣчія онъ приобрѣлъ великую знаменитость, помрачившую всѣхъ его соперниковъ. Онъ былъ ораторомъ не безъ достоинства: рѣчи его исполнены чистой нравственности и благородныхъ чувствованій; но его слогу, сладостному и шекучему, недостаетъ силы. Исократъ никогда не говорилъ о дѣлахъ государственныхъ, не защищалъ въ судѣ людей частныхъ; всѣ рѣчи его имѣютъ одну только цѣль — нравиться. Более способный блистать, нежели выдерживать преніе, онъ более умѣлъ услаждать слухъ, нежели торжествовать въ судебныхъ состязаніяхъ (*). Слогъ Горгія Леонтійскаго состоялъ изъ періодовъ краткихъ, большею частію двучленныхъ; слогъ Исократа ошличался, напрошивъ, полнопою и обиліемъ. Онъ первый началъ писать періодами правильными, гармоническими и размыренными; можно даже упрекнуть его, что онъ въ этомъ отношеніи доходилъ до крайности. Что можно подуматъ объ ораторѣ, посвятившемъ десять лѣтъ на сочиненіе одной рѣчи, извѣстнаго *панегирика*? Это сочиненіе и до насъ дошло. Сколько труда долженъ былъ онъ употребить, чтобы ошдѣлать его съ такою мелочной тщательностію! Мы имѣемъ полное разсужденіе Діонисія Галикарнасскаго о рѣчахъ Исократа и пѣкопорохъ другихъ ораторовъ Греческихъ, лучшее критическое сочиненіе древности, достойное изученія. Похваляя въ Исократѣ излщество слога и нравственности, какою проникнуты всѣ

(*) »Ротрае«, замѣчаетъ Цицеронъ, »magis quam pugna aptior; ad voluptatem aurium accommodatus potius, quam ad iudiciorum certamen.«

его произведенія, кришникъ юрицаєтъ его при-
нужденность и однообразное паденіе періодовъ,
видишь въ немъ блестящаго декламатора, а не
вышю, преклоняющаго волю языкомъ самой при-
роды. Цицеронъ также признаєтъ недоспашки
Исократъ; при всемъ этомъ оказываєтъ пристра-
стіе къ его «речи полной и мѣрной» (*); по-
тому что самъ слишкомъ часто любилъ ее упои-
реблять. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій (**) онъ
говоритъ, что другъ его Брушъ былъ съ нимъ
въ этомъ несогласенъ, и упрекалъ его въ излиш-
немъ пристрастіи къ Исократу. Естественнo,
большая часть молодыхъ людей, начинающихъ со-
чинять, увлекаются великолѣпіемъ, правильностью
и благозвучіемъ; но скоро опытъ въ произношеніи
и упражненіе въ сочиненіи убѣждаетъ каждаго, что
заученные приемы не приличны дѣламъ важнымъ,
не останавливаютъ вниманія. Говорятъ, что
именно знаменитость Исократъ побудила Аристо-
шеля, прославившагося вскорѣ послѣ него, на-
писать правила Риторики. Аристотелева точка
зрѣнія на Краснорѣчіе не та, съ которой смотрѣли
Исократъ и другіе современные ему риторы.
Аристотель имѣлъ цѣлю направить вниманіе ора-
торовъ гораздо болѣе на искусство убѣждать и
трогать сердце, нежели на гармонию и размѣръ
періодовъ.

Изей и Лизій, оиъ которыхъ оспалось намъ
нѣсколько рѣчей, принадлежатъ къ этому же пері-
оду. Лизій жилъ немногими годами прежде Исо-
кратъ, и былъ образцемъ въ томъ родѣ, кото-
рый древніе называли *«tenuis vel subtilis»*. Въ сло-

(*) *«Plena ac numerosa.»*

(**) *Oratio ad M. Brutum.*

гъ его изътъ великолѣпія слога Исократова: это слогъ чистый, простой, ашпическій; но ему не достаетъ иногда силы и теплоты (*). — Изей достопримѣчательнъ тѣмъ, что былъ учителемъ Димосѣена, который возвысилъ краснорѣчіе до такой степени, какой, можетъ быть, не достигалъ ни одинъ ораторъ.

Сильное желаніе Димосѣена отличиться въ ораторскомъ искусствѣ, неудача первыхъ опытовъ, твердая воля, преодолевавшая всѣ препят-

(*) Діонисій Галкарнасскій; сравнивая Лизія съ Исократомъ, приписываетъ первому прелесть, особенное изящество: *πέφυκε γὰρ ἡ Δυσίου λέξις ἔχειν τὸ χαρίεν, ἡ δ' Ἰσοκράτους βούλεται*: «слогъ Лизіевъ родился изящнымъ, а Исократовъ хочетъ быть такимъ. Въ искусствѣ повѣствованій, по ясности, правдоподобію и убѣдительности, онъ ставитъ Лизія выше всѣхъ ораторовъ, но вмѣстѣ признаетъ и неспособность его разсуждать о предметахъ важныхъ. Онъ можетъ убѣдить, но не возвысить, не воспламенить. Даже пышность Исократа болѣе прилична важнымъ случаямъ. Онъ пріятнѣе Лизія и превосходитъ его въ возвышенности чувствованій. Разсужденіе свое объ Исократѣ заключаетъ слѣдующими замѣчаніями, которыя всегда должны находиться въ виду желающихъ быть истинными ораторами: »Я не оправдываю изысканныхъ оборотовъ его выраженій; часто онъ пренебрегаетъ мыслию для гармоніи выраженія, и основательностью для красиваго слова. Высшее витійство въ политическихъ преніяхъ близко подходитъ къ природѣ, а природа требуетъ, чтобы слово повиновалось мысли, а не мысль слову. Не знаю, къ чему могутъ служить эти украшенія, сценическая декламация, всѣ эти мелочи для совѣтодаателя, говорящаго о войнѣ и мирѣ, или для человека частнаго, защищающаго свою жизнь въ судилищѣ. Напротивъ, знаю, что они могутъ вредить; потому что украшенія излишнія въ дѣлахъ важныхъ всегда бываютъ нескромны и охлаждающъ чувство состраданія.»

ствія врожденныхъ недоспашковъ, подземелье, въ которомъ онъ заключался для того, чтобы вполнѣ предаваться ученію, упражненію въ произношеніи на берегу моря, которыми онъ приучилъ себя къ шуму бурныхъ собраній народныхъ, камешки, которыми онъ клалъ въ ротъ для того, чтобы исправить выговоръ — всѣ эти подробности должны ободрали посвящающихъ себя краснорѣчію: изъ нихъ мы видимъ, какъ искусство и трудъ могутъ замѣнить то, въ чемъ опказано природой.

Презирая неестественный слогъ современныхъ ему риторовъ, *Димосѣенъ* обратился къ мужественному, могучему краснорѣчію Перикла. Сила и стремительность — вотъ отличительный характеръ его слога. Удобнѣйшій случай выказать дарованія представился Димосѣену въ Олинпейскихъ рѣчахъ и Филиппикахъ. Эти рѣчи, занимающія первое мѣсто между всѣми рѣчами Димосѣена, обязаны частію своего достоинства столько же важности предмета, сколько нравственной чистотѣ оратора и общественному духу, которымъ онѣ проникнуты. Цель ихъ — возбудить негодованіе Аѳинянъ противъ Филиппа Македонскаго, общаго врага Греческой независимости, и оградить ихъ отъ коварныхъ замысловъ этого хитраго завоевателя, хотѣвшаго усыпить ихъ въ опасности. Ораторъ употребляетъ всѣ возможныя средства для пробужденія народа, прославившагося своею образованностью и мужествомъ, но въ которомъ уже начали показываться признаки перерожденія. Онъ сѣло упрекаетъ своихъ согражданъ въ продажности, въ безпечности, въ равнодушіи къ дѣлу общему, и въ то же время, со всѣмъ искусствомъ оратора, припоминаетъ имъ славу предковъ; удостоверяетъ ихъ, что они еще

находясь въ цвѣтущемъ состояніи и состав-
ляющъ народъ могущественный, назначенный
быть представителемъ Греціи; что имъ стоило
только захотѣть, и Филиппъ воспріемлетъ.
Прошивъ современныхъ ораторовъ, подкуплен-
ныхъ Филиппомъ, негодованію его нѣтъ предѣла:
онъ явно называетъ ихъ измѣнниками. Внушая
Аѳинянамъ мужество и рѣшительность, онъ не
ограничивается этимъ, указываетъ имъ путь,
по которому они должны идти, и подробно изла-
гаетъ всѣ средства для приведенія въ исполне-
ніе внушаемыхъ имъ предпріятій. Воинъ содержа-
ніе его рѣчей огненныхъ, порывистыхъ и силь-
ныхъ общественнымъ духомъ; это непрерывная
цѣпь наведеній, выводовъ и убѣдительныхъ умо-
заключеній; фигуры, на которыя онъ такъ береж-
ливъ, рождающія у него изъ самаго предмета. Всего
меньше должно искать въ его сочиненіяхъ напыщен-
ности и украшеній слога. Могучая сила мысли —
отличительный его характеръ. Занимаясь болѣе
сущностію дѣла, нежели словами, онъ согрѣваетъ
сердце, преклоняетъ волю, заставляетъ слушаате-
лей забывать оратора и думать только о пред-
метѣ его рѣчи. И въ этой рѣчи нѣтъ никакой
прищорной изысканности, никакой лести, ника-
кихъ заученыхъ оборотовъ. Полный своего пред-
мета онъ немногими словами приготовляетъ на-
родъ къ выслушанію полезныхъ истинъ, и потомъ
прямо приступаетъ къ дѣлу.

Димосѳенъ является во всемъ своемъ превос-
ходствѣ при сравненіи съ Эсхиномъ, въ знамени-
той рѣчи о *вѣнкѣ*. Эсхинъ, его соперникъ и лич-
ный врагъ, считался между отличѣйшими ora-
торами того времени; но его рѣчь передъ рѣчью
Димосѳена кажется слабою и производимъ совсѣмъ

пное впечатлѣніе. Доводы касательно закона, предмета пренія, остроумны; но нападеніе его на Димосеена неопредѣленно и нерышительно. Въ Димосеенѣ, напрошивъ, мы видимъ стремительность потока, одолюющаго всѣ преграды: онъ громитъ своего противника, снимаетъ съ него личину и яркими красками описываетъ его ненавистный характеръ. Особенное достоинство этой рѣчи состоитъ въ томъ, что въ ней всѣ описанія поразительны и живописны; она вся проникнута честью и добросовѣстностью. Ораторъ выражается съ силою и достоинствомъ, принадлежащими только великимъ дѣйствіямъ и изникающимъ изъ одушевленія чловѣка, позабывшаго свою личность для блага общественнаго. Оба оратора позволяютъ себѣ чрезвычайную вольность въ выраженіяхъ другъ противъ друга, вольность, которую допускали древніе нравы, для духа нашего времени оскорбительную. Приличія, предписываемыя новымъ вѣщамъ, имѣютъ въ этомъ отношеніи неоспоримыя преимущества.

Слогъ Димосеена силенъ и сжатъ, но иногда грубъ и неровенъ. Слова его выразительны, обороты тверды и мужественны. Трудно найти въ немъ размѣръ, скрытый ритмъ, приписываемый ему нѣкоторыми древними критиками. Напротивъ, онъ пренебрегалъ эстетическими второстепенными красотами слога, стремился къ высокому въ мысляхъ и въ чувствованіяхъ. Греческіе писатели свидѣтельствуютъ, что его голосъ и шлодвиженія при произношеніи были полны огня и увлекающей силы. Если судить о характерѣ по его произведеніямъ, то должно приписать ему болѣе суровости, нежели приятности. Всегда важный, разсудительный, спрашивъ, онъ никогда не

унижается до шупливости. Одно только можно порицать въ его дивномъ краснорѣчїи — сухость и недостатковъ прелести. Діоносій Галикарнассскій говоритъ, что Димосеенъ заимствовалъ эту сухость и жесткость у Фукидида, котораго испорію переписывалъ восемь разъ. Но эти недостатки съ избыткомъ вознаграждаются высшей силой краснорѣчія могучаго и неодолимаго, увлекавшаго *слушателей*, и нынѣ, при простомъ *чтеніи*, возбуждающаго живѣйшія ощущенія.

По смерти Димосеена, Греція утратила свою независимость, и краснорѣчіе изнемогало въ устахъ риторовъ и софистовъ. Димитрій Фалерійскій приобрѣлъ нѣкоторую знаменитость; но его представляють намъ ораторомъ, болѣе цвѣтущимъ, нежели убѣдительнымъ, болѣе заботившимся о внѣшней опдѣлкѣ слога, нежели о внутренней сущности предметовъ. «Delectabat Athenienses», говоритъ Цицеронъ, «magis quàm inflammat»: онъ болѣе забавлялъ Аѳинянъ, нежели воспламенялъ ихъ. Послѣ Димитрія Фалерійскаго въ Греціи не было никого, ктобы заслуживалъ шипло оратора.

И такъ успѣхи Краснорѣчія въ Греціи были согласны съ успѣхами народной образованности, отъ которой зависить и народное благоденствіе. Продолжимъ дальнѣйшее обозрѣніе судьбы Краснорѣчія въ Римѣ, и потомъ въ новомъ успѣвственномъ мірѣ — въ мірѣ Христіанскомъ.

ЧТЕНІЕ ОСЬМНАДЦАТОЕ.

Успѣхи Краснорѣчія въ Римѣ. — Цицеронъ. — Краснорѣчіе духовное. — Краснорѣчіе новѣйшихъ временъ.

Бывшій взглядъ на успѣхи Краснорѣчія въ Греціи убѣждаетъ насъ въ томъ, что оно является въ обществѣхъ благоустроенныхъ. Слѣдуя за успѣхами его въ Римѣ, мы еще болѣе убѣдимся въ этой истинѣ: здѣсь высшая степень совершенства Краснорѣчія современна полному развитію общественной жизни. Римляне долгое время были народомъ воинственнымъ, чуждымъ изящныхъ искусствъ, съ которыми они познакомились, спустя уже нѣсколько вѣковъ послѣ основанія своей столицы, именно въ то время, когда покорили Грецію. Они всегда сознавались, что Греки ихъ наставники во всѣхъ наукахъ и искусствахъ:

*Graecia capta ferum victorem cepit, et artes
Intulit agresti Latio. (Horat. Ep. ad Aug.)*

У Грековъ заимствовали они и краснорѣчіе, и поэзію, и всѣ изящныя искусства. Болѣе важныя, суровыя, но менѣе живыя и оспроумныя, они не имѣли ни проницательности, ни чувствительности Грековъ; спраши ихъ съ трудомъ возбуждались. Самый языкъ Римлянъ носитъ оппечашокъ ихъ ума: онъ правиленъ, силенъ, величественъ,

но лишентъ и простоты въ выраженіи, и глубокости для всѣхъ предметовъ и родовъ сочиненій, между тѣмъ какъ опъ нея зависѣли приятность и благозвучіе Греческаго языка:

Graius ingenium, Graius dedit ore rotundo
Musa loqui. (*Ars poet.*)

При сравненіи произведеній Грековъ и Римлянъ, находимъ, что произведенія первыхъ носятъ на себѣ отпечатокъ гения, а произведенія вторыхъ отличаются правильностью и искусствомъ. Римляне усовершенствовали изобрѣтенія Грековъ; творенія Греческія представляются подлинниками, во многомъ неправильными, Римскія — подражаніями, но совершенными.

Въ Римѣ съ давнихъ временъ краспорѣчіе служило сильнѣйшимъ орудіемъ для могущества надъ народомъ. Безъ сомнѣнія, когда еще языкъ не имѣлъ изящныхъ формъ, не могло существовать высокое витійство. Цицеронъ (*), восхваляя старшаго Катона и другихъ витій того времени, сознается, что ихъ рѣчь жестка и сурова — *asperum et horridum genus dicendi*. Только не за-долго до Цицерона начали являться знаменитые витіи. Крассъ и Антоній, дѣйствующія лица въ разговоръ объ Ораторъ (**), были въ то время славнѣйшіе. Цицеронъ, въ этомъ разговорѣ и въ другихъ риторическихъ сочиненіяхъ, краспорѣчиво опредѣляетъ различіе ихъ слога. Но до насъ не дошли ни ихъ сочиненія, ни сочиненія Горшензія, современника Цицеронова и соперника, а потому бесполезно

(*) Brutus, sive de claris oratoribus.

(**) De oratore.

повторяють здѣсь мнѣніе Цицерона объ ихъ характерѣ (*).

Это пространство времени не представляеть намъ ничего достопримѣчательнаго, кромѣ самого Цицерона, котораго одно имя напоминаетъ все величіе ораторскаго искусства. Исторія его частной и политической жизни не имѣеть почти никакого прямого отношенія къ предмету, насъ занимающему. Мы должны говорить о немъ только какъ о знаменитомъ ораторѣ, и съ этою цѣлію разсматривать его достоинства и недоспѣшки, ежели какіе-либо недоспѣшки въ немъ откроемъ. Достоинства неоспоримы; всѣ его рѣчи запечатлѣны истиннымъ изяществомъ. Вступленія правильны; онъ прежде всего старается приготовить своихъ слушателей и привлечь ихъ вниманіе. Способъ изложенія ясенъ; доводы располагаются въ величайшемъ порядкѣ. Эта ясность даетъ ему преимущество предъ Демосѣеномъ. У Римскаго оратора каждое слово на своемъ мѣстѣ; онъ тогда только старается пронуть своихъ слушателей, когда увѣренъ въ ихъ убѣжденіи, и этимъ-то онъ особенно успѣваетъ въ искусствѣ возбуждать ихъ страсти. Никто изъ писателей не постигалъ лучше Цицерона значенія и силы словъ, которыя у него выливаются величально и изящно. Въ построеніи рѣчи онъ точенъ и правиленъ; слогъ его полный и шекучій,

(*) Объ этомъ можно читать упомянутыя сочиненія Цицерона: *De oratore* и *de claris oratoribus*, равно и treatise: *Orator ad M. Brutum*. Эти сочиненія достойны изученія занимающихся Словесностію. — Кромѣ указаннаго Вестерманна, замѣчательнъ *Burigny* — *Sur l'éloquence chez les Romains*, въ *Mem. de l'Acad. des Inscri.* T. 36.

всегда ровный. Онъ любитъ распространяться; выраженія его величественны; мысли и чувствованія дышатъ чистѣйшею правдивостію. Правда, онъ любитъ говорить много, но всегда разнообразно и прилично предмету. Въ каждой изъ четырехъ рѣчей противъ Капилины можно отличить особенный тонъ и слогъ, преимущественно въ первой и послѣдней; и во всѣхъ онъ умѣлъ прировняться къ обстоятельствамъ и времени. Когда его занималъ какой-либо важный политическій предметъ и возбуждалъ въ немъ чувство негодованія; тогда оставлялъ онъ любимый роскошный слогъ и переходилъ въ тонъ сильный и стремительный. Таковъ онъ въ рѣчахъ противъ Антонія, Верреса и Капилины.

Но великія достоинства Римскаго оратора не предохранили его отъ нѣкоторыхъ недостатковъ; на нихъ мы должны обратить наше вниманіе. Краснорѣчіе его представляеть образецъ столь блистательный, что безъ подробнаго разбора можетъ увлечь иныхъ къ ошибочному подражанію; это не одинъ разъ и случалось. Въ его рѣчахъ, особенно въ тѣхъ, которыя относятся къ его юности, замѣчаемъ много искусственности и даже иногда изысканности. Въ его краснорѣчій слишкомъ много великолѣпія. Можно сказать, что онъ старается болѣе изумить, нежели убѣдить своихъ слушателей. Во многихъ мѣстахъ болѣе высокопаренъ, нежели основателенъ, и паче многорѣчивъ, гдѣ долженъ бы говорить быстро и разительнѣе. Періоды его всегда стройны и благозвучны; въ нихъ не чувствуешь однообразія, потому что онъ умѣетъ давать имъ различное теченіе; но слишкомъ старался о великолѣпіи, онъ иногда ослабляетъ слогъ. Лишь только

представляется случай похвалить себя, Цицеронъ его не пропускаетъ. Въ этомъ ему могутъ служить извиненіемъ труды его и знаменитыя заслуги, оказанныя имъ отечеству; притомъ древніе менѣе насъ уважали скромность: не смотря на все это, не лѣзя не укорить Цицерона въ честолобіи и тщеславіи. Рѣчи его, равно какъ и другія пронаведенія, оставляютъ въ насъ это впечатлѣніе: видишь въ немъ мужа великаго по дарованіямъ, но при всемъ томъ суетнаго.

Недостатки, замѣченные нами въ Цицеронѣ, замѣчены были и его современниками. Тоже находимъ у Квинтилиана и у сочинителя разговора: *De causis corruptae eloquentiae*. Известно, что Брутъ называлъ его *fractum et elumbem*. «Современники, говоритъ Квинтилианъ, порицали въ немъ напыщенность и Азіатскую роскошь, обиліе и повторенія, холодность въ островахъ, недостатокъ силы и выразительности (*).» Эти упреки, безъ сомнѣнія, преувеличены и отзываются завистью и личною ненавистью. Враги оратора старались находить ошибки въ немъ и ихъ увеличивали. Въ Римѣ, во времена Цицерона, ораторы раздѣлялись на двѣ стороны—на Атіпиковъ и Азіатцевъ (**). Первые, допускавшіе въ краснорѣчій естественность и простоту, обвиняли Цицерона въ томъ, что онъ ввелъ въ обыкновеніе украшенія и цвѣтушій слогъ Восточныхъ писателей. Этого вышя, въ сочиненіяхъ своихъ о

(*) *Suorum temporum homines incessere audebant eum ut tumidiorem et Asianum, redundantem, et in repetitionibus nimium, et in salibus aliquando frigidum, et in compositione fractum et exultantem, et penè viro molliorem.*

(**) *Attici et Asiani.*

Риторикъ, особенно въ *Ораторъ*, старается въ свою очередь доказать, что первая сторона замѣтила истинное Апипическое вишійспиво грубымъ и холоднымъ. Квинтилианъ, въ десятой главѣ последней книги своихъ *Наставлений*, подробно описываетъ пренія двухъ эпѣхъ споронъ, упоминая, что слогъ Родосскій занимаетъ средину между Апипическимъ и Азіатскимъ. Самъ Квинтилианъ всегда держитъ сторону Цицерона и предпочитаетъ слогъ украшенный, возвышенный и обильный, какое бы названіе ему ни придавали. Онъ заключаетъ слѣдующимъ справедливымъ замѣчаніемъ: «Въ вишійспивѣ есть разные роды; странно спрашивать, который долженъ служить закономъ для оратора. Всѣ они могутъ имѣть мѣсто, если излагаютъ основательныя мысли. Вишій пользуется всеми родами, не только въ разныхъ случаяхъ,¹ но и въ разныхъ частяхъ одной и той же рѣчи (*).»

Сравненіе Цицерона съ Димосееномъ было предметомъ многихъ споровъ между критиками. Слогъ эпихъ великихъ ораторовъ и характеръ каждаго изъ нихъ столь различительно запечатлѣны въ ихъ сочиненіяхъ, что такое сравненіе не трудно. Димосеенъ суровъ и силенъ; Цицеронъ приятенъ и обольститель. Слогъ перваго болѣе мужественный, втораго болѣе украшенный. Первый жеспокъ, но одушевленъ и убѣдитель; второй приятенъ, но въ то же время изнѣженъ и слабъ.

(*) »Plures sunt eloquentiae facies; sed stultissimum est quaerere, ad quam recturus se sit orator; cum omnis species, quae modo recta est, habeat usum. — Utetur enim, ut res exiget, omnibus; nec pro causa modo, sed pro partibus causae.»

Нѣкоторые говорятъ въ защиту Цицерона, что различіе, замѣчаемое между нимъ и Димосееномъ, должно приписать различнымъ свойствамъ ихъ слушателей. Пропицательные и просвѣщенные Аѳиняне не пропускали ни одного слова изъ краткихъ и сильныхъ Димосееновыхъ рѣчей; не столь утонченные и менѣе знакомые съ ораторскимъ искусствомъ Римляне имѣли нужду въ краснорѣчіи болѣе народномъ, украшенномъ, приятномъ. Но это замѣчаніе не совсѣмъ справедливо: извѣстно, что Греческіе ораторы гораздо чаще произносили свои рѣчи толпѣ народной. Въ Аѳинахъ почти всѣ дѣла производились въ народныхъ собраніяхъ, гдѣ люди всѣхъ сословій бывали слушателями и судьями Димосеена; напротивъ, Цицеронъ болѣею частію произносилъ рѣчи передъ сенаторами, а въ дѣлахъ уголовныхъ передъ преторомъ или избранными судьями. Ужели знаменитѣйшимъ вельможамъ Римскимъ нужно было развитіе предмета большее, нежели простолюдникамъ Аѳинскимъ? Не справедливѣ ли то заключеніе, что, по ограниченности способностей, человѣкъ не можетъ соединять въ себѣ всѣхъ достоинствъ совершеннаго оратора, и равно оплечаться во всѣхъ родахъ краснорѣчія? Сила въ высочайшей степени никогда не соединяется съ прелестію и красотою; гений, любящій украшенія, не можетъ быть равно силенъ. Въ различіи дарованій состоитъ различіе краснорѣчія этихъ двухъ ораторовъ Греціи и Рима.

Кромѣ краткости Димосееновой, которая иногда бываетъ причиною неясности, языкъ его намъ менѣе знакомъ, нежели Латинскій; Цицерона мы читаемъ съ болѣею легкостью и съ болѣею удовольствіемъ. Но если бы важныя государственныя

для требовали ораторской рѣчи; то вѣдѣнство Димосееново произвело бы сильнѣйшее дѣйствіе, нежели вѣдѣнство Цицерона. Надобно мысленно перенестись въ тѣ обстоительства, въ которыхъ произнесены были Филиппики: и тогда понятны будутъ могущество ихъ и убѣдительность. Быстрый слогъ, сила доводовъ, негодование, сила дышащъ въ рѣчахъ Димосеена, и отъ того онъ столь одушевленъ, увлекателенъ. Цицероново краснорѣчіе приличное и блестящее, льстившее вкусу Римлянъ, часто кажется пафоснымъ, неприличнымъ холодному размышленію о дѣлахъ государственныхъ (*).

(*) Объ этомъ можно читать Гюма, въ его Опытъ о краснорѣчій; Фенелона — Dialogues sur l'éloquence и Réflexions sur la rhétorique et la poésie. Вотъ слова Фенелона: »Я не спрашусь признаться, что Димосеенъ мнѣ кажется выше Цицерона. Уверенъ, что никто болѣе меня не удивляется Цицерону. Онъ облакаетъ въ прекрасныя формы все, о чемъ говоритъ; вѣдѣнство его верхъ славы ораторской; онъ производитъ изъ словъ то, чего никто другой не въ состояніи произвести. Нельзя выразить разнообразія его ума: онъ кратокъ и силенъ проповѣдъ Капилины, Верреса, Антонія; но въ его рѣчахъ видны нѣкоторыя прикрасы. Искусство въ нихъ удивительное, но оно замѣтно. Ораторъ, помышляя о благе республики, и себя не забываетъ. Димосеенъ, кажется, не думаетъ о себѣ, помышляя объ отечествѣ. Онъ не старается объ изяществѣ, но всегда изященъ; употребляетъ слова, какъ скромный человѣкъ одѣланіе, громитъ, поражаетъ. Это пошукъ, увлекающій все съ собою. Читая его, думаешь о предметахъ, имъ изображаемыхъ, а не о словахъ. Мы Филиппа не видимъ, а онъ передъ нашими глазами. Восхищаюсь обоими ораторами; но признаюсь, мнѣе трогаетъ меня необыкновенное искусство и великолѣпное краснорѣчіе Цицерона, нежели сильная простота Димосеена.«

Цвѣтущее состояніе красноречія не долго продолжалось въ Римѣ: могущественное слово, раздававшееся въ Сенатѣ, ослабѣло и совѣсть умолкло послѣ Цицерона, вѣсть съ измѣненіемъ общественной жизни, нравовъ, просвѣщенія. Въ разговорѣ: *De causis corruptae eloquentiae*, находимъ прекрасное описаніе этого измѣненія и дѣйствія его на ораторское искусство. Роскошь, изысканность, дѣсть подавили дарованія. Опустѣло вѣче, на которомъ разсуждали о дѣлахъ тогдашняго міра. На этомъ вѣчѣ еще рѣшались шажбы, но народъ не принималъ въ нихъ участія, никто не обращалъ на нихъ вниманія (*).

Въ ораторскихъ школахъ того времени нанесенъ былъ новый ударъ красноречію. Тогда, для упражненія въ рѣчахъ, брали предметы вымышленные, которые никогда не могли встрѣпиться въ жизни: отсюда сфрасъ къ однимъ внѣшнимъ украшеніямъ (**).

(*) »Unus inter haec et alter dicenti assistit; et res velut in solitudine agitur. Oratori autem clamore plausuque opus est, et velut, quodam theatro, qualia quotidie antiquis oratoribus contingebant, cum tot ac tam nobiles forum coarctarent; cum clientelae, et tribus, et municipiorum legationes, periclitantibus assisterent; cum in plerisque judiciis crederet populus romanus sua interesse quid judicaretur.«

(**) »Pace vestra liceat dixisse, говорятъ Пемроніа ораторамъ своего времени, primi omnem eloquentiam perdidistis. Levibus enim ac inanibus sonis ludibria quaedam excitando, effecistis ut corpus orationis enervaretur atque caderet. Et ideo ego existimo adolescentulos in scholis stultissimos fieri, quia nihil ex iis, quae in usu habemus, aut audiunt, aut vident; sed piratos cum catenis in littore stantes, et tyrannos edicta scribentes, quibus imperent filii ut patrum suorum capita praecidant; sed responsa, in pestilentia data, ut virgines tres aut plures immolentur; sed mei-

Сильное и увлекательное краснорѣчіе Греческихъ ораторовъ превратилось въ мудрованія софистовъ: такъ въ устахъ Римскихъ витій оно перешло въ игру словъ, антипезы, напыщенность. Это извѣщеніе уже замѣтно въ сочиненіяхъ Сенеки и въ знаменитомъ Плиніевомъ панегирикѣ Траяну, въ кошоромъ блестятъ послѣднія искры Римскаго краснорѣчія. Въ Плиніи видѣнъ большой талантъ, но ему недоставало естественности и простоты. Замѣтно, что онъ ищетъ мыслей необыкновенныхъ, и что ему трудно поддерживать прииужденную возвыщенность.

Христіанская Религія возродила и перевоспитала духъ человѣческій, возвысила его отъ земли къ небу. При этомъ всемірномъ переворотѣ родилось новое краснорѣчіе, только не во славу Помпеевъ и Цезарей, не противъ Антоніевъ и Верресовъ: оно начало проповѣдывать слово Божіе; имъ вооружался духъ на пораженіе чувственности. Краснорѣчіе въ устахъ Отцевъ Церкви Христовой получило характеръ духовности и совершенно иное направленіе въ сравненіи съ краснорѣчіемъ древнихъ Грековъ и Римлянъ. Не частныя выгоды, не пренія житейскія, занимавшія языческихъ витій, были предметами проповѣди Василія Великаго, Григорія Назіанзина, Іоанна Златоустаго, но истинны общія, міровыя. Праведные и благочестивые мужи, не могли освободить изъ-подъ меча преторовъ и проконсуловъ гибнущія головы Христіанъ, направили дѣйствія слова на духъ человѣческій: они оживляли душевныя силы, ослабѣвавшія

litos verborum globulos, et omnia quasi papavere et sesamo sparsa. Qui inter hæc nutriuntur, non magis sapere possunt, quàm bene olere qui in culinâ habitant.»

подъ бременемъ гонсній, воздвигнутыхъ на Христіанъ, воспламеняли въ нихъ священный восторгъ къ новымъ возвышеннымъ подвигамъ. Характеръ краснорѣчія Христіанскихъ ораторовъ представлялъ совершенную противоположность краснорѣчію Грековъ и Римлянъ. Святая истина, согрѣвая теплотою благочестивыхъ чувствованій — священный восторгъ, овладѣвшій въ первые вѣка Христіанства жителями Іудей, Сирій, Африки, Греціи, придавали слову непреодолимую силу. Истребить пороки, обуздать буйныя страсти, возвысить духъ надъ чувственностью: такова цѣль могучаго слова проповѣдниковъ первыхъ вѣковъ. Не на блистательномъ вѣчѣ, не въ Римскомъ сенатѣ, а предъ кострами мучениковъ говорили Христіанскіе вишіи (*).

Четвертое столѣтіе есть великая эпоха въ исторіи первоначальной Церкви и золотой вѣкъ духовнаго краснорѣчія. Тогда-то собственно Церковь содѣлалась общественнымъ могуществомъ; тогда произвела она въ краснорѣчій и наукахъ великихъ гениевъ. Сколько знаменитыхъ мужей, краснорѣчивыхъ вишій наполняютъ промежутокъ времени между Аѳанасіемъ и Бл. Августиномъ! Какое сильное потрясеніе во всемъ Римскомъ мірѣ! Сколько умовъ, истощающихся въ паничественныхъ преніяхъ! Какой переворотъ цѣлаго общества при гласѣ Религіи, кошорая быстро изъ подземныхъ пещеръ переселяется на престолъ Цезарей и повелѣваетъ мечемъ, пришупившимся о тѣла мучениковъ! Въ IV столѣтіи вѣщество духовнаго краснорѣчія развилось соразвѣрно съ разрушеніемъ

(*) См. *Villemain* de l'éloquence chrétienne dans le quatrième siècle, въ *Nouveaux melanges historiques et littéraires*. 1827.

всего остального. Среди постыднаго ослабленія духа, Леонасій, Златоустъ, Амвросій, Августинъ проповѣдуютъ чистѣйшую правдивость; только ихъ гений не колеблется при упадкѣ имперіи: они, какъ бы основатели среди развалинъ, дѣйствительно были зиждителями того великаго, святаго зданія, которому предназначено было наслаждаться имперіи Римской.

Перелисывая огромные сборники учености и краснорѣчія первыхъ Христіанскихъ вѣковъ, пробѣгаешь въ памяти происшествія величайшаго въ мірѣ переворота. — Изучая великія творенія въ эпикѣ богословскихъ библіотекахъ, проникаешь правды и гений народовъ. Живое воображеніе Христіанскихъ вѣпій, ихъ боренія, воспоргъ — все возсоздаетъ новый міръ, который уже болѣе не существуетъ, и извѣстія о которомъ, вѣрнѣе самой исторіи, передали намъ ихъ одушевленные рѣчи. Вопросы самые отвѣченные сплываются ясными, когда постигаешь пылъ распрей и истину словъ. Все кажется замѣчательнымъ; потому что все было одно чистосердечіе. Высокія добродѣтели, сильныя обличенія, самая вѣрность характеровъ одушевляли эту картину необыкновеннаго сполнѣнія, проникнушаго метафизикою и богословіемъ, и для котораго чудесное и непостижимое обратилось въ естественное и дѣйствительное.

Къ этой идеальной жизни присоединяются происшествія жизни общественной, спирасти и обыкновенныя погрѣшности челоуѣческой нашей природы. Смѣсь народовъ, различно образованныхъ и соединенныхъ всемірною Религіею, еще болѣе умножаетъ удивительное разнообразіе этого зрѣлища. Христіанство, дѣйствующее съ большею или меньшею силою, принимается народами, под-

типичными одному плу Римлянъ, по различнымъ по происхожденію, нравамъ и климату. Первоначальный ихъ характеръ содѣйствовалъ энтузіазму, освобождавшему онъ узъ земныхъ. Обищатель Саринъ, Грекъ, Африканецъ, Дашинъ, Галлъ, Испанецъ — каждый заключаетъ въ своемъ Христіанствѣ особенныя отличительныхъ свойствъ, ему принадлежащихъ; часто ученія, иногда стои многочисленныя, были болѣе народныя, нежели богословскія.

Писанія Св. Ошдець представляютъ полную картину ашого разнообразія. Среди преній и начинственныхъ размышленій находятъ все подробности исторіи народовъ, извѣстія объ успѣхахъ продолжительнаго нравственнаго переворота, о склоненіи къ упадку и прошивоборствъ древнихъ обычаевъ, о вліяніи наукъ, о новыхъ вѣрованіяхъ, начинающихся съ существованіемъ каждаго народа и въ свою очередь находящихъ подпору въ знаніяхъ и краснорѣчіи; находятъ ораторовъ, проповѣдующихъ въ духъ Апостоловъ Христіанство, создающее въ древнемъ мірѣ вѣкъ образованія, который какъ бы ошдѣлялся отъ Римской исторіи, но вѣстѣ съ нею прешель.

Здѣсь-то возсіалъ геній Греціи, долго сшнавшій подъ игомъ Римлянъ! Восторженный жаромъ новообращенія, вѣстѣ того, чтооь забавлять своего повелителя суешными краснорѣчіемъ, онъ предпринимаешъ весь міръ обратишь въ свою Религію. Воцарившись почти въ одно время во всѣхъ концахъ имперіи Востока, онъ сілешъ въ своей родной землѣ, въ Египтѣ, и преимущественно въ Азіатской Греціи, столь знаменитой по роскоши и богатшву, но отъ которой ничего не ошдалось.

Въ Римѣ Христіанство не только торжесствовало, два общества, два богослуженія, прежнее и новое, были въ безпресшанной борьбѣ. Храмы, цирки, театры, даже улицы Рима, загроможденные языческими памятниками, возбуждали Христіанскую ревность въ нѣкоторой цѣли части жителей. Многія семейства сенаторовъ еще привержены были къ древнему богослуженію, воображалъ, что они эпитаи поддерживаютъ славу предковъ; народъ же пѣвсился въ Христіанскихъ церквахъ и на кладбищахъ, гдѣ покоился прахъ мучениковъ. Несчастные и бѣдные повиновались новому закону, въ которомъ находили себѣ утѣшеніе и помощь; начинали уже обвинять жрецовъ въ роскоши и пышности. Въ половинѣ IV столѣтія епископскій престолъ служилъ предметомъ распрей. Язычники съ радостію озирали на раздоры и иронически противопоставляли ихъ простотѣ и скромности своихъ наставниковъ. Должно замѣнить, что въ это столѣтіе церковь Римская не произвела ни одного великаго писателя, который бы могъ спастъ наряду съ ораторами Греціи и Азіи; заботясь о расширеніи предѣловъ своего могущества, она домогалась лишь одного — владычества надъ церквами Африки, Галліи и Иберіи (*).

Въ обѣихъ Церквахъ, Восточной и Западной, Златоусты, Василии, Григоріи Назіанзины, Іеронимы, Августины въ образованіи и краснорѣчіи превосходили всѣхъ языческихъ софистовъ — и даже все, что предшествовало имъ со временъ Плуларха и Тацита. Въ отношеніи къ генію эта новая эпоха знаменита и памятна для челове-

(*) См. *Tschirner's Der Fall des Heidenthums, Leipz. 1829.* — *Beugnot Histoire de la destruction du paganisme en Occident. Paris, 1835. 2 voll.*

скаго рода. Св. Василій, Григорій Назіанзинъ и Іоаннъ Златоустъ почитаются первыми образцами ученаго, благочестиваго краснорѣчія, посвященнаго истинному образованію народа. Въ устахъ ихъ Религія не заключаетъ того пламеннаго жара соплязній, въ копоромъ сгарало все рвеніе Аѳанасія; Религія была уже не мечемъ, покоряющимъ и раздѣляющимъ, но узами, шихо связующими сердца. Служители ея, менѣе занятыя догматами, устремляютъ свои успія на преобразование нравовъ и утѣшеніе несчастныхъ; ученіе часто изливается въ простыхъ и правдивыхъ рѣчахъ; но эти рѣчи всегда одушевлены восточною прелестію, юнымъ воспоргомъ, какимъ дышало Христіанство при своемъ рожденіи. Все, что представляетъ намъ исторія краснорѣчія возвышеннаго, ничтожно въ сравненіи съ тѣми высокими образцами вилійства, копорые имѣемъ мы отъ Св. Василія, Григорія Назіанзина, Іоанна Златоустаго, Блаженнаго Августина и другихъ Христіанскихъ ораторовъ. Не своекорыстіе, не эгоизмъ управляетъ ихъ дѣйствіями и служитъ побужденіемъ къ тѣмъ подвигамъ, копорые приводятъ насъ въ изумленіе, но самоотверженіе, сильное и постоянное стремленіе къ Виновику бытія суть источники тѣхъ великихъ добродѣтелей, копорыя возносятъ человека выше обыкновенной земной сферы.

Перейдемъ къ изслѣдованію краснорѣчія позднѣйшихъ временъ. Прежде всего замѣтимъ, что ни у одного народа Европы сколько не изучается ораторское искусство, сколько оно изучалось въ Греціи и Римѣ. Геній краснорѣчія въ новыя времена уже не торжествовалъ надъ волею человека и не производилъ дѣйствій чудесныхъ. Въ храмахъ

Господнихъ только раздавалось краснорѣчіе возвышеннѣйшее и благороднѣйшее. Творческія произведенія исторіи и философіи могутъ равняться произведеніямъ Греціи и Рима, нѣкоторыя даже превосходятъ древніе образцы; но Цицеронъ и Демосѳенъ доселѣ не имѣютъ соперниковъ. Древніе старались воспламенять умы или поражать воображеніе своихъ слушателей. Сила произношенія и шлодвиженій слѣдовала за силою мыслей. *Supplisio pedis, percussio frontis et femoris* (*), по словамъ Цицерона, были самыми употребительными шлодвиженіями ораторовъ; въ наше время такая декламація позволительна только на сценѣ драмы. Краснорѣчіе новое гораздо умѣреннѣе, и нѣрѣдко ограничивается просвѣщеніемъ ума слушателей, безъ возбужденія сильныхъ чувствованій. Этого родъ Краснорѣчія древніе называли *lenis*, или *subtilis*; его цѣль — убѣжденіе поучительное, а не воспламененіе страстей. Вотъ новое подтвержденіе истины, съ которой начали мы обзоръ нашихъ краснорѣчій: оно, составляя потребность общественной жизни, вполне развитой, соотвѣтствуетъ большому или меньшему развитію одного изъ дѣятелей духовнаго организма — ума, воли и чувства. Такъ успехамъ просвѣщенія принадлежитъ преимущественное развитіе умственное, общее стремленіе къ знаніямъ, къ просвѣщенію ума. Этого способъ мышленія у новыхъ народовъ гораздо строже и оощепливѣе, нежели у древнихъ. Въ творческихъ произведеніяхъ Римляне и Греки превзошли насъ; но въ точности и правильности сужденій мы имѣемъ надъ ними преимущество.

(*) De claris oratoribus.

Послѣ опытовъ многихъ вѣковъ философія и исторія оказали большіе успѣхи. Мы привыкли всякій предметъ заключать въ предѣлы истины, воздерживаться отъ порывовъ краснорѣчія. Система нашихъ законовъ сложнѣе системы древнихъ, и познаніе ихъ стало предметомъ долговременнаго изученія, занятіемъ цѣлой жизни. Даръ слова и искусство писать изящно почитаются вспомогательнымъ средствомъ. Самое обыкновеніе читають рѣчи, а не произносятъ ихъ на память, препращуемъ успѣхамъ краснорѣчія. Нынѣшнія рѣчи обрабатываются съ бѣльшимъ тщаніемъ, но онѣ менѣе краснорѣчивы; рѣчь, которую читаемъ, слабѣе той живой рѣчи, которую прямо отъ сердца произносимъ. Неисчерпаемый источникъ для новаго витійства всегда открываетъ элементъ религіозный, родной нашему духу безконечному, недовольному одною землею, временною жизнію, готовящемуся къ жизни небесной, вѣчной. Кромѣ религіознаго элемента, философія и исторія, обогащенныя тысячелѣтними опытами, представляютъ новые предметы для изящныхъ изображеній въ словѣ. Но формы изящныхъ изображеній въ словѣ, какъ цвѣты, образующіеся отъ преломленія луча въ призмѣ, остаются неизмѣнными для всѣхъ временъ и народовъ; а потому краснорѣчіе Греческое и Римское, въ которомъ выразилась общественная жизнь въ политическомъ своемъ развитіи, всегда можешь служить образцомъ для генія творящаго и наукою для испытующаго изящнаго вкуса.

ЧТЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ.

Составныя части Ораторской рѣчи. — Приступъ. — Предложеніе — Раздѣленіе. — Повѣствованіе.

По обозрѣніи успѣховъ Краспорѣчія въ древнемъ и новомъ мірѣ, приступимъ къ изслѣдованію изысканаго въ Ораторской рѣчи и въ различныхъ ея родахъ. Прежде всего разсмотримъ составныя части рѣчи.

Ораторская рѣчь (*oratio, s. ore expressa ratio*), какъ сочиненіе, произносимое для убѣжденія ума и преклоненія воли, основаніемъ имѣетъ умозаключеніе. Посылки основнаго умозаключенія, изъ которыхъ выводятся новыя умозаключенія, составляютъ предѣлы ораторской рѣчи; она не должна ихъ переступать. Эти два предѣла соединяются между собою посредствующими понятіями: въ нихъ раскрытіи состоятъ все объясненіе. Возьмемъ въ примѣръ оствовъ Цицероновой рѣчи за Архіа. Въ ней два предмета слѣдовало доказать: во-первыхъ, что Архій гражданинъ; во-вторыхъ, что еслибъ онъ и не былъ гражданиномъ, достоинъ этого отпущія. Отъ того здѣсь два основныя умозаключенія. Въ первомъ большая посылка состоитъ въ изложеніи требованій закона на право Римскаго гражданства; въ меньшей доказывається, что Архій выполнилъ всѣ эти требованія (гл. 6, гл. 11). Во второмъ умозаключеніи большая по-

сылка заключаетъ доказательство, что ученые и поэты достойны права гражданства (гл. 12 — гл. 16); въ меньшей послылкѣ изображенъ Архій, какъ ученый и поэтъ.

Изъ основного умозаключенія развиваются и всѣ части ораторской рѣчи: меньшая посылка служитъ элементомъ раздѣленію и повѣствованію; большая — опроверженіямъ и доводамъ. Естественно въ заключеніи повторяется предложеніе, обобщающія доказательства въ живой, осязательной картинѣ, поразительной для чувства. Сверхъ того ораторъ въ началѣ объясняетъ причину доказываемой истины въ отношеніи къ извѣстному мѣсту и времени. Отсюда происходятъ слѣдующія части ораторской рѣчи, какъ раскрытаго умозаключенія: *приступъ и предложеніе, раздѣленіе и повѣствованіе, доводы, часть патетическая и заключеніе*. Не всякая ораторская рѣчь содержитъ въ себѣ всѣ эти части; равно не всегда въ такомъ порядкѣ онѣ слѣдуютъ одна за другою: форма рѣчи измѣняется по свойствамъ главной мысли. Состоитъ ли она изъ одного предмета: и основное умозаключеніе бываетъ одно. Будетъ ли вопросъ сложный: и умозаключеніе должно быть столько же, сколько частей въ вопросѣ. Во многихъ изящныхъ рѣчахъ ораторъ начинаетъ прямо съ объясненія предмета безъ приступа, или, оставивъ раздѣленіе, повѣствуетъ и доказываетъ. Иногда большая посылка предлагается безъ доказательства, какъ мысль извѣстная и подлежащая никакому сомнѣнію: доказывать такую мысль, замѣчаетъ Квинтилианъ, значить тоже, что освѣщать свѣтлое солнце слабымъ блескомъ лампы. Но полная, правильная рѣчь состоитъ изъ показанныхъ частей; два же эле-

мент — историческій и философскій, соотносящіе меншею и большею посылають, непременно входящъ въ составъ каждой рѣчи; а потому разсмотримъ подробно весь составныя ея части. Въ нихъ раскрываются идеи по всемъ возможнымъ отношеніямъ, отражается *порядокъ мыслей и движеній чувства* — условія проявленія изящества. Мы будемъ указывать преимущественно на образцы древнихъ; потому что ихъ вышійство по изящнымъ формамъ служило доселѣ идеаломъ (*).

Употребленіе *приступа* основано на требованіяхъ самаго разума. Прежде, нежели начнемъ раскрывать или доказывать истину, подавать советъ или предлагать поученіе, необходимо объяснить причину, почему мы въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время начинаемъ говорить, привлечь вниманіе слушателей, благосклонность и расположеніе къ убѣжденію. Это требованіе ума Цицеронъ и Квинтилианъ выражаютъ пріема названіями оратора въ приступѣ: *reddere auditores benevolos, attentos, dociles.*

Какимъ же образомъ приобрьщается благосклонность слушателей къ оратору и предмету, имъ излагаемому? Для этого ораторъ въ рѣчи судебной можеть заимствовать приступъ изъ своего положенія или изъ положенія защищаемаго кліента, противопоставляя тому и другому характеръ и образъ жизни своего противника. Въ приступѣ рѣчи за Архія н. п. Цицеронъ показываетъ, чѣмъ онъ обязанъ Архію, какъ наставнику своему, отъ котораго получилъ все, что приносилъ на пользу отечеству. Въ рѣчахъ другого рода заимствуютъ

(*) См. *Aristot. Rhet. I. III. c. 13.* — *Cicer. Orator. § 124.*

приступъ изъ свойствъ самаго предмета, изображая вліяніе его на слушателей. Но большею частію скромность и чистота намѣреній содѣйствуютъ приобрѣтенію благосклонности. Хотите ли вы возбудить въ слушателяхъ вниманіе? Представьте важность, великость или новостъ предмета; по крайней мѣрѣ представьте яснѣе то, что прежде казалось неопредѣленнымъ, сбивчивымъ: безъ сомнѣнія, вы будете слушаны. Для приготовленія воли слушателей къ доказываемой истинѣ, должно отклонить всякое предубѣжденіе къ тому мнѣнію или дѣлу, котораго раскрытіе или объясненіе мы предпринимаемъ.

Такова цѣль приступа. Если же мы увѣрены въ благосклонности и вниманіи слушателей; то можно обойтись безъ приступа. Тогда лучше начинать прямо предметъ свой, въсто приступа изъ общихъ выраженій; или, не желая оскорбить слушателей внезапнымъ изложеніемъ своего дѣла, объясните причину рѣчи въ немногихъ словахъ. Въ приступы Демосѣеновы: крашки и проспы, Цицероновы — проспранны и излишно выработаны.

Древніе различали два рода приступа: *естественный* (*principium*) и *искусственный* (*insinuatіo*). Въ приступахъ перваго рода вступая безъ всякихъ околичностей начинаютъ свой предметъ и объясняютъ дѣло; въ приступахъ втораго рода, какъ бы не надѣясь на успѣхъ рѣчи, постепенно приходилъ въ благосклонность слушателей, возбуждалъ вниманіе и приготовлялъ ихъ волю къ убѣжденію.

Прекрасный примѣръ искусственнаго приступа читаемъ во второй рѣчи Цицерона противъ Рулла. Этотъ Руллъ, бывши народнымъ трибуномъ, предложилъ законъ (*lex agraria*), по ко-

шорому Децемвиры, облеченные неограниченною властію, должны были въ шеченіе пяти лѣтъ, по своему произволу, завоеванныя земли раздѣлить между Римскими гражданами. Сполъ привлекашелей для народа законъ и прежде предлагали трибуны. Цицеронъ, лишь только избранный въ консулы, предсталъ въ собраніи противникомъ этого закона. Дѣло затруднительное, требовавшее величайшаго искусства. Онъ въ приступѣ исчисляешъ все благодѣяніе, какія получилъ отъ народа, и за которыя обязанъ защищать народныя права; пошомъ шоржественно объявляетъ, что онъ всегда желалъ приобрести любовь гражданъ — почиталъ для себя высокою честію прозвание консула народнаго (*popularis*). Многие, говоритъ онъ, подъ этимъ именемъ скрывали честолюбивыя замыслы; но, по его мнѣнію, шомъ истинно любитъ народъ, кто постоянно и усильно печется о его пользѣ, спокойствіи, благоденствіи. Тутъ приступаетъ къ предложенію Рулла. Сначала вы подумаете, что винтъ не противился закону о раздѣленіи земель, что онъ одобряетъ усердіе Гракховъ, ревностныхъ защитниковъ правъ народныхъ. Дѣйствительно, онъ признается, что прежде самъ соглашался съ этимъ мнѣніемъ; а по зрѣломъ соображеніи, находитъ, что предлагаемый законъ угрожаетъ нарушеніемъ правъ гражданскихъ, и отважнымъ честолюбцамъ можетъ проложить путь къ гибельнымъ замысламъ противъ Рима. Въ окончаніи приступа Цицеронъ проситъ о вниманіи къ своему слову, прибавляя, что онъ готовъ пожертвовать собственнымъ мнѣніемъ большинству голосовъ. Эшомъ краснорѣчивый приступъ имѣлъ желаемый успѣхъ: народъ отвергнулъ законъ Рулла.

Ознакомившись съ характеромъ и назначеніемъ первой части рѣчи, постараемся открыть въ немъ изящное. Приличный приступъ производитъ сильное дѣйствіе на слушателей: здѣсь вниманіе, свѣжее и спокойное, легче располагается ко всякимъ впечатлѣніямъ. Не смотря на краткость, эта часть рѣчи пребудетъ искусства и проникабельности. Изящный приступъ зависить отъ самой сущности предмета: онъ долженъ, говоритъ Цицеронъ, развиваться изъ предмета, какъ цвѣтъ изъ распенія (*). Многіе начинаютъ рѣчи съ общихъ мѣспъ, не имѣющихъ никакой связи съ излагаемымъ предметомъ; такіе приступы составляютъ какъ бы отдѣльную часть сочиненія. Саллюстіевы приступы можно приспособить ко всякой другой исторіи. Они изящны сами по себѣ, но совсѣмъ неприличны и ошибочны у Саллюстія; попому что нимало не относятся къ описываемымъ событіямъ. Цицеронъ, у котораго приступы въ рѣчахъ изящны, иногда погрѣшалъ въ ихъ естественности. Въ одномъ письмѣ къ Аппику (**) онъ самъ сознается, что ему случалось заранѣе изготавлять приступы на различные предметы; одинъ и тотъ же приступъ встрѣчался въ двухъ различныхъ сочиненіяхъ.

Для избѣжанія такихъ погрѣшностей, ораторъ долженъ обнять въ умѣ своемъ всю часть рѣчи, вникнуть въ ея содержаніе и сообразить, съ чего прилично начать сочиненіе. Когда мы проникнуны предметомъ своимъ, мысли для приступа сами собою представляются. Въ противномъ случаѣ, если мы заботимся о приступѣ прежде

(*) »Effloruisse penitus ex re de qua tum agitur.«

(**) L. XVI, 6.

самой рѣчи, можемъ попасть на какую-либо общую мысль, или принуждены бываемъ примѣнять рѣчь къ приступу, вмѣсто того, что надобно приступъ примѣнять къ цѣлой рѣчи. »Сообразивъ весь составъ рѣчи, говоритъ Цицеронъ, я уже обдумаю приступъ; напрошивъ, всегда запруднялся, когда сочинялъ приступъ прежде другихъ частей. Не находя мыслей, принужденъ бываешь заимствовать его изъ общихъ мѣстъ (*). Когда умъ приведенъ въ дѣятельность соображеніемъ предмета и чувство возбуждено; тогда мысли для приступа приходятъ какъ бы незванныя.

Изясненію приступа требуетъ точности. Въ недостатки и излишества рѣчи гораздо замѣнше въ приступѣ, нежели въ прочихъ частяхъ: слушатели, еще незапятанные предметомъ рѣчи и доказательствами, все вниманіе обращаютъ на красочную выраженію. Здѣсь-то и долженъ ораторъ умѣть воспользоваться вниманіемъ слушателей; но излишняя изысканность, въ самомъ началѣ болѣе замѣтная, возбуждаетъ подозрѣніе; слушатели, не вида простоты и естественности, не ожидаютъ отъ оратора истины въ цѣлой рѣчи. »Надобно быть точными, а не искусственными, замѣчаетъ Квинтиліанъ: *ut videamur accurate, non callide dicere.*»

Въ отношеніи къ слушателямъ, для яснаго приступа нужны еще другія достоинства. Скромность, свойственная каждому благоразумному чело-вѣку, существенно необходима оратору предъ многочисленнымъ собраніемъ. Надменный видъ оскорбляетъ каждого; напрошивъ, скромность при-

(*) »*Omnibus rebus consideratis, tum denique id quod primum est dicendum, postremum soleo cogitare, quo utar exordio. Nam si quando id primum invenire volui, nullum mihi occurrit nisi aut exile, aut nugatorium, aut vulgare.*»

лшна слушателямъ: они принимаютъ это за уваженіе, имъ оказываемое. Скромность необходима не въ однихъ выраженіяхъ, но и въ произношеніи, во взорахъ, въ голосъ, въ тѣлодвиженіяхъ. Безъ сомнѣнія, скромность не пребуешъ униженности; но подъ покровомъ благоприличія должнъ высказываться чувствено достоинства, внушаемое справедливостью или важностью излагаемаго дѣла. «Начиная рѣчь, рассказываетъ о себѣ Цицеронъ, я часто робѣлъ: лице блѣднѣло, духъ смущался, я весь дрожалъ. Однажды въ приступъ я пришелъ въ совершенное безпамятство, и преторъ принужденъ былъ распустилъ собраніе.» Скромный приступъ не долженъ обѣщать слишкомъ много:

«Non sumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem.»

Мудрый витія начинаетъ рѣчь просто, предается стремленію чувствованій поспѣшенно. Бываютъ однако случаи, когда ораторъ начинаетъ рѣчь возвышенно и блистательно. Такіе приступы приличны въ защищеніи истины, противъ которой слушатели предубѣждены. Тутъ нуженъ приступъ смѣлый и сильный для того, чтобъ однимъ ударомъ уничтожить предубѣжденіе и расположить волю слушателей къ своему мнѣнію. Позволяется также разительный приступъ, когда одно воспоминаніе о предметѣ возбуждаетъ радость, гордость, негодованіе или другую какую-либо страсть. Боссиюэпъ, Флешье и многіе другіе начинаютъ рѣчи приступами величественными, возбуждающими вниманіе и проливающими свѣтъ на всю рѣчь; но ораторъ долженъ знать силы свои и поддерживать тонъ въ продолженіе всего слова.

Кромѣ этого, отъ приступа пребуется спокойствіе; спросъ и порывъ рѣдко правятся

въ началѣ рѣчи. Движенія усиливаются съ рас-
пространеніемъ слова; къ чувствамъ страстнымъ
надобно приготавливать слушателей постепенно.
Бываютъ приступы пламенные, когда самый пред-
метъ возбуждаетъ такое же чувство; когда при-
сутствіе челоѣка, или предмета, о которомъ
должно говорить, воспламеняетъ оратора. Тогда
позволителенъ приступъ внезапный (*ex abrupto*).
При появленіи Капилины въ сенатѣ, прилично было
Цицерону начать рѣчь словами: «Доколѣ, Капи-
лина, будешь употреблять во зло наше терпѣніе?»
Такіе случаи рѣдки; послѣ подобныхъ приступовъ
трудно поддерживать напряженное вниманіе слуша-
телей. Вообще въ приступѣ не надобно спараться
о возбужденіи страсти; можно только пробудить
чувство и расположить его къ сильнѣйшему по-
трясенію, приготовить къ этому душу слуша-
телей. Въ приступѣ должны изникать смена чув-
ствованій, какія развиваются въ рѣчи; пусть слу-
шатели въ началѣ слова узнаютъ, чѣмъ полна
душа оратора и что она повѣдаетъ. У великихъ
ораторовъ приступъ служитъ главною нотою,
которая звучитъ въ цѣлой рѣчи.

Не должно помѣщать въ приступѣ всѣхъ
мыслей, относящихся къ самому содержанію рѣчи.
Нарушеніе порядка мыслей производитъ тѣмноту
въ изложеніи предмета; а тѣ доказательства, ко-
торыя должны убѣждать насъ въ истинѣ, пе-
рриютъ новостъ, если встрѣчаются и въ приступѣ,
и въ срединѣ рѣчи. Мысль сильнѣе впечатлѣвает-
ся, когда встрѣчается только одинъ разъ и ста-
вится на приличномъ мѣстѣ.

Наконецъ приступъ долженъ быть соразмѣ-
ренъ съ рѣчью и согласоваться съ нею въ каче-
ствѣ украшеній. Спранно видѣть огромный пер-

шникъ при небольшомъ заданіи; не приличны богатшя украшенія простому дому. Такъ и въ изящной рѣчи каждая часть должна соотносѣваться и шону, и краскамъ цѣлаго творенія.

Воптъ условія изящнаго приступа во всѣхъ рѣчахъ. Въ народныхъ рѣчахъ и судебныхъ съ осторожностью орапоръ объясняется въ приступѣ; иначе прошивная спора можетъ воспользоваться его собственнымъ оружіемъ. Общія мѣста, общія истины не должны встрѣчаться въ приступахъ: малѣйшее измѣненіе въ выраженіи доставляетъ другому шоржество употребить прошивъ насъ шу мысль, кошорою мы надѣялись защитити себя въ доводахъ. Квинтилианъ объ этомъ дѣлаетъ справедливое замѣчаніе: вступленіе, заимствованное опъ ближайшаго предмета или изъ содержанія преній, по его мнѣнію, имѣетъ особенную прелесть; оно ясно и ошущительно. «Приштенъ присту», взяшый опъ положеній прошивной споры: шакого приступа не обдумываютъ дома, а онъ раждается во время преній, изъ самаго дѣла, показывается дарованія вишіи, приобретаешъ довѣренность; всякой видишъ, что рѣчь не заранѣе написана. Прочія части могутъ быти и прежде обработаны; но цѣлая рѣчь представляется внезапно, безъ приготошвенія произнесенною, если присту какъ бы родился вдругъ, безъ всякаго приготошвенія (*).»

(*) «Multum gratiae exordio est, quod ab actione diversae partis materiam trahit; hoc ipso, quod non compositum domi, sed ibi atque e re natum; et facilitate famam ingenii augeat; et facie simplicis sumptique e proximo sermonis, fidem quoque acquirit, adeo ut, etiamsi reliqua scripta atque elaborata sint, tamen videatur tota extemporalis oratio, cujus initium nihil preparatum habuisse manifestum est.»

Зажытымъ, что приступъ историческій есть одинъ изъ изящнѣйшихъ: онъ возбуждаетъ вниманіе. Всегда можно пользоваться этимъ родомъ приступа, когда встрѣчается какое-либо замѣчательное событіе, имѣющее связь съ предметомъ рѣчи. Подобный приступъ — живая картина; отъ него легко переходимъ къ изложенію самаго предмета. Таковъ приступъ въ Томасовомъ похвальномъ словѣ Морицу: «Спасенная Мориномъ Франція воздвигла надъ прахомъ его памятникъ, свидѣтельствующій и признательность, и нашу скорбь. Новый Фидій представилъ героя стоящимъ, среди профеевъ и памятниковъ побѣдъ своихъ; смерть, облеченная въ погребальный покровъ, возвышаетъ ему, что его часъ пробилъ, и приподнимаетъ мраморную крышу гробницы, разверзающейся для принятія его въ свое лоно. Герой нисходитъ твердыми стѣпами и съ свѣплымъ взоромъ, съ какимъ онъ распоряжалъ битвами. Геній, проливающий слезы, гаситъ свѣточъ, и съходящая Франція, опершись на булаву, съ поникшею главою, повержена въ глубокую печаль. Весь эпосъ памятникъ, изображеніе смерти великаго человека, наводитъ на душу грусть величественную и ужасъ трогательный. Но эпосъ мавзоль, произведеніе знаменитаго художника, такъ же погибнетъ, какъ погнѣтъ и герой, имъ изображаемый. Время все потребляющее разрушитъ нѣкогда эпосъ мраморъ; и, чрезъ нѣсколько вѣковъ, пушникъ не найдетъ даже обломковъ, оплачетъ гибель памятника и слабость человеческую, съ такимъ трудомъ предающую безсмертію предметы своего удивленія. Чье же произведеніе воздвигаетъ памятникъ долговѣчнѣйшій? Произведеніе поэта или оратора чувствительнаго, кошорыхъ души

воспламеняются добродѣтелями, или мудреца, проникающаго ихъ глубоко и умѣющаго изобразить глубину души. Мавзолеи и гробницы Аристидовъ и Катоновъ уже извѣстны; а дѣлѣнія ихъ еще живутъ въ швореніи мудреца Херонейскаго. Не извѣстно мѣсто, гдѣ поконился прахъ Агриколы; а добродѣтели его безсмертны въ Тацитѣ. Счастливы тѣмъ, кто можетъ имѣть свое соединеніе съ именами великихъ людей, и повѣдать потомству о томъ, что было возвышенно или полезно!»

«Сословіе гражданъ добродѣтельныхъ и мудрыхъ призываетъ ораторовъ и поэтовъ опечесивенныхъ къ прославленію героя, спасителя опечесива: и я дерзаю произнести нѣсколько словъ у подножія его памятника. Если я не превзойду соперниковъ моихъ славою побѣды, по крайней мѣрѣ останется при мнѣ слава исполненія долга признательности; если я не успѣю, какъ вѣнціи — буду гордиться, какъ гражданинъ, тѣмъ, что почтѣлъ по возможности защитника опечесива.»

Къ приступамъ эшого рода принадлежатъ приступъ похвального слова Ломоносова Елисаветѣ. Въ немъ изображена излщнѣйшая картина ликующей Россіи въ день восшествія на престолъ Монархини. «Тамъ, со благоговѣніемъ предстоя алтарю Господню чинъ священный, съ куреніемъ благоуханій возвышаются молищенные гласы и сердце свое къ Богу о покрывающей и украшающей Церковь Его въ тишинѣ глубокой; индѣ, при радостномъ звукѣ и мирнаго оружія, достигающъ до облаковъ торжественные плески Россійскаго воинства, показующаго свое усердіе къ благополучной и щедрой своей Государынѣ. Тамъ, сошедшій на праздничное пиръшество, градоначальники

и граждане, въ любовной бесѣдѣ воспоминають труды Петровы, совершаемые нынѣ бодростію Августѣйшія Его Дщери; индѣ, по прошествіи плодоноснаго лѣта, при полныхъ житницахъ ликуя, скачутъ земледѣльцы, и простымъ, но усерднымъ пѣніемъ Покровительницу свою величаютъ. Тамъ плаватели, покоясь въ безопасномъ пристанищѣ, въ радости волненіе воспоминають, и сугубымъ веселіемъ день сей препровождаютъ; индѣ, по проспираннымъ полямъ Азійскимъ разѣзжая, степные обитатели хитрымъ искусствомъ стрѣлы свои весело пускають и показують, коль они гошовы устремить ихъ на враговъ своего Повелительницы.» За этой картиной вишія говоритъ: »Не можеть неописанная радость наша въ шѣсныхъ предѣлахъ сердца пынѣ удержаться, по на лице и на языкъ изливается. Напрягаются крайнія силы разума и слова изобразить Монаршескія Ея добродѣтели, увеселеніе подданныхъ, удивленіе свѣта, славу и украшеніе временъ нашихъ.»

За приступомъ обыкновенно слѣдуетъ *предложеніе*. Въ этой части кратко и ясно излагается главное содержаніе рѣчи: это зерно, изъ котораго развивается все сочиненіе. Въ предложеніи не должно помѣщать ни одного лишняго понятія, чуждаго сущности содержанія, ни одного вносказательнаго реченія, которое моглобъ ошвлечь вниманіе слушателей отъ главнаго предмета къ постороннему.

Предложивъ предметъ, ораторъ *раздѣляетъ* его, или разлагая общую мысль на частныя мысли, или кратко объясняя весь порядокъ рѣчи. Въ краткихъ сочиненіяхъ и въ шѣхъ, въ которыхъ излагается простой, несложный предметъ, можно прямо повѣствовать или доказывать безъ

раздѣленія; нунѣ мы легко обобщимъ всѣ части и ихъ послѣдовательность. Каждое правильное сочиненіе необходимо пребудетъ порядкомъ; предъидущее должно проливаться свѣтъ на послѣдующее: и все это можетъ выполняться, когда предвѣщаемыя порядкомъ мыслей одной за другою.

Фенелонъ отвергаетъ необходимость раздѣленія, утверждая, что оно нарушаетъ единство рѣчи, и будто вниманіе удобнѣе поддерживается, когда порядокъ изложенія не прерывается. Но самъ ораторъ не удалился ли онъ предмета своего, если не сдѣлаетъ точнаго раздѣленія? Справедливо, что онъ этого рѣчь получаетъ видъ ученаго сочиненія; но вѣстѣ съ тѣмъ она становится яснѣе, понятнѣе и, что составляетъ цѣль ораторской рѣчи, поразительнѣе для большей части слушателей. Ораторъ, раздѣляя на части сочиненіе, облегчаетъ вниманіе; по окончаніи каждой части, мы какъ бы отдыхаемъ, соображаемъ слышанное и яснѣе видимъ связь предъидущаго съ послѣдующимъ. Раздѣленіе сильнѣе впечатлѣваетъ въ наши цѣлый составъ ея, открываетъ, что должно слѣдовать. «Окончаніемъ каждой части въ рѣчи, замѣчаетъ Квинтилианъ, оживляется упомянутое вниманіе слушателей почти такъ же, какъ мы ощущаемъ бодрость, когда на пути видимъ пройденное пространство. Съ одной стороны, вспоминая понесенные труды, мы чувствуемъ удовольствіе; съ другой, представляя себѣ подлежащій путь, вновь напрягаемъ силы къ его совершенію (*).» Что касается до нарушенія единства,

(*) »Reficit audientem certo singularum partium fine; non aliter quam facientibus iter multum detrahunt fatigationis notata spatia inscriptis lapidibus: nam et exhausti laboris

это можетъ произойти отъ недоспадка порядка въ расположеніи мыслей, а не отъ раздѣленія; при этомъ недоспадка и раздѣленіе не приносятъ пользы. Напротивъ, правильное раздѣленіе содѣйствуетъ единству; потому что изъ него яснѣе видна связь всѣхъ частей и отношеніе ихъ къ одной главной мысли, какъ средоточію.

Правильное дѣленіе должно соответствовать своему предмету, исчисляя всѣ части такъ, чтобы члены дѣленія, вышедъ взятыя, равнялись цѣлому содержанію рѣчи. Въ противномъ случаѣ дѣленіе бываетъ или слишкомъ обширно, или слишкомъ ограничено. Раздѣленіе слишкомъ обширное содержишь въ себѣ такіе члены, которые не заключаются въ предложеніи; раздѣленіе, слишкомъ ограниченное, не исчерпываетъ всѣхъ членовъ предложенія.

Члены раздѣленія должны явственнѣе описываться одинъ отъ другаго, чтобы одинъ не содержался въ другомъ. Въ этомъ отношеніи не вѣрно бы сдѣлали мы дѣленіе, еслибъ въ одной части говорили н. п. о благахъ добродѣтели, во второй о благахъ правосудія; потому что понятіе правосудія относится къ понятію добродѣтели, какъ видъ къ роду. Отъ такого дѣленія происходитъ сбивчивость и безпорядокъ.

Необходима нужна въ раздѣленіи непрерывность естественная — отъ предметовъ простѣйшихъ переходъ къ труднѣйшимъ, которыми первые служатъ основаніемъ и объясненіемъ. Рѣчь должна } разлагаться сама собою на составные

nosse mensuram voluptati est; et hortatur ad reliqua fortius exsequenda scire quantum supersit.^a

элементы, а не разрываться: *dividere, non frangere*, было правилом древнихъ въ раздѣленіи.

Члены дѣленія требуютъ возможной краткости; ни одного слова не должно быть лишняго и ненужнаго. Изящество этой части рѣчи именно состоитъ въ ясномъ, выразительномъ и краткомъ изложеніи каждаго члена. Такое дѣленіе нравится и легко удерживается въ памяти.

Не нужно размножать числа членовъ; подраздѣленіе ихъ на новыя части производить неприятное дѣйствіе. Въ ученomъ разсужденіи это прилично; но въ рѣчи такое дѣленіе бесполезно и обременительно для памяти. Вотъ изящное раздѣленіе въ Массильоновомъ словѣ на текстъ: *Вся совершишася*. «И такъ смерть Иисуса Христа, говоритъ проповѣдникъ, представляеть три совершенія или исполненія, заключающія въ себѣ все, что есть святаго и умилительнаго въ Евангеліи: исполненіе правосудія Отцомъ предвѣчнымъ; исполненіе зла со стороны человѣческой; исполненіе любви Иисусомъ Христомъ.» Изящно раздѣленіе у Бурдалу шекспира: *Миръ вамъ*. «Во-первыхъ, говоритъ вѣстія, миръ духа въ послушаніи вѣры; во-вторыхъ, миръ сердца въ покорности закону Божественному.» Къ изящнымъ раздѣленіямъ принадлежитъ раздѣленіе Карамзина въ похвальномъ словѣ Екатерины II. «Сотраждане! Екатерина безсмертна своими побѣдами, мудрыми законами и благотѣльными учрежденіями: взоръ нашъ слѣдуетъ за Нею на сихъ трехъ путяхъ славы.»

Прислушаемся къ повѣствованію, части рѣчи весьма важной и пребывающей особеннаго вниманія. Изящный разсказъ вообще есть дѣло трудное; въ ораторской рѣчи онъ представляеть еще болѣе

нія затрудненія. Высказати истину, избѣжать излишняго распростиранія, изложить обстоятельства дѣла, которыя должны служить основаніемъ доводамъ, представити эти обстоятельства съ надлежащей точки зрѣнія, высказать главнѣйшіе предметы съ выгодной спорной, противоположные ослабить: такое художественное повѣствованіе есть верхъ изящества. При всемъ этомъ изысканность не должна быть замѣтна; иначе ораторъ возбудишь къ себѣ недоувѣренность. Здѣсь совѣтуетъ Квинтиліанъ особенно избѣгать искусственности: «Слушатель всегда бываетъ болѣе оспороженъ при повѣствованіи, и не перпинишь ничего вымышленнаго, напянутаго; напротивъ, все должно происходить отъ самаго дѣла, не отъ оратора (*).»

Условія изящнаго повѣствованія суть: ясность, краткость, достовѣрность. Ясность, необходимая въ каждой части сочиненія, особенно нужна въ повѣствованіи; она разливаетъ свѣтъ на прочія части рѣчи. Если происшествіе не объяснено надлежащимъ образомъ; если обстоятельства дѣла представлены темно и сбивчиво: то и самые доводы не произведутъ желаемаго убѣжденія. «Темный разсказъ, говоритъ Цицеронъ, омрачаетъ цѣлую рѣчь (**).» Для ясности въ повѣствованіи необходимъ точный порядокъ, вѣрное обозначеніе

(*) «Effugienda in hac præcipue parte omnis calliditatis suspicio: neque enim se usquam magis custodit iudex, quam cum narrat orator; nihil tum videatur fictum, nihil sollicitum; omnia potius a causa, quam ab oratore, profecta videantur.»

(**) De Orat. I, 11. «Narratio obscura totam obæcat orationem.»

мѣста и времени, указанія на дѣйствующія лица, съ описаніемъ ихъ характеровъ, изложеніе существенныхъ обстоятельствъ. Краткость повѣствованія состоитъ не въ сжатости слога, а въ опущеніи неважныхъ подробностей. Повѣствованіе будетъ кратко, если начнемъ его съ того мѣста, изъ котораго выйти нужно, и если не будемъ уклоняться къ обстоятельству опдаленнымъ, или касающимся постороннихъ предметовъ, повсюду одно и то же; если наконецъ не будемъ описывать по частямъ того, что можетъ быть выражено однимъ предложеніемъ. Достоверность повѣствованія пребудетъ описаній, согласныхъ съ порядкомъ природы, изложенія событій, не противорѣчащихъ общему мнѣнію; должно показать причину, продолженіе и окончаніе ихъ ясно и совершенно характерамъ дѣйствующихъ лицъ.

Искусству повѣствовать можно учиться у Цицерона. Образецъ ораторскаго повѣствованія находимъ въ рѣчи его за Милона. Цѣль вишія показать, что Клодій дѣйствительно убилъ Милономъ, въ слѣдствіе законной обороны, и что не Милонъ покушался на жизнь Клодія, но Клодій имѣлъ злой умыселъ противъ Милона. Всѣ обстоятельства, убѣждающія въ этомъ, представлены съ удивительнымъ искусствомъ. Разсказывая объ отъѣздѣ Милона изъ Рима, ораторъ такъ живописно изображаетъ семейство, отправляющееся въ деревню, что не лѣзя подозрѣвать въ этомъ путешествіи никакого злоумышленія. Вишія описываетъ встрѣчу двухъ противниковъ. Служители Клодія нападаютъ на людей Милона, и убиваютъ его вожакаго. Милонъ выходитъ изъ повозки, сбрасываетъ съ себя плащъ, и обороняется отъ людей Клодія, описиоду его окружив-

шихъ. Наконецъ ораторъ заключаетъ удачно тѣмъ, что люди Милона не убили Клодія, но что они, обороняясь, въ этой суматохѣ, безъ воли господина своего, безъ всякаго его въ этомъ участія, безъ него, сдѣлали то, чего бы всякій господинъ могъ ожидать отъ служителей своихъ въ подобномъ случаѣ. Вотъ рассказъ Цицерона: »Въ этотъ день Милонъ вышелъ изъ сената, по окончаніи всѣхъ дѣлъ; пришелъ домой, переодѣлся и ожидалъ, пока супруга его собиралась въ дорогу; наконецъ отправился въ путь въ ту пору, когда Клодій могъ бы возвратиться въ Римъ, если бы онъ хотѣлъ прибыть въ этотъ самый день. Милонъ встрѣчаетъ Клодія, легко одѣтаго, верхомъ, безъ повозки, безъ свиты, даже безъ жены, которая обыкновенно ѣздила съ нимъ; между тѣмъ какъ тотъ, который обвиняется въ злоумышленіи противъ него, и будто предпринялъ путешествіе нарочно съ тѣмъ, чтобъ умертвить его, былъ съ супругой своей, закушанный въ плащъ, въ повозкѣ, съ тяжелымъ обозомъ, съ многочисленною свитою и семействомъ.«

Изящно повѣствованіе Карамзина въ похвальномъ словѣ Екатерины II: »Монархія, увѣренная, что благонравіе нѣжнаго пола въ высшемъ состояніи имѣетъ сильное вліяніе на государственное благонравіе, основала, подъ собственнымъ Ея надзираніемъ, Домъ воспитанія для двухъ сотъ благородныхъ дѣвицъ, чтобы сдѣлать ихъ образцемъ женскихъ достоинствъ. Уставъ сей и цѣлію и средствами своими заслужилъ искреннюю похвалу, искреннее удивленіе первыхъ умовъ въ Европѣ. Тамъ любовь и кротость должны ласкою образовашъ юное сердце для всѣхъ женскихъ добродѣтелей; тамъ чувствительность и нѣжность, обращенныя въ приятную науку, разцвѣ-

такогѣ въ душѣ оцѣ примѣровъ и наставленій. Нравственность есть главный предметъ; но и разумъ обогащается всеми знаніями, всеми идеями, нужными для того любезнаго существа, которое должно быть прелестію свѣта, сокровищемъ супруга и первымъ наставникомъ дѣтей. Приятныя женскія руководя, которыя украшаютъ жизнь хозяйки — искусства Грацій, которыя милую природу и совершенства ея дѣлаютъ еще милѣе — входятъ также въ систему воспитанія. Екатерина любила посѣщать сей прекрасный цвѣтникъ, Ею насаженный; любила смотрѣть на веселыхъ пишомницъ, которыя, оставляя игры свои, спѣшили къ Ней на встрѣчу, окружали Ее радостными, шумными толпами, цѣловали Ея руки, одежду; единогласно называли матерью, и своею безпечною рѣзвостію въ присутствіи Монархини доказывали, что онѣ только любили, а не боялись Ее! Она знала имена, самые характеры ихъ; награждала добрые успѣхи своимъ благоволеніемъ, ласковыми взорами и похвалами; однимъ словомъ: Она казалась истинною матерью сего многочисленнаго, цвѣтущаго семейства. Всякой приѣздъ Ея былъ счастливымъ торжествомъ для всего Дома. — Минуты, проведенныя Ею въ Воскресенскомъ монастырѣ, были конечно непошербными для счастья минутами Ея дарствованія. Она предчувствовала мирное благополучіе семействъ, которое должноствовало быть плодомъ его учрежденія — и не обманулась. Какое-то невинное добродушіе, искренность, благонравіе, сверхъ знаній и талантовъ, бывающъ особеннымъ характеромъ Монастырскихъ воспитанницъ.»

Таковы условія изыскаго приступа, предложенія, раздѣленія и повѣствованія въ Орашорской рѣчѣ.

ЧТЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ.

Продолженіе о составныхъ частяхъ Ораторской рѣчи.
Доводы. — Частъ патетическая. — Заключение.

Разсмотрѣнные нами части Ораторской рѣчи относятся къ историческому элементу основнаго умозаключенія, или къ меньшей его послылкѣ: теперь перейдемъ къ развитію большей послылки, или къ элементу философскому. Прежде всего займемся доводами, которые составляютъ важнѣйшую часть убѣжденія и служатъ основаніемъ всякому сочиненію, имѣющему цѣлю раскрыть истину и преклонить волю.

Въ доводахъ предсѣвляющія при предметахъ: изобрѣшеніе доказательствъ, расположеніе и изящное выраженіе. Изобрѣшеніе, или содержаніе рѣчи, не относится собственно къ философіи краснорѣчія; она не можетъ доставлять высшіи доводовъ на всѣ случаи, но только показываетъ способъ изящнаго расположенія и выраженія доказательствъ. Изобрѣшая мысли, или производя что-либо новое и творческое въ области мышленія, есть даръ врожденный, обогащенный знаніями; наука открываетъ законы, по которымъ эстетъ даръ проявляется, облекаясь въ изящныя формы.

Древніе риторы распространили предѣлы науки своей слишкомъ далеко: они относили къ Риторикѣ не одно искусство *представлять* доводы изящно, но и изобрѣшеніе мыслей; полагали, что можно искусствомъ восполнить недосдашокъ творчества, доставивъ оратору возможность нахо-

дять доказательства на всѣ предметы и на всѣ случаи. Отсюда произошли такъ называемыя *топики*, или общія мѣста — *loci communes, sedes argumentorum* — ученіе, занимавшее столь много Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана. Эти *топики* состояли въ извѣстныхъ общихъ мысляхъ, которыми можно примѣняли ко многимъ случаямъ, и изъ которыхъ ораторъ заимствовалъ предметы для своихъ рѣчей. Общія мѣста древнихъ раздѣлялись на внутреннія и внѣшнія. Одни изъ нихъ относились ко всемъ родамъ рѣчей, другія къ одному какому либо роду. *Топики*, относившіяся ко всемъ родамъ рѣчей, были: родъ и видъ, причина и дѣйствіе, предъидущее и послѣдующее, подобіе и противоположеніе, опредѣленіе, обстоятельства времени и мѣста, и другія. Но въ каждомъ родѣ рѣчей различали мѣста лицъ и мѣста предметовъ (*). Въ похвальномъ и. п. родѣ рѣчей указывались извѣстные источники, изъ которыхъ почерпали ораторы похвалы или порицанія: рожденіе, родители, родина, воспитаніе, душевныя и тѣлесныя свойства, должности, имущество и проч. Къ совѣщательнымъ рѣчамъ принадлежали доказательства о принятіи какихъ-либо государственныхъ мѣръ, или, напротивъ, для отклоненія отъ какого-либо предпріятія. Такія доказательства требовали знанія силъ государства, богатствъ и всѣхъ другихъ способовъ. Ораторъ обращалъ вниманіе соотечественниковъ на союзниковъ и враговъ, на честь и славу народную.

Греческіе софисты были первыми изобрѣтателями этого искусственнаго краснорѣчія. Послѣдовавшіе риторы привели ученіе ихъ въ правиль-

(*) *Loci personarum et loci rerum.*

ную систему: читая ихъ, думаешь, что древніе дѣйствительно хотѣли образовать ораторовъ механически, безъ пособія творческихъ дарованій. На всѣ предметы рѣчей у нихъ были составлены особые правила. Ясно, что такое ученіе могло произвести блестящихъ декламаторовъ, но не вытѣй истинныхъ, полезныхъ для жизни общественной. Общія мѣста указываютъ на источники мыслей; по ихъ указаніямъ всякой можетъ говорить много и блистательно о всѣхъ предметахъ, съ поверхностными о нихъ свѣдѣніями. Но изъ этихъ источниковъ прольется ли потокъ рѣчи ораторской? То, что убѣждаетъ разумъ и преклоняетъ волю, рождается изъ самаго предмета, *ex visceribus causatur*, изъ совершеннаго знанія предмета, глубокаго о немъ размышленія. Не отъ того ли риторы превратили науку свою въ ученіе бесплодное, что думали искусственною замѣною и дарованія, и знанія о предметахъ, о которыхъ должно говорить? По основанію же своему, ученіе о топикахъ собственно принадлежитъ къ Логикѣ. Подробное приложеніе науки о законахъ мышленія къ древнему краснорѣчію дошло до насъ въ сочиненіяхъ Аристотеля, Цицерона (*) и Квинтилиана. Всѣ эти правила указываютъ нѣкоторые слѣды на пути къ истинѣ; а найти самую истину, открыть основаніе ея, разсмотрѣть связь и отношенія, сыскать убѣдительныя доказательства — можетъ умъ нашъ только помощію размышленія и глубокаго изученія предмета. Поэтому все изобрѣтеніе состоитъ въ раскрытіи понятій, служащихъ основаніемъ иному умозаключенію, на которомъ зиждется цѣлая ора-

(*) De inventione; Topica; de Oratore L. II.

порская рѣчь. Хошите вы дѣйствовать словомъ своимъ на слушателей, пронуть сердце: для этого углубишься въ предметъ свой, одушевишься имъ— и слово ваше будетъ сильно. Демосенъ не прибѣгалъ къ общимъ мѣстамъ риторическимъ, когда громилъ словомъ Филиппа и одушевлялъ Аѳинявъ. Цицеронъ тамъ кажется слабымъ, гдѣ слишкомъ покоряется строгости діалектической.

Въ чемъ же состоишь изящное расположеніе и выраженіе доводовъ? Въ расположеніи доказательствъ ораторы употребляютъ два способа: *аналитическій* и *синтетическій*. Доказывая первымъ способомъ, ораторъ не вдругъ показываетъ цѣль, къ которой ведетъ слушателей своихъ, но приближаетъ ихъ къ ней постепенно, переходя отъ одной истины къ другой, пока не откроетъ истины желаемой, какъ слѣдствія предыдущихъ. Такъ и. п. проповѣдникъ, доказывая бытіе Всемогущаго Промысла, можетъ начать съ указанія на окружающую насъ природу, гдѣ все существующее имѣетъ начало, а все, что имѣетъ начало, должно происходить отъ извѣстной причины; въ произведеніяхъ человѣческихъ также видимъ намѣреніе, или причину. Восходя отъ причины къ причинѣ, достигаемъ до первой и высшей, къ Творцу и Зидателю міра, въ которомъ и истина, и благость, и изящество. Этотъ способъ одинаковъ со способомъ Сократическимъ: онъ проситъ, ясенъ и способенъ принимать всѣ изящныя украшенія. Особенно аналитически тогда можно доказывать, когда слушатели предубѣждены противъ истины, и когда должно вести ихъ къ извѣстной цѣли непримѣтно, не показывая ея при началѣ доказательствъ (*).

(*) См. полную теорію доводовъ in *Mellin's Encyklopæd. Wörterbuche der kritischen Philosophie*, B. I. Abth. 2.

Но этотъ способъ употребляется въ немногихъ случаяхъ; мало такихъ предметовъ, къ которымъ онъ удобно прилагается. Чаше употребляется способъ доказательствъ синтетическій. Тутъ прямо начинаемъ съ той мысли, которую намѣрены развивать, объясняемъ одно предложеніе другими предложеніями, представляющими ту же мысль, но гораздо оцщупнтельнѣе, опъ общихъ началъ доводимъ слушателей до самыхъ частныхъ проявленій.

Между доказываемыми предложеніями различать должно основныя, или главныя мысли въ извѣстномъ ряду мыслей однородныхъ. Начала бываютъ вещественныя и умственныя: первыя состоятъ въ тѣхъ самыхъ вещахъ, которыя силою своею производятъ другія; вторыя существуютъ въ нашемъ мышленіи: по нимъ мы познаемъ дѣйствительность чего-либо или необходимость.

Какія жъ условія изящнаго расположенія доводовъ, въ отношеніи къ ихъ порядку, въ которомъ бы одна мысль подкрѣпляла другую и всѣ вмѣстѣ стремились бы къ одной цѣли? Не должно смѣшивать доводовъ разнородныхъ. Всѣ они, по содержанию своему, сводятся къ шремъ главнымъ предметамъ вѣдѣнія нашего: истинѣ, благу и изяществу. Имѣя въ виду доказательство истины, развивайте это понятіе, оплнчайте истинное опъ ложнаго. Разсуждая о благѣ, покажите во всемъ блескъ и величіи доброту, честность. Объясняя изящное, не уклоняйтесь опъ того, что намъ нравится, что насъ плѣняетъ. Каждый изъ прехъ главныхъ предметовъ вѣдѣнія нашего представляющъ рядъ истинъ, начинающійся съ общихъ и оканчивающійся частными истинами: переходъ

оптъ одной мысли къ другой требуетъ послѣдовательности. Положимъ, что мы хотѣли бы говорить о любви къ ближнимъ, и главнымъ доказательствомъ нашимъ было бы внутреннее удовольствіе, почерпаемое нами въ благопвореніи; потомъ перешли бы мы къ тому святому долгу, который возлагается на насъ примѣромъ Божественнаго нашего Искупителя; наконецъ заключили бы тѣмъ, что любовь къ ближнему влечетъ за собою взаимную къ намъ любовь другихъ. Доводы сами по себѣ правильны; но они не въ надлежащемъ порядкѣ расположены: первое и третье доказательство собственно однородны — внутреннее удовольствіе и высшее, получаемое оптъ другихъ; второе же доказательство принадлежитъ къ долгу нашему, и основывается на другомъ началѣ. Поэтому изысканный порядокъ требуетъ раздѣлить эти два рода доказательствъ, принадлежащихъ къ особымъ началамъ, и раскрыть особо долгъ нашъ въ отношеніи къ небесной религіи, и обязанности въ отношеніи къ ближнимъ въ этой временной жизни.

Убѣдительность доводовъ зависитъ оптъ порядка, въ какомъ они одинъ за другимъ слѣдуютъ. Доказательства, сходныя по своимъ свойствамъ, располагаются по степени ихъ силы; доказательства, различныя въ сущности, и по цѣли требуютъ порядка логическаго. Общее правило расположенія доводовъ есть законъ постепенности: они должны возрастать и усиливаться — *ut augeatur semper et increseat oratio.* Иногда ораторъ, начавъ рѣчь доказательствами, не столь сильными, постепенно переходитъ къ доводамъ сильнѣйшимъ, и оканчиваетъ тѣми, которые могутъ произвести вѣрнѣйшее дѣйствіе на волю. Говоря предъ

слушателями предубѣжденными, онъ начинаетъ съ доводовъ разительнѣйшихъ. «Я не одобряю тѣхъ ораторовъ, говоритъ Цицеронъ, которые въ началѣ рѣчи помѣщаютъ самыя слабыя мысли. Не лѣзя ожидать желаемого успѣха отъ слова, если объясняемый предметъ въ самомъ началѣ не произведетъ впечатлѣнія на слушателей. Не столь сильныя доводы приличнѣе помѣщать въ срединѣ.»

Замѣтимъ еще, что доводы сильные и убѣдительные можно излагать въ видѣ особыхъ разсужденій: каждый изъ нихъ отдѣльно служить предметомъ изслѣдованія. Напротивъ, если доказательство, отдѣльно взятое, не довольно сильно: то лучше спавить ихъ въ совокупности для того, чтобы они служили взаимно одно другому подкрѣпленіемъ — *ut quae sunt natura imbecilla, mutuo auxilio sustineantur.* Онъ приводитъ на это убѣдительный примѣръ. Надлежало говорить противъ челоуѣка, обвиненнаго въ убійствѣ одного изъ родственниковъ своихъ, послѣ котораго обвиненный оставался наслѣдникомъ. Прямыхъ уликъ не было; но оратору предспавлялись слѣдующія доказательства: обвиненный ожидалъ наслѣдства, и наслѣдства значительнаго; находился въ крайней нищетѣ и угрожаемъ былъ займодавцами; оскорбилъ отца своего, и даже не надѣялся отъ него получить наслѣдства. Всѣ эти доказательства, порознь взятыя, не сильны и не убѣдительны, но въ совокупности они поражаютъ.

Прекрасный примѣръ распространенія доказательства отдѣльнаго встрѣчаемъ въ рѣчи Цицерона за Милона. Оно взято отъ обстоятельствъ времени. Милонъ былъ въ числѣ кандидатовъ кон-

сульства, а Клодій убитъ за нѣсколько дней передъ выборами. Ораторъ вопрошаетъ: можно ли предполагать въ Милонѣ, при этихъ обстоятельстве, такое безуміе; можно ли подумать, чтобы онъ покусился на ненавистное убійство, чѣмъ могъ отвлечь отъ себя любовь народа, кою рою онъ столько дорожилъ? Съ перваго взгляда этошъ доводъ кажется уважительнымъ; ораторъ на немъ останавливается, живописно изображаетъ безпокойныя ожиданія искаательства кандидатовъ во время выборовъ. «Мнѣ знакомы чувства робости, безпокойства и заботливости пѣхъ, которые домогаются почестей. Въ это время боимся не только явныхъ осужденій, но и тайныхъ мыслей о себѣ; спрашиваемъ слуховъ, молвы вымышленной и ложной; наблюдаемъ лица всѣхъ и смотримъ всѣмъ въ глаза. Расположеніе и любовь народа непостоянна и переменчива; онъ не только отвращается отъ порочныхъ, но часто негодуешь на похвалныя дѣла избираемыхъ.» Изъ этого ораторъ заключаетъ: «Милонъ, съ нетерпѣніемъ ожидавшій торжественнаго дня собранія народнаго на Марсовомъ полѣ, уже ли съ обгащенными кровью руками приступалъ къ дѣйствию, столь священному? Какъ невѣроятно это въ такомъ человѣкѣ!»

Не должно также распространяться въ доказательствахъ и умножать ихъ число. Въ противномъ случаѣ предметъ доказываемый можетъ породить подозрѣніе къ себѣ, вмѣсто довѣренности. Излишнее распространѣніе доказательствъ обременяетъ память и ослабляетъ дѣйствіе рѣчи; она теряетъ силу и убѣдительность — *vim et asertem*, главный характеръ доказательствъ. Часто доказательство, выраженное двумя словами, производитъ сильнѣйшее впечатлѣніе, нежели до-

казательство обширное, но безжизненное и вялое. Распространение бываетъ необходимо, когда нужно или пълнитъ воображеніе описаніемъ предмета и живописью усилить доказательство, или показать полное раскрытіе какого-либо чувствованія.

Иногда, вмѣсто прямыхъ доказательствъ, употребляются косвенныя, или опроверженія. Такого рода доводы бывають необходимы въ томъ случаѣ, когда противное нашему мнѣнію споль сильно впечатлѣно въ умахъ слушателей, что мы не надѣемся пропустить волю, не опровергнувъ прежде мнѣній противныхъ. Общія испиты рѣже подвергаются опроверженіямъ, нежели частныя случаи: отъ того въ рѣчахъ древнихъ, относившихся болѣе къ частнымъ случаямъ, опроверженія составляли предметъ весьма важный. Случалось, что все содержаніе рѣчей ихъ состояло въ опроверженіяхъ.

Переходимъ къ части *патетической*, или *страстной*, гдѣ краснорѣчіе поржествуетъ. Въ изслѣдованіяхъ истины, имѣющихъ цѣлію наученіе, возбужденіе спраспей неумѣстно и неприлично. Въ поученіи все вниманіе обращается на просвѣтлѣніе разума; пусть мы доказываемъ справедливость дѣла, правосудіе, честность. Но когда надобно пронунть сердце; тогда нужно возбужденіе и воспламененіе спраспи. Кипо, говоря о предметѣ чисто нравственномъ, не обращай къ сердцу, не пробудишь въ немъ чувства негодованія противъ несправедливости, или состраданія къ бѣдствующему?

Древніе эпу часть рѣчи, равно какъ и доказательства, старались привести въ правильную систему. Они подробно изслѣдовали характеръ каждой спраспи, каждую опредѣлили, опи-

сами, проникали причины ихъ и наблюдали дѣйствія и обстоятельства, при которыхъ страсти особенно раскрываются. Отсюда правила о возбужденіи и ушоленіи спраспей. Аристотель въ своей Риторикѣ глубокомыслеппо изложилъ этотъ предметъ. Въ этихъ изслѣдованіяхъ философъ найдетъ многія любопытныя наблюденія надъ сердцемъ человѣческимъ; но ораторъ не научится изъ нихъ искусству трогать сердце и увлекать волю. Полное познаніе спраспей не дастъ творческаго краснорѣчія: это даръ врожденный — врожденное чувство сильное и счастливо развитое. При всѣхъ философическихъ знаніяхъ спраспей человѣческихъ, кто не родился ораторомъ, будетъ сухъ и холоденъ. Правила въ этой части рѣчи, равно какъ и во всѣхъ прочихъ, не замѣняютъ генія — могутъ только дать ему направленіе, предупредить его ошибки (*).

Прежде всего должно помыслить, прилична ли часть патетическая предмету рѣчи, и, въ случаѣ приличія, въ какомъ мѣстѣ она произведетъ сильнѣйшее дѣйствіе. Не всѣ предметы способны къ спраспному изображенію; а въ тѣхъ, о которыхъ можно говорить съ страстію, надобно умѣть избрать моментъ, когда страсти слушателей удобнѣе возгораются. Для этого должно прежде убѣдить разумъ: когда слушатели увѣрены въ справедливости нашихъ сужденій, тогда они будутъ ихъ защищать. Они охотно предадутся влеченію спраспи, если только могутъ сами внутренне оправдать ее, и если доказательства оратора не принимаютъ за меч-

(*) *Aristot. Rhetor. II, 1. — Cicero de orat. II, 43 sqq. — Quintilian. VI, 2.*

тательность. Въ противномъ случаѣ ораторъ можетъ воодушевить ихъ въ продолженіе слова своего; но съ окончаніемъ рѣчи движеніе, данное имъ спраспи, не рѣдко коснется, жаръ чувства охлаждается, и слушатели остаются при своемъ мнѣніи. Поэтому починаютъ заключеніе удобнѣйшимъ мѣстомъ для части патетической. Убѣдить разумъ раскрытіемъ истины во всемъ ея блескѣ, и преклонить волю слушателей на свою сторону — этимъ всего приличнѣе заключить торжество рѣчи.

Но въ какой бы части рѣчи ни хотѣли вы дѣйствовать на сердце, не предупреждайте объ этомъ слушателей, не вынуждайте участія ихъ въ вашемъ намѣреніи: это вѣрнѣйшее средство охладить чувства. Напротивъ, избравъ удобнѣйшій моментъ для возбужденія спраспи, въ какомъ бы мѣстѣ это ни случилось, вы найдете то время, когда слушатели совершенно преданы вамъ вниманіемъ своимъ и mente всего ожидаютъ сильнаго дѣйствія: тогда представьте обстоятельства прогнательныя, или въ живомъ описаніи, или въ повѣствованіи одушевленномъ. Часто нѣсколько выраженій, внутреннихъ истиннымъ чувствомъ, производятъ сильнѣйшее дѣйствіе на сердце, нежели рѣчь длинная и искусственная.

Замѣтимъ, что пронуть сердце слушателей и доказывать, что они должны были пронуты — два различныя дѣйствія. Если н. п. проповѣдникъ доказываетъ необходимость любви нашей къ Богу, состраданія къ несчастнымъ: все это можетъ приготовить и расположить наше сердце къ чувствительности; но еще остается важнѣйшій подвигъ — пронуть насъ, передать намъ

свои собственныя чувствованія. Каждой страсти соопвѣтствуютъ особые предметы. Пока ораторъ не представитъ намъ этихъ предметовъ, онъ не въ состояніи и возбудитъ чувствованій, онъ ихъ зависящихъ. Нами не овладѣетъ чувство признательности или состраданія, когда ораторъ только доказываетъ превосходство этого чувства, когда онъ напоминаетъ намъ, что мы должны раскрыть ему сердце свое, или когда онъ негодуетъ на равнодушіе наше: это языкъ разума, а не сердца. Но пусть представитъ онъ привязанность къ намъ дружбы, состраданія того лица, въ комъ мы должны принять участіе: невольно распрогнется сердце наше, невольно проникнуто оно будетъ признательностью и состраданіемъ. Для вѣрнаго возбужденія страсти, должно живописно и разительнo изобразить предметъ свой, окружитъ его обстоятельствомъ, при которыхъ страсть развивается. Первое пробужденіе ея въ ощущеніи: такъ гнѣвъ родинѣ отъ оскорбленія или отъ присуществія того, кто нанесъ оскорбленіе. Ощущеніе переходитъ въ представленіе — и на способность представительную, равно какъ и на чувство, дѣйствуетъ ораторъ; ихъ онъ поражаетъ изображеніями осязательными, прогательными.

Желая пробудитъ въ другихъ чувство, можешь ли самъ ораторъ оставаться равнодушнымъ? Страсть дѣйствительная представляетъ множество такихъ обстоятельствъ, которыми искусство не въ состояніи подражать, которыхъ никакимъ ученіемъ нельзя достигнуть. Страсти легко сообщаются сочувствіемъ:

*„Ut ridentibus arident, ita flentibus adflent
Humani vultus.“*

Собственное внутреннее чувство оратора даетъ силу его словамъ, взорамъ, тѣлодвиженіямъ, произношенію; тогда краснорѣчіе синановитися могущественнымъ, поразительнымъ. «Когда хотимъ выразить страсть другаго, говоримъ Квинтилианъ (*), мы должны поставить самихъ себя на мѣсто того, кого изображаемъ; пусть рѣчь наша изливаеиія изъ того же чувства, какое вдохновляемъ въ слушателей. Уже ли будемъ они соблазновать о томъ, о чемъ мы говоримъ хладнокровно? Уже ли возбудимъ въ комъ-либо гнѣвъ, когда сами не чувствуемъ въ себѣ негодованія? Уже ли заставимъ слушателей плакать, если сами равнодушны? — Нѣтъ, да возчувствуемъ страсть, какую въ другихъ хотимъ возбудить. Квинтилианъ рассказываетъ о себѣ, какъ воодушевлялся чувствомъ, какое намѣревался возбудить въ слушателяхъ; какъ представлялъ себѣ спораданія тѣхъ, которыхъ дѣло хотѣлъ защищать. «Я самъ бывало умнялся, прибавляетъ онъ, до того, что не только проливалъ слезы, но измѣнялся въ лицѣ, и скорбѣлъ не припворно, чиспосердечно.» Такъ все то, что прогааетъ самого оратора, прогааетъ по сочувствію и его слушателей.

Къ возбужденію страстей принадлежишь изученіе ихъ языка. Наблюдайте, какъ выражается человекъ, обладаемый сильнымъ чувствомъ. Этошь языкъ всегда просшь, безыскусственъ; онъ можешъ одушевляеиія сильными и смѣлыми фигурами, но безъ всякой изысканности. Человеку въ страсти недосааетъ времени на игру воображенія. Заняиный предметомъ, кошорый глубоко прогааетъ его, онъ шолько помышляетъ о томъ,

(*) Кн. VI, гл. 2.

чтобъ представить всѣ проявленія предмета, съ возможною изобразительностью. Таковъ долженъ быть слогъ страстный; таковъ онъ дѣйствительно и бываетъ, если ораторъ говоритъ, что чувствуетъ, смѣло, просно, пламенно — *«fervente salato»*. Станетъ онъ заниматься отдѣлкою и украшеніями слога: жаръ, его оживляющій, остынетъ — и онъ не взволнуетъ души, не тронетъ сердца. Тогда и произведеніе холодно; на немъ оспанется оппечатокъ человека описывающаго, а не чувствующаго. Живопись для воображенія отлична отъ живописи для сердца. Одна спокойна, на досугъ выработана — другая огненна, быстра; въ одной видѣтъ трудъ, въ другой вдохновеніе.

Въ патетической части рѣчи не должно помѣщать ни описаній холодныхъ, ни отступленій. Какъ бы ни были изящны изображенія ваши, но если они болѣе нравятся воображенію, или уму, нежели сколько дѣйствуютъ на сердце — пожертвуйте ими: они охладятъ слушателя. Такъ и п. сравненія совершенно не приличны въ этой части рѣчи. Не умствуйте также отвлеченно, когда надобно трогать сердце, преклоняшь волю.

Накопецъ замѣтимъ, что страстная часть рѣчи не должна быть длинна: живыя и свѣлыя движенія непродолжительны. Послѣ немногихъ огненныхъ выраженій чувства, старайтесь скорѣе принять тонъ спокойный; снисходите въ этотъ тонъ безъ паденія, и выражайте тѣ же чувствованія, но умѣренно. Самая страсть не должна выходить изъ предѣловъ естественныхъ: это другая крайность. Не забывайте, до какой степени могутъ быть пронушы слушатели ваши:

понтъ, кто переступаетъ эти границы, разрушаетъ очарованіе, уничтожаетъ произведенное впечатлѣніе; желая воспламенить слушателей, онъ ихъ охлаждаетъ.

Возьмемъ для примѣра одно мѣсто изъ Цицерона. Въ послѣдней рѣчи противъ Верреса онъ описываетъ жестокости, оказанныя этимъ правителемъ Сициліи Римскому гражданину Гавію. Несчастный заключенъ былъ Верресомъ въ пещищу, откуда спасся бѣгствомъ, и скрылся въ Мессину. Уже собирався отплыть, имѣлъ неосторожность угрожать Верресу — говоря, что лишь только прибудетъ онъ въ Римъ, Верресъ услышитъ о немъ и будетъ призванъ дать отвѣтъ, какъ смѣлъ заключить въ оковы Римскаго гражданина. Начальникъ Мессины, кліентъ Верресовъ, остановилъ Гавіа и увѣдомилъ правителя о его угрозахъ. Дѣйствія Верресовы въ этомъ случаѣ описаны поразительно: дѣйствительно негодуетъ на него. Верресъ, поблагодаривъ начальника Мессины за его вѣрность, въ бышенствѣ прибѣгаетъ на вѣче, велитъ привести пуда Гавіа; сзываетъ исполнителей казни, и, забывъ должное уваженіе къ законамъ и правамъ Римскихъ гражданъ, приказываетъ обнажить Гавіа, связать и публично наказать, всенародно, съ ужаснымъ осеревеніемъ. «Тѣлесно наказанъ, восклицаетъ Цицеронъ, на вѣчѣ Мессинскомъ, гражданинъ Римскій, суди!» Тутъ, при описаніи этого неистовства, каждое слово поспешенно возвышается. «Несчастный, подъ ударами и среди мученій, только произносилъ слова: я гражданинъ Римскій. Этимъ священнымъ именемъ надвѣлся онъ отвратить отъ себя бичеваніе. Но онъ не могъ остановить ударовъ; и даже, когда правомъ гражданина умо-

лялъ прекрапитъ шерзаніа, тогда несчастному изготавляли другую позорную казнь. О, святое имя закона! безцѣнное право гражданства! Законъ Порціевъ, законы Семпроніевы! такъ поправы постановленія ваши: гражданинъ Римскій, въ провинціи Римскаго народа, въ союзномъ городѣ, пѣмъ, кому, по милости народа Римскаго, ввѣрена власть проконсульская, въ цѣпяхъ, на вѣчь, шлѣсно наказанъ!»

Трудно найти мѣсто совершеннѣе и изящнѣе этого описанія. Всѣ обстоятельство, здѣсь представленные, возбуждаютъ состраданіе къ Гавію и негодованіе противъ Верреса. Слогъ простъ; спрасныя восклицанія, воззваніе къ законамъ и къ правамъ Римскаго гражданина — все это истинный языкъ спраси. Ораторъ потомъ изображаетъ ненавистную жестокость Верреса еще поразительнѣе. Верресъ приговорилъ Гавіа на смертную казнь, не на мѣстѣ казни преступниковъ, но на берегу моря; со стороны Италіи. «Пусть умретъ онъ», говорилъ Верресъ, съ глазами, обращенными къ той землѣ, къ которой зывалъ, какъ къ своему отечеству. Нѣтъ, не Гавіа, не простого гражданина, но законы и права, самое отечество казнилъ Верресъ.»

До сихъ поръ рѣчь одушевлена, изящна — и здѣсь подлежало бы оратору остановиться. Но онъ увлекается обиліемъ дарованій своихъ и великолѣпіемъ слога: ему казалось не довольно пропустить слушателей; онъ обращается къ звѣрямъ, горамъ, скаламъ — хочетъ подвигнуть всю природу противъ Верреса. «Если бы не гражданамъ Римскимъ, не союзникамъ нашимъ, не пѣмъ, которые слышали о Римлянахъ, не людямъ, но звѣрямъ, или

даже, въ какой-либо отдаленной пустынь, скаламъ и утесамъ приносилъ я на эшо жалобу; то и безсловесные и неодушевленные предметы были бы пронуты столь ужасною и преступною жестокоснью.» Не смотря на все уваженіе къ величайшему орашору, должно сознаться, что послѣднее мѣсто неестественно — не языкъ спраспи, а риторическая фигура, которая можетъ нравиться, но не взволнуетъ души. Такъ опасно увлекались картинами воображенія, когда надобно шрогать сердце.

Наконецъ въ послѣдней части рѣчи, въ заключеніи, или выводятся слѣдствія изъ доказанной истины, или кратко повторається сущность всего доказаннаго, или возбуждаются сильныя чувствованія слушателей. Слѣдствія извлекаются изъ доказанной истины большею частію въ рѣчахъ поучительныхъ. Они производятъ желаемое дѣйствіе, если истекаютъ изъ доказаннаго, притомъ постепенно; если въ нихъ сохранено единство чувствованій, одушевляющихъ всю рѣчь. Напротивъ, орашоры, помѣщающіе въ заключеніи какой-либо предметъ совершенно новый, отвлекающій вниманіе отъ содержанія рѣчи, ослабляютъ ея дѣйствіе. Иногда въ заключеніи кратко повторається сущность рѣчи для возобновленія въ памяти изложенныхъ доводовъ и для убѣжденія воли шѣми истинами, которыя развиты въ цѣлой рѣчи. При эшомъ воспоминаніи о содержаніи рѣчи должно выражаться кратко, а не излагать всего содержанія слова и со всею подробностію. Такое заключеніе употребляется только въ рѣчахъ сложныхъ, имѣющихъ цѣлью убѣжденіе разума. Но въ рѣчахъ, пребывающихъ преклоненія воли слушателей, орашоръ, убѣдивъ умъ основа-

щелыми доводами, въ заключеніи представляетъ все, что можетъ возвеличить предметъ и возвысить. Речи Цицерона за Рабиріа, Флакка, Милона и другія, по страстнымъ заключеніямъ, служатъ превосходными образцами. Не рѣдко латышскіе ораторы заключали речи благоговѣйнымъ чувствованіемъ, н. п. Демосѣенъ въ речи о вѣнцѣ, Цицеронъ во второй Филиппикѣ, Плиній въ панегирикѣ Траяну. Христіанскіе вѣтѣи часто оканчиваютъ речи молитвою. Боскоушъ заключаетъ надгробное слово Конде обращеніемъ шѣи усопшаго на себя самого. »Внемли послѣдному вѣщанію голоса, тебѣ прежде знакомаго. Ты положишь конецъ этому слову. вмѣсто оплакиванія смерти другихъ, я желаю научиться у тебя умирать. Это сѣдины напоминаютъ объ опечетѣ, который долженъ я опадать въ дѣяніяхъ моихъ; счастливъ я, если для пашвы, которую обязанъ писать словомъ жизни, сберегу остальной голосъ, уже слабѣющій, и остальной огонь, уже погасающій.« Ломоносовъ въ Похвальномъ словѣ Петру I, изобразивъ Великаго Государа передъ нашими глазами въ трудахъ, подъявшихъ для блага возлюбленнаго своего отечества, и открывъ предъ нами завѣсу Исторіи, указывающей на сильныхъ земли, однимъ какимъ - либо родомъ дѣлъ безсмертіе сплывавшихъ, вопрошаетъ: »Кому жъ я Героя нашего уподоблю? Часто размышлялъ я, каковъ Тотъ, Который всемогущимъ мановеніемъ управляетъ небо, землю и море: дхнеть духъ Его, и пошекутъ воды; прикоснется горамъ, и воздымаются. Но мыслятъ человѣческимъ предѣломъ предписанъ! Божества постигнушь не могутъ! Обыкновенно представляютъ Его въ человѣческомъ видѣ. И такъ же если человека, Богу подобнаго, по нашему по-

нѣтъ, найши надобно; кромѣ Петра Великаго не обрѣтаю.»

Во всѣхъ родахъ заключеній верхъ искусства знать время, когда должно заключать рѣчь: ни слишкомъ опривистое и неожиданное заключеніе, ни растянутое, равно неприличны. Необходимое условіе заключенія — изящество и сила: слуша-тели должны остаться съ сердцемъ распроган-нымъ, и понести съ собою впечатлѣніе, выгодное для оратора и для предмета, имъ изложеннаго. При этихъ условіяхъ и умъ убѣждается, и воля пресклоняется предъ могущественнымъ словомъ.

ЧТЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ.

Рѣчи совѣщательныя. — Изящное въ рѣчахъ совѣщательныхъ. — Расположеніе рѣчи и выраженіе. — Особенности описательныя свойства рѣчей совѣщательныхъ. — Примеры изъ рѣчей Димосееповыхъ.

Обозрѣвъ успѣхи Краснорѣчія въ различныхъ вѣкахъ и у различныхъ народовъ, и разсмотрѣвъ строеніе изящной орапорской рѣчи вообще, изслѣдуемъ различные роды рѣчей, и ознакомимся съ характеромъ cadaго рода.

Древніе раздѣляли рѣчи на три рода: на *повѣствовательный*, *совѣщательный* и *судебный*. Цѣль *повѣствовательнаго* рода — похвала или порицаніе; *совѣщательнаго* — убѣжденіе или просвѣтленіе разума, а *судебнаго* — обвиненіе или защищеніе. Главныя предметы перваго рода рѣчей: панегирики, надгробныя и поздравительныя слова; рѣчи совѣщательныя занимались преніями и общесѣвенными дѣлами, въ сенатѣ или въ народныхъ собраніяхъ; судебное вишійство относилось къ судіямъ, когда требовалось прощеніе или обвиненіе какого-либо лица. Такое раздѣленіе служило основаніемъ всѣмъ древнимъ сочиненіямъ риторическимъ; новыя писатели подражали въ эпомъ древнимъ. Въ эпихъ родахъ содержавшя почти все, что только можеть быть предметомъ орапорской рѣчи. Но согласно съ настоящимъ состояніемъ краснорѣчія, приличнѣе принять раздѣленіе рѣчей на *совѣщательныя*, или *народныя*, *судебныя* и *духовныя*. Каждый изъ эпихъ родовъ рѣчей имѣеть описательный и свойственный ему характеръ. Раздѣленіе эшо не вполне согласуется съ раздѣленіемъ древнихъ. Судебное наше красно-

рѣчіе совершенно соотвѣтствуетъ краснорѣчію судебному древнихъ. Краснорѣчіе народное хотѣ и принадлежишь болѣе къ рѣчамъ совѣщательнымъ, однако опчастн оно опносишся и къ роду повѣствовательному. Краснорѣчіе духовное имѣеть совершенно особый характеръ; по тону же оно одинаково съ родомъ повѣствовательнымъ древнихъ.

Правила, опносящіяся къ изящному построению рѣчи ораторской, принадлежащъ вообще ко всѣмъ родамъ краснорѣчія, духовному, судебному и совѣщательному. Но каждый изъ трехъ родовъ имѣеть опличительный характеръ, свойственный ему духъ и тонъ: знаніе эпѣхъ особенностей необходимо нужно для вывода частныхъ правилъ объ изящномъ въ каждомъ родѣ. Краснорѣчіе судебного оратора, безъ сомнѣнія, оплично опъ краснорѣчія проповѣдника, и вѣрное знаніе характера каждаго рода рѣчей служишь основаніемъ изящному вкусу, при разборѣ такихъ произведеній, и правиломъ для творящаго генія. Начнемъ съ того рода, который можетъ прояснишь и другіе, именно съ краснорѣчія народнаго, или совѣщательнаго. Оно можетъ развиваться во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда совѣщаются о пользахъ опщественныхъ, подъ различными формами, каковы всенародныя объявленія и другія бумаги государственныя.

Цѣль этого рода рѣчей убѣжденіе. Онъ долженъ имѣть предметомъ раскрытіе какого-либо мнѣнія, опносящагося ко благу опщественному, и въ пользу котораго ораторъ желаетъ склонить своихъ слушателей. Въ убѣжденіи надобно дѣйствовать на разумъ: опъ того рѣчи народныя допускають слогъ сильный и випѣващій; но главная сущность ихъ—основательное сужденіе. Безъ твердаго основанія въ опношеніи къ мысленію, рѣчи могутъ блистать всѣми красками виѣша-

ними, и при всемъ шомъ не произведуть желаннаго дѣйствія. Блескъ эпошъ прельстишъ слушателей поверхностныхъ; но люди разсудительные скоро скучають пустымъ вишійствомъ. Къ какому бы званію ни принадлежали слушатели, ораторъ никогда не долженъ думать, что языкъ напыщенный, но безъ мыслей и строгаго сужденія, можетъ на нихъ дѣйствовать, или его прославишь. Опасно испытывать подобнае средство: такое вишійство торжествуетъ случайно, но въ сущности оно ничтожно. Общее мнѣніе — лучший судія въ отношеніи къ здоровому смыслу и вѣрности сужденія. Проспой повѣствователь, въ сужденіяхъ своихъ прямо идущій къ цѣли дѣла, всегда беретъ верхъ надъ ораторомъ, исполненнымъ искусственности и учености, но замѣняющимъ здравый смыслъ цвѣтами риторическими. Тѣмъ болѣе пребудетъ осторожности, когда ораторъ говоритъ въ собраніи людей просвѣщенныхъ.

Не забудемъ, что основаніемъ всякаго рода краснорѣчія служишь основательность мысли. Не смотря на то, что Демосѣенъ говорилъ толпѣ Аѳинскихъ гражданъ, рѣчи его поспроены на строгихъ умствованіяхъ. Онъ почиталъ необходимымъ убѣжденіе ума слушателей, чтобъ послѣ преклонишь волю и располагать всѣми силами душевными. Въ эпомъ заключались сила и могущество рѣчей его для слушателей; въ эпомъ тайна и удивленіе, какое онъ доселѣ возбуждають въ читателяхъ. Вошъ образцы, которыми должны бы руководствоваться ораторы, а не слѣдовать тщеславнымъ декламаторамъ, унижающимъ краснорѣчіе. Кто готовишь къ рѣчамъ совѣщательнымъ, шомъ долженъ прежде всего овладѣть предметомъ, о которомъ намѣренъ говорить, приобрести всѣ относящіеся къ этому предмету свѣ-

двѣя, убѣдительность доказательствъ — это главное основаніе рѣчи. Опъ такого приговора рѣчь становится сильною и мужественною; украшенія явятся сами собою, и они не должны озабочивать оратора: *«vera sit verborum, sollicitudo regit»* — о словахъ надобно стараться, а о мысляхъ заботиться. Изучающіе искусство краснорѣчія должны помнить эти слова Квинтилиана.

Но можетъ ли слово того быть могущественно, кто самъ не убѣжденъ, въ чемъ хочешь убѣдить другихъ? Истинный ораторъ никогда не будетъ основываться на такихъ доказательствахъ или мнѣніяхъ, справедливостью которыхъ самъ не проникнутъ. Никто не бываетъ краснорѣчивымъ, говоря противно мыслямъ своимъ, выражая несобственныхъ свои чувствованія. Одна только рѣчь искренняя, одинъ языкъ сердца (*) насъ убѣждаютъ. Высокое краснорѣчіе должно быть словомъ страсти, или чувства самого живого. Въ нихъ источникъ убѣжденія; они сообщаютъ гению человека силу, которой не имѣетъ онъ во всякое другое время. Напротивъ, сколь затруднительно положеніе оратора, когда онъ не чувствуетъ того, что выражаетъ словами; когда онъ высказываетъ чувства, которыхъ не имѣетъ.

Занимающіеся краснорѣчіемъ, для приобретенія навыка говорить, при разсмащиваніи какого нибудь предмета, иногда съ намѣреніемъ поддерживаютъ сторону менѣе основательную; они испытываютъ силы свои въ преодоленіи трудностей. Но подобное упражненіе не послужитъ къ усовершенствованію оратора; можно даже опасаться, что оно приучитъ къ пустымъ и ничтожнымъ про-

(*) *Vera voces ab imo pectore.*

иниорвчїлмъ. Это еще допускается въ обществѣ, гдѣ не говорится ни о какомъ важномъ предметѣ, и гдѣ обращаютъ вниманіе на блестящій разговоръ. Гораздо лучше защищать мнѣніе, въ которомъ мы сами убѣждены, и, для доказательства справедливости его, употреблять доводы истинные, которыми мы сами проникнуты. Такимъ только способомъ можно привыкнуть къ размышленію основательному, къ сильному и пламенному изложенію мыслей. Тамъ, гдѣ разсуждаютъ о дѣлахъ государственныхъ, навѣкъ говорить не по убѣжденію можешь подать невыгодное понятіе о характерѣ; иногда игра ума покажетъ совершенное его отсутствіе.

Предметъ рѣчей совѣщательныхъ рѣдко позволяеть оратору заранее изготавлять ихъ со всею подробностію; большею частію доказательства должны родиться во время состязаній. Не возможно предугадать направленіе спорной противной, и шопъ, кто надѣется на рѣчь, прежде обдуманную, не рѣдко ошывлекается отъ избранныхъ имъ положеній. Главныя мысли часто измѣняются, а вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожаются и доводы. Не безъ основанія всѣ предубѣждены противъ обыкновенія приносить въ совѣщательныя собранія напередъ заготовленныя рѣчи. Онѣ бывають полезны при началѣ преній, потому что ораторъ въ правѣ избирать и ограничавать свой предметъ. Но по мѣрѣ усиленія преній и опроверженій съ противной стороны, подобныя рѣчи теряють силу, обращаются въ декламацию, имѣющую цѣлію блистать внѣшними красотоми, а не сущностію дѣла: и могутъ ли онѣ убѣждать наравнѣ съ рѣчами, изливающимися прямо изъ устъ оратора, хошя и несовершенно обрабошанными?

Изъ этого однако не слѣдуетъ, что не нужно обдумывать предметъ и приготавливать то, о чемъ надобно говорить передъ собраніемъ. Напрошивъ, кто пренебрегаетъ этою предосторожностью или полагается на свою готовность, тотъ непременно привыкаетъ говорить слабо и не въ порядкѣ. Размышленіе или приготовленіе полезно, когда объемлетъ цѣлый предметъ, а не какую-либо часть предмета. Что касается до основанія самаго предмета, то надобно совершенно имъ овладѣть и знать все, что къ нему относится. Излишняя заботливостъ о словахъ и выраженіяхъ придаетъ рѣчи изысканностъ и искусственностъ. Ораторъ, неуверенный въ присутствіи духа, еще не позволяющій своимъ словомъ, что приобретается однимъ только навыкомъ, пусть выучиваетъ наизусть всю рѣчь, которую произнести желаетъ. Съ болѣею уверенностью въ словъ онъ придетъ въ состояніе говорить безъ приговора. Тогда пусть письменно изготавляетъ вступленіе, чтобы начинать безъ замѣшательства; для оспальнаго изслѣдованія можетъ довольствоваться главными положеніями, на которыхъ намѣренъ останавливаться, не заботясь о словахъ — они родятся въ пылу произношенія. Такія указанія, содержащія все основаніе рѣчи въ маломъ объемѣ, полезны для начинающихъ и въ томъ отношеніи, что приучаютъ къ точности, которую ораторъ скоро упрощиваетъ, будучи обязанъ говорить часто; они заставляютъ внимательнѣе разсматривать предметъ и располагать мысли методически, въ строгомъ порядкѣ.

Во всѣхъ родахъ совѣщательнаго краснорѣчія всего важнѣе ясный методъ, соотвѣтствующій предмету. Поль методомъ мы не разумѣемъ пра-

вильныхъ подраздѣленій, какъ шо бываетъ въ проповѣди: въ совѣщательномъ собраніи излишняя дробность раздѣленія многоспна для слушающихъ, развъ только въ шомъ случаѣ, когда ораторъ пользуется особенною довѣренностью, или когда предметъ, по своей важности, этого пребуешъ. Одно псчисленіе главныхъ и подчиненныхъ предложеній пугаетъ слушателей, предвѣщая длинную рѣчь. Пришомъ главное раздѣленіе не должно быть обнаружено, но ему необходимо слѣдовать въ развышн рѣчи. Оратору нужно напередъ расиределить свои мысли и усвоить ихъ прежде произношенія: это вспомоцествованіе памяти даетъ возможность говорить послѣдовательно и безъ замѣщательства, котораго не избѣгнешъ шомъ, кшо не соспавилъ себѣ никакого начертанія. Порядокъ необходимъ и въ отношеніи къ самымъ слушателямъ, если только хотимъ произвести на нихъ желаемое впечатлѣніе. Онъ придаетъ словамъ нашимъ силу и ясность, способствуешъ намъ слѣдить ходъ рѣчи и исполнѣ обнимать доказательства оратора. Самое излщество рѣчи пребуешъ порядка въ пей, какъ и во всякомъ художественномъ произведеніи; безъ него ораторъ не достигаетъ цѣли своей, и часто самое блистательное краснорѣчіе нимало не убѣждаетъ (*).

(*) Платонъ въ разговорахъ: Горгій, Протагоръ, Федръ, Гиппій, Эвпидемъ. — *Dionysii Halicarnassensis de oratoribus antiquis commentarii*. — *Ruhnkenii historia oratorum graecorum critica praemissa editioni Rutilii Lupi de figuris sententiarum et elocutionis*. Lugd. Bat. 1768, 8. — *Principes pour la lecture des orateurs*, l. I. ch. 3. sect. 1. — *Essai sur l'éloquence politique* par M. Jay — *Essai sur les eloges* par Thomas. — *Villemain Cours de littérature française*. Leçons du cours de 1829, 10 — 17.

Разсмотримъ выраженіе, приличествующее со-
вѣщательному краснорѣчію. Безъ сомнѣнія, въ
немъ можешь имѣть мѣсто слогъ одушевленный.
Зрѣлище многочисленнаго собранія, занятаго важ-
нымъ преніемъ и принимающаго вниманіемъ къ
рѣчи вышій, доспапочно для одушевленія орапора
и для воспламененія его воображенія. Такое рас-
положеніе духа развиваетъ силу убѣжденія; ора-
паторъ съ увѣренностью спремится къ своей цѣли.
Спрасишь скоро пробуждается среди многочислен-
наго собранія, гдѣ всѣ движенія сердца сообщаются
взаимнымъ сочувствіемъ между вышіею и слуша-
телями; а потому здѣсь допускаются смѣлыя
фигуры, эпомъ естественный языкъ спраспи.
Одушевленіе рѣчи, сила и огонь мыслей и чувство-
ваній, порывы души, исполненной любви къ обще-
ственному благу, и великоспъ предмета — вошъ
характеръ совѣщательнаго краснорѣчія на высшей
спепенн излщества.

Впрочемъ свобода въ эпомъ родъ красно-
рѣчія предаваться влеченію спраспи и всей силѣ
чувствъ подчиняется нѣкоторымъ ограниченіямъ.
Одушевленіе нашего выраженія всегда должно со-
отвѣтствствовать предмету и обстоиптельствамъ:
спранно говоришь съ жаромъ о предметѣ незна-
чительномъ, или кошорый, по своему свойству,
требуетъ рѣчи проспой и спокойной. Большою
частію здѣсь приличіе слогъ умтренный.

Выраженіе не можетъ быть излщно, когда
самъ орапаторъ не одушевленъ чувствомъ, которое
должно отражаться въ выраженіи: неестествен-
ность — необходимое слѣдствіе. Въ чувствѣ при-
творство невозможно; шущъ главное правило со-
спонишь въ послѣдованіи природѣ. Спокойный и раз-
судительный способъ выраженія рѣчи доспапается въ

удѣлъ многимъ; а поэтическое и высокое краснорѣчіе души чувствительной, легкость и вмѣстѣ величіе выраженія, даются опъ природы немногимъ.

Но если бы предметъ и допускалъ одушевление; если бы насъ и увлекалъ къ тому врожденный даръ; чувство было бы непришворное и естественное: при всемъ этомъ не должно доходить до крайности. Ораторъ, самъ непроникуемый чувствомъ, не можешь произвести желаемого дѣйствія въ слушателяхъ; съ другой стороны, ораторъ, не владѣющій самимъ собою, не овладѣетъ и своими слушателями. Онъ не долженъ внезапно приходиться въ восторгъ, а начинать спокойно и увлекать своихъ слушателей, по мѣрѣ того, какъ самъ воспаляется. Если онъ будешь предупреждать ихъ въ порывахъ страсти, если онъ не умѣетъ ихъ чувства сосредоточивать въ себя самомъ; то непременно произойдетъ несогласіе въ чувствахъ оратора и слушателей. Какъ бы ни справедливы были причины восторга оратора, приличіе и уваженіе къ собранію назначаютъ ему границы, которыхъ преступать онъ не долженъ. Ораторъ въ самую восторженную минуту управляющій собою, сохраняющій последовательность и силу доводовъ, соблюдающій точность выраженія, владычествомъ разума, среди пыла страстей, правится, убѣждаетъ — это верхъ краснорѣчія. Соединеніе сдержаннаго мышленія и сильной страсти производитъ могущественное дѣйствіе на душу слушателя.

Въ самыхъ страстныхъ мѣстахъ совѣщательной рѣчи не должно позволять себѣ излишества. Древніе ораторы употребляли въ голосъ, въ плѣдодвиженіи и выраженіи смѣлость, несвойственную ни нашему вкусу, ни народнымъ правамъ,

и часто вредную для убъжденія. Безъ сомнѣнія, не должно подавлять строгою взыскательностію порывовъ генія, но и нельзя позволять себѣ декламациі, которая намъ кажется совершенно неуиѣспною. Димосѣенъ, для оправданія несчастной битвы Херонейской, обращается къ тѣнямъ героевъ Плашен и Мараѳона; ихъ призываетъ въ свидѣтели справедливости дѣла. Цицеронъ, въ рѣчи о воехъ за Милона, обращается къ полямъ и дубравамъ Албанскимъ. Оба отрывка Греческаго и Римскаго оратора производятъ прекрасное дѣйствіе. Но кто изъ новыхъ ораторовъ осмѣлился употребить подобныя обращенія? И какою силою генія должно обладать, чтобы эти фигуры имѣли свѣжестъ и дѣйствовали на слушателей!

Наконецъ во всякой рѣчи, преимущественно въ совѣщательной, должно быть соблюдено приличіе времени, мѣста и характеровъ; воспорженностъ краснорѣчія не можешь извинять нарушенія этихъ условій. Порывистыя движенія, приличныя высокому сану и извѣстности, неприличны скромности оратора юнаго. Слогъ игривый и оспрошъ, позволишелъныя при пѣкошорыхъ предметахъ, совершенно неуиѣспны въ дѣлахъ важныхъ и въ почетномъ собраніи. *«Caput artis est decere; знаніе приличія — верхъ искусства»*, говоритъ Квинтилианъ. Намѣревающійся произнести рѣчи долженъ, кажется, составить себѣ точное и ясное понятіе о томъ, что приличествуетъ его лѣшамъ, положенію и предмету, о которомъ намѣренъ говорить, слушателямъ, мѣсту и обшпашельствамъ: этими условіями опредѣляется выраженіе. Древніе дорожили этимъ правиломъ (*).

(*) Объ этомъ находимъ много полезныхъ совѣтовъ во II^й книгѣ Квинтилиана.

Вопшъ слова Цицерона изъ его Орашора, для каждаго вишнй замѣчательный: »Основанiемъ краснорѣчiю, какъ и всему, служишъ благоразумiе. Въ искусствѣ орашорскомъ, равно какъ и въ жизни, всего труднѣе знать, что прилично; незнанiе приличiя порождаетъ множество ошибокъ: состоянiе, званiе, возрастъ, мѣсто, время, слушатели — все это имѣетъ влiянiе на различiе словъ и мыслей. Въ каждой части рѣчи, какъ и въ жизни, должно помышлять о приличiи, въ отношенiи къ предмету и лицамъ, говорящимъ и слушающимъ (*)». Таковы условiя, необходимыя въ отношенiи къ воспорженности совѣщательнаго краснорѣчiя.

Что касается до слога, то онъ долженъ быть обилецъ и естественъ; здѣсь изысканность неумѣстна: она препятствуетъ убавденiю. Этому роду краснорѣчiя приличествуетъ слогъ сильный и мужественный, украшенный языкъ — все это производитъ поразительныя впечатлѣнiя. Въ метафорахъ блестящихъ, одушевленныхъ, изображенiяхъ, слушатели оставляютъ безъ вниманiя нѣкоторыя неправильности, замѣтныя въ другихъ сочиненiяхъ. Въ быстромъ разговорѣ блескъ украшенiя поражаетъ насъ; тутъ не замѣчается и самая нещочность.

(*) »Est eloquentiae, sicut reliquarum rerum, fundamentum sapientia; ut enim in vita, sic in oratione nihil est difficilius quam quod deceat videre; hujus ignoratione saepissime peccatur; non enim omnis fortuna, non omnis auctoritas, non omnis aetas, non vero locus, aut tempus, aut auditor omnis, eodem aut verborum genere tractandus est, aut sententiarum. Semperque, in omni parte orationis, ut vitae, quid deceat considerandum; quod et in re de qua agitur positum est, et in personis, et eorum qui dicunt et eorum qui audiunt.«

Прилична ли совѣщательному краснорѣчію болѣе сжатость или обиліе? Въ этомъ трудно опредѣлить границы. Обыкновенно предпочитающъ развитіе предмета обильное. Но крайность и тутъ опасна: ораторъ часто шеряетъ болѣе въ силѣ рѣчи, нежели сколько выигрываетъ въ ясности. Безъ сомнѣнія, обращаясь къ собранію, не говорятъ отрывистыми предложеніями и краткими изреченіями; необходимо развивать свои мысли, чтобы передать ихъ другимъ. Часто это намѣреніе употребляющъ во зло. Не забудемъ, что какъ бы прилично мы ни передавали другимъ мысли свои, вниманіе слушателей упоминается; а какъ скоро слушатели почувствовали упоминеніе, тогда безсильно краснорѣчіе. Рѣчь слабая и многословная не можеть правиться; лучше недосказать, нежели говоришь слишкомъ много; лучше мысль свою показать съ одной какой-либо спорной въ самомъ яркомъ свѣтѣ, и при этомъ оставивъ слушателей, нежели предсказать ее во всѣхъ возможныхъ видахъ, обиліемъ словъ упоминая вниманіе слушателей и оставивъ ихъ тогда, какъ они уже пресыщены и упомлены. Произношенію предъ собраніемъ людей различнаго званія и различныхъ характеровъ рѣчь твердая и смѣлая наиболее приличествуетъ. Надменность и самонадѣянность отворачаютъ отъ себя; не должно подавать даже мысли о подобныхъ чувствованіяхъ. Но убѣжденіе имѣетъ свой особенный тонъ, свойственный человѣку самому скромному, увѣренному въ излагаемомъ дѣлѣ: это болѣе всего дѣйствуетъ на убѣжденіе другихъ. Напротивъ, кто произноситъ слабо и съ сомнѣніемъ, обнаруживая, что и самъ не вполне убѣжденъ въ своемъ мнѣніи, тогдѣ въ состояніи ли передать его другимъ?

Вошъ условія пѣтчества совѣщательнаго краснорѣчія, основанныя на началахъ психологическихъ и наблюденій надъ произведеніями ораторовъ. Цель этого рода ораторской рѣчи — убѣжденіе, рождающееся ошъ сознанія истины. Доказательства и развитіе дѣла служатъ здѣсь основаніемъ. Надобно бытъ проникнутому справедливостію мнѣнія своего, выражать истинныя чувствованія, а не припворныя. Философскій элементъ рѣчи, или разсужденіе, должно основываться на дѣлѣ, а не на словахъ. Порядокъ и ясное расположеніе необходимы. Выраженіе требуется сильное и одушевленное; однако среди самаго пламени рѣчи не надобно забывать приличій въ отношеніи къ слушателямъ. Слогъ пусть будетъ лучше свободный и легкій, сильный и изобразительный, нежели слишкомъ обильный; въ произношеніи нужна швердость и опредѣлительность. Наконецъ ораторъ долженъ помнить, что впечатлѣніе, производимое рѣчью шеголеваною и искусственною, кратковременно; напрошивъ, дѣйствіе ума точнаго и основательнаго сильно и продолжительно.

Въ примѣръ совѣщательнаго краснорѣчія прочтемъ нѣкоторыя мѣста изъ Демосфена. — Не смотря на недостаточность перевода, мы получимъ изъ нихъ понятіе о томъ одушевленіи и сильномъ краснорѣчіи, о которомъ говорили. Примѣръ возьмемъ изъ прѣпѣей Филиппики, произнесенной въ народномъ собраніи. Предметъ ея — одушевленіе Аѳинянъ и внушеніе имъ опасенія со стороны Филиппа, котораго возраставшее тогда могущество и хитрая политика начинали угрожать независимости Греціи, и въ скоромъ времени послѣ этого совершенно ее уничтожили. Безпокойство уже овладало Аѳинянами, но они медлили сво-

тии совѣщаніями и слабо предпринимали нужныя мѣры; пошому что нѣкоторые изъ ихъ любимыхъ ораторовъ, подкупленные Филиппомъ, убаюкивали ихъ тщеславіе среди опасностей. Въ этихъ-то обстоятельствевахъ произносилъ Димосевъ свои громовыя Филиппики. Для полнаго понятія объ этомъ могущественномъ краснорѣчій, надобно обратиться къ подлиннику.

«Почти во всѣхъ вашихъ собраніяхъ, Аѳиняне, говорятъ вамъ о злоумышленіяхъ Филипповыхъ, вразсужденіи васъ и другихъ Грековъ, вопреки миру и торжественнымъ условіямъ. Вы сами чувствуете, что намъ совокупными силами должно искать средствъ ошановить и наказать его дерзость. Но, видя, до чего довело васъ небреженіе ваше, осмѣлюсь сказать съ чувствомъ прискорбія, что если бы ораторы ваши согласились давать вамъ самыя гибельныя совѣты, а вы рѣшились бы избирать самыя гибельныя способы; то положеніе наше не могло бы и тогда быть хуже настоящаго. Много причинъ этому несчастію; разсмотрѣвъ ихъ въ подробности, и размысливъ безпристрастно, увидимъ, что главная причина лицемеріе вашихъ чиновниковъ, которые болѣе льстятъ вамъ, нежели служатъ. Одни, довольствуясь палантомъ своимъ и приобретенною ими довѣренностію, ни о чемъ иномъ не думаютъ, и хотятъ, чтобы вы также ни о чемъ не думали; другіе, безпрестанно судя и обвиняя людей, входящихъ въ дѣла, вооружаютъ только гражданъ противъ гражданъ, отводятъ ваше вниманіе отъ истиннаго предмета, и чрезъ то даютъ Филиппу дѣлать, что ему угодно. — Это злоупотребленіе есть главный источникъ вашихъ заблужденій и бѣдствій.»

»Именемъ боговъ заклипаю васъ, Аѳиняне, не осуждать моей искренности, но размыслишь и почувствовать истину. Идревле Аѳины были отечествомъ независимости; не только иностранцамъ, живущимъ въ нашихъ стѣнахъ, но и самымъ невольникамъ дали вы право говорить — право, коперому и граждане въ другихъ земляхъ могутъ завидовать. Въ однихъ вашихъ собраніяхъ не терпѣлся независимость; не гордому самолюбію хотѣли вы, чтобы вамъ льстили и говорили только пріятное; хотѣли, не думая о пагубныхъ слѣдствіяхъ. Если и теперь таковы будете, то мнѣ остается молчать; но если опроверженность вамъ непротивна, то я готовъ сказать истину.»

»Такъ, граждане: не взирая на бѣдствіе, коперому виною ваша безпечность, вы еще можете все поправить. Скажу, хотя бы и назвали такое мнѣніе спраннымъ — скажу, что самая вина бѣдствій нашихъ въ прошедшемъ должна быть для насъ главною надеждою вразсужденіи будущаго. Зло произошло отъ того, что вы не взяли ни одной изъ надлежащихъ мѣръ; если бы мы не могли обвинять себя безпечностію, а Аѳины были всегда въ несчастномъ положеніи, въ такомъ случаѣ не оставалось бы намъ никакой надежды на ихъ спасеніе. Но Филиппъ обязанъ торжествовать своимъ не изпуренію силъ Аѳинскихъ, а вашей лѣзвѣ, вашему бездѣйствію. И какъ ему побѣдить васъ? Вы съ нимъ не сражались!»

»Когда бы всѣ мы согласно думали, что онъ нарушаетъ миръ и ведетъ съ нами войну; тогда оставалось бы только искать лучшихъ средствъ остановить его дерзость. Но въ то самое время,

какъ онъ беретъ города, занижаетъ своими войсками принадлежащія намъ мѣсна, и всѣхъ Грековъ утѣшаетъ — въ то самое время легкомысленные люди слушаютъ здѣсь орашоровъ, безпрестанно твердящихъ, что мы сами хотимъ возобновить войну. И такъ прежде надобно объяснишь заблужденіе, и перемѣнишь ваши мысли, чтобы ревностнаго гражданина, совѣщающаго вамъ обороняться, не назвали когда нибудь виновникомъ напраснаго кровопролитія.»

»Вопервыхъ изслѣдуемъ, зависить ли отъ насъ избраніе войны или мира? Можемъ ли въ настоящемъ положеніи сохранить миръ? Къю скажемъ: можемъ, пусть предскажутъ ясныя доказательства, не обольщая насъ пустою надеждою. Но если монархъ, вооруженный мечемъ, ведя за собою сплнное войско, только говоритъ намъ о мирѣ, а въ самомъ дѣлѣ воюетъ съ нами: то не должно ли Аѳинянамъ обороняться? Развѣ и мы, слѣдуя его примѣру, скажемъ, что Аѳины въ мирѣ? Согласимся; но когда человекъ, играя словами, подходитъ ближе и ближе къ нашимъ спѣнамъ, а нѣкоторые люди говорятъ, что онъ не имѣетъ злаго умысла; въ такомъ случаѣ утверждаю, что они безумствуютъ и хотятъ, чтобы не Филиппъ съ нами, а мы съ Филиппомъ были въ мирѣ. Вотъ дѣйствіе его золота! Монархъ купилъ выгоду напасть на безоружныхъ. Терпѣливо ждешь времени для обороны — ждешь, чтобы Филиппъ объявилъ намъ свой злой умыселъ, есть верхъ безумія. Нѣтъ, никогда онъ не объявитъ его; не объявитъ и тогда, когда войдетъ въ Апшику и въ Пирей. . . .»

Тунъ Димосеенъ исчисляетъ подобныя дѣйствія Филиппа съ другими народами, давшими ему,

также по своей безопасности, право дѣлать все, что угодно — брать города, земли, порабощать ихъ самихъ. Потомъ продолжаетъ:

«Я не говорю о Мессонѣ, Олинѣ, Аполлоніи; о тридцати двухъ Фракійскихъ городахъ, имъ разрушенныхъ, такъ что и мѣсто ихъ едва приметно; не говорю о Фокеянахъ, сильномъ народѣ, разоренномъ Филипповою жестокостію; но въ какомъ состояніи теперь Фессалійцы? Не разграбля ли онъ ихъ городовъ? Не перемѣня ли законовъ? Не опдалъ ли во власть своимъ шепрархамъ? Не ввелъ ли въ Эвбеѣ ужаснаго правленія? Какая гордость видна въ его письмахъ! *Я въ мирѣ единственно съ тѣми, которые мнѣ повинуются*: вотъ точныя слова его!»

«Греки, иногда терпѣвшіе отъ Аѳонъ и Лакедемона, терпѣли по крайней мѣрѣ отъ истинныхъ дѣшей Греціи; и вину нашу можно было уподобить безразсудности законнаго, распотчптельнаго сына, который хотя и во зло употребляетъ полученное имъ наслѣдство, однакожъ свое, а не чужое имѣніе проживаетъ. Но если рабъ презрѣнный, сынъ чуждый распочаетъ непринадлежащее ему имѣніе: то сносно ли его безстыдство? Съ чѣмъ же лучше сравнить поступки Филипповы и самаго Филиппа, который въпервыхъ совсѣмъ не Грекъ, во-вторыхъ и между варварами не можетъ хвалиться знапнымъ происхожденіемъ; который ничто иное, какъ бѣдный Македонинъ, родомъ изъ такой земли, откуда и хорошихъ невольниковъ не привозятъ? До какой неслыханной крайности доходитъ его дерзость!»

Слѣдующъ указанія на завоеванія Филипповы — Аморацію, Левкадъ, Коринескіе города.

«Что же вышло изъ этого безпорядка? Не безъ причины всѣ Греки, некогда ревностные любители независимости, расположены теперь къ рабству. Тогда, сограждане, тогда въ сердцахъ народовъ пылаю чувство, нѣтъ охладѣвшее — чувство, которое торжествовало надъ Персидскими заложниками, хранило вольность Греціи, дала ея побѣдоносную на земли и на морѣ, и съ которыми исчезла ея слава. Какое же было это чувство? Не слѣдствіе умощенной малости, но общія независимыя къ нѣмъ люди, которые принимали дары отъ ирановъ Греціи, хранили вѣдѣнія, ея угнетеніи. Тогда надлежало единственно обвинить виновнаго; не было извиненія, не было прощенія. Ни винны, ни виновники не продавали тогда выгоды своего опечистива, ни внутренняго согласія, ни того довѣренія, которое всѣ Греки должны были къ варварамъ — однимъ словомъ, ничего такого, что утверждало нашу независимость. Теперь все продается; завидуютъ тому, кто болѣе получаетъ; сѣются, когда недостойный гражданинъ самъ признается во издѣиствѣ; прощаютъ, когда другіе обвиняютъ его; досаждаютъ на шутъ, которые возстаютъ противъ общаго разврата; наглое корыстолюбіе боготворимо Греками. Когда состояніе государства было лучше пынѣшняго? У насъ довольно и войска, и кораблей, и денегъ, и всего нужнаго для войны; но (благодаря гнусное корыстолюбіе нашихъ измѣнниковъ!) все остается безъ дѣйствія и безъ пользы для Аѳинъ.»

Примѣръ безкорыстія предковъ, пламенно любившихъ опечистиво. Далѣе ораторъ предлагаетъ собственное мнѣніе, что должно предпринимать въ настоящемъ случаѣ.

»Напрасно сялою оружїя будете воевать съ царемъ Македонскимъ, если не уймете прежде орашоровъ, его помощниковъ. Вѣрьте, что не можете побѣдить внѣшняго врага, когда внутреннїе измѣнники остаются безъ наказанїя. Чудесное, непонятное ослабленїе! Мнѣ часто кажется, что духъ злобы, какой нибудь враждебный генїй непремѣнно хочетъ нашей гибели. Не знаю, сограждане, не знаю, что въ васъ дѣйствуетъ: вѣтренность, зависѣсть, склонность къ сапиръ или что другое; но вижу, что вы позволяете восходить на кафедру подкупленнымъ рабамъ, которые не могутъ отперешься отъ этого имени; даете имъ полную свободу говорить и свѣшесь ихъ ядовитымъ насмѣшкамъ надъ ревностными гражданами. Этого еще не довольно: людей безчестныхъ, лживыхъ измѣнниковъ, судите вы въ общественныхъ дѣлахъ не такъ строго, какъ орашоровъ благонамѣренныхъ! Вспомните, граждане, воспомните, до какихъ бѣдствїй доведены были народы коварными измѣнниками!»

Приводяшся извѣстные примѣры народной гибели отъ прислужниковъ Филипповыхъ, купленныхъ его золотомъ. Наконецъ Орашоръ заключаетъ:

»Плаватели должны думать о цѣлости корабля своего тогда, какъ онъ еще можетъ сражаться съ волнами; когда море поглотитъ его, не время будетъ спасаться. Такъ и мы должны дѣйствовать, пока существуемъ, имѣемъ достаточныя силы, способы, славное имя. Какъ же дѣйствовать? Можетъ быть, нѣкоторые хотятъ то слышать въ пастоящую минуту. И такъ я предложу свое мнѣнїе, чтобы вы, въ случаѣ одобренїя, могли исполнить нужное. Прежде всего на-

добно вооружиться, снарядивъ флотъ, набравъ войско, приготовивъ деньги: Аѳяны должны сражаться за независимость и тогда, когда всѣ другіе Греки согласятся раболовствовать. . . .»

«Однакожъ не советую вамъ смущать другихъ, если вы сами не хотите ничего дѣлать: смѣшно беспокоиться о постороннихъ дѣлахъ, когда о своихъ не думаемъ, и спрашивать другихъ будущимъ временемъ, когда мы сами о настоящемъ не заботимся. Но я говорю, что вамъ должно опровергнуть жалованье и помощь нашему Херсонесскому войску, вооружиться первымъ, бывшѣ образцами, и потомъ уже сказать другимъ Грекамъ: *слѣдуйте нашему примѣру; спасайте отечество!* Вотъ дѣло, достойное Аѳинской славы! . . .»

«Аѳиняне! я все сказалъ, что, какъ мнѣ кажется, должно поправить наши дѣла. Кто можетъ предложить лучшій советъ, пусть говоритъ! На что бы вы ни рѣшились, желаю вамъ успѣха; желаю блага и славы моему любезному отечеству!»

Занимствуемъ еще отрывки изъ первой Филиппики. «Если бы вы, Аѳиняне», такъ она начинается, «разсуждали о предметѣ новомъ, я бы позволилъ говорить вашимъ вѣптіямъ; если бы советъ ихъ казался мнѣ справедливымъ, я бы безмолвствовалъ; если бы я находилъ его ложнымъ, предложилъ бы свое мнѣніе. Но вы, послѣ всѣхъ ихъ совѣщаній, обращаетесь къ однимъ и тѣмъ же предметамъ; а потому вы позволили мнѣ говорить прежде нихъ, тѣмъ болѣе, что, если бы въ предыдущихъ разсужденіяхъ преподали они вамъ советъ мудрейшій, вы бы не были принуждены разсуждать еще и нынѣ.»

«Унывать ли вамъ въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, сколь бы затруднительны они ни были? Вамъ покажется, можете быть, по странному, что я намѣренъ сказать вамъ; но это справедливо. Все, что было виною несчастій вашихъ въ прошедшемъ, должно питать васъ надеждою въ будущемъ. Дѣла ваши идуть несчастливо отъ того, что вы еще ничего не дѣлали, что надлежитъ дѣлать — и если вы не будете пещись о нихъ, можете ли надѣяться на лучший жребій? Филиппъ не побѣдилъ Аоніянъ; онъ побѣдилъ лишь ихъ изнѣженность и безпечность. Вы не были побѣждены, потому что вы еще не противопоставляли усилій къ оборонѣ.»

Эта мысль встрѣчается и въ предыдущей Филиппикѣ, равно какъ и въ другихъ рѣчахъ находимъ повторація нѣкоторыхъ мыслей, возобновлявшихся въ ораторъ при одинакихъ обстоятельствахъ.

«Но если вы начнете разсуждать, какъ Филиппъ разсуждаетъ, по крайней мѣрѣ съ нынѣшняго дня, потому что до сихъ поръ вы этого не дѣлали; если каждый изъ васъ, въ случаѣ надобности, принесетъ себя въ жертву отечеству — богатые предложатъ имущество свое, юные — руки свои — короче, если каждый станетъ дѣйствовать, какъ для себя самого, дѣйствовать собственными силами, не полагаясь на другихъ: то, съ помощію безсмертныхъ, вы поправите дѣла свои; вы вознаградите утраты, понесенныя отъ вашей безпечности, и вы противостанете Филиппу.»

«Чегожъ вы теперь ожидаете? Гибели? — Но самая ужасная гибель для души благородной есть безчестіе. — Уже ли еще будете бродить по торжищамъ и вопрошать другъ друга: что новаго? —

Что можете быть нѣтъ того, что Македонянинъ побѣдитель Аѳинъ и повелитель Греціи? — Не умеръ ли Филиппъ, спрашиваете вы? Нѣтъ, онъ боленъ. — Что вамъ въ этомъ? Если бы не было его, вы бы пропавели другаго Филиппа своею безпечностью и малодушіемъ.»

Заключенія Димосееновы большею частію кратки; таково заключеніе и первой Филиппики. »Что касается до меня, никогда не угождающаго вамъ на счетъ вашихъ выгодъ, я принималъ за правило, особливо въ настоящихъ обстоятельствахъ, излагать вамъ мысли свои открыто и чисто-сердечно. Желалъ бы убѣдиться, что оратору столь же полезно подавать вамъ добрые совѣты, сколь полезно вамъ ихъ слушаться; тогда восхотѣлъ бы я на это мѣсто съ большою довѣренностью. Впрочемъ какія бы ни были слѣдствія моихъ совѣтовъ, я рѣшился вамъ ихъ предложить, увѣренный въ томъ, что ваша собственная польза пребудетъ того, чтобъ вы имъ послѣдовали. Да внушатъ вамъ боги избрать совѣтъ, для васъ спасительный (*)!»

Въ бурныхъ правленіяхъ древнихъ развитыя спрасни иногда бывали столь сильны, что законы едва могли ихъ обуздывать. Тысячи поразительныхъ позорищъ смѣнялись одно другимъ при торжественныхъ обрядахъ правосудія, которыхъ форма, мѣсто, гдѣ толпился народъ — все подстрекало вѣщно. Огромнѣйшія наши аудиторіи не могутъ сравниться съ тѣми необъятными площадями совѣщательныхъ собраній, гдѣ произносились опредѣленія, рѣшалась участь государствъ, перевозилось могущество Греціи или Рима, предлагались или опмѣ-

(*) Переводъ Карамзина.

нялись законы, ошглашались пренія вишій. Наконецъ замѣшнимъ, что въ этомъ родѣ ораторской рѣчи особенно поржеспивовала у древнихъ импровизація — даръ и навикъ говоришь безъ приговленія. Вишій долженъ былъ безпрестанно находиться въ гошовности къ слову: это его оружіе. Тотъ былъ бы слабый вишій, кому бы нужно было уединеніе, для предварительнаго обдумыванія рѣчи, или кто, не владея сильною памяшью, былъ бы принужденъ чипать, а не говоришь. Развипіе древняго краспорѣчія въ живыхъ и виезапныхъ формахъ было слѣдствіемъ соспязаній; вишій возвышался, побѣждая трудности: *magna illa eloquentia, sicut ignis, materia alitur et urendo calescit.*

Такимъ образомъ разсмаприваемое краснорѣчіе служило вѣрнымъ изображеніемъ народа, внимавшаго его поученіямъ, и пѣхъ вѣковъ, кошорые получали отъ него свое значеніе.

ЧТЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ.

Судебное краснорѣчіе. — Изящное въ этомъ родѣ рѣчей. — Особенности рѣчей судебныхъ. — Повѣствованіе и доводы. — Разборъ рѣчи Цицероновой за Клуэнціа.

Въ предъидущемъ чтеніи мы видѣли условія изящества въ совѣщательномъ краснорѣчіи; большая часть этихъ условій относится и къ судебному, которымъ займемся въ нынѣшнюю бесѣду. Обратимъ вниманіе на нѣкоторыя особенности этого рода.

Вообще рѣчь, назначаемая для каедръ, отлична отъ рѣчи, произносимой въ судилищѣ. Главный предметъ первой убѣжденіе; цель оратора преклонить слушателей на свою сторону, увѣрить въ своемъ мнѣніи, которое онъ почитаетъ справедливымъ и полезнымъ. Онъ приводитъ въ дѣйствіе всѣ средства для возбужденія спраси, чтобы пронести сердце и просвѣтитъ разумъ. Главный предметъ рѣчи судебной раскрытіе дѣла и приложеніе къ нему закона. Здѣсь ораторъ не показываетъ судьямъ, что хорошо и полезно, но раскрываетъ имъ, что справедливо и законно: поэтому онъ дѣйствуетъ болѣе на разумъ, и именно только на одинъ разумъ. Не должно терять изъ виду этого существеннаго отличія двухъ родовъ рѣчи.

Сверхъ того судебный ораторъ обращаетъ рѣчь къ одному только, или по крайней мѣрѣ къ небольшому числу судей, извѣстныхъ знаніемъ дѣла и правилами. Если бы и позволялъ предметъ, не слѣзъ употребить всѣхъ пособій ораторскаго искусства, какъ передъ собраніемъ многочислен-

нымъ людей различнаго состоянія, образованія и характера. Страсти не такъ легко возгораются въ сердцѣ обсуживающаго поступки другихъ; здѣсь оратора слушаютъ съ большимъ хладнокровіемъ; каждое слово его взвѣшиваютъ, и онъ показался бы сдержаннымъ, когда бы рѣшился на рѣчь пламенную, прилучную каведрѣ и передъ многочисленнымъ собраніемъ.

Предметъ и свойство вопросовъ, разбираемыхъ въ судилищѣ, требуютъ краснорѣчія, совершенно отличнаго отъ краснорѣчія совѣщательнаго. Народное собраніе открываетъ оратору обширѣйшее поприще; рѣдко подчиненный точнымъ правиламъ, онъ всюду собираетъ доказательства свои, приводитъ всѣ примѣры, какіе только представляетъ ему воображеніе. Но въ судилищѣ предѣлы краснорѣчія ограничиваются законами и положеніями; путь нѣтъ игры для воображенія. Ораторъ судебный не можетъ уклоняться отъ назначенныхъ ему границъ; онъ долженъ безпрестанно прилагать законы къ разбираемому предмету.

Очевидно, судебное краснорѣчіе принадлежитъ къ роду болѣе умѣренному и спокойному. Сильныя судебныя рѣчи Димосфена и Цицерона не могутъ безусловно служить образцами для нашего времени: произнесенныя при производствѣ гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ, по многимъ пламеннымъ мѣстамъ, онѣ приближаются къ рѣчамъ совѣщательнымъ, чего не лзя допустить въ нынѣшнемъ судебномъ краснорѣчіи.

Древніе менѣе насъ придерживались точнаго смысла законовъ. Во времена Димосфена и Цицерона гражданскія постановленія были немногосложны, законодѣвніе простѣе и не столь определенно, какъ въ наше время. Рѣшеніе дѣла пре-

доставлялось по большей части благоразумію и справедливости судей, и вишіи занимались болѣе изученіемъ краснорѣчія, чѣмъ изученіемъ правъ. Цицеронъ упоминаетъ между прочимъ, что доспашочно прехъ мѣсяцевъ для познанія гражданскаго права; онъ даже думалъ, что судебнымъ ораторамъ не нужно глубокое знаніе законовъ. Въ Римѣ было особое сословіе гражданъ, такъ называемыхъ дѣловыхъ людей (*pragmatici*); они приискивали всѣ законы, относящіеся къ извѣстному предмету, о которомъ надлежало говорить; оратору оставалось облечь эти матеріалы въ приличную форму, украситъ ихъ цвѣтами витійства для произведенія желаемого дѣйствія на судей. Необходимо также замѣтитъ, что судьи въ Аѳинахъ и Римѣ, въ дѣлахъ важныхъ, составляли многочисленное собраніе. Знаменитый ареопагъ въ Аѳинахъ состоялъ изъ пятидесяти судей. Нѣкоторые писатели принимаютъ еще большее число. При осужденіи Сократа находилось двѣсти восемьдесятъ голосовъ противъ него. Въ Римѣ, преторъ, главный судья въ тяжёбныхъ и уголовныхъ дѣлахъ, въ важныхъ случаяхъ, назначалъ многихъ избранныхъ судей (*judices selecti*), исправлявшихъ должность собственно судей и присяжныхъ. Дѣло Милона Цицеронъ защищалъ передъ пятидесятью однимъ судьёю; поэтому говорилъ предъ многочисленнымъ собраніемъ Римскихъ гражданъ. Тутъ ораторъ могъ употребитъ съ пользою всѣ пособія совѣщательнаго краснорѣчія. Опъ того и слезы, и возбужденіе состраданія служили средствами убѣжденія. Римляне часто допускали при судопроизводствѣ сцены театральныя. Такъ они приводили въ судъ обвиненнаго въ погребальномъ одѣяніи, со всѣмъ его семей-

спвомъ, съ малолѣтними дѣтьми, для умилостивленія судьей слезами и воплями.

Соображая такое различіе древняго и новаго краснорѣчія, согласно съ различными нравами и обычаями древними и нашими, мы заключаемъ о невозможности подражать Цицерону безусловно. Не смотря на это, назначающіе себя къ этому роду краснорѣчія съ пользою могутъ изучать великаго оратора. Ему надобно подражать въ искусствѣ изящныхъ приступовъ, располагающихъ слушателей къ благосклонному вниманію, въ связи и изобразительности повѣствованій, въ ясности и порядкѣ доводовъ. Въ этомъ нѣтъ лучшаго образца. Но послѣдовать его преувеличеніямъ, расширеніямъ, пышному и обильному положенію, усиленнымъ движеніямъ для возбужденія страсти — столь же странно въ наше время, какъ явившися въ общество въ Римской погѣ.

Прежде, нежели войдемъ въ подробное изслѣдованіе особыхъ правилъ судебного краснорѣчія, почитаемъ нужнымъ замѣнить, что слава и успѣхъ оратора въ этомъ родѣ зависятъ отъ глубокаго знанія дѣла; безъ свѣдѣній о правахъ, какой бы даръ краснорѣчія ни имѣлъ опъ, не приобрететъ довѣренности. Сверхъ того судебный ораторъ долженъ со вниманіемъ разсмотрѣть дѣло со всѣхъ сторонъ, не пропустить ни одного обстоятельства, ни одного случая. Древніе риторы по справедливости почитали это основаніемъ вѣрности, какое можно было показать при разборѣ дѣла. Цицеронъ (*) говоритъ объ Анто-

(*) De Orat. I. II и Orat. c. 34 и 35. — Principes pour la lecture des Orateurs L. I, ch. 3, sect. 3. — Zachariae Anleitung zur gerichtlichen Beredsamkeit, Heidelberg. 1810, 8.

ни, что онъ всегда долго разсуждалъ съ кліентомъ, приходившимъ къ нему совѣтоваться; наблюдалъ, чтобы никто не присуществовалъ, при ихъ разговорѣ, для того, чтобы кліентъ могъ чистосердечно открыться ему во всемъ; дѣлалъ ему различныя возраженія, защищая сперва противную сторону, желая узнать истину и быть готовымъ ко всямъ возможнымъ опроверженіямъ, при самомъ сужденіи дѣла. Такимъ образомъ онъ соображалъ обстоятельства и входилъ въ состояніе прехъ лицъ — оратора, суди и противнаго вѣдѣ. Цицеронъ строго обвиняетъ непринимавшихъ такихъ же предосторожностей, безъ сомнѣнія затруднительныхъ; онъ не только укоряетъ иныхъ ораторовъ въ нераденіи, но и въ злоупотребленіи довѣренности своихъ согражданъ. Съ тѣмъ же намѣреніемъ Квинтилианъ предлагаетъ наставленія о средствахъ оратора для приобрѣтенія полнаго знанія дѣла, ему поручаемаго. Онъ совѣтуетъ терпѣніе и вниманіе при спрашиваніи кліента, и справедливо замѣчаетъ: «Лучше выслушать даже бесполезныя обстоятельства, нежели не знать чего-нибудь такого, что необходимо при изслѣдованіи дѣла. Часто ораторъ открываетъ и недугъ, и лѣкарство въ томъ, что кліентъ неважнымъ почиталъ какъ для себя, такъ и для противной стороны (*).»

И такъ предположимъ, что судебный вѣдѣ имѣетъ полное знаніе законовъ, что онъ изслѣдовалъ

Boinvilliers Principes et morceaux choisis d'éloquence judiciaire. Par. 1826, 8.

(*) »Non tam obest audire supervacua, quam ignorare necessaria. Frequenter enim et vulnus, et remedium in iis orator inveniet quæ litigatori in neutram partem habere momentum videbantur.« Quint. I. XII, c. 8.

Чт. о Сл. Ч. II.

всѣ обстоятельства защищаемаго дѣла: для увѣщанія его успѣхомъ, необходимъ даръ слова. Пылкость древнихъ рѣчей неумѣстна въ судебномъ краснорѣчїи нашего времени; однако изъ этого не слѣдуетъ, что изученіе ораторскаго искусства бесполезно. Дѣйствительно, согласно съ нынѣшнею образованностью, способъ выражаться измѣнился; но изящество въ словѣ остается неизмѣняемымъ во всѣ времена и у всѣхъ народовъ: его-то должно изучать и судебному оратору. Въ другихъ родахъ предметъ самъ по себѣ занимателенъ для слушателей; въ судебномъ краснорѣчїи, при сухости предметовъ, необходимы всѣ средства для поддержанія вниманія слушателей; для усиленія доводовъ и для выразительности каждой части рѣчи. Тутъ даръ слова торжествуетъ. Ораторъ холодный, сухой, сбивчивый, въ сравненіи съ ораторомъ одушевленнымъ, изящнымъ, послѣдовательнымъ, то же, что мракъ и свѣтъ. Таковы дѣйствія краснорѣчія.

Сверхъ того какое обширное поприще представляется въ судебномъ краснорѣчїи для дарованій! — Судебный внишій можетъ быть увѣренъ въ успѣхъ и въ извѣстности, которые неразлучны съ достоинствомъ. Онъ у всѣхъ предъ глазами; разсуждая о дѣлахъ частныхъ, онъ говоритъ передъ самымъ правосудіемъ. Ни зависть, ни злоба не могутъ поколебать славы того, кто на самомъ дѣлѣ и общественною пользою доказываетъ знанія свои, способности, даръ слова.

Судебное краснорѣчіе, какъ въ рѣчахъ произносимыхъ, такъ и въ дѣловыхъ бумагахъ, требуетъ спокойствія, умѣренности, которыя отражаются въ способѣ выраженія краткомъ и поч-

номъ. Иногда воображеніе оживляетъ сухой предметъ и живописью возбуждаетъ вниманіе слушателей, но эпитетъ должно пользоваться съ большою умѣренностью; потому что блестящій и обильный слогъ поселяетъ недоувѣренность въ судіи. Украшенія лишаютъ слово силы, заспаляютъ подозрѣваніе въ неосновательности доводовъ. Чистота и точность выраженій, правильность и ясность — вотъ условія изящества въ эпитетѣ родѣ рѣчей.

Обыкновенно обвиняютъ судебныхъ ораторовъ въ многословіи, къ которому они привыкаютъ, говоря часто безъ надлежащаго приготовленія. Поэтому и здѣсь желающіе блистать должны глубоко обдумывать свои рѣчи. Пусть они привыкаютъ къ слогу сильному и правильному, выражающему въ немногихъ словахъ болѣе, чѣмъ сколько выражаетъ громада длинныхъ и запутанныхъ періодовъ. Такое приготовленіе рѣчей обращается въ привычку; при множествѣ дѣлъ, можно съ тою же точностью выражаться и безъ особеннаго приготовленія.

Ясность — главное достоинство рѣчи судебной. Надобно, во-первыхъ, изложить вопросъ, опредѣлить предметъ сужденія, доказательства и опроверженія, показать, гдѣ начинается несогласіе между двумя спорами; во-вторыхъ, методически расположить всѣ части рѣчи. Последовательное расположеніе нужно во всѣхъ рѣчахъ; но оно необходимо въ запутанныхъ и сомнительныхъ вопросахъ, разбираемыхъ въ судилищѣ: здѣсь все зависить отъ изящнаго расположенія. Прежде всего должно составить себѣ планъ рѣчи; при малѣйшемъ безпорядкѣ, убѣжденіе

достигается и защищеніе не прольешь свѣта на излагаемое дѣло.

Повѣствованіе, или часть историческая, въ судебныхъ рѣчахъ должна быть по возможности кратка. Чѣмъ судить о справедливости дѣла, надобно помнить всѣ его обстоятельство; но когда ораторъ упоминаетъ слушателей длиннымъ разсказомъ, когда онъ затемняетъ повѣствованіе ненужными подробностями; тогда обременяется память. Напрошивъ, опущеніе излишнихъ обстоятельствъ придастъ болѣе силы обстоятельствамъ существеннымъ, ставитъ ихъ въ большемъ свѣтѣ и производитъ разительнѣйшее впечатлѣніе. Что касается до элементарна философскаго, или доказательствъ, онъ требуетъ здѣсь полного развитія, между тѣмъ какъ въ рѣчахъ совѣщательныхъ, гдѣ предметъ бываетъ простъ и несложенъ, доказательства общія и краткія сильнѣе дѣйствуютъ. Судебные же вопросы необходимо разсматривать съ различныхъ сторонъ для того, чѣмъ слушатели въ состояніи были обнять ихъ совершенно. Въ опроверженіи доказательствъ, приводимыхъ противникомъ, да остерегается ораторъ представлять ихъ въ ложномъ видѣ. Такой способъ опроверженія скоро замѣчается, и порождаетъ недоувѣренность. Но должно со всею точностью и добросовѣстностью показать опроверженіе, и потомъ излагать свои доказательства. Тогда раждается въ слушателяхъ довѣренность къ чистотѣ намѣреній оратора и къ его познаніямъ. Судьи располагаются къ принятію впечатлѣній, производимыхъ ораторомъ, убѣжденнымъ въ справедливости своей стороны. Ни въ одной части защитительной рѣчи судебный вишія не имѣетъ удобнѣйшаго случая показать свой талантъ, какъ

знамъ, гдѣ излагаетъ передъ судьями доказатель-
ства своего противника, и вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ
опровергаетъ.

Остроша можетъ быть съ пользою употреб-
лена въ этомъ родѣ рѣчей, особенно если въ жи-
вомъ возраженіи показывается странная сторона
доказательствъ противныхъ. Сколь ни лестно
впрочемъ для юнаго оратора прослыть остроум-
нымъ, не должно полагаться на это средство, какъ
на успѣшнѣйшее. Цѣль его — произвести убѣж-
деніе, а не забавлять слушателей; острошты рѣдко,
даже никогда не возвышали ораторовъ на выс-
шую степень славы.

Здѣсь, равно какъ и въ другихъ родахъ рѣчей,
допускается въ ораторѣ теплоша чувства. Правда,
что сила рѣчи приличіе въ словъ, обращенномъ
къ многочисленному собранію; но чувство, внушае-
мое участіемъ въ дѣлѣ и собственнымъ убѣжденіемъ,
вездѣ служитъ могущественнымъ средствомъ къ
убѣжденію другихъ. Ораторъ есть представи-
тель своего кліента; онъ принимаетъ на себя всѣ
его обязанности, заступаетъ его мѣсто; поэтому
не прилично, даже противно его пользѣ, быть
холоднымъ и равнодушнымъ. Многіе ли захотѣтъ
повѣрить участъ свою челоѣку, защищающему
ихъ хладнокровно?

Впрочемъ судебный ораторъ не можетъ рас-
шочать чувствительность свою на всѣ дѣла, ему
повѣряемыя: этому званію свойственно особое
достоинство характера, которое должно въ немъ
проявляться. Одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ убѣж-
денія есть доброе имя того, кто хочетъ дру-
гихъ убѣждать (*).

(*) »Plurimum ad omnia momenti est in hoc positum, si
vir bonus creditur. Sic enim contingit, ut non studium

можно опредѣлить впечатлѣнія, производимаго предметомъ сужденія, ошъ мнѣнія о характеръ оратора. Мы не сознаемся, но какъ бы противъ воли болѣе или менѣе убѣждаемся доказательствами оратора, смотря по вліянію на насъ этого мнѣнія. Къ обязанностямъ ораторскимъ принадлежащъ стараніе беречь доброе имя и выборомъ дѣлъ, и способомъ ихъ защищенія. Руководствомъ въ этомъ да послужають правила добросовѣстности, которыхъ святое исполненіе есть долгъ каждого честнаго человека. Да не принимаешь на себя добросовѣстный ораторъ защищенія дѣлъ ненавистныхъ и очевидно несправедливыхъ; въ сомнительныхъ вопросахъ да покажешь безприсрасіе, и негодованіе тамъ, гдѣ несправедливость осязательна.

Вотъ правила, необходимыя оратору, посвящающему себя судебному краснорѣчію. Чтобы пролить большій свѣтъ на этотъ предметъ, рассмотримъ одну изъ судебныхъ рѣчей Цицерона, именно рѣчь за Клуэнція. Здѣсь выпія болѣе умѣренъ, нежели въ рѣчи за Милона, правленъ и силенъ; излщное развитіе доводовъ заслуживаетъ особенное вниманіе.

Авишь Клуэнцій, Римскій всадникъ, знаменитаго рода и обладавшій огромнымъ богатствомъ, обвинялъ своего оппима въ злоумышленіи оправивъ его. Обвиненіе найдено было справедливымъ: и Оппіаникъ осужденъ на изгнаніе. Но распространился слухъ, будто судьи были подкуплены; скоро этотъ слухъ обратился въ народную молву, и Клуэнцій спалъ предметомъ всеобщей ненависти. Восемь лѣтъ спуская, Оппіаникъ умеръ.

advocati videatur afferre, sed pæne testis fidem. Quint. lib. IV, cap. I.

Клуэнцій въ свою очередь былъ обвиненъ въ оправданіи его и въ подкупленіи судей; обвинившихъ его опчиа. Обвинителями были: Сассія, мать Клуэнція и жена Оппіаника, и молодой Оппіаникъ, ихъ сынъ. Судъ производилъ преторъ Назонъ со многими избранными судіями. — Воишь въ какихъ обстоятельствѣхъ Цицеронъ принялъ на себя защищеніе Клуэнція.

Присупъ приличенъ и просишь; опъ заниспованъ не изъ общихъ мѣспъ, неопредѣленныхъ и всѣмъ знакомыхъ, но изъ сущности самаго дѣла. Цицеронъ разлагаетъ рѣчь обвинителя на двѣ части: въ первой кліепишь его былъ обвиняемъ въ оправданіи Оппіаника; но какъ на это нельзя было представитишь вѣрныхъ доказательствъ, то эта часть краткая; во второй обвинители наспанивали болѣе на преступленіе подкупа судей Оппіаника — преступленіе, которе въ нѣкоторыхъ случаяхъ Римскими законами наказывалось смертію. Цицеронъ въ рѣчи своей слѣдуетъ этому порядку, и въ особенноти оправдываетъ Клуэнція въ послѣднемъ обвиненіи. Тушь же замѣчаетъ онъ объ опасноти, какой подвергаются судьи народною молвою, которая часто возбуждается извѣстною спорной противъ людей совершенно безвинныхъ. Опъ такой молвы Клуэнцій шерпѣлъ долговременные и жестокіе упреки послѣ осужденія его опчиа; просишь только шерпѣнія и вниманія судей, обѣщаясь изложити имъ всѣ обстоятельства дѣла со всею точностію и ясностію; одного простаго изложенія достаточно для оправданія обвиняемаго. Весі эпоишь присупъ еспешивенъ и приличенъ.

Преступленія, приписываемыя Клуэнцію, ненависны. Мать обвиняетъ сына, и обвиняетъ

его въ несправедливомъ осужденіи мужа своего подкупомъ судей, и въ отправленіи изгнаннаго имъ Оппіаника. Все это порождало сильное предубѣжденіе противъ кліента Цицеронова. Поэтому ораторъ прежде всего долженъ былъ уничтожить невыгодныя предубѣжденія, показать, каковы были и мать Клуэнція и Оппіаникъ, ея супругъ, дабы на нихъ обратишь народное негодованіе. По содержанію и обстоятельствамъ обвиненій, такъ слѣдовало защищать его; такъ должно бы говорить и въ наше время въ подобномъ случаѣ. Цицеронъ развиваетъ дѣло въ этомъ порядкѣ краснорѣчиво и сильно. Онъ представляетъ картину преступленій и несчастій, дающихъ ужасное понятіе о нравахъ того времени; мы не повѣрили бы этому, если бы ораторъ не подтверждалъ словъ своихъ указаніями достоверными.

Открывается, что Сассія была женщина безнравственная. Немного спустя послѣ смерти перваго своего супруга, отца Клуэнція, она неравнодушна была къ Аврію Меліну, зятю своему, богатому и знатнаго рода молодому человѣку, убѣдила его развестись съ его женою, а своею дочерью, и сама вышла за него за мужъ. Мелінь, жертва доноса Оппіаника, попалъ въ число конскриптовъ Силлы и умерщвленъ. Тогда Оппіаникъ предложилъ ей руку. Вотъ слова Цицерона: «То брачное ложе, которое за два года предъ тѣмъ, дочери своей, выходившей за мужъ, готовила, въ томъ же самомъ домѣ приказываетъ готовить и украшать для себя, изгнавъ и удаливъ отъ мужа свою дочь. Выходишь за зятя тещи, не испросивъ ни чьего на то соизволенія, при общемъ предвѣщаніи будущаго. Невѣроятное преступленіе женщины, никогда неслыханное! Безстыдство необыкновенное!

Не устращившись ни кары божеской, ни людских осуждений, ни даже роковой ночи и брачных святочей — не устращившись ни опочивальни, ни дочеринна ложа, ни спящих, свидетельницъ прежняго брака! Сассія все испровергла и презрала изъ порочнаго неистовства; въ ней стыдъ подавленъ чувствительностью, страхъ дерзостью, разсудокъ омраченъ изступленіемъ. Обстоятельства дѣла извиняющъ этакъ порывъ орашора. Въмѣсто того, чтобы возгнушались мысли, соединившись съ челоѡкомъ, обогреннымъ кровью ея супруга, она согласилась на предложеніе, затрудняясь только тѣмъ, что у Опіаника были два сына при живой женѣ. Опіаникъ уничтожилъ и это претяпствіе: приказалъ тайно умертвить обоихъ своихъ сыновей, съ женою развелся и вступилъ въ гнусный бракъ съ Сассією. Эти ужасныя печестія изобразилъ Цицеронъ самыми яркими красками. Клауэцій прекратилъ всѣ сношенія съ женщиною, носившею только имя матери и покрывшею безчестіемъ себя и семейство, къ копорому принадлежала. Отсюда ненависть матери къ сыну и всѣ несчастія Клауэція. Цицеронъ бѣгло обозрѣваетъ жизнь Опіаника, представляя его челоѡкомъ дерзкимъ, жестокимъ, ненавистнымъ по корыстолюбію и честолюбію, и закончившимъ въ злодѣйствахъ бѣдспвенныхъ временъ Маріа и Силлы. Въмѣсто того, говоришь орашоръ, чтобы удивляться осужденію Опіаника, должно дивиться, какъ могъ онъ укрываться столь долгое время отъ преслѣдованія законовъ.

Приготовивъ слушателей яснымъ и изычнымъ разсказомъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ, Цицеронъ приступаетъ къ исторіи знаменитаго процесса — обвиненія кліента своего въ подкупъ

судей. Клуэпцій и Оппіанікъ были оба уроженцы города Лариніума. Въ преніяхъ о правахъ гражданъ этого города они были противныхъ мнѣній, чѣмъ увеличилось несогласіе, существовавшее между ними. Сассія, по послѣднему браку супруга Оппіаника, побуждала мужа избавить ее отъ сына, котораго она смертельно ненавидѣла за то, что ему извѣстны были всѣ ея преступленія. При томъ, такъ какъ Клуэпцій тогда не сдѣлалъ еще завѣщанія, отчимъ и мать его надѣялись, по смерти его, быть его наследниками. Для этого они рѣшились его оправдать. Подробности прежней жизни ихъ удостовѣряють въ этомъ намѣреніи. Занемогаетъ Клуэпцій; они задумываютъ подкупить слугу его врача; Фабрицій, искренній другъ Оппіаника, взялъ на себя уладить это дѣло. Слуга открылъ все. Клуэпцій сперва преслѣдовалъ Скамандра, оппущенника Фабриція, у котораго въ рукахъ нашли ядъ; потомъ обвинилъ и Фабриція въ покушеніи на его жизнь. Скамандръ и Фабрицій были осуждены почти единогласно.

Ораторъ входитъ во всѣ подробности этихъ двухъ предварительныхъ рѣшеній, по случаю которыхъ не возникло ни малѣйшаго подозрѣнія о подкупѣ судей. Въ этихъ двухъ приговорахъ Оппіаникъ явно признанъ виновникомъ умысла отравленія; Скамандръ и Фабрицій служили только орудіями и исполнителями его намѣреній. Естественна, Клуэпцій началъ третье обвиненіе противъ Оппіаника, виновника преступления. Въ этомъ послѣднемъ процессѣ, какъ говорили, были подкуплены судьи. По всему Риму распространился этотъ слухъ, всѣ спрашивались за безопасность жизни, при пошворствѣ подобнымъ ужаснымъ покушеніямъ. Посмотримъ на доказательства, при-

водимыя Цицерономъ въ защищеніе Клуэція въ сполъ тяжкомъ обвиненіи (*crimen corrupti iudicii*).

Онъ доказываетъ сначала, что не было ни малѣйшей причины къ такому подозрѣнію; потому что осужденіе Оппіаника было прямымъ и необходимымъ слѣдствіемъ приговоровъ, произнесенныхъ надъ Скамандромъ и Фабриціемъ. Эпо осужденіе вело къ открытію преступленія Оппіаника. Когда исполнители злостныхъ намѣреній были осуждены, то какъ могъ избѣгнуть осужденія опъ тѣхъ же судей Оппіаникъ, виновникъ преступленія? Не явно ли, тогда бы судьи противорѣчили сами себѣ?

Потомъ ораторъ показываетъ, что въ этомъ процессѣ, если судьи и были подкуплены, то не Клуэціемъ, а Оппіаникомъ. Не говоря о различіи характеровъ Клуэція и Оппіаника, изъ которыхъ одинъ былъ добродѣшелемъ, другой запятнанъ всѣми пороками — какую пользу могъ имѣть Клуэцій, рѣшившись на такой гнусный и вѣснъ опасный поступокъ? Кто чувствовалъ себя въ величайшей опасности по очевидности обвиненія, кто спрашивалъ лишиться имущества, свободы, жизни; потъ скорѣе могъ прибѣгнуть къ послѣднему средству избавленія, чѣмъ человекъ, котораго дѣло было право само по себѣ, и который не могъ сомнѣваться въ уснѣхъ своихъ показаній, и не имѣлъ никакихъ другихъ выгодъ, кромѣ желанія справедливости.

Наконецъ Цицеронъ утверждаетъ, что Оппіаникъ покушался подкупить судей, и что въ этомъ процессѣ подкупъ, падъавшій столько шуму, былъ употребленъ не Клуэціемъ, но Оппіаникомъ. Типъ Аппій былъ ораторомъ противной спороны; Цицеронъ вопрошаетъ его: можешь

ли онъ опровергнушь, что Спаленъ, одинъ изъ тридцати двухъ судей, назначенныхъ преторомъ, принялъ деньги отъ Оппіаника; опредѣляетъ даже сумму и называетъ свидѣтелей, когда Спаленъ, послѣ неблагопріятнаго для Оппіаника рѣшенія, долженъ былъ ихъ возвратити. Это главное и, кажется, рѣшительное показаніе; но одно обстоятельство ослабило его важность: это самый Спаленъ подалъ голосъ противъ Оппіаника. Какъ же Цицеронъ объясняетъ такое странное дѣйствіе? »Спаленъ, говоритъ онъ, былъ извѣстенъ за человека сомнительной честности и съ давняго времени привыкшаго къ подобнымъ низостямъ. Онъ условился съ Оппіаникомъ и взялъ съ него сумму, которою долженъ былъ подѣлиться съ другими судіями. Получивъ столько денегъ, сколько онъ никогда еще не имѣлъ, пожалѣлъ подѣлиться ими съ товарищами, вздумалъ присвоить ихъ себѣ — и объявилъ себя противъ Оппіаника, вмѣсто того, чтобы защищать его: онъ полагалъ, что осужденный не осмѣлится потребовать обратно своихъ денегъ. Сначала онъ не хотѣлъ-было присутствовать при произношеніи приговора; но, вызванный присяжными Оппіаника къ рѣшительному засѣданію, онъ долженъ былъ подать голосъ. И чтожь онъ сдѣлалъ? Подалъ голосъ противъ того, отъ кого принялъ деньги, чтобы удалити отъ себя всякое подозрѣніе.»

Этимъ убѣдительнымъ повѣствованіемъ Цицеронъ объявляетъ Клуэнція, и безчестный подкупъ слагаетъ на его противника. Такимъ образомъ предубѣжденіе противъ Клуэнція уничтожено. Оставалось еще рѣшить труднѣйшую часть дѣла. Преторъ, цензоры и сенатъ подозрѣвали судей

Оппіанника; если Оппіанникъ, говорили, подкупилъ Спалена: то почему Клуэнцій не могъ того же сдѣлать? Цицеронъ опровергаетъ это предположеніе ясно и сильно. Онъ доказываетъ, что всѣ обстоятельства тогда еще не были совершенно извѣстны; что рѣшенія были сдѣланы наскоро; что ни одно не содержишь прямыхъ заключеній противъ его кліента; и что подозрѣнія произошли отъ народнаго прибуна, Квинція, покровительствовавшаго Оппіанику: эшотъ Квинцій, проигравъ процессъ свой, спарался навлечь грозу на судей, произнесшихъ приговоръ его кліенту, Оппіанику.

Тутъ Цицеронъ разбираетъ законъ, относящійся къ этому процессу. Подкупить судей считалось уголовнымъ преступленіемъ. Извѣстный законъ: *Cornelia de sicariis*, заключалъ постановленіе: *Qui judicem corruperit, vel corrumpendum curaverit, hac lege teneatur*. Однако Цицеронъ говоритъ намъ, что это постановленіе относилось только къ сановникамъ и сенаторамъ, а Клуэнцій, какъ всадникъ, еслибъ и уличенъ былъ въ подкупъ, не подвергался бы этому закону. Тутъ Ораторъ показываетъ весь свой талантъ—любопышно выслушать его самого: »Знаю, что ты, Тишъ Аптіій, увѣрялъ всѣхъ, будто я, при защищеніи кліента своего, не спану опровергать самого дѣла и доказывать его справедливость, а ограничусь только приложеніемъ закона къ пощады обвиняемаго. Такъ ли поступилъ я, свидѣтельствуюсь тобою самимъ. Ограничился ли я толкованіемъ смысла закона? Напротивъ, не говорилъ ли я за кліента своего, какъ за сенатора, подвергающагося закону Корнелиева? Не показалъ ли я, что нѣтъ ни уликъ, ни свидѣтельствъ противъ него достоверныхъ? Въ эшотъ я поступилъ согласно съ желаніемъ Клуэн-

ція: когда онъ совѣщавался со мною объ этомъ дѣлѣ, и узналъ отъ меня, что на него не распространяется законъ Корнеліевъ; тогда же просилъ меня не основываться на этомъ всего защищенія; со слезами говорилъ, что для него честь столь же дорога, какъ и жизнь; что, чувствуя безвинность свою, онъ желаетъ не только избѣгнуть наказанія, но и оправдаться передъ согражданами.»

«До сихъ поръ я слѣдовалъ желанію кліента; теперь онъ долженъ уступить мнѣ: я поступилъ бы прошивъ совѣсти, прошивъ законовъ опеченственихъ, если бы допустилъ неправосудный приговоръ гражданина. Правда, говоришь ты, поспыдно Римскаго всадника избавлять отъ преслѣдованія закона, которому подвергается сенаторъ, за подкупъ судей; но если бы мы и согласились въ этомъ съ тобою, ты бы и тогда долженъ былъ сознаться, что еще постыднѣе въ государствѣ, управляемомъ законами, попирашь законы. Какая бы оставалась безопасность для нашей личности и для нашихъ правъ, если бы мы не благоговѣли предъ закономъ? Почему Назонъ занимаетъ это мѣсто и председательствуетъ; почему мы съ тобою, Апшій, являемся здѣсь, ты обвинителемъ, а я защитникомъ? Отъ чего вся эта торжественность, все великолѣпіе, эти судьи, ликторы? Не законъ ли далъ намъ всѣ эти права? Не законъ ли правитъ всѣми частями государсва, служитъ имъ общемою связью и располагаетъ всѣми дѣйствіями народными, какъ душа тѣломъ? И какъ дерзнулъ ты говоришь съ такимъ небреженіемъ о законѣ, предлагаешь судіямъ, въ уголовномъ производствѣ, отступленіе отъ предписаній закона? Мудрые предки наши сенаторовъ и высшихъ санов-

никовъ, пользующихся большими выгодами въ сравненіи съ прочими гражданами, подчинили и спроставшимъ законамъ, да ихъ права пребудутъ во всей чистотѣ и непоколебимой честности. Но если ты находишь полезнымъ измѣнить это постановленіе; если думаешь, что спроситъ Корпеліева закона относительно подкупа судей должна простираться на всѣ сословія: то спанемъ вмѣстѣ домогаться измѣнить этотъ законъ новымъ. И Клауэнцій будетъ въ числѣ пламенно желающихъ такого распространенія — Клауэнцій, копорый и теперь, при нынѣшнемъ положеніи, отказывается отъ его защиты, хочешь быть оправданъ, хотя бы законъ и на него простирался. Но онъ можетъ желать этого; а вашъ долгъ, судіи, не выводитъ закона изъ предѣловъ, самимъ закономъ назначенныхъ.»

Таковы доводы и опроверженія Цицерона, краснорѣчивые, сильные, неопровержимые.

Въ послѣдней части рѣчи ораторъ занимается опроверженіемъ другаго обвиненія: будто Клауэнцій намѣревался оправдать Опіаника. Кажется, сами обвинители мало настаивали на этомъ обвиненіи; главною цѣлію ихъ было поразить Клауэнція обвиненіемъ въ подкупъ судей. Ораторъ также недолго останавливается на этой части дѣла. Онъ доказываетъ невѣроятность всего, что утверждали о мнимомъ оправданіи, и выводитъ слѣдствіе о неосновательности доказательствъ.

Посмотримъ на заключеніе. Тутъ Цицеронъ столь же проситъ и умѣренъ, какъ и во всей этой рѣчи; онъ и выражается съ большимъ жаромъ и участіемъ въ дѣлѣ, но безъ всякой на-

пыщенности и принужденности. Два предмета составляютъ содержаніе заключенія: негодованіе на характеръ и поведеніе Сассіи, и состраданіе, заслуживаемое сыномъ, который во всю жизнь преслѣдуется матерью. Ораторъ исчисляетъ преступленія Сассіи, ея безпорядочную жизнь, безстыдство, презорное замужство, наглости, жестокости; изображаетъ яркими красками оспервеніе ея и преслѣдованія; описываетъ ея внезапное прибытіе въ Римъ, съ многочисленною свитой и большими суммами денегъ, чтобы погубить несчастнаго сына. Но она уже была такъ ненавидима всѣми, что во время этого путешествія никто не оставался въ томъ домѣ, гдѣ она останавливалась; всѣ избѣгали ея; казалось, боялись ея присутствія и даже ея взглядовъ; не смѣли войти въ домъ послѣ ея отъѣзда. Этому изображенію прошивопологается благородный, опкровенный и честный характеръ Клаэція; приводятся въ его пользу свидѣльства, выданныя ему отъ его города, подтвержденные стекшими въ Римъ согражданами его, готовыми подкрѣпить все, что говорено было о его достоинствахъ.

Обращаясь къ судіямъ, Цидеронъ заключаетъ: »Если для васъ, судіи, ненавистно злодѣяніе; то остановите шоржество порочной женщины; не попустите, чтобы мать, вопреки природѣ, утѣшалась пролітіемъ сыновней крови. Если вамъ любезна добродѣтель, прострите руку помощи этому несчастному, въ продолженіе столькихъ лѣтъ подвергающемуся несправедливымъ упрекамъ по ненавистнымъ клеветамъ Сассіи, Опіаника и ихъ единомышленниковъ. Онъ не столько бы несчастливъ былъ, если бы погибъ отъ яда Опіаникова, нежели теперь, избѣгнувъ крово-

жадныхъ убійцъ, мучимый ужасными и несправедливыми подозрѣніями. Но полагаясь на ваше правосудіе и великодушіе, со всею довѣренностью, при гласности дѣла своего, онъ увѣренъ, что вы рѣшеніемъ вашимъ возстановите его честь. Вы возвратите его друзьямъ, возвратите соотечественникамъ, которые здѣсь, передъ вами, свидѣтельствуютъ объ уваженіи, какое къ нему питають. Справедливое рѣшеніе ваше докажетъ, что иногда въ народныхъ собраніяхъ торжествуетъ клевета, въ судилищахъ же всегда господствуетъ истина.»

Вошъ краткое содержаніе рѣчи Цицероновой за Клуэнція. Мы хотѣли въ особенности показать ея расположеніе, порядокъ и послѣдовательность мыслей, доводы и опроверженія. Для подробнѣйшаго изученія искусства орашорскаго, необходимо чтеніе подлинника. Изъ числа всѣхъ рѣчей немногія содержатъ столь много обстоятельствъ и разныхъ доводовъ, сколько встрѣчаемъ въ этой рѣчи; а пошому она можетъ служить превосходнымъ образцомъ изящной рѣчи по *порядку мыслей, изобразительности описаній и повѣствованій, и по движеніямъ чувства.*

ЧТЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЕ.

Духовное краснорѣчіе. — Отличительныя свойства этого рода внутреннія и внѣшнія. — Изящное въ проповѣди. — Виды духовнаго краснорѣчія. — Части проповѣди. — Образцы.

Приступаемъ къ изслѣдованію *духовнаго* краснорѣчія, общаго всѣмъ просвѣщеннымъ народамъ міра Христіанскаго. Неоспоримое преимущество проповѣди передъ другими родами рѣчей состоитъ въ важности и достоинствѣ ея содержанія: она увлекательна и дѣйствуетъ на сердце, допускаетъ украшенія въ описаніяхъ, теплоту и силу чувства въ изложеніи. Проповѣдникъ имѣетъ и другія преимущества: онъ обращается не къ одному или нѣсколькимъ судіямъ, но къ многочисленному собранію, не смущается опроверженіями; ему нѣтъ надобности всегда говорить безъ приготовленія, и потому онъ заранее можетъ исполнить обдумать свой предметъ.

Духовное краснорѣчіе, представляя оратору многія выгоды, имѣетъ также свои трудности. Проповѣдникъ не имѣетъ себѣ противника; но имѣетъ съ нимъ не имѣетъ возможности возбуждать вниманіе и чувство, какъ это бываетъ въ преніяхъ народныхъ и судебныхъ рѣчахъ. Свободно произнося съ кафедры, онъ увѣренъ въ достиженіи цѣли своей; но предметы его рѣчей, хотя важныя и возвышенныя, всѣмъ извѣстны. Многіе вышій въ шеченіе въковъ о нихъ рассу-

ждали; нашъ слухъ шакъ привыкъ къ эпічъ предметамъ, что одинъ только геній можетъ возбуждать наше вниманіе. Всего труднѣе въ искусствѣ сообщить предмету обыкновенному занимательность новости. Тамъ всего болѣе выказывается дарованіе, гдѣ достоинство сочиненія зависитъ только отъ одного исполненія, гдѣ не излагаются новыя свѣдѣнія, не убѣждаемся въ новыхъ истинахъ, но гдѣ всеѣ знакомое представляется сильно и поразительно для ума и чувства. Отъ того духовное краснорѣчіе доступно немногимъ по трудности исполненія. Здѣсь должно говорить о томъ, о чемъ было уже говорено и что все напередъ угадываютъ; содержаніе важно, но слишкомъ извѣстно; положенія вѣрны, но слушатели проникаютъ въ ихъ слѣдствія; припомъ многіе ли способны разсуждать о возвышенныхъ предметахъ духовныхъ? Проповѣдникъ не поддерживается, какъ ораторъ судебный, новыми дѣлами, разнообразными происшествіями и неслыханными случаями; онъ не рѣшаетъ сомнительныхъ вопросовъ; у него не имѣютъ силы натянутыя догадки и предположенія, хотя все это возвышаетъ дарованіе, даетъ ему порывъ и твердое направленіе. Онъ долженъ напротивъ того заимствовать свою рѣчь изъ общаго для всехъ источника; если же удаляется отъ него, то перестаетъ быть понятнымъ, становится отвлеченнымъ декламаторомъ. Проповѣдывать въ храмѣ легче, нежели говорить въ судилищѣ; но изящно проповѣдывать труднѣе, нежели искусно защищать кліента. Припомъ содержаніе проповѣдей большею частію отвлеченно: въ нихъ описываются добродѣтели и пороки; предметы же другихъ рѣчей составляютъ лица, что простираетъ для слушателей и сильнѣе дѣйствуетъ на нихъ.

воображеніе. Проповѣдникъ долженъ возбуждать негодование къ пороку, а ораторъ судебный — пенансись къ преступнику; говоря о лицахъ, передъ нами находящихся, онъ легко возбуждаетъ въ насъ негодование. Вотъ почему много проповѣдниковъ, но мало проповѣдей творческихъ. Духовное краснорѣчіе новое слишкомъ далеко отъ краснорѣчія Отцевъ Церкви; потому что ни въ одномъ искусствѣ оно не достигается съ большимъ трудомъ. При всемъ томъ это краснорѣчіе, высокое по основному элементу, достойно нашего изученія (*).

Можешь быть, нѣкоторые возражаютъ, что проповѣдь не должна вышійствовать и что въ краснорѣчіе облакаются только предметы обыкновенной жизни человеческой. Истинны вѣры, скажутъ, чужды искусства; чѣмъ простѣе онѣ излагаются, тѣмъ сильнѣе на насъ дѣйствуютъ. Но это скажутъ только тѣ, которые почитаютъ краснорѣчіе искусствомъ ослѣпляющимъ и обманчивымъ, суебнымъ изученіемъ словъ и велерѣчивыхъ доказательствъ, имѣющихъ цѣлю только нравиться и угождать нашему слуху. Начиная бесѣдовать о Словесности, мы говорили объ этомъ ложномъ мнѣніи. Краснорѣчіе есть искусство представлять истину ясно

(*) *Principes pour la lecture des orateurs*, I. I. ch. III. sect. 4. — *Mauray Essai sur l'éloquence de la chaire*, Par. 1810, 2 voll. 8. — *J. J. Cheuvreux Observations sur l'éloquence de la chaire*; Geneve, 1824. 8. — *Vier Abhandlungen über einige wichtige und gemeinnützige Wahrheiten der Homiletik*, von *Spalding, Salzmann und Resewitz*; Berl., 1783. 8. — *A. N. Niemeyer's Handbuch für christliche Religionslehrer*; Halle, 1805 — 7. 2 Bände, 8. — *C. F. Animon's Handbuch der Anleitung zur Kanzelberedsamkeit*; Nürnberg, 1826. 8. — *J. A. H. Tilmann Lehrbuch der Homiletik*; Leipz. 1824, 8.

и убѣдительно: объ этомъ же долженъ заботиться и проповѣдникъ Евангелія; потому что отъ его дара слова зависить успѣхъ поученія. Подтверженіемъ этому служатъ Опцы православной Церкви нашей, которыхъ слова представляютъ примѣры высокаго и убѣдительнаго краснорѣчія.

Прежде всего должно имѣть вѣрное понятіе о цѣли проповѣди. Тотъ не достигнетъ совершенства ни въ какомъ искусствѣ, кто не постигнетъ ясно его предмета и назначенія. — Цѣль проповѣди убѣжденіе въ необходимости самосовершенствованія; поэтому проповѣдь должна быть рѣчью убѣдительною, хотя проповѣдникъ можетъ также наставлять и размышлять. Убѣжденіе, какъ мы уже замѣтили, основывается на доказательствѣхъ: для возбужденія сильнаго чувства нужно просвѣтленіе разума. Тотъ не можетъ дѣйствовать на страсти и поступки людей, кто не озаритъ новымъ свѣтомъ ихъ ума, не внушитъ имъ любви къ истинѣ; тотъ удивитъ только на одно мгновеніе, и не оставитъ въ душѣ глубокаго впечатлѣнія. Всѣ наставленія проповѣдника должны имѣть примѣненіе къ жизни; убѣжденіе главный его предметъ. Не для объясненія темнаго мѣста въ наукѣ произноситъ онъ слово, не для исполкованія какихъ-либо отвлеченныхъ понятій, не для сообщенія новостей, которыхъ никто еще не слыхалъ; но для внушенія людямъ чувствъ добра, для проясненія имъ истинъ Вѣры, проповѣдникъ производитъ въ слушателей впечатлѣнія поразительныя. Одно изъ первыхъ условій проповѣди простота; не принаравливаться ко вкусу и предразсудкамъ народа, но дѣйствовать на умъ даже простолюдиновъ, проникать въ сокровенные изгибы сердца и овладѣвать имъ совершенно. Смѣло

можно сказать, что ошвлеченное поученіе, кошпо-
рому мы иногда удивляемся, есть поученіе невѣр-
ное, удаляющееся совершенно отъ назначенія про-
повѣди. Справедливо, что долгъ проповѣдника
всегда говорить разсудку и ясно изображать слу-
шателямъ предметы, имъ излагаемые, занимать
ихъ мыслями, а не словами; но одно здоровое сужде-
ніе безъ способности убѣждать не составляетъ
еще краснорѣчія.

И такъ если цѣль проповѣди — нравственное
убѣжденіе; ясно, что проповѣдникъ долженъ быть
самъ высокой нравственности. Мы уже доказывали,
что только тотъ краснорѣчивъ, кто говоритъ по
собственному чувству и убѣжденію *«vera vocis ab
ipso rectore.»* Это правило въ особенности касается
до рѣчей духовныхъ. Здѣсь отъ оратора необ-
ходимо требуется внутреннее сознаніе истинны и
важности тѣхъ правилъ, которыя онъ сообщаетъ
слушателямъ; мало созерцать ихъ, надобно быть
глубоко ими проникнутому. Такое чувство придаетъ
силу и вѣсъ его увѣщаніямъ; оно прольетъ въ
слушателей животворную теплоту благочестія,
котораго дѣйствія превышаютъ всякое искус-
ственное витійство; никакія усилія не замѣнятъ
этого чувства; безъ него они только пустой
звукъ. Истинный духъ благочестія предохранитъ
проповѣдника отъ подобныхъ погрѣшностей, сооб-
щитъ рѣчи убѣдительность и поученіе, воздержитъ
его отъ рѣчей напыщенныхъ, имѣющихъ цѣлю шпе-
славіе или удовольствіе. Трудность быть проник-
нутому чувствами благочестія, какихъ требуетъ
проповѣдь, и вмѣстѣ съ тѣмъ соединить даръ
слова и глубокое познаніе свѣда, можетъ быть,
есть одна изъ причинъ рѣдкости великихъ про-
повѣдниковъ.

Ошличительныя качества духовнаго краснорѣчія передъ другими родами есть возвышенность и теплоша чувства. Первая зависить ошъ сущности предметовъ, а вторая ошъ важности истинъ вѣры для всѣхъ и каждаго. Немногіе совмѣщаютъ оба эти качества: преимущество одного можетъ перейши въ непріятное однообразіе, а преимущество другаго походить на искусственность и отнимаетъ у рѣчи все величіе. Проповѣдникъ долженъ обладать обоими качествами, какъ въ сочиненіи рѣчи, такъ и въ пропозношеніи; ошъ ихъ совокупности рождается проращательное и увлекательное краснорѣчіе, истекающее изъ глубины сердца, проникнушаго важностию проповѣдуемыхъ истинъ и искреннимъ желаніемъ убѣжденія.

Проповѣдникъ, знающій сущность и цѣль духовнаго краснорѣчія, обращаетъ вниманіе на вѣрный выборъ предметовъ. Правила выбора относятся болѣе къ богословію, нежели къ теоріи витійства. Вообще содержаніе проповѣдей пусть будетъ поучительно и согласно съ положеніемъ слушателей. Не лѣзя называть того краснорѣчивымъ, чьи предметы или слоги превышаютъ понятія слушателей. Здравое сужденіе и правота презираютъ суешныя хвалы тѣхъ, которые удивляются и сами не понимаютъ предметовъ своего удивленія. Польза не раздѣльна съ истиннымъ краснорѣчіемъ: тотъ не долго прослыветъ образцовымъ проповѣдникомъ, кто проповѣдью не производитъ нравственнаго совершенствованія.

Правила, относящіяся къ различнымъ частямъ рѣчи: вступленію, раздѣленію, повѣщиванію и доводамъ, одни и тѣ же въ проповѣди, какія и въ

прочихъ родахъ рѣчей. Изложимъ здѣсь нѣкоторыя особенности, ошлечающія рѣчь духовную опъ всѣхъ другихъ.

Во всякомъ сочиненіи необходимо единство; но оно труднѣе тамъ, гдѣ выборъ содержанія не зависить опъ оратора; единство же въ проповѣди зависить совершенно опъ оратора. Здѣсь подъ единствомъ должно разумѣть ту главную мысль, около которой вращается вся рѣчь; это не составъ разнородныхъ предметовъ въ одно цѣлое, но развитіе одного главнаго предмета. Правило единства основано на той непреложной истинѣ, что умъ нашъ въ одно время можетъ заниматься съ успѣхомъ однимъ только предметомъ; гдѣ вниманіе развлекается, тамъ впечатлѣніе слабѣетъ. Но это единство, безъ котораго рѣчь не имѣетъ ни силы, ни изящества, допускаетъ раздѣленіе или различіе главныхъ положеній. Недостаточно въ рѣчи одну только мысль представить въ различныхъ выраженіяхъ: такое понятіе о единствѣ слишкомъ ограничено. Единство допускаетъ нѣкоторое разнообразіе; могутъ входить предметы посторонніе и подчиненные, но они должны имѣть столь тѣсную связь между собою, чтобы цѣлое производило въ умъ полное и единое впечатлѣніе. Можно на примѣръ представить различныя доказательства для внушенія любви къ Богу, и пусть же изслѣдуютъ причины, подавляющія въ нашемъ сердцѣ это чувство; то и другое составляетъ одинъ высокій предметъ для размышленія. Но ежели возьмемъ въ основаніе проповѣди: »Любяй Бога любящаго ближняго«; то, намѣреваясь представить въ одной рѣчи доказательства любви къ Богу и любви къ ближнему, мы совершенно нарушимъ

единство и произведемъ въ слушателяхъ неполное и смѣшанное впечатлѣніе.

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что проповѣдь шѣмъ сильнѣе и поучительнѣе, чѣмъ предметъ ея болѣе опредѣленъ и ограниченъ. Въ предметъ слишкомъ общемъ можно сохранить единство, но не такъ строго, какъ въ частномъ. Въ первомъ случаѣ впечатлѣніе не такъ сильно и поученіе не столь убѣдительно. Юные проповѣдники часто предпочитаютъ предметы общіе, каковы на пр. сладостныя чувствованія религіозныя, какъ болѣе поразительныя и легкія. Безъ сомнѣнія, не должно оставлять безъ вниманія и общихъ воззрѣній на религію: они иногда бываютъ очень приличны, но никогда не произведутъ слишкомъ сильнаго впечатлѣнія; пошому что неизбежно совпадаютъ съ общими мѣстами. Вниманіе наше болѣе сосредоточивается, когда проповѣдникъ избираетъ одну отдѣльную и занимательную сторону возвышеннаго предмета, и представляетъ ее съ возможною убѣдительною и краснорѣчіемъ. Похвала добродѣтели или порицаніе порока заключаютъ въ себѣ также единство и опредѣлительность: но рѣчь получитъ еще болѣшую занимательность, если проповѣдникъ ограничится частнымъ воззрѣніемъ на добродѣтель или на порокъ; если онъ разсмотритъ ихъ такъ, какъ они обнаруживаются въ извѣстныхъ характерахъ или обстоятельствахъ. Такое исполненіе труднѣе, а вмѣстѣ съ этимъ выше достоинство проповѣди и поразительнѣе ея дѣйствіе.

Не нужно всего высказывать о предметѣ: здѣсь обиліе величайшая погрѣшность. Надобно избрать стороны самыя поучительныя, самыя

увлекательныя, какія можеть представить текстъ, и на нихъ особенно оспанавливатьъ вниманіе. Если бы проповѣдники излагали ученіе новое для своихъ слушателей; то они могли бы входитьъ во всю подробности, чтобы сообщить ученіе во всей его полнотѣ. Но проповѣдь должна болѣе убѣждать, нежели научать; многословіе же прошивно убѣжденію. Много предметовъ, копорые проповѣдникъ, по ихъ извѣстности, можеть пропустить, иныхъ слегка коснуться; въ противномъ случаѣ онъ ослабитъ и затѣмнитъ свою рѣчь.

Обдумывая проповѣдь, витія долженъ поснать себя на мѣсто разсудительнаго слушателя, и предположитъ, что къ нему обращаются съ рѣчью такого содержанія, какое онъ избралъ. Пусть самъ себя спроситъ, какая сторона въ предметѣ для него поразительнѣе; какія доказательства способнѣе убѣдить; какія части предмета глубже могутъ вѣзаться въ сердцѣ. Вотъ главные источники, которыми пользуешься проповѣдникъ; изъ нихъ почерпаетъ онъ убѣжденіе. Иногда проповѣдники, развивая и слишкомъ распространяя главную мысль, ослабляютъ высочайшія истины. Поэтому, скажутъ, не должно писать проповѣди на одинъ текстъ? Дѣйствительно нѣтъ никакой надобности при каждомъ текстѣ изображать цѣлую систему религіозныхъ истинъ. Гораздо простѣе и естественнѣе разсматривать предметъ съ той точки зрѣнія, на которую, какъ на главную, указываетъ самый текстъ, оспанавливаясь на текстъ столько, сколько нужно для разсмотрѣнія предмета съ этой точки зрѣнія. Совершенно несправедливо почивать того глубокомысленнѣйшимъ, кто многорѣчивѣе; скучныя околн-

ности часто происходят отъ неумѣнія описать главные мысли или разительны ихъ представить.

Наставленія да будутъ занимательны для слушателей. Здѣсь — то особенно выказывается дарованіе въ духовномъ ораторѣ; сухость всего болѣе вредитъ его успѣху: проповѣдь, незанимающая ума, не можетъ быть убѣдительно. Занимательность ея зависитъ также отъ произношенія, потому что голосъ оратора всегда усиливаетъ впечатлѣніе; а увлекательность проповѣди состоитъ не въ одной правильности языка и изящныхъ описаніяхъ. Великая тайна — пронести сердце и заставить слушателей примѣнять къ себѣ то, что говорится ко всемъ; надобно, чтобы каждый изъ нихъ думалъ, что проповѣдь къ нему только относится. Для этого проповѣднику прилично избѣгать запутанныхъ разсужденій, общихъ предложеній, умозрѣній и отвлеченнаго изложенія правилъ опытныхъ. Убѣдительно та проповѣдь, которая прямо относится къ слушателямъ, и не какъ простое разсужденіе, а какъ рѣчь оратора къ народу — оратора, который свои поученія примѣняетъ къ жизни. Въ особенности надобно стараться приспособлять совѣты и увѣщанія къ возрасту, нравамъ и состоянію слушателей. Всякаго занимаетъ та рѣчь, которая имѣетъ приложеніе къ нравственному улучшенію жизни. Дабы познать всѣ отношенія человека, необходимо всего болѣе изучать его сердце. Покажите въ полномъ свѣтѣ его слабости и свойства — и вы сильно на него подѣйствуете. Но когда проповѣдникъ будетъ излагать общія только наблюденія, а не представлять рѣзкихъ нравственныхъ оцѣнокъ: слушатели оста-

путся холодно къ его слову; только опъ вѣрнаго и поразительнаго описанія нравовъ рѣчь получаешь силу и производящъ надлежащее дѣйствіе. Притмы изъ исторіи или изъ дѣйствительной жизни, какихъ много встрѣчаемъ въ Св. Писаніи, вполне овладѣваютъ нашимъ вниманіемъ, если они кстапи употреблены. При всякомъ удобномъ случаѣ должно ими пользоваться; они предохраняютъ опъ погрѣшностей тѣхъ проповѣдей, въ которыхъ излагается разсужденіе не о лицахъ осязательно, но о качествахъ лицъ отвлеченно; они придаютъ силу истинамъ Вѣры, показывая ихъ въ дѣйствительности, и представляють ихъ гораздо убѣдительнѣе. Лучшими, полезнѣйшими, но также и труднѣйшими проповѣдями можно назвать тѣ, которыя изображаютъ только нравы или какія-либо черпты изъ частнаго происшествія Св. Писанія, и вмѣстѣ съ тѣмъ показываютъ сокровеннѣйшія пружины челоувѣческаго сердца. Прочіе предметы слишкомъ извѣстны; но эти представляютъ неизсякаемый источникъ священныхъ истинъ; они поразительны, новы и поучительны. Проповѣдь Бутлера: *о характерѣ Валаама*, можешь служишь образцомъ въ этомъ родѣ.

Наконецъ проповѣдникъ не долженъ подчиняться мірскому своенравію. Это потокъ, сегоднѣ все увлекающій, а завтра безсильный. Направленіе проповѣдей бываетъ различное; каждый новый проповѣдникъ съ дарованіемъ даетъ направленіе современному вкусу. Но всѣ тѣ направленія ложны, которыя переходять предѣлы изящнаго; они ослабляютъ и унижаютъ дарованіе. Одинъ всеобщій вкусъ, не слѣдующій причудамъ свѣта, долженъ изрекать законы; его требованія основываются на знаніи природы чело-

вѣческой. Всѣ правила, здѣсь излагаемыя, суть слѣдствія понятія о проповѣди, какъ рѣчи важной и убѣдительною, обращаемою къ многочисленному собранію и имѣющей цѣлю нравственное совершенствованіе. Если проповѣдникъ всегда будетъ слѣдовать этому правилу, то вѣрно исполнитъ назначеніе своего слова; но повинувшись скоропреходящему вкусу и причудамъ слушателей, онъ никогда не достигнетъ своей цѣли. Истина и здравый смыслъ тверды и неизмѣнны, а причуды свѣта — слабы и преходящи. Не должно слѣдовать всегда одному образцу, не подражать слѣпо даже тѣмъ, которыми всѣ удивляются. Изъ многихъ образцовъ можно извлечь полезное, предпочесть одинъ изъ всѣхъ; но безусловное подражаніе подавляетъ дарованія или доказываетъ ихъ отсутствіе.

Главное достоинство слога въ проповѣди — совершенная ясность. Проповѣдь имѣетъ цѣлю убѣжденіе слушателей всѣхъ состояній; а потому она должна быть чрезвычайно проста. Здѣсь не мѣсто словамъ неупотребительнымъ, вычурнымъ и напыщеннымъ — вообще выраженіямъ поэтическимъ и философскимъ. Юные проповѣдники гонятся за суетнымъ блескомъ; но это признакъ неопытности, вкуса еще необразованнаго. Проповѣдь требуетъ благородства; она не переноситъ словъ и реченій простонародныхъ. Слова могутъ быть всѣмъ понятны, общеупотребительны, и при всемъ томъ слогъ останется живъ и важенъ; потому что проповѣдь не чуждается слога одушевленнаго. Чувство, овладѣвающее проповѣдникомъ, величіе и важность содержанія проповѣди допускаютъ также и выраженія пламенныя. Проповѣдникъ можетъ употреблять не только сравненія и ме-

пафоры, но иногда даже обращенія къ Святѣмъ или грѣшникамъ, одушевлять предметы неодушевленные; ему позволительны восклицанія и вообще сильныя обороты рѣчи. Основное правило этого слога состоятъ въ томъ, чтобы согласоваться съ предметомъ и говорить по собственному чувству.

Языкъ Св. Писанія, ксѣмъ употребленный, служи́тъ украшеніемъ проповѣди; имъ можно пользоваться въ видѣ намека. Прямые указанія, служащіе къ подкрѣпленію сказаннаго въ проповѣди, придають силу поученіямъ и достоинство рѣчи. Указанія на нѣкоторыя мѣста или замѣчательныя выраженія Св. Писанія производятъ всегда удачное дѣйствіе; они доставляютъ проповѣднику множество переносныхъ выраженій, не встрѣчающихся въ другихъ родахъ сочиненій, и дають слогу живость и разнообразіе. Не всѣ эти указанія и примѣненія должны быть естественны и понятны; малѣйшая натяжка будетъ походить на игру словъ.

Проповѣди не приличны остроумію и изысканность выраженій, принужденность и ложное мудрованіе. Все это противорѣчитъ важности духовнаго краснорѣчія и придаетъ проповѣднику видъ самонадѣянности, чего онъ долженъ особенно избѣгать. Лучше слогъ сильный и выразительный, нежели блестящій. Напрасно думаютъ усилить слогъ множествомъ эпитетовъ. Правда, вѣрные эпитеты представляютъ предметъ ослѣдительно; но кто употребляетъ ихъ въ каждомъ реченіи и громоздитъ на одинъ и тотъ же предметъ нѣсколько эпитетовъ, тотъ, вмѣсто усиленія, совершенно ослабляетъ его, и, вмѣсто проясненія, еще

болѣе затѣмняетъ. На пр. въ выраженіи: «міръ плѣнный, бранный и преходящій» — три эпитета слабѣе выражаютъ понятіе, нежели одинъ, къстати приведенный. Заключимъ наше разсужденіе совѣтомъ — избѣгать любимыхъ выраженій. Эта привычка показываетъ принужденность, которая не можетъ исправиться. Довольно употребить однажды въ рѣчи блестящее выраженіе, и болѣе не повторять; повтореніе же показываетъ желаніе блистать и скудость въ изобрѣтеніи.

Виды духовнаго краснорѣчія, соответствующаго преимущественно повѣствовательнымъ рѣчамъ, бывають — собственно историческій, поучительный и пріятельственный. Иные Ораторы просто проповѣдуютъ слово Божіе; другіе питають слушателей млекомъ ученія; нѣкоторые, погружаясь мыслями въ таинства премудрости Божіей и озаряясь небеснымъ свѣтомъ ея, открываютъ глубокій смыслъ Священнаго Писанія. Высокія истины, возвѣщаемыя проповѣдниками, переносятъ духъ нашъ въ безпредѣльную область непостижимыхъ и таинственныхъ судебъ Божіихъ. Выпія съ живымъ воображеніемъ и умомъ возвышеннымъ представляеть предметы величественныя. Желая изобразить Всемогущество Божіе и вѣстать съ пѣвѣ превращености человѣческой, онъ носится мыслями надъ развалинами городовъ, надъ обломками памятниковъ, надъ прахомъ народовъ, исчезнувшихъ съ лица земнаго. Выпія, питающій въ сердцѣ глубокія и сильныя чувствованія нравственныя, негодуеть прошивъ страстей и пороковъ человѣческихъ. Онъ изображаетъ гибельныя дѣйствія честолюбія, тщеславія, гордости человѣка, забывающаго долгъ вѣры, унижающаго достоинство образа и подобія Божіаго; или, съ другой стороны, представляеть дѣйствія

Христiанской любви, милосердія, кротости, терпѣнія; какъ отецъ или другъ, онъ вливаетъ въ сердце умилишельныя чувствованія. Вишiя съ умомъ проникательнымъ убѣждаетъ слушателей въ истинахъ Евангельскихъ доводами ясными, показывая заблужденія нашего разума, вредныя наклонности воли, безъ руководства Божественнаго Откровенія. Озаря разумъ свѣтомъ истины Евангельской, проповѣдники и очищаютъ чувствованія наши, и исправляютъ волю.

Части духовныхъ рѣчей тѣ же, какія составляютъ всякую полную рѣчь. Въ началѣ и въ концѣ духовныхъ рѣчей бываетъ *молитва*, производящая въ слушателяхъ торжественное расположеніе души къ возвышеннымъ помысламъ. Она должна состоять въ связи съ содержаніемъ и имѣть характеръ благоговѣйнаго смиренія, сыновяго упованія — съ глубокимъ умиленіемъ чувства соединять простой, естественный языкъ сердца.

Трудно рѣшить, лучше ли для проповѣдника писать проповѣдь и произносить наизустъ, или обдумывать только сущность, а распространять мысли при самомъ произношеніи? Въ этомъ случаѣ проповѣдникъ долженъ сообразоваться съ своими дарованіями. Пламенные выраженія, раждающіяся при произношеніи, сильнѣе и пріятнѣе шѣхъ, которыя прежде придуманы. Но и самый пыкій умъ не всегда можетъ, по желанію, выражаться краснорѣчиво; многіе вовсе не могутъ говорить безъ приговора предъ многочисленнымъ собраніемъ. И такъ особенно начинающимъ проповѣдывать полезно приговаривать рѣчи письменныя. Это необходимо вступающимъ на поприще духовнаго краснорѣчія для приученія себя къ пра-

вѣльности языка и точности мыслей. Такой способъ полезенъ не только при началѣ, но и въ послѣдствіи.

Замѣтимъ, что обычай, господствующій особенно въ Англіи, читашъ проповѣди, вредитъ убѣженію. Рѣчь сильнѣе прогаешъ, когда ее произносятъ. Ошчепливость этого способа проповѣдыванія не вознаграждаетъ потери со стороны убѣженія и силы. Проповѣдникъ, который не въ состояніи произнести рѣчь наизусть, можетъ, во время произношенія, имѣть передъ собою крашкое содержаніе, которое, помогая памяти, придастъ ему силу рѣчи изустной.

Англійскія, Французскія и Нѣмецкія проповѣди представляютъ различныя понятія сочинителей ихъ о духовномъ краснорѣчїи, далеко отставшихъ отъ первыхъ образцовъ Христіанскаго випійства, Отцевъ православной нашей Церкви. Французы приняли направленіе противоположное Англичанамъ и Нѣмцамъ: ихъ проповѣдь отличаетъ одушевленнымъ и пылкимъ увѣщаніемъ; Англійская и Нѣмецкая — поучительными наставленіями, не всегда прогающими сердце. Французскіе проповѣдники дѣйствуютъ особенно на воображеніе и спраспи, Англійскіе и Нѣмецкіе — преимущественно на умъ. Проповѣдь первыхъ цѣлущая — это даже рѣчь воспорженная; проповѣдь вторыхъ — болѣе разсужденіе, а не рѣчь орашорская, которая должна служить наставленіемъ въ Христіанскихъ обязанностяхъ, ободреніемъ, утѣшеніемъ и назиданіемъ. Соединеніе двухъ элементовъ — шеплоты и чувствительности вмѣстѣ съ размышленіемъ и ошчепливостію, представляетъ образецъ совершенства въ проповѣди. Обыкновеніе Французскихъ проповѣдниковъ, брашь въ основаніе проповѣди текстъ чи-

таемага поученія, обращаешься иногда въ принужденность; приспособленія ихъ къ Св. Писанію встрѣчающіяся произвольныя, мало поучительныя; раздѣленіе предмета всегда на двѣ или на три главныя части искусственно; предметъ слишкомъ пространно развивается. Непогія мысли различно изворачиваются и тщательно обрабатываются, вмѣсто разнообразія и органической полноты. Но, при всѣхъ этихъ недоспадкахъ, не лзя не отдать справедливости ихъ проповѣди въ томъ, что она всегда выливается въ духъ совѣщательной рѣчи, назначенной къ убѣжденію. Поэтому чтеніе такой проповѣди весьма полезно.

Между Протестантскими проповѣдниками Французскими Соренъ замѣчательнѣйшій. Онъ обилентъ, краснорѣчивъ, благочестивъ, но не чуждъ изысканности. Между Католическими проповѣдниками выше всѣхъ Боссюэтъ, Массильонъ и Бурдалу. — Критики не знаютъ, кому изъ нихъ отдать преимущество; каждый имѣетъ своихъ приверженцевъ. Бурдалу приписываютъ болѣе основательности и силы въ мысляхъ; Массильона же считаютъ способнѣйшимъ прогашъ и убѣждать. Боссюэтъ соединяетъ основательность и силу мыслей съ убѣжденіемъ и чувствомъ. Бурдалу глубокомыслентъ; онъ излагаетъ истины, коими самъ исполненъ, съ благочестіемъ и жаромъ; но онъ многорѣчивъ, слишкомъ часто ссылается на Отцевъ Церкви и скуdentъ воображеніемъ. Массильонъ показываетъ болѣе чувства, болѣе красоту, вообще болѣе дарованій. Онъ глубоко изучилъ свѣтъ и сердце человеческое, но до излишества страстенъ. Боссюэтъ владѣетъ въ высочайшей степени даромъ убѣжденія, и его можно названъ краснорѣчивѣйшимъ изъ всѣхъ

проповѣдниковъ. Извѣстно дѣйствіе, произведенное проповѣдью Массильона о маломъ числѣ избранныхъ. Вотъ то мѣсто, отъ котораго внезапный страхъ овладѣлъ всѣми слушателями.

»Здѣсь-то хочу останоѵиться на васъ, слушатели мои! Не говорю о прочихъ людяхъ. Вообразите, что вы одни остались въ міръ; и вотъ о чемъ помышляя, ужасаюсь! Я полагаю, что здѣсь послѣдній вашъ часъ и кончина міра; что скоро небеса разверзнутся надъ вашими главами; Иисусъ Христосъ явится во славу своей среди храма, и вы соберетесь сюда срѣшиться пришествіе Господа, съ пренешомъ ожидающіе, какъ преступники, милости или смерти. Сколько бы вы ни льстили себя, но умрете такими же, каковы въ настоящее время. Всѣ обольщашія желанія исправятся будущъ обольщатъ васъ до послѣдней минутой. Это уже испытано вѣками. Все, что вы найдете тогда въ себѣ новаго, можете быть, увеличить токмо опечетъ вашъ въ сравненіи съ шѣмъ, какой могли бы шенерь дать; и соображаясь съ шѣмъ, въ какомъ видѣ постигъ бы васъ судъ Божій въ эту минутой, почти можно рѣшить, что съ вами послѣдуетъ при кончинѣ дней вашихъ.»

»Я васъ спрашиваю, и спрашиваю пораженный ужасомъ, не отдѣляя моего жребія отъ вашего, и входя самъ въ то же расположеніе, въ какомъ желалъ бы васъ видѣть: опивѣстѵуйте. Если бы Иисусъ Христосъ явился здѣсь, въ этомъ храмѣ, среди нашего собранія, воистину величественнѣйшаго въ міръ — да судитъ насъ, да содѣлаешь страшное разлученіе козлищъ отъ овецъ: думаете ли вы, что большая часть станетъ одесную? Думаете ли, что нашлось бы между нами хотя десятокъ праведныхъ, которыхъ не могъ древле

Господь обрѣсти въ цѣлыхъ нашихъ градахъ? Я васъ спрашиваю; вы не знаете . . . и я самъ не знаю. . . Ты единъ, о Боже! всен сущихъ Твоихъ. Но еще мы не вѣдаемъ, кто они таковы; но по крайней мѣрѣ знаемъ, что грѣшныя не суть Твои. Кто же суть вѣрные, во святой храмъ приходившіе? — Достопочинства, чины, ополчѣн оположимъ въ спору; мы безъ нихъ должны предстать предъ судилище Иисуса Христа. — Кто же они таковы? Много изъ нихъ грѣшныхъ, не желающихъ и ополчающихся обращеніе; еще болѣе обращающихся, и пакы множицею согрѣшающихъ; наконецъ великое число такихъ, которые не почитаютъ за нужно обратиться. Вотъ часть осужденныхъ! Исключите эти четыре рода грѣшниковъ изъ благочестиваго собранія: они ополчены будутъ въ день страшнаго суда. Явишесь теперь, праведные; гдѣ вы? Останки Израиля, спаниите одесную! Пшеница Иисуса Христа, отдѣлись отъ плевелъ, назначенныхъ къ сожженію. . . О Боже! гдѣ убо Твои избранные? и что Тебѣ остается въ наслѣдіе? (*)»

Въ истекшемъ столѣтіи Англійское духовное краспорѣчіе получило большую правильность и умѣренность, освободилось отъ схоластическихъ формъ; но лишившись въ то же время страстныхъ и пламенныхъ обращеній къ совѣсти слушателей, оно превратилось въ простое умозрительное наставленіе безъ всякой теплоты. Однако иныя проповѣдники придерживались прежняго наставленія, что побудило господствующую въ Англіи Церковь еще болѣе отъ него удалиться. Въ произношеніи и въ составѣ проповѣди замѣчаемая

(*) Переводъ И. И. Ястребцева.

шпеломъ, спраспныя движенія, назывались энтузіазмомъ и фанатизмомъ. Вошъ начало унозрительнаго направленія Англійскихъ проповѣдей, холодныхъ и мало убѣждающихъ. Многія проповѣди оплпчаются необыкновенною правильностью; но планъ ихъ ограниченъ и недоспапоченъ. Хоша сочиненія Англійскихъ богослововъ могутъ съ пользою читаться посвящающіе себя духовному красноръчію; однако не должно уношреблять ихъ съ излишесствомъ и многое изъ нихъ заимствовать въ свои проповѣди. Кто однажды увлечется ими, тошъ не можетъ быть самостояшелемъ. Гѣраздо лучше довольствоваться еобспвенными мыслями и выраженіями, нежели обезображивать сочиненіе чужими украшеніями, которыя обличаютъ беспліе въ глазахъ просвѣщенныхъ и наблюдательныхъ судей. Проповѣдникъ не долженъ прибѣгать ко всімъ сочиненіямъ или проповѣдямъ, писаннымъ на тошъ же предметъ или текстъ, кошорый самъ желаетъ избрать: онъ этого пронозойдетъ шапкосшь и неопредѣленность въ мысляхъ. Если же онъ изберетъ только одно сочиненіе, то получитъ частное направленіе, увлечется въ хорошую или дурную сторону. Пусть лучше самъ обдумываетъ предметъ свой; пусть довольствуется только своими мыслями, собирая и приводя ихъ въ единство: въ послѣдствіи онъ соспавитъ правильное начертаніе для своихъ сочиненій, и тогда позволительно обратиться къ сочиненіямъ другихъ о томъ же предметъ. Такимъ образомъ способъ изложенія проповѣди и главные мысли будутъ его еобспвенные; онъ можетъ ихъ совершенствовать сравненіемъ съ мыслями другихъ, кошорыя позволяется даже помѣщать въ свою рѣчь, выражая ихъ еобспвеннымъ слогомъ.

Между Нѣмецкими проповѣдниками Мосгейтъ, Іерузалемъ, Шлейермахеръ, при господствующемъ элементѣ судищельномъ, представляютъ несравненныя красоты изящнаго. Главное достоинство ихъ состоитъ въ томъ, что они осязательно представляютъ такія спорныя нравственнаго бытія нашего, которыя ускользаютъ отъ вниманія большей части людей. Таково стремленіе человека къ безконечному, мысль о будущей жизни, размышленіе о смерти, поставляющее насъ на настоящую точку зрѣнія въ здѣшней жизни. Прочтемъ отрывокъ изъ Мосгейма.

«Кто изъ насъ охотно знакомится съ такою вещію, которая ужасается заставляешь? Кто изъ насъ охотно предается такимъ мыслямъ, которыя беспокоятъ душу, мучатъ ее и терзаютъ? Если бъ я теперь сказалъ вамъ: представьте въ умъ своею богатымъ наследство, которое получите въ скоромъ времени; представьте себя удовольствіемъ, которымъ наслаждаться будете, занимаясь шпильми или другими забавами; какъ можно живѣе вообразите себя множествомъ рабочихъ, которыхъ найдете у себя въ прихожей, когда получите желаемое достоинство. О какъ быстро, какъ сильно все это изобразилось бы въ умъ вашемъ! какъ мало труда стоило бы мнѣ разгорячить и самыхъ холодныхъ изъ моихъ слушателей! Я могъ бы надѣяться желаемого успѣха, впрочемъ не имѣя нужды ни въ отличной мудрости, ни въ особенномъ дарѣ краснорѣчія. Но мое намереніе совсемъ другое. Вообразите себя, слушатели, что шпильный вашъ составъ не можетъ долго быть въ такомъ состояніи, въ какомъ теперь находится. Представьте себя одръ, на которомъ будете безобразно помышлять. Привыкайте благо-

временно смотрѣть на покровъ, подъ которымъ будетъ лежать бездушное ваше тѣло. Заглядывайте въ могилу, въ которую опускаются ваши кости. Напрягите всѣ силы разума, помышляйте прилежно о смерти, о вѣчности, о судѣ Божіемъ. Кого усладитъ такіа слова? Кшо охотно станеть внимать такимъ утѣщаніямъ? Но тяжостны-ль они для Христіанина, желающаго ходити по пущи благоразумія? Кшо хочеть достигнуть отечества, того останавливать ли непріятности, когда онъ есть единственное средство къ вѣрному достиженію? Спайтесь преодолѣть эти неудобства; спайтесь обстоятельства и слѣдствія кончины своей нитѣ всегда передъ глазами.»

»Но обпоясательства нашей смерти не таковы; всегда можно видѣть ихъ, можно слышать ихъ и даже можно ихъ чувствовати. Они представляются взорамъ нашимъ въ ежедневныхъ примѣрахъ, и событіе ихъ можемъ видѣть надъ подобными намъ людьми, прежде нежели на себѣ его испытаемъ. Они всегда около и подлѣ насъ случаются; слѣдственно всѣмъ необходимо должны быть свѣдомы, всѣмъ, говорю, кромѣ только ихъ, кощорые сами хотѣли забыть о нихъ и уничтожить ихъ въ душѣ своей. Желаящій навсегда въ памяти своей удержати и живо напечатлѣть эту картину, имѣетъ къ тому самый удобный способъ: пускай часто посѣщаетъ тѣ мѣста, гдѣ въ примѣрахъ, надъ другими сбывающихся, можетъ читати свою будущую исторію. Правда, что прочіе окружающіе насъ предметы уменьшаютъ силу впечатлѣнія; но вы спайтесь вознаградить потерю чрезъ повтореніе. Послѣдуйте моему совѣту. Вы сами примѣтите, что воспоминаніе о смерти тогда будетъ въ васъ дѣйствовать гораздо сильнѣе,

нежели пить. Посыщайте прилѣжно людей, на смертномъ одрѣ лежащихъ. Замѣчайте поступки ихъ, слова и движенія. Наблюдайте безпокойство шо умирающаго, шо предстоящихъ одру ближнихъ его. Но одни только наблюденія ваши будутъ недостаточны. Все замѣчаемое вами примѣняйте къ самимъ себѣ, и говорите въ сердцѣ своемъ: «я для меня день смертный настаетъ; и я, не знаю когда, но непременно буду тѣмъ, чѣмъ спалъ эшотъ несчастливый; и со мною шо же случится, когда наступитъ время разлуки съ жизнію. Можетъ быть, кончина моя будетъ еще горестнѣе и плачевнѣе; можетъ быть, мною еще бѣльшая скорбь овладѣетъ; можетъ быть, во мнѣ еще менѣе разсудка останешся; можетъ быть, моя болѣзнь будетъ гораздо шягостнѣе, и въ спсраданіяхъ моихъ еще менѣе получу пособія. Не лѣнншесь быть часто между шѣми, кошорые, по кончинѣ больнаго, приготавлиють бездушный шрупъ его къ погребенію. Взирая на бѣдные остатки челошѣка, кошорый въ жизни своей часто безъ нужды потѣлъ надъ великими и обширными предпріятіями; взирая на грудь перспн, кошорая мало по малу поселяетъ отвращеніе въ оставшихся; взирая на спаранія, съ какими живые поспѣщаютъ очспспнть домъ свой опъ пропнвнаго шрупа — вспомните, что пѣкогда и съ вами шо же послѣдуетъ. Положите самихъ себя, или, лучше сказать, положите свое шѣло, кошорое вы столь шщательно бережете и украшаете, на мѣсто лежащаго передъ вами бездушнаго шрупа; вообразите себя, что самихъ васъ потчасъ понесутъ къ могилѣ; заставъше себя думать, что шѣсный домъ, принесенный для покойника, для васъ пригштовленъ; по крайней мѣрѣ увѣрьте себя при эшотъ позорнщѣ, что и

для вашего гроба доски уже готовы. Приходите почаще туда, гдѣ сложены въ одномъ мѣстѣ кости тѣхъ людей, которые, живучи на этомъ свѣтѣ, весьма различествовали между собою и возрастомъ, и званіемъ, и способностями, и достоинствомъ. Тамъ наблюдайте, какъ по смерти равны всѣ тѣ, которые въ здѣшней жизни ревностно желали и старались быть отличными. Помышляйте, что все видимое вами останется послѣ васъ въ мірѣ, столь страстно вами любимомъ. Являйтесь часто въ тѣхъ собраніяхъ, гдѣ, по смерти сильныхъ, великихъ и знаменитыхъ, бесѣдуютъ о качествахъ и поведеніи умершаго. Изъ того, что услышите въ этихъ собраніяхъ, учитесь познавать ничтожность заботъ и попеченій, которыми обременяютъ себя люди, во всю жизнь свою ни о чемъ болѣе какъ о суетныхъ почестяхъ помышляющіе. Какъ часто будете вы слышать презрительные отзывы и хуленіе о тѣхъ, которые почитали себя чуждыми порицанія! Какъ часто будете слышать, что люди, думавшіе о себѣ, будто спяжали неоспоримыя права на отличное уваженіе, навлекли на себя стыдъ и безчестіе! Какъ часто будете слышать, что называютъ честолюбивыми глашатаи тѣхъ, передъ которыми въ жизни робко поклонились; что осуждаютъ на вѣчное забвеніе тѣхъ, которые въ этомъ мірѣ хотѣли быть бессмертными; что радуются о смерти тѣхъ, которые въ жизни чаяли по себѣ слезъ и рыданій; что вовсе не уважаютъ распоряженій, сдѣланныхъ тѣми, которые почитали себя вѣчными законодателями! Вотъ воздаяніе тѣмъ, которые душою преданы міру, и всѣ труды свои и заботы посвящаютъ или себѣ, или другимъ людямъ! Вотъ корысть, получаемая нами въ свѣтѣ

за то, что мы ни шѣла, ни души не щадимъ для приобрѣщенія имени героя, мудреца, ученаго мужа! Если сердце ваше наполнилось такими чувствами, то постарайтесь удержать ихъ при себѣ какъ возможно долѣе. Многіе, ощутивши въ себѣ мысли суровыя и непріятныя, потчасъ поспѣшаютъ въ общество безпечныхъ весельчаковъ, чтобы разсѣять грусть и развеселиться. Не подражайте этимъ людямъ, а иначе никогда не испытаете полезнаго размышленія о смерти. Если хотите короче узнать самихъ себя, удалитесь на короткое время отъ свѣтскаго шума, и въ уединеніи разсудите о томъ, что произвело въ васъ такое сильное впечатлѣніе (*).

И такъ будемъ всегда слѣдовать основному правилу, изложенному нами въ началѣ — поминать высокое назначеніе проповѣдника, обращать слушателей къ добродѣтели, исправлять и убѣждать ихъ, служить благоговѣйно Богу. Кто будетъ помышлять объ этой цѣли, тотъ прольетъ въ своихъ сочиненіяхъ чувства полезныя и достойныя уваженія. Украшать истину должно для того только, чтобы глубже вѣзати ее въ сердца слушателей; такія украшенія всегда просты, благородны и естественны. Самыя лестныя похвалы, какими осыпаютъ проповѣдника, свидѣлствуютъ о впечатлѣніи поученій душеспасительныхъ.

(*) Переводъ М. Т. Каченовскаго.

ЧТЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ.

Примѣры духовнаго краснорѣчія изъ Св. Василія ,
Григорія Назіанзинскаго и Іоанна Златоустаго.

Изслѣдовавъ отличительныя свойства духовнаго краснорѣчія, ознакомимся съ характеромъ высокихъ проповѣдниковъ Слова Божія, Святителей Церкви нашей: Св. Василія, Григорія Назіанзинскаго и Іоанна Златоустаго (*).

Св. Василій былъ истинный проповѣдникъ Евангелія, отецъ народа, другъ несчастныхъ — непоколебимъ въ своей вѣрѣ и неутомимъ въ милостяхъ. Самъ — бѣдный пою бѣдностью, которая въ Христіанской Церкви становилась рѣдкою — онъ имѣлъ одну только простую мантію и пишался однимъ хлѣбомъ и грубыми огородными овощами, но между тѣмъ жертвовалъ всѣми драгоценностями для украшенія Кесаріи. Въ этомъ городѣ построилъ для иностранцевъ и нуждающихся страннопріимный домъ, который Григорій Назіанзинскій называлъ вторымъ городомъ; кроме того онъ выстроилъ множество мастерскихъ и основалъ многія школы.

Св. Василій впоследствии часто бывалъ участникомъ религіозныхъ распрей своей провинціи и всего Востока; но гораздо любопытнѣе наблюдать

(*) См. *Villemain* въ *Nouveaux melanges historiques et litteraires: De l'éloquence chrétienne dans le quatrième siècle.*

жизнь Святыишеля въ то время, когда поучаетъ онъ бѣдныхъ жишелей Кесарин — когда, изъясняя чудеса шворенія, увлекаетъ ихъ къ созерцанію природы. Въ рѣчахъ его наука орашора, образованная въ Аоннахъ, скрывается подъ завѣсою убѣдительно народной простоты. Это именно можно видѣть въ его проповѣдяхъ, нощащихъ названіе *ἱεραμυρον*. Въ нихъ множество вѣрныхъ замѣчаній, счастливыхъ и рѣзкихъ описаній; читаая его поученія, какъ бы невольно убеждаемся въ томъ, что они слѣдствіе изученія природы; вездѣ спарается онъ доказать промыслъ Божій въ Его швореніи; вездѣ прелестными воображенія выражаетъ благость Создателя.

Какъ превосходенъ приступъ его рѣчей! »Есть городаа, шакъ начинается краснорѣчивый выпія одну бесѣду, »гдѣ жишеля съ восхода до заката солнечнаго увеселяютъ взоры свои безчисленно разнообразными играми: ихъ не пропавны разгульные пѣсни, поражающія невольно въ душѣ наклонность къ пороку. Часто называютъ шакихъ людей счастливыми; потому что они, опложивъ попеченія о шорговлѣ и искусстввахъ, для жизни полезныхъ, проводятъ время, дарованное имъ для земной жизни, въ изнѣженности. Такъ многіе не вѣдаютъ, что зрѣлище печесивныхъ игръ есш школа порока.«

»Другіе имѣютъ спрасъ къ бѣгу коней, запрягаютъ свои колесницы, и даже во снѣ не освобождаются отъ дневныхъ безпокойствъ. Намъ же, которыхъ Богъ, великій Творецъ всего чудеснаго, призываетъ къ наслажденію швореніемъ, не уже ли можетъ наскучить созерцаніе созданія Его; не уже ли отвергнемъ мы отъ себя рѣчи Св. Духа? Не будемъ ли мы шѣснись около вели-

каго заданія Божественнаго могущества, и, мысленно перенесенные въ прошедшія времена, уже ли не будемъ въ состояніи окинуть взоромъ всю природу?»

Вѣрный богословскому и поэтическому направленію слова, ораторъ каждое утро и каждый вечеръ изъяснялъ порядокъ временъ года, волненія моря, различные испинки животныхъ, существованіе человека и дивную его природу. Въ твореніяхъ Св. Василія находимъ множество мыслей, шѣмъ болѣе любопытныхъ, что онъ народны и служатъ указаніемъ на время ихъ господства; преимущественно въ нихъ должно искать высокихъ размышленій, внушаемыхъ созерцаніемъ всего бытія.

«Если иногда (*)», восклицаетъ впитія, «въ ясную ночь устремивъ очи на невыразимое очарованіе звѣздъ, вы помышляли о Создателѣ; если вопрошали себя о томъ, кто устья небо звѣздами; если отъ видимаго возносились къ невидимому: то вы достойно можете запясть мѣсто въ этомъ величественномъ мірѣ. Идите! Незнающимъ положенія города показывающъ его и объясняющъ: шакъ и я поведу васъ, какъ невѣдущихъ, къ указанію чудесъ. огромнаго града — вселенной.»

Повсюду къ нравственнымъ испинамъ прибавляетъ ораторъ описанія: разсмотрѣвши вещественный міръ и живую природу, онъ обыкновенно обращается къ слушателямъ воззваніями, невыразимо высокими. Изъясняетъ ли жителямъ Кесаріи созданіе и волненія моря: онъ оканчиваетъ рѣчь слѣдующими словами, исполненными восторга:

(*) Sancti Basilii opera, t. I.

»Но могу ли постигнутьъ я прелесть океана въ томъ видѣ, въ какомъ явился онъ взорамъ Творца? Если достойно восхваленія зрѣлище крутящихся водъ; то сколь величественнѣе видъ волнующейся толпы Христіанъ, въ которой голоса мужчинъ, женщинъ, дѣшей, смѣшанные и оглашающіе воздухъ, подобно разбившейся о скалу волнѣ, возносясь въ молитвахъ до Господа?»

Во всѣхъ бесѣдахъ Св. Василія встрѣчаемъ то же чувство, ту же живопись воображенія. Исполненный возвышеннаго краснорѣчія, онъ спарался поучать юныхъ Христіанъ, читая съ пользою свѣтскихъ писателей, и самъ изъ Каппадокіи посылалъ множество учениковъ къ языческому ритору Ливанію. Многія изъ его рѣчей заключають въ себѣ одни лишь поученія нравственности, обличенія скупости, зависти и злоупотребленія богатства; но должно признаться, что Евангельское чувство, ихъ оживляющее, придаетъ имъ новый характеръ. Св. Василій былъ щедрымъ раздавателемъ милосыни: онъ преимущественно предъ другими постигъ основу Христіанскаго закона. Цѣль его усилій состояла въ томъ, чтобъ смягчить чело-вѣческое сердце и распворить его благошворительностью; это было согласно съ желаніями несчастныхъ. Не должно почитать орапорскимъ вымысломъ то мѣсто, въ которомъ (*) Св. Василій описываетъ опчальніе опца, вынужденнаго продать одного изъ сыновей своихъ для снисканія куска хлѣба. Бѣдность, распространившаяся во времена Римскаго владычества, не рѣдко являла подобные примѣры; закономъ это не воспрещалось. Представляя себѣ такіа бѣдствія, не

(*) Sancti Basilii opera, t. II.

убѣждаемся ли мы въ томъ, что гласъ вишій, возспававшаго проповѣдъ злоупотребленій, готовый всегда утѣшить несчастнаго и подвигнуть къ состраданію богатаго, былъ какъ бы гласомъ самого Провидѣнія?

Равнымъ образомъ восхищаетъ Св. Василій и описаніями кратковременной жизни, ничтожности земныхъ благъ и обманчивости самыхъ чистыхъ наслажденій. Онъ занимаетъ первое мѣсто между краснорѣчивыми вишійми, проповѣдывавшими бѣдствія человѣческія. Источникомъ этого краснорѣчія служила ему Библія, изъ которой онъ почерпалъ все трогательное. Возсоздавая разительные образы священной Еврейской поэзіи, къ ней присоединяетъ онъ пѣжное для человѣчества чувство, сладость восторга, что составляло отличительную принадлежность новаго закона. Обращая очи къ небу, Василій простираетъ несчастнымъ руку помощи.

Изъ рѣчей Святителя ясно видно сильное вліяніе его на умы: ошвсюду стекся народъ на его погребеніе. Христіане, Евреи, язычники — всѣ равно проливали слезы; онъ былъ общій всѣмъ благодѣтель. Многіе изъ зрителей въ ужасной шѣсношѣ, при выношѣ шѣла, лишились жизни, и смерти ихъ завидовали, называя ихъ погребальными жертвами. По кончинѣ Василія протекло пятнадцать столѣтій: не смотря на то, что столько вѣковъ опдѣляютъ насъ отъ нравовъ общества, въ которомъ полиеизмъ, народныя предавія, философы, столько волновали воображеніе народовъ, особенное благоговѣніе вселяетъ въ насъ къ генію великаго вишія Кесарія одно только о немъ воспоминаніе.

Григорій Назіанзинскій не можетъ сравниться въ гениѣ съ Св. Василиемъ; но блестящее его во-
ображеніе представляетъ болѣе изящныхъ картинъ. Отецъ его, долго приверженный къ сектѣ почитав-
шей единого высочайшаго Бога, принялъ Христі-
анство и избранъ былъ въ Епископа Назіанзин-
скаго. Юный Григорій, посланный сначала въ учи-
лища Кесаріи, потомъ въ Александрію, наконецъ въ
Аѳины, прошелъ, подобно Св. Василию, все по-
прище Греческой философіи. Оставшись въ Аѳи-
нахъ, училъ онъ краснорѣчію; но въслѣдствіи
жилъ вмѣстѣ съ Св. Василиемъ въ уединеніи. Въ
царствованіе Юліана онъ подражалъ въ рели-
гіозныхъ поэмахъ различнымъ швореніямъ свѣп-
скихъ поэтовъ, съ намѣреніемъ возобновить между
Христіанами любовь къ вѣщимъ чщеніямъ.

Св. Василій, избранный въ Архіепископа Кеса-
ріи, убѣждалъ друга своего быть Епископомъ Са-
сима, меньшаго мѣстечка на краю провинціи.
Горькія жалобы Григорія, жестокіе упреки, кото-
рыми онъ обременялъ въслѣдствіи намятъ Василія,
показываютъ, что чистая дружба ихъ была воз-
мущаема бурями. Григорій, сложивъ съ себя зва-
ніе свое, отправился помогать отцу въ управле-
ніи Назіанзинской Церковью. Онъ благошворилъ
жителямъ этого города, защищалъ ихъ отъ на-
паденія Римскихъ градоправителей и научалъ крас-
норѣчію и добродѣтели.

Характеръ его проповѣдыванія замѣчате-
ленъ: вѣсто того, чтобы провозглашать само-
произвольную власть Рима, оно держало сторону
угнетеннаго народа, и требовало, чтобы въ отно-
шеніи къ нему наблюдались справедливость и
снисхожденіе. Злоупотребленія еще болѣе требо-
вали этого покровительства, замѣнявшаго всякую

другую защиту. — Евангельскія идеи, доселѣ памяшныя, мысли о бѣдности, искупленіе чловѣка кровью небесной жершвы — усиливали могущество Христіанскихъ проповѣдей въ пользу народа и слабыхъ.

Цицеронъ, дѣлая торжественное воззваніе къ душѣ Цезаря, совѣтуетъ ему быть милосщивымъ и добрымъ; потому что эти добродѣтели приближаютъ насъ къ Богу. Но въ четвертомъ сполѣтїи, когда надлежало пронуть какого-либо жестокаго, грубаго военачальника, не лзя было зывать ни къ народности, ни къ славѣ. Тогда потребны были другія идеи, другія воззванія; въ этомъ-то отношенїи дѣйствїя Христіанскихъ вышїй удивительны. — Что можетъ быть лучше того слова, въ которомъ Григорїй обращается къ жителямъ Назїанза и къ Римскому градоначальнику, присланному для наказанїя виновныхъ? Слово его дышитъ чловѣколюбіемъ. Онъ желаетъ раздѣлить участь собратьевъ, сожалеетъ о нихъ, вливаетъ въ сердца ихъ утѣшеніе. Но когда онъ обращается къ Римскому градоначальнику, то слова его становятся спогимъ упрекомъ. «Благоговѣй, говоритъ онъ, предъ милостїю Господа; она есть величайшїй даръ, чловѣку удѣляемый. Да не воспротивятся жалости и милосердію ни обстоятельства, ни высшія почести, ни гордость, ни власть; сохрани для себя небесное милосердіе: въ немъ нѣкогда будешь и ны нуждаешься.»

Григорїй Назїанзїанскїй, подобно другу своему, былъ приверженъ къ ученїю Аѳанасїя, и въ царствованїе Валенція, покровитель Аріанъ, подвергался жестокимъ преслѣдованїямъ. — Аріанизмъ достигъ самаго большаго развїтїя въ одной

части Имперіи, въ Константинополѣ. Императоръ поспешенно лишалъ Христіанъ православныхъ всѣхъ ихъ церквей. Нѣкоторые жители, привязанные къ гонимому обществу, остававшемуся еще въ столицѣ, желали избрать себѣ Епископомъ человека знаменитѣе, краснорѣчивѣе, который бы гениемъ своимъ могъ прогнать за щитникомъ аrianизма.

По смерти отца своего, Григорій оставилъ на нѣкоторое время управленіе Церковью Назіанза и отправился въ Исаврію; но онъ всегда имѣлъ цѣлю служить своей Вѣрѣ въ столицѣ имперіи, и пошому въ скоромъ времени прибывъ туда, началъ совершать обряды Богослуженія въ часовнѣ во имя Анастасіи. Вскорѣ краснорѣчіе его привлекло множество слушателей. Аріане приходили въ опчаяніе, смотря на сильно возрасшую Церковь. При Валенціи Григорій часто былъ угрожаемъ; но Θεодосій, побѣдивъ всѣхъ своихъ враговъ, возвратилъ имперіи славу, которой лишена она была въ продолженіе цѣлаго столѣтія. День прибытія Θεодосія и освобожденія церкви Св. Софій отъ Аріанъ для нѣкоторыхъ былъ днемъ триумфа, а для другихъ — днемъ ужаса. Въ то время никто не помышлялъ о милосердіи, и пошому образъ дѣйствій, по словамъ Григорія, похожій на побѣду, для всѣхъ православныхъ былъ священнымъ торжествомъ.

Архіепископъ не употребилъ во зло этой побѣды и могущества Θεодосія; онъ снисходилъ къ Аріанамъ и старался преклонить ихъ убѣжденіемъ. Сохраняя среди пышности Константинополя и двора бѣдность первыхъ временъ, во всѣхъ вселивъ къ себѣ глубокое уваженіе одною

лишь добродѣтелью, силою генія своего не замедлил также Священитель и отклонить отъ себя придворныхъ, не находившихъ у него роскоши, и ложныхъ ревнителей Вѣры, не одобрявшихъ его снисходительности. Въ тѣ времена въ удѣлѣ Христіанамъ доставались одни лишь страданія или преслѣдованія. Феодосій, принявъ Никейскіе догматы, желалъ обнародовать жестокіе эдикты, уничтожавшіе всѣ разногласныя секты.

Григорій Назіанзинскій, другъ спокойствія, не хотѣвъ отражать нападеній, подалъ въ Соборъ просьбу объ увольненіи его отъ епископства. Не смотря на всю твердость своей добродѣтели, не могъ Священитель безъ сильной грусти снести извѣстія о томъ, что желаніе его съ возможною скоростью исполнено. Тогда собравъ народъ въ церкви Св. Софіи, послѣднею рѣчью объявилъ имъ о своемъ увольненіи. Успѣхъ слова былъ неимовѣрный; геній оратора никогда не казался столь блестящимъ и возвышеннымъ. Григорій съ простою ошдаетъ опщешъ въ своей жизни, въ усиліяхъ о благосостояніи народа; разительнѣе показавъ властолюбіе противниковъ своихъ, опровергаетъ ихъ упрёки.

«Ты глава Церкви; тебѣ благопріятствуетъ время и могущество Императора: сколько же поносили насъ? Чего мы не претерпѣвали? Но измѣнились дѣла человѣческія — и мы можемъ оптимистить, и должны наказанъ тѣхъ, отъ кого сносили столько поношенія. — Что же? Мы торжествуемъ, а преслѣдователи наши скрылись!»

«Да», присоединяетъ Григорій, «велика для меня мѣста, за кошую могу я оптимистить» и съ-туетъ о людяхъ, желающихъ панести зло дру-

гимъ; далѣе продолжаетъ опровергать упреки за немнѣніе роскошнаго стола и пышной свиты. — «Я не зналъ», говоритъ епископъ, «что мы должны состязаться съ консулами и военачальниками въ роскоши и великолѣпіи. Если находятъ меня въ томъ лишь виновнымъ: пусть провозгласятъ епископомъ другаго, а мнѣ предоставятъ уединеніе и покой.» Окончивъ рѣчь, краснорѣчивый ораторъ заключаетъ прощальнымъ воззваніемъ ко всемъ мѣстамъ, близкимъ его сердцу.

«Прощай, церковь Аванасія — прощайте, памятники нашей общей славы, знаменитый храмъ — новалъ побѣда наша — храмъ, который Христосъ наполняетъ столъ многочисленною братіею! Прощайте, свѣтлыя обители, разбросанныя по городу и служащія невидимою въ немъ связью; прощайте, Св. Апостолы, руководившіе всегда меня къ побѣдамъ; прощай, Священительская кафедра, совишь первосвященниковъ, украшенный добродѣтелью. Вы, служители Господа, ликъ Назареевъ, гармонія псалмовъ, чистота дѣвъ, скромность женъ, толпы сиротъ и вдовицъ, взоры бѣдныхъ, обращенные къ Богу и на меня — прощайте!»

«Прощайте, любящіе слушать мои рѣчи, пѣснѣящійся народъ, среди котораго такъ часто многіе скрытно записывали слова мои; прощайте, ограда священнаго храма, не разъ испроверженныя паствою, стремившеюся внимать моимъ словамъ; прощайте, сельныя земли, служители и придворные, вѣрные своему господину, а болѣею частью невѣрные Господу Богу! Прославляйте рукоплесканіями, возносите до небесъ новаго вашего вѣстника; но гласъ, уже для васъ не столь пріятный, умолкаетъ. . . .»

»Прощай, верховный градъ, возлюбленный Господомъ; я такъ называю его, а онъ, по усердію своему, не спонитъ этого названія; самая разлука смягчаетъ мои рѣчи. Будете справедливы; исправись, хотя уже слишкомъ поздно.»

»Прощай, Воспокъ и Западъ, за васъ я подвизался, за васъ истощилъ всѣ силы. Если другіе епископы захотятъ послѣдовать моему примѣру; то благословляю того, кто будетъ въ состояніи васъ успокоить. Но прощальный гласъ мой высоко вознесется, когда я воскликну: прощайте, ангелы-хранители этой церкви, мои здѣсь покровители; не оставляйте меня и въ изгнаніи! Прощи, Святая Троица — мысль и слава моя! Да сохранишь всѣ къ Тебѣ прежнюю любовь! Да спасешь. Ты мою паству! Да услышу я, что всякій день подвизается она въ мудрости и добродѣтели. Благодать Господа Иисуса Христа да будете всегда съ вами!»

Краспорѣчивый архіепископъ отправился въ Кесарію, гдѣ воздавъ подобающее чтеніе останкамъ Василія, съ грустію удался въ окрестности Аріанза, въ свою родину. — Здѣсь кончилъ онъ жизнь свою, занимаясь обработываніемъ сада и снова одушевленный чувствомъ поэзіи, составлявшей утѣшеніе его юности.

Св. Іоаннъ Златоустъ, воспитанный въ Христіанскомъ законѣ, часто посѣщалъ чтенія о краспорѣчій Ливанія, друга Юліанова. Мать его двадцати лѣтъ осталась вдовою и до глубокой старости жила уединенно. Ливаній, удивленный рѣшимостью ея, однажды, обратившись къ языческимъ слушателямъ своимъ, сказалъ: «О, боги Греціи! —

вотъ каковы могутъ быть женщины между Христіанами!»

Софистъ-язычникъ обратилъ все свое вниманіе на юнаго Златоуста, и съ безпокойствомъ, но безъ зависти, смотрѣлъ на возвышавшагося противника своей вѣры, не теряя однако надежды частнымъ объясненіемъ басенъ Омировыхъ, копорылъ онъ краснорѣчиво излагалъ своимъ слушателямъ, обратишь его въ язычество. Въ эту эпоху продолжительной борьбы двухъ религій каждая изъ противныхъ сторонъ считала великимъ торжествомъ преклоненіе на свою сторону чловека, одареннаго великимъ гениемъ. Тщетны были старанія Ливанія; напрасно посылалъ онъ письма въ Антіохію и выхвалялъ дарованія юноши: онъ не поколебалъ Златоуста, вѣрнаго своимъ догматамъ — Златоуста, который вскорѣ весь предался съ жаромъ Христіанскому Богослуженію.

Ливаній смотрѣлъ на геній своего ученика, какъ на даръ музъ, долженствовавшій сохранять законъ Бога. Мысль эта невольно заставляла его говорить на одрѣ смерти: »Увы, если бы Христіане не похитили у насъ Златоуста, я бы поручилъ ему надзоръ за моею школою.« — Когда борьба противныхъ мнѣній раздѣляетъ общество; тогда обыкновенныя занятія жизни не могутъ достаточно удовлетворить пылкій талантъ. Златоустъ началъ заниматься въ Антіохіи судебными дѣлами; но вскорѣ предался чтенію Св. Писанія, и епископъ этого города спѣшилъ присоединить его, какъ блестящаго генія, къ Христіанскому обществу, назначивъ ему кафедру въ одной изъ церквей Антіохіи для того, чтобы онъ имѣлъ время приготоовишься къ сану священника. Другъ

его, столь же ревностный Христіанинъ, какъ и онъ, старался увлечь его съ собою въ пустыни Сиріи, гдѣ нѣсколько ошельниковъ вели жизнь благочестивую; но Златоустъ не исполнилъ этого по просьбамъ и сопрошивленію матери. — Какъ живо описываетъ онъ прогательныя ея мольбы! Никогда краснорѣчіе его не побуждало нѣжныхъ и убѣдительныхъ словъ благочестивой женщины — болѣе матери, нежели Христіанки. »Когда мать моя«, говоритъ Златоустъ, »узнала о намѣреніи моемъ удалиться въ пустыни; тогда, взявши меня за руку, отвела въ опочивальню, посадила на кровать, на которой родился я, заплакала и умоляла ея не покидать.« Какъ естественны въ Златоустѣ простодушныя жалобы огорченной матери! Припомнивъ спраданія, которыми испытала, оставшись вдовою, она сказала: »Сынъ мой! среди несчастій я находила одно лишь утѣшеніе — безпрестанно любовалъсь тобою, и въ чертахъ твоихъ созерцалъ образъ покойнаго отца. Ты служилъ мнѣ отрадою съ самыхъ юныхъ лѣтъ жизни твоей — въ томъ юномъ возрастѣ, когда дыши доспаваютъ родителямъ величайшія радости. Объ одномъ лишь умоляю тебя: не нанеси мнѣ другаго вдовства; не пробуди во мнѣ печальныхъ думъ, начавшихъ изглажаться изъ памяти; не заставь снова носить печальное отдѣленіе; дождись по крайней мѣрѣ дня смерти моей; можешь быть, не долго мнѣ оспаваться на этомъ свѣтѣ. Въ молодыхъ лѣтахъ можно еще ожидать спарости; итъ же остается желать одной смерти. Скоро прахъ матери соединится вмѣстѣ съ прахомъ отца твоего: тогда предпринимай дальнія странствія; никто не воспрепятствуетъ тебѣ въ этомъ; но пока жизнь моя еще не пошухла,

живи со мною, не покидай меня, не навлекай на себя Божьяго гнѣва, не удручай мащери шакими муками!»

Какъ сильно прогасаетъ голосъ скорби и испины! Это простица, вдохновенная самою природою. Христіанскій законъ, пропнворѣчацій душевнымъ спраспямъ, придавалъ словамъ эспимъ святость. Вся шайна мащеринскаго сердца высказываепся въ ея чистой, простидушной мольбѣ о помѣ, чшобъ сынъ не жерпвовалъ ею для собсшвенныхъ своихъ намѣреній. И могъ ли Златоустъ рѣшнться, огорчить мащ? Онъ опмѣнилъ овое намѣреніе, предпрннать опдаленное путешество; но вскорѣ Анпсіохійцы единогласно изъявили желаніе имѣть его своимъ епископомъ. Дабы опклонншь настойчивыя просьбы ихъ, онъ прннужденъ былъ удалнться въ пустыни, лежація близъ Анпсіохіи. — Тамъ написавъ «О Священствѣ», сочиненіе, внушенное чувспвомъ и живымъ воображеніемъ, въ кошоромъ представлены плжкія обязанности епископа, сознается, что онъ никакъ не рѣшался прннать предложенія народа, нѣсколько лѣтъ провелъ въ уединеніи — вдали опъ шума свѣта. Такой образъ жизни укрѣпляетъ душевныя силы. Дѣйствительно, уединеніе испочникъ глубокнхъ мыслей; въ послѣднія сполѣтія имперіи оно иногда придавало человеку силу, какой не имевшъ общество. Но для душъ спшшкомъ слабыхъ или спшшкомъ пылкнхъ это уединеніе было вредно; потому что доводило многнхъ до изступленія. Такимъ образомъ суровая школа пустыни образовывала великнхъ людей. Но часто между Христіанами слышны были и жалобы на уединенную жизнь: осуждали рвеніе, заставлявшее человека удаляться опъ общества

и изнуравшее силы. Юный Златоустъ, отъ волнений свѣта скрывшійся въ пещеры, показывалъ ложность общепринятаго мнѣнія. Но могли ли его возраженія поколебать предразсудокъ вѣка? Возвратившись въ Антиохію и вступивъ въ низшія должности священства, чрезъ нѣсколько лѣтъ посвященъ онъ былъ въ высокій санъ эпископа епископомъ Флавіаномъ, который поручилъ ему и наставленіе жителей города — Лонгъ Востока. Проповѣданіе истины Евангелія составляло главное занятіе епископовъ первоначальной Церкви; при старости они имѣли обыкновеніе передавать обязанность проповѣданія другому, потому что у всѣхъ народовъ Греческаго происхожденія слово было какъ бы шалисманомъ религіознымъ. Всѣ обучались у краснорѣчивыхъ священниковъ — ораторовъ, а впоследствии у софистовъ.

Не только Христіане, но даже Евреи и язычники спекались на бесѣды, въ которыхъ Златоустъ излагалъ Св. Писаніе, съ пылкимъ, живымъ воображеніемъ. Краснорѣчиво вычисляя правдивныя обязанности Христіанъ, нападалъ онъ на пороки, гнѣздившіеся въ Антиохіи, описывалъ изнѣженную жизнь вельможъ, ихъ кедровые дворцы, мотовство и роскошь женъ, наполнявшихъ улицы свитами евнуховъ и невольниковъ, и наконецъ гордость философовъ. Слава о краснорѣчіи его быстро распространилась по всему Востоку: языческіе софисты изъ далекихъ странъ спекались въ Антиохію, и гений его придавалъ могучую силу ученію Христіанъ, находившему нѣкоторое сопропивленіе въ языческихъ философахъ Греціи.

Въ продолженіе многихъ лѣтъ Златоустъ наставлялъ народъ, прежде имъ защищаемый;

творенія его составляютъ полный курсъ нравственнаго проповѣданія, дошедшаго до насъ отъ Христіанской древности. Кромѣ снисхожденія къ предразсудкамъ вѣка, повсюду высказывается великій гений, глубокое познаніе человѣческаго сердца, любовь истинно Евангельская. Речи его любовышны и въ отношеніи историческомъ. Христіанское образованіе Востока, эта эпоха, присоединяющая къ простотѣ религіознаго рвенія въ высокой степени даръ слова, вся оживла въ красноречивыхъ спраницахъ оратора Аптіохія.

Посмотримъ, какъ онъ возвышается надъ своими современниками. »Благотворительнаго чловека«, говоришь онъ, »можно назвать пристанью, открытою для несчастныхъ. Берегъ принимаетъ всѣхъ безъ различія, подвергающихся кораблекрушенію, и злыхъ и добрыхъ — предлагаетъ имъ убѣжище отъ бури, не смотря ни на ихъ погрѣшности, ни на степень опасности. Такъ же точно должны поступать и вы съ тѣми, которые на землѣ убиты несчастіемъ. Не подвергая строгому сужденію ихъ жизнь, старайтесь облегчить страданія. Богъ не возлагаетъ на васъ обязанности неумолимой бдительности. Будьте только благотворительны. Большая разница между судьбою и Христіаниномъ, раздающимъ милостыню. Самое слово »милостыня« получило названіе отъ милованія, которое насъ побуждаетъ быть сострадательными. Вспомните слова Св. Павла: Не преславайте благотворить всѣмъ. Если мы строго будемъ судить ближнихъ нашихъ, то едва ли найдемъ такихъ, которые вполне заслуживали бы наше состраданіе; но если будемъ раздѣлять свое достояніе съ добродушіемъ, то вѣроятно встрѣшимъ и достойныхъ. — Послѣдуемъ примѣру Авраама, который

отверзалъ дверь своего дома всякому нуждавшемуся и былъ осчастливленъ посѣщеніемъ прехъ Ангеловъ. Спраданія бѣднаго уже даютъ право на наше благодѣяніе. Если человѣкъ является къ намъ, умоляющій облегчить его несчастіе, то чегожъ болѣе? Оказывая ему помощь, мы уважаемъ въ немъ человѣчество, а не важность его поступковъ; насъ прогаеетъ не добродѣтель, а нищета. Намъ ли разсмапривать права тѣхъ, которые достойны милости Господа? Намъ ли требовать ошчета въ жизни несчастныхъ?»

Краснорѣчивый пастырь желалъ всю жизнь провести въ Антиохіи; но желаніе его не исполнилось. Епископскій престолъ въ Константинополѣ, по смерти Θεодосіа, въ царствованіе двухъ сыновей его, раздѣлившихъ между собою Римскій міръ, никѣмъ не былъ занятъ. Геній Злапоуста обратилъ на себя вниманіе всей имперіи, и его-то хотѣлъ Аркадій облечь въ это достоинство. Всѣ одобрили выборъ Императора — Злапоустъ посвященъ въ санъ епископа; но надъ нимъ невидимо собиралась грозная туча. Множество соперниковъ помогали этому сана. Епископы, не падѣвшіеся достигнуть цѣли, къ которой стремились, старались по крайней мѣрѣ о томъ, чшобъ на престолъ возведенъ былъ человѣкъ низшаго достоинства. Дворъ Константинопольскій страшился Злапоустовыхъ нападеній на пороки. Одинъ лишь народъ, горестный свидѣтель злобы варваровъ, разорявшихъ села и веси — онъ одинъ боготворилъ Злапоуста, прославленнаго на Востоцкѣ. Здѣсь витія увидѣлъ яркое отраженіе всѣхъ пороковъ Азіи, умноженныхъ еще пребываніемъ изнѣженнаго двора. Θεодосій передалъ наслѣднику своему одну лишь спрасъ къ

сушному великолѣпію. Вѣрное изображеніе Восточной роскоши находимъ въ писаніяхъ Златоуста. Онъ краснорѣчіемъ своимъ утѣшалъ несчастныхъ. По возвращеніи въ Константинополь, произнесъ предъ народомъ рѣчь, дающую понятіе о царствованіи Аркадія: »Я, общій ошець, обязанъ нещисъ не объ однихъ счастливыхъ, но и о шѣхъ, которые плачуть дажь несчастію; съ этою цѣлю на пѣ-которое время оставляю я васъ, желая испросить мольбами и совѣтами милосѣ главамъ выперіи.« Пошомъ предавался онъ благочестивымъ размышленіямъ о испоспоянствѣ счастья въ здѣшней жизни.

Противъ Златоуста съ новымъ ожесточеніемъ возстали его противники: они именовали священниковъ, придворныхъ, богатыхъ владѣтельныхъ, будто оскорбленныхъ истинною словъ оратора, наконецъ Евдоксію и даже Θεодосіа. Для удобнѣйшаго приведенія въ исполненіе мести, собранъ былъ соборъ. Θεοφιλѣ, епископъ Александрійскій, нападалъ на безвиннаго со всею силою ужасной ненависти. Но многіе епископы, удивлявшіеся гению Златоуста, отказались принять участіе въ общемъ умыслѣ. Не сморъ на всѣ грозныя бури, готовыя разразиться, Златоустъ проповѣдывалъ на Христіанскихъ кафедрахъ съ новымъ величіемъ. »Чего мнѣ бояться, говорилъ онъ? «Смерти? Но развѣ не извѣстно, что жизнь моя заключается въ Богѣ, и что смерть я почту наградой за здѣшнее странствіе? Изгнанія? Но земля во всемъ своемъ пространствѣ кому же и принадлежитъ, какъ не Богу? Потери ли собственности, богатствъ? Пришедши въ этотъ міръ непмущими, мы шѣмъ же и возвращаемся отсюда. И пакъ, презирая всѣ воображаемые ужасы міра, я посмѣваюсь падъ призра-

ками земнаго блаженства.» . . . «Друзья! кто не знаетъ пастыщей причины моей погибели? Да еслибъ хотѣлъ я, чтобъ восхваляли, превозносили меня до небесъ, мнѣ бы стоило лишь домъ мой убрать драгоценными обоями, самому облекаться въ золотыя и шелковыя ткани, лѣстия вѣнчанности и сластолюбію вельможъ. Иродіада требуетъ еще разъ главу Іоанна.» Враги Златоуста, участвовавшіе въ совѣтѣ, воспользовались этою рѣчью, торжественно произнесли изложение епископа и просили Императора утвердить ихъ рѣшеніе.

Златоустъ былъ взятъ ночью, и, не смотря на жалобы и сопротивленіе народа, который въ своемъ робкомъ униженіи обоготворялъ его какъ своего защитника, посаженъ на корабль. Народу нравилась суровая жизнь и справедливость его равно въ отношеніи къ богатымъ и бѣднымъ. Лишившись проповѣдника, онъ лишился и единственной опоры; жители Константинополя скорбѣли о своей участи. Землетрясеніе, казалось, возвышало гнѣвъ Божій. Довольные и недовольные, всѣ пренептали отъ ужаса. Слабодушный Аркадій и Евдоксія, услащенные ненавистью народа, спѣшили возвратиться въ Константинополь изгнанника; посольства къ Златоусту отправлялись одно за другимъ, и Римъ, нѣкогда угрожаемый опасностью, не посылалъ сколько-нибудь пословъ въ Коріолану.

Феофилъ и многіе епископы скрылись. Весь босфоръ покрылся кораблями, отправившимися на встрѣчу Златоусту. Зажженные свѣтилики и народныя пѣсни восхваляли его возвращеніе; но вѣстія отказался отъ предложенныхъ почестей епископства, и намѣревался остановиться въ предмѣстьи Константинополя. Восторгъ на-

рода принудилъ Златоуста снова занять катедру, столь возвышенную и прославленную его гениемъ.

Въ это время онъ вышійствовалъ въ Св. Софїи и краснорѣчіе его начинало пошрасать могущество враговъ. Сорокъ епископовъ старались низвести его съ престола, а большее еще число уговаривало Императора изгнать его до наступленія Пасхи: опасались, чтобы въ этотъ торжественный день онъ не порицалъ ихъ съ большимъ ожесточеніемъ. Наконецъ Феодосій обнародовалъ опредѣленіе объ изгнаніи Златоуста. Сначала отправленный въ Никею, а оттуда въ небольшой городокъ Арменіи, принужденъ онъ былъ перемѣнить мѣсто изгнанія и удалиться на берега Чернаго моря. Жестокое обращеніе съ нимъ вонновъ, провожавшихъ его, ускорило лишь исполненіе повелѣній Византійскаго двора. Машитый старецъ, въ знойные дни, съ открытою головою, оскорбляемый стражами, истощившій силы свои бѣднѣемъ и суровою жизнію, не могъ перенести тягостнаго путешествія, и скончался близъ Команы.

Жизнь Златоуста сливается съ исторіею его краснорѣчія. Твердость, съ какою онъ переносилъ преслѣдованія, изъясняетъ гений вышій. Занятіи его въ Греціи, въ школѣ Ливанія, снисходительная жалость къ матери, побѣгъ въ пустыню, сила, какую имѣлъ онъ надъ жителями Антіохіи, торжествъ его въ Константинополѣ, твердость, съ какою переносилъ изгнаніе, соотвѣтствуютъ всемъ измѣненіямъ его краснорѣчія, то аллегорическаго и снисходительнаго, то строгаго и возвышеннаго. Ни одинъ вышій не могъ лучше и славнѣе проповѣдывать

слова Евангельскаго. Онъ по преимуществу вѣпїя Христїанскїй, спрорїй преобразователь Церкви. Въ его усладительныхъ и живыхъ бестѣдахъ всегда выказываешь воображеніе. Одушевленный языкъ восхищаль новообращенныхъ Христїанъ Востока, возвышенная нравственность вѣпїи являлась имъ украшенная поэзією. Краснорѣчіе Златоуста заключаетъ въ себѣ образецъ Азіатской пышности. Въ немъ часто встрѣчаемъ изображеніе высокихъ карпинъ природы. Слогъ его болѣе блестящъ, нежели разнообразенъ; это блескъ того ослѣпительнаго огня, который горитъ на очаровательномъ небѣ Сирїи. Читая творенія его, никакъ не вступишь тому, что онъ жилъ въ эпоху, столь близко подходившую къ грубымъ среднимъ вѣкамъ. Невольно спрашиваешь самого себя, какъ могло обществу въ это столѣтіе упадка столько измѣниться при голосѣ новой Религїи и возвыситься надъ древностью, ни мало на нее не походя. Вотъ дѣйствіе, произведенное великимъ гениемъ!

И такъ по справедливости четвертое столѣтіе, почитается великою эпохой въ исторїи первоначальной Церкви и золотымъ вѣкомъ духовнаго краснорѣчія.

ЧТЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ.

О краснорѣчіи отечественномъ. — Развитіе элемента религіознаго и ученаго въ краснорѣчіи. — Примѣры изъ отечественныхъ вишій.

Всѣ періоды цвѣтущаго состоянія краснорѣчія современны важнѣйшимъ событіямъ исторической жизни народовъ. Въ Греціи и Римѣ оно было орудіемъ правленія; назначеніе краснорѣчія Христіанскаго — возвыситъ духъ надъ чувственностью, безконечное въ насъ начало по возможности освободитъ отъ преобладанія, начала конечнаго. Вездѣ краснорѣчіе, выражая развитіе народнаго духа подъ условіями мѣста и времени, является органомъ сильныхъ страстей, исполкомъ долга нашего и обязанностей. Представьте на вѣчъ олицетворенныя страсти народныя въ ихъ вытѣхъ — толпы слушателей, слѣдующихъ мыслями за тѣмъ или другимъ ораторомъ; вспомните, что словомъ витѣйственнымъ рѣшалась участь гражданъ: и вы объясните себѣ одушевленіе истиннаго краснорѣчія, изумительную способность говорить безъ приготовленія и говорить убѣдительно, располагать волею другихъ по своей волѣ.

Гдѣжь начала краснорѣчія въ нашей отечественной Словесности? Гдѣ развитіе народнаго самопознанія, воспѣваніе и приготовленіе ораторовъ?

Въ продолженіе XVI и XVII столѣтій, когда государства Западной Европы уже славились успѣ-

хами наукъ, искусствъ и словесности, умственная дѣятельность наша воспитывалась подъ руководствомъ религіознаго ученія. Всѣ силы могучаго исполина, какимъ является опечество наше во второй половинѣ XVIII вѣка, возбуждастъ великій Преобразитель Россіи, Петръ I ^й. Его зидательнымъ словомъ возникло благоустроенное войско на сушѣ и на морѣ, возбудилась народная промышленность и торговля, учреждены училища для образованія юношества всѣхъ сословій, приобретены ученые сокровища, заведены типографіи, которыми самъ Монархъ указалъ новыя письмена гражданскія: и мы стали дѣлательными участниками въ событіяхъ и дѣлахъ Европы, возчувствовали себя самихъ, познали, что мы, оспаваясь Русскими, можемъ пользоваться благодатными плодами просвѣщенія. Отсюда начинается новая жизнь наша въ ряду Европейскихъ государствъ, періодъ народнаго самопознанія, или періодъ наукъ, искусствъ и словесности.

Въ открытый Петромъ новый міръ, въ міръ знаній, устремились всѣ силы духа; въ знаніи сосредоточилась вся жизнь умственная; творческое искусство, какъ крикъ быша общественнаго, не раздвѣтало среди этой умственной работы, во время ученыхъ приобретений изъ новаго міра знаній, еще необразовавшихъ стройнаго цѣлаго. Сподвижники Петра на поприщѣ просвѣщенія, Димитрій Тупшало, Стефанъ Яворскій, Феофанъ Прокоповичъ, Гавріилъ Бужинскій, согрѣвая народъ теплою Вѣрой и преданности Престолу, главныхъ спикеръ народнаго нашего характера, славили спасительное дѣйствіе преобразованій Петровыхъ. Въ училищахъ, учрежденныхъ для дворянства, воспитывались способные люди для службы Государевой.

Московская и Кіевская духовныя Академіи совершались въ образованіи правителей Церкви. Но въ половинѣ оснадцатаго столѣтія, питомцы Московской Славяно-Греко-Латинской Академіи проповѣдью на Великороссійскомъ нарѣчій начинали опережать ученыхъ Малороссійцевъ. Академія наукъ въ новомъ градѣ Петра представляла чужеземныя плоды на Русской почвѣ: знаменитые учеными иностранцы, приглашенные въ Академію, продолжали разрабатывать науку, новую для немногихъ, посвященныхъ въ ея таинства, и разумѣвшихъ иностранныя языки; а благодатный свѣтъ ея распространялся только посредствомъ народнаго слова.

Еще не было средоточія для народнаго самопознанія, въ которомъ бы чужеземныя приобретеныя превращались въ живительную кровь, и, подъ вдохновеніемъ отечественной Вѣры, закона, исторіи, изливались бы въ живомъ Русскомъ словѣ. Какъ потребность духа времени, какъ продолженіе великаго дѣла Петрова — народнаго образованія, по слову Елисаветы, явился Московскій Университетъ. Хранишь небесный огонь науки и проливать благошворный свѣтъ ея въ отечественномъ словѣ — таково было его призваніе. Тутъ появляются на поприщѣ вѣдѣнія Димитрій Сиченовъ, Гедеонъ Криновскій, Порфирій Крайскій, Амвросій Юскевичъ, Сильвестръ Кулябна, Арсеній Максѣвичъ.

Между нѣмъ наступило для Русскихъ время полнѣйшаго проявленія народнаго самопознанія — въкѣ Екатерины II. Доэтого времени духъ нашихъ предковъ сосредоточивался въ силѣ познавательной; но въ это царствованіе отцы наши болѣе возчувствовали самихъ себя, въ нихъ воспрянула любовь къ самимъ себѣ, къ отечественному слову; наступила пора вы-

разитъся силѣ воли въ сознаніи могущества своего, силѣ чувства — въ словѣ фантазіи. Монархія, высоко цѣнившая дарованія и ученость, занималась Русскимъ словомъ, зная могущественное вліяніе отечественной словесности на образованіе народа: явилось новое поколѣніе писателей, образовавшихся въ Московскомъ Университетѣ. Съ учрежденіемъ Россійской Академіи, не остановилось вліяніе Университета на слово. Если Академія прислушивается къ языку живому, слѣдишь самобытныхъ писателей — и всѣ сокровища народнаго языка вносишь въ Словарь свой, всѣ изгибы народной рѣчи вписываешь въ Грамматику: то сила дѣятельная, изъ нѣдръ своихъ добывающая образы для каждой новой мысли, для каждого опшѣтка чувства — сила, приводящая все разнообразіе міра словъ въ стройную, народную рѣчь, запечатлѣнную духомъ народнымъ, есть наука. Могуществомъ науки духъ человѣческій, объемля собою всю природу и претворяя ее въ свое собственное существо, воспроизводитъ изъ себя новый міръ въ словѣ, развиваетъ въ немъ всѣ разнообразныя помыслы, движенія и чувствованія. И храмъ наукъ, Университетъ, не переставалъ обогащать соотечественниковъ новыми понятіями, облекая ихъ въ новыя выраженія. Къ вѣку Екатерины II принадлежатъ духовные вишіи: Платонъ, Георгій, Анастасій, Леванда и многіе достойные ихъ подражатели (*).

Чѣмъ же встрѣченъ былъ у насъ девятнадцатый вѣкъ? — Петръ I вывелъ насъ на поприще Европейской дѣятельности; Екатерина II

(*) См. Рѣчь о содѣйствіи Московскаго Университета успѣхамъ отечественной Словесности. Москва, 1836.

поржественно довершила мысль Преобразителя; Александръ I открылъ намъ поприще Евронейскаго просвѣщенія. Въ первой половинѣ вѣка служила намъ образцомъ изученная схоластикою Латинская словесность, во второй подражательная классическо-Французская лирическая поэзія. Но когда Германія и Англія перестали подражать однімъ формамъ классической древности, изучивъ творческія созданія ея въ сущности, возсорежновали древности въ самомъ творчествѣ; когда убѣдились, что словесность выражаетъ народное самопознаніе; когда новое искусство возчувствовало въ себѣ особое вдохновеніе, узнало силы свои, увидѣло иное направленіе — красоты міровой сліявъ съ красотою народными: тогда и мы увѣрились въ существованіи другихъ образцовыхъ писателей, кромѣ писателей Франціи. Главный характеръ просвѣщенія нашего въ этомъ періодѣ состоялъ во всеобщности образованія, въ повсемѣстномъ распространѣніи свѣта наукъ; онѣ спали достояніемъ всѣхъ и cadaго, кто только имѣлъ возвышенную душу для воспріятія ихъ блага. По дѣйствію повсюднаго распространенія знаній, образовался новый классъ людей просвѣщенныхъ, занимавшій средину между блескомъ высшаго общества и схоластическою ученостію, съ новымъ языкомъ, съ рѣчью, переливкою въ словесность прямо изъ устъ народа. Здѣсь уже рожденіе мысли объ открытіи народныхъ элементовъ для умственной жизни — мысли о созданіи Русской Словесности. Михаилъ, Амвросій Прохасовъ, Августинъ — предшавители духовнаго вѣдѣнія этого времени.

При такомъ состояніи умственной жизни нашей, какіеже элементы краснорѣчія и въ какихъ формахъ могли развиваться? Религія, за-

конодашельство, науки — воишь элементъ нашего вѣщанства. Они, съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, развивались въ проповѣди слова Божія, въ манифестахъ или всенародныхъ объявленіяхъ о дѣлахъ Государственныхъ, въ похвальныхъ и надгробныхъ словахъ, въ рѣчахъ Академическихкихъ. Проповѣди, похвальные и надгробные слова, академическія рѣчи соотносѣствуютъ повѣствовательнымъ рѣчамъ древнихъ; всенародныя объявленія, имѣющія цѣлю убѣжденіе и просвѣщеніе разума, въ основаніи своемъ одинаковы съ рѣчами совѣщательными.

Въ первой половинѣ истекшаго столѣтія, въ духовномъ распоряженіи занимаетъ безспорно первое мѣсто *Геофанъ Прокоповичъ*. Современники, говорятъ ученый изслѣдователь успѣховъ вѣщанства нашего въ это время (*), могли услаждаться голосомъ его, тѣлодвиженіями, выраженіемъ лица; но мы смотримъ на вѣковыя достоинства Геофановы, на зрѣлыя мысли его, на силу доказательствъ, на ораторское искусство въ употребленіи способовъ удостовѣренія и убѣденія слушателей, а особливо на художественное расположеніе частей слова. Порядокъ въ мысляхъ и движеніи ораторскія составляютъ отличительное свойство словъ Геофановыхъ. Не обращая вниманія на слогъ его, нечислительный, негладкій, состоящій изъ формъ Славяно-Церковнаго языка и испещренный реченіями просополическими Русскими, Малороссійскими и чужезванными, въ каждомъ словѣ видимъ взаимную зависимость мыслей, раздѣленіе частей и направленіе ихъ къ главной цѣли, подѣ

(*) См. въ Трудахъ Общества Россійской Словесности, Ч. I: Взглядъ на успѣхи Россійскаго вѣщанства въ первой половинѣ истекшаго столѣтія, Проф. Каченовскаго.

сильнымъ вліяніемъ Лашинскихъ писателей. Онъ постигалъ важность и пользу для Россіи преобразованій Петровыхъ: онъ того его слова представляюшъ намъ изображеніе великаго характера непреодолимой воли Опица опшечства ко благу подданныхъ, его мужества, заботливости, и не посредствомъ холодныхъ описаній и повѣствованій, но изображеніемъ въ огненныхъ чертахъ души восторженной.

Взглянемъ на нѣ слова Теофановы, которыя воодушевлены особенно важными современными событіями: это собственно вишііство. Въ словѣ по случаю Полтавскаго сраженія Теофанъ разсматриваетъ: »Коликая супосташская люшость и сила углопована была на насъ; како она оружіемъ Россійскимъ сломлена на Полтавской башалин; кіа плоды преславной вишторіи родилися намъ.» Здѣсь онъ приводитъ примѣры изъ Виргилія, распространяется о второй Пунической войнѣ, говоритъ, что дѣла Петра превыше дѣлъ Ланибаловыхъ; обращается на поля Полтавы, съшуеетъ при гибели враговъ на берегахъ Днѣпровскихъ и сравниваетъ эту побѣду съ пораженіемъ льва мощнымъ Сампсономъ. Уподобленіе прекрасное: дѣйствительно левъ Швеціи сокрушенъ въ тошъ самый день, когда православная Церковь наша празднуеетъ память этого Праведника. Выпишемъ изъ этого слова изображеніе Полтавской битвы, гдѣ первымъ героемъ былъ Петръ Великій.

»Продолжалоса такъ люшое бѣдство съ нѣкими на обѣспраны переимѣнными устѣхи чрезъ осьмъ мѣсяцевъ, таже блисну день Самсоновъ: о день приснопамятный! о день многихъ вѣковъ дражайшій! вишторіа, слышашеліе, вишторіа! а кшо вишторію сію, а кой языкъ, кой гласъ по достоя-

нію провозгласити можешъ? Аще бы громы по
человѣческому говориши умѣли, тое развѣ вишій-
ство было бы достойно къ славѣ сей.»

»Успренева.тъ непріятель, напалъ на редуты,
и получилъ нѣкую себѣ утѣху; но къ чему? только
дабы извѣстно сотвориши, что не дремлющихъ,
не сонныхъ мы побѣдили: они паче разбудили на-
шихъ къ своей гибели. Вступили во огонь двѣ
славныя армен: ту ю успремила ярость гордая,
ужѣ за рвеніе и житіемъ стужающая, сію же
ввела праведная ревность и печаль на Бога по-
ложенная. Воскликнулъ не одинъ: *буди Господи
милость Твоя на насъ, якоже мы уповахомъ на Тя.*
Близку отъсюду спрашныи огонь, и возгремѣли
смертоносныя громы. Отъсюду чаніе смерти, а
дымомъ и прахомъ помрачился день: непрестаю-
щая стрѣльба, а ударъ непріятельскій непре-
клонный. Но сердца Россійская: ваша, храбрѣйшіи
Генералы и прочіи офицеры, ваша, вси воины дер-
зостнѣйшіи, сердца забыли тѣлеснаго своего со-
снѣва, возмнилися себе быти адамантова, или
паче забыли житнейскія сладости, и смерть пред-
почли житію: такъ вси прямо стрѣльбы, въ лице
смерти, никтоже вспяшь не зрѣшь: единое всѣмъ
попеченіе, дабы не съ тѣлу смерть пришла.»

»Но паче всѣхъ обращаешъ на себе наши очи
Петръ, Петръ и къ скипетру, и къ мечу родив-
шійся, Самодержецъ нашъ и воинственикъ нашъ:
гдѣ не съ стороны, аки на позорищи снѣишъ,
но самъ въ дѣйствіи толикой трагедіи, и гдѣ
спрашнѣйшій огонь, гдѣ лютость бѣлая, ту
и онъ: и какъ въ правленіи государства ни по-
коемуде Государь другій онъ не естъ, такъ и въ
дѣлѣ воинскомъ, никоемуде воину шпѣишся быти
непоследній. И засвидѣтельствова спрашныи слу-

чай мужественное его смерти небреженіе шляпа, пулею пробитая. О страшный и благополучный случай! далече ли смерть была отъ боговѣнчанной главы? Не явственнѣ ли симъ показа Богъ, яко самъ Онъ съ Царемъ нашимъ воюетъ? Повелѣ приступиши смерти къ нему, но запрети коснуться его. Тушь же купно и суживельство Історіамъ, и призываніе завистнымъ въсплѣть пресѣчеся, не лѣзя говориши: латами обложенъ, шлемомъ твердымъ покрытый былъ Царь Петръ; шляпа пробитая заградишь уста. Не лѣзя говориши: себе ради не щадишь крови людской Царь Петръ; шляпа свидѣтельствуетъ, что и своей крови не щадишь. Извѣстно убо есть, яко цѣлостъ опечесства своего купуетъ кровію, а купуетъ по нуждѣ; не лѣзя бо говорить, что и опчаянно воюетъ. Мощно рещи о сопровивникъ его, что опчаянно на смерть ходитъ; гордостію бо и рвеніемъ поощряется, и яко уже не однократно дѣломъ показа въ щасіи и въ несчастіи своемъ мира не любитъ. Но богумудрый нашъ Монархъ и полезнаго мира всегда ищетъ, и нуждею въ войну влѣкомъ такъ не устранился отъ смерти, какъ то свидѣтельствуетъ шляпа пробитая. О шляпа драгоценная! не дорогая веществомъ, но вредомъ симъ своимъ всѣхъ въицевъ, всѣхъ утварей царскихъ дражайшая! Пишутъ Історики, которые Россійское Государство описуютъ, что ни на единомъ Европейскомъ Государѣ не видѣти есть такъ драгоценной короны, какъ на Монархѣ Россійскомъ; но опселъ уже не корону, но шляпу сію Цареву разсуждайте, и со удивленіемъ описуйте.»

Когда Государь прибылъ изъ путешествія въ новую свою столицу, гдѣ былъ встрѣченъ любовію дѣтей своихъ и народа, Теофанъ привѣтствовалъ

Монарха. Петръ I^а былъ въ восторгъ. Мудрый Проповѣдникъ довершилъ радость своего Повелителя, какъ пастырь — представителъ Россiянъ. Эта рѣчь исполнена пѣническаго жара; слогъ ея возвышенъ, чувства нѣжны, разсказъ величественъ. Есть мѣста образцовыя. Касаясь исполненныхъ подвиговъ Государя, орапоръ говоритъ: »Какъ видимъ шумящія волны, устремляющіяся, біющіяся о камень, но самыя оныя него вспянь разливающія и не оставляющія даже ни слѣда за собою, а камень (въ буквальный переводъ оныя означаетъ Петра) оспазется камнемъ, неподвиженъ на своемъ мѣстѣ: такова крѣпость въ пертънн крѣпкаго и доблественнаго воина! Хотя на него устремляются біющія, шумящія вражескихъ нападеній волны; но сами оныя него біени, паки вспянь устремляются въ бѣгство, не оставляя ниже слѣда храбрости своей, крѣпость же его не превратна! — Видалъ ли, какъ бурные вѣспры, дождь, градъ и громы сильно налегаютъ и приражаются къ горѣ, но оныя пихаго и легкаго воздуха престаютъ, опходящъ и будто переходящъ оныя ярости на крѣпость, молчаливо опдыхаютъ, и весьма усмиряются, но гора спонитъ непоколебимо? Подобно разсуждай и о великодушнѣ мужа великодушнаго! — Къ нему, какъ бурные вѣспры съ дождемъ, какъ градъ и громы въ пуши на земли, въ пупи на морѣ приражаются и налегаютъ, но оныя его крѣпкаго постоянства подаются вспянь, престаютъ и творятъ онаго мужа непобѣдима!»

Чрезъ день послѣ этого слова оныя еще говорилъ въ присутствіи Петра Великаго, гдѣ между другими предметами, высокими по существу своему, орапоръ коснулся путешествія

Царя: «Не даромъ Омиръ въ своей Одиссее, похваляя Улисса, именуетъ его мужемъ, видѣвшимъ многихъ людей обычаи и грады — Подобную рѣчь, далѣе и далѣе шекущей, растушей болѣе и болѣе, получающей въ себя прибавленіе новыхъ вѣтвочекъ и шихо шеснвіемъ своихъ умножающейся и великую принимающей силу — шакъ и спрашиваніе благоразумному человеку прибавляетъ много. Чегожъ прибавляетъ: тѣлесныя ли силы? но онъ изнуряющіе дорогой. — Богатства ли? — исключая однихъ купцовъ, путешествіе для всѣхъ прочихъ убыточно. — Чегожъ много? основаніе собственному и общему добру — искусство!»

Таково вищійштво Θεοφάνово. Онъ былъ первый изъ соотечественниковъ, которому духовное краснорѣчіе открыло путь къ высшимъ Государственнымъ должностямъ.

Изъ числа духовныхъ вищій Елисаветина времени первенство отдается придворному проповѣднику *Гедвону Криновскому*. Онъ также умѣлъ искусно располагать и каждую часть охотливо отработывать. Въ его проповѣдяхъ, какъ и Θεοφάνовыхъ, разсыпаны мысли и примѣры изъ древнихъ писателей; но онъ рѣдко употребляетъ во зло свою ученость. Чтожъ касается до слога, Гедвонъ постигалъ уже вопреки обыкновенію своихъ современниковъ, по болѣйшей части Малороссійцъ: писалъ языкомъ гражданскимъ, дополняя его библейскимъ. Окончанія словъ въ ихъ измѣненіяхъ и спроеніе рѣчи у него совершенно Русскія.

Во второй половинѣ минувшаго и въ первой четверти текущаго столѣтія мы по справедливости можемъ хвалиться духовными вищіями нашими — *Платономъ, Георгіемъ Конисскимъ, Анаста-*

сіємъ Братановскимъ, Левандою, Михаиломъ Десницкимъ, Амвросіємъ Протасовымъ, Августиномъ Виноградовымъ. Проповѣди ихъ большею частію поучительныя, немногія привѣщественныя и надгробныя. Господствующая способносць каждого вишніи отражалась въ словѣ. Такъ слова Платона, Августина, преимущественно дышашъ чувствомъ; въ словахъ Анастасія и Леванды нѣжныя чувствованія соединены съ изящными картинными воображенія; въ проповѣдяхъ Михаила и Амвросія дивисься силѣ и изяществу діалектическаго расположенія мыслей. Михаилъ имѣлъ даръ произносить слова безъ приговора.

Взглянемъ на составъ бесѣды Михайловой о *воскресеніи мертвыхъ*. Вишніи спрашиваетъ самъ себя: что такое воскресеніе мертвыхъ? Иисусъ Христосъ воскресеніемъ своимъ доказалъ, что и наше воскресеніе возможно, и безъ сомнѣнія будетъ; Онъ ученіемъ своимъ изъяснилъ, когда оно будетъ; Его же самого примѣръ можешъ научить насъ, что оно такое будетъ. За этимъ разсматриваетъ Михаилъ, въ чемъ состояло Воскресеніе Христово. На это отвѣщиваетъ словами Священнаго Писанія:

«Плошь его прежде была *тлѣнна, немощна, душевна*, спраданіямъ и смерти подвержена; въ воскресеніи же возсѣла *нетлѣнною, сильною, безсмертною, славною, духовною, прославленною*, въ Божественный свѣтъ облеченною, словомъ, такою, копорая совершенно способна была вознестись съ Божествомъ Сына на небеса, вступити въ Ангельскія безплотныя духамъ приличныя мѣста и съсѣсть одесную Самаго Небеснаго Отца.»

Изъ этого ученія объясняетъ вишніи и наше воскресеніе, когда Господь Иисусъ Христосъ наик

прійдеиъ на землю и поведиѣтъ свяиымъ Ангеламъ трубнымъ гласомъ воззваиѣи мершвыѣхъ.

»Оидадутъ бо спихи взятыи отъ нихъ чисти, и огонь, и море, и смерть, и адъ отдадутъ мертвецы своя, все сухія кости получаютъ жиы, облекутся плотію, оживотворяются духомъ, соединяются паки съ душами своими, съ которыми разлучились при смерти, соединяются и возстануѣтъ изъ гробовъ, воскреснуѣтъ мершвыи и изыдуѣтъ, и стануѣтъ предъ престоломъ нелицепріятнаго Судіи, воскреснуѣтъ и судъ приимуѣтъ отъ написанныхъ въ книгахъ по дѣломъ своимъ.»

Здѣсь слѣдуеѣтъ живое изображеніе перемѣны бытія челоѣческаго при воскресеніи, въ коиорой участвовати будутъ не только мершвые, отъ начала міра и до того времени умершіе люди, но и самые живые, иѣтъ, коиорые живыми остануѣтся въ послѣдній часъ — иѣтъ, коиорыхъ въ живыхъ постигнетъ страшный день Господень. Заклучаетъ виіи бесѣду описаніемъ страшнаго суда, когда Господъ Богъ силою всемогущества своего праведныхъ облечетъ въ свѣтъ, а грѣшныхъ преобратиѣтъ во тѣмъ — первымъ свой образъ сообщитъ, другимъ видъ сапаны дастъ — первыхъ съ собою въ царство небесное введетъ и благословиѣтъ пользоваться вѣчнымъ блаженствомъ, другихъ, связавъ узами мрака, всвержетъ въ адъ, и тамъ вѣчно мучиѣтся назначиѣтъ. Вотъ слова самого проповѣдника:

»Какъ же скоро изречетъ Господъ опредѣленіе свое: потчасъ, уже совершенно въ густѣйшій мракъ облеченны, идуѣтъ грѣшныи въ муку вѣчную, праведницы же, одѣявшися во свѣтъ, идуѣтъ въ животъ вѣчный.»

Совершенно другой дух оживляетъ проповѣдь Платона. Какое прекрасное, стройное художественное произведеніе по изобразительности и движеніямъ чувства родилось изъ мыслей: »И такъ сподобилъ насъ Богъ узрѣвъ Царя своего вѣнчання и превознесенна: это привѣстившее Слово при коронованіи Императора Александра I, которое мы уже изучали со стороны внѣшней. Вишія разсматриваетъ царственную утварь вѣнчапія: вѣнецъ, скипетръ, державу и порфиру; указываетъ на символическое значеніе этой утвари въ отношеніи къ Государю и подданнымъ. »Сей вѣнецъ на главѣ Твоей есть слава наша: но Твой подвигъ. Сей скипетръ есть нашъ покой: но Твое бдѣніе. Сія держава есть наша безопасность: но Твое попеченіе. Сія порфира есть наше огражденіе: но Твое ополченіе. Вся сія утварь Царская есть намъ утѣшеніе: но Тебѣ бремя.«

Изобразивъ царственные труды во благо опечистивша, вишія изъясняетъ священное дѣйствіе коронованія: при теплыхъ моленіяхъ церкви и при усердныхъ желаніяхъ Россіянъ, низпосылается въ святомъ слезъ помощь небесная; съ таковымъ духомъ Владычнимъ подвигъ Царскій спланируется удобенъ, бдѣніе сладостно, попеченіе успешно, бремя легко, ополченіе побѣдительно и торжественно.

Августинова проповѣдь большею частію есть слово чувства. При совершеніи годичнаго поминовенія по воинахъ, на брани Бородинской жившихъ свой положившихъ, онъ разсуждаетъ сперва о смерти, какъ общемъ жребіи человѣческомъ; потомъ бѣгло обозрѣваетъ кровавое зрѣлище, на которое вселенная взираетъ, познала силу и могущество Россіи. Но путь невольно останавливается на воспоминаніи о православныхъ воинахъ, положившихъ жизнь свою за Вѣру, за Царя, за Отечество. Какъ

пастырь-утѣшитель, сѣшу о смерти храбрыхъ, продолжаетъ:

«Сколь убо ни велики потери наши, утѣшима, превращимъ сненія, отремъ слезы! — Нѣжная супруга! гдѣ отецъ милыхъ дѣтей твоихъ? Онъ не возвращался еще съ полей Бородинскихъ. — Онъ тамъ; и дѣти твои сиротисивуютъ. — Прижми, прижми ихъ къ сердцу своему, ороси слезами. — Онъ тамъ; — да почишь съ миромъ почтенный прахъ его! Ты разлучилась съ нимъ на вѣки, но любовь его къ тебѣ и дѣтямъ прешла съ нимъ въ вѣчность. Небесный Отецъ будешь отцемъ сиротъ твоихъ и утѣшителемъ тебѣ самой. — Отецъ отечества, Помазанникъ Господень, пририши на васъ окомъ Своемъ всеобъемлющія благости, и милостями Своими уладишь горести ваши. Сердобольные родители! и вашъ сынъ палъ среди кровавой брани: оплачь его; но вмѣстѣ и утѣштесь пою Вѣрою, въ кошорой вы сами поставляли и утѣждали его и словомъ и примѣромъ. Онъ убитъ еще въ цвѣтѣ юности; но онъ довольно жилъ для отечества, довольно для чести своей и вашей. Онъ не достигъ высшихъ и знаменитыхъ почестей; но вѣнецъ спрдадальчскій уготованъ ему въ небеси. Онъ не наследуетъ достоянія вашего, но получитъ наслѣдіе Іисусъ Христово. Святая Церковь не преспанетъ молишь Господа, какъ о немъ, такъ и о всѣхъ сподвижникахъ его; да воздастъ имъ за временные шруды и язвы животъ вѣчный и блага вѣчная, да проліетъ имъ испocchi блаженства небеснаго и увѣнчаетъ славою у Себе Самаго.»

«Земля отечественная! храни въ пѣдрахъ своихъ любезные останки поборниковъ и спасителей отечества; не оягоши собою прахъ ихъ; вмѣсто

росы и дождя, окропаятъ тебѣ благодарныя слезы сыновъ Россійскихъ; зеленѣй и цвѣши до того великаго и просвѣщеннаго дне, когда возсіяетъ заря вѣчности, когда солнце правды оживотворитъ вся сущая во гробѣхъ.»

Вънецъ духовнаго современнаго вишійства нашего составляютъ слова *Филарета*, Митрополита Московскаго, и *Никоентія*, Викарія Кіевскаго. Строгая логическая послѣдовательность въ первомъ оживляется сильными, въковыми мыслями объ Искупишеля; въ другомъ ученіе Евангельское передается съ такою ясностью и простотою, съ такими умиляющими сердце чувствомъ, что, сливаясь съ этимъ ученіемъ, удивляешься какъ оно не развивалось прежде, при собищенномъ чтеніи Священнаго Писанія. Прочтемъ Слова, произнесенныя тѣмъ и другимъ проповѣдникомъ въ великій Пяттокъ.

Поразительное слово Филарета начинается такъ:

«Чего теперь ожидаете вы, слушатели, отъ служителей слова? Нѣтъ болѣе слова.»

«Слово, безсмертное Отцу и Духу, рожденное для нашего спасенія, начало всякаго слова живаго и дѣйствительнаго, умолкло, скончалось, погребено и запечатано. Дабы вразумительнѣе сказать людямъ пути живота, Слово сіе оставило небеса, и облеклося плотию: но люди не восхотѣли внимать слову; расперзали плоть Его, и се взяли отъ земли животъ Его. Кто же теперь дастъ намъ Слово жизни и спасенія?»

Разсудивъ о словѣ Божіемъ и Крестѣ, вишія изображаютъ земную жизнь Богочеловѣка. Это повѣствованіе по живости и силѣ образцовое.

»Божество соединяется съ человѣчествомъ, вѣчное со временнымъ, всесовершенное съ ограниченнымъ, несозданное съ своимъ созданиемъ, самосущее съ ничтожнымъ: какой необозримый и непостижимый крестъ изъ сего уже слагается!»

»Богочеловѣкъ, Котораго низшествіе на землю прославляютъ небеса, является здѣсь въ уничиженнѣйшемъ возрастѣ человѣчества, въ малѣйшемъ градѣ малѣйшаго изъ царствъ земныхъ; изпѣ для Него ни дома, ни колыбели; кромѣ убогихъ родителей, едва нѣсколько паспирей занимающихъ Его рожденіемъ.»

»Исчисляють Безначальному осмь дней новаго бытія: и порабащаютъ Его кровавому закону обрѣзанія.»

»Господь храма приносится во храмъ поставить Его предъ Господемъ, и пришедый искупитъ міръ искупляется двумя птенцами.»

»Тогда, когда Онъ еще нѣмогшествоуетъ, уже изощряется на Него въ устахъ Симеона оружіе слова крестнаго, и проходишь сердце Его мащери.»

»Нѣкоторые иноплеменики приходятъ возвеличить Его именемъ Царя Іудейскаго; но сія малая слава воздвигаетъ на Него злобу Іудейскаго Царя, содѣлываетъ Его невинною виною кровопролитія, и принуждаетъ удалиться отъ народа Божія въ спрану идолослужителей.»

»Всеобъемлющая Премудрость Божія не иначе, какъ съ возрастомъ *преспѣваетъ премудростію у Бога и человѣкъ*; Испочникъ и Податель благодати *пріемлетъ благодать*; тридцать лѣтъ Владыка небесъ и Царь славы сокрывается отъ неба и земли въ глубокомъ повиновеніи двумъ смер-

нымъ, которыхъ удоспонлъ нарещи Своими родителями.»

»Чего попомъ не претерпѣлъ Иисусъ опъ для вступленія Своего въ шоржесшвенное служеніе роду чловѣческому!»

»Свяшый Божій, грядущій освяшшь чловѣковъ, вмѣстѣ съ ищущими очищенія грѣшниками, преклоняется подъ руку чловѣка, и пріемлетъ крещеніе: воисшину крещеніе, слушаатели, по есшъ, погруженіе не сполько въ водахъ, сколько въ обилии крестна!»

»Испышующій сердца и ушробы самъ поставляется въ искушеніе; хлѣбъ небесный предается земной алчбѣ; Топъ, предъ Которымъ должно преклоняться всякое коленно небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, допускаетъ князя преисподнихъ шребовать опъ себя поклоненія.»

»Ходашай Бога и чловѣковъ открываетъ Себя чловѣкамъ; но Его или не узнають, или не хощашъ узнавать. Его ученіе почишаютъ богохульнымъ, Его дѣла беззаконными, Его чудеса Веельзевуловыми. Если Онъ чудотворитъ и благотворитъ въ субботу: Его называютъ нарушителемъ субботы; если обращаетъ заблудшихъ и пріемлетъ кающихся: Его порицають другомъ грѣшниковъ. Тамъ ищутъ уловишь Его словомъ; здѣсь ведутъ Его на верхъ горы, дабы низринуть; индѣ возьмутъ на Него каменіе; нигдѣ не дають Ему главы подклониши. Онъ воскрешаетъ умершаго; зависшники совѣщаются умершвишь Его самаго. Народъ по врашакъ Іерусалима привѣшшвуешъ Его Царемъ; всѣ земныя власти возстають, дабы осудишь Его, какъ преступника. Въ избранномъ сонмѣ Своихъ друзей Онъ видитъ, неблагодарнаго предаателя и первое орудіе смерти Своей; лучшіе

изъ нихъ служатъ Ему *соблазномъ*, помышляя человеческое въ то время, когда Онъ идетъ на дѣло Божіе.»

»Почіешь ли Ты, Божественный Крестоносецъ, хотя на едино мгновеніе отъ нѣга, непрестанно возрастающаго на раменахъ Твоихъ? Почіешь ли, если не для обновленія Твоихъ силъ къ новымъ подвигамъ, по крайней мѣрѣ изъ снисхожденія къ немощи Твоихъ послѣдователей? — Такъ, приближаясь къ Голгоетъ, Ты почіешь на Оаворъ. Гряди на сію гору славы; да просвѣтитсѣ лице Твое свѣтомъ небеснымъ, да убѣлѣтсѣ ризы Твои; да придухъ законъ и Пророки признашь въ Тебѣ свое исполненіе; да услышитсѣ гласъ благоволенія Отцаго!«

За тѣмъ слѣдуетъ разсужденіе о водруженіи Креста Господня въ насъ, какъ драгоценнаго залога любви Божіей, не столько наказующей и сокрушающей, сколько пасущей и утѣшающей. Заключаешся слово обращеніемъ къ человѣку:

»Да ищеть въ крестѣ средствъ изникнуть отъ міра, и вознесись къ Богу. *Слово крестное спасаемымъ сила Божія есть.*«

Прислупъ Иннокентіева слова неожиданный:

»Размышляя о чрезвычайномъ событіи, нынѣ нами воспоминаемомъ, углубляясь въ причину и цѣль крестной смерти Господа нашего, я невольно, Брашія, остановился при семъ мыслію на одномъ событіи въ исторіи народа Израильскаго, которое, при всей малости своей, въ сравненіи съ событіемъ Голгоетскимъ, имѣетъ съ нимъ примѣчательное сходство.«

»У Израильтянъ — такъ пишетъ Священный Историкъ — была жестокая брань съ Моавитянами.

Царь Моавитскій испоцилъ все средства къ опраженію враговъ, но безъ успѣха. Наконецъ, осажденный въ стѣнахъ царственнаго града своего, онъ обращася къ послѣдней крайности: беретъ первенца своего, который уже раздѣлялъ съ нимъ престолъ, возводитъ его на стѣну города, и, въ глазахъ всѣхъ непріятелей, приносишь въ умилощивительную жертву богамъ. Такой безпримѣрный поступокъ произвелъ то, чего не могли сдѣлать ни мужество, ни оружіе: осаждающіе потчасъ прекратили осаду и брань, и возвратились домой. *И бысть, говоритъ Священный Историкъ, раскаяніе великое во Израили, и возвратишася въ землю свою.*»

За этимъ слѣдуетъ приложеніе рассказаннаго событія къ жертвѣ, предъ которою мы предстоимъ: и предъ нами возлюбленный Первенецъ, принесенный во всесоженіе рукою Отца. Продолженіе сравненія превосходно:

»Брань, ужасная брань издавна идесть у чело-вѣка съ Богомъ. Царь небесный дѣлалъ все для вразумленія враговъ своихъ: и гремѣлъ противъ нихъ проклятіями; и осыпалъ ихъ дарами и благословеніями; и заставлялъ небеса повѣдать славу свою; повелѣвалъ землѣ сотрясаться отъ ося славы; писалъ законъ и на сердцахъ каменныхъ, и на скрижаляхъ каменныхъ; но брань продолжалась! Ослабленные попомки несчастнаго праотца продолжали вѣришь болѣе змѣю губителью, нежели Творцу и Промыслителю, никто не оплагалъ безумнаго желанія, бытъ яко *Бози*, всѣ шли дерзновенно противу утаивовъ неба. Чшо же дѣлаетъ наконецъ Царь небесный? Увы, Онъ беретъ сына своего возлюбленнаго, его же положи наследника есмь, имъ же и вѣки сотвори, бе-

реть, и предъ лицомъ всего міра возпосишь Его на крестѣ, глаголя: еда како *усраматся* смерти Сына моего!»

»И подлинно усрамялось многое: усрамялось солнце, скрывъ лучи свои среди полудня; усрамялась земля, сотрясшись въ основаніи своемъ; усрамялись камни и завѣса храма, распоргшись въ нипушу смерти Сына Божія; усрамялась сама смерть, давъ свободу возстать изъ гробовъ многимъ плесамъ усопшихъ свярыхъ. Но люди, люди, ахъ, они не усрамялись! Сынъ закланъ, но брань продолжается! жертва принесена, но духовный Іерусалимъ въ осаду! Много ли раскаянія видниъ предъ Голговою? Только два — Петрово и Іудино: но и изъ нихъ послѣднее потчасъ окончилось вѣчною бранію. Много ли произошло и изъ раскаянія на Голговъ пѣхъ, кои, *видяще бывающая*, били въ перси своя? — Біа въ перси, они возвращались, какъ замѣчаютъ Евангелистъ, домой, между пѣмъ какъ шло Божественнаго спрадальца продолжало висѣть на крестѣ.»

Досель развитіе элемента историческаго; элементъ доказательный состоить въ размышленіи о дѣйствіи смерти Сына Божія на сердца наши и о Крестѣ.

»Въ насъ, въ насъ самихъ, Братія, причина нашего нечувствія и окаменѣлости: и трудно ли открыть ее? — Для того, чтобы образъ спраданій и смерти Христовой оказывалъ постоянное дѣйствіе на жизнь нашу — для сего необходимо, что бы ояъ съ плащаницы перешелъ въ нашу душу, что бы оставался тамъ не два, или три дня, а всегда. Въ такомъ только видѣ, усвоенный душѣ и сердцу, сей образъ можетъ дѣйствовать на нашу жизнь и спасать насъ отъ грѣ-

хотѣ. Но много ли Христіанъ, у коихъ образъ страданій Спасителя ихъ посполню изображенъ въ душѣ и сердцѣ?»

«Какъ же послѣ сего дѣйствовать Христу на наше сердце, когда Его нѣтъ въ семъ сердцѣ, когда Онъ умираетъ на крестныхъ доскахъ и уброехъ? Каково сѣніе, такова и жажда. Мы посвящаемъ воспоминанію страданій Христовыхъ нѣсколько часовъ въ году, и шочно въ сіи часы мы замѣтно дѣлаемся лучше; благихъ впечатлѣній оныхъ часовъ у нѣкоторыхъ спланиваются на многіе дни. Но испробуйте сдѣлать болѣе для своего Господа: рѣшитесь посвящать на размышленія о смерти Его хотя нѣсколько часовъ въ каждую недѣлю; дайте такимъ образомъ войти образу Его въ вашу душу и еродитесь съ нею: и вы увидите, какая перемѣна произойдетъ въ вашихъ мысляхъ, чувствахъ, а пошомъ въ самыхъ дѣлахъ и жизни. Господь, вошедши въ храмъ души, не оставилъ тамъ продающихъ и купующихъ, изгналъ ихъ и оодѣваетъ его чистымъ. Вы сами, посвящая себя какъ можно чаще на Голгофу, вы сами приучитесь сморѣть на все съ ея святой высоты; а сморѣя ошуду, увидите во всемъ мірѣ совсѣмъ другое, нежели что вамъ представлялось дошомъ: на многое, что теперь оспланивается на себѣ ваши взоры, вы не захотите и сморѣть, и напросивъ, во многомъ, что теперь для васъ вовсе непримѣтно, откроете истинное величіе; широкіе пути міра, ведущіе въ пропасть, представлялись вамъ во всей извилистой опасности ихъ; а узкій путь, ведущій къ царствію, явился во всей небесной прямошъ и крапкоспи. Словомъ, сморѣя съ Голгофы, вы невольно будете сморѣть прямо въ небесный Іерусалимъ. Послѣ

сего ничто въ мірѣ не заставитъ васъ свесни очей съ неба, разлучиться съ своимъ Спасителемъ.»

Здѣсь вышія исчисляють суешныя блага здѣшней жизни, которыя мы преслѣдуемъ, и тѣмъ вѣчныя блага, готовящія насъ къ жизни будущей, которыхъ мы чуждаемся.

»И мы боимся сего, боимся пребыть съ Спасителемъ нашимъ и крестомъ его долѣе нѣсколько уреченныхъ дней и часовъ. — Увы, сіе-то самое и составляетъ недугъ нашъ; отсюда-то и происходитъ то, что крестъ Христовъ не производитъ никакого дѣйствія на наши нравы и жизнь. Сколько спрасныхъ седмицъ, мѣсяцовъ, можете бытъ, годовъ, проводимся нами для міра и съ міромъ; а когда надобно проводить время съ Господомъ, мы смотримъ тогда дни и мѣсяцы и числа. Точно, частное размышленіе о спрдаіяхъ Спасителя должно прогнать отъ насъ много безумныхъ радостей, изгнать буйство чувствъ, угасить пламень спрасстей, заставить разорвать не одну нечистую связь: но за то вмѣстѣ съ симъ лишеніемъ (если можно назвать лишеніемъ, что губитъ насъ) открывается для насъ изъ-подъ креста Христова источникъ новыхъ утѣшеній и чистыхъ радостей, о коихъ мы теперь вовсе не вѣдаемъ: мы узнаемъ, что такое умиленіе сердца, миръ души съ Богомъ и совѣстію, твердость среди превращеній земнаго счастья, спокойствіе духа на ложѣ смертномъ; за то будемъ ожидать перехода въ другой міръ не какъ пекѣрные рабы, пойманные въ бѣгство, а какъ дѣти, возвращающіеся къ Отцу.»

Размышленіе оканчивается напоминовеніемъ смертнаго часа:

»Ахъ, Братія, сколько бы мы ни старались забывать бренность земнаго бытія нашего; по уда-

ринуть наконецъ и для насъ послѣдній часъ, наступитъ и для насъ великій пятокъ — страшный день смерти, послѣ коего надобно будетъ почивать въ сердцѣ земли до всеобщаго воскресенія. Тогда само собою все выпадетъ изъ рукъ, и въ нихъ вложатъ одинъ крестъ. Но можетъ ли сіе оружіе защитить насъ тогда, если мы въ продолженіе жизни никогда не брали его въ руки и не приучились имъ дѣйствовать? . . .»

Заключается слово обращеніемъ насъ къ смерти нашего Господа:

«Попечемъ же заранѣе содружиться съ смертію нашего Господа; снимемъ, подобно Іосифу, снимемъ и мы Его со креста, и положимъ во гробъ новъ, въ сердцѣ нашемъ, *идъ же можетъ быть еще николиже Онъ лежалъ*, и будемъ, подобно мгноносцамъ, во всякое удобное для насъ время, ходитъ къ сему Божественному спрадалцу и плакать надъ нимъ о грѣхахъ нашихъ. Господь не оспанется въ долгу у насъ: мы будемъ раздѣлять съ Нимъ такимъ образомъ Его смерть временную, а Онъ раздѣлитъ съ нами жизнь вѣчную. А безъ сего постоянного содружества съ крестомъ Господа въ сердцѣ, не ожидайте отъ него дѣйствія и въ жизни вашей. Хладныя поклоненія и лобзанія наши столь же мало могутъ воскресить насъ, какъ и оживить Его.»

Обращаемся къ развишію въ краснорѣчій ораторскаго элемента ученаго. На этомъ поприщѣ встрѣчаемъ того же великаго преобразователя слова нашего, который далъ намъ Русскую грамматичку, первую риторичку, первую Русскую оду: онъ же первый написалъ похвальныя слова Петру I^{му} и Елисаветѣ. Ломоносовъ, писатель съ умомъ всеобъемлющимъ, съ разнообразными знаніями,

согрѣтый чувствомъ любви къ Русскому просвѣщенію, предсталъ съ даромъ слова предъ соотечественниками по первому призванію нашего самопознанія. Въ немъ проявилась воля могучаго преобразователя — Петра. Какъ всѣ самообытныя умы, высшіе своего вѣка, двигатели народа явился и поэтомъ, и вѣщью, и ученымъ. Въ его произведеніяхъ выразился новый міръ вѣдѣній, до него невыраженный. Превосходство его и недоспѣшки носящія на себѣ знаменіе возраста нашего въ половинѣ испекшаго столѣтія. Тогда духовные вѣтѣи безъ надлежащаго разбора употребляли слова библейскаго языка и гражданскаго, пестрили проповѣди свои словами и оборотами чужестранными; правила Славянской грамматики не могли служить руководствомъ для познанія свойствъ Русскаго языка. Поэтому нужно было опдѣлить книжный языкъ и разговорный — показать, какимъ образомъ должно соединять одинъ съ другимъ, вывести правила живой Русской рѣчи. Все это совершенно Ломоносовымъ; имъ утверждено основаніе языка. Въ похвальныхъ словахъ его видно вліяніе древнихъ, даже заимствованіе цѣлыхъ мѣстъ изъ Цицерона и Плинія (*); но правильное и ясное расположеніе, живописное повѣствованіе и одушевленный разсказъ, особенно о неимовѣрныхъ дѣяніяхъ Петра Великаго, доселѣ ниспавляются въ образецъ вѣтѣйства.

Вошъ содержаніе похвальнаго слова Преобразителю Россіи. Въ присшупѣ орашоръ говоритъ, что Петра Великаго давно надлежало прославить; но какъ въ дѣлахъ Ему нѣтъ равнаго, такъ нѣтъ равныхъ примѣровъ и въ краснорѣчїи. Во мно-

(*) См. въ Трудахъ Общества Россійской Словесности ч. 3: О похвальныхъ словахъ Ломоносова, разсужденіе Профессора Каченовскаго.

жестивъ высокихъ предметовъ онъ не знаетъ, съ чего начать свое слово: опъ шѣлеснаго ли вида и крѣпости силъ, опъ геройскаго ли взгляда, опъ бодрости ли духа? Но какъ великіе гениі познаются въ совершеніи безпримѣрныхъ дѣлъ и въ преодоленіи препятствій: то вишія разделяетъ слово свое на изображеніе важнѣйшихъ дѣлъ Петра, преодоленіе препятствій и исчисленіе добродѣтелей. Послѣдуемъ за каждою частію слова, по преимуществу историческаго.

Какіяжъ дѣла Петровы живописуемъ предъ нами Ломоносовъ? — Твореніе Петра, какъ твореніе Божіе, начинается съшомъ — водвореніемъ въ опечествъ нашемъ просвѣщенія. Государь призываетъ науки и искусства изъ чуждыхъ странъ, собственнымъ примѣромъ внушаетъ въ подданныхъ любовь къ образованію: и вскорѣ уже утѣшается благопшорными плодами водворенныхъ наукъ. Въшѣ съ просвѣщеніемъ развивается сила вышняя — учрежденіемъ войскъ, и сила внутренняя — мудрыми законами. Самъ Монархъ обучаетъ войска, снабжаетъ ихъ оружіемъ, заводитъ артиллерію. Вишія обращается къ мѣстамъ, свидѣтелямъ трудовъ Великаго:

«Мы, нынѣ озираясь на опія минувшія лѣта, представляемъ, колъ великою любовію, колъ горячею ревностію къ Государю воспалалось начинающееся войско, видя Его въ своемъ сообществѣ, за однимъ столомъ шу же пріемлющаго пищу, видя лице Его пылью и пошомъ покрытое, видя, что опъ нихъ ничѣмъ не разишся, кроме того, что въ обученіи и въ трудахъ всѣхъ прилѣжитъ, всѣхъ превосходятъ.»

И какіяжъ слѣдствія неушомимыхъ трудовъ Государя? Побѣды подъ Лѣснымъ и Полшавою.

Тутъ рѣчь склоняется къ непріятелямъ того времени — Шведамъ: быть побѣжденнымъ опъ Петра — славнѣе побѣдъ надъ слабымъ войскомъ.

Повѣспованіе о скоромъ учрежденіи флота принадлежишь къ изящнѣйшимъ произведеніямъ.

»Пространная Россійская держава, наподобіе дѣлаго свѣта, едва не отовсюду великими морями окружается, и опья себѣ въ предѣлы поспавляетъ. На всѣхъ видимъ распуценныя Россійскіе флаги. Тамъ великихъ рѣкъ успѣя и новыя приставни едва вмѣщаютъ судовъ множество; индѣ спонущъ волны подѣ плыгосыю Россійскаго флота, и въ глубокой пучинѣ огнедышащіе звуки раздаются. Тамъ позлащенныя и наподобіе весны процвѣтающіе корабли, въ тихой поверхности водѣ изображаясь, красоту свою усугубляютъ. . . Тамъ новыя Колумбы къ невѣдомымъ берегамъ поспѣшаютъ, для приращенія могущества и славы Россійской; индѣ другой Тифисъ между сражающимися горами плышь дерзаетъ, со снѣгомъ, со мразомъ, съ вѣчными льдами борется, и хочетъ соединить востокъ съ западомъ. . . Не древніе ли исполнили, вырывая изъ густыхъ лѣсовъ и горъ превысокихъ великіе дубы по берегамъ повергли къ строенію? Не Амфіонъ ли сладкимъ лирнымъ яграніемъ подвигнулъ разнovidныя части къ сложенію чудныхъ крѣпостей, летающихъ чрезъ волны?»

Сравнивъ пруды въ учрежденіи сухопутнаго войска и флота, ораторъ изображаетъ и здѣсь Государя въ работѣ вмѣстѣ съ подданными:

»Чудилось прежде безчисленное народа множество, стекшееся видѣть восхищающее позорище на поляхъ Московскихъ, когда нашъ Герой, едва выступивъ изъ лѣтъ младенческихъ, въ присутствіи всего Царскаго Дома, при знатныхъ чинахъ

Россійскаго Государства, и при знатномъ собраніи дворянства, то радующихся, то повреждёніи здравія его боящихся, трудился, разсмѣривая регулярную крѣпость, какъ мастеръ; копая рвы и взвозя землю на раскаты, какъ рядовой солдатъ; всѣмъ повелѣвая, какъ Государь, всѣмъ давая примѣръ, какъ премудрый учитель и просвѣтитель.»

Полный чувствованій къ великости Монарха, внишъ, въ сильномъ движеніи сердца, обращается къ рѣкамъ, носившимъ на хребтахъ своихъ Великаго — къ берегамъ, освященнымъ стопами Петра-вымъ и потомъ Его орошеннымъ. Изученіе корабельнаго дѣла въ Голландіи и Англіи и описаніе спуска кораблей заключаются торжественною карнальною празднествомъ при встрѣчѣ ботика.

Мудрое благоустройство внутреннее начинается народную перепись, опредѣляетъ подати, пробуждаетъ промышленность, открываетъ пристани, прорѣзываетъ на дальнихъ пространствахъ каналы, да моря сѣверныя сообщаютъ воды свои южнымъ. Но для внутренняго спокойствія и этого не довольно: учреждается Сенатъ, Синодъ, Коллегіи, утверждаются сношенія съ иностранными державами. И какія неимоверныя измѣненія въ возлюбленномъ отечествѣ! Чтoby помыслилъ пошль, ктобы, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, возвратился въ Россію? »Не могъ бы разсудить иначе, какъ что онъ былъ въ странствованіи многіе вѣки; либо все то учинено въ столь краткое время общими силами человѣческаго рода, или творческою Всевышняго рукою; или наконецъ все мечтается ему въ сонномъ привидѣніи.»

Изобразивъ дѣла, Ломоносовъ повѣствуетъ о преодолѣнныхъ препятствіяхъ — опасности путешествія, мятежахъ внутри отечества, неприяте-

ляхъ — Шведахъ, Полякахъ, Крымцахъ, Персиянахъ, Туркахъ, о врагахъ внутреннихъ — стрельцахъ, разбойникахъ, раскольникахъ — о предательствѣ опъ самыхъ ближнихъ. Отсюда начинается развитіе элемента доказательнаго — указаніе на добродѣтели Монарха: благочестіе, мудрость, мужество, великодушіе, правосудіе, милосердіе, трудолюбіе.

Съ какимъ умиленіемъ читаемъ изображеніе Государя благочестиваго: »Выѣзжая на сръшеніе шлю Свѣаго и храбраго Князя Александра, благоговѣніа исполненнымъ дѣйствіемъ подвигнулъ весь градъ, подвигнулъ струи Невскія. Чудное видѣніе! Гребущъ кавалеры, самъ Монархъ на кормѣ управляетъ, и къ простыхъ людей пруду, предъ всѣмъ народомъ, помазанныя руки простираетъ, вѣры ради, ею укрѣпляясь, избылъ многократнаго спремленія кровожаждущихъ измѣнниковъ. Остѣнилъ Господь надъ главою его силою свыше въ день Полтавскія брани, и не допустилъ къ ней прикоснуться смертоносному мечу. Разсыпалъ предъ нимъ, какъ нѣкогда Ерихонскую, Нарвскую стѣну, не во время ударовъ изъ огнедышащихъ машинъ, но во время Божественной службы.»

Мудрость Петра орашоръ указываетъ во всѣхъ дѣянїяхъ, совершенныхъ для блага Россїи. Для созерцанїа геройскаго мужества, онъ предспавляетъ намъ Полтавскую битву. Великодушный побѣдитель угощаетъ Шведскихъ военачальниковъ за Царскимъ столомъ своимъ, признаетъ въ нихъ своихъ учителей. За этимъ слѣдуетъ описаніе снисходительности. »Часто межъ подданными своими просто обращался, не имѣя великаго и Монаршее присущствіе показующаго ве-

ликолѣпія и раболѣпства. Часто пишемъ свободно было просто встрѣпнись, слѣдовать, иди вѣсть, зачатъ рѣчь, кому попотребуется.»

Изумляясь неимовѣрнымъ трудамъ Великаго, вишія на одной каршинѣ изображаетъ разнообразныя занятія Петра: »Мы нынѣ съ радостнымъ удивленіемъ смопримъ, по какимъ путямъ Онъ шествовалъ, подѣ кошорымъ древомъ имѣлъ ошдохновеніе, изъ кошораго источника уполялъ жажду, гдѣ съ простыми людьми, какъ простой работникъ, шрудился, гдѣ писалъ законы, гдѣ начершалъ корабли, пристани, крѣпости, и гдѣ между шѣмъ какъ пріятель обращался съ подданными своими. . . .» Все это изложеніе вѣпчаешя поразительнымъ изображеніемъ: »Я въ полѣ межъ огнемъ; я въ судныхъ засѣданіяхъ межъ трудными разсужденіями; я въ разныхъ художествахъ между многоразличными машинами; я при строеніи городовъ, пристаней, каналовъ, между безчисленнымъ народа мпожествомъ; я межъ спенаніемъ валовъ Бѣлаго, Чернаго, Балтійскаго, Каспійскаго морей и самаго океана духомъ обращаюсь: вездѣ Петра Великаго вижу въ попѣ, въ пыли, въ дыму, въ пламени; и не могу самъ себя увѣришь, что одинъ вездѣ Пѣтръ, но многіе, и не крашкая жизнь, но лѣпшѣ пысяча.»

Патетическое заключеніе превосходно: »Кому жъ я Героя нашего уподоблю? Часто размышлялъ я, каковъ Тотъ, Кошорый всесильнымъ мановеніемъ управляетъ небо, землю и море: дхнешъ духъ Его, и попекутъ воды; прикоснется горамъ, и воздымашся. Но мыслямъ человѣческимъ предѣлъ предписанъ; Божества постигнуть не могушь; обыкновенно представляютъ Его въ человѣческомъ видѣ. И такъ ежели человѣка, Богу

подобнаго, по нашему попятію, найти надобно, кромѣ Петра Великаго не обрѣтаю.»

Таково расположеніе похвальнаго слова Петру. Что сказать о немъ въ отношеніи къ содержанію и изложенію? Можно замѣтить, что должно бы разительнѣе показати, какую Россію принялъ Петръ подъ свою державу, и какую оставилъ; мы желали бы видѣть изображеніе стана, лица, вѣровъ Государя, слышать Его крашкіа, но сильныя повелѣнія: этого не находимъ въ словѣ. Напротивъ, встрѣчаемъ повпореніе однихъ и тѣхъ же мыслей, внезапные переходы отъ возвышенности къ простонародности, ненужныя обороты и слова иностранныя. Не смотря на все это, по живописной изобразительности и по сильнымъ движеніямъ чувства, похвальное слово Петру всегда будемъ перечитывать съ наслажденіемъ.

Развитіе ученаго элемента въ опечесивенномъ краснорѣчій представляють также многія образцовыя слова Академическія. Такъ роскошь въ живописномъ повѣствованіи найдете въ похвальномъ словѣ Екатерины II^й — *Карамзина*, поэтическую изобразительность въ похвальномъ словѣ Александру I^{му} — *Мерзлякова*, глубокое чувство въ похвальномъ словѣ Императрицы Маріи Феодоровны — *Князя Ширинскаго-Шихматова*, выразительность характера со всеми тончайшими оцѣнками и художественное повѣствованіе, живое и сильное, въ воспоминаніи о Гётѣ — *Уварова*. Кто изъ Русскихъ безъ умиленія можетъ читать слѣдующее изящное описаніе благопріятій Императрицы Маріи? »Еслибъ возможно было намъ, почтеннѣйшіе слушатели, проникнутымъ признательностію къ почитающей въ Божь Императрицѣ Маріи Феодоровнѣ, удостоиться увидѣть нынѣ сію Монархиню по-

среди насъ, и призвать всѣхъ благодѣтельствованныхъ Ею для принесенія Ей справедливой жертвы благодаренія: сколь восхищительная карпина, сколь величественное зрѣлище, сколь многолюдное и торжественное собраніе представилось бы изумленному взору нашему? Стогны Пестрополя не вмѣстили бы собравшихся множества. Мы увидѣли бы людей разнаго званія, состоянія, пола и возраста, отъ нищихъ, носящихъ рубища, до вельможъ, блистающихъ златыми одеждами; отъ неизвѣстнаго воина до вождя знаменитаго; отъ раба до царедворца; отъ простаго гражданина до совѣтника Думы Царской; отъ дочери ратника до супруги полководца; отъ младенца въ колыбели до пригвожденной къ одру старости. Мы увидѣли бы ихъ, забывающихъ различіе достоинствъ, заслугъ, породы, сана и достоянія, наперерывъ одинъ передъ другимъ спрежанныхъ изъяснить Августѣйшей Благодѣтельницѣ сердечную свою признательность; мы увидѣли бы ихъ всѣхъ, съ свободными отъ заботъ и горестей челами, и, шакъ сказать, дышащихъ однимъ только благодареніемъ. Здѣсь защитникъ отечества, поставлявшій грудь свою цѣлю неприятелю, чѣмъ удары его не разразились на насъ, приближившись на козлы, простосердечно сказалъ бы Маріи: Ты упокоила раненнаго и уже безполезнаго для Государства воина. Тамъ красота, цвѣтущая здравіемъ и юностію, указывал на счастливаго супруга и веселыхъ дѣтей, воскликнула бы: Тебѣ обязана я семейственнымъ благополучіемъ; Ты призрѣла меня, сироту, и воспитала подъ материнскимъ кровомъ Твоимъ. Индѣ украшенный почестями сановникъ, преклонивъ главу, возвѣстилъ бы, что онъ не пренебрежетъ быть признательнымъ вѣчной Благо-

дѣдѣнницѣ своей за ту пользу, которую успѣлъ принести Государю и отечеству: онъ былъ изысканъ Ея благостію; Она открыла обширное поле усердію и способностямъ его. Далѣе маститый спарецъ, бросаясь на колѣна, сказалъ бы Монарху: Ты въ преклонныхъ лѣтахъ моихъ замѣнила мнѣ кровныхъ и друзей; десять лѣтъ провелъ я въ открытомъ Тобою убѣжищѣ, и въ минушу разлученія съ жизнію Провидѣніе привело Тебя еще, чѣмъбъ успѣшилъ меня на краю гроба. Здѣсь слѣпцы, никогда не видѣвшіе свѣта солнечнаго, единодушно возгласили бы: Ты была намъ свѣтилышкомъ во тмѣ и звездою упѣшенія на скорбномъ пути жизни. Тамъ лишенные слова, простирая длани и вознося къ Ней слезные взоры, самымъ молчаніемъ своимъ громко и краснорѣчиво выражали бы избытокъ чувствованій, волнующихся въ груди ихъ. Но кто можетъ описать всѣ виды признательности, какіе бы явились намъ въ семъ столь же разнообразномъ, сколь и многочисленномъ собраніи? Какая кисть способна выразить всѣ чувствованія, написанныя на лицахъ и во взорахъ миліона людей осчастливленныхъ? Можетъ быть, большая часть присутствующихъ здѣсь, можетъ быть, всѣ вы, Милостивые Государи, присоединились бы къ радостному сонму возвѣщающихъ благодѣянія Марии, и придали еще болѣе торжественности сему величественному зрѣлищу.»

Воспоминанія о Гётѣ, при всей краткости, заключающъ невыразимое богатство мыслей и неподражаемую живопись въ слогѣ. Онъ имѣющъ важность и въ отношеніи ученюму. Известно, что въ Германіи вразсужденіи Гётѣ повторяющся два мнѣнія, одно другому совершенно противоположныя. Одни ученые, вмѣстѣ со Шлегелями,

видяць въ немъ существо идеальное, къ которому смертныя могутъ только приближаться. По этому мнѣнію, Гёте въ ряду представителей вѣковъ и народовъ занимаетъ мѣсто послѣ Омира, Данте и Шекспира. Другіе, слѣдуя Менцелю, починають Гёте талантомъ обыкновеннымъ. По мнѣнію ихъ, не только Шиллеръ, но Уландъ и Гейне стоятъ выше творца Фауста. Возвращеніе на Гёте и сужденіе о его разнообразномъ гениѣ и твореніяхъ, здѣсь представляемосъ, есть вѣрнѣйшее и безпристрастное.

«Одаренный всѣми необыкновенными силами духа, соединявшій качества противоположныя, окрыленный вѣкомъ и самымъ обществомъ, Гёте рано прозрѣвалъ мѣсто, какое призванъ былъ занимать. Долго, казалось, колебался онъ въ выборѣ пути, ведущаго къ этому мѣсту; однако недоумѣніе не только не ошданило его отъ мѣсты, но еще послужило къ раскрытію всѣхъ сокровищъ дивнаго его ума, подѣ влияніемъ частію обстоятельствъ времени, частію личнаго его характера. Предъ соотечественниками пламенными и добродушными, съ чистосердечною увѣренностію ожидавшими законодателя языка и вкуса, предсталъ Гёте, безъ предубѣжденій литературныхъ, безъ вѣрованія въ философскія ученія, неустановившійся въ идеяхъ своихъ, безъ восторга и народности. Такими противоположностями, которыхъ онъ никогда не шаялъ, распространилось его владычество, возрасло необъятное умственное могущество, и скипетръ литературный оспавался въ его рукахъ до послѣднихъ дней жизни. Гёте никогда не угождалъ требованіямъ общаго мнѣнія; чародѣйственною властію таланта своего онъ увлекалъ народное мнѣніе за собою, и послѣ ошпалъ»

кивалъ его опъ себя въ противоположную сторону. Иногда упомянутое продолжительнымъ влеченіемъ, искало оно отдыха, хотѣло остановиться на данныхъ самого Гёте: прихопливый гений немедленно истреблялъ свое произведеніе. Такъ Аравитянинъ, среди пустыни, шопчетъ шаперъ, защиту каравана отъ зноя — и терпѣливый, послушный караванъ плынетъ въ путь дальній. Лишь только разгадывали настоящее направленіе любимого писателя: опъ уклонился неожиданно — и уже находили его тамъ, отколъ, повидимому, навсегда онъ удалился. Это истинный Протей, но Протей самоуправный и упрямый, подобно Аріелю и Мефистофелю, всегда опережавшій современниковъ, сильный пзъ всѣхъ и искусныйшій, неподражаемый, ничѣмъ не жертвовавшій народности, и при всемъ томъ постоянный ея блюститель.»

»Когда духъ Германскій, въ сущности мечтательный и спрасный, въ припадкахъ отъращения отъ людей и всего въ мірѣ, возносился въ идеальную область любви, пскушаемой дѣйствительностью житейскою; тогда Гёте издалъ *Вертера*, величайшую драму своего времени, и на этомъ остановился. Совершенство творенія уничтожило подражателей; творецъ, довольный пѣмъ, что эпомъ родъ сталъ для другихъ невозможнымъ, обращался къ нему только для того, чтобы издѣваться надъ собственными своими внушеніями. Соотечественники его пустились въ вѣка рыцарства; на театрахъ и въ романахъ громоздился готическія башни, герои покрывались желѣзными латами, вооружались ковыми; не видно было ни искусства, ни истины: Гёте вознегодовалъ — и доославилъ на сценѣ Германской *Гетца фонъ Берлихингенъ*, полное выраженіе природы, сильное, цвѣтнъ

родной земли; все разлюбили въ другихъ то, что прежде правилось. Но поэтъ, совершивъ превосходное созданіе, никогда не принимался за другое подобное. Спали восхищаться красою Греческой, любоваться утонченнымъ чувствомъ, врожденнымъ, нѣжнымъ вкусомъ, потребностью Греческихъ драматическихъ образцовъ: и Гёте сбросилъ съ себя нарядъ среднихъ временъ — написалъ *Ифигенію*, изящную и прелестную, подобную Греческому наваднію, сподъ же благозвучную, сколь благозвучна пѣснь Сафы — чистую и непорочную, какъ чистъ бѣлый свитокъ, вырытый изъ-подъ пепла Геркуланскаго. Онъ тогда же подарилъ читателямъ *Римскія элегіи*, дышущія оправляющею нѣгою Тибулла и Проперція. Пристрастилась Германія къ богатой Италіанской поэзіи; очаровалась прелестію ея гармоніи, неиспощимой, какъ неиспощима въ обилии ея родина, великолѣпной, какъ великолѣпно ея солнце, нѣжной и сладострастной, какъ человекъ въ эшій снранъ: обновился и Гёте — въ его *Торквато Тассъ* огласилась природа музыкальная, истинная, полуденная; раздался языкъ сладкій, благозвучный. До нашего времени никто изъ его подражателей даже не приближался къ эшій усладительной игрѣ фантазій.

»Перейдемъ въ другую область идей: Гёте и тамъ шелъ разными путями. Въ *Эгмонтъ* представилъ онъ пророческую картину освобожденія народнаго, предвозвѣщеннаго утратою одного человека. Но послѣ, когда все восколебалось опъ бурей переворотовъ; когда эшимъ чадомъ ошуманились и умозримельныя головы Германцевъ: Гёте не только не увлекся общимъ пошоломъ, но даже пребылъ въ величественномъ безмолвіи. Онъ пошоложно ошавался аристокрашомъ въ правилахъ

своихъ, желанійхъ, чувствованійхъ, явно обнаруживалъ гордое презрѣніе къ порожествующимъ мнѣніямъ черни. Такъ и въ то время, когда безвѣріе проникло въ Германію; когда страсть къ отвлеченностямъ поколебала основанія нравственныхъ знаній: Гёте сжалился надъ необузданною охотою соотечественниковъ къ метафизическимъ мечтаніямъ — и преслѣдовалъ грозными сарказмами ихъ суесловіе и пытливость. Среди порывовъ Кантизма, онъ мало заботился о непроницаемыхъ, шемныхъ произведеніяхъ Кепитсбергскаго мыслителя, въ тогдашнее время превознесенныхъ общими восторгомъ, а нынѣ едва извѣстныхъ по заглавіямъ.

Въ столь тѣсной рамѣ не мѣзя помѣстить многочисленныхъ швореній Гёте; орасторъ оспана-вливаешь только на нѣкоторыхъ для того, чтобы представить различное направленіе генія, показать пути, по которымъ шествовалъ онъ къ литературному диктаторству въ странѣ своей, пути новые, причудливые, запѣйливые, и доказать, что сравненіе Гёте съ Вольтеромъ и его брашіе погрѣшительно.

Умы своего вѣка покорилъ Гёте не угодли-востью, но ошкрытымъ и постояннымъ про-пшнвоборствомъ. Можетъ быть, дѣйствія его были напередъ расчипаны, и глубокою пронпца-пельностью разгадаъ онъ особенный характеръ народа своего, характеръ важный, созерцашель-ный, спрасшный, искренній; можетъ быть, со-отечественикамъ его нуженъ былъ живой па-радоксъ для полного развитія умственнаго: при всемъ этомъ Гёте, не заботившійся о любви на-родной, былъ сорокъ мѣшъ идоломъ народа и ба-ловнемъ; суровый и надменный, онъ безпрестанно вооружался противъ мимолетныхъ спрасшей и

скоропреходящаго вѣуса; въ прошивноснѣ Вольтеру, безъ обиняковъ объявлялъ, что рукопискскія черни ему прищорны и оледенѣли его — что черни и въ словесноснѣ, равно какъ въ полнщикѣ, не способна управлять сама собою. Фаустъ, одно изъ дивныхъ произведеній его фантазій, дѣйствительно представляешь грозную и зѣкую вронію въ родѣ Рабелэ и Шекспира, возвышенную саниру на снраспѣ Нѣмцевъ копать въ глубинахъ и пропасняхъ таинственноснѣ, разоблачашъ ея покровы — спраспѣ, безумно воспитанную транссцендентальною философіею, разрушительное развитіе которой ускорили познѣшніе мудрованія. Трудно изобразить впечатлѣніе отъ этого шворенія — впечатлѣніе восторга и негодованія; сопещественники его, осмѣливые въ любимыхъ мечтахъ своихъ, глубоко увлеченные и со всѣхъ шпоронъ изложенные, сознавались, что пророкъ ихъ (шакъ называли тогда Гѣте) никогда не повѣдывалъ споль высокыхъ шайнѣ и вдохновеній, никогда не видывали споль проицашельныхъ взглядовъ. Дѣйствительно, до Фауста никогда не объявлялъ Гѣте люшвейшей вражды духу времени; никогда не нападалъ онъ на труды вѣка съ пасмѣнкою споль язвительною. Никто изъ современниковъ Гѣте, при такихъ успѣхахъ Фауста, не дерзалъ вооружаться противъ него, противъ произведенія шворческаго, противъ этой чудной фантастической прихоти; шерпѣли бичеваніе, шолько приговаривая: шакъ сказалъ учитель, *„aitos. Iph.“*

Заклучимъ обзорніе сопещественнаго шпѣйства однимъ изъ всенародныхъ объявленій царешнованія Александра Перваго, соршвѣшнующихъ въ основаніи своемъ совѣщательнымъ рѣчамъ древнихъ. Избираемъ для этого извѣстіе о занатшн періраше-

лемъ Москвы. Этого памятника краснорѣчія есть вмѣстѣ памятникъ и нашей опечесивенной славы.

»Съ крайнею и сокрушающею сердце каждаго сына опечества печалію снмъ возвыщается, что неприятели Сентября 3 числа вступили въ Москву. Но да не унываетъ отъ сего великій народъ Россійскій. Напротивъ, да поклянется всякъ и каждый воскипитъ новымъ духомъ мужества, швердоси и несомнѣнной надежды, что всякое наносимое намъ врагами зло и вредъ обратится напослѣдокъ на главу ихъ. Непріатели заняли Москву не отъ того, чтобы преодолѣть силы наши, или бы ослабилъ ихъ. Главнокомандующій, по совѣту съ первенствующими Генералами, нацѣль за полезное и нужное уступить на время необходимости, дабы съ надежнѣйшими и лучшими попомомъ способами превратить кратковременное торжество неприятели въ неизбежную ему гибель. Сколь ни болѣзненно всякому Русскому слышать, что первопрестольный градъ Москва выжигаетъ въ себя враговъ опечества своего; но она выжигаетъ ихъ въ себя пустая, обнаженная отъ всѣхъ сокровищъ и жителей. Гордый завоеватель надвигаясь, вошелъ въ нее, содвигаясь повелителемъ всего Россійскаго Царства, и предписалъ ему такой миръ, какой благоразсудилъ; но онъ обманулъ въ надеждѣ своей, и не найдетъ въ сполницъ сей не только способовъ господствовать, ниже способовъ существовать. Собранныя и опчаеу больше скопляющіяся силы наши окрестъ Москвы не прешаутъ преграждать ему всѣ пути, и посылаемые отъ него для продовольствія отряды ежедневно испреблять, доколь не увидитъ онъ, что надежда его на пораженіе умовъ взятіемъ Москвы была тщетная, и что по неволѣ дол-

жень онъ будетъ ошворятъ себя пущь изъ ней
 силою оружія. Положеніе его естъ слѣдующее:
 онъ вошелъ въ землю нашу съ шрема стами ты-
 сячъ чловѣкъ, изъ которыхъ главная часть со-
 стоишь изъ разныхъ націй людей, служащихъ и
 повиновающихся ему не отъ усердія, не для за-
 щиты своихъ отечествъ, но отъ постыднаго
 страха и робости. Половина сей разнонародной
 арміи его истреблена, частью храбрыми нашими
 войсками, частью побѣгами, болѣзнями и голодною
 смертію. Съ остальными пришелъ онъ въ Москву.
 Бѣтъ сомнѣнія свѣлое, или лучше сказать, дерз-
 кое стремленіе его въ самую грудь Россіи, и даже
 въ самую древнѣйшую столицу, удовлетворяетъ
 его честолюбію, и подаетъ ему поводъ щесла-
 выться и величаться; но конецъ вѣнчавшъ дѣло.
 Не въ ту страну зашелъ онъ, гдѣ одинъ смѣлый
 шагъ поражаетъ всѣхъ ужасомъ и преклоняетъ
 къ стопамъ его и войска и народъ. Россія не
 привыкла покорствоваться, не потерпѣтъ порабо-
 щенія, не предастъ законовъ своихъ, Вѣры, сво-
 боды, имуществъ. Она съ послѣднею въ груди
 каплею крови станетъ защищать ихъ. Всеобщее
 повсюду видимое усердіе и ревность въ охотномъ
 и добровольномъ шествіи врага ополченіи сви-
 дѣтельствуютъ ясно, сколь крѣпко и непоколебимо
 отечество наше, ограждаемое бодрымъ духомъ
 вѣрныхъ его сыновъ. И такъ, да не унываетъ
 никто: и въ такое ли время унывать можно,
 когда всѣ состоянія Государственныя дышатъ
 мужествомъ и швердосію? Когда непріятель съ
 остаткомъ отчасу болѣе исчезающихъ войскъ
 своихъ, удаленный отъ земли своей, находится
 среди многочисленнаго народа, окруженъ арміями
 нашими, изъ которыхъ одна стоишь противъ

него, а другія при спарающемся преслѣдствіи ему возвращенный путь, и не допускать къ нему никакихъ новыхъ силъ? Когда Испанія не только свергла съ себя иго его, но и угрожаетъ ему впаденіемъ въ его земли? Когда большая часть изнуренной и расхищенной отъ него Европы, служа по неволѣ ему, смолитъ и ожидаетъ съ нетерпѣніемъ минуты, въ которую бы могла вырваться изъ-подъ власти его тяжкой и нестерпимой? Когда собственная земля его не видитъ конца проливаемой ею для славолубія своей и чужой крови? — При томъ бѣдственномъ состояніи всего рода человеческого, не прославится ли шопъ народъ, который, перенесъ всѣ неизбѣжныя съ войною разоренія, наконецъ терпѣливостію и мужествомъ своимъ достигнешъ до того, что не только приобрететъ самъ себѣ прочное и ненарушимое спокойствіе, но и другимъ Державамъ доставитъ оное, и даже шѣмъ самымъ, которыя противъ воли своей съ нимъ воюють? — Прияшно и свойственно добродушному народу за зло воздавать добромъ. Боже Всемогушій! обрати милосердыя очи Твои на молящуюся Тебѣ съ колѣнопреклоненіемъ Россійскую Церковь. Даруй поборающему по правдѣ вѣрному народу Твоему бодрость духа и терпѣніе. Сими да воспоржесшвуешь онъ надъ врагомъ своимъ, да преодолеетъ его, и, спасая себя, спасетъ свободу и независимость Царей и Царствъ.»

Исторія Словесности представитъ многіе общественные образцы въ красноречіи духовномъ и академическомъ; въ Философіи же Словесности достаточно предложенныхъ примѣровъ, для показанія проявленія общихъ законовъ вышійша въ Русскомъ словѣ.

ЧТЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ.

Объ ораторскомъ произношеніи. — Полнота и легкость въ произношеніи. — Прилпность и сила. — Тѣлодвиженія при произношеніи.

По изслѣдованіи состава и каждой части ораторской рѣчи, перейдемъ къ другому важному предмету въ этомъ родѣ краснорѣчія — къ ораторскому произношенію. Ораторская рѣчь назначается для произношенія; а потому изящное произношеніе должно совершенно соотвѣтствовать изяществу выпійства. Извѣстно, какъ высоко ставилъ его Димосеенъ, по свидѣтельству Цицерона и Квинтилиана. У него спрашивали, что всего важнѣе въ выпійствѣ?.. Произношеніе, отвѣчалъ онъ. Потомъ? Произношеніе. А наконецъ? — Тоже произношеніе. И удивительно ли, что самъ Димосеенъ необыкновенными успіями искусства старался вознаградить природный недостатокъ въ своемъ произношеніи? Непосвященные въ таинства ораторскаго искусства думаютъ, что произношеніе служитъ только къ украшенію рѣчи и употребляется, какъ второстепенное средство для возбужденія вниманія слушателей. Такое мнѣніе совершенно несправедливо. Изящное произношеніе тѣсно соединяется съ намѣреніемъ выпій — убѣжденіемъ. Воиъ, почему искусство произноситъ, какъ часть выпійства, составляетъ предметъ изученія для ораторовъ.

Словесное сообщеніе другимъ мыслей своихъ и чувствованій всегда предполагаетъ въ насъ намѣреніе произвести впечатлѣніе на тѣхъ, къ кому обра-

щаемъ свое слово. Перемены голоса, швлодвиженія, глаза, какъ исполкователи помысловъ нашихъ и чувствованій, столько же, какъ и слова, даже иногда сильнѣе, насъ поражаютъ. Не рѣдко одинъ выразительный взглядъ, одно восклицаніе, безъ помощи словъ, высказываютъ намъ душу чловѣка, и мысли, и спраски, чего не произведетъ цѣлая рѣчь, произнесенная безъ одушевленія. Голосъ и швлодвиженіе, по словамъ Цицерона, составляютъ какъ бы особое краснорѣчіе (*). Этошъ языкъ швлодвиженія имѣетъ шо особенное преимущество, по силѣ дѣйствія своего, что всѣмъ и каждому равно понятенъ, всѣ имъ говорятъ. Пошому-шо изящное слово, для полнаго дѣйствія, перебуентъ изящнаго произношенія. Кто произноситъ слова безъ выраженія чувствованій и мыслей возвышеніемъ и пониженіемъ голоса, шотъ произведетъ въ насъ впечатлѣніе слабое и смѣшанное, иногда вовсе сомнительное. Между чувствованіями и ихъ выраженіемъ шполъ шѣсная связь, что, кто произноситъ неспешенно, шотъ не убѣдитъ насъ и не преклонитъ воли нашей на свою сторону: произношеніе обнаружитъ несогласіе словъ съ чувствованіями. Маркъ Каллдіій, обвинявшій провинника своего въ покушеніи на его жизнь, говорилъ шакъ слабо и вяло, что Цицеронъ, защитникъ обвиненнаго, воспользовался эшимъ провинъ самаго обвинителя. »Не уже ли — сказалъ онъ между прочимъ Марку Каллдію — сталъ бы ты говорить шакъ хладнокровно, если бы вполне убѣжденъ былъ въ справедливости своего обвиненія?» — Шекспиръ

(*) Cic. Orat. c. 55. Est actio quasi quaedam eloquentia, cum constet a voce atque motu.

зналъ также эту тайну слова: въ трагедіи «Ричардъ III» Герцогиня Йоркская, обвиняя супруга своего въ недоспанихъ искренности, говоритъ: Посмотрѣние на его лице — изъ глазъ его не льются слезы; мольбы ему забава; слова его высекаютъ изъ устъ, а наши изъ глубины сердца. Онъ умоляетъ, но слабо, и не съ шты, чтобы умолишь; мы молимъ онъ сердца и души.»

Почитая излишнимъ распространяться болѣе о важности произношенія, исчислимъ важнѣйшія замѣчанія касательно этого искусства.

Въ произношеніи представляются два главные предмета: во-первыхъ, ясность или полное и легкое сообщеніе слова слушателямъ; во-вторыхъ, приятность и сила, доставляющія удовольствіе и увлекающія вниманіе. Разсмотримъ порознь каждый изъ этихъ предметовъ (*).

Полное и легкое сообщеніе слова пребудетъ громкаго голоса, раздѣльности и внятности въ звукахъ словъ, медленности въ извѣстной снѣпении и правильнаго выговора.

Прежде всего должно стараться о произношеніи громкомъ для того, чтобы насъ могли слышать шъ, къ которымъ обращаемъ ны слово. Для этого пусть голосъ наполняетъ все пространство, гдѣ рѣчь произносится. Скажутъ, можетъ быть, что

(*) О произношеніи можно читать: Quintil. L. XI. — *Gothe's Werke*, Bd. 44. — *J. Walker's Elements of Elocution*; Lond. 1781. 2 voll. 8. — *Thom. Sheridan's Lectures on the art of Reading*, in two parts; Lond. 1781. 8., особенно первая часть: *The art of reading Prose*. — *Frank über Declamation*; Gött. 1789 и 92. 2. Bde. 8. — (*Cludius*) *Grundriss der körperl. Beredsamkeit*; Hamburg, 1792. 8. — *Eberhard's Handbuch der Aesthetik*, B. III.

это даръ природы. Дѣйствительно, громкій голосъ дается природою; однако и эта врожденная способность совершенствуется искусствомъ. Навыкъ возвышать голосъ до приличнаго тона и искусно управлять имъ подаетъ здѣсь величайшую помощь. Въ человѣческомъ голосѣ различаютъ три тона: высокій, средній и низкій. Первый употребляемъ мы, когда зовемъ кого-либо издали; низкимъ тономъ сообщаемъ тайну; средній — есть тонъ обыкновеннаго разговора; онъ же въ особенности приличествуетъ ораторскому произношенію. Иные думаютъ, что въ многочисленномъ собраніи надобно говорить тономъ высокимъ. Это значитъ смѣшивать два различныхъ понятія — силу, или напряженность голоса, и тонъ, которымъ говоримъ. Мы можемъ напрягать, или усиливать голосъ, не измѣняя тона; легче возвышать голосъ, придавать ему приличную силу, или напряженность, когда говоримъ тономъ обыкновеннаго разговора. Напротивъ, начавъ слово тономъ слишкомъ высокимъ, мы спѣсимъ голосъ и должны говорить принужденно. Ослабѣвъ, съ трудомъ произносимъ; отсюда естественнѣе происходитъ ушомленіе и въ слушателяхъ. Давайте голосу своему всю силу и полношу; но соблюдайте тонъ разговорный, не возвышайте голоса до той степени, которая требуетъ необыкновеннаго усилія. Пока вы не будете выходить изъ этихъ предѣловъ, голосъ вашъ будетъ легокъ и ясенъ; вы имъ удобно управите: иначе — вы не въ состояніи имъ располагать. Полезно устремлять взоры на отдаленныхъ слушателей, къ нимъ обращать свою рѣчь. Тогда невольно усиливаемъ голосъ, и взаимно возбуждаемъ вниманіе. Такъ бываетъ въ общественныхъ бесѣдахъ и въ рѣчи

ораторской. Не забудемъ, что слишкомъ громкій голосъ въ томъ и другомъ случаѣ не нравится; звуки сливаются въ неясные и смѣшанные отголоски. Припомъ усиленный шонъ даетъ оратору невыгодный видъ чловѣка, желающаго преклонить волю слушателей единственно силою голоса.

Другое условіе яснаго произношенія — раздѣльность звуковъ въ словахъ, еще пужнѣ сильнаго голоса. Что касается до громкости голоса, не столь много требуется напряженности, какъ обыкновенно полагаютъ. Слабый, но ясный; раздѣльный голосъ, слышимся на дальнѣйшемъ разстояніи, нежели голосъ громкій, но смѣшанный. На это существенное и важное условіе ораторъ долженъ обращать особенное вниманіе: наблюдать, чтобы каждый звукъ имѣлъ надлежащую продолжительность; чтобы каждый слогъ и каждая буква выговаривались раздѣльно, полно и правильно.

Для раздѣльнаго выговора словъ необходима въ произношеніи извѣстная степень медленности. Надобно избѣгать скорого произношенія, отъ котораго сливаются звуки и затемняется смыслъ рѣчи; равно должно удалаться и противоположной крайности: вялое и неодушевленное произношеніе, напередъ позволяя угадывать мысли чиншающаго, утомляетъ слушателей и наводитъ на нихъ скуку. Поспѣшность есть болѣе обыкновенный недостатокъ; его должно остерегаться тѣмъ болѣе, что, однажды привыкнувъ произносить скоро, вы съ трудомъ можете оставить такую привычку. Напротивъ, нескорый, раздѣльный и полный выговоръ всѣхъ звуковъ — вотъ первое необходимое условіе для изящнаго произношенія. Такое произношеніе придаетъ рѣчи достоинство, вспомогательствуетъ и голосу, доставляетъ оратору ошдохъ

новеніе, опъ него звуки получаютьъ полношу, мысли и чувствованія выражаются съ надлежащею силою. Такимъ образомъ сохраняется присутствіе духа, необходимое для оратора, между тѣмъ какъ произношеніе скорое смущаетъ душу. «Пусть будетъ произношеніе, замѣчаетъ Квинтилианъ, поспѣшное и нешоропливое, медленное и непростѣжное (*).»

Слѣдуетъ правильность выговора. Въ этомъ должно подражать людямъ образованнымъ и избѣгать выговора грубаго, проспонароднаго и областнаго, какъ для ясности, такъ и для изящества рѣчи. Въ нашемъ языкѣ величайшее затрудненіе представляется въ удареніяхъ. Каждое простое реченіе имѣетъ только одно удареніе; его-то должно изучать въ каждомъ словѣ. Иные погрѣшаютъ противъ этого правила, повышая голосъ надъ нѣсколькими слогами въ простыхъ реченіяхъ, желая тѣмъ самымъ придавать рѣчи болѣе силы и выразительности; но такое напыщенное и принужденное произношеніе ни въ какомъ языкѣ не можетъ правиться.

Теперь изслѣдуемъ высшія качества произношенія, приятность и силу, состоящія въ повышеніи голоса, ошдохновеніи, тонѣ и тѣлодвиженіяхъ. — Иные думаютъ, что строгое соблюденіе правилъ произношенія нужно въ сильныхъ мѣстахъ какого-либо сочиненія. Напротивъ, произношеніе всякой рѣчи, умѣренной и спокойной, требуетъ повышенія голоса, надлежащей разspanовки, приличнаго тона и тѣлодвиженій; одно только изящное произношеніе привлекаетъ вниманіе слушателей и придаетъ рѣчи силу убѣжденія.

(*) «Promptum sit os, non præceps; moderatum, non lentum.»

Прежде всего объяснимъ повышеніе голоса. Сильнѣйшее удареніе обыкновенно дѣлаемъ мы надъ пѣмъ словомъ, въ которомъ заключается особенная важность, и къ которому непосредственно относятся прочія части предложенія. Такое слово нужно оплечать особеннымъ звукомъ, равно какъ и удареніемъ. Опъ повышенія голоса рѣчь становится живою и одушевленной, а безъ него она слаба, нерѣдко даже двусмысленна. Сила выраженія въ ораторской рѣчи часто зависитъ опъ повышенія голоса; опъ него одна и та же мысль получаетъ различный смыслъ. Въ обращеніи Спасителя къ Іудѣ: «Лобзаніемъ ли сына человѣческаго предаешь?» мы видимъ, какъ измѣняется мысль опъ различного произношенія. «Лобзаніемъ ли сына человѣческаго *предаешь*?» указываетъ на ужасное преступленіе. «Лобзаніемъ ли *сына* *человѣческаго* предаешь?» останавливаетъ вниманіе на высокомъ званіи Спасителя. «Лобзаніемъ ли сына *человѣческаго* предаешь?» показываетъ недостойное употребленіе знаковъ дружества на погибель ближняго.

Для правильного употребленія повышенія голоса надобно быть проникнутому мыслями своими и чувствованіями, постигать ихъ значеніе. Навыкъ правильно повышать голосъ и оплечать упомоченные опливы мысли бываетъ слѣдствіемъ глубокаго изученія смысла сочиненій и вниманія при произношеніи; имъ познается вѣрность вкуса, тонкость сужденія. Кто изъ насъ не испытываетъ, что и произношеніе, и чтеніе, оживляемыл правильнымъ повышеніемъ голоса, производятъ совершенно другое дѣйствіе, въ сравненіи съ чтеніемъ однообразнымъ? Такъ точно одно и то же музыкальное сочиненіе, смотря по различной игрѣ, производитъ различныя дѣйствія.

До произношенія рѣчи въ собраніи полезно прочитывать ее, опмѣчать мѣста повышеній голоса, особливо въ части рѣчи прогашельной, для лучшаго удержанія въ памяти. Если бы ораторы болѣе занимались этою частію произношенія, не надѣялись бы на внезапное вдохновеніе: глубокое впечатлѣніе, какое производили бы они на слушателей, увѣнчало бы ихъ трудъ. — Замѣтимъ также, что не надобно повышать голоса надъ многими словами, опъ чего они теряютъ свою силу: благо-разумная умѣренность въ этомъ случаѣ составляетъ главнѣйшее правило. Когда ораторъ придаетъ одинакую важность всѣмъ словамъ рѣчи, возвышая голосъ надъ каждымъ словомъ; тогда онъ ни на одну мысль не обратитъ особеннаго вниманія слушателей.

Послѣ повышенія голоса, разстановки при чтеніи пребуотъ также заботливости выпін. Онъ бываютъ двухъ родовъ: однѣ употребляютъ для выразишельности, другія для раздѣленія смысла. Первые слѣдуютъ за какою-либо важною мыслию, на которую обращается вниманіе слушателей. Иногда подобными разстановками мы приготавлиаемъ слушателей къ значительной мысли. Онъ производятъ такое же дѣйствіе, какое и повышение голоса, а потому пребуотъ тѣ же самыя условія для ихъ употребленія. Правильныя разстановки содѣйствуютъ усилению вниманія.

Обыкновенныя разстановки показываютъ дѣленіе мыслей, и въ то же время даютъ оратору возможность переводить дыханіе. Это также составляетъ весьма важную часть въ произношеніи и чтеніи. Во всякой рѣчи надобно оспанавливаться и переводить дыханіе безъ раздѣленія тѣхъ словъ, которыя по смыслу должны быть соединены. Опъ не-

правильной же расстановки періодъ лишается округлости и силы. Для избѣжанія этого, при каждомъ членѣ періода, надобно запасаться столько дыханіемъ, сколько нужно для произношенія. Несправедливо иные думаютъ, что переводить дыханіе надобно только при окончаніи періода и при паденіи голоса. Напротивъ, для этого можно пользоваться всякою остановкою; такимъ только образомъ легко произносить длинные предложенія и періоды, съ соблюденіемъ связи и послѣдовательности въ мысляхъ.

Больше всего вредитъ вниманію слушателей произношеніе нараспѣвъ, пребывающее само по себѣ расстановокъ, независящихъ отъ смысла рѣчи. Мысль должна показывать, гдѣ останавливаться голосу; причины каждой расстановки слушатель ожидаетъ отъ самыхъ мыслей. Въ этомъ лучше согласоваться съ обыкновеннымъ живымъ разговоромъ. Чтобы расстановка въ рѣчи была приемлема и выразительна, надобно не только правильно употреблять ее, но и звукомъ голоса опредѣлять ея свойство: это означеніе вѣрите, нежели означеніе протяжностью или быспрохою. И тогда достаточна легчайшаго измѣненія голоса; даже нужно соблюденіе нѣкошораго размѣра. Во всѣхъ случаяхъ необходимо произносить рѣчь естественно, какъ обыкновенно говоримъ мы, принимая живое участіе въ содержаніи рѣчи.

При чтеніи и произношеніи стиховъ особенно трудно означать правильныя расстановки. Это происходитъ отъ мелодіи стиха, которая сама по себѣ требуетъ извѣстной протяжности: согласить всю протяженіа размѣра съ расстановками, которыя соотвѣтствовали бы мысли — вотъ, въ чемъ состоитъ трудность чтенія и произноше-

пія пріятнаго и сильнаго. Протяжність, зависящая отъ мелодіи стиха, двухъ родовъ: одна на концѣ стиха, другая въ срединѣ, или шакъ называемая цезура. Первая означается рифмою; это и останавливаетъ наше вниманіе. Въ стихахъ бѣлыхъ представляется болѣе свободы въ переходахъ отъ одного стиха къ другому. Когда мысль не требуетъ разстановки; тогда въ окончаніи стиха довольно небольшой остановки, безъ повышенія и пониженія голоса, и безъ всякаго напѣва. Другой родъ разстановки, сказали мы, бываетъ въ срединѣ стиха, гдѣ стихъ дѣлится на два полусташія. Она короче разстановки въ концѣ стиха, однако слухъ и ее замѣчаетъ. Въ Англійскомъ двѣнадцатисложномъ стихѣ эта разстановка бываетъ послѣ четвертаго, пятаго, шестаго или седьмаго слога; въ нашемъ стихѣ только послѣ шестаго. Очень легко читать стихи, которыхъ вдохновеніе цезуры соответствуетъ разстановкѣ мыслей; но если цезура раздѣляетъ слова, соединенныя внутреннимъ смысломъ, то чтеніе становится затруднительно. Главное правило въ этомъ случаѣ — останавливаться по требованіямъ смысла.

Перейдемъ къ тону произношенія, который отличается отъ повышенія и пониженія голоса, и состоитъ въ различныхъ его измѣненіяхъ въ отношеніи къ выразительности. Важность вліянія тона на изящество рѣчи видна изъ свойствъ человеческой природы: каждое чувствованіе имѣетъ особое, свойственное ему измѣненіе голоса; каждая страсть выражается особымъ тономъ. Въ убѣжденіи одно изъ главныхъ началъ есть сочувствіе слушателей съ ораторомъ; цель произношенія и чтенія состоитъ въ томъ, чтобы перелить въ душу слушающаго изображаемыя въ словѣ чувствованія: а для

этого не должно ли въ произношеніи показать, сколь сильно мы сами чувствуемъ, что говоримъ? Въ дѣйствіи духа человѣческаго въ словъ являются или представленіями, или чувствованіями. Подъ первыми разумѣются мысли, рождающіяся въ умъ, а подъ вторыми движенія воли и чувства. Первые изображаютъ вѣщныя предметы, ко вторымъ относятся внутреннія ощущенія. Изящное выраженіе мыслей требуетъ изобразительности; изящное выраженіе чувствованій требуетъ движеній. Какъ же выразить различныя движенія духа безъ соблюденія тоновъ, свойственныхъ различному его состоянію? Главное правило въ этомъ случаѣ — произносить тонами, свойственными живой и умной бесѣдѣ. Извѣстно, что всякой говоритъ съ особеннымъ убѣжденіемъ, излагая мысли о предметахъ близкихъ его сердцу. И не потому ли болѣею частію рѣчи наши при произношеніи необъидительны, что мы оставляемъ обыкновенный, естественный тонъ, замѣняя его тономъ принужденнымъ, искусственнымъ? Справно думаетъ, что на кафедрѣ необходимо перемѣнять естественный голосъ, и произносить тономъ изысканнымъ и напыщеннымъ. Такое заблужденіе вредитъ произношенію; отъ этого иные произносятся нараспѣвъ, утомительно и однообразно. Уклоняясь отъ природы, и желая сообщить рѣчи силу и выразительность, замѣняютъ неподдѣльное выраженіе чувства искусственнымъ благозвучіемъ. Бесѣдуемъ ли мы въ обществѣ, или говоримъ предъ многочисленнымъ собраніемъ: всегда должны помнить, что намѣреніе наше состоитъ въ томъ, чтобы выразить свои чувствованія. Вообразите, что въ бесѣдѣ образованныхъ людей возникаетъ разногласіе, и вы сами принимаете въ

немъ участіе. Представьте свой тонъ и перемѣны голоса, когда вы заставляете себя выслушать и рѣшаете преніе; перенесите эпюшъ тонъ на кафедру, возьмите его за основаніе произношенію своему: и вы будете произносить прилично и сильно.

Мы сказали, что произношеніе ораторской рѣчи должно согласоваться съ тонами общественнаго разговора. Въ сочиненіяхъ обработанныхъ возвышенный слогъ и благозвучные періоды нечувствительно возвышаютъ голосъ до музыкальной наспроенности. Такое произношеніе и чтеніе называется декламаціей. Сколько бы это произношеніе ни удалялось отъ обыкновеннаго выраженія мыслей и чувствованій, оно всегда должно имѣть основаніемъ естественный способъ выраженія. Притомъ непрерывная декламація вредитъ самому сочиненію. Ораторы, приспосаблившіеся къ ней, не рѣдко доходящъ до крайности однообразія. Напротивъ, привыкшіи произносить рѣчи тонами обыкновеннаго разговора, всегда избѣгаютъ этой погрѣшности; его голосъ будетъ столь же разнообразенъ, сколь разнообразны тоны разговора. Совершенное произношеніе заключаетъ въ себѣ два достоинства: изящный, живой разговоръ и величественную, благородную декламацію; въ соединеніи того и другаго способа, по приличію частей рѣчи, состоитъ рѣдкое совершенство декламаціи.

Намъ остается говорить о тѣлодвиженіяхъ. Въ этомъ, равно какъ и въ произношеніи, цѣлыя народы представляютъ замѣчательныя различія: одни сопровождаютъ обыкновенный разговоръ большими тѣлодвиженіями, нежели другіе. Нѣтъ ни одного народа, даже ни одного человека, сколь бы хладнокровенъ онъ ни былъ, который бы не

оживлялъ своей рѣчи какими-либо тѣлодвиженіями, особливо когда говоритъ о предметахъ занимательныхъ. Говорить безъ движенія и не обнаруживать жизни въ словѣ, значить дѣйствовать вопреки природѣ и забывать цѣль вѣдѣнія.

Правила относительно тѣлодвиженій тоже-самыя съ правилами о тонѣ голоса. Замѣчайте взгляды и тѣлодвиженія, въ которыхъ другіе обнаруживаютъ свои внутреннія волненія духа: и вы найдете въ нихъ для себя образцы. Во взглядахъ и въ тѣлодвиженіяхъ много общаго всѣмъ людямъ; найдете также и особенности, принадлежащія только нѣкоторымъ лицамъ. Ораторъ долженъ усвоить тѣ изъ нихъ, которыя въ особенности ему приличны. Припомъ тѣлодвиженія согласуются съ нашими склонностями и привычками; они должны быть ознаменованы пою естественною простою, которой научаешь насъ сама природа. *Тѣлодвиженіе* есть языкъ, общій всему роду человѣческому; онъ равно понятенъ для дикаго и для просвѣщеннаго. Слова, говоритъ Цицеронъ, дѣйствуютъ только на тѣхъ, которые знаютъ языкъ; но и знающіе языкъ не всѣ понимаютъ остро и глубоко мысли; въ людяхъ непросвѣщенныхъ онъ не производятъ никакого дѣйствія. Напротивъ, выраженное тѣлодвиженіями чувство поражаетъ всякаго; потому что эти выраженія намъ всѣмъ общія. Всѣ народы сопровождаютъ рѣчь тѣлодвиженіями, болѣе или менѣе живыми, болѣе или менѣе сходными. Главное правило изящныхъ тѣлодвиженій состоитъ въ согласованіи ихъ со свойствомъ и степеню душевныхъ чувствованій. Части тѣла, преимущественно способствующія изящному произношенію — *голова, лице, глаза, руки.*

Голова, благороднѣйшая часть тѣла, служить и въ произношеніи украшеніемъ оратору; она

также выражаешь внутреннія душевныя движенія. Мановеніемъ головы мы выражаемъ согласіе, удовольствіе, негодованіе, удивленіе, сомнѣніе и другія чувствованія. Движенія головы должны соотвѣтствовать движеніямъ самой рѣчи; но дѣйствовать одною головою не естественнo и не прилично. Потупляющій голову обыкновенно представляется унылымъ; поднимающій голову вверхъ — надменнымъ; склопяющій ее на плеча — небрежнымъ. Самымъ приличнымъ и изящнымъ положеніемъ головы считается положеніе прямое и естественное.

Лице — зеркало души. На немъ изображаются всѣ чувствованія: радость, печаль, гнѣвъ, угрозы, ласка, жалость, ненависть; на немъ мы читаемъ мысли оратора прежде, нежели онъ начинаетъ произносить свое слово. Выраженіе лица, показывающее душевныя совершенства, выше красоты внѣшней. Оно производитъ на насъ сильное впечатлѣніе, что мы по первому взгляду часто любимъ тѣхъ, кого прежде вовсе не знали. Когда мы дѣйствительно глубоко чувствуемъ; иногда лице само собою принимаетъ видъ, приличный свойству и степени чувствованій. Но когда желаемъ подражать дѣйствию страсти, не чувствуя ея; тогда слова рѣдко соглашаются съ выраженіемъ лица. Въ этомъ случаѣ природа, а не наука должна насъ руководствовать.

Глаза въ особенности довершаютъ выразительность лица: въ радости они свѣтлѣютъ, въ печали потемняются. Въ избытокъ радостныхъ чувствованій пробиваются слезы; въ порывахъ горести слезы льются потокомъ. Особенно глаза выражаютъ движеніемъ всѣ страсти, волнующія душу. Самое чело и брови дѣйствуютъ, вмѣстѣ съ глазами, на выраженія чувствованій, то расширяясь и сжимаясь, то возвышаясь и опускаясь. Поло-

женіе шеи должно быть прямое: излишнее про-
тяженіе и сжатіе даютъ безобразный видъ и
измѣняютъ голосъ. Возвышеніе и сжатіе плечъ
также рѣдко могутъ нравиться.

Руки, какъ и слово, служатъ выраженіемъ:
помощію ихъ шребуемъ, зовемъ, отвергаемъ, угро-
жаемъ, умоляемъ, вопрошаемъ, отрицаемъ; или
изъявляемъ радость, печаль, раскаяніе, сожалѣ-
ніе, страхъ, сомнѣніе, удивленіе; или объясня-
емъ способъ, мѣру, количество; или указыва-
емъ мѣста, вещи, лица. При разнообразіи язы-
ковъ, этимъ общимъ способомъ выраженія со-
единяются народы. Бесѣдуя съ другими, мы бо-
лье дѣйствуемъ правою рукою, нежели лѣвою; лѣ-
вая только сопровождаетъ движенія правой и дѣй-
ствуетъ въ сильныхъ порывахъ страсти. Дви-
женіе рукъ должно быть легкое, умѣренное и сво-
бодное, выражать смыслъ рѣчи, а не значеніе каж-
даго слова. Руки говорящихъ не должны нахо-
диться ни въ постоянномъ покоѣ, ни въ непре-
станнымъ движеніи.

Вообще въ тѣлодвиженіи, равно какъ и въ
употребленіи голоса, наставницею должна быть
природа, и сверхъ того приличіе. Поэтому полезно
наблюдать, какъ дѣйствуетъ природа въ разныхъ
движеніяхъ душевныхъ, и какихъ условій шребуешь
приличіе, приписываемое правилами общежитія (*).

Присоединимъ къ изслѣдованіямъ нашимъ, что,
для успешнаго произношенія рѣчи, ораторъ дол-
женъ избѣгать смущенія и внутренняго безпокой-
ства, кошорыя шмоль обыкновенны при первомъ
вступленіи на каедру: надобно сохранять при-
сутствіе духа и владѣть собою. Вѣрнѣйшее сред-
ство для этого быть проникнушу предметомъ

(*) Quintil. I. XI.

своимъ и постигають его важность; стараются болѣе о томъ, чтобы убѣдиль слушателей, нежели о томъ, чтобы имъ понравиться. Орапоръ тѣмъ болѣе нравится, чѣмъ менѣе объ этомъ заботятся. Такимъ только образомъ онъ воспор- жествуетъ надъ страхомъ, отъ котораго приходится въ замѣшательство и забываетъ, чѣмъ и какъ говорить онъ долженъ.

Въ заключеніе совѣтуемъ вышніи избѣгать, сколько можно, всякой принужденности, ослабляющей произношеніе. Каковы бы ни были ваши приемы, будьте сами собою; не подражайте никому и сохраняйте свой личный характеръ. Все естественное, не смотря на недосшатки, имѣетъ величайшую прелесть; въ этомъ самомъ мы узнаемъ чело- вѣка, слышимъ слово, исходящее изъ сердца. — Произношеніе блистательное, но принужденное и искусственное, никогда не нравится слуша- телямъ. Въплнѣ совершенное произношеніе есть рѣдкій даръ природы; но каждый можетъ частнымъ упражненіемъ приобрести произношеніе сильное и приятное. Для этого надобно оставить непри- личныя привычки, всѣмъ болѣе или менѣе свой- ственныя, слѣдовать природѣ, произносить передъ многолюднымъ собраніемъ, какъ говоримъ въ обык- новенныхъ бесѣдахъ, одушевляемыхъ предметами, насъ сильно занимающими. Природныя несовершен- ства въ голосъ и тѣлодвиженіяхъ должно заранѣе исправлять, а не на кафедрѣ предъ собраніемъ. Тупъ надобно быть погружену въ свой предметъ, думать о мысляхъ и чувствованіяхъ, какія намѣрепы передать слушателямъ; изящное произношеніе, за- ранѣе изученное и совершенствованное, служишь исполкователемъ мыслей и чувствованій.

ЧТЕНІЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ.

Преимущественное проявленіе въ изящномъ идеѣ истины, или сочиненія философскія. — Существенное отличіе этого рода краснорѣчія. — Формы философскихъ сочиненій: монологическая, діалогическая и эпистолярная. — Изящество этого рода сочиненій и образцы.

Въ искусствѣ вообще различаемъ мы три рода изображенія жизни нашей: вѣтшей ея споровы, внутренней и гармоническаго соединенія той и другой. Отсюда происходятъ въ немъ три рода представленій: пластическое, музыкальное и словесное. Въ поэзіи и краснорѣчій эти три рода представленій преимущественно обнаруживаются. Человѣкъ, какъ гражданинъ неба и земли, представляетъ въ себѣ идеальную и дѣйствительную жизнь: въ одной развивается свободный духъ его, неограниченный ни мѣстомъ, ни временемъ; во второй — эпопѣя духъ заключенъ въ предѣлахъ видимости. Въ такомъ же взаимномъ отношеніи находятся поэзія и краснорѣчіе. Такъ относятся между собою и три представленія жизни въ словѣ: эпопея и исторія, лирика и философія, драма и вѣтѣйство. Изображеніе временной, конечной жизни въ человѣкѣ, народахъ, чловѣчествѣ, есть предметъ исторіи. Открытіе въ жизни, природѣ и искусствѣ шѣхъ тѣнистыхъ законовъ, по которымъ проявляется благо въ человѣкѣ, истина въ природѣ, изящное въ искусствѣ, составляетъ предметъ философіи. Преимущественное проявленіе истины въ изящномъ словѣ составляетъ отличительное свойство сочиненій философскихъ. Осу-

щесствленіе истины и блага въ дѣйствіяхъ чело-
вѣка изображается въ *витійствѣ* (*).

Въ шопѣ день, когда челоѡвѣкъ въ первый
разъ спалъ размышляя, родилась философія. Она
есть самое размышленіе, въ связи и порядкѣ воз-
вышенное до степени метода. Ни одна истина
не принадлежитъ философіи исключительно, но
вся истины ея собственностъ; ея долгъ опдѣлать
отчепъ во всѣхъ истинахъ, изслѣдоваъ ихъ и
преобразоваъ въ идеи. Изслѣдуя законы челоѡвѣка,
природы и искусства, мысль наша встрѣчаепъ
себя и собою себя понимаетъ. Это встрѣча род-
ства, дружбы. Отъ того столь сладостно и успо-
коительное для духа нашего самопознаніе. Къ
этому открьтію себя самой въ явленіяхъ спре-
мившая мысль наша, жаждепъ изучипъ себя во
всѣхъ существахъ, насъ окружающихъ. Чтоожъ
по этому философія? — Полное развитіе мысли,
потребностъ разумнія, необходимое слѣдствіе не
одного какого-либо ума, но всего челоѡвѣчества
и постепеннаго развитія мыслящей способности.
Какая дивная, безконечная духовная жизнь открь-
вается въ простой, естественной потребности
ума! Какъ жизнь вещественная, изъ себя са-
мой развивалась, продолжается непрерывно: шакъ
и жизнь духовная, царство разума, развивается
безпрестанно. И какимъ же образомъ? Разумъ вездѣ
и всегда шолько себя наблюдаетъ, себя постигаетъ.

Но міръ идей, этошъ міръ философін, для
сильнѣйшаго дѣйствія на насъ, имепъ надобностъ

(*) *Garve's Abhandlung über die Kunst zu denken, in s. Versuchen über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben. — Schelling's Akademische Vorlesungen.*

въ представленіяхъ воображенія и въ чувствованіяхъ сердца. Кто принялъ на себя обязанность быть исполнителемъ истины, тотъ не достигнетъ цѣли своей безъ умѣнья возбуждать въ другихъ вниманіе и любовь къ истинѣ. Одни и тѣ же званія, представленныя въ образахъ изящныхъ, производятъ впечатлѣніе, отличное отъ сухихъ и холодныхъ поученій. Долгъ писателя-философа состоятъ въ осязательномъ изложеніи предмета, постигаемаго размышленіемъ. Мы не довольствуемся простымъ объясненіемъ предметовъ, но ищемъ познаній живыхъ, осязательныхъ. Занимая умъ, мы должны приводить въ дѣйствіе и чувство, и воображеніе. Представьте событія, въ которыхъ открывалось бы сердце человеческое; объясните красоты природы, которыя просвѣщали бы разумъ: вы можете быть увѣрены въ успѣхъ слова своего; оно понравится, научитъ и убѣдитъ.

Философскій, или доказательный элементъ ораторской рѣчи въ полномъ развитіи — вотъ философское сочиненіе. Предметъ такого сочиненія, какъ уже сказали мы, можетъ быть самъ человекъ, природа, искусство. Цѣль философскаго изслѣдованія. — наученіе, изъясненіе причинъ, почему существующее въ насъ и въ природѣ именно такъ, а не иначе должно существовать. Желая раскрыть какую-либо истину, мы сами должны быть ею проникнуты, познать ее глубоко во всѣхъ отношеніяхъ. Покажите намъ собственное воззрѣніе на какой-либо предметъ; откройте въ немъ сторону, еще другими незамѣченную: и ваше сочиненіе прольетъ новый свѣтъ на мышленіе, покажетъ намъ новую истину. А всякая новая истина не новый ли шагъ къ духовному благополучію?

Въ познаніи различать должно лице познающее и предметъ познаваемый. Познающее способностію бываетъ всегда духъ нашъ; предметы же познанія измѣняются. Духу познающему, котораго проявленія въ изъясномъ словъ мы изслѣдуемъ, представляются два различные міра. Въ то время, какъ мы своими глазами, руками и другими чувствами приобретаемъ понятія о предметахъ вещественныхъ, внѣ насъ находящихся, другимъ способомъ мы познаемъ то, что составляетъ внутреннее наше бытіе. Наслаждается ли человекъ или спраждаетъ, вѣришь ли, или сомнѣваешься, желаешь ли чего, или рассуждаешь о чемъ, все это знаетъ точно такъ же, какъ имѣетъ понятіе о предметахъ внѣшнихъ, круглыхъ или четырехугольныхъ, большихъ или малыхъ, жесткихъ или мягкихъ, твердыхъ или жидкихъ. Всякой поэтому познаетъ себя и все, что въ немъ самомъ находится, равно какъ знаетъ предметы внѣшніе и все, что внѣ его. Способы познания эшихъ двухъ міровъ различны. Помощію пяти чувствъ познаемъ міръ внѣшній; для изслѣдованія внутреннего своего бытія мы не имѣемъ въ нихъ надобности. Силою внутреннего чувства и сознанія проникаемъ въ нѣдра своего духовнаго бытія, и хотя не можемъ осязати явленій своего духа, но тѣмъ не менѣе ни одно изъ нихъ не можетъ ускользнуть отъ нашего разумѣнія.

Повторимъ, всякой мыслящій человекъ неоспоримо различаетъ два міра, доступные для его познанія: міръ внѣшній, подлежащій его чувствамъ, и міръ духовный, постигаемый его внутреннимъ чувствомъ. На эти два міра простирается изслѣдованіе истины (*).

(*) *Nouveaux fragmens philosophiques, par Victor Cousin. Paris, 1828, in 8^e.*

Мы не равно пользуемся этими двумя способами знанія. Возьмите въ примѣръ такого наблюдателя, котораго предметъ изученія находится въ природѣ: онъ разсмаприваетъ его номощію чувствъ, всякое познаніе приемлетъ способомъ опытнымъ; вниманіе его совершенно устремляется на міръ внѣшній; безъ сомнѣнія, онъ не перескажетъ имѣть познанія о внутреннемъ своемъ бытіи, но къ этому какъ бы невольно приводится. Почитая важными только тѣ открытія, которыя производитъ силою чувствъ, онъ часто забываетъ, что подобныя открытія можетъ произвести въ другомъ мірѣ, инымъ образомъ. Поспигая все номощію зрѣнія или осязанія, почитаетъ несомнѣнными только тѣ понятія, которыя приобретаетъ этимъ способомъ, и убѣждается, что можно и должно вѣрить только чувствамъ.

Наоборотъ, представьте себѣ такого человека, который всю жизнь посвящаетъ наблюденіямъ надъ дѣятельностью мысли, надъ игрою страстей, отыскиваетъ причины, поражающія наши обычаи, и свои внутреннія размышленія прерываетъ только для удовлетворенія необходимыхъ житейскихъ потребностей: онъ какъ бы блуждаетъ въ видимомъ мірѣ, ничего не замѣчая и не слыша, погруженный въ созерцаніе того, что заключается въ немъ самомъ. Предметъ его занятій происходитъ изъ внутреннего сознанія, а не изъ глазъ и рукъ, какъ у перваго наблюдателя. Весь его разумъ погружается въ изслѣдованія собственнаго духа. Хотя чувства служатъ ему средствомъ, доставляющимъ познаніе объ отношеніи и свойствахъ предметовъ внѣшнихъ; но такое приобрѣтеніе знанія усвоается ему безъ его наблюденій; онъ получаетъ эти свѣдѣнія спрда-

тельно и по обычному употребленію. Міръ ви́шній такъ же чуждъ для него, какъ міръ внутренній для довѣряющаго чувствамъ. Онъ точно знаетъ все, что внутри его; это представляется ему дѣйствительнымъ, яснымъ и очевиднымъ; все прочее онъ усматриваетъ какъ бы вдали. Изъ этого онъ заключаетъ, что умозрѣніе есть единственный способъ истиннаго знанія; онъ вполнину только вѣришь своимъ чувствамъ; даже иногда покушается принимать міръ вещественный за призракъ или мечту.

Предложите тому и другому вопросъ: *какъ можемъ мы познать истину?* Руководствующійся чувствами укажетъ на предметы ви́шніе, подлежащіе его органамъ чувствъ, а умозритель — на явленія внутреннія, доступныя его сознанію. Вотъ начало двухъ противоположныхъ способовъ знанія, *умозрительнаго* и *опытнаго*. Нельзя сказать, чтобы всѣ эмпирики отрицали несомнѣнное существованіе духовнаго знанія, равно и идеалисты не будутъ отвергать существованія чувствъ; но для первыхъ чувство внутреннее не составляетъ столь важнаго предмета, какъ чувства ви́шнія, не столь важныя въ глазахъ послѣднихъ; сверхъ того можно предположить, что найдутся между тѣми и другими умы односпороніе, которые будутъ оприцать, съ одной стороны, бытіе умозрительнаго вѣдѣнія, а съ другой — существованіе міра ви́шняго; каждая спорона признаетъ нелѣпыми требованія спорной противной, исключительно будетъ увѣрена въ своемъ мнѣніи и признаетъ его истиннымъ.

Не споримъ, что опытный способъ познанія очевиднѣе, нежели способъ умозрительный. Пошребности чело́вѣка - младенца призывають его

въ міръ вѣднѣй; въ это время образуется способность понимать, посредствомъ вѣднѣхъ чувствъ; съ печеніемъ времени шакое способъ познанія замѣняется другимъ, высшимъ. Въ этомъ заключается причина того, что мы встрѣчаемъ мало людей, которые разсмапривали бы наиболѣе природу внутреннюю; наоборотъ, умозрители, удовлетворяя требованіямъ духа, не могутъ не признавать справедливости чувствъ. Жизненные потребности, общественыя обязанности опклоняютъ ихъ опъ любимыхъ размышлений и призываютъ иногда въ міръ вѣднѣй.

Спрашно было бы допустить, что одинъ изъ этихъ двухъ способовъ, разсмаприваемый порознь, справедливѣе другаго. Мы не можемъ познавать внутреннего своего бытія глазами и руками: глаза не видятъ духа, руки его не осязаютъ. Съ другой стороны, мы не въ состояніи посредствомъ умозрѣнія постигать міръ вѣднѣй: онъ внѣ насъ находится. И шакъ способы познанія этихъ двухъ міровъ различны. Внутреннюю природу свою мы можемъ чувствовать, вѣднѣю ощущать; эти два различные способа необходимы въ совокупности. Но способностью, приемлющею въ себя понятія о вѣднѣмъ и внутреннемъ, всегда бываетъ только умъ. Отвергаетъ силу его свидѣтельство въ одномъ случаѣ, значитъ не надѣяшься на него въ другомъ. Вѣришь опыту и не вѣришь умозрѣнію, или наоборотъ, доверяешь умозрѣнію и не вѣришь опыту, значитъ не вѣришь, въ одно и тоже время, уму; и потому эмпирики, доверяющіе только чувствамъ, и умозрители, полагающіеся на размышленіе, взаимно исключаютъ себя — они несправедливы. Таковы заблужденія ума человеческого, когда онъ, обнимая одну только сторону истины, про-

читають понятія свої совершенними. Мысляцій вѣрний и вишнимъ чувствамъ, и внутреннему сознанию; онъ не сомнѣвается въ своей способности мышленія, равно видя, что извѣстное шло имѣетъ пространство, не сомнѣвается и въ его действительности. Но это равновѣсіе исчезаетъ для того, кто довѣряетъ своимъ чувствамъ болѣе, нежели умозрѣнію, и для того, кто болѣе познаетъ посредствомъ умозрѣнія, нежели помощью чувствъ; уваженіе къ первому способу увеличивается на счетъ униженія послѣдняго, а частію умозрѣніе, частію опытъ мѣняюща между собою преимуществомъ, тогда какъ они должны быть равны въ своей силѣ. Въ сочиненіяхъ философскихъ, имѣющихъ цѣлю истину, необходимо различать эти два способа приобрѣтенія знаній, или изслѣдованія истины: умозрительный способъ безъ опытного ведетъ къ опвлеченностямъ, опытный безъ умозрительнаго непроченъ; оба способа въ совокупности представляютъ живое созерцаніе природы, человека и искусства. Такое изслѣдованіе истины, изложенное въ словъ, будетъ изящно.

И такъ желаніе учить людей просвѣщенныхъ, вновь рѣшить лучше и удачнѣе, что было рѣшаемо въ продолженіе вѣковъ и многими — это желаніе требуетъ весьма важныхъ условій. Чтобы судить о какомъ-либо предметѣ основательно, надобно имѣть, во-первыхъ, вѣрное воззрѣніе на предметы, во-вторыхъ, запасъ всѣхъ свѣдѣній, относящихся къ предметамъ, повторить всѣ опыты, обозрѣть всѣ обстоятельства, пересмотрѣть всѣ мнѣнія. Послѣ писателей столѣтій вѣковъ и народовъ въ наше время трудно найти новыя изображенія и картины; болѣею частію мы подбираемъ колосья, которые древніе обро-

пн.л. При всемъ этомъ, кто внимательно созерцаетъ природу, безконечно разнообразную; кто наблюдаетъ человека въ исторіи и разгадываетъ психологическія причины всѣхъ явленій исторической жизни; кто проникаетъ въ творческій духъ изящныхъ произведеній: тогдѣ найдетъ много новыхъ изображеній, новыхъ картинъ, новыхъ доказательствъ. Вся ли глѣба одушевленныхъ и неодушевленныхъ нами изслѣдована? Вся ли свойства организма нашего, души нашей разгаданы? Проникнуты ли всѣ отношенія человека къ міру и міра къ Творцу его и Зажидателю? Посмотрите въ ясную ночь на твердь небесную, гдѣ взоръ вашъ теряется въ безпредѣльности; такова безпредѣльность поприща знаній для познающаго разума. Отъ чего въ сужденіяхъ нашихъ происходятъ пренія, несогласія, противорѣчія? Отъ того, что разумокъ нашъ иногда бываетъ подѣ влияніемъ страстей — онъ принимаетъ различныя виды, смотря по дѣйствію воли нашей; а потому достоинство просвѣщеннаго пребудетъ, чтобы мы вознеслись превыше всѣхъ страстей — чтобы мы со всею независимостью отъ нихъ искали чистаго свѣта истины. Присоедините къ этому мнѣнію, господствующія въ каждомъ изъ насъ, образующія духъ времени и составляющія характеристику народную: вошъ источники заблужденій при нашихъ соображеніяхъ. Когда поставимъ себя выше грубой атмосферы, которою дышимъ чернѣ, увлекающаяся чужимъ мнѣніемъ: тогда разумокъ нашъ, здравый и чистый, будетъ дѣйствовать самъ собою, озаренный свѣтомъ истины. — При такихъ только условіяхъ слово представляется разумомъ въ явленіи и достигаетъ высокаго назначенія своего — повѣдать истину, указывать на благо, изображать изящество.

Расположеніе сочиненія философскаго совершенно зависить отъ основнаго умозаключенія; оно можетъ начинаться или съ общихъ истинъ и оканчиваться частными приложеніями, или на оборотъ, отъ частныхъ случаевъ восходить къ общимъ началамъ; въ первомъ случаѣ разсужденіе будетъ слѣдовать методу синтетическому, во второмъ — аналитическому. Систематическое раздѣленіе каждой части сочиненія также согласно съ развитіемъ посылокъ умозаключенія. Опредѣлите въ самомъ началѣ вопросъ или задачу вашу, покажите всѣ части, на какія вопросъ разлагается: и вы направите все вниманіе слушателей на одну точку — вы сами будете въ извѣстныхъ предѣлахъ, изъ которыхъ не позволите себѣ выходить. Изъ частныхъ познаній разумъ помощію отвлеченія легко выводитъ общія; но когда общія истины предлагаются безъ раздѣленія на частныя, не представляются въ образахъ и картинахъ, дѣйствующихъ на воображеніе: тогда общія понятія сбивчиво начерчиваются въ умъ нашъ или даже бывающъ невразумительны. Въ синтетическомъ и въ аналитическомъ способѣ разсужденія лучше дѣйствовать на разумъ не прямо, а посредствомъ воображенія.

»Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci,
Lectorem delectando, pariterque monendo.«

Въ сочиненіяхъ объ ученыхъ предметахъ, читаемыхъ въ собраніяхъ при торжественныхъ случаяхъ, прилично обращаться ко времени, мѣсту и обстоятельствамъ, при которыхъ разсужденія читаются. Такое отступленіе, какъ и въ ораторской рѣчи, должно быть самое простое, при томъ извлеченное изъ сущности объясняемаго предмета.

Изложеніе въ области философіи должно быть образцомъ точности и порядка. Философія не чуждается украшеній, кспати и съ бережливостью разбросанныхъ въ сочиненіи; однако первое достоинство въ ней — ясность. Слова новыя, недовольно вразумительныя, или ненужныя, принужденность, надутость, затемняютъ предметъ. Примѣры, заимствованныя изъ испорин, придають сужденіямъ убѣдительность и служатъ имъ украшеніемъ. Изысканная витіеватость не имѣетъ мѣста тамъ, гдѣ идетъ дѣло о разсмотрѣніи предмета со всѣхъ сторонъ — о томъ, чтобы извлечь истину. Не можетъ ли поэтъ открывъ се, кто готовъ пожертвовать ея желанію окличнуться, кто ищетъ красивыхъ словъ въ замѣну мыслей? Излишніе подразденія, безъ очевидной надобности вновь составляемыя слова, необыкновенные обороты, слишкомъ длинныя вставки, запущанность, опъ кошорой связываются понятія и порядокъ развитія понятій — все это затемняетъ предметъ, вивство объясненія. Не рѣдко такая шемнопа служивъ прикрытіемъ спранныхъ, даже нелѣпыхъ сужденій. — Во многихъ, особливо въ юношахъ, замѣчается при изложеніи спросъ преувеличиваетъ предметъ, о кошоромъ разсуждаютъ, превозносивъ, приписывать ему всѣ событія въ мірѣ. Безъ сомнѣнія, должно обращать все вниманіе на объясняемый предметъ; однако не надобно пераивъ изъ виду я того, чѣмъ этошъ предметъ обставленъ. Каждый предметъ самъ по себѣ составляетъ часть цѣлаго; въ этомъ цѣломъ каждая частъ имѣетъ свое мѣсто, свою степень, свои различныя стороны: показавъ въ точности всѣ эти отношенія или по крайней мѣрѣ къ нимъ приблизивъ — таковы обязанности писателя-философа.

Желая способствовать силѣ разума, онъ одушевляетъ рѣчь теплою чувствителію и живостью воображенія. Въ этомъ родѣ сочиненій преимущественно подтверждается мудрое прреченіе поэта: *Scribendi recte sapere est et principium et fons*. «Сознаюсь, говоритъ великій Римскій впрійя, что я обязанъ совершенствованіемъ дара слова не урокамъ риторовъ, но наставленіямъ Академіи. Тамъ питался я поученіями Платона; тамъ поучаюсь и приходить въ силу духъ впрійя; отсюда истекаетъ обиліе рѣчи.» Въ особенностяхъ адть славное шило писателя сплзаентъ топъ, кто вступаетъ на это поприще вооруженный разнообразными свадзіями, подобно воину, гоповому еразіться съ непріятелемъ, облеченному въ доспихи брани. Чтенія Ф. и В. Шлегелей объ исторіи словесности и драмъ, Вильменовъ о словесности Французской, Сомгеровъ и Жанголевы разсужденія объ эстетикѣ, Шубертовы, Ансильоновы и Мерзлякова разсужденія о физическихъ, нравственныхъ и литературныхъ предметахъ — могутъ служить образцами изящнаго слова въ области мысленія.

Философскія сочиненія принимаютъ, кромѣ формы монологической, форму діалогическую и эпистоларную.

Діалогическая форма особенно употребляется въ шѣхъ случаяхъ, когда надобно представить истину съ различныхъ сторонъ. Древніе пользовались ею часто въ своихъ философскихъ сочиненіяхъ; въ ней испытывали силы свои и новые писатели. Разговоръ бываетъ двухъ различныхъ родовъ: или его ведутъ между собою многія лица безъ участія сочинителя — таковъ способъ Платона; или въ немъ является и самъ сочинитель для большаго убжденія разговаривающихъ лицъ —

этому способу постоянно слѣдовалъ Цицеронъ. Хотя эти два способа различаются нѣсколько между собою; но основаніе ихъ одно и то же, и они подчинены однимъ и тѣмъ же законамъ.

Если разговоръ того или другаго вида имѣетъ предметомъ развитіе идей истинны, блага и излещества; если еще идеи въ немъ вполне раскрыты: то такое сочиненіе достойно можетъ занять мѣсто между художественными произведеніями. Исполненіе этого впрочемъ и не такъ легко, какъ обыкновенно о томъ думаютъ. Не довольно вывести на сцену нѣсколько разговаривающихъ лицъ: дѣйствительный разговоръ долженъ быть выраженіемъ одушевленной бесѣды. Характеристики и всѣ поступки вводимыхъ въ него лицъ должны быть резко оплечены, — мысли, даже самыя выраженія, составляющія особенности каждаго лица, выдержаны во всемъ сочиненіи. Такое изложеніе истинны представляется поразительнымъ. Въ преніяхъ различныхъ лицъ мы ясно видимъ собственныя ихъ мнѣнія, какъ бы слушаемъ живую бесѣду, поучительную и приятную.

Въ большей части разговоры новыхъ писателей находимъ одну только витѣнную форму, а не живой разговоръ общественный. Выводятъ нѣсколько разговаривающихъ лицъ, которыхъ послѣ общихъ мнѣній о приятности вечера или ушра, о мѣстоположеніи, начинаютъ рѣчь о какомъ-либо важномъ предметѣ: и что же узнаемъ мы изъ такого разговора? Въ одномъ лицѣ является самъ сочинитель, разумѣется, всегда ученый, разсуждающій обо всемъ здраво и справедливо; отъ другаго слышимъ ничтожныя выраженія. Первое изъ этихъ лицъ одерживаетъ надъ своимъ противникомъ совершенную побѣду. Сочине-

ніа такого рода холодны и нисколько не занима- шельны. Эшо разговоръ по дной формѣ, а не по духу разсужденія. Подобныя сочиненія смѣшива- ютъ шолько наши попатія, а не просвѣтляютъ ума. Вмѣсто эшого, не лучше ли излагать пред- метъ прямо отъ себя, въ формѣ монологической, не вводя въ разговоръ ничтожныа лица?

Платонъ, по изяществу разговоръ, безспорно занимаетъ первое мѣсто между древними. Онъ описываетъ часто самое мѣсто дѣйствія и всѣ обстоятельствоа разговора. Характеры различныхъ софистовъ, которыхъ въ несправедливости лю- билъ обличать Сократъ, выражены совѣсно отпѣт- ками. У него дѣйствующія лица разнообразны; въ ихъ разговоръ, исполненномъ огня и жизни, слышишь живую рѣчь. Изъ древнихъ и новыхъ писателей никто не сравнится съ Платономъ въ богатствѣ и красотѣ воображенія. Но при эшомъ блестящемъ воображеніи, въ немъ выказывается плодовитость, иногда затемняющая главную мысль — и эшо единственный его недоспашокъ. Воображе- ніе часто увлекаетъ Платона въ область аллегорій, вымысловъ и восторга. Платонъ является шо по- эшомъ, шо филарсофомъ. Если онъ не всегда изла- гаетъ намъ новыа, поучительныа мысли, какія мы привыкли слышать отъ него, по крайней мѣрѣ всегда учишь изяцному выраженію — всегда мы оспаемся пораженныа удивленіемъ его высокому генію.

Въ разговорахъ Цицерона, заключающихъ въ себѣ многія философскія и кришическіа изслѣдова- ніа, нѣтъ ни живости, ни выразительности ха- рактеровъ, что соспавляетъ достоинство разго- воровъ Платона; однако нѣкоторыа, въ особен- ности разговоръ: Объ Ораторѣ, занимашельны и естественны. Разговоры Цицероновы происходятъ

между знаменитыми лицами древняго Рима, въ бесѣдѣ образованной и величественной: это невольно внушаетъ участіе. Краснорѣчивый разговоръ — о причинахъ упадка Римскаго краснорѣчія, приписываемый иными Квинтилиану, другими Тациту, есть счастливое подражаніе Цицерону; даже сочинитель его превзошелъ самого Цицерона.

Лукіанъ писалъ также разговоры съ большимъ успѣхомъ. Характеръ его болѣе остроуміе, нежели глубина мыслей; въ этомъ онъ можетъ служить образцомъ. Веселость и проникательный умъ составляютъ его достоинство. Изображеніе странныхъ предразсудковъ и суетнаго мудрованія философовъ его времени — вошъ предметъ Лукіана. Разговоры боговъ и въ царствѣ мертвыхъ представляютъ современную жизнь писателя и вѣрованія вѣка. Многіе изъ новѣйшихъ писателей подражали разговорамъ въ царствѣ мертвыхъ. Таковы разговоры *Фонтенелля*, отличающіеся живописію и приятностію; но всѣ дѣйствующія лица, какія имена они ни носятъ, выражаютъ характеръ его соотечественниковъ. Первенство разговора, живаго и занимательнаго, похожаго на разговоръ Платоновъ, между новыми писателями принадлежитъ *Солгеру*. Зрвигъ его, или разговоръ объ изящномъ, отличается глубокомысліемъ и одушевленною рѣчью Платона. Вся трудность разговора о нравственномъ предметѣ состоитъ въ изображеніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ; потому что въ спокойномъ разговорѣ нѣтъ дѣйствія и разнообразія въ положеніяхъ, какія можно представить въ драмѣ. Этимъ и объясняется, почему такъ мало отличныхъ писателей разговоровъ. Вошъ отрывокъ изъ Цицеронова разговора: *О старости*. Послушаемъ только Кашона;

оспавивъ Сципіона и Леліа. Извѣстіе разговора состоишь въ вѣрномъ изображеніи характера главнаго лица, которое въ истинѣ словъ своихъ убѣждаетъ просто, осязательно, и само проникнуто эшою истиною. Этошь родъ преимущественно принадлежитъ древности: все ученіе ихъ было діалогическое, разговорное.

»Вы удивляетесь, что я не скучаю старостью; но чему шущъ удивляться? Всякой возрастъ имѣетъ непріятности для того, кто въ самомъ себѣ не находитъ удовольствія. Напротивъ, довольный собою не ропщетъ на то, что зависить отъ законовъ природы. — *Такова старость! Всѣ приближаются къ ней, и всѣ жалуются, когда ее достигаютъ. Вотъ постыдливое человѣческое!*»

»Говорящъ, старость обыкновенно приходишь, какъ гость нежданный. Спранное ослабленіе! Развѣ мужество скорѣе смѣняется старостью, нежели дѣтство юностью? И уже ли старость была бы въ восемь сотъ лѣтъ сионѣе, нежели въ восемьдесятъ? Минувшіе годы, сколько бы ихъ ни было, не могутъ утѣшить старости безпушной.»

»Все, чему вы удивляетесь, состоишь въ томъ, чтобъ слѣдовать природѣ, вождю самому вѣрному, и повиноваться законамъ ея, какъ закону Провидѣнія. Всѣ вещи имѣютъ предѣлъ свой, всему назначено старѣть и разрушаться. Такъ падаютъ съ деревьевъ плоды, когда совсѣмъ созрѣваютъ. Мудрецъ, терпѣнье! Природѣ можно ли прошивиться?»

»Бывало, слыхалъ я Салишанора, слыхалъ и Спурія, бывшихъ консулами, какъ жаловались они на старость, которая будто лишала ихъ удовольствій и уваженія. Въ этомъ случаѣ виноваты мы сами, а не старость. Старикъ умѣренные, шихіе и веселые не могутъ быть несча-

сплывы; а душой нравъ во всякомъ возрастѣ не-
сносенъ. — Однажды Серифской гражданинъ, въ
спорѣ съThemistocle, сказалъ ему, что онъ
славою своей обязанъ опечесству, а не себѣ самому.
Тогда Themistocle отвѣчалъ: «Еслибъ я былъ и
Серифской уроженецъ, то и тогда бы что нибудь
значилъ; а ты былъ бы тотъ же и въ Афинахъ.»
Это можно примѣнить къ старости: она приятна
для мудреца и при бѣдномъ состояніи; ужасна
для невѣжды и въ изобиліи роскоши. Лучшая
ограда отъ скуки въ старости — наука и добро-
дѣтель. Сѣмена, посѣяныя ими въ продолженіе
жизни, производящъ безцѣнные плоды. Онъ никогда
не оставляющъ насъ; чистая совѣсть и воспомина-
ніе о добрыхъ дѣлахъ всегда служатъ утѣшеніемъ.»

«Упрекающъ старость въ томъ, будто этошъ
возрастѣ лишенъ удовольствій. — Тѣмъ драго-
цѣннѣе то время, которое мертвишъ въ насъ по-
роки молодости. Справедливъ мудрецъ Архипашъ:
нѣтъ ничего, говоривалъ онъ, опаснѣе снотолубія.
Оно раждаетъ старости; отъ него и равнодушіе
къ опечесству, и паденіе государствъ; отъ него все
пресупленія. Высочайшій и благороднѣйшій даръ,
которымъ природа наградила человека, есть раз-
умъ; а снотолубіе непримиримый врагъ разума.»

«И такъ если старость хладнокровна къ на-
слажденіямъ снотолубія: то это должно почищатьъ
особливымъ ея преимуществомъ. Говорящъ, что
старикъ не могушъ быть добрыми товарищами
въ пиршествахъ. Будто это также душно. Пре-
лестъ удовольствій очаровательна; — они при-
крываютъ собою самые пороки; на нихъ идущъ
люди, какъ рыба на уду. Впрочемъ удовольствія
знакомы и старости, но только удовольствія умѣ-
ренныя. Въ мое время бывало прескучный Дуна-
лій, первый побѣдитель Карагенія на морѣ,

выходилъ изъ-за стола съ факелами и флейтами. Конечно для чистаго человека это необыкновенно; но уже слава его давала ему на то право. Что касается до моихъ вечеринокъ съ друзьями — то онъ самый скромный; ихъ всегда одушевляешь живость цвѣтущаго возраста. У меня главнымъ удовольствіемъ починается не угощенье, а дружеское общество. И всѣ наши пиршества припавше Греческихъ: у насъ вмѣстѣ объдашь — значитъ вмѣстѣ жить; у Грековъ — пить и пресыщаться. Я страстно люблю столъ съ друзьями — и не съ одними ровесниками, а вмѣстѣ съ людьми молодыми. По лѣтамъ своимъ не могу съ ними равняться въ обязанности пиршества; но вмѣсто этого чувствую болѣе потребность въ разговорѣ. Впрочемъ не совсѣмъ оштракаюсь отъ яствъ и напивковъ. По обычаю предковъ нашихъ, большой столъ, задрванное питье, крошечные спаганчики, которые лишь прохлаждаютъ человека — лѣтомъ на открытомъ воздухѣ, зимой передъ огнемъ — отъ такого пиршества, скажишь, кто откажется? Такъ и теперь живу я въ моей Сабинѣ; у меня каждый день сосѣди — въ такомъ припадкомъ кругу часто и ночь пролетаетъ.

А удовольствія сельскія? — Ихъ можетъ вкушать старосѣ въ полной мѣрѣ; это удовольствія мудрости. Въ деревнѣ занимаютъ человека родныя нивы, послушныя его трудолюбію; онъ озапачиваетъ сокровища, которыми онъ ей повѣряетъ. Какъ чудесны произведенія земли! Она въ отверстыя плугомъ нѣдра припавъ сѣмена, послѣ закрытыя бороной, согрѣваетъ ихъ, питаетъ соками своими, выводитъ зеленой опрыскъ, который легохонько колышась на корешкѣ, непримѣнно расстелъ, поднимается на колѣнчатомъ спешелькѣ, сперва кроется въ оболочкѣ — и потомъ отшуда вы-

ходить полный колосъ, унизанный острой осыю — кажется для того, чтобы пщички не сѣли до него коснуться.»

«Что прилипше разведеніа винограда? Вотъ еще удовольствіа, всегда новыя для меня — вопъ опрада въ досугахъ старости. Изъ крошенихъ, едва примѣтныхъ зернышекъ вырастають такіа огромныя въпвы! Не лзя не дивншься природъ. Какъ спелелся виноградъ по землѣ — въпками, точно руками, цѣпляется ко всему, что встрѣшится. Съ весною на въпвахъ наливаются почки — изъ нихъ пробиваются кисти — и эшъ-то кисти, согрѣтыя теплотою солнечной, даютъ людямъ ошолъ вкусное нище. Какой видъ представляють деревья, увитыя виноградными въпвами и обремененныя сочными плодами!»

«Кромъ винограда, деревьевъ, жашвы, сѣнокоса — кромъ всего эшого, околько удовольствій въ садахъ, огородахъ, опъ скошоводства и пчелъ! — Вы простише мнѣ, что я слишкомъ распроспирался о деревнѣ: признаюсь — эшо спрасъ мой; припомъ спаросъ любншь-таки поговорншь. — Такой сельской жизнью наслаждался Курій, посѣвъ побѣдъ надъ Самнишянами, Сабинцами, Пирромъ. Любуясь сельскимъ его домикомъ, который недалеко опъ моего, не могу надивншься честности эшого великаго мужа и скромности его въса. Здѣсь-то опъ, сидя у очага своего, отказался опъ сокровищъ Самнишянъ, сказавъ имъ, что для негъ славнше повелѣвань пѣми, у которыхъ зо-лошо, нежели самому его нншь. *Столь благородная душа могла ли не быть счастлива и въ старости?*»

Философское сочиненіе иногда облекается въ форму письма. Съ перваго взгляда, письма открываютъ обширное поприще писателю; потому что всѣ предметы можно объясншь въ

этой формѣ. Шефесбюри, Гаррисъ и другіе облакали въ форму письма философскія разсужденія; но этого недостаточно для изящнаго письма. Часто въ письмахъ, послѣ первыхъ словъ, нѣмъ друга исчезаетъ — и мы узнаемъ, что сочинитель писалъ въ виду многихъ читателей. Таковы письма *Сенки*. Они писаны для общества — и въ сущности это разсужденія о разныхъ нравственныхъ предметахъ, которымъ сочинитель далъ форму писемъ. Иногда въ этой формѣ пишутъ объ одномъ какомъ-либо опредѣленномъ предметѣ, напр. объ утѣшеніи, доставляемомъ религіею и нравственностію въ несчастіяхъ. Здѣсь можно избирать тонъ и доказательство по произволу. — Но подобное сочиненіе мы принимаемъ не за письмо, а за рѣчь, обращенную къ какому-либо лицу, сообразно съ его обстоятельствомъ.

Изящное письмо, какого бы содержанія ни было, дышащее чувствомъ непринужденности и дружбы, можетъ служить приятнымъ чтеніемъ для людей образованныхъ. Занимательность этого рода сочиненій возрастаетъ вмѣстѣ съ занимательностью предмета, свободою духа, живостью и естественностью, особенно, когда мы принимаемъ участіе въ томъ, кто его пишетъ. Прежде, нежели писатель проявитъ себя въ изящномъ словѣ, долженъ быть самъ объятъ изящнымъ: для этого необходимо условіе, чтобъ содержаніемъ письма былъ предметъ, способный возбудить чувство изящнаго. За тѣмъ уже слѣдуетъ свойство души, воспринимающей ощущенія изящнаго. Отсюда происходятъ любопытство, съ какимъ читаются письма знаменитыхъ людей: въ нихъ надѣмся мы открыть черты ихъ характера. Дружескія письма подходятъ ближе къ обыкновенному разговору; въ нихъ скорѣе можно найти простоту и чистосердечіе, нежели въ дру-

нихъ сочиненіяхъ. Намъ приятно видѣть писателя лицомъ къ лицу съ его другомъ, слушать, какъ онъ высказываетъ чувствованія, которыми исполнено его сердце.

Поэтому приятность писемъ зависитъ болѣею частію отъ сочувствія нашего съ нѣмъ, кто пишетъ; въ нихъ любимъ мы видѣть человека, а не писателя. Главное достоинство этого рода есть простота и естественность. Выисканность и холодность не терпимы въ письмѣ, равно какъ и въ дружеской бесѣдѣ. Въ томъ и другомъ случаѣ живость и остроты нравились, если только онѣ употреблены къ месту и не въ измѣреніе. Чѣмъ кто болѣе хочетъ блистать въ письмахъ и обществѣ, тѣмъ томъ менѣе нравились. Слогъ писемъ не долженъ быть слишкомъ выпѣсывающъ; довольно, если они написаны слогомъ правильнымъ и естественнымъ. Излишняя разборчивость въ выборѣ словъ, округленные періоды и благозвучныя паденія въ письмѣ выказываютъ только искусственность; напротивъ, простота и легкость всегда въ нихъ нравились. Речь, изливающаяся отъ сердца и одушевленная воображеніемъ, для письма самая приличная. Но если въ письмахъ не говорятъ ни сердце, ни воображеніе, они холодны. Отъ того письма привѣтственныя, поздравительныя и утѣшительныя, въ которыхъ льдѣтъ большой трудъ сочинителя, всегда бываютъ самыя скучныя и утомительныя.

Приятность и простота, необходимыя въ письмахъ, не освобождаютъ отъ возможной обработки слова. Такъ въ письмахъ даже къ искреннему другу надобно обращать вниманіе и на предметъ, и на слогъ; это долгъ въ отношеніи и къ другу, и къ себѣ самому. Небрежность въ письмѣ можетъ казаться обидною. Главный законъ, кото-

о жизни предковъ. Онъ первый познакомилъ насъ съ отечественными преданіями, очаровательною кистью рисовалъ предъ нами родные нравы, оживилъ памятники, долго плѣвшіе въ неизвѣстности, заставилъ насъ полюбить даже мѣста, которыхъ до него мы не замѣчали. Вотъ, чѣмъ восхищилъ онъ у всѣхъ современниковъ пальму *перваго* писателя. Главное достоинство и изящество писемъ Карамзина состоитъ въ просподушномъ и добросовѣстномъ отчетѣ друзьямъ въ своихъ впечатлѣніяхъ и чувствованіяхъ. Эти письма — мысли и чувствованія въ слухъ, бесѣда съ друзьями. Таковы впечатлѣнія благословеннаго неба Швейцаріи. Приятно также читать бесѣды Карамзина съ Гердеромъ, Виландомъ и Боппенгомъ, съ которыми знакомство для нашего путешественника было сладчайшимъ наслажденіемъ. Письмо о Виландѣ любопытно и въ отношеніи къ Нѣмецкому писателю, и въ отношеніи къ нашему путешественнику: здѣсь онъ высказываетъ Виланду задушевную мысль свою — мысль цѣлой жизни: *жить въ мирѣ съ натурою и съ добрыми, любить изысканное и имъ наслаждаться.*

Мы не можемъ оставить безъ вниманія изысканнаго письма Жуковского о Рафаэлевой Мадоннѣ. Карамзинъ пересказываетъ намъ о художественныхъ произведеніяхъ Рафаэля, Микель-Анжело, Корреджіа, украшающихъ Дрезденскую картинную галерею, не останавливаясь ни на одномъ; Жуковский, проникнутый мыслию великаго художника, передаетъ намъ всю глубину творчества и своихъ чувствованій.

»Я рѣшился придти въ галерею, какъ можно ранѣе, чтобы предупредить всѣхъ посѣщителей. Это удалось. Я сѣлъ на софу противъ Рафаэлевой Мадонны, и просидѣлъ цѣлый часъ, смотря на нее.

И такова сила той души, которая дышитъ и въчно будетъ дышать въ этомъ божественномъ созданіи, что все окружающее пропадаетъ, какъ скоро посмотришь на нее со вниманіемъ. Сказываютъ, что Рафаэль, натянувъ полотно свое для этой картины, долго не зналъ, что на немъ будетъ; вдохновеніе не приходило. Однажды онъ зашелъ съ мыслію о Мадоннѣ, и вѣрно какой нибудь Ангелъ разбудилъ его — онъ вскочилъ: *она здѣсь!* закричалъ онъ, указалъ на полотно, и начертилъ первый рисунокъ. И въ самомъ дѣлѣ, это не картина, а видѣніе: чѣмъ долѣе глядишь, тѣмъ живѣе утѣряешься, что передъ тобою что-то неестественное происходитъ (особливо, если смотришь такъ, что ни рамы, ни другихъ картинъ не видишь). И это не обманъ воображенія; оно не обольщено здѣсь ни живописію красокъ, ни блескомъ парнымъ! Здѣсь душа живописца, безъ всякихъ хитростей искусства, но съ удивительною простотою и легкостію, передала холстинѣ то чудо, которое во внутренности ея совершилось. Я описываю ее вамъ, какъ совершенно для васъ неизвѣстную; вы не имѣете объ ней никакого понятія, видѣвши ее только въ спискахъ, или въ Миллеровомъ эстампѣ. Не выдавъ оригинала; я хотѣлъ купить себѣ въ Дрезденѣ эту эстампъ, но увидѣвъ, не захотѣлъ и посмотреть на него: онъ, можно сказать, оскорбляетъ святыню воспоминанія. Часъ, который провелъ я передъ этою Мадонною, принадлежишь къ счастливымъ часамъ жизни, если счастьемъ должно починать наслажденіе самимъ собою. Я былъ одинъ, вокругъ меня было все тихо; сперва съ нѣкоторымъ усиленіемъ вошелъ въ самого себя, потомъ ясно началъ чувствовать, что душа распространялась; какое-то шро-

гашельное чувство величія въ нее входило; неизобразимое было для нея изображено, и она была тамъ, гдѣ только въ лучшія минуты жизни быть можетъ. *Геній чистой красоты* былъ съ нею.

»Не понимаю, какъ могла ограниченная живопись произвести необъятное; передъ глазами полно, на немъ лица, обведенныя чертами, и все сѣсно въ маломъ пространствѣ, и не смотря на то, все необъятно, все неограничено! И точно приходишь на мысль, что эта картина родилась въ минуту чуда: занавѣсъ раздёрнулся, и тайна неба открылась глазамъ человека. Все происходитъ на небѣ; оно кажется пустымъ и какъ будто туманнымъ — но это не пустоша и не туманъ, а какой-то шихой, неестественный свѣтъ, полный Ангелами, которыхъ присутствіе болѣе чувствуешь, нежели замѣчаешь: можно сказать, что все, и самый воздухъ, обращается въ чистаго Ангела въ присутствіи этой небесной, ниспосланной Дѣвы. И Рафаэль прекрасно подписалъ свое имя на картинѣ: внизу ея, съ границы земли, одинъ изъ двухъ Ангеловъ устремилъ задумчивые глаза въ высоту; важная, глубокая мысль царствуетъ на младенческомъ лицѣ. Не таковъ ли былъ, долженъ быть самъ Рафаэль въ то время, когда онъ думалъ о своей Мадоннѣ: будь младенцемъ, будь Ангеломъ на землѣ, чтобы имѣть доступъ къ тайнѣ небесной! И какъ мало средствъ нужно было для живописца, чтобы произвести нѣчто такое, чего не лѣзя истощить мыслию! Онъ писалъ не для глазъ, все обнимающихъ во мгновеніе и на мгновеніе, но для души, которая чѣмъ болѣе ищетъ, тѣмъ болѣе находитъ. Въ Богоматери, идущей по небесамъ, непримѣтно никакого движенія; но чѣмъ болѣе смотришь на нее,

тѣмъ болѣе кажется, что она приближается; на лицѣ ея ничто не выражено, то есть, на немъ нѣтъ выраженія *понятнаго*, имѣющаго *опредѣленное* имя, но въ немъ находишь, въ какомъ-то таинственномъ соединеніи, все: спокойствіе, чистоту, величіе и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земнаго, слѣдовательно мнрное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной; въ глазахъ ея нѣтъ блистанія (блестящій взоръ челоука всегда есть признакъ чего-то необыкновеннаго, случайнаго, а для нея уже нѣтъ случая—все совершилось!), но въ нихъ есть какая-то глубокая, чудесная шемноша, въ нихъ есть какой-то взоръ, никуда особенно неустреженный, но какъ будто видящій необъятное; она не поддерживаетъ Младенца, но руки ея смиренно и свободно служатъ Ему престолу. И въ самомъ дѣлѣ, эша Богоматерь есть не иное что, какъ одушевленный престолъ Божій, чувствующій величіе сидящаго. И Онъ, какъ Царь земли и неба, сидишь на этомъ престолѣ; и въ Его глазахъ есть тоуъ же никуда неустреженный взоръ; но эти глаза блистають, какъ молніи, блистають тѣмъ вѣчнымъ блескомъ, котораго ничто ни произвести, ни измѣнить не можетъ! Одна рука Младенца съ могуществомъ Вседержителя оперлась на колено, другая какъ будто готова подняться и простерпья надъ небомъ и землею. Тѣ, передъ которыми совершается это видѣніе, Св. Сикстъ и Мученица Варвара, стоятъ также на небесахъ: на землѣ этого не увидишь. Старикъ не въ восторгѣ, онъ полонъ обожанія мирнаго и счастливаго, какъ святость. Святая Варвара очаровашельна своею красоуою: великость того явленія, котораго она свидѣтель, дала и ея спану какое-то разительное величіе;

но красота лица ея человѣческая, именно потому, что на немъ уже есть выраженіе *понятное*: она въ глубокомъ *размышленіи*; она глядитъ на одного изъ Ангеловъ, съ которымъ какъ будто дѣлится таинствомъ мысли. И въ этомъ нахожу я главную красоту Рафаэлевой картины (если слово *картина* здѣсь у мѣста). Когда бы живописецъ представилъ обыкновеннаго человѣка зрителемъ того, что на картинѣ его видятъ одни Ангелы и Святые: онъ или далъ бы лицу его выраженіе изумленнаго восторга, (ибо восторгъ есть чувство здѣшнее: онъ на минуточку, быстро и неожиданно отрываетъ насъ отъ земнаго), или представилъ бы его падшаго на землю съ признакомъ своего безсилія и ничтожества. Но состояніе души, уже покинувшей землю и достойной неба, есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное и просвѣщенное, постигнувшее мыслью, безмолвное, неизмѣлимое счастье, которое все заключается въ двухъ словахъ: *чувствую и знаю!* И эта-то блаженствующая мысль царствующая на всѣхъ лицахъ Рафаэлевой картины (кроме, разумѣется, лица Спасителя и Мадонны), все въ размышленіи и Святые Ангелы. Рафаэль, какъ будто хотѣлъ изобразить для глазъ верховное назначеніе души человѣческой. Одинъ только предметъ напоминаетъ въ картинѣ его о землѣ: это Сикстова піара, покинутая на границѣ здѣшняго свѣта. — Вотъ то, что я думалъ въ тѣ счастливыя минуты, которыя провелъ передъ Мадонною Рафаэля; какую душу надлежало имѣть, что бы произвести подобное!»

Отъ развитія доказательнаго элемента Ораторской рѣчи, или сочиненій Философскихъ, перейдемъ къ элементу повѣствовательному, или Исторіи.

ЧТЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ОСЬМОЕ.

Развитіе изящнаго въ исторіи. — Отличительное свойство историческихъ сочиненій изящныхъ — Содержаніе и форма исторіи монологическая, діалогическая и эпистолярная. — Изложеніе исторіи. — Образцы.

По изслѣдованіи Орапорскихъ рѣчей, или собственно вишіиспва, и философскихъ сочиненій, мы присшупаемъ къ разсмотрѣнію претяго рода краснорѣчія — *Исторіи*. Обогащенные опытами нѣсколькихъ столѣтій, мы любимъ повѣрять размышленія наши съ размышленіями древнихъ, пользоващяся ихъ наставленіями; но, по превосходству опытности, мы то же предъ древними, чпо мужѣственнѣйшій возрастъ предъ юностью: отъ того исторія въ наше время получила иное направленіе въ сравненіи съ исторіею Грековъ и Римлянъ. Говоря объ эпимъ родѣ краснорѣчія, мы уже не столько спаемъ ссылааться на Фукидида и Тита Ливія, сколько ссылались на Димосѣена и Цицерона въ бесѣдахъ собственно о вишіиспвѣ.

Показать отношеніе исторіи, какъ изящнаго произведенія, къ другимъ родамъ краснорѣчія, опредѣлить ея *содержаніе*, *форму* и *изложеніе*, вывести условія для историческаго писателя, приложить всѣ эти законы изящнаго къ образцамъ, разсмотрѣть исторію отечественную: вотъ

предметъ изслѣдованій нашихъ въ отношеніи къ Исторіи.

Древніе принимали исторію за приятное повѣствованіе; не дорожа истиной, они рассказывали краснорѣчиво слышанное или переданное имъ отъ другихъ; желали изображать соотечественниковъ великими, всѣ событія изъ своей исторіи представляли необыкновенными; они не знали ни свидѣтельствъ, ни ссылокъ на ученые изслѣдованія. Короче, исторія казалась древнимъ прозаическою эпопеею: отъ того Аристотель счлывилъ ее пѣвѣ эпопен. Иродотъ признается, что онъ повторыетъ или писателей Персидскихъ и Финикійскихъ, или рассказы Египетскихъ священнослужителей, или ссылается на Омира и Эсхила. Въ Фукидидѣ не встрѣчаемъ никакихъ указаній. Титъ Ливій обыкновенно оправдывается выраженіемъ: «такъ повѣствуютъ шѣхъ временъ писатели.» Болѣе опчешливъ Тацитъ. Вообще Греческіе и Римскіе Историки не занимались разсмотрѣніемъ народа въ отношеніи религіозномъ, гражданскомъ и умственномъ; какъ путешественники, рассказывали все, что видѣли или слышали. «Кію, говоритъ Шатобріанъ, тогда совершала путь свой налегкѣ, безъ грузнаго обоза, какой нынѣ за ней тянется.»

Не таковы условія исторіи въ наше время. Объяснить законы, управляющіе человѣчествомъ, возсоздать типъ или другой народъ по вѣрнымъ памятникамъ, показать развитіе идей народныхъ и различныя степени образованія, открыть извѣстныя направленія обществъ, въ разныя времена повторяющіяся — опредѣлить мѣсто, занимаемое народомъ въ ряду другихъ народовъ — опредѣлить въ человѣкѣ два стремленія, одно общее всѣмъ временамъ, другое особенное, свойственное одному

какому-либо вѣку: таковыя требованія опъ нынѣшней исторіи. Каждый почти вѣкъ, каждое новое направленіе умственнаго спѣванія людей на особую точку зрѣнія исторіи; отсюда столько различныхъ измѣненій въ воззрѣніи на исторію, каковы: религіозное, философское и другія.

Чтожь исторія въ отношеніи къ прочимъ произведеніямъ Словесности? Направленіе воли изображеніемъ идеаловъ добродѣтели, убѣжденіе — это предметъ собственно *витійства*. Озареніе ума истинною, открываемою въ возможности и назначеніи природы и человека, составляетъ предметъ философскихъ сочиненій. Для исторіи остается вѣрное изслѣдованіе дѣйствительной, временной, конечной жизни: это *развитіе историческаго элемента Ораторской рѣчи*. Витія, показавъ, что и какъ происходило, долженъ еще раскрыть, какъ что-либо бытъ долженствуетъ. Опъ того рѣчь, какъ развитіе полнаго умозаключенія, прѣбуетъ и изложенія историческаго, и доводовъ философскихъ. Это двѣ сѣки, сливающіяся въ рѣчи Ораторской, являющіяся разрозненными въ Исторіи и Философіи. Дѣйствительное и возможное составляютъ два различныхъ вопроса: одинъ историческій, другой философскій. Въ Исторіи мы преслѣдуемъ обнаруженіе идеи въ явленіяхъ природы или человечества; въ Философіи стараемся открыть ту идею, по которой являются предметы природы или дѣйствія человечества. Историкъ въводитъ воззрѣнія свои до идеи; философъ низводитъ идею въ живыя созерцанія. Не смотря на то, что историческія сочиненія и философскія представляютъ два противоположныя направленія, они имѣютъ потребность во взаимномъ содѣйствіи: исторія безъ философскихъ со-

ображений — несвязное изображение случайностей; философія безъ историческихъ, опытныхъ изслѣдованій — шемная ошвлеченность (*).

Исторія, какъ и самая жизнь, можетъ быть разсматриваема въ двоякомъ отношеніи: въ себѣ самой и въ частности, иначе, можетъ изображать или жизнь всеобщую, или жизнь въ проявленіяхъ частныхъ — согласно съ идеею человечества, или въ единую, и согласно съ проявленіемъ идеи человечества въ народахъ, съ условіями мѣста и времени. Отсюда слѣдуетъ необходимость *Исторіи всеобщей и частной*.

Сверхъ того жизнь разсматривается или со стороны вещества, разнообразно обнаруживающагося, или со стороны стремленія духа; предметъ перваго разсматриванія природа; втораго — человѣкъ: еще новое различіе Исторіи природы

(*) *Luciani περὶ τῆς ἱστορίας συγγραφῆς*. — G. J. Vossii *Ars historica s. de historiae natura historiaeque scribendae praeceptis commentatio*; Lugd. Bat. 1653, 4. — D'Alembert — *Reflexions sur l'histoire et sur les differentes manieres de l'écrire, dans les melanges*. — Lord Bolingbroke's *Letters on the study and use of history*; Lond. 1751, 2 vol. De la maniere d'écrire l'histoire, par l'Abbé Mably; Paris, 1783, in 12. — Duncker de historia ejusque tractandæ varia ratione. Berol. 1834, 4. — F. Rühls *Entwurf einer Propädeutik des historischen Studiums*; Berl. 1811, 8. — W. Wachsmuth *Entwurf einer Theorie der Geschichte*; Halle, 1820. — W. Humboldt. *Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers* (Akadem. Abhandl.); Berl. 1822, 4. — Любопытны объ этомъ замѣчанія Миллера въ письмахъ его къ Бонстеттену; въ *Шиллеровомъ* разсужденіи: *Was ist, und zu welchem Zwecke studirt man Universalgeschichte*; въ *Крейцеровомъ* *Historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung*; Leipz. 1803, 8.

и человека, или Истории собственно называемой. Жизнь человека, или духовная часть всеобщей жизни вселенной, настоящий предмет Истории, какъ художественнаго словеснаго произведенія, представляющъ въ себѣ совокупность и природы, и духа. Отъ того въ ея изображеніи встрѣчаются гораздо большія трудности, нежели въ изображеніяхъ природы. Здѣсь, въ событіяхъ человѣчества и народовъ, должно различать двѣ силы, дающія движеніе и направленіе судьбамъ народнымъ: силу высшаго разума, Творца и Зиддителя, и силу воли, дарованной человеку, какъ образу и подобію Творца. По той же причинѣ въ народахъ и челоѣкъ усматриваемъ мы какъ бы двѣ жизни: *всеобщую*, по которой онъ одинаковъ во всѣхъ странахъ и во всѣ времена, и *частную* или *особую*, по которой онъ различествуетъ по странамъ и вѣкамъ. Отъ этого исторія челоѣчества, при всемъ безконечномъ разнообразіи событій, представляетъ единство нравственныхъ законовъ.

Вышняя жизнь совершается въ пространствѣ и времени: изображеніе ея принадлежитъ или *описаніямъ*, или *повѣствованіямъ*. Исторія, собственно называемая, слагается изъ описаній и повѣствованій. Сверхъ того всякое сочиненіе, какъ особый предметъ, различается по содержанію и формѣ; содержаніе же разсматривается въ отношеніи къ количеству и качеству, а форма со стороны внутренней и внешней. Исторія, въ первыхъ двухъ отношеніяхъ, бываетъ, какъ уже сказали мы, общая, частная и особая, или *религіозная*, *политическая* и *ученая*; въ двухъ другихъ, или *этнографическая*, *хронологическая* и *смѣшанная*, или, равно какъ и сочиненія философскія, *монологическая*, *діалогическая* и *эпистолярная*.

Здѣсь мы не будемъ говорить о возможности исторіи, какъ науки. Каждый вѣкъ, каждый народъ осуществляетъ идею человечества, особеннымъ, ему только свойственнымъ образомъ; но, какъ проявленіе общей жизни, каждый вѣкъ и каждый народъ сверхъ того касается всеобщей жизни: этого условія всеобщей и частной жизни человечества въ совокупности достаточно для исторіи, какъ науки. Въ настоящемъ же случаѣ взглянемъ на *Исторію*, какъ на *изящное словесное произведеніе*.

Умѣнье располагать дѣйствительностью точно такъ же, какъ воображеніе располагаетъ своими вымыслами, припомъ съ сохраненіемъ истины въ самыхъ событіяхъ, умѣнье ставить читателя на такую точку, съ которой бы онъ удобно и легко обозрѣвалъ всѣ происшествія въ связи и послѣдовательности; присоединишь къ этому искусство живописать прошедшее настоящимъ, въ каждомъ лицѣ, въ каждомъ дѣйствіи уловлять рѣзкія описательныя черты: вотъ въ чемъ состоитъ высокое искусство исторіи, какъ изящнаго словеснаго произведенія. Народы предсказываютъ намъ свои вѣрованія, языки, творенія геніевъ, законы, науки, искусства: во всѣхъ этихъ памятникахъ скрывается непреложный законъ жизни человечества, непрерывающейся развивающейся, подобно непреложнымъ законамъ мірозданія, по которымъ движутся небесныя свѣтила. Открышь этотъ законъ въ неполныхъ лѣтописяхъ народа, большею частію искаженныхъ, ложно истолкованныхъ — озаришь ихъ свѣтомъ крики и покажешь событія такъ, какъ они могли бы и должны были произойти въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время, при извѣстныхъ обстоятельствахъ: въ этомъ первый подвигъ писателя-историка. Такъ ученый Нибуръ,

осмотрѣвъ развалины Рима, преслѣдовавъ развитіе идеи человѣчества въ пространствѣ первыхъ вѣковъ, послѣ созданія этого колосса, сличивъ показанія его историковъ съ извѣстіями другихъ писателей, разгадалъ причину событій, которыхъ выполнение составляло блистательную жизнь Римлянъ въ исторіи человѣчества.

Послѣ этого труда ожидаетъ историка новый трудъ критическій. Съ теченіемъ времени число историческихъ памятниковъ умножается; вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается трудность извлечь истину изъ сравненія нѣмыхъ свидѣтелей древности, и вѣроятность возвести на степень достоверности. Такъ проницательный Шлецеръ въ нашей отечественной исторіи отдѣлилъ драгоценныя перлы, и лѣтописямъ нашимъ придалъ значеніе историческое. Въ этомъ состоятъ *изобрѣтеніе* историка и *содержаніе* исторіи.

Когда такимъ образомъ памятники древности невѣрные, противорѣчащіе, темные, различены, согласены, освѣщены; когда историкъ вступаетъ въ область печальныхъ, неумолкающихъ свидѣтельствъ, гдѣ ни одна изъ добычъ ума человѣческаго не гибнетъ — въ періодъ жизни народной, уже ошечливой въ дѣйствіяхъ: тогда начинается историческое изящное *расположеніе* — исторія получаетъ изящную *форму*. Съ перваго взгляда нѣтъ ничего легче представить картину жизни, которую мы обыкновенно съ жадностью созерцаемъ; но исполненіе этой живописи есть дѣло особеннаго таланта. Сколько любопытныхъ спешаешь на всякое ежедневное приключеніе: отъ чего же эти самыя приключенія, перенесенныя въ книгу, иногда бываютъ скучны, незанимательны? Именно отъ того, что они перестаютъ занимать

насть, подобно живымъ и съ нами разговаривающимъ событіямъ. Все искусство исторической занимательности соспоишъ въ живописи, въ представленіи событій предъ нашими глазами, въ изображеніи характеровъ, въ возсозданіи цѣлаго народа изъ происшествій. Историкъ не летописецъ: онъ долженъ умѣть изъ безчисленнаго множества событій избрать то преимущественно, которое соспоишъ въ связи и соотношеніи съ природою чловѣка вообще и съ природою людей той или другой страны, того или другаго времени, выразишь, какъ сказали мы выше, жизнь всеобщую чловѣчества и жизнь частную народную. Тогда узнаемъ мы въ народѣ членовъ одного большаго семейства, каково чловѣчество; тогда правильно будетъ отношеніе народа къ другимъ народамъ, и всѣ дѣйствія его покажутся вразумительными; тогда каждая частная исторія послужитъ дополненіемъ исторіи всеобщей (*).

Достоверность событій есть единственная цѣль историка, а потому безпристрастіе, починность — главные его качества. Ему неприличны преувеличенныя прославленія, равно какъ и несправедливыя порицанія; чуждый страстей къ той или другой сторонѣ, неувлекаемый личными видами, но, созерцая прошедшее окомъ неумышлаго судія, историкъ представляетъ намъ вѣрное изображеніе природы чловѣческой, какъ философъ изслѣдуетъ истину законовъ природы и чловѣка.

Не всякой разсказъ, хотя и вѣрный въ своихъ фактахъ, заслуживаетъ названіе исторіи: это

(*) E. M. Arndt's Einleitung zu historischen Charakter — Schilderungen; Berl. 1810, 8.

принадлежность собственно такихъ происшествій изъ временъ прошедшихъ, которыя служатъ къ нашему наставленію, занимательны и представляють связь причинъ съ послѣдствіями въ ясномъ и разительномъ порядкѣ. Исторія предполагаетъ научить насъ мудрости; а потому она должна служить дополненіемъ нашей опытности. Какъ поучительно для человека изобразить подобныхъ ему во всѣхъ отношеніяхъ, и тѣмъ внушить ему вѣрныя и здравыя сужденія о всѣхъ превращеніяхъ жизни! Это не простой разсказъ, занимающій воображеніе, но мудрый и благородный совѣтъ. Такой совѣтъ не допускаетъ ни излишнихъ украшеній, ни напыщенности, ни блескъ безполезнаго остроумія. Историкъ представляется мудрецомъ, говорящимъ въ поученіе потомства, изучившимъ свой предметъ, обращающимся болѣе къ нашему разсудку, нежели къ воображенію. Исторія не исключаетъ вовсе украшеній и живости слога; напротивъ, въ ней нравятся украшенія простыя, неизысканныя, какъ бы невольно представляющіяся писателю, который совершенно погруженъ въ происшествія, имъ повѣствуемыя.

Прежде всего историкъ долженъ помыслить о единствѣ своего повѣствованія, не слагать его изъ частей отдѣльныхъ, не имѣющихъ прямой и вѣрной связи съ главнымъ; необходимо, чтобы эта связь соединяла всѣ частныя событія съ однимъ общимъ основаніемъ и производила бы на умъ нашъ впечатлѣніе полного и органическаго цѣлаго. Последовательность всегда производитъ сильное дѣйствіе: намъ приятно видѣть постепенное развитіе обширнаго предначертанія, или необъятной цѣпи событій изъ одного начала, къ которому относятся всѣ различныя историческія явленія.

Повѣствуя о событіяхъ, историкъ описываетъ тайныя пружины дѣйствій и конечныя причины происшествій. Для достиженія этого, особенно необходимо глубокое изученіе человѣческой природы и знаніе духа народнаго. Безъ этихъ условій можно ли объяснить въ исторіи образъ дѣйствій представителей народа и различныя вереворошты, которымъ подвергается государственна вѣщеніе вѣковъ?

Въ отношеніи къ приобращенію свѣдѣній гражданственныхъ, писатели новые пользуются многими преимуществами предъ древними. Въ древности труднѣе было приобращеніе политическихъ свѣдѣній, по причинѣ недостаточной общительности между сосѣдственными государствами. Историческіе факты сохранялись большею частию въ преданіяхъ. Если важнѣйшія событія и сохранялись письменамъ, то только для своихъ соотечественниковъ; древніе не помышляли писать для иноземцевъ, и еще менѣе для наставленія человѣчества. Отъ того они такъ поверхностно касались подробностей внутренней своей жизни, о которой мы желали бы имѣть извѣстія болѣе полныя.

Требуя отъ историка глубокихъ изслѣдованій описываемаго предмета, мы не желаемъ его собственныя размышленія, часто прерывающихъ разсказъ историческій: долгъ его представить намъ событія въ собственномъ ихъ видѣ для совершеннаго познанія народа. Пусть онъ объяснитъ устройство, силы, степень образованности описываемаго государства, сношенія его съ сосѣдними державами; пусть онъ поставитъ насъ на возвышенное мѣсто, съ котораго можно видѣть всѣ основныя причины происшествій: онъ исполнилъ свое назначеніе; вы-

водъ заключеній пусть иногда предоставитъ нашему соображенію.

Изображеніе характеровъ въ исторіи есть одно изъ самыхъ блистательныхъ и труднѣйшихъ украшеній. Не рѣдко отъ частной жизни великихъ людей, отъ самыхъ проспыхъ случаевъ, происшествій повидимому самыхъ обыкновенныхъ, проливается свѣтъ на цѣлый рядъ событій.

Что сказать объ историческомъ изложеніи? Главнѣйшее качество историческаго повѣствованія — послѣдовательность. Для достиженія этого, историкъ долженъ обладать своимъ предметомъ, обнимать его однимъ взглядомъ, понимать взаимное сдѣленіе и отношеніе его частей, помѣщать каждый предметъ на приличномъ мѣстѣ, давать намъ возможность легко слѣдовать за происшествіями и развивать ихъ одно изъ другаго. Въ противномъ случаѣ чтеніе исторіи не доставляетъ ни удовольствія, ни пользы.

Занимательность историческаго разсказа зависитъ отъ умѣнія избрать средину между краткимъ, быстрымъ повѣствованіемъ и разсказомъ обильнымъ, медленнымъ, теряющимся во множествѣ подробностей. Историкъ слегка касается происшествій неважныхъ, и останавливается на пѣхъ, копорыя сами собою или по своимъ послѣдствіямъ заслуживаютъ тщательнаго разсмотрѣнія. Здѣсь нуженъ также приличный выборъ обстоятельствъ. Случаи общіе имѣютъ слабое вліяніе на душу; только прилично избранныя подробности привязываютъ читателя и занимаютъ; онѣ то разливаютъ въ сочиненіи жизнь и даютъ ему цѣлность; онѣ представляютъ воображенію происшествія, какъ бы совершающіяся предъ нашими глазами.

Древніе допускали въ своихъ историческихъ сочиненіяхъ украшеніе, рѣдко употребляемое писателями новѣйшими — рѣчи, которыя влагали они въ уста главнымъ дѣйствующимъ лицамъ. Рѣчи, выражавшія характеръ лицъ, разнообразили повѣствованіе; въ нихъ излагались нравственныя поученія; доводы и опроверженія показывали мнѣнія различныхъ сторонъ, изображаемыхъ историкомъ. Новѣйшіе историки предпочитаютъ другой способъ повѣствованія, болѣе естественный: они сами излагаютъ мнѣнія и сужденія противныхъ сторонъ, содержаніе рѣчей, произнесенныхъ въ народныхъ собраніяхъ. Такой способъ изложенія историческаго, не столь живой, какъ способъ древнихъ, ближе къ исторической истинѣ.

Обыкновенно говорятъ, что историческій слогъ отличается отъ ораторскаго умѣренностью и хладнокровіемъ; однако ему также необходимы и украшенія. Словесное изящное произведеніе представляетъ собою *духъ въ явленіи*, въ слово облеченную мысль: ясно, что слогъ въ отношеніи къ мыслямъ то же, что тѣло въ отношеніи къ душѣ. Въ тѣлѣ мы видимъ душу; безъ оживленія души, тѣло грубое вещество; душа даетъ тѣлу значеніе и выразительность. Душа свѣтлая, рѣзко и ясно получающая впечатлѣнія, сочувствующая событіямъ и съ ними какъ бы сливающаяся — такая душа отразится въ *живописи* слова. Душа гармоническая, сама съ собою согласная, во всѣхъ дѣйствіяхъ и помысленіяхъ своихъ стройная, огласится въ живомъ, одушевленномъ повѣствованіи. Мы видѣли, какъ Отцы православной Церкви нашей воздвигали Христіанъ словомъ своимъ на величайшее дѣло — на самопожертвованіе жизни за Вѣру. Чѣмъ совершалось столь сильное убѣжденіе?

Они не отдаляли ни слога, ни мысли отъ всего ихъ существованія; въ словъ были они сами. Такъ и въ исторіи изложеніе зависитъ отъ показанныхъ отличительныхъ ея свойствъ: достовѣрность въ малѣйшихъ подробностяхъ, разнообразіе знаній, живое представленіе событій въ связи и послѣдовательности, теплоца души ко всему, что касается чловѣка: вошъ отъ чего зависитъ излщество изложенія историческаго — историческій порядокъ и движеніе.

Ктожъ изъ историковъ наиболѣе удовлетво-
ряетъ этимъ требованіямъ искусства (*)?

Иродотъ повѣствуетъ удачно и приятно рас-
крашиваетъ свои повѣствованія; слогъ его те-
четъ, одушевленный прелестною откровенностью;
простота плъняетъ читателя; чудесные рассказы
окружены волшебными видѣніями; легковѣріе его
занимательнѣе многихъ историческихъ разсужде-
ній. Но историкъ ли онъ? Поэтическая полуправда,
таинственный сумракъ, подобно легкой пеленѣ,
покрытъ надъ событіями, о которыхъ онъ повѣст-
вуетъ; за ея волнующимися сгибами не видно
истинны исторической. Вымыслы смѣшиваются
съ существенностью; существенность теряется
въ вымыслахъ; событія оцвѣчаются драматиче-
скимъ колоритомъ. Мы узнаемъ отъ него, что
Ксерксъ хотѣлъ покорить Грецію, что была
битва при Платеѣ — и не болѣе. Желать на-
учиться исторіи у Иродота значитъ то же, что

(*) Подробнѣйшія характеристики историковъ можно
читать у *Шатобриана* и въ *Edinburgh review*.

спрашивашъ у Шекспира подробностей Англійской исторіи. Шекспиръ говоритъ намъ, что Англичане вѣторгнулись во Францію; но разговоры героевъ, слова и дѣйствія, описанныя драматическимъ поэтомъ, не соотвѣщаютъ принадлежностей историческихъ. Такъ и Иродотъ, добродушный, одаренный живымъ воображеніемъ, любившій драматизировать свой рассказъ: онъ все преувеличиваетъ, охотникъ до чудеснаго, какъ всѣ простомудры и дѣтши. Въ его время философическія изслѣдованія въ Греціи сдѣлали столь же мало успѣховъ, сколь много попрошивъ успѣвали скульптура и живопись; рукописи были рѣдки; за нѣсколько лѣтъ до Иродота лѣтописи и не существовали; историкъ былъ вѣстѣ и поэтъ; прибѣгалъ къ сомнительнымъ преданіямъ, къ народнымъ пѣснямъ. За нѣсколько десятилѣтій лѣтъ мы столь же мало знали о состояніи Кітая, сколь мало Иродотъ зналъ о Вавлонѣ и Персеполѣ. Сверхъ того народъ, для котораго Иродотъ писалъ, легковѣрный, жадный до новостей, любившій все чудесное, новое и поразительное, не только не обуздывалъ, но ободрялъ порывы пылкаго воображенія, составлявшіе характеръ его таланта. Исторія Иродотова была поэмой народною, которую вся Греція слушала изъ устъ историка на Олимпійскихъ играхъ. Какихъ свидѣтельствъ, ссылокъ, указаній, какой критики можно было требовать отъ подобнаго историка? Ему нужно было произвестъ только мгновенное дѣйствіе, и онъ утѣренъ былъ въ успѣхъ, полагаясь на занимательность своего предмета, на яркость картинъ, на красоты гармоническаго слога. Повѣствованію его внималъ волновавшійся народъ, гордый именемъ Грека, стекавшійся изъ степей Ливій-

скихъ, изъ новыхъ Италіянскихъ колоній, изъ ди-
кихъ пустынь Дориды, на шоржесство своего отече-
ства и шоржесство Иродота. Отъ такихъ слу-
шателей и отъ такого писателя не ожидайте
подробнаго и безпристрастнаго изложенія событій.
Иродотъ говоритъ намъ о дикихъ невѣдомыхъ
животныхъ, о чудесныхъ деревьяхъ, о баснослов-
ныхъ пшцахъ, о народахъ людоедахъ, великанахъ
и карлахъ, о варварскихъ божествахъ, древнихъ
династїяхъ, которыхъ памятники величїемъ
превосходятъ всѣ памятники новѣйшіе, о горо-
дахъ, которые обширнѣе цѣлыхъ областей, объ
озерахъ величиною съ океанъ, объ укрѣпленїяхъ;
подпирающихъ небо, о пирамидахъ, на которыхъ
рука мудрецовъ начерпала тайны юности міра.
Онъ описываетъ намъ, какое таинственное бого-
служеніе отправляли маги, на упрямней зарѣ,
на высотахъ горъ своихъ; какъ сбывались древнія
предсказанія; какъ правосудіе Зевсово, иногда дре-
мавшее съ громомъ своимъ, наконецъ пробужда-
лось; какъ грозно мертвые поучали живыхъ, и ка-
кимъ высокимъ предопредѣленіемъ попомки геро-
евъ, избѣжавъ меча убійцъ, возвращались къ сво-
имъ семействамъ, исполняли благородныя свои
предназначенія.

Эти романическіе источники изобрѣтенія на-
полняютъ страницы Иродотовой исторіи. Чѣмъ
ближе повѣствованіе къ его времени, тѣмъ оно зани-
мательнѣе. Разсказъ о великой борьбѣ Европы съ
Азіей, объ этомъ началѣ Европейскаго владычества,
возвышаетъ душу воспоминаніями о великомъ урокъ
вселенной. Можеть ли драма быть прогнательнѣе,
повѣсьиъ поразительнѣе? Иродотъ и здѣсь придаетъ
картинъ своей колоритъ народнаго преувеличе-
нія: представляеть рѣки, въ одинъ день изсыхшія;

цѣлыя области, помятіяся голодною смертію, опть одного обѣда воинновъ Азіатскихъ; скалы, сравневныя съ землею съкрани и распадоющіяся предъ кораблями; государства у него сокрушаются и исчезаютъ. Нѣсколько гражданъ — героевъ, еще не падшихъ надъ прахомъ родныхъ пепелищъ, пропивавшихся, воюють и побѣждаютъ. Кажется, и судьба, и боги, и люди прошивъ ихъ; но они не ослабѣваютъ и — Греція спасена! Какія чувствованія исполняли слушателей при такомъ разсказѣ! Какой восторгъ ихъ одушевлялъ! Можно ли было подобное твореніе читать хладнокровно? Можно ли было не трогаться этой эпопеей, которой баснословная древняя исторія служила прелюдіей, и которой главною мыслию и цѣлію былъ апофеозъ Греціи?

Прошекли годы; кончилась война Пелопонезская; образованность Греческая распространилась; развилась Аѳинская демократія; родились новыя требованія: на это призваніе явился Фукидидъ. Онъ уже размышляетъ, изслѣдуетъ, судитъ; но сужденія его часто ложны, соображенія ограниченны, доказательства слабы; тонъ повѣствованія всегда важенъ, кратокъ. Суровая задумчивость, взглядъ государственнаго чловѣка, пренебреженіе народными предразсудками и общепринятыми мѣтніями, налагаютъ особенную величественную печать на его твореніе. Онъ искусно повѣствуетъ; никто лучше его не умѣетъ располагать повѣствованій, помѣщать вдали картины обстоятельства второстепенныя, выставявъ на первомъ планѣ событія важныя, ставитъ лица въ надлежащихъ положеніяхъ, сохраняетъ во всѣхъ фактахъ, во всѣхъ фізіогноміяхъ надлежащую перспективу. Иродотъ даетъ всему, что возиронзводитъ, равное достоинство, равную

изру: у него описаніе Египетскаго идола занимаетъ столько же мѣста, сколько и битва при Платей. Но Фукидидъ величайшій историкъ касательно расположенія событій и искусства повѣствованія. Это и есть тайна историческаго гения. Передавать событія, списывать рѣчи, исчислять обстоятельство, даже съ самою оппечливкою вѣрностію, не важное достоинство для историка: съ пакъ называемою точностію нельзя достигнуть своей цѣли. Положимъ, вы помѣстили въ исторіи все, что нашли въ лѣтописяхъ; но сколько еще остается неизвѣстнаго вамъ, сколько подробностей онъ вамъ ускользаетъ? Поэтому полная и точная исторія совершенно невозможна; это значило бы то же, что стараться въ точности выразить все жилки и поры лица, которое вы списываете. Талантъ живописца, равно и историка, имѣетъ основаніемъ умѣнье выбирать: иначе бы довольно было одного механическаго искусства и терпѣнія, чтобы стать наравнѣ съ Фукидидомъ и Тацитомъ. Историкъ и живописецъ должны улавлять главныя характеристическія черты своего образа; тошъ и другой могутъ стараться достигнуть достовѣрности, только относительной. Такъ Фукидидъ имѣетъ исторію отступленія отъ Сиракузъ; обманъ чувствъ совершенный: вамъ кажется, что вы видите предъ собою храбрыхъ воиновъ, и раздѣляете ихъ страданія. Эта сила и вѣрность взгляда, не опускающаго ничего важнаго, не осматривающагося ни на чемъ маловажномъ, составляютъ характеръ исторіи Фукидиды. Въ ней замѣтенъ только одинъ недостатокъ — несообразность: онъ излагаетъ безконечныя рѣчи, произносимыя главными дѣйствующими лицами, безпрестанно прерывающія повѣство-

ваніе (*). Въ Иродотѣ не кажется спраннымъ эпотъ способъ выводить героевъ на сцену: у него видишь въ то царей и пастуховъ, дружески бесѣдующихъ между собою, то архонтовъ и полководцевъ, споль же многорѣчивыхъ, какъ герои Омировы. Это согласно съ невѣроятностями, которыми наполнено все его твореніе. Но вы пребудете болѣе опъ Фукидидѣ, мыслишеля спрогаго, и быстрый, неожиданный переходъ опъ дѣйствительности къ вымыслу возбуждаетъ справедливое негодованіе. Сверхъ того Фукидидъ, неспособный приноровлять формы слога ко всѣмъ характерамъ, имъ представляемымъ, всегда выказываетъ самого себя, заставляя ли говорить Клеона или Перикла, орапоровъ Аѳинскихъ или Коринѣскихъ; всякая личная или народная особность спирается и исчезаетъ подъ его кистью. Вездѣ виднѣтъ Аѳинскій орапоръ, одаренный сильнымъ и изящнымъ словомъ, воспитанный въ школѣ діалектиковъ, сжатый до темноты, важный и положительный въ выраженіяхъ. Къ этому недостатку должно еще присоединить ограниченную и часто ошибочную философію, какой должно ожидать опъ Аѳинянина, жившаго въ пятомъ вѣкѣ до Рождества Христова. Фукидидъ бѣденъ общими выводами, или умствуетъ, основываясь на ложныхъ началахъ. Смѣшливый и разсудительный, но болѣе пронапательный, нежели обширный, онъ чрезвычайно хорошо обсуживаетъ отдѣльные факты, но никогда не возвышается до разсматриванія опношеній и связей, между ними существующихъ; съ глубоко-

(*) *Vertot de l'usage des harangues*, въ *Mém. de l'Acad. des Inscr.* t. III. — *Posselt Ueber die Reden grosser Römer in den Werken ihrer Geschichtschreiber* (Kleine Schriften, 1795, 8.).

мыслиемъ и силою его не равняется обширность соображеній. Въ немъ вы не встрѣтите общихъ идей, столь обыкновенныхъ въ Робертсонъ и Гердеръ. Проницательность, его отличающая, совершенно практическая. Воспитанный въ школѣ политиковъ своей страны и своего времени, онъ предугадываетъ, предвидишь, искусно изыскиваетъ побудительныя причины какого-либо дѣйствія и сокровенныя пружины какого-либо характера; но не любитъ отвлеченностей, и общія замѣчанія его поверхностны. Вообще практическое соображеніе отучаетъ умъ отъ возведенія понятій къ единству. Мудрость Фукидда ограничена утонченностію и глубиною. Онъ мало говоритъ объ устройствѣ войскъ, о происхожденіи различныхъ партій, о взаимныхъ отношеніяхъ, существовавшихъ между Греческими республиками; едва касаясь всѣхъ этихъ важныхъ вопросовъ,

Умственное образованіе Грековъ того времени не позволяло имъ возвышаться до общихъ идей. Философія ихъ болѣе блестящая, нежели основательная, болѣе скорая, нежели твердая, показала бы нынѣ съплечіемъ софизмовъ. Жизнь ихъ пропекала на площади, а по этой причинѣ всѣ разсужденія ихъ были словесныя; у нихъ не было строгихъ правилъ въ сужденіяхъ, свойственныхъ только письменной рѣчи; доказывать иногда значило ослѣплять и поражать удивленіемъ противника, очаровывать слушателей витійствомъ. Кто сталъ бы возноситься до общихъ началъ, искать отвлеченныхъ истинъ, тотъ не достигъ бы этой цѣли (*).

(*) G. F. Creuzer Herodot und Thucydides — Versuch einer Würdigung ihrer histor. Grundsätze; Leipz. 1798, 8.

При всемъ этомъ Фукидидъ — писатель съ высокимъ краснорѣчіемъ, съ поразительнымъ и сильнымъ рассказомъ, первый изъ Греческихъ историковъ. Онъ далеко оставилъ за собою *Ксенофонта*, котораго достоинство преувеличено. Слогъ Ксенофонта чистъ, способъ выраженія приятный и легкій; но онъ повидимому хотѣлъ превратить исторію въ нравоученіе. Въ немъ велико изящество вкуса, его отличающее, постоянное соблюденіе благозвучія рѣчи; не достаешь только силы соображенія. Съ удовольствіемъ можно прочесть его *Отступленіе десяти тысячъ и Греческую исторію*; но эпо чтеніе нисколько не увеличитъ знаній, не озаритъ ума новымъ свѣтомъ. Видно, что Сократъ берѣгъ свои возвышеннѣйшія понятія и важнѣйшія истины для другихъ учениковъ, болѣе достойныхъ: робкій и тихій Ксенофонтъ долженъ былъ довольствоваться нѣсколькими легкими положеніями, нѣсколькими начальными основаніями.

Полибій и *Арріанъ* оставили намъ вѣрное описаніе важныхъ происшествій; одна только точность составляетъ все ихъ достоинство. Въ нихъ нѣтъ возвышеннаго и обширнаго таланта, способнаго все обнимать и воспроизводить.

Титъ Ливій является въ исторіи Римскимъ гражданиномъ, повелителемъ свѣта, повинующимся только Юпитеру и своему диктатору. Древнее правленіе міродержавнаго града пошатнулось отъ усилій времени; но гѣній Римскій еще существовалъ, гордость Римская оставалась неприкосновенною. *Титъ Ливій*, свидѣтель цвѣтущаго сословія Капитолія, видѣлъ въ прошедшемъ славный путь, по которому Римляне шествовали ко всеміруму

владычеству. Исторія его — апоэозъ Рима, невѣрна въ отношеніи къ истинѣ всѣхъ частныхъ событій, но вѣрна въ отношеніи къ Римскому духу. Если онъ преувеличиваетъ, то единственно изъ гордости и желанія возвысить свое отечество. Историческое изложеніе удивительно. Онъ не имѣетъ подобнаго себѣ въ живописныхъ описаніяхъ, въ легкости, живости, простотѣ и краспорѣчи; въ немъ нѣтъ ничего принужденнаго, скучнаго и слабаго. Подобной неисощимой плодovitости, удачныхъ и блестящихъ картинъ, глубокихъ и благородныхъ мыслей, не найдемъ мы ни у одного историка: это ручей чистый, быстрый и излучистый, въ своемъ теченіи всегда ровный, очаровательно журчащій, украшающій берега, которые лелѣютъ волны его, и вѣчно обновляемый въ своей свѣжести. Обиліе красотъ, *lactea ubertas*, какъ говаривали древніе, почти невѣроятно.

Не станемъ подробно разбирать повѣствованій *Юлія Цезаря*; ихъ должно причислить къ *запискамъ*. Изящная ихъ краткость и важная простота достойны великаго полководца — писателя. Онъ разсказывалъ, какъ дѣйствовалъ — какъ полководецъ и государственный человѣкъ. Рѣчь его повелительна, кратка, безъ прикрасть, быстра въ ходѣ своемъ и совершенна въ своей точности. Но это — удивительный образецъ записокъ не есть исторія.

Саллюстій, часто сравниваемый съ Типомъ Ливіемъ, оставилъ намъ только маловажные отрывки, по которымъ, можетъ быть, несправедливо было бы строго судить историческій талантъ. Слогъ его рѣзокъ, насмѣшливъ, надутъ, но быстрый и блестящеленъ: это языкъ остро-

умія, поддерживающаго вниманіе слушателей смѣлыми выходками и мнимой замысловатостію. Видно, что Саллюстій или передѣлывалъ факты, въ угожденіе какой-либо стороны, или не могъ отличить истины отъ лжи, среди противныхъ мнѣній, которыми стороны вооружались одна противъ другой. Предметъ важнѣйшаго его сочиненія — заговора Катилины, есть одно изъ самыхъ темныхъ мѣстъ Римской исторіи; Саллюстій нисколько его не объяснилъ.

Изъ историковъ, нами обозрѣнныхъ, нѣкоторые погрѣшаютъ противъ истины, другіе не имѣютъ изящнаго колорита; обладающіе искусствомъ составляютъ приятную повѣсть изъ исторіи не понимая ея во всей глубинѣ; у другихъ съ умѣньемъ разсказа не соединена критика; историки точные, каковъ Полибій, не умѣютъ оживлять картинъ. Писатель, превосходящій всѣхъ философическимъ взглядомъ, талантомъ драматическимъ, важностію и возвышенностію мыслей, есть Тацитъ (*). Если вы хотите, чтобы предъ вами дѣйствовали историческіе характеры, какъ живые люди, чтобы глубина души человѣческой, тайныя побудительныя причины дѣйствій, сокровенные элементы мыслей явились во всей наготѣ предъ вашими глазами; если нужно, чтобы Римскій Шекспиръ вызвалъ на сцену своей исторіи лица, болѣе волнующія страстями мрачными и пламенными, чѣмъ Отелло и Макбетъ: то читайте Тацита. Шекспиръ и Тацитъ величайшіе драматикки. Какъ Гамлетъ есть совершенное твореніе воображенія Шекспирова; такъ Тацитъ совершенно спи-

(*) *Süvern* — Ueber den Kunstcharakter des Tacitus; in den Abhandl. der Berl. Akad. 1822.

сая съ природы Тиверіа. Оба обнажаютъ предъ нами малѣйшіе ошпѣнки характеровъ, во всѣхъ оплывахъ, во всѣхъ положеніяхъ; подвергаютъ сердце человеческое подробнѣйшему изслѣдованію; равно умѣютъ покрывать изслѣдованія свои яркимъ колоритомъ, исполненнымъ огня и производящимъ сильное впечатлѣніе. Въ эти качества принадлежатъ и Шекспиру, и Тациту.

Тацитъ не имѣетъ себѣ соперника между древними. Иродотъ любитъ разговоры и чудесное, но гений его эпическій, а не драматическій. Разсказы, безпрестанно прерываемый рѣчами дѣйствующихъ лицъ, живъ и огненъ; но у него всѣ люди, и мужчины и женщины, говорятъ однимъ языкомъ. Фукидидъ, болѣе искусный и проникательный, умѣетъ различать ошпѣнки и дѣлаетъ правильные очерки; его Клеонъ, Никій и Периклъ силны съ природы и повяшны. Характеры ихъ вѣрны и рѣзки; но это очерки нераскрашенные, не удовлетворяющіе читателя; имъ недостаетъ пѣней и украшеній — это прекрасныя Этрускія фигуры. Ксенофонтъ много говоритъ, умствуешь до безконечности, высказываетъ все, что думаетъ о томъ или другомъ человѣкѣ; но разсказъ его не оживленъ. Герои Тиша Ливіа, спранные въ своихъ добродѣтеляхъ и героизмѣ, едва уступаютъ въ порывахъ героямъ Плутарховымъ; имъ всѣмъ вообще приписывается одинакое рвеніе и величіе души, такъ какъ всѣмъ даюся одни и тѣ же звучныя названія, одни и тѣ же похвальные эпитеты. Но посмотрите на героевъ Тацита: особенность характера ихъ изливается на всѣ дѣйствія, одушевляетъ каждое ихъ слово. Клавдій его, Нероны, Отоны, Вителліи и Агриппины передъ нами говорятъ и дѣйствуютъ; кажется, мы живемъ въ ихъ дворцахъ

и пользуемся ихъ довѣренностью. Для того, чтобы мы могли лучше о нихъ судить, Тацитъ по окружаетъ ихъ всеми драматическими принадлежностями, по открываетъ всю глубину сердца. Этого великій живописецъ нашелъ достойный себя подлинникъ въ Тиверіи, котораго изображеніе есть верхъ искусства. Вотъ мрачная душа, которой многочисленныя сгибы, глубоко скрывающіе истину, можно считать загадкою. Поддѣльные добродѣтели обвивали характеръ Тиверія таинственными пеленами; дикое одиночество въ старости довершило дѣло, начатое приговорствомъ въ юности. Таланты его еще болѣе увеличивали неслыханную сложность характера; противоположные пороки, повидному, взаимно себя исключали. Ввести чиншеля въ его темную пещеру съ тысячами извилинъ; осветить мнимыя добродѣтели и сквозь оболочку ихъ дань замѣнить гнусную сущевенность, подъ ней скрытую; показать, какъ первый сановникъ республики, сенаторъ, свободно вышывавшійся въ сужденія о дѣлахъ общественныхъ, наприцій, равный въ правахъ со всеми Римскими аристократами, дошелъ до того, что наконецъ сбросилъ личину и превратился, предъ очами своихъ содѣльниковъ, въ повелителя, жаждавшаго крови и утопавшаго въ чувственныхъ удовольствіяхъ; объявить эту непостижимую смѣсь мужества и хладнокровія, постыдливости и скрытности, развращенную прихотливостъ, изступленіе порока, совершенное искаженіе всѣхъ нравственныхъ началъ; показать дѣйствіе старости и приближенія смерти, срапаное смѣшеніе слабости и силы; выставить дѣлательный и зоркій умъ, переживающій крѣпостъ тѣлесную; начертать изображеніе вѣтхаго міровласишеля подъ бременемъ дряхлости, которая

только увеличиваетъ его жестокость, страсть къ удовольствіямъ и кровавыя прихоти: таковъ великій прудъ историка Тиверіева! Этого удивительный повелитель Римлянъ, когда горячка прихотливой чувственности свѣдала его, предвидѣніе близкаго конца мучило, до послѣдняго вздоха пребылъ глубочайшимъ наблюдателемъ, искуснѣйшимъ припворщикомъ. Какая трудная работа для художника, и съ какимъ совершенствомъ Тацитъ ее выполнилъ!

Не смотря на превосходство своего генія, Тацитъ, неподражаемый драматикъ, болѣе удовольствовался бы спрогнохъ мыслителей, еслибъ былъ простѣе и естественнѣе. Онъ иногда ошибается отъ излишества изслѣдованій; хочетъ произвести сильное впечатлѣніе, и слишкомъ усиливаетъ краски; что ни видишь и что ни рассказываетъ, для всего приискиваетъ причины и отдаленныя объясненія. Слогъ его не историческій: противоположность свѣта и тѣни у него слишкомъ рѣзка. Можно подозрѣвать, что онъ принялъ за достовѣрность не одно предположеніе; употреблялъ иногда во зло свою проникаемость для того, чтобы искать необыкновенныхъ причинъ дѣйствіямъ самымъ обыкновеннымъ. Фукидидъ, не столь блестящій, не столь богатый трагическими и занимательными мѣстами, сколько Тацитъ, менѣе напаянъ, менѣе изысканъ. Читайте Тацита въ отрывкахъ: вы предпочтете его всѣмъ извѣстнымъ писателямъ. Но прочтите всѣ его творенія: они потеряютъ часть своей занимательности — непрерывно сильные и поразительныя сцены не производятъ равно сильного и глубокаго впечатлѣнія.



ЧТЕНІЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ.

Продолженіе изслѣдованій Исторіи. — Исторія отечественная. — Элементы историческіе въ видѣ особыхъ сочиненій: характеры и біографіи.

Переходимъ къ новѣйшимъ историкамъ. Не столько драматическіе и не столько краснорѣчивые, они болѣе изыскиваютъ достовѣрность, не почитаютъ себя обязанными впадать въ плодовитыя рѣчи въ уста дѣйствующимъ лицамъ, ни прибавлять вымышленныя описанія къ рассказамъ объ истинныхъ событіяхъ. Занимательность повѣствованія безъ сомнѣнія чрезъ то уменьшилась, но достовѣрность увеличилась. Это улучшеніе совершалось постепенно. Со временъ паденія Римской имперіи, сношенія между народами спали чаще, идеи яснѣе и прочнѣе, открытія рождались изъ открытій. Книгопечатаніе не допустило погибнуть ни одной изъ добычъ ума человеческого; ни одно поколѣніе не исчезло съ лица земли, не оставивъ по себѣ богатаго наслѣдія потомству. Новѣйшіе въ одинъ взкъ дѣлали болѣе открытій, чѣмъ древніе въ тысячи лѣтъ. Десять вѣковъ варварства были нужны, для искорененія послѣднихъ зародышей нравственной болѣзни, оставшейся отъ Рима, для очищенія атмосферы, пагубной для добродѣтели, знаній и счастья людей; только по прошествіи десяти вѣковъ, могло начаться образованіе народовъ. Тогда-то Европа подъяла главу: все для нея перемѣнилось. Азіатской монархіи уже не было; образо-

вался великій союзъ народовъ съ одной религіею, но съ различными правами, законами, языками и обычаями. Различныя народности возникли изъ обломковъ опрокинушаго колосса; всѣ новыя государства, равныя правами и одушевленные одинакою гордостію, привыкли взаимно уважать другъ друга; ни одно изъ нихъ не думало обладать всеми другими. Между ними возникло соревнованіе, имѣвшее счастливыя слѣдствія; что было открыто, разобрано, усовершенствовано однимъ народомъ, то обращалось къ пользѣ другихъ: отъ этого равновѣсія умственного и нравственного сѣверныхъ странъ возымѣли вліяніе на южныя; знанія разлились во всѣхъ направленіяхъ. Нѣтъ болѣе однообразія, монополій; все становится дѣлательностію, совѣстивностію. Общество и природа человѣческая представляются наблюдаемо въ безчисленномъ многообразіи видовъ. Какъ единство было девизомъ міра древняго, такъ девизъ новаго міра разнообразіе. Анализы, наблюденія умножаются; облегчается приведеніе фактовъ въ систему и исправленіе ложныхъ началъ.

И сколько успѣховъ оказало обобщеніе идей! Начиная съ эпохи Христіанскаго просвѣщенія, какими глубокими изслѣдованіями, какими безпрерывными сравненіями достигли мы до того, что различаемъ преходящія формы отъ вѣчныхъ началъ, мѣстные предрасудки отъ общихъ идей, исключенія отъ правилъ, случайныя событія отъ теорій! Прежде проницательнѣйшій геній, не имѣя данныхъ для сравненія, смѣшивалъ случайности съ сущностью вещей, принималъ за постоянное то, что было только временнымъ, и перемѣны, нарушавшія обыкновенный порядокъ, находилъ сшоль

же важнымъ, какъ и основныя законы, посредствомъ которыхъ вѣчная истина управляетъ обществомъ. Новѣйшіе писатели не могутъ снова впасть въ подобныя заблужденія: посредственныя умы въ этомъ отношеніи знаютъ болѣе Оукенда и Тацита. Таковъ характеръ историковъ новой Европы: въ нихъ менѣе гения, но больше критики; менѣе восторженной фантазіи, но образъ мыслей вѣрнѣе; болѣе учености, точности, философіи. Дѣйствительно таковы Юмъ въ исторіи Англіи, Робертсонъ — въ твореніи объ Америкѣ, Гиббонъ — въ сочиненіи объ упадкѣ и разрушеніи Римской имперіи, Миллеръ — въ исторіи Швейцаріи, Шиллеръ — въ отпаденіи Нидерландовъ отъ Испаніи и въ тридцатилѣтней войнѣ, Карамзинъ — въ исторіи Государства Россійскаго.

Въ исторіи современной должно отличать различный образъ воззрѣнія на событія рода человѣческаго: философскій и историческій. Школа историковъ философская утверждаетъ, что умъ человѣческій творитъ событія; школа чисто историческая говоритъ, что умъ приводится въ движеніе отъ событий. Сверхъ этихъ школъ третья — теософическая, какъ замѣтили мы въ предыдущемъ чтеніи, изслѣдуя происшествія, зависящія отъ воли человека, признаетъ въ порядкѣ событий законы Провидѣнія. Въ новыя времена два великихъ писателя озарили исторію новымъ свѣтомъ, открывъ въ человѣчествѣ соединеніе и законовъ высшей необходимости, и закона свободной дѣятельности духа, отражающей въ себѣ и мѣсто, и время: мы разумѣемъ Вико и Гердера. Начертать всемірную исторію, которая является во времени подъ формою частныхъ исторій; обвести идеальный кругъ,

въ которомъ обращается міръ дѣйствительный: это предметъ *Новой науки* Вико, философія и вмѣстѣ исторія человѣчества. — Мысль, что измѣненія историческія зависятъ не отъ одной чьей-либо воли, но что основаніе ихъ находится въ самой внушренности вселенной, отражающейся въ душѣ человѣка; что степени образованности человѣчества въ извѣстной странѣ, въ извѣстномъ вѣкѣ, оппечашлвая на себя условія мѣста и времени, заключающіяся въ законахъ міра; что эти различныя явленія входятъ въ общую область природы и составляютъ часть ея характера; что дѣянія человѣческія составляютъ міръ, гдѣ какъ и въ міръ физическомъ, есть своя гармонія, свои развитія — эта мысль служилъ основаніемъ *Истории человечества* Гердера. Наконецъ Боссюэтъ и Балланшъ излагаютъ исторію въ видѣ Христіанской Θεософіи. По ихъ ученію, общій и неизмѣнный законъ управляетъ всѣми судьбами человѣческими; въ этомъ законѣ, думаетъ Балланшъ, развиваются два догмата — паденіе и возстановленіе. Человѣкъ въ этой жизни ищетъ пути, по которому могъ бы надежно шествовать отъ паденія къ возстановленію — и только въ лонѣ Христіанства, Божественнаго Откровенія, можетъ найти искомое блаженство; въ этой жизни онъ только предвкушаетъ сладость бытія будущаго, жизни безсмертной, въ соединеніи созданія съ своимъ Создателемъ, въ сліяніи лучей съ свѣтомъ свѣтовъ.

Разсмотрѣвъ элементы излагаемаго въ Исторіи и оппичишительныя свойства образцовыхъ историковъ, оппдадимъ себя оппчетъ въ первой и единственной книгѣ на оппечественномъ языкѣ нашемъ — въ *Исторіи Государства Россійскаго*. Тотъ, кто первый началъ говорить о природѣ, человѣкѣ и

искусствѣ на родномъ языкѣ, общепонятномъ; кто первый обратилъ вниманіе на предметы отечественныя, заставилъ полюбить ихъ — въ памятникахъ, плывшихъ въ архивахъ, воскресилъ память прошедшаго и создалъ отечественную Исторію: тогда заслуживаетъ уваженіе, возлагаемое на каждого къ высокому дару изящнаго слова. Долгъ такого уваженія лежитъ на насъ въ отношеніи къ *Карамзину*.

Предъидущія изслѣдованія привели насъ къ заключенію, что исторія какого-либо народа тогда только можетъ быть ошкровеніемъ настоящаго и указаніемъ на будущее, когда она представляетъ развитіе жизни народной, неразрывно связанной съ жизнью человѣчества; что нравственный міръ, какъ и вещественный, движется по определеннымъ законамъ; въ послѣднемъ мы усматриваемъ владычество необходимости, въ первомъ — свобододѣятельной воли. Въ этомъ мірѣ воли человеческой также все управляется законами высшими, Божескими: судьбы царствъ и народовъ въ исторіи человѣчества такъ же точно объясняются, какъ движенія планетъ въ исторіи природы. Поэтому долгъ исторіи — показать значеніе описываемаго народа въ извѣстное время, извлечь причины, производившія то или другое событіе, и по возможности вывести изъ прошедшаго правду для будущаго.

Предметъ и Русской исторіи въ отношеніи художественномъ также состоитъ въ развитіи причинъ всего того, что происходило въ Руси, въ показаніи ея значенія въ исторіи человѣчества, въ раскрытіи народнаго характера. Жизнь народа, разсматриваемая съ этой точки зрѣнія, объясняется не одними годами, но духомъ, дѣ-

лами дѣйствующихъ лицъ, нравами, обычаями, повѣрьями. Переселившись въ другой вѣкъ, опцдѣлишь себя опъ мѣнѣй настоящаго, оживишь нѣжныя* памятники, дышащъ однимъ воздухомъ съ людьми изображаемыми, безчисленное разнообразіе событій привести къ единству, вывести члвчпателя на такое мѣсто, съ котораго бы всѣ перспективы представлялись ясно и опредѣленно: въ этомъ трудность историка — художника.

Всѣмъ ли этимъ пребываніямъ изящнаго искусства удовлетворяетъ исторія Карамзина, можно опвъшпствовать по его предисловію. Изумительна Россія, девятая часть міра, и по пространству своему, и по разноплеменнымъ жителямъ, и по господству въ общей системѣ государствъ, говоритъ самъ Исторіографъ; но какимъ образомъ исторія Россіи примыкаетъ къ исторіи чловѣчества; изъ какого общаго начала перспективы всѣ ея событія — этого не видно въ цѣломъ объемѣ творенія. Между тѣмъ нападеніе Норманновъ на Финновъ и Славянъ не представляетъ ли остатка движенія народовъ, ходившихъ на добычу колоссальнаго шрупа въ древнемъ мірѣ (*). Не смотря на многія, весьма важныя подробности, прогашельныя, великія и ужасныя картины, *жизнь Россіи*, идея Русской исторіи, остается неизвѣспною, духъ народный не развитъ, различные возрасты народа не изображены. Удовлетворительно узнаемъ, чѣмъ дышало отечество наше подъ игомъ Монголовъ; какъ выдерживало оно ужасы временъ Іоанна IV; какъ спаслось при Самозванцахъ:

(*) См. Разборы Исторіи Государства Россійскаго *Каченовскаго*, *Арцыбашева*, *Н. Полеваго*, въ Вѣспникѣ Европы и Телеграфъ.

но какъ образовалось оно среди остальныхъ движеній пародныхъ девятаго вѣка, и какъ озарилось свѣтомъ Христіанскаго ученія — эпитъ вопросы съ надлежащею глубиною не изслѣдованы. Далѣе, поработченіе Славянъ и Финновъ Норманнами, бореніе эпитъ двухъ элеменговъ и сліяніе въ Руссовъ, два полюса Руси, Новгородъ и Кіевъ, сношенія съ Греціею и борьба съ нею, Христіанская Вѣра, раздѣленіе и междоусобія, удѣлы, иго Монгольское, освобожденіе, соединеніе растерзанныхъ частей Государства въ одно цѣлое, самобытность народнаго духа въ низверженіи Самозванцевъ, новая жизнь Россіи подъ благодѣтельнымъ покровомъ Самодержавія Романовыхъ: о всѣхъ эпитъ основныхъ, главныхъ событіяхъ повѣствуетъ исторія наша; но они звалены излишними подробностями, не связаны между собою, не образуютъ изъ себя одной правильной картины, не обрисованы разпелельно представителю вѣковъ. Такъ Россія до Іоанна III и Россія отъ Іоанна III до Михаила Ѳеодоровича представляются одинакими державами; такъ Рюрикъ и Іоаннъ III равно мудрые Монархи; войны Святославовы и войны подъ предводительствомъ Пжарскаго, спасеніе отечество, равно народъ славный, великій.

Развитіе историческихъ событій не представляетъ въ исторіи нашей различныхъ возрастовъ народа, какъ условія извѣстнаго расположенія. Въ картинѣ жизни должно отпечать тотъ самый законъ, по которому обнаруживаются ступени челоувѣчества и народовъ. Каждая изъ ступеней составляетъ особую сферу въ исторіи, или эпоху, періодъ. Первый моментъ жизни народа есть эпоха его происхожденія, или нераздѣльнаго единства. Скоро въ немъ обнаруживается противоположность на-

правлений жизни вѣтвей и внутренней. Такъ въ нашей исторіи нападеніе Норманновъ есть первый періодъ нераздѣльнаго единства; періодъ удѣловъ выражаетъ стремленіе жизни ко вѣщности; періодъ Іоанна III — стремленіе жизни внутреннее. Четвертый періодъ есть живое соединеніе вѣшняго и внутренняго, когда начинается народное самопознаніе. Таково преобразованіе Россіи Петромъ Великимъ. При этомъ возрѣніи легко и просто объясняется система удѣловъ, причина подпаденія ихъ подъ иго Монголовъ, равно и причина того, что составило изъ нихъ одно Государство. Представители жизни Руси, Рюрикъ, Ярославъ, Іоаннъ III, Петръ I — всѣ являющіяся съ особенными характерами, согласными съ духомъ времени. Такое раздѣленіе дѣйствительно показываетъ различные возрасты народа; въ подобномъ органическомъ поспроеніи исторіи можно воскресить жизнь народа съ его религіею, языкомъ, правами, повѣртіями, и вся исторія представитъ живой организмъ, развивающійся изъ одной идеи. Религіозное и умственное состояніе не должны разсматриваться отдѣльно, но въ совокупности съ практической жизнью народа; потому что въ этихъ трехъ проявленіяхъ обнаруживаются при спикіи народа — его умъ, воля и чувство.

Выражены ли характеры? Нѣкоторые изъ лицъ историческихъ живутъ передъ нами и дѣйствуютъ: такіе Владиміръ Мономахъ, Александръ Невскій, Димитрій Донской, Іоаннъ III, Іоаннъ IV, Борисъ Годуновъ, Скопинъ-Шуйскій. Въ изображеніи Іоанна IV причины ужасовъ не высказаны; характеръ его болѣе описанъ, нежели сколько указанъ въ дѣйствіи. Возвышеніе Бориса объяснено; но опъ чего вдругъ палъ эщомъ необыкновенный исполнитель своего времени;

откуда невозможные успѣхи Самозванца, отъ чего страшныя дѣйствія Сигизмунда, въ чемъ главная вина спасенія нашего отъ чуждаго владычества; не вездѣ ли видѣнъ перспѣтъ Провидѣнія, указующій пути къ обществу благоденствію Россіи? Все подобныя вопросы историческіе требуютъ новыхъ изслѣдованій.

Что сказать объ изложеніи? Въ картинныхъ описаніяхъ, въ одушевленномъ повѣствованіи, въ простотѣ разсказа и благозвучіи — въ этихъ условіяхъ изящества историческаго Карамзинъ не имѣетъ равнаго себѣ между отечественными писателями; а неспощимой плодovitости — это *lactes uber-tatis*, удачныхъ и блестящихъ картинъ, благородства въ образѣ мыслей, не найдемъ болѣе ни у писателей иностранныхъ. Это обильная и величественная въ теченіи своемъ рѣка, всегда ровная, орошающая собою берега и питающая ихъ свѣжую зелень. Въ описаніяхъ удѣловъ мы желали бы видѣть порядокъ, отношенія, характеръ каждаго удѣла. Они имѣли особыя фیزیогноміи; это отразилось въ самомъ языкѣ. Главныя отличія его сохранились преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ, куда переносились престолы Великокняжескіе и сильнѣйшихъ Удѣльныхъ Князей — въ Новгородъ, Владиміръ, Нижне-Новгородъ, Рязань, Тверь. Между частными повѣствованіями находимъ превосходнѣйшіе образцы изыскаго. Взятіе Казани есть наша эпопея; въ этомъ повѣствованіи все вѣрно: изображеніе людей, мѣстъ, повѣрій, битвъ, характеры героевъ. Къ такимъ же образцовымъ повѣствованіямъ принадлежитъ уничтоженіе самобытности Новгорода, Пскова, самоопроверженіе жителей Козельска, битва Куликовская, подвиги Скопина-Шуйскаго. Если бы достоинствами историка были только припадѣность, живость, чистота слога,

яркости и роскошь колорита: по Карамзину въ отношеніи художественномъ былъ бы первымъ изъ историковъ.

Согласно съ условіями идеала исторіи, начертаннаго въ предъидущихъ чтеніяхъ, рассмотримъ изображеніе царствованія Бориса Годунова (*), семи замѣчательныхъ лѣтъ въ нашей отечественной исторіи.

»Буди свящанъ воля Твоя, Господи! насъпави меня на путь правый, и не вниди въ судъ съ рабомъ Твоимъ! Повинуюсь Тебѣ, исполняя желаніе народа.« Такъ говорилъ Борисъ, убѣжденный сестрою Царицею Иринею, Патриархомъ, вельможами и народомъ. Чпо повидимому могло быть торжественнѣе, единодушнѣе, законнѣе этого нареченія, и чпо благоразумнѣе, прибавляешь Исторіографъ? Перемѣнилось только имя Царя: власть державная оставалась въ рукахъ того, кто уже давно ее имѣлъ, и властвовалъ счастливо для дѣлоси Государства, для внутренняго устройства, для внешней чести и безопасности Россіи. Такъ казалось; но этого человѣческою мудростію надѣленный правитель достигъ престоломъ злодѣйствомъ. . . . Казнь небесная угрожала Царю преступнику и Царству несчастному. Вошъ, какую мысль развиваешь Исторіографъ въ событіяхъ царствованія Борисова.

Когожъ срѣщаетъ Церковь и отечество на Престолѣ Мономаховъ? Въ исторіи царствованія Феодора Іоанновича находимъ слѣдующее изображеніе Бориса: »Величественною красотою, повелительнымъ видомъ, смысломъ быстрымъ и глубокимъ, сладкорѣчіемъ обольстительнымъ превосходя всѣхъ вель-

(*) Исп. Госуд. Россійск. ш. XI, гл. 1 и 2.

можъ, Борисъ не имѣлъ только . . . добродѣтели, хотѣлъ, умѣлъ благопворити, но единственно изъ любви ко славѣ и власпи, видѣлъ въ добродѣтели не цѣль, а средство къ достиженію цѣли: если бы родился на престолѣ, то заслужилъ бы имя одного изъ лучшихъ вѣнценосцевъ въ мірѣ; но рожденный подданнымъ, съ необузданною страстію къ господству, не могъ одолѣть искушеній пачъ, гдѣ зло казалось для нея выгодною — и проклятіе вѣковъ заглушаетъ въ испорченіи добрую славу Борисову.»

Вотъ кто идетъ царствовать. Москва встрѣчаетъ Царя своего; Члены Великой Думы, представивши всей Россіи, даютъ обѣтъ «положить души свои и головы за Царя, Царицу и дѣтей ихъ.» — Описаніе встрѣчи Царя въ снѣгахъ Москвы, торжественнаго входа въ столицу и царскаго вѣнчанія Борисова превосходно. Царь, во время священнаго коронованія, осявенный десницею Первосвященника, въ порывѣ живаго чувства, какъ бы забывъ уставъ церковный, среди Литургіи, воззвалъ громко: *«Отче, великій Патріархъ Іовъ! Богъ мнѣ свидѣтель, что въ моемъ царствѣ не будетъ ни сираго, ни бѣднаго»* — и трясъ верхъ своей рубашки, примолвилъ: *«отдамъ и сію послѣднюю народу.»* Какими чувствами умиленія, благодарности и восторга проникнуты были Бояре и народъ! Замѣчаютъ, что никакое царское вѣнчаніе въ Россіи не дѣйствовало столько Борисова на воображеніе и чувство людей. Желая показать, что новый Самодержецъ предпочитаетъ бранный шлемъ вѣнцу Мономахову, Борисъ еще до вѣнчанія, услышавъ о намѣреніи Казы-Гирея вступить въ предѣлы Московскіе со всею Ордою, двинулъ полмиліона войска къ берегамъ Оки и самъ выѣхалъ въ походъ въ ратномъ доспѣхѣ. Извѣстно, что, вмѣ-

сто шучи враговъ, явились предъ нимъ мирные послы Казы-Гиреевы.

Первые два года царствованія Борисова казались лучшимъ временемъ Россіи съ XV вѣка, или съ ея возстановленія: она была на высшей степени своего могущества, безопасная собственными силами и счастьемъ вѣшнихъ обстоятельствъ, а внутри управляемая съ мудрою твердостью и съ кротостію необыкновенною. Борисъ исполнялъ объѣзды царскаго вѣнчанія, и справедливо хотѣлъ именоваться опцемъ народа, уменьшивъ его тягости; опцемъ сырыхъ и бѣдныхъ, заливая на нихъ щедроты безпримѣрныя; другомъ человѣчества, не касаясь жизни людей, не обагривъ земли Русской ни каплею крови, и наказывая преступниковъ только ссылкой. Купечество, менѣе спѣсняемое въ торговлѣ; войско, въ мирной пищѣ осыпавшее наградами; Дворяне, приказные люди, знаками милости отличаемые за ревностную службу; Служилые, уважаемый Царемъ дѣятельнымъ и совѣслоубивымъ; духовенство, честное Царемъ набожнымъ — однимъ словомъ, все государственныя состоянія могли быть довольны за себя и еще довольнѣе за опчество, видя, какъ Борисъ въ Европѣ и въ Азіи возвелъ имя Россіи безъ кровопролитія и безъ тягостнаго напряженія силъ ея; какъ радѣеть о благѣ общемъ, правосудіи, устройствѣ.

При такомъ блистательномъ царствованіи, можно ли было ожидать тѣхъ ужасныхъ несчастій, копорыя чрезъ нѣсколько годовъ постигаютъ Царя и Россію? Краснорѣчивое повѣствованіе Историка приговариваетъ ли насъ къ этому внезапному взрыву въ народѣ, къ этимъ тучамъ, собирающимся надъ опчествомъ, чтобъ скорѣе разра-

зипься? — Въ отношеніи къ Борису, Исторіографъ постоянно наблюдаетъ всѣ движенія его сердца. »Достигнувъ цѣли, говоришь онъ, возникнувъ изъ ничтожности рабской до вышины Самодержца, усиленіи неутомимыми, хитростию неусыпною, коварствомъ, происками, злодѣйствомъ, наслаждался ли Годуновъ въ полной мѣрѣ своимъ величіемъ, коего алкала душа его — величіемъ, купленнымъ столь дорогою цѣною? Наслаждался ли и чистѣйшимъ удовольствіемъ души, благошворя подданнымъ, и тѣмъ заслуживая любовь ошечества? По крайней мѣрѣ не долго.»

Въ другомъ мѣстѣ Карамзинъ съ глубокою наблюдательностью замѣчаетъ: »Вѣнценосецъ зналъ свою пайку, и не имѣлъ утѣшенія вѣрныя любви народной; благошворя Россіи, скоро началъ удаляться отъ Россіянъ; ошмѣнилъ успавъ время древнихъ: не хотѣлъ, въ извѣстные дни и часы, выходить къ народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитныя; являлся рѣдко, и только въ пышности недоступной. Но убѣгая людей, какъ бы для того, чтобы лицомъ Монарха не напомнить имъ бывшаго раба Іоаннова, онъ хотѣлъ невидимо присутствовать въ ихъ жилищахъ или въ мысляхъ, и недовольный обыкновенною молитвою въ храмахъ о Государь и Государствѣ, велѣлъ искуснымъ книжникамъ составить особенную для чтенія во всей Россіи, во всѣхъ домахъ, на трапезахъ и вечерахъ за чаши, о душевномъ спасеніи и телесномъ здоровіи слуги Божія, Царя, Всевышнимъ избраннаго и превознесеннаго, Самодержца всей Восточной сѣраны и Сѣверной.»

Это замѣчаніе въ исторіи жизни Бориса чрезвычайно важно; онъ, какъ бы не страшась Бога,

нѣмъ болѣе спрашивая людей, и еще до ударовъ судьбы, до измѣнъ счастья и подданныхъ, еще спокойный на престолѣ, искренно славный, искренно любимый, уже не зная мира душевнаго; уже чувствовалъ, что, если путемъ беззаконія можно достигнуть величія, то величіе и блаженство, самое земное, не одно знаменуютъ. Чуюжъ происходишь въ сердцахъ подданныхъ, въ Россіи? Нѣтъ ли здѣсь изготовляемаго бѣдсвія для Бориса? Мысль Россіянъ о Царѣ порфирородномъ, при всѣхъ достоинствахъ Годунова, оспаривавшаяся престою, и аристократіею, при Іоаннѣ не уничтоженная, а только измѣненная, послѣ же Іоанна усилившаяся: вотъ, въ чемъ должно искать причинъ внезапнаго паденія исполна своего времени, каковъ Борисъ, и невозможныхъ усилковъ Лжедмитрія. Не одно внутреннее безпокойство души, неизбежное для преступника, тревожило Бориса; не одни подозрѣнія его о тайныхъ ковахъ прошивъ него заставили его бытъ на спражъ неусынной, все видѣть и слышать; но естественну, могли и другіе имѣть жажду къ верховной власти. Бѣльскіе, Черкасскіе, Шестуновы, Репнины, Карповы, Сицкіе, Шуйскіе, Мстиславскіе, Бахтѣевы-Росповскіе, Щелкаловы, знали глубину сердца Борисова и не могли усыпить въ себѣ чувства властолюбія. Начались гоненія, ссылки, заключенія въ темницы, лишенія собственности; не было всенародныхъ казней, но морили несчастныхъ въ темницахъ, пытали по доносамъ. Отсюда въ седьмой годъ царствованія Борисова не узнаемъ отечества своего: «И въ дикихъ Ордахъ, говоритъ современный лѣтописецъ, Келарь Палицынъ, не бываешь споль великаго зла: господа не смѣли глядѣть на рабовъ своихъ, ни ближніе искренно

говоришь между собою; а когда говорили, то взаимно обязывались спрашною клятвою не измѣнять скрепности.» Тогда молчаніе народа, служа для Царя явною укоризною, возвысило важную переѣзную въ сердцахъ Россіянъ: они уже не любили Бориса. Къ этимъ нравственнымъ бѣдствіямъ присоединились физическія — голодъ въ продолженіе двухъ годовъ, опустошавшій Россію. Борисъ доказывалъ свою любовь къ народу заботливостію и щедростію; но уже не могъ пронуть сердецъ, къ нему остывшихъ. Повѣствованіе объ этомъ событіи поразительно: голодъ усиливался и наконецъ достигъ крайности столь ужасной, что не лзя безъ пренебра чинать ея достовѣрнаго описанія въ преданіяхъ современниковъ. «Свидѣтельствуюсь истинною и Богомъ» — пишешь одинъ изъ нихъ — «что я собственными глазами видѣлъ въ Москвѣ людей, которые, лежа на улицахъ, подобно скошу щипали траву и пищались ею; у мертвыхъ находили во рту сыно. Мясо лошадиное казалось лакомствомъ: ѣли собакъ, кошекъ, сперво, всякую нечистоту. Люди сдѣлались хуже звѣрей: оставляли семейства и женъ, чтобы не дѣлились съ ними кускомъ послѣднимъ. Не только грабили, убивали за ломоть хлѣба, но и пожирали другъ друга. Путешественники боялись хозяевъ, и гостиницы стали вертепами душегубства: давили, рѣзали сонныхъ для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось въ пирогахъ на рынкахъ! Матери глодали трупы своихъ младенцевъ! . . . Злодѣевъ казнили, жгли, кидали въ воду; но пресупленія не уменьшались. . . . И въ сіе время другіе изверги копчили, берегли хлѣбъ, въ надеждѣ продать его еще дороже! . . . Гибло мнѣжество въ неизъяснимыхъ мукахъ голода. Вездѣ

напались полумертвые, падали, издыхали на площадяхъ. Москва заразилась бы срадомъ гніющихъ швъ, если бы. Царь не велѣлъ, на свое пжидиеніе, хоронитъ ихъ, испищая казну и для мертвыхъ. Приспавы ѣздили въ Москвѣ изъ улицы въ улицу, подбирали мертвцевъ, обмывали, завершывали въ бѣлые саваны, обували въ красные башмаки или копы, и сотнями возили за городъ въ при скудельницы, гдѣ въ два года и четыре мѣсяца было схоронено 127,000 труновъ, кромѣ погребенныхъ людьми христіанскими у церквей приходскихъ. Пишутъ, что въ одной Москвѣ умерло тогда 300,000 человекъ, а въ селахъ и въ другихъ областяхъ еще несравненно болѣе, отъ голода и холода: ибо зимою нищія толпами замерзали на дорогахъ.»

Тогда уже господствовала въ умахъ мысль, спрашная для Бориса — мысль, что небо за беззаконія Царя казнитъ Царство. «Изливая на бѣдныхъ щедроты, говорящъ лътописцы, онъ въ золотой чашѣ подавалъ имъ кровь невинныхъ, да пюотъ во здравіе; пипалъ ихъ милостынею богопрошивною, расхишивъ имѣніе вельможъ честныхъ, и древнія сокровища Царскія осквернивъ добычею грабежа.» Охлажденіе народной любви къ Борису довершилось кончиною Ирины, первой державной Царицы Россійской. Всѣми любимая, какъ истинная мать народа и въ келліи, она не мѣшала Борису державствовать, а служила ему Ангеломъ - хранителемъ. Тутъ настало время явной казни для Бориса: не потомки Рюриковы, не Князья и вельможи, имъ гонимые, не дѣти и друзья ихъ, вооруженные местию, умыслили свергнуть его съ царства: эшо дѣло умыслилъ и совершилъ презрѣнный бродяга, именемъ младенца, давно

лежавшаго въ могилѣ. Исторіографъ эту неслыханную и немовѣрную кашаспрофу въ судьбѣ Бориса изображаетъ превосходно; . . . какъ бы дѣйствіемъ сверхъестественнымъ жизнь Димитріева вышла изъ гроба, чтобы ужасомъ поразишь, обезумить убійцу и привести въ смятеніе всю Россію.»

Мы замѣтили, что въ исторіи царствованія Борисова, кромѣ распрей аристократіи, не раскрыта мысль, шавшаяся въ народѣ, мысль о Царѣ порождо-родномъ. Нужно было только коснуться этой мысли — и она, какъ искра, воспламенилась въ народѣ. Ажедимишрій воспользовался этимъ народнымъ чувствомъ. При этомъ воззрѣніи понявши успѣхи Самозванца, описанные Исторіографомъ: «Ажедимишрій шелъ съ мечемъ и съ манифестомъ: объявлялъ Россіянамъ, что онъ, невидимою десницею Всевышняго усупраженный огнь пожа Борисова и долго сокрываемый въ неизвестности, сею же рукою изведенъ на оепиръ міра подъ знаменами сильнаго, храбраго войска, и спѣвши въ Москву взявъ наслѣдіе своихъ предковъ, вѣнецъ и скипетръ Владиміровъ; напоминалъ всѣмъ чиновникамъ и гражданамъ присягу, данную ими Іоанну; убѣждалъ ихъ оставить хищника Бориса и служить Государю законному; обѣщалъ миръ, тишину, благоденствіе, коихъ они не могли имѣть въ царствованіе злодѣя богопрошивнаго. Виѣсшъ съ тѣмъ Воевода Сендомирскій именемъ Короля и вельможныхъ Пановъ обнародовалъ, что они, убѣжденные доказательствами очевидными, несомнѣнно признали Димитрія истиннымъ Великимъ Княземъ Московскимъ, дали ему рать и гошovy дань еще сильнѣйшую для восшествія на пресполъ опца его. Сей манифестъ довер-

шилъ дѣйствіе прежнихъ подмешныхъ грамотъ Лжедимитрія въ Украинѣ, гдѣ не только сподвижники Хлопковы и слуги опальныхъ Бояръ, ненавистники Годунова — не только низкая чернь, но и многіе люди воинскіе повѣрили Самозванцу, не узнавая бѣлаго діакона въ союзникъ Короля Сигизмунда, окруженномъ знашными Ляхами; въ выпязѣ ловкомъ, искусномъ владѣнъ мечемъ и конемъ; въ военачальникъ бодромъ и безстрашномъ: ибо Лжедимитрій былъ всегда впереди, презиралъ опасносшь, и взоромъ спокойнымъ искалъ, казалось, не враговъ, а друзей въ Россіи.»

Чтожь въ это время происходишь во дворцѣ и въ сердцѣ Борисовомъ? Изображеніе преступнаго властолюбца художественное. Прочтемъ это мѣсто. «Сія быстрые успѣхи обольщенія поразили Годунова и всю Россію. Царь увидѣлъ, вѣроятно, свою ошибку — и сдѣлалъ другую; увидѣлъ, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемернаго презрѣнія къ Разстригѣ, но готовымъ сильнымъ войскомъ опразить его отъ нашей границы и не впускать въ Сѣверскую землю, гдѣ еще жилъ старый духъ Липовскій и гдѣ скопище злодѣевъ, бѣглецовъ, слугъ опальныхъ, естественнo, ожидало мятежа какъ счастья; гдѣ народъ и самые люди воинскіе, удивленные безпрепятственнымъ входомъ Самозванца въ Россію, могли, вѣря внушенію его лазутчиковъ, думать, что Годуновъ дѣйствительно не смѣетъ противиться истинному Іоаннову сыну. Новое доказательство, сколь умъ обманчивъ въ раздорѣ съ совѣстію, и какъ хитросъ, чуждая добродѣтели, запутывается въ сѣтяхъ собственныхъ! Еще Борисъ могъ бы исправить сію ошибку: сѣсть на браннаго коня и самолично вести Россіянъ противъ злодѣя. При-

существованіе Вяценовца, его великодушная смѣлость и доверчивость безъ сомнѣнія имѣли бы дѣйствіе. Не рожденный героемъ, Годуновъ однакожъ съ юныхъ лѣтъ зналъ войну; умѣлъ силою души своей оживлять доблесть въ сердцахъ и спасти Москву отъ Хана, будучи только Правителемъ. За него были святость вѣща и присяги, навѣкъ повиновенія, воспоминаніе многихъ государственныхъ благодѣяній — и Россія на полѣ чести не предала бы Царя Разстригѣ. Но смятенный ужасомъ, Борисъ не дерзалъ идти на встрѣчу къ Димитріевой пѣни: подозрѣвалъ Болръ, и вручилъ имъ судьбу свою, назвавъ главнымъ Воеводою Мстиславскаго, добросовѣстнаго, лично мужественнаго, но болѣе знашнаго, нежели искуснаго предводителя; велѣлъ строго людямъ рапнымъ всѣмъ безъ исключенія, спѣшить въ Брянскъ, а самъ какъ бы укрывался въ столицѣ! — Никто изъ Россіянъ до 1604 года не сомнѣвался въ убійствѣ Димитрія, кошорый возрасталъ на глазахъ всего Углича, и коего видѣлъ весь Угличъ мершваго, въ печеніе пяти дней орошавъ его тѣло слезами; слѣдственно Россіяне не могли благоразумно взрѣшъ воскресенію Царевича; но они — не любили Бориса!»

Изобразивъ упадокъ духа въ исполнѣ-повелителѣ, Карамзинъ слегка касается мысли, кошорую должно было развитъ, какъ основную. «Любя, говоритъ онъ, древнее племя Царей и съ жадностію слушая тайные рассказы о мнимыхъ добродѣтеляхъ Лжедимитрія, Россіяне тайно же передавали другъ другу мысль, что Богъ дѣйствительно, какимъ нибудь чудомъ, достойнымъ его правосудія, могъ спасти Іоаннова сына для казни ненавистнаго хищника и ширана. Такъ нелюбовь къ Государю

раждаетъ нечувствительность и къ государственной чести. Общее смятеніе умовъ въ цѣломъ Государствѣ представлено съ искусствомъ художника: «Грозный частъ опыта наступалъ: не лѣзя было медлить; ибо Самозванецъ ежедневно усиливался и распространялъ свои мирныя завоеванія. Болре, Князя Федоръ Ивановичъ Мстиславскій, Андрей Теляшевскій, Дмитрій Шуйскій, Василій Голицынъ, Михайло Салтыковъ, Окольничіе Князь Михайло Кашинъ, Иванъ Ивановичъ Годуновъ, Василій Морозовъ, выступили изъ Брянска, чтобы пресѣчь успѣхи измѣны и спасти Новгородскую крѣпость, которая одна противилась Разспрыгъ, уже среди подвластной ему страны. — Не только Годуновъ съ мучительнымъ волненіемъ души слѣдовалъ мыслямъ за Московскими знаменами, но и вся Россія сильно тревожилась въ ожиданіи, чѣмъ судьба рѣшитъ столь важную прю между Борисомъ и ложнымъ или неложнымъ Димитріемъ: ибо не было общаго удостовѣренія ни въ войскѣ, ни въ Государствѣ. Мысль поднять руку на дѣйствительнаго сына Іоаннова или предаться дерзкому обманщику, клятому Церковію, равно ужасала сердца благородныя. Многіе, и самые благородѣйшіе изъ Россіянъ; не любя Бориса, но гнушались измѣною, хотѣли соблюсти данную ему присягу; другіе, слѣдуя единственно внушенію спрасей, только желали или не желали переменъ Царя, и не заботились объ исполнѣ, о долгѣ вѣрноподданнаго; а многіе не имѣли точнаго образа мыслей, готовясь думать, какъ велитъ случай. Если бы въ сіе время открылась провиданію наблюдателя и самая внутренность душъ; то онъ, можешь быть, еще не рѣшилъ бы для себя вопроса о вѣроятной удачѣ или неудачѣ Самозванцева дѣла: столь расположеніе умовъ было

ощаспи несогласно, ошчаспи педсно и нерѣшительно! Войско шло, повинуюсь Царской власти, но колебалось сомнѣніемъ, шолками, взаимнымъ недоувѣріемъ.»

Послѣ бывшѣ, въ Трубчевскѣ, не видя для себя безопасности въ Рыльскѣ, Лжедмитрій шщешно искалъ ее въ Пушिवѣ, уже хотѣлъ тайно уйди въ Литву; но, какъ бы Провидѣніемъ призванный, оштался; не успѣвъ поразить войска Борисова мечемъ, вздумалъ поражать умы народа мяшежными разглашеніями о вымышленномъ своемъ спасеніи. Если вспомнимъ Бориса, при благословеніяхъ и восклицаніяхъ народныхъ шествовавшего на престолъ Россійскій, и въ настоящій моментъ предшавшимъ себѣ его, изгоняемаго съ престола пѣнью Димитрія въ лицѣ бродяги-самозванца: то пошпимъ ужасаемся и вмѣстѣ благоговѣнно успокоиваемся, видя дѣйствіа бодрствующаго правосудія шесбснаго. Изображеніе Бориса художественное, окончашное заключается поразительнѣйшею картиною шрона, шѣнца и могилы, взнцепосной супруги, дѣшей, ближнихъ Царскихъ, уже обреченныхъ жершвъ судьбы, рабовъ неблагодарныхъ, уже съ гошвою измѣною въ сердцѣ. Больше шего, что представлено на эшой картинѣ, мы и не въ правѣ шребоваши опъ Историка: молчаніе современниковъ, подобно непроницаемой завѣсѣ, сокрыло опъ нашъ зрѣлище столь важное, споль правоучительное, дозволяя дѣйствовать одному воображенію. Заключимъ обзоръ царствования Борисова словами Карамзина: «Душа сего властшлюбца жила тогда ужасомъ и пришворшвомъ. Обманушый побѣдою въ ея сѣдствіяхъ, Борисъ шрадалъ, видя бездѣйствіе войска, нерадивосшь, неспособносшь или зломысліе Воеводъ, и боясь смѣшш ихъ, шшобы не избрашъ

худшихъ; спрадалъ, вѣнчая моль народной, благопріятной для Самозванца, и не имѣя силы унять ее ни снисходительными убѣжденіями, ни клятвою Священельскою, ни казнію: ибо въ сіе время уже рѣзали языки нескромнымъ. Доносы ежедневно умножались, и Годуновъ спрашилъ жестокостію ускорить общую измѣну: еще былъ Самодержцемъ, но чувствовалъ отчужденіе власны въ рукъ своей, и съ престола, еще окруженнаго льстивыми рабами, видѣлъ открытую для себя бездну! Дума и Дворъ не измѣнялись наружно: въ первой текли дѣла, какъ обыкновенно; въпорый блистала пышностію, какъ и дошолъ. Сердца были закрыты: одни шали страхъ, другіе злорадство; а всѣхъ болѣе долженъ былъ принуждать себя Годуновъ, чтобы уныніемъ и разслабленіемъ духа не предвѣстить своей гибели — и, можешь быть, только въ глазахъ вѣрной супруги обнаруживалъ сердце: казалъ ей кровавыя, глубокія раны его, чтобы облегчать себя свободнымъ спенаніемъ. Опъ не имѣлъ утѣшенія чистѣйшаго: не могъ предаться въ волю Святаго Провидѣнія, служа только идолу властолюбія; хотѣлъ еще наслаждаться плодомъ Димитріева убіенія, и дерзнулъ бы конечно на злодѣяніе новое, чтобы не лишиться приобретеннаго злодѣйствомъ. Въ такомъ ли расположеніи души утѣшается смертный вѣрою и надеждою Небесною? Храмы были отверсты: Годуновъ молился — Богу неумолимому для тѣхъ, которые не знаютъ ни добродѣтели, ни раскаянія! Но есть предѣлъ мукъ — въ брѣвности нашего ещесства земнаго. Борису исполнилось 53 года отъ рожденія: въ самыхъ пышущихъ лѣтахъ мужества онъ имѣлъ недуги, особенно жестокую подагру, и легко могъ,

уже старѣясь, истощить свои плѣсныя силы душевнымъ страданіемъ. Борисъ 13 Апрѣля, въ часъ утра, судилъ и радилъ съ Вельможами въ Думѣ, принималъ знатныхъ иноземцевъ, обѣдалъ съ ними въ Золотой палатѣ, и, едва вставъ изъ-за стола, почувствовалъ дурноту: кровь хлынула у него изъ носу, ушей и рта; лилась рѣкою: врачи, столь нимъ любимые, не могли остановить ее. Онъ терялъ память, но успѣлъ благословить сына на Государство Россійское, воспріять Ангельскій Образъ съ именемъ Боголѣпа, и чрезъ два часа испустилъ духъ, въ той же хранилѣ, гдѣ пировалъ съ Боярами и съ иноземцами. . .

Вотъ образецъ Исторіи нашей, драгоцѣннаго палладіума народной славы, въ которомъ Карамзинъ является представителемъ народнаго самопознанія! Слава, признаваемая въ писателя цѣлымъ народомъ, есть сліяніе чувствъ миллионовъ, жерпва народа своему представителю слова. Приведемъ въ порядокъ разбросанныя свѣдѣнія объ опеченствѣ, сохранившіяся въ историческихъ попыткахъ его предшественниковъ, оживимъ мертвые памятники и даемъ языкъ нѣмымъ харціямъ, угадаемъ народный духъ въ Словесности — такой подвигъ есть подвигъ высокаго ума, непреодолимой воли, изыскаго чувства. При нѣкоторыхъ недоспакахъ, какъ даны своему времени, Исторія Государства Россійскаго стоитъ въ ряду творческихъ произведеній Словесности.

Историческіе элементы — *характеры и жизнеописанія*, отдѣльно развитые, составляютъ особые сочиненія. Изображеніе характеровъ требуетъ вѣрности и правильности, какъ въ цѣломъ, такъ и въ самыхъ малѣйшихъ измѣненіяхъ и оп-

пѣнкахъ, точности и живости въ образѣ разговора и дѣйствіяхъ. Они должны сохранять опъ начала до конца ровность и согласіе въ поступкахъ и въ ходѣ мыслей, вѣроятность и естественность. Изящная живопись характеровъ пребуетъ краткости и силы. Для большей живости и поразительности, иногда представляются характеры противоположныя. Кромѣ историческихъ характеровъ, бываютъ характеры вымышленные. Таковы характеры *Теодрастовы*, *Лабрюйеровы*. Но изъ историческихъ характеровъ изящны: *Миллеровъ* Фридриха II, *Бредовсъ* — Карла Великаго, *Н. Полевыхъ* представленное изображеніе Петра Великаго, многіе характеры *Булгарина*. *Жизнеописаніе* повѣствуетъ о судьбѣ и дѣяніяхъ лицъ, которыхъ жизнь богата происшествіями, или которые заслугами, иногда страннымъ спеченіемъ обстоятельствъ и переменъ счастья обратили на себя вниманіе современниковъ. Въ жизни описываемаго лица избираются такіа событія, которыя могутъ довести насъ до новыхъ полезныхъ и занимательныхъ выводовъ о чловѣкѣ и природѣ. Между многообразными случаями жизни, превратностями, слабостями и дѣйствіями тѣ предпочитаютъ, которыя служатъ урокомъ или спасительнымъ примѣромъ для подражанія; потому что хорошій примѣръ сильнее дѣйствуетъ на насъ, нежели всѣ наставленія. Удовольствіе, получаемое опъ этого рода сочиненій, происходитъ изъ любви къ подобнымъ себѣ — изъ желанія видѣть великаго чловѣка не только на сценѣ общественной дѣятельности, но и въ укромной его обиталищѣ, быть съ нимъ лицомъ къ лицу. Опъ того и выраженіе въ біографіи, кромѣ свойствъ, общихъ всемъ историческимъ сочиненіямъ, должно отличатся естественною простотою

пою (*). Изъ древнихъ писателей оставили намъ изящныя жизнеописанія: *Плутархъ*, *Диогенъ Лаэртій*, *Корнелій Непотъ*, *Светоній* и *Тацитъ*. Изъ новыхъ образцами могутъ служить: *Джонсонъ*, *Робертсонъ*, *Вашингтонъ Ирвингъ*, *Иерусалемъ*, *Николай*, *Гердеръ*, *Вильменъ* (**). Украсимъ чтеніе наше нѣсколькими мѣстами изъ *Гречева* жизнеописанія того, священное воспоминаніе о комъ извлекаетъ искреннія слезы изъ очей вѣрныхъ подданныхъ. »Рожденіе Великаго Князя Александра Павловича, последовавшее посреди побѣдъ и торжествъ царствованія Великой Екашерны, было для всей Россіи радостнѣйшимъ событіемъ, даровавъ наследника Императорскому Дому, къ утверженію и распространенію славы и величія Имперіи подъ владычествомъ сей благословенной Богомъ династіи. Воспитаніе Его было однимъ изъ главнѣйшихъ царственныхъ попеченій Августѣйшей Его Бабки. Она сама назначала для Него занятія и предметы ученія, сама писала книги для развитія Его ума и образованія сердца; выбирала Ему наставниковъ, учителей и товарищей, предвидя въ младенцѣ и отрокѣ великаго Государя. Главнымъ попечителемъ при Немъ былъ Графъ (въ послѣдствіи Князь) Н. И. Салтыковъ, а воспитателемъ Швейцарецъ Лагарпъ, къ которымъ Императоръ до конца Своей жизни сохранилъ искреннюю любовь и благодар-

(*) D. *Jenisch* Theorie der Lebensbeschreibung; Berl. 1802, 8. — *Woltmann's* Vorlesung: Biographie, als Bedürfniss der Gegenwart, in s. kl. historischen Schriften; Jena, 1797, 2 Bände, 8.

(**) Biographie universelle, ancienne et moderne, redigée par une société de gens de lettres; Paris, 1811 — 28, 52 voll. in 8, и Suppl. T. 53 — 61, 1835. — Biographien und Charakteristiken; erste Reihe Bd. 1 — 6, zweite Reihe Bd. 1 — 6, dritte Reihe Bd. 1 — 4; Leipz. 1816 — 33, 8^a.

ности. Императоръ Павелъ Петровичъ, по восшествіи своемъ на престолъ, удѣлялъ часть трудовъ царственныхъ своему Наслѣднику. Великій Князь Александръ Павловичъ, сверхъ отправленія обязанности военной службы, былъ Санктпетербургскимъ Военнымъ Губернаторомъ, Членомъ Совѣта и Сенаата; но все свободное время посвящалъ изученію великаго подвига, къ которому былъ призванъ Провидѣніемъ. Онъ вступилъ на престолъ въ цвѣтущихъ лѣтахъ, когда свѣтъ, его благодарности, его неумѣнье наслаждаться наспоющимъ счастьемъ, его пустыя сожалѣнія о прошедшемъ, и несбыточные замыслы о будущемъ еще не разочаровали человека, обаяннаго великодушными мечтами юныхъ лѣтъ. Александръ поклялся въ душѣ Своей быть другомъ, хранителемъ, утѣхою вѣрной Ему Провидѣніемъ Россіи и всего человечества. Въ двадцатипятилѣтнее Его царствованіе Россія и человечество видѣли подвиги, совершенные Имъ для исполненія сего священнаго долга.

Александръ, великій и мудрый между Государями, былъ и человекъ необыкновенный: прекрасная Его наружность, благородная осанка, величественный взглядъ являли душу возвышенную. Основаніемъ Его чувствованій, помысловъ и дѣяній было благочестіе самое чистое и искреннее, а слѣдствіемъ этого освященія души Его огнемъ небеснымъ — были твердость въ бѣдствіяхъ, смиреніе въ счастьи, крепость къ побѣжденнымъ, снисхожденіе къ пресупнымъ, любовь къ правосудію, порядку, тишинѣ и благоустройству. Онъ былъ врагъ всякой пышности, всякихъ шоржественныхъ встрѣчъ, похвальныхъ словъ и лестиныхъ выраженій. Каждого человека считалъ сво-

пизъ ближнимъ, котораго, по заповѣди Божіей, обязанъ былъ любить, какъ самого себя: Онъ, одинъ изъ всѣхъ Государей земныхъ, получилъ, какъ чело-
вѣкъ, награду за спасеніе чело-
вѣка. Это было въ 1807 году, на пути въ Бѣлоруссію: Государь, увидѣвъ лежащаго на дорогѣ въ безпамятствѣ крестіанина, съ неимовѣрными усиліями возвра-
тилъ его къ жизни. Англійское Общество Чело-
вѣколюбія поднесло Ему, въ ознаменованіе этого подвига, золотую медаль. Въ Декабрѣ 1812 года, прибывъ въ Вильну къ побѣдоносной Своей арміи, Онъ опирившись не въ торжественное собраніе, не на великолѣпное, уготованное Ему пиршество, а въ госпитали, гдѣ шомились больные и раненые непріятели, ободрилъ, утѣшилъ, оживилъ несчастныхъ словами любви и милосердія, и извелъ слезы благодарности изъ глазъ закошенныхъ враговъ своихъ. Въ войнѣ 1813 и 1814 года являлся Онъ всюду ангеломъ мира и спасенія: мы упоминали уже о великодушномъ Его посредничествѣ для спасенія столицы народа, который за полтора года до того былъ виновникомъ разрушенія первопрестопаго города Россіи. — За годъ до Его кончины, мы, жители Петербурга, видѣли нашего незабвеннаго Государя гениемъ хранителемъ нашимъ, посреди бѣдсвѣй, причиненныхъ грознымъ явленіемъ природы. И эта доброта душевная проявлялась во всѣхъ дѣлахъ и случаяхъ жизни Его необыкновенною крошечностью, взжливостью и предупредительностью. Обращеніе Его было самое пріятное и привлекательное. Люди, предубѣжденные противъ Него, послѣ самой корошкы съ Нимъ бесѣды спавовились Его друзьями и поборниками. Ничто не могло противиться очарованію Его обворожительной улыбки.»

Къ элементамъ историческимъ принадлежатъ *путешествія*, состоящія въ описаніяхъ и повѣствованіяхъ, представляющія намъ положительныя свѣдѣнія о какой-либо странѣ. Къ области изящнаго относятся путешествія живописныя, гдѣ, кромѣ наблюдений, обогащающихъ умъ, находимъ и впечатлѣнія, питающія воображеніе. Здѣсь природа изучается не въ бездушныхъ механическихъ формахъ, а въ одушевленной игрѣ жизни; собираются не безцвѣтные чертежи, а живыя картины. Такія сочиненія, проявляя вдохновеніе, могутъ быть изящными; они, какъ и всѣ поэтическія созданія, проникнутыя народными вѣрованіями, склонностями, привычками, страстями, служатъ выраженіемъ умственной и нравственной жизни народовъ. Таково Батюшкова описаніе Финляндіи. »Я видѣлъ страну, близкую къ полюсу, сосѣднюю Гиперборейскому морю, гдѣ природа бѣдна и угрюма, гдѣ солнце грѣетъ постоянно — только въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, но гдѣ, также какъ въ странахъ благословенныхъ природою, люди могутъ находить счастье. Я видѣлъ Финляндію отъ береговъ Кюмена до шумной Улен, въ бурное военное время, и спѣшу сообщить глубокія впечатлѣнія, оспавшіяся въ душѣ моей, при видѣ новой земли, дикой, но прелестной и въ дикости своей. Здѣсь повсюду земля кажется видѣ опустошенія и безплодія, повсюду мрачна и угрюма. Здѣсь льто продолжается не болѣе шести недѣль, бури и непогоды царствуютъ въ теченіе девяти мѣсяцевъ; осень ужасная, и самая весна не рѣдко принимаетъ видъ мрачной осени; куда ни обратишь взоры, вездѣ, вездѣ встрѣчаешь или воды, или камни. Здѣсь глубокія, длинныя озера омываютъ волнами утѣсы граничные, на которыхъ въперъ

съ шумомъ качаешь сосновыя рошчи; шатъ цѣлыя развалины древнихъ гранишныхъ горъ, обрушенныхъ подземнымъ огнемъ или разлившимся океана. Въ концѣ Апрѣля начинается весна; — снѣгъ таетъ поспѣшно, и источники, образованные имъ на горахъ, съ шумомъ и съ пѣною низвергаются въ озера, копорыя, посредствомъ леднаго или подземнаго соединенія съ Ботническимъ заливомъ, несутъ ему обильную дань снѣга. Если озеро тихо, то высокіе, пирамидальныя утесы, по берегамъ сползающіе, начертываются длинными полосами въ зеркалѣ водъ. — На нихъ-то хищныя птицы выюютъ свои гнѣзда, и, по древнему преданію Скандинавовъ, въ часы пасмурнаго вечера вызываютъ крикомъ своимъ бурю изъ тайной глубины пещеръ. Вътеръ повѣялъ съ сѣвера, и поверхность соннаго озера пробудилась, какъ отъ сна. — Видишь ли, какъ она пѣнилась? Слышишь ли, съ какимъ глухимъ и пропаланнымъ шумомъ разбивается о гранишныя, неподвижныя скалы, копорыя нѣсколько вѣковъ презираютъ порывъ бурь и ярость волнъ? — Сосѣдніе лѣса повпоряютъ голосъ бури, и вся природа является въ ужасномъ разстройствѣ. Сія спрашныя явленія напоминаютъ мнѣ мрачную міеологию Скандинавовъ, копорымъ божество являлось почти всегда во гнѣвѣ, карающимъ слабое челоувѣчество.»

»Лѣса Финляндскіе непроходимы; они распуштъ на камняхъ. Вѣчное безмолвіе, вѣчный мракъ въ нихъ обитаетъ. Деревья, сокрушенныя временемъ или дуновеніемъ бури, заграждаютъ пушъ предпримчивому охотнику. Въ сей ужасной и безплодной пущы, въ сихъ пространныхъ вершепахъ, пушникъ слышитъ только рзкій крикъ плошадной птицы, завыванія волка, ящущаго добычи,

паденіе скалы, низвергнутой рукою всесокрушающаго времени, или ревъ источника образованнаго сѣзгомъ, который снѣжною протекаетъ по каменному дну между скалъ гранитныхъ, быспро преодолаеетъ всѣ препятствія и увлекаетъ въ теченіи своемъ деревья и огромные камни. Вокругъ его пустыня и безмолвіе! — Посмотри далѣе: огнь небесный, или неутомимая рука пахаря зажгли сей боръ? Опаленныя сосны, испорченныя изъ утробы земной съ глубокими корнями, обожженныя скалы, дымъ восходящій густымъ, чернымъ облакомъ опъ сего огнища: все это образуетъ картину столь дикую, столь мрачную, чѣмъ путешественникъ невольно содрогается и спѣшнѣе отдохнувъ взорами или на ближнемъ озерѣ, которое величественно дремлетъ въ оплохихъ берегахъ своихъ, или на зеленой полянѣ, гдѣ волъ жуешь сочную и густую траву, орошенную водами источника.»

«Здѣсь царство зимы. Въ началѣ Октября все покрыто сѣзгомъ. Едва сосѣдняя скала выказываетъ безплодную вершину; иней падаетъ въ видѣ густаго облака; деревья, при первомъ утреннемъ морозѣ, блистаютъ радугою, отражая солнечные лучи тысячею прѣкрасныхъ цвѣтновъ. Но солнце, кажется, съ ужасомъ взираетъ на опустошеніе зимы; едва явился, и уже погружено въ багровый туманъ, предвѣстникъ сильной стужи. Мѣсяцъ, въ теченіе всей ночи, изливаетъ серебряные лучи свои и образуетъ круги на чистой лазури небесной, по которой изрѣдка пролетаютъ блестящіе метеоры. Ни малѣйшее дуновеніе вѣтра не колеблетъ деревъ, облеженныхъ инеемъ: они кажутся очарованными въ новомъ своемъ видѣ. Печальное, но прѣкрасное зрѣлище — сія необыкновенная ши-

шина и въ воздухъ и на землѣ! — Повсюду безмолвіе! Робкая лань шорошко пробирается въ чащу, опрысая съ роговъ своихъ оледенѣлый иней; стадо пещеревей дремлетъ въ глубокой тишинѣ лѣса, и всякій шагъ стражника слышенъ въ снѣжной пустынѣ.»

»Но и здѣсь природа улыбается веселою, но краткою улыбкою. Когда снѣга расплали опъ теплаго лѣтняго вѣтра и яркихъ лучей солнца, когда воды съ шумомъ утекли въ моря, образовавъ въ печенѣи своемъ тысячи ручьевъ, тысячи водопадовъ; тогда природа примѣтно выходитъ изъ тягостнаго и продолжительнаго усыпленія. Вдругъ оживныя поля одѣваются зеленымъ бархатомъ, луга душистыми цвѣтами. Ходъ растительной силы примѣтенъ. Сегодня все мертво, завтра все цвѣшетъ, все благоухаетъ. Народныя басни всегда имѣютъ основаніемъ истину. Древніе Скандинавы полагали, что Оденъ, сей великій чародѣй, чуткимъ ухомъ своимъ слышитъ, какъ весною прозябаютъ травы. Конечно, быстрое, почти невѣроятное ихъ возрастаніе подало поводъ къ сему вымыслу. — Лѣтніе дни и ночи здѣсь особенно приятны. Дню предшествуетъ обильная роса. Солнце, едва появившееся за горизонтомъ, является во всемъ величїи на концѣ озера, позлащеннаго внезапно румяными лучами. Пустынныя птицы радостно сошрасають съ крыльевъ своихъ сонъ и нѣгу; рѣзвые бѣлки выбѣгаютъ изъ мрачныхъ сосновыхъ лѣсовъ подъ лѣнъ березокъ, распущихъ на оплохомъ берегу. Все тихо, все торжественно въ сей первобытной природѣ! Большія рыбы плещутъ среди озера золотыми чешуями, между тѣмъ какъ мелкіе жишечки влажной стихїи играютъ стадами у подошвы скалъ или близъ песчанаго

берега. Вечеръ тихъ и прохладенъ. Солнечные лучи медленно умираютъ на граничныхъ скалахъ, кошорыхъ цвѣтъ измѣняется безпрестанно. Тысячи пасткомыхъ (мнупные жители сихъ прелестныхъ пустынь) то плаваютъ на поверхности озера, то кружатся надъ камышемъ и наклоненными ивами. Спада дикихъ утокъ и крикливыхъ журавлей лепишъ въ соседнее болото, и важные лебеди торжественнымъ плаваніемъ привѣтствуютъ вечернее солнце. — Оно погружается въ безднъ Ботническаго залива, и сумракъ, вмѣстѣ съ безмолвіемъ, воцарился въ пустынь.»

Къ этому роду изящныхъ произведеній принадлежитъ путешествіе къ Святымъ мѣстамъ — *Муравьева*. Имѣя это путешествіе отечественное, мы не завидуемъ словесности, гордящейся живописными путешествіями *Шатобріана* и *Ламартина*. На всемъ пространствѣ земнаго шара нѣтъ страны, столько поэтической, какъ Палестина, колыбель и гробъ священнѣйшихъ воспоминаній человечества — страны, въ которой сосредоточены все пути міродержавнаго Промысла. Въ Святой землѣ и колыбель религіи, мать нашего просвѣщенія и нашей гражданственности, и отчизна чудесъ, смиряющихъ умъ въ послушаніи вѣры. Здѣсь на каждомъ шагѣ нашъ путешественникъ встрѣчаетъ печать тѣнства, не смертную вѣками — въ каждомъ звукѣ слышишъ эхо пророчесствъ, пережившее тысячелѣтія; для него вездѣ глубокій смыслъ, вездѣ сокровенная жизнь, священная, божественная поэзія.

ЧТЕНИЕ ТРИДЦАТОЕ.

Средства и способы къ образованію и усовершенствованію Оратора.

Какимъ же образомъ можно образовать и совершенствовать себя въ Краснорѣчіи? Краснорѣчіе, въ полномъ смыслѣ этого слова, есть даръ, принадлежащій малому числу избранныхъ и развивающійся съ большими усилиями. Трудно написать изящную рѣчь на какой-либо извѣстный предметъ и прилично ее произнеся; но истинное краснорѣчіе, въ различныхъ его проявленіяхъ, нами изслѣдованныхъ, принадлежащее къ высшимъ способностямъ ума чело-вѣческаго, какихъ трудовъ и усилій требуетъ! Искусство преклонять волю и убѣждать не простая игра воображенія, но дѣйствіе на умъ и сердце, произведеніе въ нихъ живаго и глубокаго впечатлѣнія. Сколько врожденныхъ дарованій и приобретенныхъ способностей нужно для достиженія этой степени совершенства! Воображеніе сильное, живое, сердце чувствительное, сужденіе основательное, всегдашнее присущіе духа, долговременное изученіе искусства писать, представительная наружность, пристойныя тѣло-движенія, голосъ полный и гибкій: вотъ условія для успѣха. Удивительно ли, что совершенный ораторъ — рѣдкое явленіе.

Но это не должно приводить насъ въ отчаяніе. Велико разстояніе отъ посредственности до совершенства, и если совершенство такъ рѣдко и трудно, то еще много почетныхъ мѣстъ на пути къ нему. Великъ подвигъ — достигнуть

его, но прекрасно и приближеніе къ совершенству. Можешь быть, число превосходныхъ поэтовъ превышаетъ число первостепенныхъ ораторовъ; но занятіе краснорѣчіемъ имѣетъ то преимущество, что поэзія не терпитъ посредственности.

. . . *Mediocribus esse poëtis*

Non homines, non Di, non concessere columnæ.

Напротивъ, въ краснорѣчій можно съ достоинствомъ занимать мѣсто и не на первыхъ высотахъ.

Излишнимъ почитаемъ распространяться о томъ, что болѣе способствуетъ къ образованію оратора — природа или наука: мы уже имѣли случай объ этомъ нѣсколько бесѣдовать. Природа во всѣхъ родахъ талантовъ полагаетъ первые зародыши; наука ихъ только развиваетъ; природа все приготавливаетъ, требуя отъ науки окончательной помощи. Въ краснорѣчій особенно наука имѣетъ сильное вліяніе на образованіе оратора. Поэзія принимаетъ полезныя совѣты отъ науки; поэтъ и силою генія можешь быть творческимъ. Ораторъ, неизучавшій глубоко искусства своего, никогда не будетъ совершеннымъ. У Омира не было наставниковъ; Демосеена же и Цицерона образовали труды и наставленія предшественниковъ.

Основаніемъ въ образованіи и приготавленіи себя къ вліянію служитъ нравственный характеръ. Для вѣстнаго краснорѣчія и для убѣжденія необходимо питать въ себѣ чувства добродѣтели: «*non posse oratorem esse, nisi virum bonum*» — главное правило древнихъ въ отношеніи къ оратору. Утѣшительно видѣть тѣсную связь между добродѣтелью и благородѣйшимъ изъ изящныхъ искусствъ. Что способствуетъ къ

убвжденію нашему болѣе добраго житія, приобретениа честностию, безкорыстіемъ, правотою и другими нравственными качествами? Эти качества придають рѣчамъ вѣсъ и силу; въ нихъ заключается истинное изящество; они невольно заставляютъ насъ со вниманіемъ и удовольствіемъ слушать, производятъ въ насъ сочувствіе съ мнѣніемъ чужимъ. Но при мысли объ ухищреніи, коварствѣ, шаткости правилъ чужихъ, можешь ли воздѣйствовать на насъ его слово? Оно займешь насъ, мы выслушаемъ его съ удовольствіемъ, но какъ красивыя выраженія, незаслуживающія довѣренности. Мы съ большимъ удовольствіемъ даже читаемъ книгу, которой сочинитель пользуется нашимъ уваженіемъ. Напрощивъ, не могущественнаго ли вліяніе на наше мнѣніе оратора, передъ нами говорящаго и лично обращающагося къ намъ о важныхъ предметахъ? Можешь быть, скажешь, что это замѣчаніе относится къ показанію вліянія только мнѣнія, а не самой добродѣтели; можешь быть, иные сомнѣваются въ томъ, что добродѣтель непосредственно помогаетъ успѣхамъ въ краснорѣчіи, безъ всякаго отношенія къ мнѣніямъ, ею внушаемымъ. Дѣйствительно, она служитъ намъ надежнѣйшею руководительницею въ занятіяхъ науками и искусствами, одушевляетъ похвальнымъ соревнованіемъ, приучаетъ къ трудамъ, облегчаетъ умъ, освобождая его отъ ига постыдныхъ спрассей, которыя поставляютъ непреодолимую преграду для всякаго успѣха. Объ этомъ Квинтилианъ справедливо говоритъ: »Если много времени отнимають у ученія излишнія заботливостъ о поляхъ, хлопотливостъ о домашней жизни, охота, зрѣлища; чтожь сказать о сластолюбіи, корыстолюбіи, зависти? Сердце злаго и порочнаго чловѣка есть

существо самое озабоченное, хлопотливое, волнуемое и раздражаемое многими и различными спра-
сками. Въ этомъ безпорядкѣ можешь ли оспа-
ваться досугъ для наукъ и искусствъ (*)?»

Кромѣ этого опъ добродѣтели пронстекають
всѣ нѣ чувства, которыя производящъ столь
сильное и вѣрное впечатлѣніе на сердца другихъ.
Не смотря на испорченность нравовъ, ничто силь-
нѣе добродѣтели не дѣйствуетъ на челоуѣка. Ни-
какой языкъ не понянетъ столько всѣмъ, сколько
языкъ добродѣтельныхъ чувствованій; кто ими
одушевленъ, тошъ только можешь говоришь сердцу.
Во всѣхъ важныхъ случаяхъ благородныя и возвы-
шенныя чувствованія имѣють силу увлекающую
и непреодолимую; они придають слову нашему
шепелу, разливающуюся по всѣмъ слушателямъ.
А это не главный ли двигателъ краснорѣчія, по-
средствомъ котораго оно производитъ дивныя
свои дѣйствія? Здѣсь искусственность и подража-
ніе безсильны; личина добродѣтели насъ не про-
гаешь: одно только истинное чувство передаетъ
намъ себя. Поэтому-то знаменитые ораторы, Ди-
мосеенъ и Цицеронъ, не славны ли столько же
доблестями, сколько краснорѣчіемъ; все ихъ вѣщій-
ство не пламенная ли любовь къ отечеству? Безъ
сомнѣнія, самыя сильныя дѣйствія, произведенныя
ихъ краснорѣчіемъ, принадлежатъ ихъ добродѣтели;
мѣста въ рычахъ, дышущія чувствами благород-

(*) Quod si agrorum nimia cura, et sollicitior rei familiaris
diligentia, et venandi voluptas, et dati spectaculis dies,
multum studiis auferunt, quid putamus facturas cupidita-
tem, avaritiam, invidiam? Nihil enim est tam occupatum,
tam multiforme, tot ac tam variis affectibus concisum,
atque laceratum, quam mala ac improba mens. Quis inter
hæc littera, aut ulli bonæ arti locus?

ыми, суть мѣста, которыхъ не преспаемъ мы удивляться.

Изъ этого слѣдуетъ, что помогающіеся кассеры ораторской должны заранѣе полюбить добродѣтель, развить въ себѣ всѣ нравственныя чувствованія. Въ комъ они погасли, тотъ лишень самыхъ сильныхъ способовъ преклонять волю другихъ. Но кто не равнодушенъ къ подвигамъ честности и великодушія; чье сердце волнуется отъ дѣйствій несправедливости и злобы; кто приходитъ въ восторгъ отъ славы и торжества мудрости, добродѣтели, изящнаго таланта: тотъ уже носитъ въ себѣ искры огня, воспаляющіяся отъ слова, тотъ можетъ убѣждать и преклонять волю другихъ — тотъ ораторъ. Умъ холодный, унывающий все великое, издѣвающийся надъ тѣмъ, чему всѣ удивляются — такой умъ не предвѣщаетъ дара слова. Ораторъ по призванію не только благоговѣетъ предъ истиною, благомъ и изяществомъ, но сочувствуетъ другимъ, сострадателенъ къ несчастіямъ себѣ подобныхъ, раздѣляетъ съ ними ихъ страданія, негодуешь на обиды, имъ нанесенныя; ему знакомы впечатлѣнія и ощущенія другихъ; онъ умѣетъ спавить себя на мѣсто пѣхъ, о комъ говоритъ. — А новый элементъ выпѣснѣва Христіанскій? Можно ли бытъ одушевленнымъ истолкователемъ слова Искупителя тому, кто самъ не проникнутъ этимъ словомъ? Можно ли вознесши духъ нашъ въ горня тому, чей духъ долу пресмыкается? Можешь ли тотъ пробудить въ насъ чувство безконечнаго, кто самъ измученъ заботами о дѣшнихъ конечныхъ, временныхъ благахъ? Необходимо также, чтобы въ ораторѣ скромность соединялась съ самоуваженіемъ: скромность, какъ всегдашняя подруга

дарованій и истинныхъ достоинствъ, привлекаесть къ себѣ благосклонность; но она не должна переходить въ слабость и малодушіе. Пусть ораторъ надѣется на себя самого; пусть будетъ увѣренъ въ справедливости мнѣній своихъ: такіа чувствованія способствуютъ произведенію ожидаемыхъ впечатлѣній.

Кромѣ нравственныхъ качествъ, оратору необходимо имѣть достаточный запасъ свѣдѣній. *Omnibus disciplinis et artibus debet esse instructus orator* — часто повторяетъ Цицеронъ и Квинтиліанъ; ему должно знать все и глубоко изучить предметъ, о которомъ желаетъ говорить. *Scribendi recte sapere est principium et fons*: мудрость есть начало и источникъ искусства, которое научило бы краснорѣчиво говорить о незнакомомъ предметѣ. Одни только древніе софисты, какъ замѣчали мы, учили искусству защищать и опровергать одинъ и тотъ же предметъ. Слогъ, составъ и расположеніе сочиненія, изложеніе — вся наука краснорѣчія составляетъ только средства къ изящнѣйшему развитію мыслей, поражаемыхъ знаніемъ предмета, о которомъ говорить. Хотите преимущественно заниматься краснорѣчіемъ судебнымъ? Вы должны глубоко изучить законы и права отечественныя, всѣ пособія къ уразумѣнію началъ и источниковъ отечественныхъ постановленій. Призванъ ли кнѣзъ проповѣдывать слово Божіе? Кромѣ изученія Богословія, тому необходимо изучить сердце человеческое, чтобы открыть въ немъ тайну порока и преклонять волю. — Зовутъ ли васъ высшія государственныя почести? Несите ли вы труда глубокія свѣдѣнія по тѣмъ частямъ правденія, къ которымъ призываетесь, и подробныя частныя знанія о своемъ отечествѣ. Полюбите ли скромное поприще

ученыхъ? Изслѣдуйте всѣ точнѣйшія науки, составляющія знаніе ваше — всѣ законы духа познающаго: и вы, съ помощію науки объ изящномъ словѣ, будете говорить о свѣтѣ предметъ краспорѣчиво.

Кромѣ познаній, составляющихъ необходимую потребность званія, которому ораторъ посвящаетъ себя, желающій достигнуть совершенства долженъ заниматься вспомогательными знаніями Словесности. Поэзія послужитъ къ украшенію слога вишімъ, доставитъ живыя картины для одушевленныхъ изображеній. Философія раскроетъ сердце человеческое, на которое дѣйствовать готовишься вишімъ. А Исторія? Не она ли предскажетъ всѣ событія, характеры дѣйствующихъ лицъ (*)? Какъ часто изящный вкусъ и обширныя, разнообразныя знанія примосають пользу оратору въ самыхъ важныхъ обстоятельствахъ, доставляя не только украшенія, но и самыя доводы! Предъ ораторомъ ученымъ невольно преклоняюща другіе съ меньшимъ запасомъ свѣдѣній.

Къ совѣтамъ о приобрѣтеніи знаній должно присоединить совѣтъ о необходимости полюбить трудъ и занятія: это единственное средство возвыситься надъ посредственностью въ какомъ бы ни было родѣ знаній. Ошибающіяся, которые думаютъ, что можно вдругъ быть судебнымъ ораторомъ или проповѣдникомъ: для достиженія этого недостаточно кратковременнаго труда и

(*) *Quintil.* l. XII, cap. 4. *In primis vero, abundare debet orator exemplorum copia, cum veterum tum etiam novorum; adeo ut non modo quae conscripta sunt historiis, aut sermonibus velut per manus tradita, quaeque quotidie aguntur, debent nosse; verum ne ea quidem, quae a clarioribus poetis sunt ficta, negligere.*

поверхностнаго знанія; высшая степень превосходства достигается посильнымъ трудомъ, обратившимся въ привычку. Это законъ природы, которому покорствуютъ и величайшіе гении. Трудъ доставляетъ высочайшее наслажденіе; безъ него жизнь была бы нестерпима, однообразна; силы душевныя слабѣютъ отъ праздности и разсвѣія; напротивъ, онѣ крѣпнутъ и развиваются отъ труда и занятій. Во всѣхъ искусствахъ, особенно въ краснорѣчіи, тонъ любитъ свое дѣло, кто къ нему чувствуетъ призваніе. А любовь къ предмету, насъ занимающему, какихъ не перенесетъ трудовъ для достиженія желаемой цѣли? Такъ пламенно любили свое искусство всѣ великіе творческіе умы древніе и новыя; восторгъ къ предметамъ искусства своего — ихъ отличительный характеръ. Да живится такою любовью юное сердце, призванное убѣждать и преклонять волю другихъ: если въ юности не загорится этотъ священный огонь къ изысному, возрастъ зрѣлый будетъ холоденъ, неубѣдителенъ.

Внимательное изученіе образцовъ много способствуетъ къ совершенствованію въ Краснорѣчіи. Каждый писатель долженъ непременно имѣть собственный, самобытный слогъ; слишкомъ рабское подражаніе губитъ дарованія, или обнаруживаетъ ихъ скудость. Не смотря на то, нѣтъ такого самобытнаго гения, который бы не извлекъ пользы изъ лучшихъ образцовъ, въ отношеніи къ мыслямъ, слогу и самому произношенію. Образцы представляютъ намъ всегда новыя стороны въ предметахъ, распространяютъ или исправляютъ наши о нихъ понятія, оживляютъ мысли, возбуждаютъ соревнованіе. Здѣсь важность сослани въ *выборъ* образцовъ для подражанія; при самомъ

же счастливымъ выборъ, надобно остерегаться, чтобы не впасть въ слѣпое и безпредѣльное удивленіе: *desipit exemplar vitii imitabile*. Самые совершенные образцы имѣютъ свои недостатки, недостойные подражанія; поэтому должно знать истинныя красныя каждаго писателя, и только имъ слѣдовать.

Въ подражаніи любимому писателю необходимо различать изысканное въ изустномъ произношеніи отъ изыскаго въ сочиненіи. Живое слово и книга, которую мы читаемъ, производятъ различныя дѣйствія. Въ книгѣ обращается вниманіе на правильность и точность выраженій, стараются избѣгать многословія, повторовъ, употребляютъ языкъ совершенно обработанный; живое слово допускаетъ слогъ болѣе свободный, обильный, рѣчь менѣе обработанную; позволяетъ повторы, вводныя слова; одна и таже мысль можетъ быть представлена съ различныхъ точекъ зрѣнія. Слушатель ловитъ мысли при произношеніи, и не можетъ, подобно читателю, слова возвращаться къ прежней мысли, останавливаться на каждой до совершенно яснаго уразумѣнія. Такъ слогъ оплчныхъ писателей показался бы напыщеннымъ и даже темнымъ, если бы изъ книги перенесенъ былъ въ ораторскую рѣчь, назначенную для произношенія.

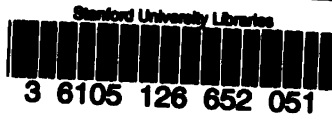
Сверхъ внимательнаго изученія образцовъ, необходимо частое упражненіе въ сочиненіи и произношеніи. Сочиненія особенно шѣ полезны, которыя имѣютъ отношеніе къ нашему назначенію. Надобно заранее ознакомиться съ шѣмъ родомъ Краснорѣчія, къ которому себя готовимъ. Впрочемъ, какой бы родъ ни былъ избранъ нами, должно упражняться въ сочиненіяхъ съ возможнымъ тщательностью, совершенною окончанностью. Кпо

хочешъ изящно говоришь и пишашъ, не долженъ себя позволяшь погрѣшностей и въ самомъ маловажномъ сочиненіи, ни въ разговорѣ, ни въ письмѣ. Здѣсь мы не разумѣемъ изысканности, но совѣщаемъ точность въ выраженіяхъ, порядокъ, одушевленіе. Изъ дружескихъ бесѣдъ не рѣдко небрежность въ словѣ переносится и въ сочиненіи. Напрошивъ, какъ сладостна рѣчь того, чье слово и въ кругу друзей столько же изящно, сколько въ сочиненіи.

Образованію и совершенствованію дара слова въ Орасторѣ содѣйствуютъ *литтературныя собранія*, въ которыхъ юноши, соединенные любовью къ наукамъ и Словесности, переводящъ, сочиняющъ, разбирающъ свои переводы и сочиненія словесно и письменно, разбирающъ и знаменитѣйшихъ писателей. Нѣтъ драгоцннѣе и усладишельнѣе времени, проведеннаго въ кругу равныхъ и ближнихъ, когда во всѣхъ чувства еще свѣжи и невинны; когда шлягосныя заботы не ошравляютъ ихъ убійственнымъ своимъ дыханіемъ и спраси не возмущающъ сердецъ, привязанныхъ къ занятіямъ благороднымъ. Любовь къ изящному, взаимное искреннее довѣріе юношей, высказывающихъ другъ другу мысли свои и чувствованія, неприпворныя, чистыя — такое стремленіе къ совершенствованію содѣйствуетъ и развитію дара слова. Идея, служащая основаніемъ любви къ изящному, есть идея красоты вѣчной и безпредѣльной; безпрестанное приближеніе къ ней есть непрерывное образованіе эстетическое. Это образованіе совершается успѣшнѣе при взаимномъ сполкновеніи умовъ.

Конецъ втораго курса.





PN
517
D35
v. 1-2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

